

ОКтябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

0-52

0177509

1943г

8-9

О. БЕРГГОЛЬЦ

Ленинградке

Еще тебе такие песни сложат,
Так воспоют твой облик и дела,
Что ты, паверно, скажешь:

«Не похоже.

Я проще, я угрюмее была.

Мне часто было страшно и тоскливо.
Меня томил войны кровавый глуть.
Я по мечтала даже — стать счастливой.
Но так порой хотелось — отдохнуть.

Да, отдохнуть ото всего на свете:
От поисков жилья, тепла, еды;
От жалости к моим исчахшим детям;
От вечного предчувствия беды;
От страха за того, кто мне не пишет, —
Увижу ли его когда-нибудь? —
От свиста бомб пад беззащитной крышей,
От мужества и гнева — отдохнуть...

Но я в печальном городе осталась
Хозяйкой и служанкой для того,
Чтобы сберечь огонь и жизнь его,
И я жила, преодолев усталость.
Я даже пела иногда. Трудилась.
С людьми делилась солью и водой.

Я плакала, когда могла. Бранилась
С моей соседкой. Бредила едой.
И день за днем лицо мое темнело,
Седины появились на висках.
Зато, привычная уже в любому делу,
Почти железной сделалась рука.
Смотри, — как цепки пальцы и грубы.
Я рвы на ближних подступах конала,
Сколачивала жесткие гробы
И малым детям рапы бинтовала.
И не проходят даром эти дни;
Неистребим свинцовый их осадок:
Сама печаль, сама война глядит
Познавшими глазами ленинградок.

Зачем же ты меня изобразил
Такой отважной и такой прекрасной,
Как женщину в расцвете лучших сил,
С улыбкой горделивою и ясной?»

Но, не приняв суровых укоризн,
Художник скажет с гордостью, с отрадой:
«Затем, что ты — сама любовь и жизнь,
Бесстрашие и слава Ленинграда».

Март, 1943, Ленинград

Весна в Ленинграде

МАРТ

...Ты слышишь ли,— живой и влажный ветер
В садах играет, ветки шевеля?

Ты помнишь ли, что есть еще на свете
Земной простор, дороги и поля?

Мне в городе, годами осажденном,
Откуда нет простых, прямых путей,
Все видится простор освобожденный
В бескрайней, дикой, русской красоте.

Мне в городе, где нет зверей домашних,
Ни голубей — хотя б в одном окне —
Мерещатся грачи на рыжих пашнях
И дед-Мазай с зайчатами в челне.

Мне в городе, где нет огней вечерних,
Где только в мертвой комнате окно

Порою вспыхнет, не затемнено,
А окна у живых — чернее черни,—

Так пужно знать, что все, как прежде,—
живо,

Что где-то в глубине родной страпы
Все те же зори, журавли, разливы,
И даже города освещены;

Так пужно знать, что все опять вернется
Оттуда, из глубин, сюда,— где тьма,
Что я, паверно, не смогла б бороться,
Когда б не знала этого сама...

Март, 1943

Ночью

Ночь и тревога. И, наверно, будет
Она сегодня долго — до утра.
Ревут во тьме зенитные орудья,
Качаются, как сеть, прожектора.
Ночь и тревога. Под воздушным боем
Мой бедный дом, рубеж заветный мой.
Вот близкий взрыв. Далеко до отбоя...
Люблю твою мелодию, отбой.

Она напоминает мне слетка
Забывтый звук пастушьего рожка,
Нехитрая, — прозрачна и грустна, —
Она сулит — пускай короткий — отдых...
Зенитки бьют... А в городе — весна,
И запахом листвы пронизан воздух.
О, северный балтийский май! Нежней.
Наверное, на свете не бывает:
Зеленой дымкой скверы обвивает,
Как в самой ранней юности моей.

А в легком небе вражий самолет
Гудит, гудит, — и это третий год.

Зачем его терзают, мой любимый,
Весенний мой, прозрачный Ленинград!

И вот вскипает зло, неукротимо
Ожесточение. И жжет, как яд.

Хочу схватить и привести, — построить
Их, палачей, на Певском, на виду.
И я с наганом медленно пройду
Вдоль их трусливо жмушгетоя строя.

И я спрошу у немца: «Ты стрелял
По Ленинграду? На углу Садовой
Ты в первомайский праздник убивал
Детей и женщин из восьмидюймовой?»

И я спрошу другого: «Это ты
С одиннадцати в тебе пашем рыщешь?
Ты с нашей звездной, чистой выскоты
Бросасшь бомбы в спящие жилища?»

— За кровь в весенних городских садах,
За кровь на остановке у трамвая,
За кровь на скорбной площади Труда,
За кровь в почной квартире — убиваю...

...Так — этой ленинградской весной —
Тоска возмездья говорит со мной.

Май, 1943



Третья зона, дачный полустапок,
У перрона — тихая сосна.
Дым, туман, струна звенит в тумане.
Невидимкою звенит струна.

Здесь шумел когда-то детский лагерь
На веселых ситцевых полях.
Всю в ромашках, в пионерских флагах,—
Как тебя любила я, земля!

Это фронт сегодня; сотня метров
До того, кто смерть готовит мне.
Но сегодня тихо. Даже ветра
Нет совсем. Легко звучать струне.
И звенит, звенит струна в тумане.
Светлая, невидимая — пой!
Как ты плачешь, радуешься, манишь.
Кто тебе поведал — что со мной?

Мне сегодня радостно до боли,—
Я сама не знаю, отчего.
Дышит сердце небывалой волей,
Сплюю расцвета своего.

Знаю — смерти нет: не подкрадется,
Не задушит медленно она,—
Просто жизнь сверкнет и оборвется,
Точно песней полная струна.

...Как сегодня тихо здесь, на фронте.
Вот среди развалин над трубой
Узкий месяц встал на горизонте,
Деревенский месяц молодой.

И звенит, звенит струна в тумане,
О великой благодати моля...
Всю в ярови, в тяжелых ржавых ранах
Я люблю, люблю тебя, земля.

Непокоренные

(СЕМЬЯ ТАРАСА)¹

СЫНОВЬЯ

1

«Где вы, сыновья мои, где вы?»

Было у Тараса три сына,—нет вестей ни от одного. Живы ли они? Он старался думать, что живы. Он ждал их.

Это было большое ожидание,—в нем сроков нет,—это была вера. Жива наша армия, живы и мои дети. Вернется армия, а с нею вернутся и сыновья. Вернутся сыновья, а с ними и армия. Без армии они не могли вернуться. Врозь он и не ждал их.

Андрей пришел один. Он пришел осенью, поздними сумерками, худой, бородастый, чёрный,—его и не узнали сперва. И одежда на нем была чужая — какая-то серая крестьянская свитка, таких и не носят теперь; и пыль на его лице, бороде и лаптях — чужая, пездешняя, бог весь с каких дорог; и весь он был чужой, незнакомый, горький. В синих впадинах под глазами, в острых изжелта-чёрных скулах, в злых складках у рта поселилась горечь одному ему известных разочарований и мук.

— Ну, здравствуйте,—сказал он, грустно усмехнувшись, и, сняв шапку, осторожно стал стряхивать пыль с нее,—как гость.

Страшно закричала Антонина, бросилась мужу на шею. Залкакала бабка Ефросинья. Всполошились дети. Растерянный Тарас так и застыл на пороге с коптилкой в руке.

— Это кто?—испуганно спросила Марийка у Леньки.

— Это папка твой.

— Непохожий какой папка!—огорченно сказала Марийка и недоверчиво подошла к отцу.

Андрея провели в комнату, усадили за стол, вокруг него собралась вся семья. Испуганно прижалась к непохожему отцу Марийка. То плакала, то смеялась Антонина, суетилась возле мужа и, наконец, прижав к его коленям, успокоилась и затихла. У печи и стола хлопотала бабка Ефросинья.

Андрей сидел все еще чужой, пездешний, нерешительно гладил волосы Антонины, неумело прижимал к себе Марийку. Что-то говорил, восклицал но к делу и но к месту, как все восклицали сейчас, и бродил растерянным, но жадным взглядом по комнате,

словно спрашивал себя: верно ли, дома ли я, но померещилось?

И раньше всего пришли к нему знакомые с детства запахи: запах мышей в чулане, квашни на кухне, железа и сосновой стружки в комнате Тараса. Потом он увидел семейные фотографии в рамках из ракушек, часы-ходики с генералом Скобелевым на кофее, горку с глечиками и обливными, расписными тарелками, лампадку на медно-зеленой цепи перед кнотом. Все на месте.

— А у вас все как было!—сказал он не то удивленно, не то обрадованно.

Над ним свистели дожди и издевалась смерть. его слепила пыль и мучил голод, и острые камни горячих дорог кровавили его босые ноги. Все колебалось вокруг него, все было непрочно, неверно, шатко. И самого Андрея мотало между жизнью и смертью, казалось ему — носит он в себе целый мир, мятущийся и окровавленный, а оказалось — только эту комнату. Только о ней одной мечтал он. Только к ней одной стремился. Чтоб вот так сидеть у стола и вокруг — знакомые стены, знакомые запахи, знакомые, дорогие лица, семья. Он и сам не знал, что так любит дом.

Все пройдет,—и война, и колебание мира. Только это вечно: семейные фотографии на стене, запах квашни на кухне, тихий свет лампадки перед иконами.

Он обрадованно, легко, тихо засмеялся, потер руки и в первый раз почувствовал себя дома.

— Папка пришел, значит наши в городе?—шепотом спросила Марийка у Леньки.

— Нет, это только твой папка пришел.

Тарас ни слова еще не сказал с тех пор как пришел Андрей. Тяжелым взглядом следил он за каждым движением сына: и когда тот сидел у стола, и когда стал мыться, радуясь теплой воде и удивляясь, как быстро она побурела от грязи, и когда чуть не заплакал, приняв от Антонины белье, свое, собственное, зажавшееся его, пахнущее крахмалом, долом, сундуком, заботливыми женскими руками...

И только когда вымытый, переодетый и спящий от полноты счастья, Андрей уселся епова за стол,—Тарас, наконец, нарушил свое тяжелое молчание.

¹ Продолжение. См. «Октябрь» № 4—5 за 1943 г.

— Ты откуда же взялся, Андрей?— тихо спросил он.

Андрей вздрогнул.

— Из плена...— чуть слышно ответил он.

И вдруг стал торопливо рассказывать о плене. Антонина сжала его руку, вся семья приглотила. А он рассказывал о том, что вытерпел в плену и сам теперь удивлялся, как он все это вынес и не погиб.

Но отец перебил его:

— Как же ты в плен попал, Андрей?

— Как?— невесело усмехнулся сын.— Попали мы в окружение... Палегели немцы... Я на винтовку поглядел, что с ней делать? Бесплезное оружие... Я ее бросил.— Ну и сдался...

— Сдался?— закричал Тарас.— Сдался, сукни сын?

Андрей шоблел. Наступило трудное молчаше.

— Эх, дядя,— с досадой сказал Ленька, отводя от Андрея глаза.— Как же это ты?.. Я б нишчем не сдался.

И тогда Андрей рассердился:

— Не сдался б? Ты! Щенок! Вояка! Все вы тут, погляжу,— вояки. Смерти не нюхали, немца не видели, а тоже... рассуждаете. Что ж я один против немца? Их — сила... А я...

— А умереть у тебя совести не было?— крикнул Тарас.

— Умереть!— вскрикнула Антонина и обеими руками сцепилась за Андрея. Словно его уже отрывали от нее и вели на смерть.

— Умереть...— криво усмехнулся Андрей,— легко вы говорите, отец... Умереть я, конечно, мог... Это дело нехитрое...— он обвел всю семью недобрим взором и прибавил,— может и верно, лучше бы мне умереть...

Все молчали. Только Антонина еще крепче сцепилась в руку Андрея.

— Вишь ты,— снова невесело усмехнулся он.— Из плена шел... на крыльях... думал, дома ждуть. Думал, радость домой принесу. А, вишь ты, принес... неудобство.

— Мы тебя не таким ждали,— сказал, качая головой, Тарас.

— Несправедливы вы, Тарас Андрееч!— вдруг дрожащим от слез голосом произнесла Антонина.— Вы ко всем несправедливы. Всегда. Я не говорила,— теперь скажу. Что ж он один за всех умирать должен? Хорошо, что живой пришел,— и она оглянулась на женщин, лица в них поддержки. Бабка Ефросинья как всегда непонятно качала седой головой. Настя молчала.

— Бвочка,— презрительно сказал Тарас.—

Ты бл лучше детей уложила... Чего не спят,— закричал он, срывая на них свое отчаяние.— Ну, приехал. Ну, живой. Представление кончено. Спать!

Бабка Ефросинья и Антонина стали укладывать ребят. Марийка легла в постельку сразу, она была напугана и утомлена приходом непохожего отца, Ленька еще долго бушевал и спорил,— не хотел спать. Андрей молча сидел у стола, катал хлебные шарья... Вот он и дома, а дома нет. Тарас тяжелыми шагами ходил по комнате.

— Как же ты из плена ушел?— вдруг спросила молчавшая все время Настя.— Значит, уйти можно?

— Что,— очнулся Андрей и досадливо повел плечами. Настя повторила вопрос. Подошла Антонина и села на прежнее место, подле Андрея. Взяла его руку в свою.

— Бабы выручили...— нехотя объяснил он.— Бабы нас жалели... Чужие бабы жалели нас,— повторил он с упреком и вызовом отцу.— Совсем неизвестные, темные бабы, а жалели...— Но тут же вспомнил, как их жалели бабы. «Несчастенькими» пазывали их бабы, и это была горькая, презрительная жалость к своим, но незадачливым мужикам.

А они шли через села измученной, горестной толпой, и вид у них был не мужиков, и не солдат, а — пленных. Чорт его знает, откуда появляется у пленного человека этот вид: шинель без хлястика, без ремня, взгляд исподобья, руки за спиной, как у каторжан. Так они шли безоружной толпой через села. Через те самые села, по которым еще месяц назад проходили стройными и грозным воинством. Тогда их тоже жалели бабы, провожали за околицу, плакали втихомолку. Только несчастенькими их не звали тогда.

Вдруг он сказал отцу:

— Думаешь, мне этот плен легко дался? И, может, сам себя сто раз проклял, что не помер в бою. Помереть легче. Гнали нас по большаку... Чуть отстанешь — бьют прикладами. И ноги в крови, и морда в крови. Кровью умываешься. Много перемерло нашего брата по дороге. Кто сам помереть не мог, того немцы приканчивали... Потом пригнали нас в лагерь. Под Миллерово. Просто пустыр — обнесен колочей проволокой — вот и весь лагерь. Если дождь льет,— значит под дождем живешь. Если холод,— значит в холоде. Спали на сырой земле. Ели...— он махнул рукой.— Есть не давали. То, что бросят нам за проволоку бабы, то и ладно. Драться меж собой из-за куска. Как звери.

И опять тут много нас перемерло. А я, вишь на беду — уцелел...

Он говорил теперь горячо и быстро, и перед ним вставали страшные картины лагеря, и снова в его ушах — предсмертные хрипы товарищей, и свист бича, и похоронный звон колючей проволоки под ветром.

— А вокруг всего лагеря сидели бабы... И день сидели. И ночь. Своих мужиков выматывали. И плакали ж они, бабы. Ох, страшно плакали! Выли. И мы начинали выть. Кто жить хотел, — тот выл. А были такие — умирали молча. И это страшней всего. А я выл, как волк воет. И все мне мерещился дом... и Антонина... и Марийка... И чем горше становилось, чем смерть ближе — тем больше я жить хотел. И жил. А как жил, чем, — теперь и объяснить не могу.

— Но как же ты все-таки из плена ушел, Андрей? — снова, со страшной настойчивостью повторила свой вопрос Настя.

— Бабы и выручили. У немцев, видишь ли, политика хитрая. Нас в этих лагерях померли тысячи, — этого никому не видно, а они одного выпустят, — он пока домой дойдет — об этом звону, звону! Вот они и распорядились, что бабы могут в случае, если своего мужа или брата среди пленных разглядают, — брать его к себе, на волю. Ну, справка, конечно нужна от старосты. Да это дело легкое. Есть бабы, которые в разных лагерях до ста «мужей» вот так-то освобождали. — Он усмехнулся. — Ну, а меня кто же выручит? Своих близко нет. А на волю, на волю хочется... Чувствую — помру я здесь, как щепок слепой, и никто не вспомнит. И проволока эта колючая так меня измучила, словно она мне в душу впилась, колючками душу рвет до крови. Ну вот... Я и бросил бабам за проволоку записку. Выручайте, мол, если добрая душа найдется. И свое имя, отчество, фамилию, откуда родом... — он остановился на минуту, задумался и вдруг, тихо, ласково улыбнулся, — нашлась добрая душа, Лукерья Павловна... Душа... Высвободила... Взяла меня к себе, в хозяйство... У нее без мужика все покосилось, повалилось... — Он запнулся, покраснел, потом, собравшись с духом, заючил, — ты меня, Антонина, как хочешь суди, только я с этой женщиной жил... как с женой...

Антонина вздрогнула, испуганно и как-то очень беспомощно посмотрела на мужа и невольно выдернула свою руку из его руки.

— Ведь я... — пробормотал Андрей. — Я, ведь, не знал, живы ли. Здесь ли... Все

сейчас на земле пошатнулось, пошло враскос...

— Ничего! Ничего! — зло расхохотался Тарас. — Чего, брат, с женой стесняться! России изменил, так чего уж тут жена! Только вот что я тебе скажу, Андрей. Жена простит, она существо бессловесное, кроткое. Простит ли Россия?

— А перед Россией моей вины нет... — глухо пробурчал Андрей.

— Врешь! Врешь! — закричал на него Тарас. — Всех ты обманул. И Россию, и жену, и меня, старого дурака, и мое ожиданье, — он круто повернулся и ушел к себе, сильно хлопнув за собой дверью.

Воцарилось молчание. Грустно сидела, опустив голову на руки, подавленная Антонина. Молчала Настя. Сжалась в комочек безответная бабушка Ефросинья, горько качала головой. И чтобы как-нибудь развеять это невыносимое молчание, Андрей спросил:

— Ну, а вы тут как живете?

Ему никто не ответил. Только Настя пожала плечами. Андрей взглянул на склоненную голову жены и вдруг увидел: у нее голова — седая. Он не поверил. Еще раз взглянул: под робким светом коптилки тускло блеснули серебряные нити. «Боже ты мой, — ужаснулся Андрей. — Что же с ней сделали?» — Он испуганно оглянулся вокруг. Молчала Настя. Что-то бормотала себе под нос мать. Молитву?

Вот дом и пет дома. Те же бури и беды, что свистели над ним, Андреем, ломали, коржили его тело и душу, прошумели и над тихим домиком в Каменном Броде. Антонину состарили, Тараса ожесточили. Все здесь с виду осталось прежним — и фотографии под тусклыми стеклами, и тихий свет лампад, — а прежней жизни нет. И дома нет. И покоя нет. И счастья нет, как не было...

Андрею вдруг захотелось потянуться к жене. Обнять ее, взять в ласковые руки ее бедную усталую, седую голову, прижать к своей груди, заплакать вместе: «Ну, что было — было. Ничего. Ничего, Толя! Теперь я здесь, теперь с тобой. Проживем как-нибудь. Переждем войну, не на вели же». Но он не сделал этого. Зачем? И сам он в свои слова не верит, и Толя не поверит. Неправда — его слова.

Нет, не вырвался он из плена. Вот она — колючая проволока. Непрежнему и он в плену, и семья в плену, и весь город в плену у немцев. Душа его в плену. Все опутано колючей проволокой, колючки впилась в душу.

А у старика, у отца душа свободна. Ее в цепи не закуешь. Ее колючей проволокой

не считаешь, бессмертную, ожесточенную душу Тараса. И сын вдруг горько позавидовал отцу.

В эту ночь, в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

2

В эту ночь, в ветхом домике в Каменном Броде никто не спал...

Как ни рано поднялся Андрей, — многие встали еще раньше. Скрипели половицы, раздавался хриплый капелъ в комнате Тараса, из всех углов ползали шорохи. Андрей встал и оделся. Антонина сделала вид, что спит. Андрей поглядел на нее и вздохнул. Вот и прошла его первая ночь дома после разлуки... Не так прошла, как мечталось. Ну, что ж! Все теперь на земле не так... Он вышел умываться в сени.

Там уже возилась мать. В самодельную ручную мельницу она засыпала ржаные зерна и молола их. Шестерни тоскливо скрипели.

— Это отец смастерил, — объяснила мать, заметив, что сын загляделся на ее работу. — И название этому выдумал: агрегат. А по-моему — горе это наше, а не агрегат. Одно горе, больше нет ничего...

Ставни были еще закрыты. Сквозь щели протискивался тощий и словно помятый утренний свет.

— Открыть ставни, что ли? — вызвался Андрей. — Темно, как в могиле...

— Так и живем, — отозвалась мать. — Глядеть не па что.

Теперь — утром — все дома показалось Андрею не таким, каким было прежде. На него вдруг глянуло страшное лицо нужды, вчера он ее не заметил. Он и сам не сумел бы объяснить, в чем он ее увидел, — в агрегате ли Тараса, в серых, кислых лепешках, заменяющих хлеб, или в том, что самовар пылится в углу (значит, нет в доме ни сахара, ни чая. Как же мать без чаю жвет, чаевница?), — но нужда хозяйничала здесь — это он увидел ясно и принял почему-то как упрек себе. Словно он, Андрей, был виноват в том, что война, и немцы в городе, и нет хлеба.

Понемногу, к столу стала собираться семья, — все хмурые, молчаливые. Даже Ленька глядел на дядьку исподлобья, с явным неодобрением. Дольше всех не выходила Антонина. А когда вышла, наконец, и, странно волнуясь, подошла к мужу, он понял, отчего задержалась она: пудрилась. Но и пудра не могла скрыть, как постарела и

осунулась Антонина. Особенно постарели ее глаза стали тусклыми, испуганными. «Плачет много», — догадался Андрей и отвернулся.

Завтрак прошел быстро и хмуро. Все молчали. Только маленькая Марийка щебетала и ластилась к Андрею.

— Ты в школу ходишь? — спросил он.

— Не... — удивленно ответила Марийка, — теперь же немцы.

— Да, да... — пробормотал он, — я не подумал...

Он и это принял как упрек себе: словно он виноват, что теперь нельзя Марийке ходить в школу.

— Ну, я с тобой теперь сам заниматься буду, — торопливо посулил он дочке.

После завтрака Тарас стал собираться на завод. Торжественно вытащил свое рванье, стал одеваться.

— Что, отец на заводе работает? — удивленно спросил Андрей у сестры.

— Да... Вроде... — усмехнулась та.

— Под конвоем дедушку водят на завод, — кричал Ленька. — Вот. А без конвоя он не ходит.

Его голос услышал и Тарас у себя в комнате.

— Да, да, — отозвался он оттуда. — Почет! Почет мне на старости лет от немцев за мое непокорство. Как губернатора меня ведут на завод. Под конвоем!

— И ты служишь? — спросил Андрей у Насти.

— Я? Нет.

— А что ж делаешь?

— Я — прячусь.

— Прячешься? От кого же?

— От всего. От Германии. От службы. От немецкого глаза.

— Как же ты... прячешься?

— А так... Хоронюсь, не высовываюсь. У меня теперь вся жизнь в том, чтоб прятаться, — загадочно усмехнулась она. И Андрей с удивлением и даже с завистью подумал: «А они тут свою войну с немцами ведут, малую, конечно, войну, но, гляди-ка, какую непримиримую».

— Что-то мой полицией опаздывает, — сказал Тарас, выходя из своей комнаты и глядя на часы. Был одет Тарас в неопишное рванье, — где только добыл такое? — и Андрей понял: это старик нарочно.

— Опаздывает полицией! — насмешливо повторил Тарас. — Пепорядок. Конечно, извинить можно — полицейских рук у них теперь недостача. Непокорства в городе много, не управляются. — Он посмотрел на сына и

спросил, словно невзначай, небрежно: — Ты теперь в полицию служить пойдешь, Андрей, а?

Андрей побледнел.

— Как вы обо мне думаете, отец! — пробормотал он обиженно. — Даже странно.

— А куда ж тебе еще идти? — беспощадно продолжал старик. — Ты свой путь выбрал. Ты теперь — меченый... — он сердито фыркнул в усы. — Это мне на тебя обижаться надо, тебе на меня обижаться нечего.

В Андрее вдруг вспыхнула злость: «Что это отец в самом деле? Не пряниками меня немцы одаривали, — плетью... Вы и сном того не видели, что я пережил».

Ему вдруг вспомнился лагерь. Этого никогда не забыть. За это никогда не расплатиться. Ему захотелось все это зло и яростно швырнуть в лицо отцу: «Ну, давай, давай, старик, посчитаемся, у кого душа заварена злобой, давай». Но тут вдруг раздался стук прикладом в дверь и голос: «Эй! Выходи».

— А-а. Пришел-таки! — усмехнулся Тарас и падел картуз. — Ну, иди! Погляди и ты, Андрей, какой попе старикам почет! Иди, иди, — прикрикнул он на сына, видя, что тот остался на месте. — Тебе на это поглядеть надо.

Андрей послушно вышел за отцом на крыльцо. На улице уже стояли старики, опершись на палки. «Словно пленные», — подумал Андрей. Он узнал всех. Как не узнать! Мастера.

Несговорчивые старики, много они крови испортили ему в былое время, когда он сам стал молодым мастером подле них. Они всегда были для него стариками. Они всегда говорили ему «ты», он им «вы». Как не узнать! Их знали все. Академики с ними советовались. Директора их побаивались. Новый директор представлялся сперва им, потом обкому. Их можно было убедить, реже — уговорить, приказать им нельзя было.

Тарас занял свое место в ряду, полицейский махнул рукой, и старики пошли.

Они шли, крепко опираясь на палки. И теперь было видно Андрею, как постарели, согнулись, поддались мастера. И отец сдал, самый молодой из них. Рваное пальто болталось на его тощих плечах так беспомощно, так по-стариковски... Но каждый держал голову высоко и прямо. Видно, из последних сил, из непокорства, которое самой силы крепче, старались они, каждый, идти достойно и гордо. Словно и впрямь был для них этот конвой — почетом.

«Нет, это не пленные, — невольно подумалось Андрею. — Это... это «непокорные». Это не несчастенькие, это борцы».

Тарас, как всегда, шел рядом с Назаром.

— Что, Тарас, — сразу же спросил Назар. — Не Андрея ли я на крыльце видел?

— Его, — буркнул Тарас.

— А-а!.. Значит, с гостем тебя, Тарас. С сыном. По старому бы времени могоарыч...

— Не с чего.

— Да, да... Это так... конечно... Ну, и что ж рассказывает Андрей? Как? Армия наша где?

— Теперь какие рассказы!

— Ну, да... Все-таки... Это так... — не унимался Назар. — Он откуда ж пришел, Андрей?

— Из окружения, — соврал Тарас. Слова «плен» он выговорить бы не смог.

— А? Ну, да... Да... Теперь многие из окружения выходят. Вот и мы воевали в гражданскую, а такого слова чего-то не помню, не слышал: «окружение». А? Али забыл?

Дальше шли молча.

— Да... — задумчиво произнес вдруг Назар. — Разбежались наши, кто куда... Окружение... Да без вести — неизвестные... Может, и армия-то нашей больше нет, а, Тарас? Одни мечтания наши? Может, вся она, как и твой сынок, разбежалась по окружениям, да по домам... А? А мы ждем?

Тарас сам об этом думал. — с тех пор как Андрей пришел. Но теперь ничего не ответил Назару. Шли молча.

— Эй! Эй! — закричал вдруг идущий в первом ряду старик Булыга. — Эй, полицай, ты не той дорогой ведешь! Слышь-ка!

— Молчать! — рявкнул на него полицейский и потрозил ему автоматом.

Старики заволновались.

— Это куда ж нас ведут? — забеспокоился Назар. — Уже не в тюрьму ли?

— Все одно! — отозвался Тарас.

— Да, нет... Все-таки...

— Если на расстрел, — вдруг сказал лейтешик Смелыченко, Захар Иванович, — так я спасибо скажу. Все равно не долить нам до светлого дня. А чем так жить...

Но привели их не в тюрьму, и не на расстрел, а на ремонтный заводик. Это был маленький, почти кустарный заводик, его при эвакуации и не разрушали. Сейчас из его единственной трубы подымался бледно-желтый дымок.

Полицейский ушел куда-то, недоумевающие старики остались одни. Из цеха вдруг выбежал к ним какой-то человек в немецкой

спецовке, в котором Тарас по виду признал русского мастера.

— А-а,— радостно закричал он, увидев стариков.— Смена прибьыми...

— Постой! — строго остановил его старик Булыга.— Ты кто здесь?

— Я-то? — засмеялся человек.— Я мастер тут.

— Мастер? — пробурчал Тарас.— Сукины ты сын, а не мастер... Пуда.

— Постой,— опять властно прервал Булыга.— А нас сюда зачем?

— Догадываюсь,— ухмыльнулся здешний,— за тем же... Мастера?

— Ну, мастера. Допустим.

— Ну, вот. Догадываюсь так: работать будете. Работа срочная есть...

— Мы работать не будем! — сказал Назар.

— Будете! Заставят. Военный заказ — тут разговоры короткие,— вздохнул вдруг мастер в немецкой спецовке.— Видите ли, пригнали откуда-то пропасть битых танков...

— Немецких?

— Конечно, чьих же? То есть такую пропасть,— я и целых у немцев столько не видел! Ну, а своих рук у них, видно, не хватает. Которые танки поменьше побиты, те, конечно, в полевых мастерских. А эти — ну одно произведение искусства, честное слово, так побиты! Стало быть, их нам в ремонт...

— Постой, постой,— прервал его удивленный Тарас.— Битые танки? Кем же битые?

— Ну, не могу сказать кем,— засмеялся здешний мастер.— Догадываюсь, конечно, мастерами биты. Ну, теми, с кем война идет.— Он оглянулся по сторонам.— Ну, как сказать: противником!

Из цеха к старикам торопливо вышел важный и толстый немец в пенсия и в военной форме.

— А! — весело крикнул он.— Карашо! Вы есть русский мастера? О! Да! Здравствуйт, русские мастера!

Старики негромко прогудели:

— Здравствуйте.

— Будем знакомы,— сказал веселый немец.— Я есть инженер. Вы есть русский мастера. Очень карашо. И есть один работ... О! Великий работ! Надо ремонтирт танки... Скоро. Как это? А, да, срочно. Дво недели. Нет? Рас-стрел.

— Надо работу поглядеть... — негромко сказал Тарас.

— Что? А? Это есть справедливо. Майстер должен видеть работ.— Инженеру нравилось, что он умеет хорошо говорить по-русски с

русскими мастерами.— Вы увидаль работ. Битте!

Стариков ввели в цех. Они увидели длинный ряд переломанных, покореженных, разбитых немецких машин. Это были уж не те танки, что пугали их на городских площадях. Это было беспомощное, бессильное, мертвое железо.

— Да нет есть,— торжественно сказал веселый инженер.— Как это? Могучественный немецкий техника. Он есть сейчас больной. Мы с вами есть доктора. А? — засмеялся он своей шутке.

— Аккуратная работа! — восхищенно сказал Тарас, разглядывая пробиты в броне.— Ничего не скажешь. Чисто. Это где же их так сердешных? Под Сталинградом?

— Не ваше дел,— крикнул инженер, и его лицо стало багровым.— Молчайт! Молчайт! Молчайт!

— Я молчу,— пожал плечами Тарас.

— Молчайт,— еще раз, но тише крикнул инженер. Потом он вспомнил, что умеет говорить по-русски с русскими мастерами и сказал уже спокойно:— Этот танки должен скоро итти в бой. Нет? Рас-стрел.

— Мы эту работу сделать не можем,— негромко сказал старик Булыга.

— Вас? — закричал инженер.— Что? Как это... не можем?

— Не можем мы... — прогудели теперь все.

Немец удивленно поглядел на них. Он, видимо, не ждал отказа. Он даже пенсия снял и зачем-то повертел в руках.

Вдруг он понимающе улыбнулся:

— А, да, да! Я понимаю... Это есть справедливо... Майстер должен кушайт... Вы,— он ткнул пальцем в худого Булыгу,— вы есть скелет... Но майстера я буду кормить! Это есть справедливо... — он два слова выговаривал особенно вкусно: «справедливо» и «расстрел».

— Кормить? — усмехнулся Булыга.— Нет нас уж не накормишь...

— Мы эту работу сделать не можем,— твердо сказал Тарас,— мы не мастера.

— Как не мастера? — удивленно закричал инженер.

— Мы — черные рабочие.

— Как черный рабочий? — завопил немец.— Мне сказал: майстера,— он оглянулся на мастера в немецкой спецовке, но тот, странно поблещев и вспотев, отвернулся.

— Не мастера мы! — умильно сказал Назар, глядя прямо в глаза немцу.— Самоучки... Неважество... Черные рабочие... И по-

том, возьмите в рассуждение, господин,— какие мы работники теперь? Старяки. Шкелеты. И кормить нас уж ни к чему, только борму перевод. Так и живем, повестки ждем от смерти. Увольте нас! Какие мы мастера?

Немец растерянно выслушал его, обвел взглядом всех:

— Все черный рабочий? — спросил он.

— Все! — хором подтвердили старяки.

Немец просмотрел на них недоверчиво и даже обиженно.

— Я буду хорошо кормить! — нерешительно сказал он.

Мастера не шелохнулись. Они по-прежнему стояли молча и покорно, склонив головы и не покаясь ни в чем, и это больше, чем их слова, убедил немца, что эти рабочие работать не будут.

— Марш! — закричал он тогда жеступленно и замахнулся рукой, словно хотел ударить. Потом круто повернулся, ушел к себе.

Старяки продолжали неподвижно стоять на месте.

— Что ж мне теперь делать с вами? — рассердился полицейский. — Ну, до чего ж вы, старяки, вредные, скажу я вам! И помереть никак не померете. Куда мне вас теперь вести? — Он задумался и махнул рукой. — Ладно, идите пока по домам! А я господину коменданту доложу о вас, нехай распорядится. Расстрелять вас всех надо, другого с вами выхода нет.

— Спасибо за доброе слово, господин полицейский, — кротко отозвался Бульга.

Уже у заводских ворот Тараса нагнал мастер в немецкой спецовке. Он был бледен.

— Извините меня, — прошептал он, хватая Тараса за рукав. — Уж вы извините меня за мою малую душу. Не сумел я отказаться от этого ремонта, да и не подумал! А теперь уж поздно... Только учтите, что я вас не выдал. Ведь я-то знаю, какие вы мастера!

— Я не пош и не судья, — непримпримо покачал головою Тарас. — Каждый человек живет по своей совести.

Дома Тарас застал только Андрея — жепщиц не было.

— Тебя-то мне и надо, — сказал Тарас сыну. — Садись.

Тот сел.

— Ты, Андрей, — начал Тарас, — хоть какой-никакой, а все-таки человек военный... Так?

— Ну, так... — ответил сын и тоскливо подумал: «Долго он надо мной издеваться и

меня мучить будет? Или это теперь навсегда?»

— Не вояка, конечно, об этом говорить не будем, — продолжал Тарас, — а все-таки к чему тебя учили. Так?

— Ну, так.

— Вот ты мне скажи, с какого расстояния надо гранату кинуть так, чтоб танк разворотить.

— А вам зачем, — усмехнулся Андрей. — Кидать гранаты собрались?

— А, может, и собрался. Был бы помоложе — кидал бы. В плен не сдавался бы, будь покоен.

— С пяти, с десяти метров вернее всего... — зло ответил Андрей.

— Так близко, — удивился Тарас. — Это что ж, значит, жди, пока на тебя танк наплетет? Так, что ли?

— Ну, почти так...

— Большая смелость для такого подвига нужна! А? Тут надо душу иметь железную.

— Да-да... Разумеется...

— Десять метров... Ишь ты, я думал дальше. И что же, — спросил он опять, — найдется такие смелые люди, а?

— Есть конечно... Да вам-то что, — насторожился сын.

— Да... Есть... — вздохнул старик. — Счастливые те отцы, у которых такие дети. Ну, ладно! Теперь другой вопрос: а броня? Броню танка гранатой ведь не возьмешь? Выходит, тут пушкой брать надо? А?

— Ну, пушкой...

— И не всякой пушкой, заметь! Тяжелый танк легкой пушкой не возьмешь?

— Конечно.

— Значит, должны тяжелые пушки, мощные быть? Так.

— Ну, так...

— Выходит, и пушки есть. Значит, есть? Есть! — торжествующе крикнул старик и ударил ладонью по столу. — Есть, чортов ты сын, наша армия! А я из-за тебя сегодня чуть веры не лишился!

— Послушайте! — в бешенстве вскричал Андрей.

— Нет, — оборвал его отец, — ты меня теперь послушай.

Он встал из-за стола перед Андреем, грозя ему черным, узловатым пальцем.

— Под Сталинградом, или где в другом месте, побито нашей армией много немецких танков. Немцы сюда их привезли. Чинить. Подлых рук ищут. Так вот тебе мой последний сказ, Андрей. Ты, что хочешь, с собой можешь делать. Хоть в полицию иди служить.

Мне до тебя дела нет. Я тебя из своей души вырубил. Но па завод! Слышишь? На завод! — он остановился, захлебнувшись кашлем. Бледный Андрей молча стоял пред отцом.

— Я тебя, мальчонкой, — продолжал отец, — на завод привел. К своему верстаку поставил. Я тебе, чортов ты сын, свой напильник дал и показал, как держать его в руках надобно. И объяснил я тебе, чортов ты сын, какой напильник к чему, — какой драчевый, какой личной, какой бархатный. Так? И если ты теперь отцовским напильником посмеешь... Посмеешь... Я тебя сам, своими руками! А в остальном, — устало махнул он рукой, — живи, как сам знаешь. Что хочешь делай с собой!

3

«Что хочешь делай с собой!» — сказал ему отец, а Андрей и не знал, что ему с собой делать.

Сам лишний всех человеческих прав, он не мог быть семье ни заступником, ни кормильцем. Он был лишний рот, ничего больше.

Его жизнь теперь не имела ни смысла, ни оправдания, ни даже цели. Зачем ты живешь на земле, Андрей? На это ему ответить было нечего.

Даже в плену у него была цель жизни: выбраться! Вырваться из-за колючей проволоки. Выбрался. Живя у Лукерьи, он лелеял новую цель: добраться во что бы то ни стало до семьи. Добрался. И повис на шею семье тяжелым грузом. Дальше что? Он не знал, что дальше...

Отец его, Тарас, жил, и терпел муки, и берег семью ради того, чтоб дожидаться прихода наших. Ждать, ни в чем не покоряясь врагу — вот ради чего жил, стиснув зубы, старый Тарас.

Андрей не имел права ждать. Ждать, пока тебя, здорового человека военного возраста, придут и освободят. С какими глазами выйдешь к освободителям?

Да и ждать было невыносимо: голод повис над семьей. Андрей голову ломал над тем, как помочь семье, но придумать ничего не мог. Пти на работу? Куда? Да и работа на немцев не кормит, а сушит. Не в полицию же идти служить в самом деле!

Полицейские пронюхали про возвращение Андрея. Долго вертели его бумаги в руках, придирались. Требовали, чтоб стал на учет, определился на место. Андрей отговорился болезнью. Потребовали справку от врача, намекнули, что можно обойтись и «по-хоро-

шему» — взяткой. — Но взятку давать было не из чего. Андрей отдал полицейскому зажигалку, которую от нечего делать смастерил для себя. Полицейский взял.

«К Лукерье Павловне в деревню пойти что ли, добыть хлеба для семьи?» — подумал как-то Андрей и долго потом носился с этой мыслью. Но жене побоялся сказать. Ни слова не проронил тогда Антонина в ответ на его признание и потом не обмолвилась ни разу, но Андрей чувствовал — касаться этого не надо, нельзя.

Лукерья Павловна сама пришла в дом Тараса. Нежданно. В полдень, когда дома были только бабка Ефросинья да Антонина.

Лукерья робко отворила калитку.

— Что, Андрей Тарасович Яценко здесь проживает? — конфузясь, спросила она у Антонины.

— Да... — удивленно отозвалась та и стала разглядывать незнакомую гостью: ее деревенский наряд, узелок в руках.

— А его видеть... можно.

— Его дома нет. Но он скоро будет. Вы подождите.

— А вы кто же будете... — опасливо спросила женщина. — Жена?

Что-то в голосе ее заставило Антонину ответить:

— Пнет... Сестра.

— А! — обрадовалась женщина и облегченно вздохнула. — Значит, дошел он? Живой? — И она засмеялась радостно.

Они все еще стояли у калитки.

— Вы Лукерья Павловна? — тихо спросила Антонина и вдруг почувствовала, что все лицо ее заливаается краской.

— Да, — удивленно ответила гостя. — А что, вам про меня рассказывал Андрей Тарасович?

— Да... Рассказывал... — не глядя на нее и комкая край фартука, сказала Антонина. — Да вы что же стоите здесь? — встреленулась она вдруг. — Вы проходите, проходите в комнаты...

— Нет, ничего. Вы не беспокойтесь. Я и тут подожду. Значит, живой! — снова повторила она и опять радостно вздохнула.

Антонина ввела ее в комнату, усадила за стол. Лукерья Павловна осторожно повела взглядом вокруг.

— А где же жена... — спросила она, с трудом произнося слова. — Что, нашел жену Андрей Тарасович?

— Пнет... — запинаясь, ответила Антонина. — Жены у него нет.

— Как нет? Он сказывал: жена есть.

— Да... Но она уехала... Эвакуировалась. Пропала без вести... Так и нет вестей...

— А! — покачала головой Лукерья. — А уж он убивался по ним как, по жене, да по девочке. Он, ведь, знаете какой, — застенчиво улыбнулась она, — он ведь первый да нравный...

— Да, знаю...

— Значит, живой, — в третий раз повторила она и опять счастливо улыбнулась.

В это время и вошел Андрей. Увидев Лукерью рядом с женой, он испуганно отшатнулся. Потом подошел... Лукерья радостно поднялась ему навстречу, краснея и прижимая руки к горлу и вдруг, случайно взглянув на Антонину, — остановилась. Что-то — она и сама не знала что — заставило ее догадаться, что Антонина по сестра Андрею... Она опустилась на стул, оробела, и вся сжалась в комочек.

— Вы уж извините... — сказала она растерянно. — Так вышло... — и болезненно улыбнулась. — Жопечно, каждой бабе своего счастья хочется... хоть приблизительно...

— Ничего! — грустно вздохнув, отозвалась Антонина. — Горе у нас общее.

«Хорошо как вышло, — подумал Андрей, садясь. — Очень нехорошо! Некрасиво. А кто виноват? Я ли один или уж время такое... лихолетье, война?»

Неожиданно пришел Тарас. Ему, видимо, бабка уже сказала о госте. Он шагнул прямо к ней и низко-низко ей поклонился.

— Спасибо тебе, женщина! — сказал он, и голос его дрогнул. — За душу твою спасибо! За твое человечество! Только не того ты человека спасла. Не стоит этот человек того... — он презрительно взглянул на сына и вышел.

Всем стало еще более неловко.

— Сердитый у нас дед... — извиняясь сказала Антонина. — Принципиальный... Вы уж не взыщите. Такой он...

— Нет, я ничего... Ничего... — торопливо сказала Лукерья. — Я что ж? Я ведь только поглядеть зашла, убедиться: живой ли. А теперь я пойду, — заторопилась она.

— Куда же вы? — испугалась Антонина. — Оставайтесь у нас. Переночуйте. Погостите. Как же так? Так нельзя! — И она оглянулась на мужа. Тот стоял молча, потупившись.

— Нет, нет, спасибо, спасибо, не беспокойтесь... — засуетилась Лукерья. — Я тут у родственницы. — Она встала и хотела уйти, но не знала, что делать ей с узелком, который все время лежал у нее на коленях. — Извините, — решительно сказала она, подымая

узелок. — Это я... в подарок, — она посмотрела на Андрея, потом на Антонину и протянула узелок ей.

— Нет, нет, не надо, что вы! — отшатнулась та и замахала на нее руками.

— Не обижайте! — тихо проговорила Лукерья.

Андрей пошел провожать ее. Антонина молча смотрела с крыльца, как шли они рядом. Она вздохнула и опустилась на ступеньки...

— Какая женщина хорошая! — умильно сказала бабка Ефросинья, развязывая узелок. — Вот, подумала про нас. Гостинчик припасла. А семье — все поддержка.

Тарас услышал это и выбежал из своей комнаты, багровый от стыда.

— Догони! — закричал он сердито. — Отдай. Что же, мы нищими уже стали? Милостыню берем? — но тут он увидел Марийку: девочка бескорыстно-счастливыми глазами, как на чудо, смотрела на яйца. Тарас махнул рукой и вышел во двор.

«Щипце? Хуже щипих, — подумал он и, покачав головой, оглядел дом и хозяйство. — Все покосилось. Сарай как старик скорбился, дом еле дышит, надо бы чинить, да где уж!.. — Человека тоска ест, металл — ржа, а дерево — черви. Так уж заведено! Все прахом пошло. Впору для всей фамилии гробы готовить. Да и на гробы, — горько усмехнулся он, — леса нет. Всего три сосновых доски в хозяйстве».

4

Три сосновых доски... Из них даже гроба не сделаешь! Но Тарас и не собирался сколачивать для себя гроб. Он еще не хотел умирать, он еще не лишился веры.

Из сосновых досок он сколотил ящик. Приделал к нему колесо. Прибил ручки. Получилась тачка.

Бабка Ефросинья тревожно следила за работой мужа.

— Итти собрался, Тарас?

Он не ответил.

— Может, обойдемся? — нерешительно сказала она.

Он досадливо передернул плечами:

— Э! Пустые слова!

— Сам пойдешь?

— А кто же? Больше итти некому.

— Может, Андрей? — осторожно спросила она.

— Андрей до нас не касается, — хмуро отмахнулся старик.

Бабка Ефросинья грустно покачала седею головой.

— Не такие твои года, чтоб итти, Тарас... — вздохнула она.

— Да, — криво усмехнулся Тарас. — Не такая мне старость причитается за мой труд на земле. Ну, да что толковать! Не умели свое право защитить, не сумели своих сынов воспитать, — теперь обижаться не на кого.

Вечером бабка Ефросинья и Настя собирали Тараса в дальнюю дорогу. Вытаскивали из заветных сундуков платья, костюмы, белье, стряхивали нафталин, разглядывали вещи на свет: возьмут ли в деревне, что дадут за них. О каждой вещи, вытаспанной из сундука, бабка Ефросинья могла бы рассказать целую историю: как откладывались из полочки деньги, как долго и страстно совещались все женщины дома, как потом, всей семьей, шли покупать. Но об этом лучше было не вспоминать. Бабка Ефросинья и не вспоминала, а только вздыхала тайком от Тараса, укладывая вещи в тачку.

Но один сундук она долго не хотела отпирать. Все обходила его и снова к нему возвращалась.

— Тут Настюшкино приданое, — сказала она наконец.

— Вот как? — удивилась Настя. — А у меня и приданое было?

— А как же! — обиделась мать. — Не хуже чем у добрых людей!

— А я и не знала, — засмеялась Настя. — Ну, отпирайте, мама. Женихов все равно нет. Не идут женихи, задержались за Доном. Отпирайте!

Ефросинья Карповна отперла сундук и, повалившись на вещи, заплакала. Настюшкино приданое тоже пошло в тачку.

Ночью пекли Тарасу на дорогу лепешки из последней муки.

— Ты с рассветом пойдешь, Тарас? — осторожно спросила жена.

— А что? — насторожился Тарас. Он и сам думал выйти с рассветом.

— Днем, я думаю, некрасиво будет с тачкой пойти... Люди нашу бедность увидят.

— А мне стыдиться нечего! — закричал Тарас.

— Прежде ты бедности стеснялся...

— Прежде! — проворчал он. — Прежде тот беден был, кто работать не хотел. А теперь мне стыдиться нечего. Днем пойду, — закричал он в бешенстве. — В самый полдень. Пусть все мою тачку видят.

И он, простившись с семьей и даже не

взглянув на Андрея, вышел из дома ровно в полдень.

Высоко подняв голову и раздувая седые усы, пошел он, толкая тачку, через весь Каменный Брод, через весь город, по самым людным улицам. Знакомые молча глядели ему вслед...

А он шел, ни на кого не глядя. Торжественный и печальный, весь черный от горечи, сжигающей его, шел он, сгорбившись над тачкой, начиная свой крестный и, может быть, последний путь.

Так прошел он через весь город и вышел на большую дорогу. У перекрестка он остановился, чтоб разогнуть спину. Но то, что увидел он на дороге, заставило его обо всем забыть.

Тачки, тачки, тачки, насколько хватало глаза — одни тачки да спины, согбенные над ними. Сныны и тачки, — больше ничего не было, словно то была дорога каторжников. Скрипя и дребезжа катились тачки по камням и тащили за собой людей, измученных, потных, черных от пыли. Казалось, это не люди идут, а сами тачки с прикованными к ним человеческими руками.

Словно никогда не было на земле ни железных дорог, ни автомобилей, ни пара, ни электричества, и человек еще не приручил лошадь; словно никогда не было на земле магазинов, и люди всегда брели за хлебом туда, где его сеют... Словно никогда ничего не было на земле — только тачки да горбатые спины, да пыльная дорога впереди.

Подле тачек устало и безнадежно брели люди. Старики, женщины. Шли семьями. Муж и жена поочереды толкали тачку. Восьмилетняя девочка несла на руках маленького брата и прижимала его к себе бережно и любовно, как мать. В тачке сидел малыш и навзрыд плакал, раздирая пальцами опухшие от пыли глаза. Ничего уже не было на земле у этой семьи, — ни родного города, ни дома, ни своей крыши. Для них не было ни высокого неба, ни крылатых облаков на нем, ни зеленых верхушек деревьев. Ключок пыльной дороги впереди — вот и все. И они проклинали дорогу. Они ощущали солнце только затылком, немилосердное, злое солнце, — и они проклинали солнце. Их плечи дрожали и ежились под внезапными дождями, — и они проклинали дожди. Их окровавленные, стертые руки уже не могли толкать тачку, — и они проклинали руки. Но того, кто был единственным виновником их горя, нельзя было проклинать вслух. И они, измученные дорогой и тачкой, проклинали немцев каждым вздохом усталой

груди, каждым глевок обметанного зноем и пылью рта, каждым стопом ребенка...

Тарас стоял на перекрестке и растерянно глядел на дорогу. «Боже ты мой! Боже ты мой!» — повторял он, качая головой. Он и не представлял себе раньше размеров народного бедствия. «Боже ты мой! Боже ты мой!» И пред этим океаном народного горя свое горе показалось ему маленьким и ничтожным.

И как ручеек, откуда бы он ни бежал, в конце концов всегда вливается в море, так и старый Тарас влился в океан народного горя и растворился в нем.

Человеческий поток принял его, закрутил, согнул над тачкой и пошел. Теперь и у него была только тачка, да клочок дороги впереди, и для него уже не было ни неба, ни леса. Весь народ шел прикованный к тачке, шел и старый Тарас.

Через несколько часов он почувствовал, что устал. Поясница нестерпимо пыла, руки, натертые деревом, горели. «Не привык еще», — усмехнулся Тарас и свернул с дороги.

В канаве отдыхали люди. Какой-то юркий седоватый человек с веселыми глазами тотчас же спросил Тараса:

— Откуда?

Тарас сказал.

— Куда же вы идете? — удивленно всплеснул руками юркий человек.

— Как куда? — пожал плечами Тарас. — На Днепропетровщину...

— А зачем?

Тараса рассердил этот вопрос, он не ответил.

— Если вы идете туда за хлебом, — торопливо сказал юркий, — так я вас не понимаю! Я сам из города Днепропетровска. Честь имею, Петушков, Яков Иванович, парикмахер. Если бывали в нашем городе, то обязательно брлись у меня. Знаете, парикмахерская «Красного Креста» на...

— Нет, не бывал.

— Да? Жаль. И вы идете в Днепропетровск! — всплеснул руками парикмахер. — Я иду оттуда. Это нищая область.

Тарас недоверчиво пожал плечами.

— Вы мне не верите? — обиженно вскричал Петушков, — вы сомневаетесь, как такая область могла стать нищей? Так я вам скажу! — Но тут он вдруг спохватился и опасливо поглядел по сторонам. — Нет, я вам ничего не скажу. Идите. Идите!

— Ваш город давно... э... под властью... э... фюрера? — послышался вдруг голос из канавы и оттуда приподнялся кожаный человек в пенсне.

— Пап? — переспросил Тарас, — четыре месяца.

— А-а! — загадочно усмехнулся человек в пенсне. — А мы уже ровно год...

Тарас понял и опустился рядом со своей тачкой. Человек в пенсне и парикмахер сочувственно смотрели на него.

— А вы куда идете? — спросил он глухо.

— К Дону, — ответил парикмахер. — Там еще должен быть рай...

— Рай! Э... — усмехнулся человек в пенсне. — Мне достаточно и полного амбара.

— Рай! — закричал яростно Петушков. — Мне для моего продукта обязательно нужен рай. На меньшем не помирюсь.

Тарасу было все равно куда идти, к Днепру ли, к Дону. Он вытащил тачку на дорогу и, подумав немного, зашагал на восток. Теперь солнце было у него на затылке. Впереди маячила вертякая спина парикмахера, сзади тяжело дышал, сопел и кашлял человек в пенсне, которого звали Петром Петро-вичем.

Вечер застал их в поле за Доном.

— Здесь почевать будете? — спросил парикмахер.

— Надо бы в село... — нерешительно сказал Тарас.

— В село? Э, пет! Туда нашему брату... э... бродяге на ночь хода пет... Запрет.

— Чей?

— Чей же? Их.

— Партизан бояться... — шопотом прошептал парикмахер и тихо засмеялся.

На поле уже кое-где дымились костры тачечников, и, завидев их мирный дымок, с дороги стали сворачивать люди. Выбирали себе место на поле, ставили тачку и валились под нее без сил.

Поле давно было вытоптано. В то жестокое лето через него не раз перекатывались армии и народы. Повсюду были видны следы боев и следы кочевий: сожженная трава, расщепленные деревья, окопы, воронки, пепел, черные остатки костров...

Прокатились чрез это поле беженцы и рассеялись по лицу земли. Только трупы павших лошадей у дороги остались да следы повозок, глубокие и горькие, как морщины.

Прошли по этому полю армии, истоптали его, борясь, похоронили покойников, подбирали рапешых и прошли дальше, поля этого не забыв. Только рапешые помнят: их кровь на этой черной траве...

И вот раскинулся здесь теперь диковинный лагерь тачечников. Баба, сняв с себя ситцевую кофточку, стирает ее в воронке. Вода ржавая. Говорят, от глинистой почвы. А, может, и от крови? Дети спят в окопах.

На остатках старых костров раздуваются новые. И уже ползет к небу горький, сиротский дым... Догорает закат, невиданный, багрово-черный, словно он выпит всю кровь и все горе земли, пламя ее битв и дым ее костров. А с дороги приходят все новые и новые толпы людей с тачками. Уже тесно на поле. Уже в канавах спят люди. Жмутся один к другому. Из Харькова, из Полтавы. Из Донбасса, из Запорожья. Артемовцы с мешком соли на тачке, кремenschуццы с табаком, рубожапы с банками краски. Словно все города Украины сбились на этом поле. Словно весь народ пошел кочевать с тачкой, искать хлеба... Хлеба!

«Украина ты моя, Украина,— покачал головой Тарас.— Бедолаги мы с тобой».

Меж тем парикмахер раздул костер и теперь, любуясь, глядел, как кучерявится и завивается пламя, словно то была лучшая прическа его работы.

Со всех сторон к огню потянулись руки. Человек в клетчатом пальто и мягкой шляпе, сидевший в стороне, тоже невольно потянулся к огню, но не подвинулся, не подошел.

— А вы, гражданин, откуда идете?— любезно крикнул ему общительный Петушков, как бы приглашая к огню и к беседе.

— Простите... гм...— глухо отозвался человек в мягкой шляпе.— Я на улице... гм... не разговариваю,— и уткнул лицо в воротник пальто.

— Интеллигент!— обиженно сказал Тарасу Петушков.— Интеллигент с высшим образованием! А коли ты интеллигент,— крикнул он яростно,— так сиди дема, нечего па дорожку выходить!

— Простите... гм...— произнес человек в шляпе,— я вижу вы не поняли... Я— певец. Я должен горло беречь... Здесь сыро...

Петушков расхохотался:

— Ну, голос надо было дома беречь!

— Мне выбирать не приходится,— кротко возразил актер.

— Да, выбирать не приходится,— вздохнул Петр Петрович.— Если бы мне два года назад приснился сон, что я, пожилым человеком, бухгалтер Вострыков стану... э... бредягой— я подумал бы— экий дурпой сон! А вот... э... сбывается. Да вы подсаживайтесь, подсаживайтесь,— крикнул он актеру.— Огонь— бесплатно.

— Благодарствуйте,— ответил тот, приподняв шляпу, и пересел ближе к огню.

— Что же это вы так?— усмехаясь спросил его Тарас.— Говорят, немцы артистов любят.

— Но я... гм... немцев не люблю. Простите. Грешный человек. Русский.

— Какая компания!— восхищенно произнес парикмахер.— Какое общество собралось у нашего огонька. А, Петр Петрович? И в хорошее время не каждый день соберешь такое общество!

— Да...— мечтательно крикнул бухгалтер,— к этому бы обществу да графинчик... С лимонной корочкой!..

— С апельсиновой...— кротко вставил актер.

— Зачем же с апельсиновой? Общепринято с лимонной. От дедов.

— Апельсиновая мягче— пиаче не могу... Простите. Гм! Голос.

Парикмахер подбросил веток в костер. Сырые, они зашипели в огне, как клубок змей, и скорчнулись.

— Яичница с помидорами,— сказал парикмахер,— вот мое любимое блюдо, если угодно знать.

Ему никто не ответил. Он снова подбросил веток в огонь.

— А этот бурак можно варить,— послышался вдруг робкий женский голос.

— Что?— обернулся парикмахер.

Бочком к огню, положив голову на свою тачку, сидела женщина. Она повторила:

— Я говорю... вот бурак па поле... его можно варить.

— Позвольте!— всполошился актер,— но это кормовой бурак. Это корм свиньям...

— Э, батенька,— возразил бухгалтер.— Чем же мы, люди, хуже свиней? Ведь мы свинину едим?..

— Ели,— поправил Тарас.

— Ну, ели. Значит...

— Только люди уж, вило, весь бурак повытаскали,— грустно сказала женщина.

— А вот мы понцем!— воскликнул парикмахер и ринулся в поле.

Он скоро вернулся потный и всклокоченный...

— Да...— сказал он выкладывая перед женщиной все, что собрал.— Из-за бурака и то драка. Зверь стал народ.

— Голод...

— А в чем же варить?— спросила женщина.

— Да. В чем же варить? Я и не подумал,— парикмахер огляделся беспомощно вокруг себя. Было темно, но от костров падали на землю огненные пятна.— Э! вот!— он наклонился и поднял что-то с земли. Каска!— он подал ее женщине.— Вари в ней!

Женщина повертела каску в руках и вдруг всхлинула:

— Что вы?— исполнились все.

— Пробытая...— она показала каску, и все увидели черную дырочку в звезде.

У костра стало тихо.

— Я другую найду,— нервно усмехнулся парикмахер и начал шарить руками в траве.

— Может, это мужа моего каска...— тихо всхлинула женщина.

— Котелок нашел!— закричал парикмахер.— Кажется, целый...

Скоро бурак сварился. Тарас достал полешки, остальные— что у кого было.

— Смотрите!— удивленно сказал парикмахер.— Вкусный бурак.

— Голод— лучший кулинар. Э... это известно...— засмеялся Петр Петрович.

— Я не возражаю против голода!— вдруг взволнованно сказал актер.— Артист должен быть немного голодным, иначе поет желудок, а должна петь душа. Но я не могу петь, когда люди жрут!— закричал он.— Чавкают! Я служил в Харьковской опере... Хорошо, пусть немцы. Я знаю немцев. У них был Вагнер. По это... это— не немцы. Нет! Не спорьте со мной! Они заставляли меня петь у них на ужинах... и чавкали... и кричали: «Вагнера? К черту Вагнера!» И требовали от жепя песенок, которые поются у них в борделях.— Он вдруг остановился, взялся рукою за горло и зябко повел головой.— Простите... Гм... я не должен волноваться. Голос. Должен беречь. Я еще надеюсь спеть Вагнера... Один раз в жизни!.. Когда...— он не докончил, но все поняли и вздохнули.

— Вам сырые яйца надо глотать...— сочувственно сказал парикмахер.— Каждый день сырые яйца. Я близкий к искусству человек, я понимаю...

— Да, это хорошо... Яйца...— расслабленно произнес актер.

— Мы найдем богатое село!— вдохновенно продолжал парикмахер.— Мы найдем такое место, где еще есть яйца... И амбары полные хлеба!.. И нас встретят как желанных гостей... и...

— Нет таких сел, Яков Иваныч,— покачал головой бухгалтер.

— Есть,— закричал Петушков.— Должны быть. Для моего продукта мне нужно село богатое, неразоренное, веселое...

— А что у вас за продукт?— спросил Тарас.

— О! У меня продукт психологический!— уклончиво ответил парикмахер.

— Восемьдесят четыре картошки и сто семнадцать ложек муки,— вдруг тихо прошептала женщина.

— Что?— встрепнулись все и огляпу-

лись на нее. Женщина смутилась. Она не заметила, что произнесла это вслух.

— Нет, позвольте!— пристал к ней неутомимый Петушков.— Вы сказали что-то про картошку?

И он выпытал всю историю. У женщины— ее Матрешей звали— на шахте две девочки остались. Старшенькой—десять, меньшенькой— пять. Она оставила им немного муки и картошки. По счету. И приказала брать в день три картофелины и класть в суп три ложечки муки. Старшенькая, Любаша, поклялась, что не потратит больше. Теперь у них осталось сто семнадцать ложек муки и восемьдесят четыре картошки. А мать еще и полноти не прошла.

— Да и пас, Яков Иваныч, дома ждут голодные...— глухо сказал бухгалтер.— Сколько уж мы ходим с тобой?!

— Так ведь не с пустыми руками ждут? С хлебом. Что мы им без хлеба? Надо пойти село богатое, неразоренное, чтоб обменяли мы свое барахло с пользой...

— Где же такое село пойти?— вздохнул бухгалтер.— И найдем ли?

— Найдем!— уверенно ответил парикмахер.

— Ну, ну!

И перепочевав подле тлеющего костра, опи с рассветом, все вместе, отправились искать землю неразоренную...

5

Поиски земли неразоренной... Никогда Тарас и подумать не мог, что наша земля так велика и бескрайна, что столько на ней сел и станиц, хуторов в коричневом вишени, одиноких лесных избушек, столько дорог! И широкие, как бульвары, грейдерные, с акациями в два ряда, и старые, травой заросшие чумацкие шляхи. И новенькие, строгие профилировки с кюветами, полными воды, и горбатые проселки с навеки окаменевшими колеями в грязи, и веселые, опущенные золотом соломой, как казачьими лампасами, полевые дорожки, и бойкие, в рытвинах и ухабах, непроезжие в грязь большаки, и робкие, путанные степные тропки, и, как стрела, тугие и прямые просеки в лесу. Много дорог: по всем по ним прошли Тарас с его товарищи, а все еще не нашли земли неразоренной.

Неунывающий Петушков вел их и все сулил счастливую землю впереди, но не было этой земли на горизонте. Горели села, мычали уголемые немцами стада, пла-

кази бабы, качались у дорог удавленники,— синие босые ноги не доставали до травы.

И часто теперь к костру тачечников приходили искать пристанища бабы с детьми из сожженных сел.

— Пустите погреться, люди добрые! Ничего у нас теперь нема. Нема хаты, нема добра. Одна душа осталась.

— Шестьдесят шесть картошек и девяносто девять ложечек муки...— шептала Матрена, глядя на детей погорельцев.

Петушков теперь то и дело расспрашивал встречных тачечников про края, из которых они идут.

— Ну, как там, а? Меняют?..

— Да, меняют...— неохотно отвечали люди.— Христа ради меняют... У самих ничего нет...

— То есть как нет?— удивлялся Петушков.— Куда же делось?

— Куда, куда! Известно, куда девается...— и исчезали в дорожной пыли, безмятежно махнув рукой.

После таких разговоров было еще труднее идти и верить, что есть на свете земля неразоренная.

— Нет ее, нет,— твердил Петр Петрович, но шел, как и все...

— Должна быть!— кричал парикмахер.— Не могут же немцы такую жирную землю обглодать, как косточку...

— Немцы все могут!— качал головой Тарас.

— Шестьдесят картошек и девяносто три ложечки муки,— шептала, вздыхая, Матрена.

Дымил костер... тлели старые, палые листья... И не было земли неразоренной.

Тарас кочерился от пыли, похудел и стал совсем молчаливым. Чем больше чужого горя видел он вокруг, тем меньшим казалось свое. Ему было все равно, куда идти. Ему было все равно, что есть — бураки, лесную ягоду, грибы, кору с деревьев. Спина его сгорбилась над тачкой, кровавые мозоли на руках отвердели. Он шел за одержимым мечтою Петушковым и сам не знал, верит ли он, что есть земля неразоренная, или уже не верит...

По почам у костров Петушков вдохновенно рассказывал о жирной, петропуганой земле, что ждет их впереди. Тарас молчал, бухгалтер спорил. Актер сам загорался мечтой.

— Да, да!..— говорил он.— Это прекрасно!— и с тревогой заглядывал в глаза парикмахера.— По дойдем ли, дойдем?— Его пальто истрещалось в дороге, к нему пристали репей и колючки; мягкая шляпа, в которой он спал, давно потеряла форму. Он был небритый, худой и старый человек, с большим

кадыком— никто бы не узнал в нем знаменитого харьковского баритона.

— Дойдем!— убежденно отвечал парикмахер.— За Доном земля богатая — и он начинал рассказывать об этой земле. Чем дальше не было желанных сел на их пути, тем ярче и фантастичнее были его рассказы.

— Таких сел нет и никогда не было!— спорил с ним бухгалтер.

— Были!— защищал актер.— Мы давали концерт однажды, и я помню столы под вишнями... Горы душистого белого хлеба. Кувшины с молоком. Золотистый мед в прозрачных чашах... Яичницы — как вечерний закат...

— Да, жили, жили...— вздыхал Тарас.

А Петр Петрович все никак не мог вспомнить, отчего он был раньше недоволен жизнью.

— Определенно помню,— недоумевал он,— был я недоволен. А чем, отчего? Хоть убей, не вспомню!

И тоже никак не мог вспомнить, из-за чего не ладил со своим директором.

— Я из-за него и не эвакуировался... Нет, говорю, не поеду. Мне лучше с немцами жить, чем с вами, директор. А из-за чего ссорилсь?— Э... Не помню! Определенно помню: хам он был, скотина. А теперь, доведись встретиться... Э... расцеловал бы я его, хама. Честное слово, расцеловал бы!

— Да, жили, жили...

— Пятьдесят четыре картошки и восемьдесят семь ложечек муки.

А земли неразоренной все не было.

Они вошли уже в доложные степи. «Теперь скоро, скоро»,— говорил Петушков. Он повеселел. Иногда, сгорбившись над тачкой, он свистел даже.

Они шли теперь по жирной, черной, доброй земле. По вечерам над нею подымался такой густой и сытный пар, что Петушков уверял, будто его можно мазать на хлеб, как масло. Но у них не было хлеба. Они, как воробьи, питались падалицей. Вокруг них на сотни верст осмыслились и гнили иненичные поля,— тачечники собирали и ели гнилые зерна. «Теперь скоро, скоро»,— уверял Петушков. Он положительно ослепел от запахов жирной земли, клевера и гречишного меда. Он во всем видел и угадывал приметы счастливой земли, как моряк в тумане моря угадывает приметы близкого берега.

— Видишь, какие станицы пошли!— говорил он.— Большие, хозяйственные...— и он показывал на остатки колхозных дворов, тракторных станций; на веселые крыши под железом и черепицей; на теплые, крытые скот-

ные двory. Его смущало, правда, что не слышно тут ни рева стада, ни кудахтастья птицы.

— Дальше, дальше все будет!— убеждал он, и все теперь верили ему. Запах гречишного меда и гниющей пшеницы раздражал их жадные позыри...

На допских дорогах наши тачечники столкнулись с потоком из России. Появились люди из Курска, из Белгорода, из веронейских городов. Россия встретилась с Украиной, поставили рядом тачки, сели, закурили цыгарки из прошлогодней сухой травы, растертой тут же на кровавых от тачки ладонях.

— В больше станицы не ходите,— советовали они друг другу.— Там немецкие гарнизоны стоят... И достать ничего не достанете, да еще и последнее немцы отымут.

— Да уж, после них ходить нечего... Аккуратно едят... Как саранча...

— Ну, как у вас?— расспрашивал Тарас людей из Курска.

То только отмахивались в ответ:

— Да как и у вас. Похвастаться нечем...

— Лютуют?

— Об этом уж не будем говорить...

И Тарас задумывался, толкая свою тачку: есть ли мера людскому горю, есть ли сроки?

— Сорок восемь картошек и восемьдесят одна ложечка муки,— тревожно шептала Матрена.— Боже ты мой, боже!..

А неразрешенной земли все не было...

На другой день Петушков вывел их с большака на автомобильную дорогу.

— Теперь скоро!— объявил ей, словно даю ему быль, как пророку, видеть сквозь туманные дали.— Теперь скоро!

Они втащили свои тачки на крепкий, сухой, угатанный грунт грейдера и первое, что там увидели, была распростертая женщина.

Она лежала у обочины подле своей тачки, лицом вниз.

— Мертвая...— удивленно сказал бухгалтер.

Они столпились над ней, растерянные и подавленные. Окаменевшие руки женщины впились в куль зерна... мешок свалился с тачки и прорвался. Из него высыпались на землю хлебные зерна, и казалось, мертвые руки женщины пытаются собрать их и собрать не могут.

— Не дошла...— тихо прошептала Матрена.

Осторожно, чтоб не задеть мертвую колесами, обошли тачечники труп и молча побрели дальше. И снова была перед ними дорога, рыжая от пыли.

В эту ночь холодный дождь заставил их спрягаться в скирдах сена. К трем мокрым

скирдам сбилось множество тачечников. Они облепили их жалким мушинным роем, забились в сено, жались друг к другу— одинаково мокрые и дрожащие. Над скирдами стоял непрерывный кашель. Хриплый, больной... Никто не мог уснуть. А дождь падал и падал. Начинаясь пора осенних дождей, а все не было земли неразрешенной...

И Петушков вдруг подумал: «А может, ее и нет вовсе? Одно мечтанье?»— и тотчас же бросился к тачке: «Промокнет продукт!»— и лег на тачку всем телом. А бухгалтер Петр Петрович задышался в кашле и думал: «Не дойду. Разве в мои годы бродяжат?», давился кашлем и сплевывал густую, склизкую мокроту. Всю ночь мерещилась Матрена— мертвая женщина, как лежала она, царапая обочевенными пальцами землю и все пыталась собрать зерна и не могла собрать... «А дома, поди, как и у меня, голодные рты ждут. Теперь и не дождутся!» Актер ворочался в сене и все не мог уснуть. Он закутал горло шарфом, но с мокрого сена, стекали ему на голову и за шиворот топки струйки воды и ползли по телу, словно что-то холодными пальцами ощупывал его... «А ты стар стал, старик... И худой. Один ребра. Пет, не дойти тебе, не дойти... И тело у тебя уже пропало». Актер громко ойкался: «Гм! Гм!» Он хотел убедиться, что есть еще у него голос. Он даже крикнул что-то хрипло, простуженно... А струйки все ползли по его телу. И всю ночь стояла перед Тарасом мертвая женщина. Стояла во весь рост, протянув к нему руки, как в судьбе. «Определи, Тарас, меру за мои муки!» И он отвечал ей: «Такой меру, женщина, нет».

Утром дождь кончился, взошло солнце на редкость молодое и веселое. Петушков воспрянул духом.

— Я всю ночь не спал, думал,— торопливо сообщил он.— И, знаете, я нашел, отчет нам не везет.

Все молча смотрели на него.

— Мы все вьемся около больших дорог. Ну, ясно, тут немцы. После них нечего искать. А нам надо в глушь!— крикнул он.— В глушь! Куда нога не ступала.

Он говорил много и горячо, и ему опять поверили, и пошли за ним.

Они ушли с большой дороги и стали пробиваться напрямик к Дону. Петушков вел их. Одержимый лихорадкой мечты, сжигающей его яростным пламенем, он торопил их, злился, кричал: «В глушь! В глушь!» И они ползли за ним, опухшие, большие, спотыкались, падали и ползли,

И вот однажды, в полдень, измученные тачечники вдруг услышали то, чего уже давно не слышали. Кричали петухи.

— Слушайте! — ликующе завопил Петушков и, поджав над головой руку, замер.

Но все уже услышали. И остановились. И тоже замерли, но веря тому, что слышат.

Кричали петухи. Кричали так звонко, так весело, так неистово, что на всех лицах певольно появилась теплая, застенчивая улыбка, и каждый вдруг вспомнил самое лучшее, самое счастливое, что было в его жизни: кто детство, кто свадьбу, кто первую удачу. Городевые люди, они вспоминали каждый свое. Петушков стоял на дыпочках, замерев от восторга, и на его лице было написано счастье и гордость. Матрена сложила руки на груди, как перед молитвой. Актер спял шляпу. Так стояли они молча и благоговейно.

И вот из лесной чащи выплыла к ним счастливая земля... Старые, седые волю медленно тащили тяжелые возы и глядели на мир недоверчиво, исподлобья. А на возах вздыбились горы серебристой капусты; тугло, как бубны, арбузы глухо гудели, ударяясь друг о друга; из огромных мешков выпирала грудастая картошка; помидоры сочились кровью; в клетках металась неистовые петухи, солидно кричали утки; розовые поросята с тупым удивлением взирали на мир; хмурые мужики длинной хворостинной сердито стегали волов; а подле возов медленно и лениво шагали немецкие солдаты и все жевали.

Обоз полз медленно и долго. Мимо тачечников все плыли и плыли высокие возы, проплывали козлы с печальными, покорными глазами; бестарки с золотою пшеницей; хмурые мужики, бабы с заплаканными глазами, жующие немцы... Проплывали и исчезали вдали. Вот и последний воз скрылся в лесной чаще. Прошла, пронумела и растаяла счастливая земля. Актер медленно опустился на тачку и, уткнувшись в шляпу, заплакал.

— Как я их ненавижу! Как я их ненавижу! — сдавленным шепотом произнес Петушков и сжал кулаки. — Я их и бить не мог. Щекри брью — ничего. А как дойдет до горла...

— Тридцать три картошки и шестьдесят шесть ложек муки, — прошептала Матрена и заплакала. — Боже ж ты мой!

Больше никто ничего не сказал.

Матрена вдруг встала, вытерла рукавом глаза и низко поклонилась Петушкову, потом остальным.

— Спасибо вам, товарищи. За компанию. За доброту вашу. Низкое спасибо.

— Ты что? — испуганно спросил ее Петушков.

— Пельзя мне, — строго сказала Матрена. — Назад пойду. — Мои последний запас едят.

— А... а хлеб как же? Что ж привезешь домой?

— Уж как есть. Обменяю где-нибудь, или выпрошу за ради Христа.

— Ну, иди! — тихо сказал Петушков и перешительно обвел глазами спутников. — А мы еще пойдём... немного...

Матрена взялась за тачку и вытащила ее на дорогу.

— Может, покойникам хлеб привезу, — сказала она, — а все итти надо.

— Прощай, Матрена, — негромко сказал Тарас. — Тебе надо дойти.

— Авось, дойду, — вздохнула шахтерка.

Тачечники долго смотрели ей вслед. Вот она скрылась...

— Ну-с, — как можно веселее сказал парикмахер и вдруг увидел лицо актера. Тот сидел, закрыв глаза; дряблый подбородок его отвис и дрожал мелко и часто.

«А он не дойдет! — испуганно подумал парикмахер. — Он никуда не дойдет».

— Вам что, плохо? — сочувственно спросил он, осторожно трогая его плечо.

— А? да... Извините... ослаб... — сознался актер. Он попытался, как всегда, улыбнуться, но улыбка не вышла. Он виновато развел руками. — Вот ведь, подлость какая! А? Извините...

Он извинялся за свою немощность, а Петушков вдруг в первый раз почувствовал свою вину перед ним и перед всеми. Что же я тащу их, старых людей, неведомо куда? Может, и нет на свете неразоренных сел?

«А такая хорошая мечта была. Красивая», — пожалел он и, вздохнув, сказал:

— Ну, что ж. Зайдем в ближнее село. Поглядим.

Ближнее село оказалось большой полупустой станицей. Много хат было заключено досками, крест-на-крест, еще больше было без крыш и дверей, словно лежали среди села труны непогребенные.

Парикмахер выбрал хату побогаче и постучал в окошко. Выглянула женщина с добрым и большим лицом. Увидев тачечников, она грустно покачала головой.

— Взойти можно? — вежливо спросил парикмахер.

— Та можно! — ответила женщина и отперла калитку. Они втащили свои тачки в широкий и пустой двор, весь засыпанный желтой листвой, как ковром.

— Ну, вот! — весело сказал парикмахер. — Принимай купцов, хозяйка!

— Купцы пришли, а покупателей чорта! — грустно ответила баба.

— Пет, ты товар погляди, товар! — закричал Петушков. Ну, давайте! — и обернулся на актера. Тот обессиленно опустился на тачку.

— Что же вы? — шопотом спросил его парикмахер. — Давайте.

Актер только безнадежно махнул рукой в ответ.

— Ну, давайте тогда я... покажу вам... — Петушков заглянул в тачку актера и вытаскивал оттуда узлы.

— Напрасно развязывать будете, беспокоиться... — сказала женщина. — Ничего у нас нет, извините.

— Пет. Вы поглядите, поглядите! — не унимался Петушков и, развязав узел, широким жестом распахнул перед женщиной все богатство его. Тут были костюмы актера, добротные, щегольские, сразу вызвавшие в памяти всех то далекое довоенное время, когда и они, тачечники, как люди ходили в концерты, покупали обложки, обсуждали с поргным покроем костюма, как судьбы мира.

— Богато ходили. Чисто, — почтительно сказала женщина и с уваженьем пощупала сукно костюма.

— Это мой концертный фрак... — слабым голосом произнес актер и отвернулся.

— Вы знаете это кто? — прошептал Петушков, наклоняясь к казачке. — Это артист! Его весь мир знает. Он сам эти костюмы носил. Ведь это только оценить надо.

— Сочувствую, — сказала женщина. — Всею душой сочувствую, — она с грустью посмотрела на костюмы и опять пощупала сукно. — Только нет у нас ничего, псевверьте. Все забрали...

Актер дрожал теперь точно в ознобе. Он поднял воротник пальто и втянул плечи. Но его трясло и шатало от слабости, старости и голода. Подбородок теперь прыгал, и актер никак не мог справиться с ним.

Казачка испуганно посмотрела на него.

— Больны оня? — спросила она шопотом.

Петушков только горько махнул рукой в ответ.

Женщина вдруг метнулась в хату и тотчас же вышла оттуда, неся каравай хлеба, кувшин и тарелку с тоненько нарезанными ломтиками сала. Она поставила все это пред актером. Тот испуганно отпрянул.

— Кушайте, будьте добры! — поклонилась ему казачка. — Не побрезгуйте. Корову взяли, так что только коза... уж извините...

— Пет, пет! — замахал на нее руками

актер. — Я не могу даром... Я не могу даром... Что вы!

— А денег я не возьму... — тихо сказала казачка.

Петушков жадно взглянул на еду. Давно, давно не ели они печеного хлеба! Он проглотил слюну и подошел к актеру.

— Ешьте! — убежденно сказал он. — Ничего. Ешьте.

На лице актера проступили багровые пятна.

— Но как же... — прошептал он. — Я — артист... Меня знают... Я — горд... Я не могу милостыню... Спасибо, но...

Он взглянул на женщину. Она стояла перед ним, низко опустив голову, и терла руками фаргук.

Актер медленно поднялся с тачки, снял шляпу, посмотрел куда-то вверх, в синее, холодное, осеннее небо, прижал шляпу к груди и вдруг — зашел. Из его горла вырвались слабые, хриплые, больные звонки, но он не заметил этого и продолжал петь. И Тарас с удивленным взглядом, как на его глазах молодеет человек, голос начинает крепнуть, вот уж звенит металлом. А может, только показалось ему? Казачка благоговейно замерла на месте и, сложив на груди руки, смотрела прямо в лицо актера, не мигая. У плетня стали собираться соседи — мужчины и бабы. Прогонялись во двор. Бабы уже плакали, девчата вытирали глаза косынками, старики опустили головы на пальцы и сняли шапки... А актер все пел, вытянув перед собой шляпу, — арии и песни, — все подряд. Он благодарил казачку. И не за вдовый хлеб ее, — за добрую душу. Он всех благодарил своею песней. Всех, кто слушал его, — старого, большого, русского артиста, — кто прощал ему простуженное горло, и вместе с ним плакал над его песнями, как только русские люди умеют плакать...

Он кончил и обессиленно опустился на тачку. Все молчали. Только бабы все еще всхлипывали и вытирали глаза углами косынок.

Из толпы вдруг выступил старый дед и строго посмотрел на всех:

— Этот человек кто? — спросил он, ткнув пальцем в сторону актера. Потом укоризненно покачал головой. — Этот человек, граждане, артист. Вот кто этот человек. Не похвалит нас наша власть, если мы такого человека не сберем. Так я говорю, га? — Он снова строго посмотрел на односельчан, потом обернулся к актеру. — Вы у нас оставайтесь, прошу я вас. Если сила есть, еще

снегом, а мы поплачем. А нет,—живите так... Га?

— Живите! — сказала актеру хозяйка-казачка.

— Ну-с? — насмешливо спросил Петр Петрович, когда, простившись с актером, тачечники вышли из села.— Ну-с, а мы? Может, э... по дворам пойдем? А? С рукой прощайтуй?... — он посмотрел на Петушкова.

Парикмахер вдруг озлялся.

— Мне что! — закричал он тошным, петушным фальцетом. — Я из-за кого стараюсь? Мой продукт в любом селе бабы с руками оторвут. — И уж будьте уверены, полной мерой заплатят...

— Что ж это за продукт? — недоверчиво спросил Тарас.

Парикмахер тихоенько засмеялся и подмигнул всем.

— Пудра, — шопотом сказал он. — Пудра, если угодно знать.

— Пудра? — оторопел Тарас.

— Что? А? Хитро луцено? — ликовал Петушков. — А-а! То-то! Психологический продукт. Вы скажете: война. А я отвечу: женщина! Женщина всегда остается женщиной, ей всегда пудра нужна, — он нежно поглядел на свою тачку. — С руками оторвут!

— Да-а... — сказал бухгалтер. — Продукт — первый сорт. Только... э... куда же дальше итти? Дальше... э... некуда.

Действительно, дальше было некуда. Они всю землю прошли от Днепра до Дона, — не было неразоренных сел. Дальше началась обожженная прифронтовая полоса. Итти было некуда.

Теперь и Петушков понял это. Но он еще не хотел расставаться с мечтой.

— К вечеру, — загадочно сказал он, — мы, наконец, придем.

Полутчики недоверчиво посмотрели на него, но пошли.

К вечеру они вошли в станицу. Она была, как и сотни других оставшихся позади: такая же полувымершая, сонная, пустая, с тоскливо нахлывшимися избами, с мокрой соломой на крыше, с тонкими дымками из труб... — Но Петушков сделал вид, что это и есть то, чего они искали.

— Ну, вот! — лягушечье закричал он, украдкой поглядывая на полутчиков. — Вот оно, вот оно, то самое!

Они притворились, что верят и его словам, и его радости. Только бы уж конец, дальше итти некуда.

— А ну, полетай, полетай! — весело закричал Петушков бабам у колхозного двора. —

Прошу внимания! Имею предложить красным девушкам, а также молодайкам секрет красоты и вечной молодости. Вот! — ловко выхватил он из тачки свой мешок. — А ну, полетай!

Его сразу же окружили девки и бабы, радуясь веселому человеку.

— Что это, что? — заверещали они.

— Это — пудра! — во всю силу своих легких крикнул Петушков..

Стало тихо.

Молодая простоволосая казачка, ближе всех стоявшая к Петушкову, недоверчиво покосилась на его мешочек.

— Пудра?

— Лебяжий пух! — ответил Петушков.

— Это, что ж? — тихо спросила казачка. — В надсмешку?

— Нет, почему же? — растерялся парикмахер, — я всей душой...

— Пад вдовьим горем нашим надсмеяться пришел? — покачала головой казачка. — Ай-ай-ай-ай, стыдно тебе, пожилой ты человек!

— Пет, ты скажи, для кого нам пудриться? — зло закричала другая и рванула с головы платок. — И без пудры посидели, от горя нашего!

Теперь зашумели все:

— Ты мужиков наших верни, а тогда — пудру.

— Ты нам прежнюю жизнь верни!

— Для кого нам пудриться, для немцев?

Они подступали к нему яростные, беспощадные, как потревоженные осы, — он горе их разбередил. Петушков отмахивался от них обеими руками и бормотал:

— В городе парасхват брали...

— Шлюхи брали! — закричала простоволосая казачка. — А мы закон знаем, бесстыдник ты, срамник!

— Сам пудрись, а у нас — радости нет.

Тарас и бухгалтер подхватили парикмахера и чуть не на руках вынесли его из толпы.

Вслед им полетели комья грязи и глины...

— Так! — приговаривал Тарас, когда комья шлепался подле них. — Правильно, бабы! Грязью нас, грязью! Мы вам грязь принесли, и вы нас — грязью, Так.

Петушков, согнувшись, брел за своей тачкой...

— Ну-с? — как всегда насмешливо начал Петр Петрович, но, взглянув на Петушкова, только рукой махнул.

Ночевали на большой дороге...

Где-то, словно дальний гром, тремели орудия. Тарас снял шапку, прислушался.

По его лицу прошло легкое, счастливое облачко...

— Хоть голос услышал! — сказал он. — Вот и не даром шел!

Какой-то человек, неподалеку от него, негромко уговаривал людей:

— А вы слухам веры не давайте. Сталинград как стоял, так и стоит, и стоять будет.

— А вам откуда известно? — спросил охидный голос из темноты.

— Я что знаю, то говорю! — спокойно ответил человек, и Тарас стал прислушиваться к его голосу. — У немцев под Сталинградом — неустойка вышла. Крепок орешек, не по зубам.

Тарас обернулся к Петру Петровичу и тихо попросил его:

— Тому человеку, что говорит, скажите — пусть ко мне подойдет.

Петр Петрович удивленно взглянул на Тараса.

— Убедительно прошу! — тихо, но взволнованно прибавил Тарас.

Бухгалтер пошел и сейчас же вернулся с тем, кого звал Тарас. В темноте лица его видно не было.

— Кто меня звал? — сказал человек в темноту. — Зачем?

— Я звал, — негромко ответил Тарас. — Здравствуй, Степан!

— А-а? — с секунду длилось молчание. Потом человек сказал тоже негромко: — Здравствуйте, батя.

Это был старший сын Тараса, Степан.

6

Да, это был старший сын Тараса, Степан.

— Ну, здравствуй, отец, — снова удивленно повторил он. — Что же ты тут делаешь... на дороге?

— Ницу землю неразоренную... — усмехнулся Тарас в усы.

— А! И не пашел?

— Нет. Отчаялся.

— Да... А неразоренная земля недалеко... За Волгой...

— Недалеко, а ходу туда нет.

Они сели в сторонке от людей. — Тарас на цень, Степан прямо так, на траву.

— Про тебя не спрашиваю... — сказал Тарас. — Я землю неразоренную ницу, а ты тут, гляжу, души неразоренные ищешь?

— Да... засмеялся Степан. — Пожалуй, что так...

— И находишь?

— Много.

— Много? — недоверчиво протянул отец, — Я не встречал...

— Значит, плохо ищешь...

— Я и не ницу! — отмахнулся старик. — Каждый по своей совести живет. Я про свою душу знаю, а до чужой — мне дела нет.

— Вот оно и выходит — причина вся, — покачал головой Степан: — все мы в одиночку чистые...

Тарас не ответил. Они помолчали немного.

— А я тебя в армии считал, — сказал отец. — А ты, выходит, — вот где...

— Да... Так вышло.

— А мне говорил: в армию пду?

— Ну, отец, всего сказать нельзя было... — пожал плечами Степан.

— Это отчего же? — хмуро спросил старик.

— Да ведь дело-то мое... — ответил Степан, оглядываясь, — секретное... партийное... Так вдруг и не расскажешь.

— А в этом деле беспартийных нет! — сердито проворчал старик. — Мог и сказать. — Не чужому. Теперь все партийные. Немцы выучили...

— Да, — засмеялся сын. — Теперь я бы сам сказал... И меня кой-чему выучили.

— Ну, а Валя где? Эвакуировал?

— Нет... Здесь...

— Где здесь? — удивился старик.

— Ну, вообще здесь... Тоже, как и я — ходит. — Он наклонился ближе и прошептал: — Она сейчас там... на неразоренной земле... у наших... Я ей навстречу иду... Должны встретиться.

— Скажи-ка! — протянул Тарас. — Вот-те и Валя! Так, ведь, она ж... женщина?

— Вот, как видишь.

— И не молоденькая!..

— Я ей сам говорил... Вот тоже, как и ты, ответила: теперь беспартийных нет. Так и ходит.

— Ходит! — воскликнул Тарас и ударил себя по коленам. — А! Скажи пожалуйста! А мне хоть бы слово, хоть намек... сукины вы дети... Не прощу!

Степан усмехнулся, ничего не сказал.

— Что ж ты про сына не спросишь? — проворчал старик. — И отца забыл, и сына? Вот вы какие...

— Да я знаю о нем... немного... жив, ведь, Ленька, здоров?

— Ну, здоров, — ответил Тарас, — и вдруг спохватился. — Ностой, постой! Да ты от ко-го знаешь?

— Ну, от Пасты... — неохотно выдавил сын. — Пишет она мне... иногда... Люди приносят...

— Та-ак... — горько покачал головой Тарас. — Заговорщики. Ну, Степан, вовек я тебе не прощу. Не прощу, нет! А Настю — приду — вынорю!

— Так ведь, я ж свою ошибку признал, — засмеялся сын. — Видишь вот, — не таюсь.

— Не таюсь! Еще бы от родного отца таиться?! Да кто тебя человеком сделал, га? Да я, если хочешь знать, я тебя и в большешки вывел!

— Тсс!

— Верно, ведь? — шопотом спросил все еще злой Тарас.

— Верно, отец, верно. Все верно.

— Нет мне от сынов радости, чертовы вы дети! — проворчал он, не унимаясь. — Один в плен попал, сло выдрался. Другой от отца таится. От третьего вестей нет. Один я, как пень, старый дурак, хожу по свету.

Он снова посмотрел на сына. В темноте было смутно видно его лицо, только глаза блестели.

— Ну, давай, — дрогнувшим голосом сказал старик, — давай, как люди — поцелуемел хоть. — Он обнял голову сына, привлек к себе и прошептал прямо в ухо. — Спасибо, сын. Спасибо, что не обманул... Я на тебя надеялся больше, чем на всех... Спасибо! — и он поцеловал его. Потом легонько оттолкнул и добродушно проворчал. — Эть, бородастый какой! Только по голосу тебя и признал. Ну, войдем! — сказал он, подымаясь, — покажу я тебе моих шопутчиков.

Они подошли к костру, и Тарас представил Степана:

— Вот. Земляка встретил.

— А-а! — равнодушно-радушно отозвался Петр Петрович. — Ну, садитесь, грейтесь.

Петушков скользнул по лицу Степана определенным взором и тотчас же забыл о нем. Охватив голову руками, он раскачивался над огнем, вздыхал, бормотал что-то...

— Вы что, больны? — вежливо спросил Степан.

— А? Да, да... Больной... Больной я... — пробормотал парикмахер. — Старый, маленький, глупый человек... Эть, я... Пожалуйста... П мне пичего не надо на земле. Ничего... Только гранату. Одну гранату. Больше я ничего не скажу.

Степан усмехнулся. Все разговоры на большой дороге копчались мечтой о гранате, это он отлично знал. Он за то и любил большую дорогу, что здесь люди разговаривали вольно, не таюсь, не то что в городах и селах, где глядят на незнакомого человека недверчиво и заранее боятся того, что он скажет, и того, о чем он умолчит.

На большой дороге всегда говорят о грана-

тах, и Степан не раз думал, что если б какое-нибудь нечаянное пемцев русское сердце швырнуло во врага одну гранату — только одну — от немецкой армии мокрого места не осталось бы. Но голая ненависть не швыряет гранат, это он тоже знал. Гранаты кидает мужество.

Он лежал сейчас у костра, глядел в огонь, и перед ним, шумя, проходили все эти месяцы борьбы и хождения по мукам...

7

Хождение по мукам? Нет, так будет неправильно сказать. Были, были муки. И сомнения были, холодные, колючие. Бывало схватывало за горло и отчаянье. Все было. Но зато были и минуты восторга, необыкновенного, полного счастья, когда вдруг где-нибудь на дороге, во мраке, встретишь знакомого, но родного человека, и он распахнет пред тобой, доверясь, все богатство своей души, — непокоренной, красивой, русской души, и спросит: «Как же быть, товарищ? Научи, что делать?» — и ты вложишь оружие в его тоскующие руки. Нет, не хождение по мукам! Старик-отец хорошо сказал: «вонски души неразоренных». Да, поиски...

Когда в юле стояли они с женой на дороге и мимо них, окутанные пылью, проходили на восток последние обозы, — он вдруг почувствовал на минуту, — но долгой была эта минута, — как у него из-под ног медленно и неотвратно уползает земля...

— Валя! — сказал он, не глядя на жену. — Тебе еще не поздно. А?

Она тихо засмеялась.

— Отчего вы все, мужья, такие? Ей-богу, хуже матери. Мать благословляла бы...

А он чувствовал как уползает, уползает из-под ног земля, на которой было так легко и привычно жить...

— Ты бы уехала, Валя, а? И без тебя все делается.

— А я не хочу, чтоб без меня! — сказала она хмурясь. — Сейчас беспартийных нет...

Он обнял жену за плечи и погладил ее седящие волосы. — Последние обозы проходили на восток и пропали в пыли...

В тот же вечер Степан и Валя Яценко ушли в подполье, это было как переселение в другой мир. Степану оно дазось куда труднее, чем Вале.

Он не сразу осознал то, что произошло.

Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно властно, — сегодня должен красться тайком. По своей земле!

Эта земля... Он знал ее всю, на сотни верст

вокруг,— ее морщины, ее складки и рубцы, ее видные всем богатства и известные только ему одному болезни и нужды... Он ставил на ней города, прорубал новые шахты, он планировал, где и что рожать ее полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это земля облекла его властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином. Он любил во все входить сам. Он ничего не прощал ни себе, ни людям. Часто останавливал он машину прямо на дороге; вылезал из нее и кричал: «Не так пашете! Не так мост кладете! Не так гатите гать! Сделайте так и так! При мне. Чтоб я видел!» И люди не спрашивали, по какому праву приказывает им этот незнакомый, грузный человек. От его большого могучего тела исходил ток власти. В его голосе, густом и сильном, была власть. В его глазах, цепких, острых, горячих, была власть. И люди послушно ей покорялись.

А сейчас Степану надо согнуть свое большое тело. Надо стать незаметным. Научиться говорить шепотом. Молчать, хотя бы душа твоя кричала и плакала, потушить глаза, спрятать в покорном теле свою непокорную душу.

Один только Степан знает, каких трудов и мук ему это стоило. Да Валя знает. Никогда за долгие годы семейной жизни не были они так близки, как сейчас. Валя все видела, все понимала.

— С чего ж мы начнем, Валя? — спросил он в первый же день их подпольной жизни. Спросил невзначай, небрежно, словно и не ее, а сам себя, вслух, а она услышала и поняла: растерялся Степан, не знает... мучится...

Да, растерялся... Раньше он всегда знал, с чего надо начинать, как запустить в ход большую, громоздкую машину своего аппарата. И день, и ночь дрожал у подвезда мотор запыленного, забрызганного грязью голубого «экспресса». Трепетали барышни на телефонной станции. Сотни людей были под руками, ждали приказаний.

А сейчас Степан был один. Он да Валя.— маленькая, худенькая, женщина. Да где-то там, во мраке ночи, еще десяток таких, как он, сидят забывшись в щели, ждут: придет человек, который скажет, как начинать дело. Они не знают, кто этот человек. Они только знают: он должен прийти.

Этот человек — он, Степан.

Против него,— враг, сильный и беспощадный. У него, а не у Степана — власть. У него, а не у Степана — земля. У него, а не у Степана — армия.

— Вот что, Валя,— нерешительно сказал он.— Пожалуй, поступим так... Ты оставайся тут... как центр... А я пойду к людям.

— Ну, что ж! — сказала она, внимательно на него глядя.— Иди. Это правильно.

Они просидели до утра, рядышком, словно это была их первая ночь. Но о любви они не говорили. Они вообще говорили мало, но каждый знал, о чем думает и о чем молчит другой, и о чем старается не думать. И из слов, сказанных в эту ночь, немного уцелело в памяти Степана,— да и те были их, значительных слов! — но навеки запомнилась рука Вали,— теплая и спокойная, как лежала эта рука на его плече и успокаивала, и ободряла, и благословляла: иди.

Утром он пошел, а она осталась здесь, на хуторе, у своих стариков. Прощаясь, он сказал ей:

— К тебе тут люди будут приходиться... Так ты принимай их... говори...

— Хорошо! — сказала она. Все это он сказал ей и поцеловал раз десять.

Он потоптался еще на пороге.

— Ну, прощай, хозяйка!

— Иди.

Он пошел, не оглядываясь. Но и не оглядываясь знал он: стоит жена на пороге, подняв руку. Он шел и думал об этой руке.

Ему не надо было спрашивать о дороге, — он шел по своей земле. Никогда не покидал он ее. Был с ней и в пиры, и в страду. Вот он с ней и в дни ее горя. Больше не был он ей хозяином, — что ж, остался ей первым сыном.

И земля отвечала ему теплой и тихой лаской. Словно вздох, подымался над ней утренний туман и таял, и тогда открывалась перед Степаном вся степь без конца и без края. И звела она, и пела, и ласкалась. И он шел чрез серебристые ковыли и жадно выдыхал ее запахи — густые, тягучие, жаркие. Горькая полынь смешивалась с медовым клевером, кладбищенский чебрец с нежной мятой, запах жирной, черной, сырой земли с знойным дыханием степного ветра. А на горизонте синели далекие, острые холмы плесевых гор, и отсюда приходил запах тлеющего угля. Все детство в нем, в этом запахе, вся жизнь в нем — для человека, рожденного на дымной допетковской земле. Она и в горе хороша, родная земля; в горе ее бережнее любишь.

— Хальт! Хальт!

Степан остановился.

К нему подошли два немца.

— Где шпесь?

— С окопов пду... Окопы рыл... — ответил он.

— Папир?

Он протянул бумаги. У него были хорошие, надежные справки. Он не боялся патрулей. Немцы стали вертеть бумажки. Степан молча ждал. «Вот они, немцы!» От них исходил запах дешевого табака и потного, грязного белья. «Вошючне!»

— Сапоги!— сказал вдруг немец.

Степан не понял.

— Эй! Глядай!— нетерпеливо закричал солдат.

Степан снял сапоги. Пемец, тот что был побольше, примерил их. Они были чуть великоваты ему, но он радостно сказал: «гут!» и похлопал рукой по голенищам.

«Вот так они и в землю нашу влезли, как в мои сапоги,— нахально!»—с горечью подумал Степан и сжал кулаки. Схватить вот этого, вошючего, за горло и задушить. Хоть одного из них. Хоть этого.

Но тут он вспомнил Валину руку и словно почувствовал на своем плече ее теплые, спокойные пальцы. Он сгорбился и пошел. Немцы долго, подозрительно смотрели ему вслед. Ему еще надо учиться ходить.

В конце третьего дня он пришел, наконец, на шахту Свердлова,— в первый пункт своего маршрута. Осторожно пошел по поселку — здесь его знали. На площади на него вдруг упала огромная, мрачная тень висельницы. Он неловко вскрикнул и поднял глаза. На виселице стояли трупы и среди них человек, к которому он пришел,— Вася Пчелинцев, кучерявый комсомольский вожак.

— А давайте-ка споем, товарищи!— говорил он, бывало, на заседаниях, когда все ослело клевали носами от усталости, а ворох дел все не иссякал.— Ведь, как это говорится: «Песня и строить, и заседать помогает? Ну?»— и не обращая внимания на неловкие взгляды солидных товарищей, первый поднимал песню.

Вот он висит, кучерявый Вася Пчелинцев, скорчившийся, синий, непохожий на себя...

— Как он попался?— спросил Степан у старика Пчелинцева, которого тем же вечером нашел.

— Выдали...— тряс седой головой, ответил старик.

— Кто выдал?

— Предполагаю — Филиков.

— Как, Филиков!— чуть не закричал Степан.

— Больше никому. Филиков у них теперь служит.

— У немцев? Филиков?

Степану показалось, что покачнулся мир... Филиков. Предшахткома. Еще борода у него

лопаточкой? Когда, бывало, Вася запевал — Филиков первый подтягивал добродушным, дребезжащим баском. Вот Пчелинцев висит, а Филиков служит немцам...

Это была первая виселица, которую видел Степан, и первая измена, о которой он слышал. Он шел через рудники и села, и на всем его пути качались на виселицах его товарищи, глядели на него стеклянными глазами...

— Запомни, Степан, запомни!— скрипели висельницы. — Отомсти!

— Запомню!— отвечал он в душе своей. — И лица, и имена... запомню!

Ему рассказывали об изменниках, о тех, кто стрекся от партии и от народа, выдал товарищей, пошел служить немцу... Он хмурился брови и переспрашивал:

— Как фамилия?— и повторял имя про себя: запомню!

— Вы машинистку у нас в риге помните? Клаву Пряхину?— Он напрягал память, морщил лоб. Вспоминалось что-то тихое, безответное. Действительно, когда приезжал он в этот рик, какая-то девка была... Он слышал, как она стучит на своем Уддербуде. Голоса ее он не слышал никогда.

— Когда ее вешали,— рассказывали ему,— она кричала: «Не убить, не повесить! вам, черные вы гады, нашей правды. Паро! бессмертен».

— Клавя Пряхина...— удивленно шептал Степан. А он и вспомнить ее не может.

— А Никита Богатырев...

— Что, что Никита?— беспокойно спросил он. Никиту он знал. Огромный, в сером пыльнике — балахон, в сапогах, от которых всегда пахло дегтем, он, бывало, шумел в кабинете Степана: «Не боюсь я тебя, секретарь, никого не боюсь! А как правду-матку резал, так и буду резать!»— Степан предполагал поставить Никиту командиром партизанского отряда.

— Когда Никиту притащили в гестапо,— рассказывал, протирая очки сутуловатый Устин Михалыч,— он по полу ползал, офицеру сапоги целовал, плакал...

— Никита?!

Значит, плохо ты людей знал, Степан Яценко. А ведь жил с ними, ел и пил, работал... И повадки их знал, и характеры, и капризы, и кто какой любит табак. А главного в них не знал — души их. А может быть, они и сами о себе главного не знали? Клавя считала себя робкой тихоней, а Никита Богатырев — бесстрашным бойцом. Он нашей власти не боялся — ее бояться нечего!— а перед врагом задрожал. Клавя

боялась председательского взгляда. А врага не испугалась, плюнула ему в лицо...

— Великая людям проверка идет!— начал головой Устин Михалыч.— Великая огнем очистка!

— Что Цыпляков?

— Про Цыплякова не знаю,— осторожно сказал Устин Михалыч.— Цыпляков особо живет.

— К тебе не ходит?

— Он ни к кому не ходит... Запершись сидит...

В тот же вечер Степан пошел к Цыплякову и долго стучался в ставни и двери.

— Кто? Кто?— испуганно спрашивал Цыпляков через дверь.

— Я это. Я. Отвори.

— Кто—я? Я никого не знаю!

— Да я это, Степан.

— Какой Степан? Никакого Степана не знаю. Уходите!

— Да отвори!— яростно прохрипел Степан и услышал, как испуганно звякнули и упали запоры.

— Ты? Это ты?— понялся Цыпляков, увидев его, и свеча в его руках задрожала... Степан медленно прошел в комнату.

— Что ж неласково встречаешь?— горько смехаясь, спросил он.— Гостю не рад?

— Ты зачем?... Ты зачем же пришел?— простонал Цыпляков, хватаясь за голову.

— Но душу твою пришел, Матвей,— сурово сказал Степан.— Но твою душу. Есть еще у тебя душа?

— Ничего нет, ничего нет!— истеричски закричал Цыпляков и, повалившись на диван, заплакал.

Степан брезгливо поморщился:

— Что ж ты плачешь, Матвей? Я уйду.

— Да, да... Уходи. Уходи, прошу тебя...— заметался Цыпляков.— Все погибло! Сам видишь. Корнакова повесили... Бондаренко замучили... А я Корнакову говорил, говорил: сила солону ломит. Что прячешься? Иди. Иди в гестапо... Объявись! Простят. И тебе, Степан, скажу,— бормотал он,— как другу... Потому что люблю тебя... Кто к ним сам приходит своею волей и становится на учет—того они не трогают. Я тоже стал... Партбилет зарыл, а сам встал... на учет... И ты зарой, прошу тебя... немедленно... Спасайся, Степан.

— Пстой, пстой!— гадливо оттолкнул его Степан.— А зачем же ты партбилет зарыл? Уж раз отрезся— так лорви, лорви его, сожги...

Цыпляков опустил голову.

— А-а!—зло расхохотался Степан.—Смо-

трите! Да ты и нам, и немцам не веришь! Не веришь, что устоят они на нашей земле! Так кому же ты веришь, Капи?

— А кому верить, кому верить?— взвизнул Цыпляков.— Наша армия отступает. Где она?— За Доном? Немцы вешают. А народ— молчит. Ну, перевешают, перевешают всех нас, а пользы что? А я жить хочу.— вскрикнул он и вцепился в плечо Степана, жарко дыша ему в лицо.— Ведь я никого не выдал... не изменил...— шептал он, ища глаза Степана.— И служить я у них не буду... Я хочу только, пойми меня, пережить. Пережить! Переждать!

— Пахло!— ударил его кулаком в грудь Степан. Цыпляков упал на диван.— Чего переждать? А-а? Дождаться, пока наши вернутся? И тогда ты отроешь партбилет, грязцу с него огородную счистишь и выйдешь. Вместо нас, повешенных, встречать Красную Армию? Так врьшь, подлюка! Мы с виселиц придем, про тебя народу расскажем!..

Он ушел, сильно хлопнув за собой дверью, и в ту же ночь был уже далеко от поселка. Где-то впереди и для него уж была принаезна намыленная веревка и для него уж эколодили виселицу. Ну, что ж! От виселицы он не уклонялся. Но в ушах все был и был шепоток Цыплякова: «Перевешают нас без пользы; а верить во что?»

Он шел дорогами и тропинками истерзанной Украины и видел: запрягли немцы мужиков в ярмо и пашут на них. А народ молчит. Только шеей туго ворочает. Гонят по дороге тысячи оборванных, измученных, слепых,— падают мертвые, а живые бредут, перешагивают через труп товарища и покорно бредут дальше, на каторгу. Плачут колонники в решетчатых вагонах, плачут так, что душа рвется,— а едут. Молчит народ. На виселицах качаются лучшие люди... Может, без пользы?

Он шел теперь придонскими степями... Это был самый мирный угол его округа. Здесь Украина встречалась с Россией, границы не было видно ни в степных ковылях, одинаково серебристых по ту и по другую сторону, ни в людях...

Но прежде чем повернуть на запад по колыцу области, Степан, усмехнувшись, решил нанести еще один визит. Здесь, в стороне от больших дорог, в густой и тихой балке спряталась пасека деда Папаса, и Степан, бывая в этих краях, обязательно загорачивал сюда, чтоб поесть душистого меда, поваляться на пахучем сене, услышать тишину и запахи леса, и отдохнуть—и душою и телом—от забот.

А сейчас надо было передохнуть Степану.

От вечного страха логони, от долгого пути пенком. Распрямить спину. Полежать под высоким небом. Подумать о своих сомнениях и тревогах. А может, и не думать о них,— просто поесть золотого меда на пасеке.

— Да есть ли еще ласека-то? — усомнился он, уже подходя к балке.

Но пасека была. И душистое сено было, лежало копною. И, как всегда, сладко пахло здесь щемящими запахами леса, липового цвета, мяты и почему-то квашеными грушами, как в детстве, или это показалось Степану? А вокруг дрожала тонкая, прозрачная тишина,— только пчелы гудели дружно и деловито. И как всегда, зачуяв гостя, вперед выбежала собака, Серко, а за ней худой, белый, маленький дед Панас в белотняной рубашке с голубыми заплатками на плече и лопатках.

— А! доброго здоровья! — закричал он голосом, похожим на пчелиное гуденье.— Пожалуйте! Пожалуйте! Давно не были у нас. Обижаете!

И поставил перед гостем тарелку меда в сотах и решето лесной ягоды.

— Тут еще бутылка ваша осталась! — торопливо прибавил он.— Цельная бутылка чимпанского. Так вы не сомневайтесь. Цела, цела.

— А-а! — грустно усмехнулся Степан.— Ну, бутылку давай!

Старик принес бутылку, по дороге стирая с нее рукавом пыль, и чарки.

— Ну, чтоб вернулась хорошая жизнь ваша, и все войны домой здоровые! — сказал он, осторожно принимая из рук Степана полую чарку. Закрыв глаза, выпил, облизал чарку и зашмыгался.— Ох, вкусная!

Они выпили вдвоем всю бутылку, и дед Панас рассказал Степану, что нынче выдаться лето богатое, щедрое, урожайное во всем — и в пчеле, и в ягоде, — а пемцы сюда на пасеку еще не заглядывали. Бог бережет, да и дороги не знают.

А Степан думал про свое.

— Вот что, дед, — сказал он вдруг.— Я тут бумагу напишу, в эту бутылку вложу и зароем.

— Так, так... — ничего не понимая, соглашался дед.

— А когда наши вернутся, ты им эту бутылку и передай.

— Ага. Хорошо, хорошо...

«Да, написать надо! — подумал Степан, доставая из кармана карандаш и тетрадку.— Пусть хоть весть до наших дойдет о том, как мы здесь... умирали. А то и следа не останется. Цыпляковы наш след заметут.

И он стал писать. Он старался писать сдержанно и сухо, чтоб не заметили наши в его строках и следа сомнений, не припали б горечь за панику, не локачали б насмешливо головой над его тревогами. Им все покажется здесь иным, когда они вернутся. А в том, что они вернутся — ни на минуту не сомневался он. Может, и костей наших во рвах не отыщут, а вернутся! И он писал им строго и сдержанно, как воин вошам, о том, как умирали в застенках и на виселицах лучшие люди, плюя врагу в лицо, как ползали перед немцами трусы, как выдавали, проваливали подполье изменники, и как молчал народ. Ненавидел и — молчал. И каждая строка его письма была завещанием. «И не забудьте, товарищи, — писал он, — прошу вас, не забудьте поставить памятник комсомольцу Василию Пчелинцеву, и шахтеру-старикку Описему Беспалову, и тихой девушке Клавдии Пряхиной, и моему другу, секретарю горкома партии, Алексею Тихоновичу Шульженко, — они умерли, как герои. И еще требую я от вас, чтоб вы в радости победы и в суете строительных дел, не забыли покарать изменников — Михаила Филикова, Никиту Богатырева и всех тех, о ком я выше написал. И если явится к вам с партийным билетом Матвей Цыпляков, — не верьте его партбилету, — он грязью запачкан и нашей кровью».

«Надо было еще прибавить, — подумал Степан, — и о тех, кто, не паядя себя, давал приют ему, подпольщику, и кормил его, и вздыхал над ним, когда он засыпал коротьем и чутким сном, а также о тех, кто запирал перед ним двери, гнал его от своего порога, грозил спустить псов. Но всего не напишешь».

Он задумался и прибавил: «Что же касается меня, то я продолжаю выполнять возложенное на меня задание». Ему захотелось вдруг приписать еще несколько слов, горячих, как клятва, что мол, не боится он ни виселицы, ни смерти. Что верит он в нашу победу и рад за нее жизнь отдать... Но тут же подумал, что этого писать не надо. Это и так все про него знают.

Он подписался, сложил письмо в трубку и сунул в бутылку.

— Ну, вот! — усмехаясь сказал он.— Послание в вечность. Давай лопату, дед...

Они закопали бутылку под третьим ульем, у молоденькой липки.

— Запомнишь место, старик?

— А как же! Мне тут все места памятные...

Утром, на заре, Степан простился с пасечником.

— Хороший у тебя мед, дед,— сказал он и пошел навстречу своей одинокой гибели, навстречу своей виселице.

Эту ночь он решил перебыть в селе, в Ольховатке, у своего дальнего родственника ядьяки Савки. Савка—юркий, растрепанный, бойкий мужиченка, всегда гордился своим знатым родственником. И сейчас, когда в сумерках появился к нему Степан, дядько Савка обрадовался, засуетился и стал сам тащить на стол все из печи, словно попрежнему почетным гостем был для него Степан из города.

Но они и сестра за стол не успели, как без стука отворилась дверь и в хату вошел высокий, грузный, пожилой мужик с седоющей бородой и с глазами острыми и мудрыми.

— Здравствуйте,— сказал он, в упор глядя на Степана.

Степан встал.

— Это кто? — тихо спросил он Савку.

— Староста... — прошептал тот.

— Здравствуйте, товарищ Яценко! — усмехаясь, сказал староста и шагнул к столу. Степан побледнел. — Смело вы по селу ходите! Я из окна увидел, узнал. Ну, еще раз, здравствуйте, товарищ Яценко! — и староста спрятал насмешливую улыбку в усы.

«Вот и все! — подумал Степан. — Вот и виселица!» Но он попрежнему спокойно, не двигаясь, продолжал стоять у стола.

Староста грузно опустился на лавку под лямками, положил на стол большие, узловатые руки с черными пальцами, посмотрел на Степана.

— Сидайте! — сказал он усмехаясь. — Чего стоять? В ногах правды нет.

Степан подумал немного и сел.

— Так! — сказал староста. — А вы меня не узнали?

Степан посмотрел на него. «Где-то видел, конечно,— мелькнуло в памяти. — Должно быть раскулачивал я его... Не помню».

— Та где там! — засмеялся староста. — Нас мужиков много, а вы — один. Нас где ж упомянуть! Як колосьев во ржи. А вы даже беседы со мной имели, правда, в опчестве, — напомнил он, — наедине по приходилось. Агитировали меня в колхоз. Шесть лет меня агитировали! А я шесть лет не шел. Не согласный я — кажу — и все тут. Так меня с тех пор Игнатом Несогласным и зовут.

Савка подобострастно хихикнул. Степан теперь вспомнил этого мужика. Кресьень!

— Несогласный я! — продолжал староста. — Это так. А на седьмой год я сам пришел в колхоз. А отчего пришел? Га?

— Ну, сагитировали, значит... — пожал плечами Степан.

— Не-ет! — покачал головой Игнат. — Меня сагитировать неммысленно. Убедился я потому и пришел. Сам убедился. И так кинул, и так положил — выходит в колхозе выгоднее. И я согласился, пришел.

Степан не понимал, к чему ведет свой рассказ староста, и нетерпеливо ерзал по лавке. «Будут селом вести — удеру, вырвусь. Рук вязать не дам».

— Теперь немец нам листки кидает, — продолжал староста, — обещает землю дать, в вечное и единоличное пользование. Как думаешь, — прищурился он, — даст?

— Не даст... — ответил Степан.

— Не даст? Гм... — пожевал усы Игнат. — И я так думаю: не даст. Обманет. Помещикам своим отдаст. Ну, а может, кой-кому, — снова хитро прищурился он, — кой-кому и даст, га? Для близира? Ну, старательным мужикам... Опять же старостам... Даст, а?

— Ну, такому как ты, даст, — ответил Степан со злостью. — За усердие.

— Даст! Ага! — подхватил Игнат, делая вид, что тона Степана не боялся. — И я так прикидывало: такому как я — даст. А я не возьму! — вдруг торжествующе закричал он и хлопнул ладонью по столу. — Не возьму я Га?

Степан оторопело посмотрел на него.

— Не возьму! Ты это понять можешь? Э, — махнул он вдруг рукой, — где тебе понять? Ты, товарищ, — городской человек. А я — мужик. Я в эту землю корнями, душою врос. Сухота моя эта земля. И вся моя жизнь в ней же. И отцов моих, и дедов, и прадедов. Мне без земли нельзя. А только, — внезапно успокоившись, закончил он, — единоличной земли мне не надо. Невыгодно мне. Не подходит. Мороча. И мачтаб по тот. Моей хозяйской душе без колхоза теперь жизнь нема.

— Постой! — ничего не понимая, пробормотал Степан. — Нет, ты постой! Ты за что же стоишь?

— Я за колхоз стою! — твердо ответил староста.

— Ну, значит, и за Советы? За нашу власть?

Игнат вдруг лукаво прищурился, оглянулся на Савку, подмигнул Степану и сказал, усмехаясь в усы:

— Ну, поскольку нет на земле другой власти, согласной на колхозы, окромя нашей, советской, — так и для меня другой власти нет.

Степан улыбнулся и облегченно вздохнул.

— Ты как,— тихо спросил, наклоняясь к нему, Игнат,— сам от себя ходишь? Спасешься? Или уполномоченный?

— Уполномоченный,— ответил Степан, улыбаясь.

— Бумаг мне твоих не надо! — махнул рукой Игнат.— Знаю тебя. Ну, раз ты есть от власти нашей уполномоченный, могу тебе сказать, а ты передай. Колхоз наш, скажи власти, живет. Как бы это сказать? Подпольно живет. Есть у нас и председатель. Прежний. Ордепоносец. Замаскирован нами. И счетовод есть, книги ведет. Книги могу показать тебе. И все добро колхозное попрятанно. Вот хоть у сродственника спроси. Так, Савка?

— Так, так, истинно! — радостно удивляясь, подтвердил дядька Савка.— Хитро сделано! Государственно.

— А немцы с нашего села ни зерна не взяли! — крикнул Игнат.— Что сами пограбили, то и есть. А мы им ни зерна не дали. А как? Про то моя спина знает.— Он задумался, опустив голову. Забарабанил черными пальцами по столу. По губам его, прикрытым седыми усами, поползла усмешка.— Староста! Пемецкий староста я на склоне моих лет... Позор? Кругом старосты звери и мпроеды. Булаки. И я землякам кажу: уважьте. Старость мою уважьте. У меня дети в Красной Армии. Не согласись со мной мужики, упростили.

— Всем миром просили! — вздохнул Савка.

— Не миром! — строго поправил его Игнат.— Колхозом просили меня. У тебя, говорит, Игнат, душа непокорная, несогласная с неправдой. Постой за всех. И вот — стою. Немцы мне кричат: где хлеб, староста? А я кажу: нема хлеба. А почему рожь осыпается, староста? — Нема чем убирать. А почему скирды стоят, под дождем гниют, староста? — Нема чем молотить. Мы тебе машины дадим, староста! — Людей, кажу, нема, хоть убейте. Ну и бьют. Бьют старосту смертным боем, а хлеба все нема.

— Не могут они его душу покорить, это что! — проникновенно, со слезой сказал Степану Савка.

— Что душу! — усмехнулся Игнат.— Спину мою и ту покорить они не могут. Непокорная у меня спина! — сказал он, распрямляясь.— Ничего, выдюжат!

— Спасибо тебе, Игнат! — взволнованно сказал Степан, подымаясь с лавки и протягивая руку.— И прости ты меня, бога ради, прости.

— В чем же прощать? — удивился Игнат.

— Нехорошо я о тебе думал... И не о тебе одном... Ну, в общем — прости, а в чем — я сам знаю.

— Ну, бог простит! — усмехнулся Игнат и ласково обнял Степана, как сына.

На заре староста сам проводил подпольщика за околицу. Здесь постояли недолго, покурили.

— Если власти пашей,— тихо сказал Игнат,— или партизанам — хлеб нужен, дай восточку — хлеб дадим.

— Хорошо. Спасибо.

— Не мне спасибо. Хлеб не мой. Колхозный. Расписку возьмем.

— Хорошо.

— Ну, иди...

Степан протянул ему руку, Игнат взял ее и крепко зажал в своей.

— Еще вот что спрошу тебя... — прошептал он, заглядывая в глаза Степану,— скажи — наши вернутся? Не спрошу тебя скоро ли и когда, бо того ты и сам не знаешь. Спрошу только: вернутся ли вообще? Правду скажи! — и он впился в его глаза.

— Вернутся! — взволнованно ответил Степан.— Вернутся, Игнат, и скоро!

— Ну, вот! — облегченно вздохнул староста.— А спина моя выдержит, не сомневайся! — и он засмеялся, пожимая в последний раз Степанову руку.

Степан шел полевой дорожкой, среди осыпавшейся ольховатской ржи, и всю дорогу весело ругал себя:

«Чиновник ты! Цыплякову поверил, а в народе усомнился, чернильная твоя душа? Вот он народ — непокорный, могучий. Бюрократ ты, кресло потертос! Не молчит он — звенит. Как сухое дерево звенит ненавистью, по искре тоскует. А тебя, бумажная твоя душа, сюда спичкой и поставили. Да нет, не спичкой! Спичка чиркнула и погасла. Кремнем. Кремнем должен ты быть, Степан Яценко, чертова твоя душа. Чтоб от тебя искры летели и раздувалось пламя пародной мести».

Обо всем этом и рассказал Степан Вале, когда они, наконец, встретились.

Они проговорили всю ночь.

У Вали тоже был ворох вестей для Степана.

— От Максима приходил человек, — сказала она.

— От Максима? — обрадовался он. Максим, как и он, был оставлен обкомом для работы в подполье.— Ну, что Максим?

— Пока жив! — улыбнулась Валя.— Большие дела у него! Шахтерских отрядов несколько... Три комсомольских...

— Вот как! — даже позавидовал Степан. — Это хорошо.

— Приходили от Иван Петровича...

— Ну? ну?

— Толком ничего не сказали. Видно, меня опасаются. По явку дали. Иван Петрович просит передать — у него в хозяйстве урожай сам-семь...

— А-а! — усмехнулся Степан. — Иван Петрович всегда был мужик агротехнический. Ишь, уродило как!

— Ну, это все вести от людей тебе известных. А есть и от неизвестных. Никому неизвестных.

Степан не понял.

— То есть как?

— В Бельске кто-то флаг красный поднял на парашютной вышке. Целый день висел. Немцы боялись — заминировано. Об этом флаге только и говорят вокруг.

— Кто же флаг поднял?

— Никто не знает! И же тебе говорю: никому неизвестные люди.

— Этих неизвестных людей надо найти!

— Немцы тоже ищут...

— Ну, немцы могут и не найти, — замечая Степан, — а нам своих не найти — совестно.

— Потом — у нас... в нашем городе — тоже событие, — продолжала Валя.

— Что у нас? — исполнился Степан. Он любил свой город, терпелся им и всякую весть о нем встречал ревниво.

— Немцы на Главной улице каждый день сводку вывешивают. — Народ читает, — кто верит, кто нет, но у всех — уныние. И вот стала каждый день под немецкой сводкой появляться другая. Понимаешь? Написано детским почерком. На листке школьной тетрадки. Чернилами. И даже, — улыбнулась она, — с клясками...

— Что же в этих листках? — недоумевая, спросил Степан.

— Опровержение! Какой-то малыш каждый день, заметь — каждый день, опровергает Гитлера. «По верьте Гитлеру! Все собака врет. Я слушал радио. Наши не отдали Сталинград. Наши не отдали Баку». Немцы срывают эти листки, ищут виновника, а ничего сделать не могут. Малыш опровергает Гитлера каждый день, и Гитлер с ним справиться не может. Об этом весь город говорит.

— Кто ж он? — взволнованно спросил Степан.

— Никто не знает! Может быть, кто-нибудь из моих малышей...

Степан удивленно посмотрел на нее, но не понял. Потом сообразил, что она говорит о своих школьниках. Но он всегда забывал о ее педагогической деятельности.

— Да, может быть, кто из твоих мальчиков... — сказал он, извиняясь за свою забывчивость.

— И я все думаю: кто? — продолжала Валя, сияя влажными глазами. — Кто-нибудь из наших радиолюбителей. Но в седьмом классе все мальчики увлекаются радио. И я не знаю — кто. Иногда мне кажется, что это Миша... А иногда, что это Сережа...

Степан молча слушал ее.

— Сколько их таких! — задумчиво продолжала она. — Мальчиков, девочек, стариков... поднимающихся в одиночку. По приказу своей совести.

— Найдем! — горячо сказал Степан. — Мы будем строить, Валя, наше подполье, как строят пороховой погреб — осторожно и основательно.

И он стал строить подполье, как пороховой погреб.

Появились связи, отряды, явки, люди; пелочка людей, знающих только правого и левого соседа. Степан знал их всех, и земля, казавшаяся ему после ухода наших войск мертвой, задуманной, — сейчас оживала, паслась людьми, готовыми к борьбе.

К Степану часто приходили связные от партизан, от подпольных групп; приходили и с Большой Земли — чаще всего девушки.

— И вам не страшно, дивчата? — спрашивал он, искренне удивляясь.

Некоторые обижались. Другие задорно отвечали:

— А чего ж бояться на своей земле?

Стали действовать отряды Максима. Занимали немецкие казармы, полетели под отрыв поезда. Тихо ночи озарились пламенем пожаров, но жестоких битв в тылу.

Немцы ответили виселицами. Где-то ждала виселица и Степана. О нем уже знали. Ерепикали. Но он не думал теперь о смерти. Он снова чувствовал себя хозяином на своей земле.

Да, он здесь был хозяином, а не бургомистры и гаулейтеры. Ему вручили свои души люди, его приказов слушали, даже и не зная его. И он ощущал себя сейчас, как и раньше, хозяином, военачальником, вожаком, а чаще всего — приказчиком народной души. Душеприказчиком.

Ему мертвые завещали ненависть. Ему живые вверили свои надежды. Окоче-

внешне на виселицах товарищи поручали ему итти за них.

У него было теперь большое хозяйство, — куда более богатое и сложное, чем раньше — все это хозяйство надо было держать в памяти, ничего не доверяя бумаге. Он должен был помнить имена и адреса, даты и сроки, поступки и планы; черты лица и свойства характеров; выражение глаз каждого человека в минуту опасности. Он должен был знать, кому можно верить как себе, кому — наполовину, а кому нельзя верить совсем. Кого надо ободрить, кого отругать, кого обнадежить; с кем помечтать вместе, а кого при первом же случае уничтожить, как Бузу.

На дорогах своих скитаний — а брели он все время, то один, то с Валей — ему встречались тысячи людей. У случайных костров люди говорят откровенно. Он прислушивался.

Старики тосковали по оружию. Молодые парни, бежавшие от невольничьего плена, открыто спрашивали путь к партизанам. Он присматривался к ним. Одним отвечал, пожмая плечами:

— Та хто его знает! Як бы я знав — той сам бы пішов...

Других отводил в сторону, долго выспрашивал и давал безобидный адресок — первое и простое звено длинной цепочки. Потом он узнавал в отрядах своих крестников.

— Ну, как? — спрашивал он и его распырала счастливая гордость.

— Та ничего. Воюем! — браво отвечали хлопцы.

Почти в партизанском отряде были для Степана и счастьем, и отдыхом. Здесь он был у своих. Здесь, на малой советской земле, или — как у шахтеров — даже под землей, в забытой шахте, он чувствовал себя легко и привольно. Можно было сплунуть, можно было маску скинуть. Можно было вольно засмеяться, спеть, назвать человека дорогим именем: товарищ!

Но заскиживаться здесь ему нельзя было. Его ждала стонущая, мятущаяся земля, — без него она сиротела.

— Может, на дело меня возьмете? — ушрашивал он командира партизанского отряда. — Что ж это я? И моста не взорвал, и гранаты не кинул. Придут наши, и похвалятся нечем.

— Иди, иди! — добродушно ворчал в ответ командир отряда бурыйшник Прохер. — Иди, свое дело делай! Без тебя тут управимся. Ты свои гранаты кидай!

И он шел и кидал свои гранаты — листовки, начиненные страшной, взрывчатой силой, — правдой. Их читали жадно, как дышат в подземелья — лихорадочными глотками. Кто прочел — рассказывал соседям, а кто прочесть не успел, рассказывал свое, — о чем самому мечталось. Как осколки гранаты, разлетались по всей земле обрывки фактов, лозунгов, идей, но и они поражали самого страшного врага закабаленного народа — безверие.

— Про листовку слышал? Ага! Значит, жива наша правда, не потоптана. Значит, есть где-то люди. Значит, есть у них с чем-то связь. И значит, и армия наша стоит, нерушимая, скоро придет на выручку.

Случалось и Степану, во время скитаний читать свои листовки, он читал их так словно впервые видел, — жадно, как все. Наклепная на заборе листовка вызывала и в нем новый прилив веры, он искал в ней между строк, им же самим написанных, новых, неизвестных ему фактов. Потому что и он был человек.

Смерти он не боялся. Он и не думал с ней теперь, будто ее и не было вовсе, будто ее люди, как и бога, выдумали себе на страх. Он не боялся, что его узнают на большой дороге. В седом, бородастом мужике теперь не узнать Степана Яценко. Могут выдать? Ну, что ж! Значит, плохо подобрал своих людей, плохо воспитал, виноватить некого.

Он теперь редко бывал у себя в штаб-квартире, жил на большой дороге, на людях, среди тачечников и бродяг; внезапно появлялся на шахтах и в поселках, так же внезапно исчезал. Иногда верным людям он назначал встречи на дороге и на свидание всегда приходил в срок.

— А мы полицмейстера убили! — докладывал ему молодой кучерявый паренек, чем-то очень похожий на Васю Пчелинцева.

— Убили? Ну, молодцы, молодцы!

— Нам бы теперь, дядя Степан, — захлебываясь от восторга, говорил парень, — нам бы с партизанами связаться. Такой можик налет произвести!..

— Это подумать надо, — отвечал, почесывая щекку Степан. — Так полицмейстера убили?

— Убили. Наповал.

— Хорошо. Хорошо. Теперь, Василек, тебе придется итти служить в полицию.

— Мне? — бледнея паренек и растерянно улыбался. — Вы это... шутите?

— Нет, Василек, не шучу. Серьезно, — отвечал он и нежно глядел на юношу.

— Так меня... меня же все затюкают. меня и отец проклянет.

— А это стерпеть придется.

— А наши придут, что ж я им скажу?— чуть не плача говорил юноша.— Все шаргизаны, а я — полицейский.

— А это я на себя возьму.

— Так ведь, дядя Степан...— сдавленным шопотом продолжал Вася,— ведь убьют!

— А смерти, Вася, нет. Ею выдумали. Есть капут для трусов, и бессмертия для героев, середины нету.— Он обнимал за плечи Васю и привлекал к себе. Жаль мне тебя, Василек!— тихо говорил Степан юноше.— Жаль. А идти в полицию надо, больше некому. Ты десятилетку кончил, по-немецки немного знаешь. Надо идти. Надо.

И Василек шел служить в полицию. Теперь у Степана везде были свои люди, они общались ему о немецких планах, выручали подпольщиков, помогали партизанам.

Пожилой слесарь докладывал Степану о деле. Сделал тут же, у дороги, в стороне от поселка.

— Пустил немец депо! — огорченно вздыхал слесарь.— Вот ведь как!

— Да... неудачно это...

— Теперь мастеров ищет. Паровозы приплыли, целое кладбище. А мастеров нет.

— Да...

— Ну, наши мастера не пойдут! Мы им так и сказали,— и молодым и старикам: если которая сука пойдет работать в депо, пу проклянем без спихождежня.

— И не идут?

— Не идут! — радостно-удивленно подхватывал слесарь.— Сважля-ка, а? Ни один человек!

— Хорошо. Очень хорошо.— потирал Степан щеку.— А ты, Антон Петрович, пойдешь.

— Я? — растерянно улыбался слесарь.— Нет, зачем же? Обижаете... И я не пойду...

— Нет, пойдешь. На работу ступень. Я паровозы возьмешься чинить. А готовые будешь калечить.

— Понимаю...— бледнее отвечал слесарь.— Понимаю я. Воля твоя, товарищ Степан, пойду. Убьют меня мастера за это дело, а пойду. Понимаю.

И никто из людей, которыми двигал Степан, не спрашивал ни его, ни себя, по какому праву распоряжается ими этот борозлятый, похожий на бродягу человек. Они знали — кто стоит за ним. Родина? Нет, родина стояла за всеми. Но только за ним стояла партия. Партия вручила ему власть над их душой.

Представляя людям Степана председатель подпольной сходки говорил: «Этот человек пришел к нам от партии», — и все подымали глаза на Степана. Этот человек пришел к ним от партии, значит, — от Сталина. Он как посланец Сталина шел по этой вздыбленной, набухшей гневом земле, — ему верили.

— ...Куда ж ты теперь идешь, Степан? — спросил Тарас сына.

Костер погас, только одна головешка все тлела. Покрылась синеватым пеплом и как глазом выглядывала из золы. Завернувшись в мокрый плащ и съезжившись, спал Петр Петрович. Парикмахер ворочался во сне и стонал.

— Иду Вале навстречу, — ответил Степан и на его лице, как и всегда, когда он думал о жене, появилась теплая, светлая улыбка.

Он расстался с ней семь дней назад там, у самой линии фронта.

— Ну, иди! — сказал он просто. Они всегда теперь так прощались. Только эти два слова — вслед тому, кто уходил, и в словах этих было все.

Припав к земле, Степан смотрел, как пробиралась Валя колючим кустарником. Вот там, за этим перелеском — Большая Земля. пашни. Он следил за темным силуэтом жены с тревогой и... завистью. Пройдет она сейчас этот кустарник, потом овражек. опять кусты и — пашни. Она бросится к ним... Альфы звезды на шалках. Хоть бы увидела разок! Но он знает: ему — нельзя. Это — дезертирство. И то уже нехорошо, что пошел провожать Валу до этих кустов. Его место не здесь. Его место там, на опаленной горю и гневом земле, в прифронтовых селах.

— Ну, сынок, — сказал Тарас.— Что же дальше будет?

— Дальше? — засмеялся Степан.— Дальше наши придут. Скоро.

Но Тарас вдруг рассердился на него.

— Я тебя не об этом спросил. Это я и без тебя знаю. И ты меня не учи! — закричал он.— Ты еще молод меня вере учить. Я тебя сам поучить могу, как свою душу в чистоте соблюдать! Я тебя про другое спрашиваю. С чем мы наших встретим?

— Как с чем?

— Они к нам через кровь идут. А мы с чем выйдем?

У Степана вдруг радостно защемило в горле. «Что за отец у меня! Что за старик!» Он с любовной гордостью посмотрел на отца. и почувствовал себя его сыном, и услышал, как глубоко-глубоко в этой земле шумят корни его рода.

— Хорошего мы с тобой рода, отец! — весело засмеялся он. — Казацкого.

Старик удивленно посмотрел на сына.

— Мы не казацкого, с чего ты взял? Не казацкого — рабочего. И прадед твой рабочий был, и дед, и дядя. Вся фамилия наша — рабочая.

Но Степан весело обнял его за плечи:

— Казацкого, казацкого! Ты не спорь, отец, — он наклонился совсем близко к нему и сказал уже серьезно: — Я скажу тебе, что делать, отец. Домой иди. По дороге по моим адресам зайдешь, снесешь поручения. А придешь домой — поклонись матери. поцелуй Ленку, а Настю скажи, что приказал я тебя свести к верным людям. Настя сведет.

— Настя? — сердито воскликнул старик.

— Да, Настя! — усмехнулся Степан.

Тарас разгладил усы.

— Хорошо! — сказал он. — Только сперва я ее выпорю. Можно? А потом уж, ладно, скажу: веди, мол, меня старика куда надо. Настя!

8

К Насте запыхавшись прибежала ее школьная подруга, Зинаида.

— Ой, Настя! — закричала она с порога. — Павлик пришел!

Настя почувствовала, вдруг, как сердце в ней оборвалось, и покатилося... покатилося... Но она даже с места не встала и спросила спокойно, почти равнодушно:

— Павлик? Где же он?

Подруга смотрела на нее с жадным и откровенным любопытством. «Ой, Настька!» — все время вскрикивала она. Равнодушные Насте ее озадачило и даже обидело почему-то.

— Ох, бесчувственная ты, Настька! — сказала она, поджимая губы. — Тебя никто не будет любить. Я Павлика на улице встретила, — прибавила она нарочито небрежно. — Могла и не встретить. Подумайшь! — Но она не выдержала тона и закричала с восторгом. — Ой, Настька! Он тебе записку прислал!

— Дай.

Она взяла записку и почувствовала, что щепки у нее сыплются. «Настя. Буду ждать тебя в пять часов возле школы. Ты сама знаешь, где. Павел».

— Какой он... стал? — тихо спросила она.

— Ой, Настя, черный весь! Страшный...

Настя попыталась представить себе страшного Павлика, — и не смогла. Он вспоминался ей синеглазым, холеным юношей с румянцем

во всю щеку. За этот нежный, девичий румянец, да за постыдную для мужчин, — по мнению десятого класса «Б», — страсть к поэзии, мальчишки прозвали его «барышней». Его никто не звал Павлом: все Павликом, — и родные, и товарищи, и учителя.

Было без десяти пять, когда она подошла к школе. Павлика еще не было. Настя нашла окна своего класса и через разбитое стекло заглянула туда. На нее нахнуло холодом и сыростью пустого, заброшенного здания. У стены черной грудой вздыблились переломанные парты. И ее парта там. Ее и Павлика. Их парусная лодка, на которой плыли они вместе в жизнь. Это было в стихах Павлика. Парусом он называл мечту.

Настя долго простояла у окна. Было грустно и одиноко, как всегда бывает у развалин родного дома, где ты прожил свою жизнь, — большую или малую, все равно. Наконец, она оторвалась от окна и пошла вдоль фасада школы. У парадного подъезда стоял скелет из школьного музея и скамьи на Настю зубы. «Кто ж его вытащил сюда? — удивилась Настя. — Должно быть, немцы... Зачем?» — Она пошла вдоль забора школьного сада. Деревья стояли голые, черные, заплаканные, как вдовы. Мокрый, осенний ветер качал их. Простонав, они медленно валялись на бок и падали. Вот одно упало, вот второе... Настя испуганно, ничего не понимая, заглянула через забор и увидела: немецкие солдаты, сняв куртки, рубили школьный сад.

— Настя! — вдруг услышала она тихое восклицание за спиной. Она обернулась. Перед ней стоял Павлик и протягивал руки. Она взглянула на него и отшатнулась. Боже ты мой, что они с ним сделали? Павлик был худой, черный, оборванный. «Где же твои синие, веселые глаза, Павлик?» — чуть не закричала она. От него пахло потом и горькой махоркой.

Он восхищенно глядел на нее.

— Вот ты какая стала! — растерянно пробормотал он и почтительно опустил руки.

— А ты... вот ты какой!

Он только сейчас заметил ужас в ее глазах и опустил голову.

— Какой? — спросил он, глядя в землю. — Страшный?

— Да-а... Страшный. Черный весь!

Он засмеялся отрывисто и горько.

— Это хорошо, что страшный, — улыбаясь сказала она и положила ему руки на плечи. — Страшный, — значит честный.

— Да! — горячо ответил он и жадно

схватил ее руки.— Я пред тобой чистый и честный, Настя.

— А перед всеми? — осторожно спросила она.

— И перед всеми.

Она радостно засмеялась.

— А я? Страшная я?

— Ты! — восхищенно воскликнул он.— Ты стала большая... красивая...

— Но я тоже... честная,— прошептала она, опуская глаза.

— Перед всеми?

— И перед тобой тоже.

Он тихо, благодарно сжал ее руку в своей. Теперь они стояли молча, не глядя друг на друга.

С тяжеким стоном упало дерево в саду...

— Что это? — вздрогнул Павлик.

— Немцы сад рубят! — ответила Настя.

Ее лицо вдруг покрылось краской. Он покраснел тоже.

— Паш сад! — прошептала она.— Помнишь?

— Помню,— чуть слышно ответила она. Он не услышал ответа, а почувствовал его губами, как тот первый и единственный поцелуй в саду.

— Там еще дерево было... — задыхаясь сказал он.— Помнишь?

— Помню.

— Я вырезал на нем буквы П и Н.

— И сердце.

— Помнишь?

— Помню.

Опять завизжала пила, зло, наступленно.

— Вот они сейчас по этому сердцу... пилат! — нервно сказал Павлик.— Чорт! Не могу я этот звук слышать. Пойдем, Настя!

Они пошли дальше — вдоль забора и остановились у большого камня под липой. Это было место их давних встреч, — с 8-го класса. Настя села на камень. Павлик опустился подле нее, на жухлую траву. Оба молчали. Чуть слышно, точно комариный звон, доносилось сюда пение пилы. Настя смотрела прямо перед собой на пустырь. Она все хотела спросить, где был Павлик, что делал, но что-то мешало ей спросить, она и не знала что.

— Ну, а где же папи?.. Весь десятый «Б»? — спросил Павлик.

— Кто где...

— Да... Разбродились, рассеялись. Где Федор? Помнишь, он все мечтал конструктором стать. Изобрести вечный двигатель. Смешной Федор!

— Он в армии. Вестей от него нету. Может, и убит.

— Счастливый!

— Что убит — счастливый? — усмехнулась Настя.

— Нет, что он там — счастливый. А если и убит, — все счастливее нас. Мы все равно здесь подохнем...

Настя ничего не ответила.

— Ну, а подружки твои где? Маруся?

— В тюрьме...

— Галя?

— В Германии...

— Лиза?

— Она теперь Луиза.

— Немцам продана? — усмехнулся Павлик.

— Нет. Теперь она с итальянцами. Говорят, немцы — свиньи, а эти — шчего...

— Стерва!

Теперь где-то близко застучали топоры, и с шумом упало дерево. Забор задрожал. На них посыпались мокрые листья и щепки.

— Рубят! Рубят! — нервно сказал Павлик.— Все поколение наше рубят под корень...

— Не вырубят! — тихо сказала она.

— Может быть... — зло пожал он плечами.— Но искалечат всё.— Он встал и стяхнул с брюк листья.— Пойдем, походим?

Они пошли через пустырь.

— Ты, Павлик, стал злой... — сказала она тревожно и вдруг спросила, замедляя шаг.— Где же ты был, Павлик, что делал?

Он усмехнулся и остановился.

— Это — большой рассказ, Настенька, — сказал он, качая головой.— И я тебе его рассказывал много-много раз...

— Мне? — удивилась она.

— Да, мысленно, — засмеялся он.— Шел сюда и всю дорогу рассказывал. рассказывал тебе... А пришел — и не знаю с чего начать.

— С заметки в газете, — тихо, не глядя на него, сказала она.

Он вздрогнул.

— Ты читала?

— Да.

— И проклала?

— Нет. Пожалела...

Он страдальчески сморщил мальчишеские брови:

— Это не надо... Это зачем? Жалеть не надо было. Это мне обидно. Надо было петь.

— А как же это понять? — сказала она чуть слышно.— Я пыталась.

— Понимаешь, — горячо сказал он и схватил ее руку.— Понимаешь, все случ-

лось, как в дурном сне... толчками... Вот, были пани... вот их нет... и вот — немцы... Я растерялся... Я ничего не успел сообразить. Что делать с собой, как жить? И вдруг — повестка... Так неожиданно... Вызывают в редакцию их газеты. Но почему меня? Я потом узнал от сотрудников, что вызывали всех, кто работал в «Большевистской Правде». По ведь я не работал там... я только печатал там иногда стихи. Помнишь?

Она кивнула головой и покраснела. Она вспомнила стихи о школе и парусе. Они были посвящены ей. В газете так и стояло: «Посвящается Н». Только одна буква, по в десятом «Б» все отгадали сразу. И Настя рассердилась на Павлика. Они не разговаривали тогда три дня.

— Это Иверский, хромой чорт, меня впутал, — продолжал Павлик. — Бездарный поэт... Понимаешь, такая бездарная сволочь... А у немцев он стал главной фигурой редакции. Он-то и впутал нас всех. Он и список составил. Ну, вот. Что было делать мне? Что было делать?

Он умоляюще посмотрел на Настю. Настя молчала.

— Да... — сказал он задумчиво. — Не надо было идти. Просто — не идти. Но, понимаешь, я так растерялся... И мать, — он горько усмехнулся, — мать вцепилась в меня, плачет: иди и иди, убьют. Ну и... я пошел. Пошел, чтоб отказать, объяснить, что тут ошибка, что я не газетный работник... но меня никто и слушать не захотел! В редакции сидел офицер из гестапо. Все ходили на цыпочках. Иверский тынул мне записку и сказал: обработайте! Ну я и... обработал. Безобидная записка, пустая... Пять строк... И подписывать такие не принято, а Иверский взял и нарочно подписал мое имя и фамилию полностью. Когда я увидел это в газете, — сказал он, кусая губы, — я сразу же подумал о тебе, Настя.

Павлик опустил голову, стараясь подавить слезы, Настя молчала.

— Так меня заклеямили, — продолжал он, проглотив комочек. — И Иверский сказал мне, что теперь я должен написать стихи — одну за приход немцев в наш город. Я ответил, что не умею писать од. Он ответил: попробуйте! Я сказал, что быстро вообще не умею писать. Он дал мне три дня срока и отпустил домой. И вот я остался один-на-один с собой... дома... Я метался эти дни, Настя, метался так, что передать тебе этого не могу. К бумаге я и не прикоснулся. Я знал, что таких стихов я написать не смогу. Вот

я весь пред тобой, Настя, — сказал он, глянув ей в лицо в первый раз за все время своего рассказа. — Я все говорю, что было, хоть и горько это мне... Заметку, еще одну заметку я бы, может, и написал... но стихи. Стихи! Они, ведь, сердцем пишутся, ты знаешь.

— Ну? — тихо спросила Настя.

— И тогда я решился бежать. Прочь из города. И убежал.

— Я знаю... а то бы я не пришла...

— Да? — усмехнулся он. — Я так и думал...

— Тебя искали...

— Да... Мать рассказала мне... Ну, вот. Я решил пробираться к нашим. Но у Дона меня схватили немцы, избili и швырнули в вагон. А потом повезли. Куда — не знал я. Может, в лагерь. Может, в Германию. Только далеко за Днепром я сбежал из эшелона и остался один на чужой земле... — он провел рукою по лбу.

Настя молчала.

— Неизвестные для меня места, — продолжал Павлик. — Тут давно уж и войны нет. И немцы в городах, как у себя дома. В Киеве по улицам кадетики бегают. — Народ замучен, забит. Я шел через все это, как сквозь ночь, и думал: а мне куда же идти, что делать? Кто я такой, Павел Важанов?

— Как кто такой? — сказала Настя. — Ты — комсомолец.

— Да? — усмехнулся он и грустно покачал головой. — Это еще неизвестно...

Она удивленно взглянула на него.

— А ты думала когда-нибудь, Настя, почему, почему ты, я, наши ребята из десятого «Б» — комсомольцы? Думала? И я — нет. А тут задумался. И сильно.

— Не понимаю я... — мучительно вздохнула Настя.

— А ты спроси себя: почему я комсомолец? Ведь ты, и я, и все просто так вошли в комсомол, без мучений, поисков, выбора, а многие — и без раздумья.

— А нужно... мучиться?

— Нужно! — убежденно сказал он. — Человек проходит сквозь муку, как сталь сквозь огонь, и тогда становится человеком. А мы сначала надели красные галстуки, потом комсомольские значки. Очень просто. И стали мечтать о жизни. И так мы о ней сыто мечтали, что даже вспомнить стыдно. А тут, — грубо перебил он сам себя, — тут волчья жизнь встала передо мною. А я один. Никого нет. Понимаешь?

— Это я понимаю... — прошептала Настя.

— Мы все остались одни, каждый наедине со своей совестью. И каждый сам для

себя должен был свой путь в жизни выбрать.

— Каждый думает, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу,— пробормотала она.

— Что?

— Это мой отец так говорит.

— Душа! — засмеялся он. — У нас в десятом «Б» о ней и не вспоминали! Я и не знал, есть ли она у меня, душа-то, или так — пар... А как засочилась она кровью — тут я ее и услышал.

— Что ж услышал?

Он не ответил. Он стоял, вытянув голову и прислушивался к чему-то.

— Опять пила? — спросил он неуверенно. — Или мне кажется?

— Тебе показалось...

— Да? — он нервно и смущенно усмехнулся. — Теперь будет пила. А там за Днпром мне все шаги чудились... все казалось мне: у меня за спиной — шаги... Да, так о чем же я? — сморщил он лоб.

— Ты постарел, Павлик! — вдруг заметила она. — Ты теперь старый-старый...

— Да, восемнадцать лет.

— Больше. Тебе — больше.

— Да, больше, — согласился он. — Семнадцать с половиной лет и полгода под немцем. Да, так на чем же я? Да! Остался один. Один наедине со своей душой, — он усмехнулся. — Один! А я никогда раньше не был один. В кино мы и то ходили коллективно, помнишь?

— Помню.

— А тут — я один, и много дорог передо мною, да, не дорог — тропинок, тем трудней выбирать. И я должен был сам выбрать.

— Выбрать? — спросила она.

— Да, выбрать. А что?

— Ничего... Ты — говори.

— Видишь, там за Днпром журналы выходят. По-русски и по-украински. Брошюры. Газеты. В них расписывается всеми колерами райская жизнь в Германии. Германия называется Европой, а вы, мол, русские — азиатцы, и вы Европы не видели и не знаете. И не смеете судить. И каждый день в этих газетах оплевывалось самое святое, что было у нас с тобой... И я читал... Понимаешь?

Она молчала и внимательно смотрела на него.

— Я все читал. Одно за другим. Я глотал это, как яд, и говорил: попробуй, отравлю мою душу! Ну? И, проглотив, отбрасывал прочь. Не яд — рвотное. Тошнит. — Он сплюнул. — Но были и другие брошюры. Политрейд. Они были написаны... Как бы тебе объяснить?.. Шопотком! Понимаешь? Вздра-

чивым таким шопотком, в самое ухо... Они и о социализме шептались. Очень туманно, чуть слышно, но все-таки. И больше всего о культуре. Заманчивое слово, да? Или «б украинской пацни. Или о миссии молодежи. И в этих брошюрах нашему брату, русскому молодому человеку, даже льстили. И это я читал. И над этим сам, один думал... Я не поседел? — вдруг спросил он.

— Нет... Не видно...

И мать говорит: «Нет, это у тебя волосы выгорели», — но заплакала все-таки... Да, так о журналах... Еще были журналы литературные. Там можно было тиснуть стихи и не на политическую тему. А так, ни о чем. Понимаешь?

— Нет, — сказала Настя.

Он засмеялся.

— И я не понимаю. Но, говорят, можно. Ну, о синем небе, о голубых глазах. Ни о чем. Некоторые писали так. И кушали. А я голодал. Зверски голодал я, Настя, и рассказывать даже трудно, как. Картофельная шелуха была для меня пиром. А помойки... Знаешь, Настя, я теперь уважаю помойки. Чрево Парижа! А со степ мне кричали плакаты: «Молодой человек! Тебя ждет Германия!» А петлюровские клубы распахивали двери: «Молодой человек! Иди веселись, танцуй и забудь, что у тебя душа в крови!» А желудок урчал: «Ниши стихи в журналы, — ну, хоть ни о чем, — и кушай!»

— А душа? — тихо спросила Настя.

— Что душа.

— А душа что говорила тебе?

— О душе потом. Я хочу только сказать, что надо было выбирать. И я выбирал. Я как вожжи взял в руки все эти дороги, дорожки, тропинки — и стал разбирать. Куда мне коня моего дернуть? И вдруг оказалось, что дорог всего две. Тропинка, туничков много, а дорог, Настя, только две: немцы или Россия. И я, — сказал он тихо, — я выбрал.

— Что же ты выбрал, Павлик? — прошептала она.

— Я скажу... По сперва ты вспомни. Я был один. И вокруг меня — волчья жизнь. И зверски голодал я. И душа и морда в крови. И шаги за спиною. И все, что я считал святым, оплевывалось каждый день. И где-то далеко-далеко Красная Армия, и даже неизвестно, есть ли она еще или нет... И я выбрал, — сказал он, не глядя на Настю, тихо и проникновенно: — Большевиком. Россию. Комсомол.

Настя вдруг радостно и облегченно вздохнула.

— Павлик!— закричала она.— До чего же ты подлый, Павлик! Можно ли так рассказывать. Я, бог знает, что уж думала о тебе!

— Только я теперь,— горлопиво сказал еп,— не такой комсомолец, каким раньше был. Я теперь такой комсомолец, который за свои убеждения умереть не побойтсся. Ты понимаешь, да?

— Да.

— И если бы теперь меня пригласили поехать в их редакцию,— усмехнулся он,— а бы знал, что делать.

Он взял ее руки в свои и заглянул в глаза.

— Вот тебе, Настя, и вся повесть о моих скитаниях. А ты? Теперь ты расскажи. Чем ты мучилась, как ты выбирала, искала?

— А мне и рассказать нечего!— усмехнулась она.— Где мне о таком думать! Это ты у нас в классе был самым умным, еще тебя девочки философом дразнили. А я— обыкновенная девушка. Я просто живу, как совесть велит.

— Совесть? Хорошее слово,— сказал он и усмехнулся.— Жаль, нам редко говорили его.

— А зачем его говорить? Совесть надо иметь, а говорить о ней не надо...

Он посмотрел на нее нежно, внимательно.

— А ты тоже стала старше, Настя!— сказал он.

— Старая?

— Нет! Но ты все была девочка. А сейчас девочек нет...

— Да, нету...

— Я тебе много нежных слов нес, Настенька!— тихо проговорил он.— Сколько есть в языке— столько нес, да еще много сам придумал.

— Не надо!— испуганно сказала она.

— Я их так бережно нес, чтоб ни пролить, ни обронить на дороге...

— Не надо!— снова попросила она и закрыла лицо руками.

— Не надо,— грустно усмехнулся он.— Хорошо, я не буду,— и он покорно опустил руки.

— Сейчас о своем счастье не надо думать...— прошептала она.— Стыдно.

— А о любви?

— И о любви... не надо. Я и так знаю.

— А я?

— И ты знаешь.

— Настя!— рванулся он к ней.

— Не надо!— строго остановила она.— Сейчас не надо. Потом.

— Потом?— горько засмеялся он.— Да будет ли оно для нас это «потом»?

— Будет. Будет, Павлик.

— Хорошо!— сказал он обижено.— Я не

буду. Я ведь только потому и хотел сказать тебе о... любви, что эта встреча у нас здравствуй и прощай. Ухожу я.

— Уходишь?

— Да. Завтра.

Она ничего не спросила, только сердце вдруг защемило.

— Я к нашим решил пробираться, Настя,— тихо сказал он.— Мне — восемнадцать, а уже могу драться.

Сияя гордостью, он посмотрел на нее и спросил:

— Правильно?

— Да-да...— нерешительно ответила она.— Правильно... Так легко.

— Легче?— удивился он. Он не такого ждал ответа.

— Да, легче. Дерутся в открытую, а если умирают— так среди своих.

Он рассердился:

— А как же иначе? Иначе как?

— Как мы деремся,— кротко ответила Настя.

— Кто— вы?

— Подпольщики,— тихо прошептала она.

Он удивленно посмотрел на нее:

— А подполье есть? Есть?— спросил он инотом.

— Есть,— пожала она плечами и, посмотрев на него, покачала головой.— А ты, Павлик, всю Украину прошел и ни партизан, ни подпольщиков не встретил?

Он опустил голову.

— Я ведь рассказывал тебе...— сказал он, оправдываясь.— Я искал, мучился, выбирал...

— А они дрались и умирали,— тихо закончила Настя. И вздохнула.— Эх, Павлик!

Он молчал, не подымая головы.

Потом он спросил осторожно и тихо, все так же не глядя на Настю.

— А мне к вам... можно?

Она радостно улыбнулась.

— Конечно, Павлик!

— Ты веришь мне?

— Как же не верить?— сказала она, взяв его за руку.— Ведь я же тебе сказала: люблю...

Тарас возвращался в родной город... Он торопился. Три месяца не был он дома и вестей оттуда не имел. Живы ли еще домашние, целы ли?

Где-то в пути и новый, сорок третий, год встретил. Заря занималась алая, кровавая... «Кровавый будет год!— покачал головой Тарас.— Кровью покорены, кровью и освободимся...»

Трудны теперь стали дороги, которыми он шел. Настоящего снега все не было, и осевшая грязь застыла мерзлыми комками, идти было тяжело. Хорошо, что захватил с собой для обмена меховой пиджак: обменять не пришлось, зато самому пригодилось.

Тарас торопился. Ташил он семье мешок зерна да немного картошки,— все, что сумел добыть в разоренных селах. Но главное — нес он радостные вести домой. «Может, знают они сами, а может, и не знают. Закупоренно живут». Вот он и расскажет им, торжественно и неторопливо, что у немцев под Сталинградом неустойка вышла. И есть слух: ударили наши на Дону. Крепко ударили.

Он узнал об этом от людей на Большой дороге, — здесь вести разпосытаются быстро. Подтвердили и те, к кому зашел он по Степановым адресам. Да и у самого Тараса глаза есть. Большая дорога, как открытая карта, ее только надо уметь читать. «Ишь заметались немцы, забегали!» — злорадно примечал Тарас.

Как-то, ночуя в селе в приезжем доме, услышал он голоса и суету на дворе. Встал, вышел. Весь двор был полон полицейскими. Они суетились и гадали подле бричек, и Тарас догадался: удирают. Он прислушался. «Господа, господа!» — надрывался один. — Наде начальника подождать! он прикажет. — Да чего там? — кричал другой. — Нет, господа, поехали! — Да нельзя же, господа! Только и слышно было на все лады: «господа! господа». И Тарас не выдержал — расхохотался.

— Господа-то господа, — сказал он, лукаво прищуриваясь. — А товарищи... догоняют! А?

Эту весть он и нес домой как самое дорогое: наши погнали немцев.

Вот, придет он домой, соберет своих и скажет им: «Поздравляю вас, семья моя! Плут наши!» И посмотрит потом на Андрея. Обязательно посмотрит. Ничего не скажет, а посмотрит. Пусть опустит голову сып!

А потом призовет к себе Настю. Сперва выпорот... Ну, это так, для слова сказано. Пороть он, конечно, не будет, а отругать — отругает. «От отца, — скажет он ей, — ничего нельзя таить: ни жениха, ни дела». А отругав, скажет строго: «Приказал тебе, Настя, главный наш партийный секретарь, а мой сын, а тебе — он брат, Степан Яценко, беспрекословно приказал тебе свести меня к верным людям, о которых тебе известно. Ну, видишь».

И уж потом обойдет стариков. Всех, кто жив еще, кто еще дышит. С каждым по-

говорит отдельно, осторожно, как Степан учил. По слова каждому скажет свои.

Скажет: «В одиночку-то мы все честные... Только честность свою в сундуке храним, как невеста приданое. Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!»

По вот и город уже недалеко... Вро еще не видно, он скрыт туманом, но сердце угадывает его, торопит... Вот и трубы заводские показались.

Тарас остановился и снял шапку.

Многотрубный город, как большой корабль. Трубы, трубы, трубы... Сейчас они мертвые, и дым не волнуется ни над одной, а бывало, Тарас различал каждый дымок, знал каждый гудок по голосу...

— Доживу! — сказал он, сжимая кулак. — Доживу! Задымят, как прежде. Ничего. Доживу!

И он толкнул свою тачку вперед.

Расступились перед Тарасом окраины, побежали вниз, к центру, улицы. Каждый камень здесь знаком Тарасу. Каждая крыша. Он растроганно глядит на знакомые улицы.

— Все как было! — обрадованно улыбается он. — Все как было! Как не может чужеземец душу нашу переменить, так не может он и города наши, и обычай наш переделать на свое! Все как было...

И только этого не было, — виселицы... Тарас невольно остановился.

Много виселиц было на его пути, мог бы и привыкнуть. Но к виселице привыкнуть нельзя.

На этой виселице висела девушка. Топенькая, худенькая. Слово подросток. Девичья головка ее беспомощно свесилась на плечо и застыла.

Тарас шагнул ближе, всмотрелся — и вдруг закричал так страшно, что камни мостовой должны были бы задрожать:

— Настя! — и прохнулся на мостовую без чувств.

...Он очнулся дома, в постели. Над ним склонялось заплаканное, сморщенное лицо жены.

— Мать, — тихо позвала он. — Что ж ты дочку-то... дочку-то?..

Она припала к его груди и заплакала.

Он провел рукой по ее седым волосам.

— Молчи, мать, молчи, — сказал он чуть слышно. — Насте слез не надо! — и разрыдался сам.

Павлук стоял у дверей, опустив голову, плакать он уже не мог. Это он пашел и привез на тачке Тараса. Он узнал его по страшному крику: «Настя!» Он сам в первый день кричал так.

А плакать он уже не мог. Два дня просто-

ли он у виселицы, подле Пасти. Его никто не знал, немцам теперь было не до него. Он смотрел в сипее лицо Пасти, в ее глаза, подернутые тонкой пленкой смерти, и казалось ему: Пастя с ним разговаривала. Она всегда была молчаливая. Она всегда умела разговаривать молча. «Ты отомстишь за меня, Павлик, правда?»—спрашивала она. «Правда,—шептал он.—Научи как отомстить за тебя, чтоб ты довольна была?» Она молчала. Только чуть насмешливо кривился ее скорбный рот. Она встретила смерть гордо. Она палачам смеялась в лицо, а Павлику казалось: это она над беспомощностью его смеется. «Только не стихами, Павлик, стихов не надо».

— Доченька! Доченька моя!—причитала бабка Ефросинья.—За что же они тебя, невинную?.. Не украли, не обидели..

— Молчи, мать, молчи!—тихо шептал Тарас.—Настю не обижай. Она—за правду.

— Хоть похоронить бы дали!—плакала Ефросинья.—Почеловать глазки ее синие... Обмыть.

— Молчи, мать, молчи! Не такно помпика Пасте надо.

— За нее отомстят!—тихо сказал Павлик.—Только научите как, чтоб она довольна была.

— Это кто?—спросил Тарас, показывая на Павлика.

— Это Пастиги товарищ,—сказала Антонина.—Он и привез вас домой.

— Мне моей жизни не жалко,—взволнованно сказал Павлик.—Только что ни подберу,—все для Пасти мало. Ведь она такая была... такая...

— За нее сыны мои отомстят!—проговорил Тарас.—И народ отомстит, не забудет!—Он вдруг что-то вспомнил и обвел глазами столпившихся у постели людей, словно кого-то искал.—Где ж Андрей?—спросил он, хмурия брови.—Что ж его в нашем горе нету?

— Андрей? Андрея нет...—пршептала Антонина и вдруг заплакала.

— А где ж он?

— Ушел Андрей... Вскоре после вас и ушел.

— Куда?

— Не сказал. Только приказал: передайте ему, он обо мне еще услышит.

— Та-ак!—сказал Тарас.—Один я.—Он взглянул на заплаканных женщин.—Что ж вы меня в постель уложили? Мне сейчас лежать нельзя. Пустите.

Он встал и медленно разогнул спину.

— Палку мою дайте...—глухо сказал он.—Мне теперь без палки... будет трудно...

Ему подали палку и, опираясь на нее, он пошел через всю комнату к Павлику.

— Как тебя зовут?—спросил он, оставившись перед ним.

— Павел.

Тарас долго молча глядел на него. Потом тихо произнес:

— Поведешь меня к верным людям... Пасти нет, ты меня поведешь. Ничего. Кровью покорепы мы, кровью и пометимся. Ничего. Ничего.

На другой день Тарас пошел к Назару. Он нашел его лежащим в белой рубахе под иконами.

— Ты это что, Назар?—испуганно спросил он.

Сосед медленно повернул к нему лицо.

— А-а! Тарас!—бледно улыбнулся он.—Во-время. Застал.

Тарас осторожно сел у постели и взглянул на Назара. Был сейчас сосед тих и светел, словно от него отлетело уже все земное и покинули его обычная суетливость и суесловие. Он уже простился с землей. Дел у него тут—не осталось.

— Нехорошо, Назар!—укоризненно покачал головой Тарас.—Плохо ты время выбрал.

— Не я выбрал. Смерть за мной повестку прислала.

— А ты не иди! Не покоряйся!

— Смерть не немец,—ей не покоряться нельзя,—кротко возразил Назар и вздохнул.—О твоем горе слышал, сосед. Всех они казнят, супостаты. Кого быстрой мукой казнят, а вот нас—медленной...

— Нельзя тебе помирать, Назар,—спова сказал Тарас.—Я к тебе с делом пришел.

— Я дела все кончил,—тихо пршептала Назар.—В том прости меня, сосед.

Они оба замолчали и задумались. «Вот и пожито на земле много,—удивленно думал Тарас,—и корни пущены, а смотри—уходит человек с земли легко, будто и не жил. Что ж она, смерть? Что ж ее бояться? Умирать легко, жить, выходит, трудней».

— В чем грешен я пред тобой, сосед.—с тихой торжественностью произнес Назар,—в чем обидел или оскорбил—прости, Христа ради, не осуди.

— Бог прстит!—ответил Тарас.—А у меня па тебя, сосед, на сердце ничего нету.

— В том спасибо.

Они опять помолчали.

— Бог?—сказал Назар.—Перед ним, ежели есть он, у меня грехов много. Налипло по земле-то шествуа, как к колесам грязи. Ну, о том я ему сам ответ дам. Ежели есть он. А нету—черви не взыщут, прстит...—он перевел дух.—Суетен был, корыстолюбив и злоязычен. Закона не соблюдал, в том пусть

и баба моя мне простит, и люди... — он олять перевел дух и закончил: — а перед родной землей на мне греха нет.

— Пету, Назар! — сказал Тарас, — это все люди знают.

— Придут наши... Ты им скажи, Тарас.

— Скажу! Скажу.

— Так и скажи: жил Назар Горовой, непокоренный, и умер, не покорясь.

— Скажу, сосед. Это скажу.

— А что гранат я в немцев не кидал, — сказал он тихо, виновато, — в том пусть простят мне... Стар... Да и гранат у меня не было...

Вдруг страшной силы взрыв потряс домик. Задребезжали стекла. Посыпалась штукатурка с потолка.

— И умереть не дадут спокойно, — огорченно вздохнул Назар.

Взрывы следовали теперь один за другим. Домик Назара скрипел и стонал на все голоса, все доски в нем дрожали...

Вбежал запыхавшийся Ленька и крикнул:

— Ты здесь, дедушка? Немцы город рвут!

— Что такое? — не понял Тарас.

— Взрывают город немцы... — крикнул Ленька. — уходят!

— Как уходят?!

Тарас схватил свою палку и бросился вслед за Ленькой.

— А не давать им уходить! — кричал он на ходу.

Он побежал по улице, барабани палкой в ставни и крича:

— Эй, выходи, народ! Эй! немцы уходят! Та не дадим же им уйти! Эй, выходи, мужчины!

Ноле него уже собирались люди.

— Та нехай уходят! — крикнул кто-то из толпы. — Мы их не звали. Ну и чорт с ними, и слава богу!

— Чего ты хочешь, Тарас?

— Не дадим уйти немцам! — кричал он. — Перебьем их тут.

— Без нас перебьют, Тарас... Мы ж не военные люди. Нас это не касается.

— Как не касается? — заревел Тарас. — Как это нас не касается? А кого ж? Немцы целые уйдут, одужают, а тогда вновь заявятся нас топать, детей наших вешать! Не дадим немцу уйти! В землю их! В землю!

Он побежал, размахивая палкой, в город, и Ленька рядом с ним. Отовсюду уже бежали рабочие, многие с оружием, бог весть откуда попавшим к ним.

С автоматом в руке и гранатами бежал и Павлик. Пробегая мимо виселицы, он оглянулся на Настю. В сумерках не видно было ее лица — только скорбный силуэт синел в

озаренном пламенем пожаров небе, но Павлик знал теперь, что Настя благословляет его в бой и смерть.

— Эх, жаль ружья у меня нет! — крикнул на бегу Тарас. — Эх, ружья-то жаль нету, Ленька!

Они вбежали в центр города на площадь, еще дымившуюся после взрывов, и сквозь дым и гарь, сквозь тучи кирпичной пыли, сквозь черное пламя, жадно лизавшее камни, — увидел Тарас свой город... Дома вздыбленные, в ужасе скорчившиеся, смертельно раненые, охваченные пожарами, падающие на его глаза грудою черного камня...

Тарас остановился, потрясенный, подавленный новым горем.

— О-о-о! — простонал он, хватаясь рукой за сердце.

Что они сделали с городом! Что они сделали, варвары, с сердцем Тараса? Вчера он увидел на виселице синий труп своей девочки. Сейчас на костре перед ним корчился его город...

А сквозь дым, тайком, как воры, пробирались отступающие немцы. Их машины сгрудились среди развалин улицы, наполнили одна на другую, в панике бегали механики и солдаты, из кабин высовывались офицеры и грозили кому-то пистолетами...

Тарас увидел их.

— Вот они! — закричал он, показывая на немцев пальцем. — Вот они! Люди, видите их? Бейте ж! Бейте их!

И он поднял над головой свою суковатую стариковскую палку. Был он страшен сейчас, грозен с этой палкой в руках, седой, без шапки, озаренный пламенем горящего города...

— Дедушка! — услышал он голос Леньки. — Вот оружие, дедушка... Бери.

Тарас обернулся на голос.

— Или, дедушка, бери.

Тарас подбежал и увидел труп немца с оружием при нем.

— Кто его? — хрипло спросил Тарас.

— Кто-то из наших... заводских... Сейчас пробежали тут. Слышь, дедушка? — стреляют.

— Ага! — зло захохотал Тарас. — Так так! Давай и мы, Ленька, как люди. Давай! — он наклонился, поднял автомат и гранатную сумку.

— А! — сказал он с досадой. — Жаль не выучился я, как его, чорта, кидают — гранату...

— Я знаю, дедушка, — торопливо отозвался Ленька. — Дай, покажу!

— На, Ленька, кидай! Кидай, внучек! Кидай, прошу я тебя. А я их из автомата.

Ленька размахнулся, зажмурился и швыр-

вуд грапату в гущу немецких машин. Раз-
лился взрыв, и затем сразу же стоны, крики,
стрельные выстрелы...

— Кидай, внучек, кидай! Забыли? Кидай,
я тебе говорю! — по тут он почувствовал,
что его что-то ударило в бок, обожгло. —
О-о-о! — тихо простонал он и повалился на
земь...

— Дедушка! — кинулся к нему Ленька.
— Ничего... ничего... ранило... Ты кидай,
Ленька! Кидай, прошу я тебя!..

А дома, в Каменном Броде, бледные жеп-
шины есели за запертыми ставнями и при
каждом взрыве вздрагивали и крестились.

— Господи, господи! — шептала Ефро-
сенья. — Защити старого и малого, от смерти
укрой!..

— И Андрея! И Андрея тоже! — просила
Антонина. — Где б он ни был, что бы ни де-
лал, — спаси, господи, раба твоего Андрея и
грехи его прости!..

10

Андрей шел домой.

Он снова шел домой, но теперь не робкой
тропинкой, не в крестьянской свитке, не
тайком, как беглец, а широкой дорогой боев
и наступлений, в армейской шинели.

Где-то у Богучар добрался он, наконец,
к своим войскам и сказал командиру,
что хочет опять драться с врагом. Он сказал
еще, что был в плену и что ему надо иску-
пить свою вину перед отцом и армией, и вину
эту он сам знает. Он хотел еще прибавить,
что не с голыми руками пришел к ним, что,
пробиваясь сюда, он и в одиночку и с това-
рищами не раз нападал на обозы отступающих
немцев и бил их, и не мало набил. Но взгля-
нув на суровое, покрытое черной копотью
боя лицо командира, ничего не сказал. Что
сказать им, стоявшим на смерть под Сталин-
градом, чем ему перед ними хвастаться? Он
бы должен сейчас, как они, быть весь в кро-
ви и копоти, и чтоб от полусубка пар шел,
и на рубахе соль выступала от солдатского
труда и пота, и на сапогах — снег и грязь
всех дорог, от Волги до Дона. Что ж он,
чистенький, стоит перед ними, воплам? Ему,
беглому солдату, — перед ними стыдно.

Андрея долго и строго допрашивали в осо-
бом отделе, но не так строго, как он сам
много раз допрашивал себя.

Он бы так спросил: «В чем вина твоя,
Андрей, перед родиной?» — В том вина моя,
что я смерти убоился. — «А еще в чем?» —
А еще в том, что я веру потерял. — «Отчего
же случилось так, Андрей?» — Оттого, что
душа у меня была бедная... — «А теперь
не боишься смерти?» — А теперь не

боюсь. — «Где ж ты смертного страха ли-
шился, Андрей?» — В рабстве. Рабство горше
смерти. — «И ты там же веру нашел?» — Нет.
Нашел ненависть. Она веры крепче. — «Чего ж
ты хочешь теперь, Андрей?» — Оружие про-
шу. И места в строю, товарищи. — «Зачем
тебе оружие, Андрей? Чтоб прощение отна
заслужить?» — Мне его прощения мало. —
«Чтоб вину свою перед родиной искупить?» —
Мне и этого мало. Для этого одного боя
хватит. А я к вам на все пришел. — «Чтоб
ненависть свою насытить?» — Ее насытить
нельзя. Она — смертная! — «Зачем же тебе
оружие, Андрей?» — Чтоб до конца драться.
До победы. На меньшем я не помирюсь.

Так его по допрашивали в особом отделе.
А может, и спрашивали, но другими словами.
Но внимательно поглядев на него — так, сло-
впо в душу глянули, — поверили и направи-
ли в строй. Тут ему дали оружие.

Он взял винтовку. Она была совсем такая
же, как и та, брошенная им в кукурузу,
когда сдавался немцам, — обыкновенная
русская трехлинейная, с золотистым ложем и
граненым штыком. Отчего же раньше была
она для Андрея бесполезным дрекольем, а
сейчас оказалась грозной силой?

Андрея поставили в строй. Но прежде чем
повести пополнение в огонь, командир роты
вывел новичков на поле вчерашнего боя и
сказал:

— Смотрите.

И они посмотрели!..

Черным снегом было покрыто поле, все
истоптанное и истерзанное, — сладковатый
запах пороха еще витал над ним. А пов-
сюду, как дохлые кони, валялись немецкие
танки, обгоревшие и исковерканные; немец-
кие пушки покорно подымали вверх стволы,
как пленные подымают руки; скрючившись
и окоченев, лежали околевшие немцы, гряз-
ные, рыжие волосы уже примерзли к земле,
в раздавленных касках застыл лед.

От всего поля, перепаханного трактором
войны, от поверженного в прах вражьего
железа, от могучих следов гусениц наших
танков исходил густой и терпкий запах по-
беды и, глотнув его, Андрей полумал с за-
вистью:

— А меня тут не было!

Остро завидовал он сейчас тем неизвес-
тным солдатам, — может, землякам? — что
прошли здесь вчера со славою, громя немцев
на Дону, гоня их на запад.

— Смотрите! — строго сказал командир. —
Смотрите, как наши люди бьются. Как рус-
ские немца бьют.

— Что ж! — ответил Андрей, кусая гу-
бы. — Дайте и нам подраться!

— Драки просим! Драки! — нетерпеливо закричали новички. Их будоражил вид и запах победного поля, их кровь закипала пламенем победы.

— Будет вам драка! — усмехнувшись сказал командир.

На заре они пошли в бой. Они влились в великий поток наших войск, наступающих на врага, и Андрею посчастливилось участвовать в том знаменитом зимнем марше от Волги до Днепра, о котором еще будут писать историки.

Они шли на запад... Навстречу попадались длинные, унылые колонны пленных немцев. Немцы шли в зеленых шинелях с оборванными хлястиками, без ремней: уже не мужики и не солдаты — пленные, и Андрей злобно усмехался, глядя на них. «Ага, вот вы, непобедимые — ну-пу!» И он яростнее кидался в бой. Бывалые бойцы учили его ремеслу воина. Они знали теперь то, чего не знал он и знать не мог: он был в плену, а они — в боях. Бой — лучшая академия. Зато он мог научить их ненависти. Он рассказывал им о городах, стонущих под сапогом врага. Он говорил им:

— Если б знали вы, с какой тоской и верой ждут нас там, — вы дрались бы еще злее.

Когда Миллерово было взято дивизией, где был Андрей, и села окрест очистились от немцев, Андрей показал товарищам:

— Вот здесь был лагерь смерти.

Он стоял, опаленный боем, окрыленный победой, и глядел на этот пустырь. Еще болталась ржавая колючая проволока... Снег лежал на ней. Он глядел на нее и чувал, как снова закипает в нем жажда мести — ее ничем не утолить.

Под папором советских войск один за другим освобождались города, но Андрею всего было мало. Он рвался домой, в родной город. Он знал: там наших ждут. Со смертной тоской ждут. Может, об Андрее и не думают: отец проклял, жена не простила. Ждут штыка русского. Но вот штык в Андреевых руках. Ждут его или не ждут, — это он несет им свободу. Это он через дым и кровь рвется домой.

Может, живой и не дойдет. Он не боялся смерти. Он не отлеживался от нее. Командиру отделения, сержанту Власову, он сказал в первый же день:

— Если убьют, — сообщите родным. Адрес — вот он.

Но он знал: теперь и мертвый он дойдет домой.

Ему повезло. Он пришел живой. Ранним утром, — еще темно было, и город топил в се-

ром мраке, — ворвался он одним из первых в город. На знакомых, родных улицах укалывал он последних немцев.

Ему разрешили забежать домой. Он не постучал в окошко, — вошел, стремительно рванув дверь.

— Андрей, — закричала Антонина и бросилась к нему.

Он осторожно обнял ее. Он боялся быть нежным. Пламя боя горело на его черных щеках.

— Папка пришел! — радостно завопила Марийка. — Папка наш совсем пришел!

— Не совсем, дочка, — ответил он. — Мне еще далеко идти.

Он обвел семью жалким, нетерпеливым взором, — но отца не нашел.

— Где отец? — хрипло спросил он.

— Он у себя лежит. Раненый, — торопливо ответила Антонина. Андрей вошел к отцу. Тарас лежал в постели и на Андрея взглянул, как ему показалось, насмешливо.

— А-а, Андрей! — усмехаясь, протянул старик.

Андрей сорвал со злостью что-то с груди и, зажав в кулаке, сказал отцу:

— Здравствуйте, тату. И прощайте. А это, — он швырнул что-то на стол, тускло звякнуло оно, как полтинник, — жив ли буду, или погибну — берегите! — и выбежал прочь.

Тарас слабым голосом позвал жену.

— Покажи, что он там купил?

Баба Ефросинья подала ему медаль.

— «За отвагу». — прочел Тарас и опять усмехнулся. — Убежал! Гордый чорт, — моей крови!

Вбежал Лепька, как всегда запыхавшийся, как всегда с новостью.

— Дедушка! — закричал он. — Наши идут и идут... Полный город войск! И танки!

— Эх! — слабым голосом произнес Тарас. — Вот беда, не могу я встать! Рапский... А то б вывел бы я все свое семейство перед бойцами и самому старшему командиру сказал бы: могу тебе, командир, прямо в глаза смотреть и всем твоим воинам. У моей фамилии душа перед родиной чистая...

— А Пасти нет... — вздохнула баба Ефросинья. — И от Никифора сколько месяцев вестей не было.

11

Никифор, младший сын Тараса, еще осенью был рапел под Сталинградом. Его увезли в госпиталь за Волгу. Врач, оперировавший его, сказал:

— Жить вы будете, а воевать уже нет,— не придется.

Никифор заскучал и спросил врача:

— А что же я теперь делать буду?

— Что до войны делал?

— Рабочий я. Металлист. Монтажник,— ответил Никифор.— Домны я строил, например...

— Ну, и очень хорошо! — обрадовался врач.— Будете домны строить.

Рядом с Никифором в палате лежало много бойцов. Соседом по койке был примечательный человек, сержант Алексей Куликов, родом певзенский.

— Я, брат,— сказал он Никифору,— в среднем ремонте не первый раз. Починят— и опять пойду. На мне рана заживает быстро.

И действительно: поразительно быстро заживали его раны,— даже врачи удивлялись. А Куликов усмехался:

— У нас, у Куликовых, шкура крепкая, и лечению способная. Деда без дохтуров жиди, сами раны заживляли. А у меня какие раны! — Так, рашення...

Никифору все было пеловко, что с ним здесь так плянчатся. Соскребли с него окопную грязь, отмыли, отбелили, и положили в чистые простыни, тихого и просветленного. Никогда и никто так не заботился об его теле. Это тело любила мать и, бывало, ласкали бабы и сам он, двадцать семь лет таскал его по грешной земле; нынче дырявое, все побитое осколками, оно досталось чужим людям — врачам да сестрам. И вот — глядишь! — они ухаживают за ним так, точно он — драгоценный сосуд. Даже совестно.

Справа от него лежал боец без руки. Этот все, бывало, ворчал, все ему не нравилось: и еда, и врач, и палата. И никто понять не мог, чем он недоволен, чего ворчит. Только Алексей Куликов слушал-слушал, да и спросил однажды:

— Ты что, мил-человек, шорник сам?

— Это почему же — шорник? — опешил тот.

— Али, сапожник? — допытывался Куликов.— Который человек сидячего ремесла, тот поворачать любит. Работа скучная, одиокая, он и развлекает сам себя.

— Ложечник я! — сердито закричал ворчун.— Ложки делал. Вот кто я, если желательнее знать! Может, я первый ложечник был на всю Горьковскую область. Может, моей ложкой вся Россия щи хлебала. А теперь меня залого с ложки кормят — руки нет.

— Какой руки-то нет? Правой, что ли? — спросил Никифор.

— А хоть бы и левой! Лучше бы мне гер-

ман обе ноги оторвал. На что мне ноги? — Не плясун! А без руки — куда же я?

— Была бы правая... — утешительно сказал Куликов.— А без левой и приспособиться можно.

По на безрукого добрые слова действовали мало, — ворчал он попрежнему.

— Чего меня лечите? — бурчал он на врачей.— Меня лечить без надобности. Отво-свался я. Вы Куликова лечите, — он еще год для боя.

— Ну, что ж, — отвечали врачи, — Куликова вылечим для боя, а тебя — для жизни.

Эти слова поразили Никифора, — он их слышал. И Куликова, видно, поразили они. Вечером Куликов подошел к соседу и сложился над ним.

— Для жизни тебя лечат! — проговорил он.— Слышь, сосед, слова какие? Для жизни. Хорошие слова. Возьми, к примеру, машину, трактор. Переломай ты ему гусеницы, диффер, кузов, — что получится? Лом. Не машина это будет, а железный лом. Только всего. А у человека руки оторви, ноги выдерни, — он человек был, человеком и остался. Слышь? Потому в нем душа есть, разум, — он совсем близко наклонился к соседу и дышал ему в лицо.— Не расстраивайся, земляк, слышь? Живи. Очень я тебя прошу. Живи для жизни...

И слыша эти слова, задумался о жизни и Никифор. Горько было ему, что не доведется больше покурить с ребятами махорки в блиндаже, не бежать ему вместе, рядом, в атаку, когда смертельно-весело грохочет артиллерийский гром, и смерть жарко дышит в лицо, и от ее дыхания и жутко, и весело, и б/твно на душе... Он теперь знал, зачем остался он жив на земле, и зачем будет жить долго и плодотворно: для большой жизни остался он жить, для труда.

Выписывался из госпиталя, он долго таскал руку Куликова.

— Домой идушь? — спрашивал сержант.

— Вроде домой, — улыбаясь, отвечал Никифор.— Собственно, дом-то еще под немцем. Но предполагаю так: освободят. А? — как думаешь?

— Освободят! — уверенно отвечал Куликов.— Ну, иди. А я еще за пулей схожу. Я еще драться не кончил.

— И я б... пошел... — смущенно сказал Никифор.— Да вот, костыли не пускают...

— Ничего, ничего. Иди домой. Без тебя управимся, — он опять потянул руку Никифора.— Домой идушь? Святое дело, брат! Все мы, отвожем — домой придем.

В эти дни наша армия, разбив немцев на Дону, гнала их донскими степями.

— На мой дом направление наши держат! — восклицал Никифор. — Как есть на мой дом, по курсу...

И он решил идти везед за наступающей армией.

Попутные машины охотно брали его.

— Давай подвезем! Далеко? — спрашивали его шоферы.

— Оно и далеко, и близко, — отвечал, пожимая плечами, Никифор. — Вообще-то оно близко, а поскольку не в наших руках, — далеко. Ну, думаю, пока на костылях дошкандыбаю, возьмут, а?

— Раньше возьмут! — отвечали веселые шоферы.

— И я предполагаю — раньше. Торопиться надо.

Он торопился. Он шел и ехал по освобожденной земле, ночевал в освобожденных селах. Его всюду пускали охотно, ему уступали лучшее место.

— Это не мне, — догадывался он, — это костылям моим. Это крови моей пролитой почет.

И он знал, что за это благодарить — нелегко, нельзя. Вместо благодарности, он рассказывал хозяевам о Сталинграде. Он говорил о Сталинграде и шоферам, подвозившим его, и бойцам, кормившим из своих котелков, — его слушали охотно: и он, и его костыли уже принадлежали истории.

Но чем дальше шел на запад Никифор по освобожденной земле, — тем все больше захватывали его другие заботы и мысли. Он видел: вставала земля из пепла, непокоренная земля, неистребимая жизнь.

В поселках бабы в голубой колер мазали свои хатки.

— Эй! — кричал он им. — Больно рано, бабоньки! До пасхи далеко!

— Та хай ему чорт! — смеясь, отвечали бабы. — Гибельштрассе замазываем... — И они показывали ему на немецкие написи на хатах: Геббельс-штрассе, Геринг-штрассе... Бабы с яростью замазывали немецкие следы.

В селах озабоченные мужики из-под снега выкапывали колхозное добро, из сохрвленных им доставали зерно, — готовились к севу.

Хмурый мужик по-хозяйски прилаживал к

плетню, вместо калитки, дверцу от немецкого автомобиля.

— Ты, что ж это! — смеялся Никифор. — Трофеем обзавелся в хозяйстве?

— А что ж? — спокойно пожал плечами мужик. — Они у меня весь двор разорили...

В Бельске Никифор увидел первый торгующий магазин — книжный. Все здания вокруг были сожжены и разрушены немцами. Книжный магазин уцелел чудом. В витрине вовсе не было стекла, но книги лежали аккуратными стопочками.

— Так покрадут же! Покрадут! — сказал пролавиу Никифор.

— Не украдут! — убежденно ответил продавец. — Народ под немцем жил, на их посулы не льстился. Что ж его теперь сомнением обижать? Нашему народу верить можно!

Как на праздник, выходили люди на постройку мостов и дорог; они стосковались по свободному труду, как по хлебу. Подле обугленных заводских корпусов собиравлись рабочие. На шахтах откачивали воду. Мастера суетились на клатбницах паровозов. Рылись в снегу, по-хозяйски подбирали болты и гайки. Женщины сносили в школы мебель. Из лесов и балок возвращались партизаны. Все было охвачено жаждою восстановления. Земля подымалась из пепла. Люди не хотели ждать, но могли ждать: в поле, где вчера прошел бой, сегодня выходили колхозники.

Никифор почувствовал, как у него начинают нетерпеливо гудеть руки. «Эх, работы сколько! Работы!» — жадно думал он, глядя на мертвые пеха.

Это не усталый, больной солдат шел с фронта, — это шел строитель. Жадный. Нетерпеливый.

Перед ним лежала земля, как и он, тяжело раненая. Над шахтами склонялись разрушенные копры. Железные мосты вскарабкивались на деревянные костыли. Всюду кровоточили раны.

— Ничего! — говорил Никифор. — Ничего, брат, живех! Эх, работы сколько! Работы! А костыли — что ж? Костыли скоро делой. И задымм, будьте любезны!

Потому что такова жизнь: раны заживают. Они заживают.

“Янук Сялиба

Поэма ¹

На перекрестке полевых дорог
 Давно стоит село Червоный Лог.
 Дугою выгнут вековечный бор.
 На запад — край лешачьих мхов, болот,
 Где в глубини зачарованных озер
 Глядятся только небо да чарот.
 Здесь некогда, — рассказывал Егор, —
 Из кабака да прямо в пекло чорт
 Гнал за долги его. Но дед схитрил:
 — Нескладно, — молвит, — без лаптей ша-
 тать

Мне в гости к бесам. — И уговорил,
 Чтоб лыка чорт пустил его надрать.

Чорт отпустил Егора, сам прилег
 Вздремнуть с устатку на зеленый мох.
 «Куда, — решил он, — деду убежать?
 Грутом трясини, бурелом, завал...»
 А дед, тем часом, кончив лыко драть,
 Травы сухой да сучьев патаскал,
 Прилаядься, искру выбил кременьком,
 Подул — и вмиг, охваченный огнем.
 Бостер взметнулся. Пламя меж ветвей
 Пошло веселой белкою скакать.
 Чорт глянул, сморщился, да поскорей
 Сломя рога, пустился удирать.
 Ну, мажет, малость. дед и привирал,
 Но здесь, в бору, и вправду бушевал
 Огонь когда-то...

Еще и нынче различить следы:
 Растет в проплешинах круглец-трава,
 И пни сожженные торчат из-под воды.
 Простор, отрада диким птицам тут,
 Для всех найдется пища и приют —
 Для вальдшнепа, бекаса, и чирка, —
 Их песнями все заводи звенят;
 Из хаты выйди только за тока,
 И скрипок свадебных уж не слышать.

А нынче в новой хате Янука
 Гостям играет Тупшка-музыкант.

Он с Януком с ребячьих лет друзья,
 Батрачил вместе, — так пускай поет
 От хмеля кровь, кружит земля.
 Шируют гости, хата в пляс идет!
 Счастливая, на лавке за столом
 Сидит Райна рядом с Януком.
 На ней убор венчальный кружевной,
 И очи майской светятся зарей.
 А чистый голос скрипки все звончей
 Скликает в круг из-за столов гостей.
 Но вот уже Райну, Янука
 Горячий ветер танца опалил,
 И мягким маповеннем смычка
 Пред ними настезь двери отворил,
 Повел широким шляхом на простор,
 На берега синееющих озер, —
 То кажется колосья шелестят,
 Иль бурь весенних светлый гром гремит...
 А это только каблучки трещат,
 Да солнце в молодой крови звенит!

Один Гарыдовец попурыл за столом
 Сидит, задумавшись: «Эх, проморгал,
 Хоть был, кажись, и ловок, и хитер,
 А все же Райной вои кто завладам .
 И так во всем — нескладница, раззор!

Как в улье, что хозяин растворил,
 Нескоро шум замоль и наступил
 Покой в дому. Райна, со свечой,
 Смелаясь, подбирая у стола
 В подол куски посуды расписной.
 — На счастье столько звона и стекла!
 Янук к возам шагнул через порог,
 Где крепко спал Толкач и с ним Тимох.
 Василь из хаты крикнул: — Не забудь,
 Мне завтра ехать!.. — Не забуду, нет... —
 Домой хотел он было повернуть
 Да не успел — свалился на гумне.

И снится Януку: весна... восход...
 Средь яровых Гарыдовец идет,
 И там, где межи плуг перепахал,
 Он вновь камня положить спешит.
 Потом, пригнувшись, к солнцу подбежал

¹ Сокращенный вариант. В полном виде выходит отдельным изданием в Гослитиздате.

И вдруг плечом уперся, чтоб скатить
Его к себе на поло. По Янук
Все хочет помешать ему.
И вот качаются по-пад землей
То день, то ночь... Но все ж лучшестый
лик
Янук вздымает сильною рукой
Все выше, выше... Сон прервался, сплк...

Батрачню село Червоный Лог.
Подпаском свой отеческий порог
Янук покпнул. У папов служил,
Рыбачил, Неманом плоты гонял,
В рядах повстанцев с кобринцами был.
Потом, как водится, в острог попал.
И к жизни натиском народных сил
Его сентябрь червоный возвратил.
О, памятные даты первых встреч
С отчизной вольной! Он едва узнал
Свое село в лохмотьях рыжих стрех,
Когда полями нищими шагал.

Сады пылали золотым костром.
Вдруг у колодца девушка с ведром
Его спросила: — Ты откуда, чей?
— Найду вот хату — может, буду твой! —
Так пошутил. А у избы своей
Припомнил девочку, что бегала босой.
— Раина? Дочь охотника? — Пу-да! —
Как расцвела за быстрые года!
А он как будто побыл на войне, —
На лбу скятанья проложили след,
А в синеве очей, в их глубине,
Стустилась тень от пережитых бед.

* * *

За хлопотами первой посевной
Лукаш и часу не нашел весной
С ружьем в бору пошляться...
Янук потешить старика решил:
— Нам разве кто охоту запретил?

Нехитрый скарб, но дед его берег:
И дробовик испытанный, и рог,
И сумку, для которой из пеньки
Он сам сплетал надежные шпурки.
Чего он в эту сумку ни кладет:
Приманок хитрых для зверей, сляк,
Травы целебной с луговин, с болот
И дудки итвичь. Видно, неспроста

Ходила слава, что Лукаш — ведун.
Своей игрой на дудках и манках
Заворожить мог даже на лету
Любую стаю прямо в облаках!..
Пароду много собралось в Логу.
Охотники гуторили в кругу,
И всякий рвался «случай» рассказать-
Лихне были мастаки приврать.
Всех впереди столяр был Банадык,
Что на сермяге, развалясь, лежал
И, глядя вверх на огонек звезды,
Базалось, в книге золотой читал,
Написанной великим ведуном,
А может, и самим Банадыком.
«Жил на Полесье музыкант Бульня;
Уж так играл — по сердцу вел смычком
Никто, как он, не мог повеселить.
Да бог и чорт заспорили о нем:
Заспорили, кому его забрать.
Бог молвит: — Мой. Его игра
Была лучом, что озаряет день,
Была слезой, что гасит боль и гнев,
Молитвой дивной за грехи людей
И гимном, возносящимся ко мне. —
Чорт сморщился от похвалы такой:
— Неправду молвишь. Он совсем не твоё
Слагал он гимны — только не богам,
Он славил пахаря, что до зари —
Ты спишь еще — встает к своим трудам
Навстречу солнцу душу отворив.
За ним я годы по пятам ходил, —
Моляться не умел он, не любил.
И хоть из сердца золотым смычком
Мог высечь пламя, бурю и печаль,
Издалека он обходил твой дом.
Я в кабаке его всегда встречал.
Где кто женился, либо помирал,
Или крестины кто в селе справлял, —
Он с мужиками всюду водку нил,
Нас попосил, играл им трешака,
Аж тучей лапти поднимали пыль.
За что же в рай ты тянешь босяка!
Да и ему с тобой прискучит жить.
Уж раз бы чорту мог ты удружить!
К тому же, в пекле некому как раз
Играть для бесов в почь под Новый год!
Иль под Купалу — в час, когда у нас
Заводят ведьмы шальной хоровод...
Бог почесал затылок: — Ну, тогда

Пусть сам подумает, пойти куда,—
Иль в пекло ваше, иль в мой райский сад;

Пусть выбирает: мне ль, тебе ль играть.
Навряд ли он запросится назад
На землю вновь, чтоб вновь там горевать.—

Сверкает в небе золоченый рог.

Стоит Кулик на стыке двух дорог:
Одна — к чертям, другая — к богу в рай,
Стоит и думает: куда ж пойти?
Но тут он вспомнил свой родимый край
И что не в каждой хате отгостил,
И не на всех крестьянках побывал,
И не на всех он свадьбах отыграл,
И не из всех еще стаканов пил...
Буда итти? Бопечно же домой!
Поправил лапти, струлы подкрутил
И — на Полесье стежкой прямой!

И бог, и чорт ему кричат: «Как смея?
Эй, погоди, куда же ты, пострел?»
Но уж далече музыкант был наш.
Чтоб повернуть — послали смерть за ним.
И вот, сердешная, без отступу она
И днем и ночью взором ледяным
Следит за Куликом по всем дворам.
Нет-нет да спросит: — Может, уж пора
Тебе на небо? — Нет, к чему спешить,
Еще у чарки я не вижу дна... —
И будет, верно, он вовеки жить,
Друзьям — на радость и на славу — нам!

.....

Загонщики хватили злых волчат,
Им помогали дед Егор, Игнат;
А Янука вдвоем с Бападыком
Сквозь дебри вековечные лесов
Тем временем к дороге вывел след.
Болес донесся близкий перестук.
— Нигде волка тут не видал, сосед? —
Встречь Митрофану закричал Янук.

Тот осалил коня. — Нет, не видал...
Все веселитесь? Дело бог послал:
Боюсь, самим придется бегать нам...
— Что так? — спросил, нахмурился, Ба-
надык.

— Не слышал? С немцем началась вой-
на... —

И вдруг глазами, острыми, как штык,
Царапнул, усмехаясь, Янука,
Стибка ж только побледнел слегка.
Молчали долге. Дикий бер шумел.
— Пу, что же, ладно... — произнес Янук,
Хоть сам никак поверить не хотел
В лихую весть про новую войну...

* * *

Придя однажды вечером к себе,
Гарыдовец застал в своей избе
Гостей, что ввек не думал встретить он.
— Не узнаешь, — воскликнул Митрофан, —
Хозяина? Скорей вздувай огонь
Да на окно зипуп там иль кафтан
Повесь, чтоб лишних не мажало в дом!.. —
Гарыдовец увидел за столом
Былого войта. — Капитан Шарон!
В потемках не приметил. Вот-те па!
Что ж вас до наших принесло сторон?
Понутный ветер добрый иль война?..

— И то, и се, почтенный... Много дел
Заставило меня в родной предел
С варшавских плацев и берлинских штрасс,
Поклинув все, вернуться поскорей.
Признаться, часто тосковал без вас.
Про все поговорим. Теперь палей
Стаканы нам, да и себе, полней:
Уважь, хоть и непрошенных, гостей.
— Зря обижаешь, пан. Я всей душой...
— Спасибо, верю. Значит, можно нам
И за свиданье, и за новый строй
Вот эти чарки осушить до дна!

На Беларусь осадником Шарон
Пришел когда-то. Жил привольно он,
Хоть и не раз пускали петуха
Под крышу войту за его суды.
Но, зная, мужичья месть была легка,
И слаб соломенный расплаты дым.
И лишь восточный ветер в добрый срок
Сдул шана войта, будто пыль с дорог.
Шли слухи, что Гарыдовец тогда
Шарона прятал в пуньках и стогах,
Потом он где-то сгинул без следа
В далеких и неведомых краях.

— Пу что ж, почтенный, — начал вновь
Шарон.

(Так величал лишь самых близких он),—
Я не забыл, как жизнь когда-то мне
От ярых вил мужичьих ты сберег,
Как через реку перевез в челне
И за границу выбраться помог.
И помню все и на добро добром
Друзьям отвечу,— век стою на том.
Но горько будет тем, поверьте мне,
Кто в хате мой порог переступил
И на моем хозяйничал гумне,
И мой падел плугами бороздил.

Мне всех их нужно вызнать имена,
Чтоб заплатить за все года сполна.
Ниши же, Митрофан, всю эту «знать».
Ниши! А ты, почтенный, наливай!
А что ж хозяйки в доме не видать?
Гляди, как поседет голова,
Поздненько будет...—
Гарыдовец смолчал. Из-под пера
У Митрофана список рос и рос.
Уж полсела он накатал врагов
И, видно спягну, в их число занес
Всех ребятишек, баб и стариков.

— Ты и покойников бы в этот строй!
Эх, писарь! Где тут чорт, а где святой —
Не разберешь по записи твоей!—
Ворчал Гарыдовец.— Поехал вкось!
Есть, брат, враги у нас и поважней.
Ниши Игната: он делил покос
И землю. Дальше ставь Банадыка
И главаря Сялибу Янука...

Была та ночь удушлива, темна,
И, стоя у раскрытого окна,
Гарыдовец услышал дальний гром,
И горький чад ему наполнил грудь,—
Уже пожарниц огненным крылом
Война охватывала Млечный путь.
Но радостно он этот чад вдохнул —
Б селу несло и зарево и гул.
Он словно солнце с запада встречал,
Он думал, глядя на простор полей:
«Господь опять мне руки развязал»...

* * *

Забытая людьми, который год
Смолярня пустовала меж болот.
По плечи еруб увяз в сырых песках,

А крышу мох косматый покрывал;
В насквозь прогнивших смоляных насти
Росла густая дикая трава,
Вокруг шумел бескрайний древний лес.
Янук с Райной задержались здесь,
Чтоб осмотреться, подждать, пока
Друзья не явятся укрыться от беды.
И через день пришли кузнец Толкач
И с ружьями Василь и Бападык.

Дороги нет теперь им всем назад.
Одно убежище — бескрайний бор.
Где только сосны в облаках звенят,
Где только мох, богульники да чабёр.

Еще немного дней с тех пор прошло,
Янук решил сходить с Банадыком
За хлебом и одеждою в село.
Так незаметно пробрались они
Задами через гумна. Там, в тени,
Все было тихо, словно смерть вчера
Здесь отыграла свадьбу — и вповал
Всех уложила. Мутная зари
Была мертва. И каждый дом молчал.
Лишь вороны проклятые вокруг
Кричали хрипло, раздирая слух.
Редел туман. На яблоне висел,
Колючкой перевитый по рукам,
Кровавый труп. Янук глядел, глядел
И задохнулся: Тишка музыкант!

— А не плохой, кажись, был музыкант!—
Внезапно за спиною Янука
Промолвил кто-то. Лязгнул пистолет.
— Эге, как вижу, тут знакомый гость,
Проведать друга заглянул, небось?
Янук узнал Шарона. Надо ж ведь
Попасть так глупо, словно рыба в сеть.
Хотел схватить за поясом топор,
На счастье понадеявшись, бежать...

Шарон поспешно парабеллум свой
Навел и выстрелил. Над самой головой
Пробила пуля шапку Янука.

— Когда со мной не хочешь говорить,
У команданта в золотых руках
Тебя приветливым научат быть!..

— Что ж мы успеем, нан, поговорить...
Зачем пришел я, верно, знаешь сам,
Уж не за тем, чтоб здесь с тобой гулять.—

Хотел я немцам да и всем их песам,
Осину поудобней отыскать!
На шум явился мигом Банадык,
Чтоб вызволить Сялибу из беды.
Он из двухстволки залп по войту дал.
Осадник прыгнул в створбу, крича,
Потом, как пьяный, спотыкаться стал
И, тяжело рухнув наземь, замолчал...
А там стреляли и кричали: «Рус,
Сдавайся...»—Тотчас пистолета спуск
Янук нажал, прогрохотав в ответ
Огнем прицельным; и с Банадыком
В хлеба густые, чтоб запутать след,
Пырнул, как в прорубь... А когда кругом
Утихло все, Гарыдовец, как волк,
С оглядкой войта на плечах сволок
К себе домой.

.....
В горячке бился на кровати Курт
— Гарыдовец, ты где же? Слышишь ты?
Стреляет кто-то... Где ж мой автомат?
— Лежите, нап, вы сдернете бишты,—
На воле буря, бьет в окошко град!..—
Он войта успокаивал, а сам,
Дрожа от ужаса, глядел, как там,
На улице, немецкий комендант
С солдатами расстреливал толпу.
«А вдруг Раина тоже в этот ад
Попала?» Бледный, с каплями на лбу,
Гарыдовец порог переступил.
На месте том, где дом Сялибы был,
Средь брёвек тлеющих мертвец лежал.
Хотел он приглядеться поверней,
Но все застлал взметнувшийся пожар.
Страх сердце сжал ему еще сильнее...
Повешенного музыканта труп
Качало ветром с севера на юг,
Небес разгневанных железный круг
Звучал над Логом, как пабатный звон,
И от него Гарыдовец оглох.
Теперь нигде он спрятаться не мог,
Он знал — из пепла встанет мести зов,
Проклятье, чуял он, гремит в ветрах.
Дрожал, хоть дверь и запер на засов.
Хоть ставни были на стальных болтах.
Червоный Лог весь опустел к утру,—
Кто спасся — скрылся в вековом бору.
И у смолярни старой, что ни день,
Землянки вырастали меж дерев.

И много двигалось сюда людей
Из сем соседних, дальних хуторов.
Ходили слухи, что Янук разбил
Отряд немецкий. Кто их распустил?
Неведомо. Тогда ж у Янука
Расспрашивали, он, прищурив глаз,
Рассказывал всю правду, без прикрас.
— Ты вести доброй не перечь. Пускай
Она летит, как песнь, из края в край,
Летит призывем,—Банадык сказал,—
Пройдет за годом год, и в свой черед
Мы вспомним сказку, что слагал народ
У огниц партизанских. В тяжкий час
На смертный бой она скликала нас!

Вокруг смолярни старой с каждым днем
Все жарче разгорались огнем
Густого вереска медовые цветы,
Занескрилися ягоды рябин,
А меж болот, на древних мхах седых,
Раскинулись созвездья журавин¹.

Янук поднимет голову — вдали
Летят с прощальным криком журавли.
И на минуту грусть плеснется в пем:
— Кто ведает, крылатые друзья,
Увидимся ль мы снова, доживем
До осен вольных, дождю ли я?
Быть может, возвращаясь вновь домой,
Вы здесь увидите во мгле лесной
И мой приют. Так протрубите мне!
Я ваш привет на зорях буду ждать
И буду знать: в родимой стороне
Опять ветра весенние гудят...

* * *

Янук глядит, стараясь отгадать,
Что затаяла эта почь и даль?

А в хате все еще огонь горел.
Курт за столом над картою сидел
В карацашом.— Так вот она Москва!
Бывал ты в ней, Гарыдовец? Едва ль!..—
Гарыдовец же думал о другом:
Червоный Лог стал черным пустырем,
А вокруг него, в зловещей мгле лесной,
Янук гулял с отрядом партизан.
К тому ж Гарыдовец за краткий срок
Вполне на немцев наглядеться смог.

¹ Ж. равини—калюква (по-белоруски).

Курт ночью план ему поведал свой!
Пройдет война, затихнет все кругом,—
Он здесь, в Логу, поставит над рекой
Завод кирпичный, мельницу и дом.
Позарятся не только на реку,—
Коль вцепится,— все загребет в кулак.
Прегорше перна этакий сосед!
Гарыдовец не хочет: как-никак —
Быть только спицей в чьем-то колесе.

Шарон уж выздоравливал, ходил.
Затягивались шрамы на груди,
Глубокие следы недавних ран.
И раны те Гарыдовец теперь
Разбередил, припомнив партизан.
— Ты ошибаешься, почтенный. Пу
поверь,

Что не такие сильные они,
Чтоб самодельным порохом могли
Отсесть нас выкурить!— Боюсь я, пан,
Заставит вскорости тебя Янук
За голову свою, за партизан
Повысить втрое первую цену.—

Курт скрипку взял, чуть голову пригнул,
Провел смычком — и словно луч скользнул,
Горячий, чистый.— Кто же здесь у вас
Мог страдиварий смастерить такой?—
Он с прочими трофеями в Эльзас
И скрипку думал переслать домой,
А потому и спрашивал. Шарон
У лампы оглядел со всех сторон
Работу тонкую. Гарыдовец один
Знал мастера, да только не хотел
Про Тишку вспоминать, чтоб не будить
Средь полночи повешенного тель.
— Тут человек такой искусный был,
У нас он эти скрипки мастерил.
Умел в бору сыскать деревья он,
Что откликались золотой струной
На песню каждую, на шелест, звон,
На каждый луч, непослапанный зарей.
Вот оттого-то и цены им нет!
Таких немного знает белый свет.—
Гарыдовец и вправду пожалел,
Что немец эту скрипку захватил,
Под звон которой он когда-то пел
И на венчании Райпы пил.
В сених упало что-то. Офицер,
Дрожка, рукой пащупал револьвер.

Но вновь в густом настое тишины
Он только слышал: ветер выл ночной,
И таял, таял скорбный звон струны.
— Должно, с поста вернулся часовой,—
Сказал Шарон.— Пора и нам ко спу.
Пойду-ка ставни крепче притворю...—
Да только войт переступил порог,
В потемках кто-то сразу за кушак
Рванул его; ударом сбитый с ног,
Шарон упал, от боли не дыша.
— Неужто, пан, ты двери потерял?
Дай посвечу.— Гарыдовец привстал.
— Пойдем и в темных сенцах подящев!—
Как бич ударил голос из сеней.
Огонь Сялибы осветил лицо
И руку с пистолетом у дверей.
Курт маузер рванул из кобуры,
Но прежде выстрелить Янук успел.
Держась за шею, Курт стонал, визжал,
Зовя кого-то. Но потом разжал
Ладони красные и рухнул вниз лицом.
На стол стекло посыпалось, дробясь.
Все на мгновение озарив кругом
Легучим пламенем, огонь погас.

.....

И в тишине
Желна в бору на вековой сосне
Долбила носом медную кору;
А временами далеко в бору
Снег пухом падал с сумрачных небес—
На топи мшистые, на тихий лес...

Не раз Райпа постучала в дверь.
Пока,— не выгнав, кто, откуда,— ей
Открыли. Фельшер сторбленый, с клюкой.
Едва ходил.

— Я зденняя, своя,
Дочь Лукаша,— охотник был такой.
Быть может, знаете?

— Что ж, ластышка моя,
Что скажешь? Помню, скоро год тому,
Я был на свадьбе у тебя в дому...
— Старик! Старик! Я знаю наперед:
Коль не поможешь ты — Янук умрет.
Покинула я сына, чтоб пойти!
В ночи искала до тебя пути.
Ведь он судьба моя! Он должен жить!
Я буду вок тебя благодарить!

.....

Старик согласие дал,
От радости не чуя ног,
Раина дружеский порог
Перешагнула. Мимо часовых прошла.
Те были заняты, смолкли кабана,—
Но вдруг один из них окликнул:—
Хальт!—

Когда ж не задержалась она
И кинулась, петляя между хат,
Ее догнали.— Что? От партизан?—
Ни слова не могла в тот миг сказать,
Так дух перехватило...

Ее втащили в хату. Комендант
Опросил о чем-то сумрачных солдат,
И те поспешно вышли. У стола,
Не поворачивая головы, сидел
С газетой кто-то. Как стрела вошла
Раине в сердце, помутился взгляд.
Вплотную подошел к ней комендант,
Всю оглядел ее поверх очков:
— Откуда ж ты, красавица, пришла?
Проведать захотелось земляков?
— Я родом из соседнего села...

На этот голос незнакомец встал.
— Раина!.. Сколько я тебя искал!
Выспрашивал у всех, в леса ходил,
И вот опять увиделся с тобой!—

Раину бросили в холодный хлев,
Где наверху синела щель во мгле,
А на земле соломы грязной клочок
Ржавел в углу. Измучившись, она,
Едва переступила за порог,
И горестная тишина,
Как озеро, сомкнулася над ней.
Ей стало жаль всех недожитых дней,
Жаль покидать далекую звезду,
Что над ее ребенком в этот час
Светила тихо, отводя беду.

...
Не знала, долго ль этот трудный сон
Тянулся. Полночью глухой огонь
Раина различила пред собой.
— Не бойся,— я Гарыдовец... Хотел
Поговорить наедине с тобой,
Да ты спала... Раина, я принес
Тебе свободу, вымолил ее.
И не кляни судьбу, что довелось

Нам снова встретиться...
— Какую ж плату ожидаешь ты?
Нет у меня ни хаты, ни юнней
И пет мешка червонцев золотых,
Чтоб выкуп я отдать тебе могла!..
— Ты угадала, только про одно
Забыла, что люблю тебя давно.
Люблю, Раина! Так пойдем со мной!
Ты без меня не вырвешься живой.
Ты можешь, не отказывайся, нет,
Нас повести на партизанский след.

— Немного просит немец! Передай,
Что все ж дорогу в партизанский край
Ему не покажу. Да и чего
Он так спешит, чтоб побывать у нас?
Янук не гордый,— пана твоего
Проведает, уж недалеко тот час!
И немцу головы не уберечь!
Вы можете меня терзать и жечь,
Но допытаться не удастся вам,
Какие сосны лагерь стерегут,
Какие звезды ночью светят там
И что за тропы в этот край ведут.—

...
Все глуше, глуше поздний волчий вой
Над белой, замирающей землей.
Его в лесу и фельдшер услышал,—
Сдавалось временами, что вдали
Лесной дорогой привиденья шли.
Он ближе подошел и меж теней
В тех привиденьях распознал людей.
— Свои мы, русские, не бойся, дед!
Идем издавика. Скажи нам, где
Погреться можно и заночевать!

— В Логу вам, хлоппы, нечего искать,—
Холодный пепел там лежит давно.
— Скажи на милость, из села никто
Не уберется? Может, невзначай
Слышал про Янука Сялибу что?
— Да про него шумит весь этот край.
Зачем тебе он надобен, солдат?
Ты сам-то кто?— Ему я буду брат—
Василь Сялиба. Мно тут, дед, спозна
Знакомо все — и люди, и земля...
— Тогда идем, одна дорога нам,—
Вдохнул Заруба и заковылял.

Приход Зарубы-фельдшера помог
 Подняться Януку. Теперь он мог,
 Хоть и придерживаясь за стену.
 На волю выйти, поглядеть на лес,
 На лист оттаявшей полыни, на весну.
 Что уж трудилась среди болот во мгле.
 Где набухали почки лозняка.
 И лишь судьба Райны Янука
 Все горше мучила. Он слышал от людей,
 Что староста, подвыпив, говорил
 Про пленницу какую-то, а где
 И кто она, про то он утаил.

Но скоро слух о ней в лесах умолк.
 Одной отрадой в этот горький срок
 Явилась встреча с братом Василием.
 Когда восходил полночных звезд посев
 И в зыбке сып позабывался сном,
 А из смолярни уходили все,—
 Янук расспрашивал у Василя:
 Про весь им пройденный с боями шлях —
 От Беловежи и до волжских вод,
 Про вести фронтовые, про Москву,
 Про земляков, ушедших на восход,—
 Как тужат по Отчизне, как живут.
 — Немало по окопам я видал
 Ребят своих на всех путях войны,
 И все они спешат притти сюда,
 Пробриться к нивам отчей стороны.

Глаза закройшь — видишь наяву
 Руины Минска в пламени, в дыму;
 А припадешь к седой груди земли —
 Услышишь стоп наднемапских лесов
 И голос матери, тоскующий вдали...

Однажды в штабе, помню, утром мне
 Сказали:— Слушай, на Березине,
 На Парочи, в твоих родных местах,
 Собираются отряды партизан.
 Наладить пужно связь...—
 И я пошел с довавторцем одним.
 Как будто век шагали мы сюда,
 Смерть не одну перебороли с ним,
 Не раз в пути встречала нас беда.

— Гляди, земляк,— сказал я,— у реки
 Немецкие лежат грузовики.
 Товарищей работу узнаю!
 Гляди, земляк, на Беларусь свою!..

За окнами, среди голубых ветвей,
 Все ярче рдели звезды. Бор не спал,
 Разбуженный капелью, и с ветвей
 Медведем снег косматый оползал.

Весна трудилась. Облаком густым
 Она застлала тони и кусты.
 Когда же солнце озаряло лес,
 Меж корневниц замшелых и седых,
 Звеня тихонько в первобытной мгле,
 Слышались жилы молодой воды...
 Нап комеплапт спешил: пройдет весна
 И уж ему Сялибу не достать...

Он вызвал старосту:— Скорей женись,
 Пока дороги в бор не распозлились
 И от тебя я кралю не забрал.
 Что, все молчит невольница твоя?
 Ведь ты давно разведать обещаю
 Про Янука.— Не мог подумать я,
 Что робкая береза наших чащ
 Карельской крепче. Я склонял сто раз,
 Чтоб показала тропы партизан
 Иль навела хоть на малейший след.
 Вчера ж, когда в темнице ей сказал,
 Что старый фельдшер в руки к нам псе
 И он согласен выдать Янука,
 Она ответила:— Он все испортит вам,
 Одна лишь я сумею отыскать
 Дорогу в лагерь, мне знакомы там
 Травинка каждая и каждый пенек...—
 Минул тревожный для Райны день.
 Не знала, что придумать ей, коль впрямь
 Решился Заруба Янука предать,
 Как пролететь по рощам и полям,
 Чтоб весть о том в смолярню передать.

Блеснул рассвет. Прикладами во двор
 Райну выпалили. Далекый бор
 Туманился, заря навстречу шла.
 Врезанный ветер синий чад донес.
 На месте хаты фельдшера, берез,
 Что здесь стояли, как живой оплот,
 Чернел остывший пепел, близ ворот
 Зарубы труп заснеженный висел.
 Сжав крепко зубы, чтоб не выдать дрожа
 Райна простонала:— Значит, ложь,
 Что фельдшер все открыл и показал.—

Уже давно за далями села
В туманы кануло. Все гуще бурелом.
То вдруг лозняк подымется стеной,
То великаны-сосны, как цари,
В край не пускают вековечный свой.
Все тропы буреломом затворив.
Здесь только в дни весенних гроз и бурь
Ветал, плутая, ветер, в эту хмурь.—
Сосну повалит и назад скорей.
Плышет, плывет землей и небом гул,
И крестят перепуганных детей
Старухи в полночь дикую в Лого.

— Не заблудилась ты? Куда ведешь?—

Все спрашивал Гарыдовец и сам,
Как гончая, тащился по пятам...
Раина вышла к берегу реки,
Где, знала, были партизан посты,
И стала вглядываться в лозняки.
Но тихо там и не видать следа
Костров недавних... Лишь гудит вода
Под льдинами.

Лед под ногами рвался, западал.
Но и Гарыдовец и комендант брели
Вслед за Раиной. Для нее ж другой,
Обедний берег, выплывший из мглы,
Был той счастливой, вольною землей,
Где все найдет она: и отчий кров,
Свою любовь, и дружбу у костров.
Но почему же тихо так кругом
И ни один не шелохнется куст?

Лед вырывался из-под ног солдат,
Ихне, вымокнув, бегом назад
Кидались к берегу.— Тут не пройдет
и черт!—
Ругался комендант.— Скорей скажи
Ви, староста, чтоб показала брод,
А то не выйдем, насмерть закружит!—
Но в этот миг Гарыдовец и сам,
Маяя весь свет, солдат и партизан.
На четвереньках полз. А льдину, на какой
Стояла пленница, заскрежетав,
Вода метнула к берегу волной,
К висаящим, но-над кругизной кустам.

И сразу ж ей посыпался вдогон,
Как из мешка горох, огонь, огонь.
Фашистов гудли щелкала вокруг.
Раина рухнула. Когда ж она,

Привставши, крикнула:— Янук, Янук!
Ей эхом только дальняя сосна
Отозвалась, седую свивнув бровь.
Лед окропила вспененная кровь...
Гул выстрелов, как дальней бури гром.
За льдиной плыл, пока ее за лес,
Мянуя кампи, черный бурелом,—
Не вынесло. Потом весь мир исчез!

Услышала ль она на свой призыв
Ответный голос огневой грозы
С другого берега, иль, может, нет—
Она не встала больше. Ни к чему
Теперь на косы ей звенящий снег
Деревья сыпали. И ни к чему
Ее будили волны и ветра.

Когда затих на переправе бой,
Фашисты, кроясь в темени ночной,
Сложили в сани раненых своих
И, перепуганные, поползли назад.
Лишь мертвецы, застыв, лежат у пней.
Они недвижный устремили взгляд
В косматые стада ветвей и туч,
Что дружно жили среди небесных круч.

Живые гнали бешено коней,
Чтоб убежать от гибели своей.
Кривыми сучьями гудящий бор
Их бил и рвал, а каждый косогор
Валил в овраги, сверху руша лед.
Шарахались коня на бегу,
Слепой от страха дикий их полет
Кровь отмечала стожкой на снегу.
Но этой мете партизан гурьба
Шла неотступно, грозно, как судьба!
Янук, взглянув по сторонам, узнал
Места, где прошлый год с Баладыком
Они гнались по следу дотемна
За разъяренным раненым волком...

Эпилог

Полночь. Куранты отбили на Спасеюй.
Нет, не уйти мне от горестных дум,
Что окружили, и площадью Красной,
Как неотступные тени идут.
Знаю, сейчас над моею краиной
Виселят не сосчитать.

Руки скрутив, далеко на чужбину
Гонит палач моих братьев и мать.
С запада тянутся низкие тучи,
Но не снежинками сеет метель —
Диких пожарниц пепел летучий
Мне опадает на лоб, па шипель.
Пепел далеких просторов, с какими
Связан, как чарами, связан навек
Всеми надеждами, и золотыми
Струнами песен, и жилами рек.
Грезил когда-то увидеть Таяти,
Чтобы в напевах моих полевых
Южного солнца заискрился пепел,
Волны звенели прибоев морских.
Был бы сегодня счастливым, как в детстве,
Хоть на руины б вернуться домой,
В очи озер потемневших взглядеться,
К нивам принасть, опаленным бедой.
Знаю: утрат еще будет немало
В этом последнем победном бою.
Верю, что скоро мы с урной Купалы
Вповь возвратимся в отчизну свету.

Может, не все мы, кто живы, увидим
Полдень над Неманом и над Днепром,
Может быть, саваном вьюги обвитый,
Буду лежать под могильным холмом.
Песню ж товарищи в край мой родимый
В касках и ранцах своих донесут,
Песню, что, горьким объята дымом,
Сосны, дороги и пажити ждут.
Звон проплывает над площадью Краски
Скоро рассвет. Все ясней и ясней
В серых просветах ночи ненастной
Передо мною встают мавзолей,
Башни и звезды, одетые в иней.
Сколько, Москва, ты мне счастья дала!
Сколько ты раз в грозную годину
Ясной надеждой, приютом была!
Знать, оттого
С тобой слиты навеки
Все мои думы и песни души.
Так лишь весной сливаются реки,
Чтобы тяжелые льды сокрушить!

Перевод П. СЕМЫНИНА

Емельян Пугачев

Историческое повествование

Глава одиннадцатая¹

Гримасы русской жизни. Неприятное известие. Табакерка императрицы. «Анафема»

1

Граф Григорий Орлов весной 1772 года отправился в Фокшаны на конгресс, для участия в дипломатических переговорах с Турцией.

Как уже было сказано, императрица навсегда охладела к своему любимцу и, в его отсутствие, приблизила к своей особе некоего Васильчикова. Узнав о столь коварной перемене, «дуралей Орлов», как его заглазно называл Никита Панин, тотчас бросил в Фокшанах все дела и поскакал обратно. Но под самым Петербургом ему был нанесен жестокий удар: он был задержан в Гатчине, и ему было предписано выдержать там, в его собственном дворце, длительный «карантин».

Орлов был потрясен черной неблагодарностью Екатерины. В его душе столь сильно бушевало оскорбленное самолюбие, что он первые дни неволи беспросыпно плакал и был близок, по свидетельству окружающих, к самоубийству. Лишь чрез несколько месяцев он получил разрешение явиться в Петербург, отправился туда и при свидании с Екатериной понял, наконец, что сердечные дела его непоправимы. Он поспешил уехать «в отпуск» в Ревель.

В конце мая 1773 года Орлов вновь получил разрешение явиться в столицу. Стараясь искупить свою вину пред ним — ведь он же, безвестный тогда офицер, завоевал Екатерине престол и корону! — императрица наградила его княжеским достоинством, преподнесла ему в подарок так называемый Мраморный дворец, что на Неве, и дозволила занять все прежние служебные посты. Тем же летом, по приглашению Екатерины, прибыла в Россию ландграфиня Гессен-Дармштадтская с тремя дочерьми-невестами. Одну из молоденьких принцесс Екатерина прочла в супруги цесаревичу Павлу, которому уже исполнилось тогда девятнадцать

лет. Павел выбрал принцессу Вильгельмину, которая вскоре была крещена в православную веру, парчена Патальей Алексеевой и всепародно объявлена невестой цесаревича.

Обер-гофмейстер граф Никита Панин, скрыто враждебные отношения с которым у парщи продолжались, был, само собой разумеется, от роли воспитателя цесаревича отстранен. А в день коронации, 22 сентября, императрица осыпала Панина милостями и наградами.

О, если бы великий сердцеведец, «фернойский патриарх» Вольтер, прикрывшись шапкой-невидимкой, мог наблюдать свою «Северную Семирамиду» в минуты, когда она составляла список наград ненавистному ей человеку! Какую жестокую борьбу противоречивых страстей подметил бы он в душе русской императрицы, каким изобретным сарказмом наполнилось бы его собственное сознание. Да, сарказмом, и в то же время сожалением к высокоодаренной, упрямой, нередко жестокой и по-своему несчастнейшей женщине — «несравненной Като». Так заочно называл Екатерину вождь французского просвещения XVIII века.

Панин получил звание фельдмаршала, 8500 душ крестьян с землею, 100 000 рублей на обзаведение, очень ценный серебряный сервиз, дом в Петербурге, ежегодной пенсии 25 000 да годового жалованья 14 000. Все эти щедроты для недостаточно богатого казенного сулдука, при необычной дешевизне жизни, — были по тому времени колоссальны.

Но Панин все-таки остался глубоко разочарованным, потрясенным, убитым, ибо его заветная мечта о переходе престола к цесаревичу с усилением, таким образом, его, Панина, личной власти, навсегда погасла. Вступивший в совершеннолетие Павел не только не стал по праву императором, но даже не был допущен матерью к какому бы то ни было участию в управлении государством. «Я хочу сама управлять, и пусть об этом знает Европа», — не раз заявляла императрица своим друзьям.

В виде некоего протеста — пусть знает Екатерина! — Панин часть пожалованных ему земель подарил трем своим секретарям: Фолвизину, Бакунину и Убри. Разумеется, здесь

¹ Продолжение. См. «Октябрь», № 4—5 и № 6—7, за 1943 г.

также был своеобразный жест пред лицом истории.

После отставки Панипа императрица вздохнула свободно. «Дом мой очищен», — писала она в то время госпоже Бельеке.

Она понимала, что из всех ее врагов самый опасный не тот, кто искусно владеет оружием и обладал вооруженными приверженцами, а тот, кто умел играть на различных общественных ситуациях и мог во-время самый малый афронт истории обратить в разрыве оружие противу монархии... Любимый гвардеец был в состоянии, по ее приказу, выбить меч из рук любого ее врага, по меч, коим вооружен был Пикита Панип, просто выбить из рук невозможно, как невозможно силою меча остановить страсть и волю, мысль и веру человека... Все же — ура, ура! — Панип отставлен, вернее — «выставлен». И значит — дом очищен.

Бракосочетание Павла происходило 29 сентября 1773 года в Казанской церкви.

Устроен был ряд пышных торжеств, придворных блестящих балов. Около двух недель празднично шумела столица. Затем молодая чета, со всем «малым двором», отбыла на некоторое время в Царское Село.

В Белом зале Зимнего дворца гремел оркестр преобразенцев: там шли танцы. В Золотой гостиной, где присутствовала императрица, придворный певческий хор заливчато исполнил «Ивушка», «По улице мостовой», «Лучицушку» и другие песни.

Екатерина хотя в музыке разбиралась неплохо, — на музыкально-вокальных концертах в Эрмитаже она, прежде чем начать аплодировать, присматривалась к соседям, — но народная хоровая песня была близка ее пониманию, она любила ее и зачастую приглашала к себе песенников.

Паница села в удобное кресле, в некотором отдалении от сцены. Позади нее стояли два лака. Под ее ногами лежала гобеленная подушка. Рядом с Екатериной важно восседал восточный принц Джехангир; у него было красивое темноебронзовое лицо с небольшими кривыми черными усами. Он был легкомыслен и медок.

Два его толстогубых емуха держали над ним ведро вроде легкого шелкового балдахина. Третий свлук помахивал над своего властелина пыльным, из страусовых перьев, опахалом. На голове принца повязана тепчайшего белого шелка чалма, перевитая нитями крупного жемчуга.

Свечи в люстрах, хрустальных люрандо-

лях и настенных кенкетах горят ярко, разливая по залу живой трепещущий свет.

Когда пламенеющий взор принца встретился с лукаво улыбающимися глазами Екатерины, его лицо тотчас облекалось в улыбку, он прикладывал правую ладонь ко лбу и сердцу и почтительно наклонял голову в сторону императрицы. Пока кисть принца перемещалась ото лба к сердцу, его изящные длинные пальцы, унизанные бриллиантовыми кольцами, трепетали и двигались подобно щупальцам осьминога. Это делалось умышленно и с единственной целью поразить воображение гостей игрой и сверканьем дивных сокровищ.

Впрочем, он весь был осыпан драгоценными камнями, он весь блистал. Недаром в предпринятом им путешествии в Париж и Лондон, с заездом в Петербург, его сопровождал эскорт в сто сабель лучших насажников Истрии.

Екатерине принц правится. Она про себя совет его чудачком. Она, пожалуй, интереса ради, испрочь была бы исполнить с ним индийский дуэт мимолетной утехы, но ее новый друг Григорий Александрович Потемкин, недавно прибывший с театра турецкой войны, неотступно и зерко оберегал ее и свей честь. А мощный хор певчих в атласных малинового цвета кафтанах, будто отвечая на затасанные мысли Екатерины, пел:

Голова болит, худо можется,
Худо можется, нездоровится.
Я украдуся, нагуляюся,
Уворюся, нацелуюся.

Прислушавшись к песне, Екатерина перелгянулась со своей соседкой графиней Брюсе слегка ударила ее веером по обнаженному полному плечу, и обе они, с оттенком нежной и милой женской таинственности, засмеялись.

Певчих сменил хор рожечников. В антракте к Екатерине и ее высокому гостю подкатили столик с вазами апельсенов, винограда, слив, цукерброда и всевозможных восточных сладостей. Лакеи обносили гостей десертом на изящных подносах. Екатерина подавая принцу вазу с шоколадом, сказала по-французски:

— Правится ли вам, масье, наше обществу и пение хора?

— О, мадам! — воскликнул он гортанным тепоком... — Пользуясь вашим благосклонным гостеприимством, я чувствую здесь себя, как па небесах.

— Нет, мой друг, у нас здесь все земное. По почему вам вздумалось путешествовать в е одиночество? Вы, правда, очень молоды, но я полагаю, у вас есть супруга?

— У меня тысяча жеп и полторы тысячи ожажеск, мадам,— как ни в чем не бывало сказал он предупредительно.— Но я всех их променяла бы на...— он хотел сказать «на вас, мадам», но счел это все жо неучтывым.— Всех их я променяла бы на одну из ваших восхитительных красавиц и... и... дал бы еще в придачу семь белых слонов.

Екатерина весело засмеялась.

В это время загрелся дружный хор ролечников, и разговор пресекался. Семьдесят музыкантов были одеты в светлозеленые с золотой выпушкой кафтаны.

Вскоре через зал стремительно пронес свою атлетическую фигуру Григорий Александрович Потемкин. Едва за ним поспевав, пореялась вирипрыжку его свита.

В голубом кафтане и серебристо-белом лапине он производящим взором своего единственного живого глаза¹ искал Екатерину.

Все сидящие как-то сразу подобрались и жеггнули лица в его сторону.

Ирждверные угадывали, что фортуна педачьевого фаворита Васильчикова уже клоится долу, а князь Григорий Орлов, вышанный Екатериной из Гатчины, вряд ли сжест вернуть себе утраченную им близость к императрице. Значит, на державном педбозоне взойдет третья звезда, и ею, без сомнения, будет Григорий Потемкин. Екатерина встретила своего любимца кивком головы.

Оставив свиту посреди зала, Потемкин жобужденный, раскрасневшийся, быстро пошел к Екатерине и поцеловал протянутую ю руку.

— Пляшешь, Григорий Александрыч?

— Пляшу, матушка,— мужественным гожем ответил Потемкин и неприязненно пожемся на принца. Тот в свою очередь глядел великана с пог до головы, дивясь ю росту, мускулатуре и спльному выразишьному лицу.

Вынув из камзола золотые часы-луковецу и взглянув на них, Потемкин вполголоса жезельес:

— Скоро одиннадцать. Тебе, матушка, пощвать пора.

— Нет, еще рано,— поглядывая на него жадочно снизу вверх, ответила Екатерина.— А ты иди, Григорий Александрыч, пощайи еще. Ты отменщю пляшешь.— видно, щ Меркурий подвязал к твоим ногам крышлки. Да пора бы тебе и на фронт пощепеть,— пелуспросительно, с отщепком пелщферой переищительности, почти робости, дощавла она тихо.

— Поспешу, пощпешу, матушка... А скоро ли эта заморская щвица какаду улетит от нас?— Он покосился на пылавшего золотем, жхотлами, алмазами индийского принца и, поклонившись Екатерине, так же щремительно, как вошел, ринулся, никого не замечая, в зал, к танцам.

— Ревнивец,— обратился к своей подруге графине Брисс, жешпула Екатерина и подщялась. Включил и принц. Тотчас за ними подщялись и все гости.

Императрица предложила принцу руку, и щни оба, окруженные свитой, двинулись в Белый зал. Принц издал некий щичивый звук, и тогда свнухи, переменяв места, возпщели балдахии пад головой императрицы.

Принц жмел, принц был пощорен Екатериной. Поддавшись искушению, он украдкой пощладил бело-розовую ошогленную руку се. Екатерина сдержанно улыбалась, продолжая милостиво кивать публике, стоявшей шпалерами на ее пути.

Вдоль стен первого зала тянулись длинщные столы, изобильно уставленные всевозможными фруктами. Во втором зале на столах горы пирожных, мороженого, шпалей (желе), шоколадных и прочих конфект, от которых веяло тонким благоуханием. В третьем зале — щцовы и бутылки с прощладительным.

В Белом зале было многолюдно: па вечере пщесутствовало до восьми тысяч приглащепных горожан. Шли шумные танцы. Щетербург продолжал веселиться.

Екатерина приостановилась. Потемкин с азартом отщиласывал мазурку. Он так крутился и с такой силой топал, что по щворну шли гулы, и оба чулка ретивого танщора спустились. Заметив это, он удалился за ширму, чтобы привести жстем в порядок.

Принц дал свнухам по легкой щелчку и, переменяя у них ручки балдахина, сам те щерь держал его над головою «божества». Проводив императрицу до жилых покоев, все возвратился в пышные, торжественные залы.

Разгорячившийся принц выщил залом тщи бокала холодного шампанского, выщуд из кармана миниатюрный гращепный флакочик: с отщезвляющим щпадобьем индийских флакщров, пощухал из него взщатяжку правой и левой пщелрей, затем, оставив свдухов и двух своих адщютантов, смешался с массой гостей. Он ходил среди них, как по базару, и бесщцеремонно рассматщивал хорощеньких женщин, словно щыган жопадей. Затем он выбрался к танщующим и, забыв Екатерину, сразу был пленен тремя очаровательными

¹ Другой глаз, замененный стеклянным, он потерял от болезни.

красавицами: графиней Шереметевой, графиней Строгановой и княжной Уваровой. Рослые, цветущие, резко переступая изящными ножками, они то стремительно неслись в веселом котильоне, то, грациозно приседая, медленно проплывали в мепузете.

Принц прищелкивал языком и пальцами, издавал звуки, подобные бляшню барашка, хлопал в ладоши, улыбался.

После гавота все три грации, подхватив друг дружку под руки и обмахиваясь веерами, стали, в окружении светской молодежи, шлохаживаться по залу.

Принц следовал за ними. Он был от красавиц в непосредственной близости и глядел на их оголенные спины. Он плотоядно принюхивался к запаху их тел, будто гончая к следу лисицы. Вот он быстро опередил их, затем круто повернулся и, сверкая алмазным пером в чалме, двинулся им навстречу. Прикладывая ладонь ко лбу и сердцу, он отдавал им жеманные поклоны, в то же время жадно всматриваясь в их возбужденные танцами лица. Они с улыбкой любовничества и удивления кивали ему головами. Он проделал это три раза, то есть три раза обгонял их и снова шел им навстречу и снова отшешивал им поклоны, вызывая своим поведением улыбки и дружный смех наблюдавших его гостей. Он отошел к столу, пастору вышел еще три бокала шампанского, снова понюхал отрезвляющее снадобье, вынул из кармана блестящую дудочку и продул три призывных ноты. К нему подошли его люди. Он сказал своему адъютанту:

— Приведи сюда самого главного, самого высокого, что подходил к царице.

Адъютант побежал чрез анфиладу комнат и скоро вернулся.

— Генерал Потемкин, — сказал он, — ожидает вашу светлость в круглой зале.

Слегка охмелевший принц оскорбленно покачал плечами, но поспешил направиться за адъютантом.

В небольшом круглом зале, куда он вошел, никого, кроме Потемкина и его свиты, не было. Потемкину было известно о странном поведении принца в зале. Он сидел за овальным столиком, на котором помещался графин с винным крепчайшим спиртом, разбавленным ямайским ромом, и два больших кубка. При появлении принца Потемкин поднялся.

— Ваша светлость, — сказал он по-французски, и его живой глаз заулыбался. — Пред началом нашей беседы мы по русскому обычаю должны осушить с вами кубки в честь всероссийской императрицы, — и он

подал принцу до краев наполненный кубок.

Потемкин выпил одним духом, принц тянул обжигающий напиток долго. Помолчи он высушил глаза и с головы до пят встряхнулся. Принц и Потемкин разговаривали стоя.

— Генерал, — начал принц Джехангир в плохом французском языке. — Мне необходимы три женщины, которых я облюбовал: две беленькие в голубых одеждах и одна черненькая в белом. По некоторому капризу я желаю приобрести их в собственность. И чем скорее, тем лучше. Я думало, это сделать будет не трудно: женщины очень прекрасны собой, подслеповатые и кривобокые, и я надеюсь, что их владельцы не возьмут за них дорого... Я прошу, ваше превосходительство, оказать мне содействие.

— Но, ваша светлость, мы людьми не торгуем, — возразил Потемкин, и его мясистые папудренные щеки дрогнули в едва сдерживаемой улыбке.

— О, я привик, генерал, чтоб мои просьбы исполнялись немедленно, — задирчиво проговорил принц, и так как его ноги стали от выпитого спирта слабеть и подгибаться, он схватился левой рукой за край стола.

— Повторяю вам, ваша светлость, мы людьми не торгуем.

— Генерал! — вскричал госноязычно принц. — Вы говорите неправду. Я просматривал ваши газеты... И переводчик целое утро читал мне объявления о продаже именно людей.

— Гм, гм, — промычал Потемкин, и по его высокому лбу скользнули морщинки. — В редчайших случаях, принц, некоторые хозяева действительно продают людей, но... но только не на вывоз за границу, ваша светлость.

— Неправда, неправда, генерал! Мой человек вчера купил очень молоденькую красотку за горсть золота...

— Поверьте, принц, эта красотка будет от вашего человека отобрана полицией...

— Ошибаетесь, генерал. Ваша полиция получила две горсти золота и...

— Ваша светлость, — перебил его Потемкин, — прошу вас выпить кубок в честь вашей прекрасной Индии, — и подал Джехангиру до краев наполненный кубок.

— Гран мерси, гран мерси.

Потемкин выпил кубок, не морщась, принц расставил ноги, на его лице изобразилось отчаяние, онпил огнеспособную жидкость большими глотками, с содроганием. Отправившись, он произнес вопросительно:

— Итак?

— Я должен сообщить вам, принц, что хотя наш закон иногда и потворствует помещикам, продающим своих собственных слуг... Слуг!.. Собственных!— особо выразительно подчеркнул Потемкин.— Но ведь вы... хотите купить не рабынь, а вольных титулованных дворянок: двух графинь и княжну.

— Тем лучше, тем лучше!— с азартом вскричал принц и, пошатнувшись, схватился за край стола уже обеими руками.— Вы, может быть, думаете, что у меня нехватит средств? Генерал, мой друг, мой дорогой друг... Я люблю их... Я... я... я не могу без них существовать. О, мои белоснежные богини! Бог олло, бог керим, бог рагим...— он оторвал от стола руки, страстно всплеснул ими, и его бросило в сторону.

Широкая грудь Потемкина приподнялась, бока заходили от скованного хохота, но он все-таки сдержался. А принц снова присунулся к столу, вцепился в него, как утопающей в плывущую корягу, и закричал:

— Пол-Индии за три северных жемчужины... Но я желаю видеть их обнаженными, подобно богиням. Позвать красавиц!

Потемкина как прорвало: уткнувшись лбом в пригоршни и вдвое согнувшись, будто у него внезапно схватило живот, он с рожочущим хохотом выбежал вон.

К пьяному принцу, изумленному поведением Потемкина, подскочил с поклонами старший внук и засюсюкал:

— Сын солнца сияющего, брат луны, потомок великих моголов, владыко владык. Ты забыл припасть священными поздями к чудодейственному флакону и вдохнуть в себя живительную силу, возвращающую онявненному ясность рассудка.

Принц достал волшебный флакончик для отрезвления, нюхнул, однако, ноги его стали, как вата, он бессильно сел на пол, затем растянулся во весь рост по ковру, силянул, раскинул руки, пробормотал что-то и в момент заснул.

Его бережно положили на диван.

Потемкин, выскочив из зальца, как раз наткнулся на трех красавиц, прельстивших принца — Шереметеву, Уварову и Строганову.

— Григорий Александрыч, что с вами?— воскликнула черноглазая Шереметева.— Куда вы столь стремительно и в столь великом весельи?

Он привсталовился, выпрямил корпус, раскрасневшееся лицо его все еще коробилось в гримасе смеха.

— Медки!.. О, меда! Вы запроданы! За

три миллиона! Завтра едете в Индию в качестве первых жен принца. Все три! Ха-ха-ха!..— залился он.— Бегу за указом к матушке. Вот, чаю, потеха будет.

Екатерина еще не ложилась на покой и, выслушав Потемкина, долго вместе с ним смеялась этой индийской истории. В приступе веселости она даже хотела тотчас же позвать к себе трех красавиц — невольных героинь сегодняшнего бала — и на сон грядущий слегка позубоскалить над потешной перспективой быть им, великосветским дамам, рабынями этого заморского ферлакура. Потемкин вдруг помрачнел, потер лоб, закинул руки под кафтан, на поясницу и, вышагивая по будуару, сказал Екатерине:

— Матушка, великая государыня, перестань смеяться, тут ей-ей не до смеху. Сам перст судьбы, в положениях острых, указывает тебе на горькое непримичие торговли рабами. Ведь мы, матушка, как-никак, а все ж таки — Европа!

Екатерина послала его и тоже помрачнела. В ее сознании вновь воскресли давние речи, когда-то разлававшиеся в Грановитой палате. Даже такой пезыблемый столп вельможного дворянства и блюститель патриархальных прав, как князь Щербатов, и тот, не стесняясь, высказывался тогда против варварского обычая торговать людьми, как скотом.

— Так что же мне, по-твоему, делать, Григорий Александрыч?— страдальчески похныб брови, сказала Екатерина.— Я опубликовала закон, запрещающий продавать крестьян без земли... Разве этого... недостаточного?

— Законы пишутся, чтоб их исполнять,— с внешним хладнокровием ответил Потемкин.— А те, кому ведать надлежит, полагают, что законы существуют для того, чтобы корысти ради обходить их. И обходят, ваше величество!

Екатерина задумалась, закурила польского образца папирску. Пальцы, меж которыми папирска была зажата, дрожали.

— Ну, а что бы, Григорий Александрыч, сделал.. ты?

— Пожалуй, я всем супротивникам, кои парущают закон, стал бы рубить головы, как рубил Иван Грозный,— и Потемкин шумно задышал.

— О, рубить головы... Но ведь мы, как-никак, все-таки Европа!— повторила Екатерина только что обреченную им фразу.

Как всем умным людям, было Екатерине свойственно чувство провидки, которое в мрачные моменты жизни облегчало ей состояние духа. И теперь, предстив себе Потемкина в роли палача, казнящего непослушное два-

ряпство, она засмеялась с особым придыханием в нос.

— Хотелось бы нам посмотреть, мой грозный Григорий, как стал бы ты вести себя, обладая не мелким, как ныне, а крупнейшим дворянским поместьем. Мнитесь нам, что рука твоя не учинила бы посягательства на собственную голову... Или я ошибаюсь.

В ее голосе звучали намешка и горечь. Он угрюмо взглянул на нее, видимо, собираясь дать ей не совсем приятную для нее отповедь, но, сдержав себя и слегка поблещев в этом усилии воли, спокойно сказал:

— Я не искушен, матушка, в диалектике, говорю, что думаю. А думаю тако: не знаю, каким был бы я в образе магната, но мне действительно редко, что иные помещики, даже из знати, суть закоспелые азгаты, у них в одной руке Вольтер, в другой кнут! А пыжались воп как, мы-ста да мы-ста. Самы же суть казнокрады, лихоимцы и преступники. Вот для сих голов топорик-то я и пачочил бы... Не позорь великую державу!

Екатерина принялась что-то возражать ему, но он, захмелев от выпитого перед тем спирта, не слушая ее, продолжал с хмурою запальчивостью:

— Наши военные действия общают нам славный кепец. Россия Екатерины разверзнет новое окно в Европу... с юга! И ты прости мне, матушка,— голос его дрогнул,— страшусь, страшусь, даже помыслить с чем, с каким, извини меня, рылом явимся мы в калашный ряд Европы?! Будь моя воля...

Песлышно ступая, Екатерина подошла к нему, ароматной розовой ладонью прикрыла ему рот, сказала:

— Ах, mon enfant terrible! ¹ Поспешай на театр войны, возвращайся победителем, и ты будешь увенчан лаврами славы.

Он схватил царственную руку и прижал к ней горячими губами.

2

Нела длился этот разговор, чрез октябрьскую темную ночь по площадям и безлюдным проспектам уснувшей столицы катил к Зимнему дворцу президент Военной коллегии, граф Захар Чернышев. Он вез императрице «шломляющее известие: она большею вдова, в Оренбургских стенах объявился воскресший из мертвых супруг ее, бывший император Петр III.

Известие о мятеже «бродяги Емельки Пугачева», недавно бежавшего из Казанского острога, доставляли Чернышеву с недомуж-

мым промедлением, и не без основания граф опасался, что царица в великом будет гневе.

Письмо главнокомандующего Москвы, князя Волконского, адресованное на имя Чернышева, а также донесения Рейнсдорна и Бранта Екатерина выслушала с внутренним напряжением, на ее щеках выступили алые пятна, однако ничем иным она не выдала своего волнения, даже попробовала сострить:

— Что-то часто стал мой супруг воскресать,— проговорила она, щурясь.— Доведется нам поглубже зарыть его в землю...

— Сняв допреждь того голову, как мы бывало, делявали с другими прочими Петрами Федоровичами, объявляеками,— воспринув духом, сказала Чернышев.

Екатерина, заглянув ему в глаза, неосозданно потупилась. В памяти ее мелькнул печальный образ Петра, его предсмертные письма к ней и вся трагическая судьба его. И на какое-то мгновение тревога с повеи силой коснулась ее сердца.

— Когда воюеюлась смута?— спросила она, придавая взгляду своему повелительную и строгость.

«Ну вот, лачинается»,— снова оробев, подумал Чернышев и ответил:— Восемнадцатого сентября, ваше величество, сей Пугачев подступил к Яицкому городку, но комендантом Симоновым был прогнан.

— Стало, важнейшее известие пло до нас месяц. Сегодня пятнадцатое октября. Такое известие черешаше беспешетно горькому смеху подобно,— с раздражением добавила Екатерина.

— Подобное промедление, всемилющая государыня, надо думать, произошло от перачительности губернатора Рейнсдорна. коему я...

— Ох, уж мне немецкий сей кунктатор! Да при том же, сколь помнятся, он и глух, как... как два индюка!..

— Я отправляю ему строгий выговор, ваше величество,— пристукнув в под носом сапога, сказал Чернышев.

— Да, да, выговор и... воинскую силу!

— Полагаю, государыня, что в Оренбургском крае своих войск с преизбытком, чтоб с божьей помощью с бунтовщиками прикончить.

— Граф,— с лдовитой усменкой произнесла Екатерина, дерзко крутя на пальце бриллиантовый перстень,— пока мы с б о ж ь е й п о м о щ ь ю соберемся Пугачева икать, сей бродяга с п о м о щ ь ю м у ж и ч ь е й а д а е т нам такого жару-пылу, что... Впрочем я довольно утомлена, два часа ночи. Ты, Захар Григорийч, завтра собирай военный совет, на оном буду присутствовать в девять утра.

¹ Строптивое, капризное дитя.

Прощаясь с Чернышевым, она заметила ему:

— Среди петербургской черни разговоры о казачком бунте носились еще недели две тому назад. Я о сем предуведомлена чрез Тайную розыскных дел канцелярию. И zelo пыне раскаиваюсь, что должного внимания на сию эху народную не обратила.

Вздучиваясь в ворчливый голос Екатерины, граф Чернышев только пожимал плечами, но возражать не решался. По Тайная канцелярия, а он, граф Чернышев, докладывал императрице о слухах среди престололюдинов, и не две недели, а всего восемь дней тому назад...

«Либо у матушки память коротка, либо непременно она не склонна признавать свои ошибки... Но, черт побери, какая же поистине волшебная сорока притащила на хвосте этот алафемский слухок о самозванце? — недоумевал Чернышев, следуя в карете чрез спящую столицу к себе. — А главное, главное, на целую неделю раньше официального извещения... Вот и не верь после этого в людскую болтовню на площадях».

...Как кровь по кровеносным сосудам докмытывается до самых отдаленных от сердца участков живого тела, так и по большим и малым проселочным дорогам во все уголки России катилась весть о начавшемся под Оренбургом народном смятении. От языка к языку, от селения к селению, из уезда в уезд, из губернии в губернию! Казань, Астрахань, Саратов, Пенза, Рязань, Москва были уже достаточно насыщены темными слухами. Дошли эти слухи и до царствующего Салкт-Петербурга.

В ночь с 4 на 5 октября, при полном изедении еластей о событиях, было выужено из кабаков и заключено в полицейские участки двенадцать подвыпивших гуляк, которые молотли по пьянскому делу всякий вздор о каком-то царь-батюшке, появившемся на Янке: будто бы этот царь-батюшка собрал большую силу и обещал извести на Русь всех помещиков, землю их отдать мужикам, а весь черный люд льготить своей царской милостью.

Узнав, что люди, схваченные в разных местах и допрошенные в разных участках, толканы, полагали, как по уговору, одно и то же, генерал-полцимейстер встревожился. На следующий день по всем базарам, разным причонам и просто людным местам были разосланы опытные сыщики присматриваться, подслушивать, вынюхивать, хватать. И схвачено было до сотни крикунов. Ответы на депросах с пристрастием опять бы-

ли те же: появился-де под Оренбургом царь Петр Федорович Третий. Но откуда именно шли эти слухи и кем они были пущены в народ, узнать не удалось.

Генерал-полцимейстер немедля доложил обо всем этом графу Чернышеву, Чернышев доложил Екатерине. Императрица отнеслась тогда, восемь дней тому назад, к столь исключительному известию, вопреки ожиданию, совершенно спокойно, с некоторым даже безразличием. Она только сказала:

— Подобная народная эха ничего серьезного не обозначает. Либо это есть плод фантазии темного люда, либо тут пронски наших внешних врагов, кои всегда стремятся сеять смуту в умах наших подданных. Да судите сами, Захар Григорыич, ежели б сия болтовня была согласованной с истиной, губернатор Рейнсдорп не преминул бы нас о сем уведомить. Но Рейнсдорп молчит, значит, сто губерния в спокойе.

3

Отпустив Чернышева, расстроенная Екатерина приказала себя раздеть и, — даже позабыв освежить лицо своим любимым притораньем «неувядающая роза» (изобретению придворного врача Рубини), — бросилась в постель. Ее обычный ужин — сливочный сыр с тмином, молоко и творог — остыл не тронутым. Она взглянула на каминные часы — без пяти минут три, закрыла глаза и... почувствовала, что ей долго теперь не успеть.

Она спустила с плеч сорочку, чтобы легче было дышать, поправила чепец, закинула руки за голову и задумалась.

И сразу, как птицы на одинокое дерево в стени, налетели всяческие, государственной важности, заботы. Время стояло тревожное. С переменным успехом пятый год тянулася война у Черного моря, финансы государства истощались, крестьянство и городское население нищали, живая сила страны шла на убыль.

Мало было радости и во вцепленной политике. Педавний раздел Польши породил зависть держав, в этом акте не участвовавших. Так Франция, недоброжелательно настроенная к России, натравливала против Екатерины короля Швеции. Таким образом, ненадежным сталоилось и положение северозападных русских границ. Словом, пыннейший 1773 год едва ли не самый тяжелый.

Да, было над чем призадуматься! А тут еще это тзкое известие о смуте. Она отлично понимала, что всякий серьезный мятеж, ежели его во-время не подавить, может обратиться в подлинное бедствие не

только для государства, но и для личной судьбы ее, Екатерины.

Взять хотя бы, Никиту Павина. Сей муж отстранен, наконец, от великого князя Павла, но продолжает жить и действовать, а его партия все еще сильна, и этот хитрый сановник не преминет, разумеется, использовать затруднительные обстоятельства в империи, чтобы с новым рвением напечатывать Павлу всяческие злокозненные речи, быть может даже о захвате престола.

А тут, вдобавок, эта смута на Янке! Новый претендент на престол, новый враг!

«...Это... это мой личный враг, может быть самый опасный из всех врагов,— не находя душе своей покоя, шепчет Екатерина.— О, да, да... Бродяга Пугачев бежал не столь давно из казанского острога... Помню, отлично все помню... И, нет сомнения, человек сей зело опасный! А ежели так, то... немедля, немедля пресечь... уничтожить! — выкрикнула она, вскинув обе руки.— Вырвать смуту с корнем... Раз и навсегда! Иначе, иначе...

Ах, как долго не писала я моему мудрому другу...— обрывая тревожное течение мыслей, вспомнила о Вольтере.— Завтра же надо сообщить ему все, просить у него отеческой поддержки, зрелого совета. Впрочем... какой же совет может преподать сей добрый сентиментальный старец? Его философические воззрения столь же возвышенны, сколь и непрактичны. А ныне, как никогда, мне нужны ясность мысли и решительность, непреклонная решительность и холодная трезвость мысли! Жаль, весьма жаль, что Потемкин должен быть занят врагом внешним. Вот человек, который мог бы стать мне в бедах истинной опорой! Но... как, однако, печально, что в трудные часы жизни приходится опираться на персоны... Сколь велико, надо полагать, счастье венценосца, коему опора — все его отечество! Выпадет ли когда-нибудь подобное счастье мне?... Боже мой, ведь уже тридцать лет провела я в лоне этой страны, и о сю пору многое в ней для меня загадка! Уж не потому ли, что я, царствующая монархиня, все еще только гостья здесь?

Да нет же, нет! — отмахивалась она от этих пугающих ее, залетных мыслей.— Кажется, я начинаю утопать в сфере вольтеровских обольстительных заблуждений... Нет и нет! Счастье России — мое счастье, и мое счастье есть счастье и слава Российской империи».

Уже брезжил за окнами туманный рассвет, когда императрица забылась наконец.

Переступив в положенный утренний час порог царской опочивальни, камерфрау застала свою повелительницу спящей. Царица лежала ниц, уткнувшись лицом в подушку. Правая ее нога, изящная и бледная, со следами чулочных подвязок на нежной коже, высунувшись из-под пухового одеяла, то и дело судорожно подергивалась.

Камерфрау, постояв некоторое время в нерешительности, сделала на всякий случай киньсен пред спящей императрицей и неслышно скрылась за дверью.

4

Военное совещание при Государственном совете началось ровно в девять. Председательствовала Екатерина. После бессонной ночи лицо ее носило следы крайнего утомления. Но все-таки заседание она вела энергично, положила в основу обсуждения непреклонное желание спешными мерами пресечь мятеж.

— Я с горечью вижу, — говорила она с дескризуемой ноткою раздражения в голосе, — вижу, что и без того время упущено. Злодей, как мне усматривается из донесений губернаторов, знатно усилился и такую на себя важность принял, что куда в крепость ни придет, всюду к бессмысленной черни сожаление оказывает, яко подлинный государь к своим подданным. Сими льстивыми словами разбойник и увлечает глухих, темных людей. А наипаче прелесть им оказывает обещанием... земли и воли! Вот в чем опасность наибольшая, господа генералы! Итак, надобно наметить и без отлагательства привести в действие меры к уловлению злодея. Но я желаю, и это прошу запомнить, — подчеркнула Екатерина, — я желаю, чтоб известие о бунте и все меры к его прекращению хранились в крайней конфиденции, дабы не давать повода заграничным при нашем дворе министрам к предположению, что смута имеет для государства какое-либо серьезное значение.

После краткого обмена мнениями постановлено было: приказать князю Волковскому командировать из Калуги в Казань генерал-майора Фреймана и отправить из Москвы на обывательских подводах триста человек Томского полка с четырьмя пушками; кроме того, из Повгорода в Казань послать на ямских подводах роту гренадерского полка с двумя пушками. Вот и все. Сила не особенно грозная, даже можно сказать — сила пустышная.

Впрочем, было еще предписано коменданту Царицына, полковнику Пыплетеву, всячески препятствовать переправе Пугачева на правый берег Волги, а коменданту кре-

лости св. Дмитрия¹, генералу Потапову, — не пропускать Пугачева на Дон в случае, если бы злодей вздумал направиться к себе на родину.

Был «наскоро» выбран и главный военачальник — молодой генерал-майор Кар, которому поручалось «учинить над злодеем Пугачевым поветь и стараться как самого его, так и злодейскую его шайку переловить и тем все злоумышления прекратить». И еще сообщалось в предписании тому же Кару, что вслед ему будет выслан «увещательный манифест» к населению.

На другой день, для составления манифеста, был вновь собран Государственный совет. На заседании, среди прочих членов совета, присутствовали граф Никита Панин и только что прибывший из Ревеля князь Григорий Орлов. Императрица поставила пред советом вопрос:

— Считают ли господа члены Государственного совета достаточными меры, принятые на первый случай для пресечения мятежа?

— Ваше величество, я считаю, что силы как на месте сущие, так и туда посланные, с избытком достаточны для угашения мятежа, — ответил первым Захар Чернышев. И весь Государственный совет молчаливым киванием голов с ним согласился. — Это ничтожное возмущение не может иметь иных следствий, кроме что будет некоторая помеха рекрутскому набору да умножит шайки всяких ослушников и разбойников... Что такое «его величество император» Пугачев? — произнес Чернышев с такою серьезно-ядовитой миной, что невольные все заулыбались. — Это безграмотный доносской казачишка, бродяга и пропойца! Какая за ним сила? На мой глаз, две-три сотни лицких казаков-изменников да сотни три, ну много — пятьсот мужиков с клюшками, да всякого сброда. Вот и все его содействники. А у нас... а у нас там, по Оренбургской линии... помилуйте! — довольно количество регулярства с пушками, с мортирами, и все верные, преданные вашему величеству войска, — сказал он, поклонясь Екатерине. — А на опасный случай в запасе — Сибирский корпус генерала Деколеншта. Я чаю, что сибирский губернатор Денис Иванович Чичерин уже извещен Рейнсдорпом о сем случае.

Итак, все более выяснялось, что Государственный совет считал силы Пугачева и возможности распространения мятежа ничтожными, а наличие имеющихся в угро-

жаемых местах воинских частей для уничтожения «злодейской шайки» вполне достаточными.

А между тем, по российским просторам, один за другим, скакали в Петербург курьеры. Передовой из них уже подъезжал к Москве. Он дня через четыре появится в Петербурге и опешомит правительство вестями чрезвычайными. И витьто не ведал, — а меньше всего граф Чернышев, — что в то время, пока из Оренбурга скакал губернаторский курьер, Оренбург уже был со всех сторон обложен пугачевцами и что отныне очень долго в столице не появится очередной курьер губернатора Рейнсдорпа.

В дальнейшем ходе заседания был зачитан проект манифеста. Составленный наспех, манифест был сух, мало толков и вообще никакими положительными качествами не отличался. Приказано было отпечатать его в двухстах экземплярах и вручить Кару. Тем временем Кар по грязнейшим осенним дорогам уже подвигался к Москве, и курьер с манифестом патнал его 18 октября в Вышнем-Волочке.

Три дня спустя после заседания Государственного совета, поздно вечером, Захар Григорьевич Чернышев, лежа у себя на софе в домашнем халате, читал восточную повесть Вольтера «Задиг, или Судьба». Чернышев нашел эту повесть игривой, острой, полной занимательными приключениями Задига, который, поборов силой разума все препятствия, становится царем Вавилона, и все подданные прославляют его мудрое царствование. Ну вот, книжица ослепла, и надо надеяться, Екатерина не будет уже теперь шпылять Чернышева за то, что он мало читает этого старого еретика, автора «Орлеанской девы».

Стук в дверь. Вошедший адъютант подал Чернышеву два доношения Рейнсдорпа от 7 и 9 октября. Чернышев читал бумажки, волнуясь, пожимая плечами и посапывая. Рейнсдорн доносил, что Пугачев овладел несколькими крепостями и предал казни чрез повешение некоторых комендантов. В толпу злодея продолжают передаваться большие казачьи отряды, и уже третьи сутки злодей стоит под Оренбургом. Состояние духа оренбургского гарнизона, особливо же офицеров, перешитильное и требовало беспрепятного с его, Рейнсдорпа, стороны бодрения.

— Фу ты, чорт, — выдохнул Чернышев и, отбросив доношения, принялся читать адресованное ему лично письмо губернатора

¹ Ростов-на-Дону.

«Регулярная армия в десять тысяч человек,— писал Рейнсдорп,— не испугала бы меня, но один изменник с тремя тысячами бунтовщиков заставляет дрожать весь Оренбург. Священное имя монарха, коим этот злодей злоупотребляет, и его слышанная жестокость оняли у моих офицеров почти все мужество и, к несчастью, среди них пет и двух, испытанных на практике. По милости всевышнего мы поймали 12 шпионов, посланных этими злодеями. Двое назначены были умертвить меня...»

— И жаль, что не умертвили,— буркнул с досадой Чернышев.— Старый козляк! Да он куда хуже покойного фельдмаршала Апраксина.

Чернышев быстро оделся, швырнул томик Вольтера в угол между тумбой и софой, пабожно перекрестился и, преисполненный тревоги, помычался, несмотря на поздний час, во дворец.

Выслушав Чернышева, Екатерина сказала: — Ты, Захар Григорьевич, недооцениваешь события. Высокомерие свое оставь и принимайся скорей за дело по серьезному.

«Это самое могла бы ты, матушка, сказать и себе»,— с горечью подумал граф, а вслух промывчал что-то в свое оправдание и поспешно ретировался.

Мрачные известия прозвучали среди двора язвительней переполох. Столица стала развиваться лихорадочную деятельность.

Прежде всего Екатерина, изменив дружбу своей с безбожником Вольтером, обратилась за помощью к церкви. Она просила казанского архиепископа Всплантава о том, чтобы священники его епархии читали по первым уведомительным повелениям, кои удерживали бы наравне от темномыслия и присоединения к самозванцу.

В Москву, Псков, Бахмут, Могилев помчались курьеры с приказом Востной коллегии местным вселачальникам отправить скорым поспешением на ямских подводах в Казань, Царицын и Саратов три роты Томского полка, два гусарских эскадрона, четыре легких команды—с повелением командирам их хвратить в наивысшем секрете цель и назначение передвигаемых частей.

Генерал-фельдшмейстеру князю Григорию Орлову предписано было отправить в Казань на ямских две тысячи ружей, а в Москву—две пупки крупного калибра с прислутой и зарядами.

Приказ губернатору Рейнсдорпу гласил: «Изыскав все способы, постарайтесь вы, губернатор, накопившуюся мятежническую толпу разбить и рассеять, а заводчика всему злу, самозванца Пугачева, схватить:

у вас регулярных войск состоит в таком количестве, что всякая шатающаяся шайка отнюдь противостоять им не может, кои только способствуют руководству войскам ее величества храбрость и мужество».

Была также послан приказ и команду шему сибирским корпусом генерал-поручик Деклонгу—слико возможно, отвращая воинской силой «помянутого бездельника от государевых в Сибири рудокопных земледов. По столичный приказ не застал Демонга на месте, он уже успел выступить из Челябинска к Оренбургу.

Сибирский губернатор Чичерин, жительствующий в Тобольске, проявил кипучую деятельность. Он направил на подставных лошадях к Оренбургской линии три роты с двумя пушками и стал мобилизовать приписных казаков, оставших солдат и даже татар. Зашевелился и командант Троицкой крепости, бригадир Фейервар,—он тоже начал передвигать воинские части сообразно с обстановкой.

Деклонг, между тем, уже достиг Троицкой крепости и просил разрешения Рейнсдорпа двинуть свои сильные полевые команды на помощь Оренбургу. Однако вскоре Деклонгом был получен от Рейнсдорпа оскорбительный ответ: Рейнсдорп с обычной присущей ему тушостью писал, что в полевых командах Деклонга он вовсе не нуждается и что в самом непредолжительном времени, уповая на милость божию, он, губернатор, собственными силами изменника Пугачева прикончит. А бригадир Фейервар губернатор дал строгий выговор за то, что тот посмел запросить воинскую помощь в Сибири: «Требования ваши я почитаю за излишние».

Получив такой afront, и Деклонг и Фейервар только головами покачали.

Казанский губернатор, старик фон Брант, точно так же проявил воинственную деятельность. Регулярного войска в его губернии было крайне мало, все надежду он возлагал на оставших солдат-поселенцев,— правда не имевших оружия и забывших воинскую муштру. Тем не менее, он велел генерал-майору Меллеру собрать эти силы и расположить их по южной границе Казанской губернии. Всего было собрано до 1500 поселенных солдат.

Брант выехал на ближайшую к мятежу границу губернии, чтоб зорко следить за появлением бунтовщиков. Он приказал Ставропольскому команданту, бригадир Фейервару, собрать сколько возможно войск и двинуться на выручку Оренбурга. Помимо того, Брант велел сибирскому команданту

полковнику Чернышеву, идти со своим отрядом к Самарской линии укреплений¹, забрав по пути калмыцкую конницу и регулярные части. Одновременно с этим, было приказано премьер-майору фон Варнстедту отправиться с отрядом из Гичуя к Бузулуку.

Таким образом, против безвестного дотоле Емельяна Пугачева ополчились, как мы видим, Рейнсдорп и фон Браунт, Валленштерн и Деклонг, Фейервар и фон Фегезак, Миллер и Варнстедт, Бар и Фрейман.

Встревоженная Екатерина пользовалась теперь всяким случаем, чтоб выведать настроение своего народа, особенно крестьянства и помещиков.

Так, узнав, что бывший гетман Малороссии Разумовский перебрался на зиму в свой Глухов, поближе к Киеву, царица вела с ним беседу.

— Послушай, Кирилл Григорыч, — сказала она. — Как будешь проезжать к себе, узнавай состояние умов крестьян и помещиков и какова там эха пугачевской смуты. Ведь я, сам ведаешь, только из своего кна вижу Россию, а что творится в глуши, где мне знать?

— Да, матушка, — пригипувшись прокатком, ответил ей бывший гетман, точивший на Екатерину зуб, — ведь она, поирсыя наградив Разумовского, вырвала из его рук власть. — Ты не Петр Великий, это не бывало, всегда попевала и в бричке, и верхом, а инде и пешим по болотам. Для него Россия, как облупленное личко на ладошке была. А ты, матушка, женщина, тебе и бог простит. Тебя хоть и прокатят по Волге до Казани, так пешю покажут правду-то!

Гетман знал, что эти слова сильно задели императрицу. И Екатерина действительно смутилась. Однако, чтоб замаскировать свое душевное движение, она рассыпалась пред графом в благодарности за его искренность и прямоту, а в подтверждение слов своих достала из кармана робы драгоценную табакерку и наградила ею бывшего пана, сказав:

— Я очень уважаю и люблю тебя, Кирилл Григорыч, малеичко люби и ты меня... Чуть-чуть, чуть-чуть, — с неуловимой прелестью врожденного кокетства закончила Екатерина.

Разумовский ехал пышно, по-парсеи, и в каждом уезде, чрез которые лежал его

путь, был с триумфом встречаем местными дворянами. В очень удобной, на качающихся рессорах карете, запряженной восьмеркой лошадей и в сопровождении собственного полузескадрона молодцов, одетых в гусарскую форму, граф въехал однажды под вечер во двор богатого помещика.

На подъезде гость был встречен хозяином и тридцатью, со всего уезда, помещиками в пышных парежах, праздничных кафтанах, шелковых чулках. Женщины отсутствовали — хозяйка дома была в отъезде.

В десятом часу начался торжественный ужин с французско-украинским обильным столом. Сначала было скучно, чинно, как в мужском монастыре, произносились обычные тосты за парствующий дом, за высокогостя, за хозяев. Затем, в меру опорожненных бутылок, застольца оживилась. Один пред другим помещики старались рассказать графу что-нибудь занятное, изощрились в остроумии, с собачьей преданностью заглядывали великому вельможе в глаза.

Лишь один скромно одетый старичок со впалями, будто стесанными щеками (сидел по край стола, на торчку), насытившись яствами, сосредоточенно и мрачно глядел в тарелку с остатками недооленного рябчика и не принимал участия в шумной беседе. Он казался, был болен, либо чем-то сильно удручен. Впрочем, на него никто не обращал внимания.

— ...Да он сам, сам расскажет! — восклицал продолжая разговор граф Разумовский. Он отрезал серебряным ножичком и клал в рот сочные куски арбуза. — Швап Абрамыч, будь друг, расскажи!

— Да вы, ваше сиятельство, лучше меня расскажете. — оговзался черноволосый с приятным лицом адъютант графа, молодой подполковник Бородин.

— Ну, ладно! Только где трюхи-трюхи брехать начну, одерни меня за фалду... — Граф подбоченился и начал: — Сей чолвк, був аю то время парубком... Сколько тебе годков було?

— Восемнадцать, ваше сиятельство. По я был хлопек крупный, и мне давали все двадцать пять.

— Ось! — поднял палец бывший гетман. — И вот слушайте, панове, який этот хлопчик был засопа. Едет он с эстафетой к фельдмаршалу Салтыкову от самой матушки Елизаветы, да будет преречный покой душе ее, — и граф перекрестился, а глядя на него, и все гости, не угамая улыбок, тоже перекрестились. Лишь мрачный старичок сидел, как изваяние, смотрел в тарелку.

¹ По этой линии, между Самарой и Оренбургом — следующие крепости: Буркая Бузулукская, Сорочинская, Тагичова и др.

ку.— А дело было в Прусскую войну. Грязюка на дорогах — лошадям по колено, а дорога тряская, таратайка дыр-дыр-дыр по камням... Тут уж не до сна, а того гляди от трясовицы очи выпрыгнут. Ровно семь суток проскакал хлопец по такой грязюке, и день и ночь, и день и ночь. Да так за это время умаялся, так уездился, что... В какой городок ты приехал?

— Ты первый от границы прусский городишка.

— Видит он: двухэтажный домочек с вывеской «Кофейня». И сейчас же — туда. Подымается наверх, ему навстречу две немки, две хозяйки: «Ах, русский офицер, ах, пожалуйте!» — и тотчас побежали готовить кофе. А сей хлопчик, как у него очи уже не взирали на божий свет, повалился на кушетку, и пока кофе готовили, заснул... Ха-ха!..

— Ха-ха-ха! — отозвалась застольница.

— Ось добре. Немочки принялись гостя будить. Не тут-то было. Уж что они над ним ни вытворяли: и уши терли, и дубом ставили, и в ноздре щетинкой щекотали, а вьюнош, как резанный гусак, тильки головой мотае да мычит... Ось добре... А немочки-то в ломещени один проживали, ни преслуги, никого. Матильде годиков под сорок, Кларе годиков под тридцать, родные сестры. И обе, заметьте себе, девушки, а младшая — Клара — еще прехорошенькая, пышка! А как были они zelo набожны и девическую честь свою хранили пуще глаза, то, дабы избежать всяких среди соседей кривотолков, рассудили вытанить вьюношу на холодок. Вот они с великим кряхтеньем, за руки да за ноги, выволокли его со второго этажа на улицу и положили на лавку у ворот. А вьюнош и ухом не ведет, вьюнош мертвецки спит, як освежеванная свиная туша. Ха-ха-ха!..

— Ха-ха-ха!.. — всохотнула и застольница.

— Ну, продолжай, дружок, теперь ты сам, — обратился граф к адъютанту и выпнул из кармана табакерку.

Осыпанная бриллиантами золотая табакерка, отражая в себе огни двух люстр, заискрилась волшебным сиянием. Все взоры влипли в чудодейственную штучку, глаза загорались то восторженным и заривью, то озадаченным и любопытством. Граф, наблюдая вверху восхищенные лица публики, не спеша пошелкал по крышке табакерки двумя перстами, тщеславия ради повертел ее перед огнями люстр, открыл, понюхал табак и только лишь хотел опустить в карман, как услышал почтительный, за-

дыхающийся от восторга голос соседа, он встает с благородным лицом помещика.

— Осмелюсь, ваше сиятельство... Дозвольте полюбопытствовать.

— Зб́раз, зб́раз... Прошу, — и граф подал табакерку соседу.

Табакерка пошла по рукам от гостя к гостю.

— Ну, дружок, мы ждем, — вновь обратился граф Разумовский к адъютанту.

Тот, сочтя, что второй раз отказываться шептливо, вытянул руки, посмотрел и красиво отточенные ногти и продолжал.

— Дальше было так, господа. Обе девушки, поскольку было позднее время, легли в постельку спать. И вдруг слышат — на крыше барабанил дождь. «Матильдочка, — сказала Клара, — как же быть? Ведь офицера промочит холодный дождик, он может заболеть...» — «Придется внести его, Клара. Не дай бог захворает и умрет... Все-таки жаль!» — «По как же нам с мужичиной пачевать? Что скажут соседи? Это очень неприятно, это грешно». — «Бог простит, давай внесем...»

— От-то чертяка! — захохотал граф, прихлебывая ароматный глинтвейн. — Откуда же знаешь их разговор? Под кроватью у них, что ли, сидел?

— Нет, граф... Я спал в это время под кроватью, а под дождем, но они впоследствии рассказали мне. Итак, оные девушки снова выволокли меня во второй этаж и положили на ту же самую кушетку. Проснулся я на другой день, к обеду. Вскочил, как сумасшедший. Боже мой! Эстафета ее величества, фельдмаршал Салтыков! Пропала моя головушка... Хозяйки заторопились готовить завтрак, а я побежал за лошадами. Страшно болел затылок. Я пощупал его, он весь вепух, весь в шишках. Ну, значит, девушки, вопреки их уверенности, что будто бы бережно несли меня на руках, волокли меня почему зря и дважды, дважды пересчитал я затылком все ступени.

Гости засмеялись. Лакеи налили вина.

— Ха! Вот как спят русские люди! — воскликнул слегка захмелевший граф и с укором посмотрел на присутствующих. — А особенно крепко спит, в смысле непосказательном, наш дворянский корпус. И до та пор дворяне будут спать, пока гром не грянет. О, господи, прости меня грешного, и я таков, и я таков. «И в лености все житие мое иждих», как в церкви поется, — он едва лишь перекосился на бутылку бургундского, как все подмечающий красавец-лакей с ловкостью и манерной грацией наполнил хрустальный бокал вином и подвинул графу.

— Да, ваше сиятельство, — вздохнул хозяин, узкоплечий, высокий и длинноголовый человек в голубом атласном кафтано со звездой и в огромном старинном парике. — К стыду нашего дворянского сословия, мы во вред себе и государству, малодельны, празднилюбивы и не любовиты.

— Не то я видел, господа, обучаясь за границей, — сказал граф. — О, поверьте... Там дворянин-помещик изощрен в науке. Бультура знаков там разработана в совершенности. Помещик там от земли берет все, что она может дать. А мы что? Мы только от мужика берем почтай все, все под метелку! От земли же ничего не умеем брать. — Граф, оставив украинские словечки и пугливый тон, говорил теперь с серьезностью. — И вот вам результаты... Поди, вам ведомо, что где-то там, в оренбургских степях, проявился самозванец во образе любви покойного императора Петра Федоровича, гскет крепости, мутит народ, обещает мужикам землю, ведет их против помещиков. Словом, под Оренбургом грянул гром. Ну, а у вас, в вашей Смоленщине, как мужики себя ведут?

— Да будто бы спокойно, ваше сиятельство, — пожмая плечами, ответили дружно помещики. — Однако, среди народа заметно некое шатание умов, небрежение господской работой и прочие признаки свойства зело тревожного. Мужики как бы чего-то ждут...

— Вот, панове дворяне, откуда беда-то на вас идет. Мужик восскорбел, что он раб, и замест подлого раба человеком восхотел быть...

— Сие нештвое его хотенье, ваше сиятельство, противно богу, закону и традициям дворянским, из предвека существующим, — проговорил хозяин.

— Ну, бог-то тут не при чем, а дворянам, верю, противно! — жмуря в лукавой улыбке утомленные глаза, сказал бывший помещик. — Ну, и как же вы думаете, господа помещики?... Представьте себе, что мужникое шятение будет все больше, да сильнее расти. Как надлежит в сие время помещику относиться к мужику? Пут-ка, пут-ка...

Гости, переглядываясь друг с другом, молчали. Сесед графа, солидный, осанистый человек, сказал басом:

— В саовых рукавицах в сие время мужина надлежит держать, чтоб пресечь в нем вздорные мечтанья в самом корне...

— Вот именно! — раздался голоса. — Пыле о послаблении речи быть не должно.

— Пут-ка, нут-ка, — с поощрительной настойчивостью понукал дворян вельможа. Ему необходимо было, напточнейше знать, чем

дышит помещичья Россия. Таков ведь строжайший наказ матушки. — Пут-ка, нут-ка, — еще раз повторил он, и, вспомнив о табакерке, засунул пальцы в верхний карман камзола. По табакерки там не оказалось. Меж тем помещики, перебивая друг друга, громко о чем-то говорили. Забыв о попойшке, граф стал внимательно вслушиваться в их речи.

— Вот вы толкуете — ежовы рукавицы, — с жаром говорил краснолицый помещик, потряхивая полными нажеванными щеками. — А где эти ежовы рукавицы? — дайте их нам! Вот недавно у моего мужникого перепились да побушевать вздумали, мне из города прислали для усмирения четырех инвалидов, при них офицера с деревянной ногой. Так не опи меня, а мне их защищать пришлось от подлого народа.

— Да, ваше сиятельство! — загадели со всех сторон. — С этой турецкой войной государство гнутри бессильно стало. А тут слухи о самозванце. Мужик голову поднял, того гляди за топоры возьмется, да красного петуха учнет пускать...

— К тому есть примеры! — поднявшись, звонко выкрикивал подвыпивший сутулый помещик в рыжем парике. Он говорил быстро, был суетлив, успевал хватать со стола темносиние сливы, бросать их в рот и торопливо прожевывать. — ...Взять князя Трубева, у него только что закончился бунт мужников, или взять помещика секунд-майора Красина, у того мужики убили приказчика, удавили бурмистра, сам Красин бежал в Смоленск, а мужики весь барский хлеб по домам разворовали. Или скажем...

— А как же вы, любезные дворяне, толковали, что у вас в губернии тишь да гладь? — перебил его Разумовский, насмешливо прешурив глаза и потряхивая головой.

— Обеспокоивать вашу особу, граф, не хотелось нам...

— Я правду от вас хочу слышать, а вы меня баснями...

— Просим прощенья, граф, — как шмели, загудели помещики, уставясь преданными глазами в помрачневшее лицо Разумовского. А подвыпивший помещик в рыжем парике, поддев на вилку соленый груздок и отправив его в рот, закричал:

— Увы, увы, ваше сиятельство! Мужики у нас непокорство проявлять привычку гзляли, го оргнам сбигаются, разговоры ведут, а о чем говорят — переводом! И ни плетей, ни тюрьмы не страшатся. У меня на той неделе убежали двое и двух коней свели. А среди моей дворян толки: дескать,

указали в объявленному царю под Оренбург.

— Вот вам... Не угодно ли,— раздраженно, с отпелком испуга, промолвил Разумовский и глубоко вздохнул.— Да, панове, не умеем мы заботливыми хозяевами быть, не хотим о мужике пекчись. Чрез это самое добрую уютавливаем почву для всяких Пугачевых. Самп себе яму роём, панове!

— Дозвольте, ваше сиятельство, доложить,— прокричал с дальнего конца брюхатенький человек с живыми черными глазами; он сорвал с лысой головы парик, помахал им себе в лицо и, чуть приподнявшись, сунул его под сиденье.— Быть хорошим хозяином и своим мужикам благодетелем в нашем отечестве возбраняется, ваше сиятельство.

— Как так?— поднял брови граф.

— А так! В шестьдесят втором году, когда государь наш Петр Федорыч тихую кончину воспринял («Дал бы бог тебе такой тихой кончиной помереть»,— ухмыльнулся про себя Разумовский), нашу Смоленскую губернию голод посетил. А как у меня при небольшом, но исправном хозяйстве были порядочные-таки запасы хлеба, то я, щадя жизнь своих голодающих крепостных, принял их на свой кошт. И мои крестьяне в благодарность за то, что я их кормлю, стали работать даже усерднее, чем раньше. И что же случилось, ваше сиятельство? Нет, вы послушайте, вы только послушайте!

— Бросьте-ка вы, Афанасий Федорыч, своими рассказами докучать его сиятельству. Знаем, знаем... Чепуховый ваш рассказ, тоску наведете только,— раздалсь два или три протестующих голоса.

— Нет, не брошу!.. Нет, соседшки дорогие, не брошу!— напористо выкрикнул толстобрюхенький Афанасий Федорыч и сверкал на крикунов обозленными глазами.— Вдруг, ваше сиятельство, наезжают ко мне скопом со всего уезда помещики,— кой-кто из них сидит за сям столом,— и начинают мне угроживать: «Ах ты такой-сякой, из мы на тебя жаловаться будем, ты черный народ возбуждаешь к бунту». Я, не ведая никакой вины за собой пред правительством, прошу их объясниться. А они мне: «У наших мужиков нет ни куска хлеба, и мы ни зерна не даем им, а ты своих кормишь. Да как ты смеешь это делать? Да знаешь ли, что чрез это воспоследует?» — «Знаю, говорю.— Мои крестьяне живы будут, а ваши с голола помрут».— «Врешь! А выйдет вот что. Наши мужики, проведав, что ты своих кормишь, а мы не кормим, перебьют нас всех. Ты бунтовщик, ты дво-

рянское сословие позоришь... Мы сейчас дадим бумагу губернатору, чтоб он приказа арестовать тебя».

— Хах-ха-ха!— раскатисто и громко захохотал Разумовский.

Но на этот раз его язвительного хохот никто не поддержал.

Графу приспело, наконец, желанье плюнуть табачку, он похлопал себя вновь по карманам, нахмурился и тепористо выкрикнул:

— Господа! Потрудитесь возвратить мою табакерку. У кого моя табакерка?

Все зашевелились, заерзали, зазвучали отрывистые фразы, пререкания. «Иван Иваныч, я ж вам передал, помните?»— «А я передал Федору Петровичу».— «А я, а я... Я уж не помню кому... Тут через стол вот тяпнулся».

— Ну что ж табакерки не пахотится?— выждав время, спросил граф голосом подтвердившим и поднялся.

Наступило молчанье. Все сидели, как оглушенные громом, пожимали плечами, подозрительно косились друг на друга. Всяк почувствовал себя необычайно гадко. Гости, а в особенности хозяин, понимали, что произошел величайший скандал! Значит, среди дворян был вор.

— В таком разе, уж не потквчайтесь на меня, панове, уж я сам буду разыскивать табакерку... Я бы плюнул на это дело и ногой растер, ежели бы сам ее купил, а то табакерка-то суть презент самой матушки. Потрудитесь уж, господа, вывернуть карманы...— проговорил граф Разумовский не то в шутку, не то всерьез.

Все, хмурия брови и сопя, припнулся с поспешностью выворачивать карманы.

Первым был обыскан хозяин, вторым адъютант графа подполковник Бородин. Граф осмотрел карманы, прощупал горячими ладонями что спину, бока и трудь, даже пошарил за широкими голенищами ботфорт. Все поняли, что граф не шутит. Граф внимательно осмотрел третьего, четвертого, пятого, осмотрел наконец двенадцатого и приблизился к тихому старичку, все в той же мрачной позе сидевшему последним с правой стороны стола.

Старичок весь дрожал и стучал зубами, его бросало то в жар, то в холод, горящее ярким румянцем сухоощекое лицо его покрылось испариной, седой паричок жалко съехал на левое ухо.

— Встань, любезный!— приказал подошедший к нему граф.— Ты что ж карманы не вывернул, любезный, а?

Поднявшийся низкорослый старичок взглянул в глаза графа тихим, умоляющим взором,

прижал к груди стиснутые в замок кисти рук и чуть слышно прошептал:

— Ваше сиятельство, будьте великодушны, не губите меня...— он едва передохнул и полувскрыл глаза.— Пощадите меня, пойдемте в соседнюю комнату, я вам все открою,— нашептывал он и, не в силах от волнения стоять, схватился руками за спинку кресла.

— Пойдем, душенька, пойдем,— громко произнес граф.— Иди вперед, указывай дорогу, голубчик.

И граф двинулся встед за сухоньким сутулым старичком, расхлябанно шаркающим большими ногами по натертым паркетам. На старичке помятый, серого цвета кафтан с протертыми возле локтей рукавами и стоптанные порыжелые сапожки.

Осанистый, пухлый граф напоминал собой откормленного сибирского кота, а серенький старичок был похож на шриговоренного к лютой смерти перытного мышонка.

Великодушный вельможа, сияя драгоценными камнями, наизнанными на его богатый рытого бархата кафтан и щегольские туфли, на ходу повернул голову к гостям и многозначительно попряс вытянутым указательным пальцем, как бы говоря: «Ну и распатрону я этого мазурика».

Когда они оба — граф и старик — скрылись, за столом начались бранчливые пересуды:

— Вот мошенник... Ну можно ли было...

— Нет, это сверх всяких вероятий...

— Ну, укради он у меня, или у кого другого, а то у вельможи, всему свету известно...

— Да кто его, господа, притащил сюда, этого прощельгу?

— Сам притащился...

— Царь небесный, со мной чуть не приключился удар... Уж я лакеев своих заподозрил... Господи, боже мой!

А там за дверью маленький старичок, то и дело прикладывая к глазам засморканный платочек, срывающимся задыхливым голосом пытался разъяснить графу плачевное свое положение:

— Видит бог, видит бог, ваше сиятельство, я табакерки вашей не брал, и к ней не прикасался...— чрез всхлипы и вздохи говорил он, выстукивая зубами дробь.— А как я беден и малую имею толку землицы, а детей содержу шестеро, да жену, да женину мать в параллче лежащую, то по-часту мы и голодом сидим. Вот жена вным часом и наущает меня: поезжай, Васенька, туда-то, я-де слышала, званый обед там, хоть и не соприглашен ты, а как ни-то проскочи, упроси лакеев, укланяй, они-де, авось, смилосерд-

ствуются — пустят. А за столом-то поедайся с усердием, да и нам-де кой-чего прихватишь... Так, ваше сиятельство, я на своей кобылке да в бричке рогожной и развезжаю по богатым людям, списывая себе пропитание. Вот, ваше сиятельство, и сюда я таким же манером попал, крадучись.

— Но почему ж ты не показал карманы, раз появляешь, что у тебя табакерки моей нет? — видя явное заипрательство старика, раздраженно спросил граф.

— Ваше сиятельство, грех вам столь обидно думать на меня, на старого. Ежели повелите, я здесь не токмо что карманы, сам до наготы разденусь. А при всех гостях не вывернул я карманы потому, что вот, извольте посмотреть: в этом кармане две доли пирога у меня с мясом, в этом — кусок пирога с вареньем, а в этом — парочка рябчиков, а в этом белый хлеб с ветчиной да с белорыбницей. Это суть и есть пропитание для нищего семейства моего! — Пзможденное лицо старика взрыбилось в горестной гримасе, он упал графу в ноги и залепетал: — Не губите, ваше высокое сиятельство... И, умоляю вас, никому не сказывайте о моем... невольном... прегрешении!

— Это не грех, не грех, голубчик, — с чувством соболезнования молвил граф и, поспешно, насколько ему позволяла дорожность, подхватил расслабленного старика помышки, поставил на ноги. — Верю тебе, старче! Па-ка, брат, возьми на бедность, — и граф запустил руку в глубокий карман штанов, чтоб достать несколько золотых монет. И вдруг он ущупал там драгоценную пропажу... На мгновение граф примет в столбняк, красногубый рот его передернулся. Затем, сунув старiku горсть червонцев, он, потеряв всю свою респектабельность, с облегчающим хохотом вошел в столовую:

— Эврика! Эврика!.. Господа! Пропажу наплась, — он поднял руку и посверкал табакеркой пред огнями. — И знаете, кто вор? — Знаем!.. — хором, с ожесточением ответили гости.

— Я — вор! — ткнул граф Разумовский табакеркой себя в грудь. — Прошу прощенья за тревоженье!

Все уставилсь на графа выпученными глазами. И не успели еще опомниться, как вбежал лакей и подскочив к хозяину, что-то сказал ему на ухо.

Хозяин с шумом поднялся, задыхливым проговорил:

— Господа! Несчастье. Кажется, старичок-то у нас... того!

Все быстро, толкаясь в дверях, вошли в соседнюю комнату. Щупленький, сухощекий

старичок, в парике с косичкой, разметался на полу в жалкой позе, вверх лицом. Левая рука его откинута, в скрюченных пальцах — червонцы, дар Разумовского. Из кармана торчит кусок широго. На лице тихая, виноватая улыбка, будто старичок хотел сказать: «Уж вы не прогневайтесь, господа... Непарском я... Уж так приключилось со мною».

Не к месту улыбаясь, граф Разумовский сказал:

— Ну, такому дворянину отныне никакая мужичья смута не страшна.

— Ему, ваше сиятельство, и при жизни мужичья-то смута не была страшна! — подхватил кто-то из гостей резким до неприятности голосом. — Покойник — сосед мой по имению... У него и крепостных-то душ всего-навсего семеро, да и те, извините меня, древнего возраста, а то калеки-с...

Все угрюмо поглядывали то на покойника, то на знатного гостя, а тот растерянно вертел в пальцах драгоценную табакерку и молчал.

— А я так, ваше сиятельство, полагаю, что мелкопоместное дворянство на одном у нас полозу с мужиком катится, по одной, значит, дорожке, — заговорил сутулый, в рыжем парике, помещик и с неприятным злорадством обвел всех взглядом. — Такие по томо что страшиться бунта станут, а и, пожалуй, сами к оному прикнут... Потому как тяготы государственные для их не то что непосильны, а прямо-таки, можно сказать, изнурительны... Взять хотя бы для примера сего покойничка... Вы поглядите на него, ваше сиятельство. В какой он одежонке, в каких, обратите внимание, сапожках... А ведь чистокровнейший дворянин!

Говоривший встряхнул рыжими бровями и припнулся в сторону графа, но того уже не было в комнате. Граф незаметно скрылся.

В ту самую пору, когда граф Разумовский «усиливался изучать» настроения смоленского дворянства, в городе Казани, в грозовой атмосфере надвигавшихся событий, разыграна была некая церковная интермедия.

5 октября поутру архиепископ Вениамин выехал из монастыря в кафедральный кремлевский собор — в парадном, отделанном яркой позолотой «берлинке», на шестерке лошадей; кучер — в голубом кафтано с плюмажем. Впереди рыццою подвигались двое верховых архиерейских служек, в зеленых епанчах; передний держал на руке святительскую мантию, задний — серебряный посох. Встречные, не исключая татар, сры-

вали шапки, отвешивали низкие поклоны проезжавшему владыке.

После торжественного облачения в мантию, при пении хора, престарелый, седобородый Вениамин с паперти проследовал в собор, где и совершил краткое молебствие. Затем, в окружении духовенства и клира, под сенью хоругвей, весь в сиянии золотых парчей, он появился на высоком воскрылии собора. Везде здесь преисполнено было пышности.

У подножия Кремля лежал в блеске ослепшего солнца большой полурусский, полутатарский город со многими порывами и мочьями. Видели, сквозь темное кружево голых деревьев, отсвечивала, туманилась Волга. Кремль был пабит народом. Возле собора люди стояли густо, плечо в плечо. Впереди, в длиннополых синих кафтанах, именитые казанские купцы-бородачи: Крупенинковы, Носов, Муши, Коршилов, Кобелевы, Ичелшины и многие другие. Некоторые с медалями, а иные, занимавшие в городском магистрате выборные должности, в мундирах и при шпатах. Отдельной, довольно многочисленной группой стояли местные польские конфедераты с Чулавским во главе.

Внизу, справа, четким строем замерли два батальона одетых в бушлаты солдат с развернутым, потрепанным в боях полковым знаменем. Слева выстроились воспитанники первой казанской гимназии с ее директором, подполковником фон Каницем и тринадцать учителей.

А непосредственно перед воскрылием собора и на широких каменных ступенях его — начальствующие лица, вся знать, а также немало помещиков, бежавших в Казань со своими семьями из бунтовавших деревень и селений.

Впереди всех, на бархатном коврик — старый губернатор Брант. Несмотря на довольно теплый день, он в меховой шубейке. Бритый, быстrogлазый, с румяными отвешенными щеками, он бросал вокруг воинственные взоры, спесиво пожевывая губами.

Начался торжественный чин проклятия. Полковник скомаандовал войскам: «На караул!» Ружья дружно звякнули к плечу, барабаны ударили тревожную дробь.

Высокий и тучный протодьякон, получив благословение Вениамина, выступил на лобное место и осанисто перекрестился. Бой барабанов смолк. Наступила тишина. В толпах люди раскрыли рты, уставились взорами на протодьякона. Он недавно был переведен в Казань из Вологды с повышением. Народ имел случай слушать его впервые. Ужо-ка грянет.

Протодьякон певельнул могучими плечами, открыл широкую часть и, вместо громоздкого

басистого возгласа, неожиданно воскричал тонким, резким, пронзающим душу тенорком. Пузатые богомолы засмеяли от неудержимого смеха, благопристойно утыкаясь лицом в пригоршни.

— Богоотступник и злодей,— раздельно вопил фистулою протодьякон: — злодей, поправший законы божеские и человеческие и дерзновенно похитивший велеленое имя в бже почившего императора Петра Федоровича Третьего, беглый дочской казак Емелька Пугачев да бу-у-удет...

— ...анафема! — возгласил Великий.

— Да будет а-на-фе-ма, проклят!! — гнетово закончил протодьякон.

Мощный хор, при медленном погребальном перезвоне колоколов, мрачно, трижды, пропел:

— А-на-фе-ма! Ана-фе-ма! Ана-фе-ма!

В народе завздыхали, затрясли головами. Трудно было разгадать, что думал народ. Расходились люди молча, потупившись в землю. На лицах пасмурно и хмуро. Старушки плакали: близится, мол, светопреставление, придет антихрист с окаянным воинством своим во образе нечестивца Пугача, выродка от блудницы-девки.

А в этот самый час Емельян Пугачев, только что предавший анафеме, в бодром расположении духа «чинил порядок» среди своего, придвинувшегося к Оренбургу, войства. И то же, что в Казани, солнце щедро заливало благостным своим золотом дикие степные поля — плацдарм предстоящих грозных битв.

Глава двенадцатая

Стычки. «Голова будет рублена». Золотая горенка. Девичья ссора

1

Армия Пугачева, возросшая до 2 400 человек, стояла на горе в бездействии. Несколько смелых янычских казаков и татар спустились в форштадт¹ и пробовали затащить на колокольню Егорьевской церкви пушку, но Рейнсдорп распорядился пугнуть их артиллерийскими выстрелами и зажечь предместье. Смелчаки бежали. Предместье запылало.

Казак Иван Солодовников подскочил к самому крепостному валу, врылся в землю колышек с привязанной к нему бумагой, гаркнул: «Государев указ!» — и под свист зул ужался.

¹ Предместье города, она же — Казачья слобода.

Указ Пугачева до солдатской массы не дошел, его прочли немногие офицеры и тотчас же отравили Рейнсдорпу. Бумага гласила:

«Сям моим именным указом регулярной команде, рядовым солдатам и офицерам повелеваю: послужите мне, своему законному государю Петру Федоровичу, до последней капли крови и, оставя принужденное послушание к неверным командирам вашим, которые вас развращают и лишают вместе с собой великой милости моей, придите ко мне с послушанием и, положи оружие свое пред знаменами моими, явите свою верноподданническую мне, великому государю, верность, за что награждены и пожалованы мною будете. Как вы, так и потомки ваши первые выгоды в государстве моем иметь будете и славную службу при лице моем служить определитесь...» и т. д.

Рейнсдорп, сердито хмурясь, прочитал бумагу дважды, подивился ее складному слогу, подчеркнул иные фразы и велел поднести к недавно заведенному «Делу № 41 о государственном злодее, беглом казаче Емельке Пугачеве».

На следующий день, не дождавшись никакого ответа на свое послание, изрядно разошедавшийся, Пугачев приказал жечь стогом сена на луговой стороне против самого Оренбурга. Рейнсдорп выслал под начальством майора Наумова отряд в 1 500 человек с тремя орудиями, чтоб отогнать противника. Отдалиться от крепости Наумов опасался: противники постреляли друг в друга, израсходовали весь порох и разошлись.

Два дня продолжалось спокойствие. На третью часть пугачовцев двинулась к Меновому двору, чтоб поживиться там купеческими товарами. Меновой двор, где производилась главная торговля со степью, стоял в двух верстах от города, за рекой Яиком. Обнесенный каменной стеной с несколькими рядами лавок, складами и службами, Меновой двор представлял собою обычный тип восточных базаров.

Рейнсдорп выслал отряд драгун и казаков, которые прогнали мятежников и около сотни человек захватили в плен. Ободренный сим успехом, губернатор так обрадовался, что за фриштыком, кушая пирог с солеными груздочками, велел даже кинуть своего немца-повара:

— Вот што, голубчик Шульц.. Я тебя поздравляю с очель вкусным пирожекком, а ты мне поздравляйт с победа. Выпьем!

Пред обедом, на военном совещании, он настоял издать приказ.

— Завтра, девятого, — сказал он, — дружно

атаковать неприятеля. Я ему, сукин кот,.. Я ему, я ему... Капут!

Однако на утро явился в расстроенных чувствах комендант крепости, генерал-майор Валленштерн, человек деятельный, храбрый, умно насмешливый.

— Наши дела, Иван Андреич, весьма печальны,— сообщил он Рейнсдорпу.

— Шо, шо, шо? — вскричал тот, выпучив глаза.— Я вас не понимаю!..

— Командиры частей, назначенных вами в наступление, только что заявили мне, что их офицеры да и многие нижние чины пьзв-являют великую робость, ежели не страх...

— Пасфольте, пасфольте... Но мы же победили!

— Победителями были вчера, а сегодня в войсках ропотане.

— Что ж делать? Какоф ваше мнение?

Валленштерн, относившийся к Рейнсдорпу иронически, ответил:

— Я здесь человек новый, две недели тому назад переведенный из Сибири, а посему затрудняюсь дать вам должный ответ.

— Тогда ответ дам я... Вылазку отменить! — закричал Рейнсдорп и, размахивая руками, принялся вышагивать по кабинету.— Нам мало войск и нет кароных офицеров. Не могу же я, не могу же я... сам вести зольдат в атака. Шорт знает што такое... Пфе!.. А этот Клопуш, помните? Он еще не вернулся из командировка?

— Надо полагать, что он и не вернется.

— Шо?

Чтоб докопаться губерпатора, Валленштерн сказал:

— В городе пойманы два шпиона. Под пыткой оба показали, что подослажны Пугачевым убить... гм... гм... господина губерпатора.

— То есть меня?

— Судя по тому, что в оной должности состоите вы, ваше высокопревосходительство, Пугачев имел в перспекте именно вас.

Губерпатор приметно вспотел и опустился в кресло. Лицо его приняло багрово-сизеватый тон. Был немедля позван полковой лекарь — бросить Рейнсдорпу кровь.

Оправившись, он стал писать уже известное нам великолепное письмо графу Чернышеву.

Прошло три дня. Прिया оборонительную тактику, Рейнсдорп поневоле предоставил Пугачеву свободу действий. Пугачев становился, таким образом, полным хозяином края. Вскоре, однако, Рейнсдорп сообразил, что далее так продолжаться не может. Он был ответствен за судьбу края, а наипаче того дрожал за собственную карьеру, благодаря чему проявил неожиданно даже личную храб-

рость. Так, он, например, по три раза в день появлялся в самых опасных местах, стал обходить позиции, шутил с солдатами, подбавривал офицеров. Кажется, ему удалось внушить гарнизону некую уверенность в победе.

Майор Наумов слова вышел со своим отрядом из города и двинулся в наступление. После длительной с обеих сторон артиллерийской перестрелки пугачевцы, предводимые Овчинниковым и Падуровым, окружили в рассыпном строе отряд Наумова. Солдаты оборонялись слабо. Наумов вытужден был, под гикапы, свист и хохот пугачевцев, отступить к городу, потеряв в этом бою полсотни убитыми и ранеными. А целая сотня бежала от Наумова к Пугачеву.

Теперь губерпатор Рейнсдорп от пятипательных действий да прибывтия подкрепления окончательно отказался. И тем восначальникам, которым он только что разослал хвастливые письма («в вашей помощи не нуждаюсь, справлюсь с шайкой бродяг собственными силами»), стал писать приказы — спешить на выручку Оренбурга. Но большинство его курьеров попадало в руки пугачевцев.

Крупные стычки под Оренбургом покамест прекратились.

Тем временем Пугачев все шире и настойчивей развивал свою деятельность. Он всюду гонял гонцов с пылками воззваниями, приглашающими в его армию калмыков, ногайцев, киргизов, заводских и крепостных помещичьих крестьян. Он повелевал выпускать на волю всех содержавшихся в тюрьмах, «в у протях хозяев имеющихся в неведальности людей».

Не в пример казенным, тапизанным певразумительным канцелярским языком приказам, реляциям и рапортам, грамоты Пугачева большей частью были кратки, общепонятны и толковы. Они писались либо его секретарями при личном участии вождя, либо скопом, когда любой атаман, а иным часом и случайный казак или мудрый старик-крестьянин нет-нет да и подадут свой голос и ввернут живое крепкое слово. А когда черновая бумага зачитывалась Пугачеву, он сам делал поправки.

— Больно уж кудреватое,— говорил эп.— Ты прямо пшви: «голова булет рублена».

Вот яркий, замечательный по стилю образец письменного народного творчества — одно из октябрьских воззваний Пугачева к русскому населению:

«Приказание от меня такое: буде окажутся противники, таковым головы рубить, кровь проливать, чтобы детям их было в предосторожность. И как ваши предки, отцы и деды служили деду моему, блаженному богатырю, государю Петру Алексеевичу, и как вы от

него жалованье получали, так и я ныне и впредь вас жаловать буду, за что вы должны служить до последней погибели, и буду вам за то отец и жалователь. И не будет от меня лжи, а многая будет милость, в чем я далую пред богом заповедь. Если кто против меня станет противник и неверолютец, такому не будет от меня милости — голова будет рублена, а пажити¹ граблены».

У Пугачева во всяких людях недостатка теперь не было, и манифесты к мусульманскому населению писались по-татарски, по-арабски, даже по-турецки и на иранском наречии. Эти манифесты распространялись на местах во множестве по насладгам, кочевьям, улусам.

Манифесты эти сочинялись в восточном вкусе — выпрепенно, вытлевато и образно, а самый титул императора преподносился с большой пышностью:

«Тысячлю великий и высокий и государственный владетель над цветущими есленьями, всем от бога сотворенным людям самодержавед, тайным и публичным даже до тваря награждитель, усердственный и в святости некусный, милостив и милосерд, сожалительное сердце имеющий, явившийся из тайного места, делатель благоденний, прощающий народ и животных в винах, государь император Петр Федорович, царь российский, во всем свете славный, еще и прочих, и прочих, и прочих».

Далее, в некоторых манифестах писалось: «Старшине башкирских моих областей и деревенским старикам, большим и меньшим, посылаю как гостинец мои поздравления».

«Сия мои указы на всех дорогах, местах, деревнях, на перекрестках и улицах публикуются».

«Заблудшие, изпурительные, в печали паодящиеся, по мне скучающие, услыша моемя, ко мне идите».

Затем, в мягкой форме, излагалась призывы вступить в ряды государевой армии для великой борьбы против общего врага: «Вы сами известны: для вас неприятель, толь и для меня». И в конце — довольно сильные угрозы ослушникам.

Однажды, когда заслушивался указ башкирским старшнам, Максим Шигаев сказал Пугачеву:

— Как бы, ваше величество, по первоступ-то не отпугнуть башкирских-то стариков, верхушку-то башкирскую. Может, они по первости и не столь склопы против государыни выступать. Как бы они в сумнительство не пришли да и народ свой

не помутнили. Кто их ведает, что у них из уме-то.

Пугачев, заложив руки назад и опустив голову, прошелся, затем, пристально заглянув в лицо Шигаева, сказал:

— Дело, Максим Григорьевич, говоришь. Пожалуй, доведется и Катерину уважить. А так настанет пора-время, народ сам разберет, что к чему.

Очередной указ был переделан, вставили в текст весьма хитроумное добавление.

«И пыпе душевно-усердствующей и сердечно-версийшей, дражайшей, светлое лицо имеющей, сладчайший и честнейший разговор имеющей государыне вашей служито безизменно... Повелепиям же моим будьте послушными, не вложа ваши сердца укривления. Верте точно: в начале бог, а потом на земли — я, сам властительный ваш государь. И мне служить будете».

— Ну вот, теперь, пожалуй, в самый аккурат, — выслушав исправленный указ, сказал Пугачев: живые глаза его улыбались. — Хона Катя моя и дражайшая, и сладчайшая, а государь-то властительный все же не она, а я!

Башкирский мулла Киязя Араслапов, получив один из пугачевских указов, отправил собственноручное письмо башкирскому старшине Аблоу Мурзагулову и прочим старшинам: «Желаемое нам от бога дал бог нам. От земли потерянный, царь Петр Федорович подлинный сам, клянусь тебе богом».

И таких собственноручных, от своего разумения писанных, посланий к башкирям и кочевникам среди известных народу лиц было немало.

Когда же, случалось, подслушивал Емельян Ивашыч бранчливый разговор промеж не забывших старшину казаков о том, что-де не больно ли усердно царь-батюшка «пехристей» к сердцу принимает, не чрез край ли мнрволит всяким там калмычишкам и прочей орде, Пугачев подзывал к себе недовольных и со строгою вразумительностью говорил:

— Как есть мы единая, всяя державная Россия, то и предлежит быть в пей всякому существу племени единый увет и порядок. Я до-пряма вам, детушки, толкую: тако е в писании сказано: «Славят Всевышнего все племена и народы». А всевышний, как и царь земной, един на всех, вроде пастыря в стаде. Мотри же, — добавляет он строго, — у нас в стане никаких чтобы межусебца, никаких раздоров не было промеж себя. Нам окалять не к лицу, детушка, а подобно жить купно со всеми. По какому хонь пальцу вдарь топором, всей руке

¹ Пажити, имущество.

большо... Для руки все пальцы одинаковы, такожде для государя вашего — все пароды... Верно ли сказываю, детушки?

Казак многодумно переглядывались между собой, и кто-нибудь из степенных казаков, один за всех, давал батюшке ответ:

— Истина твоя, царь-государь... Ты — отец пародам.

— А как совершим дело великое, вы, казак, первыми у моего серпа будете, — милостиво заканчивал царь свою беседу.

По-иному держал себя Емельян Иваныч с провинившимися атаманами, слыша от них такое бравадное слово в сторону «нехристей». Однажды, поймав на такой ворчливый выходке полковника Лысова, сгреб его за ворот, будто в шутку, да так тряхнул, что у Митьки сцакали зубы и шапка покатила на землю.

— Ты чего это, полковничек, купоросился? Сам ты в таком разе из бусурманов бусурман... Мотри, брат... Большо-то не челурьсь. И чтобы этой погудки я от тебя не слыживал!

И затем, видя растерянность Лысова, смягчелно продолжал:

— Эх ты, теленок несмысленный... А еще в полковники выбран... Мне не то обидно, что татар да башкирцев с калмыками котишь ты, а то обидно, что людишки-то эти — в моем войнстве и ничто от них, окромя верности, мы не видим. Уразумел?

А Зарубину-Чике он по этому поводу с глаза на глаз сказал:

— Вот что, друг мой... Последика ты за Лысовым-то. Дюже задирьст он насчет ичородья-то. Ведь межусобицы да раздоры в нашей армии не нам, а катерининым помещикам нузны. Верно балакают: семеро просят себя дерутся, осьмой радуется.

Чика согласно кивнул головой, но в оправданье стариков заметил:

— Иегопы у вас, казаков, этак-то повелось, сам знаешь, батюшка. Мы, эвоц, и мужика ниже себя ставим... Пу, да ништо, ваше величество... Обрется — обомлется... А последить за Митькой — послесжу, будь в надеже.

2

Еще не прошло и месяца, как Пугачев поднял восстание, а уже не только смежные две губернии — Оренбургская и Казанская, — но и обе столицы, потеряв покой, ерзили в смятенне.

Местные власти, не имея общего руководства, маевривгвали находившимися в их распоряжении малочисленными отрядами вслепую. Петербург сдал генерала Кара.

В то же время со всех сторон большим толпами к Пугачеву подходил народ.

В Башкирии был получен государев указ произведший на тамошний народ неотразимое впечатление. Башкирия зашевелилась. Прибывший туда от бригадира Корфа сержант Белов обратился к собравшимся башкирям с приказом идти на помощь Верхне-Озерной крепости. Башкирцы, осердясь, кричали и ответ:

— Довольно русским начальникам обижать нас! Мы все идем к заступнику-государю.

Первая партия в четыреста конных, вооруженных луками и косяками, башкирцев и впрячь вскоре прибыла к Пугачеву. Затем старшина, он же мулла, Кинзя Арасланов и Еман Серай привели еще тысячу башкирцев. Довольный Пугачев произвел муллу Кинзю Арасланова в полковники.

По мере того как регулярные войска разлогужаевижем Гсбледорва покыдали малепькие крепосты, фогпосты и собирались в периферальных пунктах обороны, оставшееся население с особой охотой принимало сторону невоьявленного государя, брошенные же укрепления тотчас занимались пугачевцами. Так были заняты крепости Пречистенская, Краснопетрская и другие боеые мелкие укрепления.

Пугачев о многих занятых пунктах, за их отдаленностью, даже и не знал. Новые самозванцы начальники захваченных укреплений мест без его ведома, но его именем все шире и шире начали распространять по краю слухи дельтгга, всюду встречая привет и сочувствие народа.

Возжати отдельных шаек стали действовать по своему усмотрению. Так яццкий казак Сягов самочинно произвел себя в полковника. Будучи старообрядцем, он, обезжая селения, отдавал приказы:

— Великий государь распорядился нынешние церкви ломать, а строить семиглавые, и чтобы креститься не тремя, а двумя перстами.

В другом месте башкирский старшина, назвав себя государевым атаманом, объявляет крестьянам:

— От государя приказано помещиков не слушаться. Ежели кто помещика убьет до смерти и дом его разорит, тому будет выдано из казны сто рублей, а кто десять дворянских домов разорит, тому тысяча рублей и чин генеральский.

Помещики, видя надвигающуюся на них грозу, оставляли свое добро и кто куда бежали. Все имения верст на двести вокруг Оренбурга были брошены владельцами. Пер-

были удалены из своих гнезд отставные офицеры Ляхов, Бударяев, Куроедов, еще Михайло Карамзин¹.

Едва успел старый Карамзин выбыть с места, как в его село Михайловку нагрянула ватага япких казаков. Работавшие у церкви крестьяне бросились было бежать.

— Стойте! — закричали казаки. — Ведите сюда вагшего барина на суд, на расправу.

— Ох, кормилыны... Уехатчи барин.

— Тогда собирайте поголовно всех на господский двор.

Сбегавшимся крестьянам седоусый казак Назарев объявил:

— Мы посланы от армии государя Петра Федорыча зорить помещичьи дома, а всем вам, крепостным крестьянам, давать волю. Отныне вы, мужики, вольны. На помещика не работайте, податей ему не платите, скот и земли барские, а такжежде хлеб забирайте себе.

Вскоре в Михайловку приехал три крестьянина из соседней деревни. Был праздник, церковь и церковная ограда полны народа. Один из прибывших, старик Травкин, обжав вступил себя крестьян, сказал им:

— Вот мы втроем были под Оренбургом, у самого батюшки. Он принял нас милостиво, спросил: «Служить ко мне, что ли, прибли?» Мы же ответствовали: «Пет, не судить, а к тебе, отец, на посмотренье. И счет воли спросить у тебя, свет наш». Старик сказал: «У меня нет невольников, у меня все вольны, и вы такжеже. Всем объявите, что податей помещикам не платить, на помещиков не работать, пекрутов царьшину армию не давать. А чтобы верные крестьяне ко мне шли». И выдал нам, свет наш, великий указ. Вот он! — старик Травкин вынул из-за пазухи бумагу с печатью и наказал народу: — Зовите попов, пусть чтут вгуд царскую бумагу.

Из церкви вышел на паперть два священника. Один из них спросил собравшихся: — Что вам надо, православные?

Старик Травкин подал бумагу, сказал:

— Читай, батя, в народ. От государя Петра Федорыча грамота. А не станешь, веди на себя пеняй.

Священник, поблещев, принялся дрожащим голосом читать. Народ омутился на мгнени. Только барский бурмистр остался стоять столбом. Ему дали по затылку, он упал на колени. Когда чтение закончилось, из толпы приказали:

— Читай вдругорядь, да поаветвейпей!

Священник прочел указ трижды. Затем всей толпой пропели многолетие государю. Священник, в простоте ли душевной уверовав в царя или же убоясь насилля над собой, стал осенять молящихся крестом и торжественно возглашал: «С великим вас, православные, государем Петром Федоровичем!»

Угостив в награду попов, крестьяне велели им сделать с указа несколько списков. И на другой день пять человек доброхотов, вместе со стариком Травкиным, заложив в тарантасы барских лошадей, стали разъезжать с теми списками по дальним деревням. Встречным людям они махали шапками, кричали:

— Радуйтесь и веселитесь! Волю возьму. Вот он — указ царев.

А когда попадались им на дороге экипажи с помещиками или пачальством, они сдергивали шапки и, на всякий случай, низко господам кланялись.

И в иных местах объявлялись грамотедоброхоты, которые строчили повые списки, составляли повые указы. Усердные парубаткишке голпы развозили эти списки по углым жителям. Так повсюду двинулся, зашумел народ, словно полоя вода весной.

Между тем старик Травкин успел перебраться из Оренбургской в Казанскую губернию, где впоследствии и был, по неосторожности, схвачен стражею.

Как уже было сказано, многие и многие помещики покинули свои гнезда. А вот барыня Пополутова никак бежать не пожелала. Проводила мужа в Пензу, она схоронилась в лесу, в сторожке. Однако, когда паехало человек двадцать казаков, крестьяне барыню выдали и приволокли в барский двор. Выпытывая, где у нее схоронены богатства, казаки били ее плетьюми.

— Хороша ли она была с вами? — спрашивали пугачевцы крестьян.

— Барин хорш, а она несусветная стерва, — в один голос отвечали мужики.

Помещицу Пополутову снова начали драть. С особым усердием стегали свою госпожу крестьяне. Барыня лишилась сознания.

Тем временем казаки занялись хозяйственными делами: грузили муку, крупу и прочее добро на поволы, забирали с собой барский скот и лошадей. Крестьянам, справедности ради, они выдали на каждое тягло по пяти барских овец, маломущим же еще по лошади и телке.

Поговорив о печальнике народном — о государе, о новой жизни, которую он обещает, и, пригласив крестьян вооружаться, скопиться в отряды и следовать к батюшке на

¹ Отец знаменитого историка Н. М. Карамзина.

подмогу, казаки собрались в путь. Крестьяне, в особенности же те, что секли барыню, взмолились к ним:

— Ой, казаченьки, уж вы ее, злодейку, приколчили бы на свой ответ, а то она сжавется, тварюга, всем нам не сдобровать.

Казаки барыню пристрелили.

— А как же с девочками ейными, господа казаки? У нее три маленьких дочери осталось.

Рыжебородый хорунжий, посоветовавшись с людьми из отряда, сказал:

— Девочки ни в чем неповинны. Вы их разберете по домам и содержите детские души по совести. А как войдут опые в возраст, выдайте мужичкам в замужество.

Во многих селениях, оставленных барями на произвол судьбы, крепостные крестьяне ударились попервости в разгул и в пьянство. Однако более смелые и предприимчивые стали сбиваться в артели и, нагрузив подводы барским хлебом, держать путь к Оренбургу, к самому пресветлому государю.

3

Время становилось холодное. Почами держались морозы. Стенные мочеклины и речонки голзамерзли, закрайки Яика подернулись зеленоватым молодым ледком.

Пугачевцам становилось туговато. Ютились они в шалашах из веток, в случайных ямах и пещерах, горотали ночи у костров. Пугачев с Харловой жили в киргизской юрте.

Вскоре вся армия перешла на зимние квартиры в Бердскую слободу, или, как ее называли, в Берды, что в шести верстах от Оренбурга.

Пугачеву заранее был приготовлен просторный дом зажиточного казака Ситникова и назван был тот дом «государевым дворцом». Полы здесь заново выкрасили, потолки выбелили, стены трех горниц оклеили шпалерами, а стены четвертой горницы, что побеле, вместо шпалер обили шумихой, то есть лентками сусального золота, широкую же купеческую печь местный маляр «раздраконила» живописным орнаментом из птиц и цветочков, посадив в середину государственный герб — двуглавого орла. На полу — ковры, у стен — добротная мебель, вывезенная из разграбленных дач Рейнсдорпа и Рычкова. В простенках — два зеркала и портрет великого князя Павла Петровича, добытый атаманом Овчинниковым в имении Тимашева. В переднем углу — в богатых окладах старозаветные иконы, возле печки — государево знамя.

Емельян Ивасыч, войдя со свитой во дворец, немало пышному убранству дивился. Золотая горница ослепила его. Он зачмокал губами, запищелкивал языком: «Ах, добро, добро».

— Кто же здесь постарался-то?

— Мы с сержантом Николаевым, ваше величество, да атаман Овчинников, — ответил Падуров. — А Чика у нас вроде подрядчика, — краски добывал, за всем досматривал.

— Благодарствую, — сказал Пугачев и посприятельно похлопал Николаева по плечу: — Старайся, старайся... Вот ишо маленечко поприемотрюсь к тебе, молодец, да и полковники и произведу. — Взглянув на портрет Павла, он покивал портрету геловой, вздохнул и, прослезившись, молил:

— Поди, забыл ты мепя, Павлуша, родителя-то своего. Ох, болит, болит по тебе мое сердце родительское. Эх ты, дитятю рожбное...

В снальне он потрогал кровать под шелковым одеялом, ткнул кулаком в середку взбитых пуховиков — рука увязла по локоть, сказал:

— Бабе спать. А солдату-казаку негоже, ла и не свично. В походах на локотке спать надо, кулак под голову, а высоко — два пальца сбрось, — но, спехватившись, добавил: — почивали и мы на этаких перинках в колодости лет, а вот поотвыкли. — Подмигнув Падурову, громко распорядился: — Пушай Харлова, сирота паша, довольствуется, ей пуховик этот, а я где нито в боковушке.

Проходя по горенкам, он пристально что-то искал взором и, не пайдя, с деланным равнодушнем молвил в сторону Падурова:

— Завладела Катерина прародительским престолом моим... Эх, вот сиденьце так сиденьце. Бывало, взойлешь по ступенькам... — и он осеся, вдруг подумав, что, быть может, у престола пикаких и ступенек нет. Слыхал он не раз, что пари «восходят на престол», а дальше его представление о престоле топуло в сумерках полного незнания. «Леший его ведает — этот самый престол, может, к нему лестница приставляется». И, странно, он почувствовал непонятное волнение, что чаще и чаще, с течением времени, стало посещать его. Точно и впрямь он когда-то владел песметным царским счастьем и всяческим добром, да впоследствии всего лишился. Видно, игра в паря не прошла для него бесследно, как не проходит она даром и любому актеру, человеческим сознанием которого нешприметно овладевает чужая выдуманная роль.

Они стояли в зале, изукрашенном су-
сальным золотом. Чья-то услужливая рука
загла в канделябрах свечи, тихие огоньки
отразились в зеркалах, поползли колеблю-
щимся отблеском по золоченым стенам.

— Глянется ли, ваше величество?—спро-
сил Максим Шигаев, ожидал от государя
высокой похвалы.

Пугачев, прищурив правый глаз, сколь-
знул взглядом по праздничным лицам боро-
датых казаков и не спеша ответил:

— Хошь и не больно гарно, Максим
Григорыч, великому государю в избушке
жить, да не в избушке дело, а в вашей,
воих верноподданных, усердии. И то ска-
зать: я, господа казаки, для ради народа
жего в берлоге жить рад-радехонек, лишь
бы народу облегченье с того шло.— Помож-
те, заметил еще:— Постарайтесь, детушки,
чтобы штандарт на крыше был, да красное
красиво украсьте. А как во дворец перебе-
рема, такой пир ахнем, аж чертам будет
тошно!..

Примолкшие казаки оживились, засогели,
запыхали и, боядя друг друга локтями в
бок, заулыбались.

— А не позвать ли нам, господа атама-
ны, на паш честной пир вора-губернатора
Рейсдорпа?—вновь прищурив правый глаз,
с серьезностью спросил Пугачев.

Казаки ухмыльнулись. Зарубиц-Чика, по-
чесав за ухом, сказал:

— Навряд пойдет. Пешто он благородное
обходенье понимает?

Казаки громко всохотали.

— А что ежели Хлопушу за ним спосы-
лать? У Хлопуши с губернатором союз-
дружба.— сказал Пугачев, все с тою же
серьезностью.

Казаки вновь захохотали хохотом, а раз-
жеселый Чика, схватившись за бока, зары-
чательно захохотал, словно гурица.

Первоначальные Пугачева и те из казаков,
что были потолковей да постарше, размес-
тились в Бердах по избам. Рябовые пуга-
чевцы принялись рыть себе землянки, уст-
раивать теплые палаты, принособлаивать
под желез амбары, сарай да бани, готовить
на зиму кизяки, солому да хворост для су-
рева.

Боренные жители нашествию пугачевцев
обрадовались: наступит время
вылое, богатое, гуляивое. В особенноти
были рады девки с молодыми бабами: уж
кто попируют...

4

Вскоре по всему Бугу, по всем оренбург-
ским просторам выпал первый снег.

Даша сидела под окопцем в теплой своей
горенке и, проворно работая иголкой, подру-
бала носовые платки.

Скука... То есть такая скука — плакать
хочется. Хоть бы за Устей Кузнецовой спо-
сылать. Даша отложила шитье, сняла на-
персток, уставилась взором за окно. Снег
валит. И ничего не видно впереди, все по-
мутнело, все спряталось в падучем снеге.
По двору боров бродит, на него от скуки
потягивает старик барбос, две заседланные
лошади хрупают у коповязи свежее сено,
кучка молодых казаков забила от снега
под навес, что-то врут друг другу, скалят
зубы. Стряпуха Маланья пронесла из по-
греба оловянную миску с квашеной капу-
стой. Над забором пробежала усатая голова
всадника в облепленной снегом, словно са-
харной, шапке.

Но Даша ничего не замечает: она вся в
неотвязных думах. И глаза ее полны слез...
Больше месяца прошло, о Митеньке ни слу-
ху, ни духу. Да и старик Пустобаев, с ко-
тлым она отравила Митеньке записку, то-
же как стигнул. Что за папасть такая? Не-
ужели этот проклятый Пугач ловит всех
честных людей в свой табор?

А отчаянная Устя все подбивает ее ехать
прямо к этому разбойнику: поедем да псе-
дем. Ежели, говорит, твой Митрий еще не
повешен, я, говорит, всенепременно вымолю
его у государя. Безумная! Она все еще су-
поетата недлого государем почитает.

Скрипнула дверь, Даша вздрогнула и
отглянулась: в короткой шубейке, в накину-
той на голову шали козьего пуха улыбки-
вая девушка стоит.

— Устя!—и Даша бросилась на шею
своей подруге.

От юной казачки пахло степными ветра-
ми, спелыми антоповскими яблоками, пер-
выми свежим снегом.

— Вот что, девонька,— сказала она,
встряхивая шаль и пристукивая подкован-
ными чёботами, как копытцами. Устя подо-
шла к окну и села очи в очи с Дашей.—
Надумала я в Плецкий городок к тетке
пробраться. А отудова, ежели все тихо-
смирно будет, в парское ставовище метнусь:
у меня от Ивана Александровича Творого-
ва пропуск за печатью имеется.

— Ах, Устя!—вспуганно всплеснула ру-
ками Даша.— Неужли ж ты к самому про-
ду — Пугачу?

— А что такое?—подбоченившись, отве-
тила Устипья.— Я девка отчаянная, па то
и казачка. Да и видеть мне его, паря-то,
крайность пришла: Пустобаева старика
жалко, ведь он мой двоюродный дед.

— Слыхала я от папеньки, что Пустобаев твой к Пугачу в лапы угождал.

— Об чем и речь. Вот и упаду в поги надежи-государя да и завою-завою в голос. Разжалобится, отпустит старика, еще, может, гостищев даст. Оп хошь и царь, а съезило, до пригожих баб да девок падох. Эвот, телкует, Степка Творогова отпустила мужа с парем-то, а сама день и ночь по батюшке-т поет, вот как он приголубил бабу да околовал, даюм что простая казачка. Едем, Даши! Вот дорога установится, и дуй, пе стой.

— Да что ты, что ты, Устя, опомнись!.. На этакую погибель зовешь меня!

— Ах, Даша, Даша. Своей погибели по беёся, чужую жгзнь береги. Да и чего нам, дечкам, подеется? Подумай-ка покрепче о судьбишке горемычного Митрия Павлыча своего. Ежели жив еще, царь вольным молодца сделает, уж мы умолим тосударя, укланям.

— Ой, пет, Устя. Да разве папенька отпустит меня? Да и маменька еще не вернулись из Казапи. А без родительского благословения пешто можно в столь опасную эгипеллнню лускаться?

— Какие они тебе родители! Чужие они тебе. И у меня матушки нет, сиротинки мы с тобой, Даша. Да и то сказать: всякий человек сам о судьбе своей должеп некальсь... Ты же Митю любишь.

— И пошто спрашиваешь?— Нежные губы Даши ссызались в плаксивую гримаску, ова утыкнулась разгоревшимся лицом в косячку и зарефлекывала.

Казачка нахмурила брови, сказала с надменностью:

— Из разпото теста мы с тобой. Не хочешь.— как хочешь. Вот и весь мой сказ. Ну, так и знай, девка: ежели я твоего Митря Гарлыча сама вызволю, оп мой будет!

— Что ты, что ты!— вскричала Даша.— Да мы же с Митеькой тайно обручены, вот и кольцо у меня в шкатулочке,— она торопливо встала, звякнула ключом комода, вынула чергочного золота кольцо, показала его суровой Усте.— Никто об этом не знает, только я с Митеькой, да вот еще ты третья.

— А я и знать не хочу... Обручены вы ла не речаны. Эка штука! Да я от него, мжст, часе эагае же кольцо имсю, да супер выбавок. Клятву тебе даю: не поедель— мой будет, мой! А ты курца, вот ты кто.

Лицо Даши мучительно искажилось, ова заглянула в темные бездонные глаза Устиныи, и сердце ее замерло. А казачка, как

бы не замечая страданий своей подруж, упорно стремилась принудить ее ехать к Пугачеву, и с этой целью ова старалась возбудить ревность Даши, наговаривая на себя всякий вздор.

— Ты жестокая, жестокая,— задыхалась, отчаянно твердила Даша.— Я Митеьку люблю, а ты врешь, все врешь на него! Ты нарочно это... Оп меня любит, а тебя вовсе и не знает... Ну, как, ну, как я поеду?— обливаясь слезами, заламывала Даша руки.

— Ладно, не сзди.— отрубилa казачка.— Твой Митеька, сержант, со мной почти напролет гулял, мы с ним в степу костры жгли, а с тобой, с пацей, он и попрощаться-то не захотился... Ха!

Даша вскрикнула и шичком упала на кровать.

Глава тринадцатая

Зверь-тройка. «Затрясса, барин?!» Просьбица

1

Степь широкая, белая, неоглядная. Бурьы, песчаные сески, кой-где перелесок проткисст, и снова степь. Белое и темное да вверху над головою, холодное несиня-белое небо — тот и все степные краски.

По наезженной, утыканной блеклыми вешками дороге легкие саночки скользят.

Безлюдно в степи. Редко-редко казачий разезд на горгозете промаячит да попадутся встречу оборванцы — нищелюды с кошельями либо какой-нибудь скуластый беглый мужичок с пугливыми глазами снимет шапку, спросит: «А где, мол, к Ренбуху дорога пролетает?» — «А по какому же случаю тебе в Оренбург занадобилось, дядя?» — «Да так,— ответит он, ковыряя палкой снег,— слых у нас прешел, быдто... это самое... как его...» — и замнется, и глаза утупят в землю.

Скучно в степи. Хоть бы ветер поднялся, хоть бы вьюга завыла свою песню... Нет, тихо в степи. Лишь с заячьими петлями и волчьими следами убродные снега белеют, отлавная синью. Да из простора в просветы легкие саночки скользят.

Однако пара лошадевок притомилась, путь пресеяали они длинный; у коренника обвела нежная губа, пристяжка хитрит, держит постромки вслабую.

Сзди кто-то настигает, селюки-девушки оглядываются: скачут четыре казака и, помахивая плетками, диким голосом орут:

— Дорогу, дорогу осударю!

И санки только лишь успели своротить с дороги, как невдалеке показалась тройка борзых коней. На задке расписных саней — ковер, под ногами седоков — ковер, на облучке Ермилака, кудреватый чуб его стелется по ветру. — Вечерело, по серый свет еще держался.

— Стой, Ермил! — крикнул Пугачев, и, так выстая, тройка стала. — Эге! — сказал Пугачев, рассматриваясь в девушек. — Да никак знакомая? Ну, так и есть... Устинья, ты?

— Я, нар-батиска! — звонко и радостно прокричала из санок Устя и, как бы готовясь к целую, отерла рукой свои губы.

Рядом с Пугачевым, френетом выставив на всю бегу в вадешке, сидел червомазый, любосый Чика-Зарубин.

— Беги-ка проворней, Чика, сядь с тью, с другой, Устю — ко мне.

— Разом, батиска, — крикнул услужливый Чика и поспешил к девичьим саням.

— Здорово, Устинья Петровна, — приподнял он шапку с червомазый пыганской головы. — А это же кто такая? Ой, да никак Дарья Кузьминшна.

— Молчи, Зарубин, — сказала Устя и моргнула Чике бровью. — Это дочка нашего старого дьячка. Так я и патеже-государю буду сказывать. И ты так говори.

— Да как же я посмелюсь батюшку обманывать? — возмутился бесхитростный Чика. — Как мне врать, ежели она приемная жерь нашего коменданта?

— А уж так падобно, Зарубин, — твердо бросила Устинья. — Ври, да знай: вреда е всю батюшке не будет.

Разгоряченной быстрым бегом тройке не стоялось. Рослые гнедые трясли головами, всережи укусить друг друга за морды, шарапывали, бешеным глазом косились по сугрегам, во-сережому били копытом в снег.

— Ну, здравствуй, Устинья, — ласково сказал Пугачев, ожидая, что казачка встанет на колени и землю поклонится ему.

— Будь здоров, патежа-государь. — ответила девушка. Едва кивнув головой, она из прилапешья залезла в ковровые сани и, как ни в чем не бывало, уселась рядом с государем.

«Горлячка», — снова, как и там, в Илепном городке, на плясах, подумал Пугачев про Устинью и крикнул ямщику:

— Пешел, пешел, молодец!

Беспалабный Ермилак привстал, прищелкнул, потрянул вожжами:

— Эх, лошади чужие, хомут не свой, шовяй, не стой!

И зверь-тройка, закусив удила, ринулась вперед.

У казачки сразу захватило дух. Поймав ухом веселую присказку Ермилаки, она спросила Пугачева:

— Чьи же это лошади-то, батюшка?

— Государственше. — с важностью ответил Пугачев. — Повелел я взять их из коништы моего губернатора Рейнсдорпа... Парским своим имением. Чусшь? А вот уже преспееет пора-времечко — на самом Рейнсдорпе воду грикажу возить... Ха-ха-ха!.. — и Пугачев громко рассмеялся. На нем надет был старый из ощины тулуп и замызганная, как у пропойцы, шапочка. Заметив, что казачка с откровенней насмешкой смотрит на его плохой гаряд, он сказал: — А это я паровню в чужую шкурку-то обрядил, чтоб не узнавали, чтобы лиха какого в дороге не стражлось, редь Рейнсдорп-то тоже, поди, не дремлет. А я в этом барахлянике под самые городские ворота подъезжал. — Пугачев сбросил с левого плеча тулуп, обнял девушку за талию и, сказав: «Эх, личико твое румяно!» — чмокнул ее в холодную розовую щеку.

Устя не сопротивлялась: у нее на уме такое дело, что батюшке палю угождать... Ой, ой, какая у батюшки теплая да сильная ручища, аж ребра взныли...

— А по какому же делу красавица, ты сдешь и к кому?

— Да к кому же боле-то?.. К тебе, свет наш, к вашей парской милости.

— Ах, к моей парской милости? Гарно, гарно, — и, скосив черные, на выкате глаза, Пугачев еще крепче прижал ее к себе.

Кругом лежали глубокие заструги снега — степной ветер в прошлой ночи, видно, похозяйничал на славу.

В Бердах снегу тоже целые сугробы. Пугачевские крестьяне да казаки, покряхтывая, переговариваясь, разгребали снег прот государевым дургом. На крутой одетой железом кучше подсчетеля вод ветерком императорский штандарт — большой желтый флаг с черным орлом в средине. Орла намалявал, как умел, сержант Дмитрий Павлыч Поголаев.

Ся и сейчас сидят под окнами в нижнем этаже, в отведенной ему горенке государевых палат, и трудолюбиво присовывает с медной монеты большого орла. Пало сделать на картоне три таких рисунка, вырезать, раскрасить сургем и приклеить к зелесчым стенам в верхнем этаже. Государю, наверное, будет это приятно.

Молодой сержант постепенно входил в новый быт и, главное, — в житейские интересы пугачевцев. Душевный разлад день ото дня ослабевал. У Николаева пред глазами покатилась совершалась сказка: армия Пугачева росла, на клич самозванца устремлялся со всех сторон народ, а среди простого люда были и такие грамотеи, как Падуров. Один за другим передаются они со своими отрядами в лагерь Пугачева и во всеуслышание провозглашают чернороброго бродягу истинным царем. Это ли не дево-дивное?

Из разговоров с Падуровым, из манифестов и указов, что сочиняли вместе с ним, наконец, из поведения самого «батюшки», сержант Николаев начинал угадывать, что над всей этой дерзкой заварухой веет некий дух вольной вольности, что народ сбегается на манифесты самозванца не зря, и не только для разгула, грабежа да пьянства, — как раньше думал Николаев. Нет, слышь, забитый люд искал в лагере мятежников правды и жестокого отмщения врагам своим.

И вспоминается Николаеву его личный враг, сосед по имению, елизаветинский вельможа, генерал Спягин. Имелыще Николаевых было ничтожное, всего одиннадцать дуп, и то калека на калек. Земля тоже было столь мало, что хлеба едва хватало на прокорм. Зато была у Николаевых завстаная сосновая роща на обрывистом берегу речки Серебрянки, в роще — пасека на пятьдесят ульев и уютная беседка «Мпловнда». Вид из этой беседки открывался живописный, из поля, леса, просторы спягиных владений. Генерал Спягин залотел, кагрза ради, эту рощу оттягать себе. Старик Николаев на сделку не согласился. Сосновая роща — единственное его достояние. Он передает рощу своему наследнику — Митеньке. Однако генерал Спягин отобрал есбячек пасельно и огородил его забором. «С богатым не судясь», — подумал убитый горем старик Николаев, и скоропостижная смерть быстро свела его в могилу.

Сержант Николаев, служивший в Япком городке, пргехал в побывку, пошел к генералу объявляться. Но в генеральские пазаты его не пустили, дворецкий вынес ему пакет с тремястами рублей — плата за рощу, и тем дело кончилось.

С тех пор сержант Николаев всю свою встаеть соседоточил на генерале-грабители. А ведь пмп, Спягиными, полпа вся Русь! И как же можно ему, Николаеву, не встпать этот паря-самозванца. — пусть ватен жестокой и бсзумной, но невзбежной,

как удар скопившейся в туче небесных гроз.

Повзмать-то Николаев понимал, однам ске, своя рубаха ближе к телу... Он хоть и бедный, а все же дворянин. Нет, стыдно ему идти против присяги государыне против издревле существующих на Руси порядков. Раб есть раб, господин есть госедин. — так уж самой природой создано уши человека не растут выше головы, и не гоже рабу быть выше господина.

И вот снова качаются его мысли, вправо, влево, как маятник часов, и так нехорошо, и этак плохо. И уж он сам себе в мил — слюптай какой-то!..

А все ж таки Пугачев ему по сердцу Ну, хоть голову ему, Митеньке, рубите. — люб ему простой этот человек. Он не пафский сап, он человека любит в нем. Так думал Дмитрий Павлыч Николаев, подмалеывая картонного орла. Единственной ег утехой, отдыхом его в черном раздумьи была память о желанной Дашеньке.

Он повернул мысли, как фонарь в ночи в родимый Япкий городок. «Даша, Дашенька...»

Густым наплывом опрокинулся на него мрльсе, несветотгмые воспоминания. Тихие вечера над Япком, соловьиные трели-песенки в кустах прибрежных, бледные звезды в небе. Илывает, плывет счастливая, лодочка, а в ней — счастливых двое. «Митенька — едва слышно говорит она, — лу до чего же, Митенька, сладко соловьи поют». А у самой в глазах такой восторг, и вся она пронизана столь нежной и чистой в сержанту страстью, что Митенька, забыв себя, и ночь, и звезды вдруг очутился, как орех в скорлупе, в каком-то ограниченном и тесном мире: все кругом него исчезло, весь мир замкнулся в Дашеньке. Вот она, в белом, с пышными оборками платье, с бастальным реском на голове... Он бросил на дно качавшейся лодки жокроо всею, встал перед Дашей на колени и с юпой застенчивостью обнял ее, шенча: «Дашенька, невагладная, в тебе вся жизнь моя». — «Митенька», — ответила она и порывисто, с удивительной молодца смелостью, стала целовать его в губы, в лоб, в глаза. Целует, а сака въздыхает да пашентывает: «Ой, грех это, грех, Митенька... Без пашенькина благословения... Пашенька да мамашка узнают, прегневается...» Папктывает так, а сама звай себе целует да целует.

Вспоминая все это, такое недавнее и дашее, также милое и несбыточное, сержант Николаев судорожно передернул плечами,

было собираясь всхлипнуть. Но он удержался от слез и прошептал:

— Да, любимая Дашенька, несчастный твой Митя впрочем, впрочем больше не встретит тебя. Разве что на том свете только...

— Митрий Павлыч.— услышал он над собой знакомый голос. То сказал воеводский горюк янички казак Кузьма Фофанов. Там казак здесь, вместе с Николаевым, в полубригаде, исполнял обязанности дворецкого, был хранителем «военной добычи» государя, а когда стряпуха Непила напивалась, то и парским поваром.— Иди, тебя полковник Лысов кличет.

— Митька Лысов?— переспросил сержант.— Чего ему нужно от меня?— Надел шапку, татарский азым из армячины и, ничего не подозревая, вышел на воздух. Впрочем, на его душе была какая-то несдержанная давящая тревога. Он не любил и боялся этого нахального и злого Митьку Лысова. Особенно же после случая с письмом Дашеньки. Он чувствовал, что Лысов злобствует на него и каждому внушает, что вот, мол, он, жидконогий сержант-воряничек, сумел подлизаться к государю и оттирает от батюшки верных слуг его — честных казаков... И уже пиные, ради папашов Лысова, стали коситься на сержанта.

На открытом крыльце с точеными перилами и дальше, в сенцах, толпились двадцать пять отборных лицких казаков — гонимые конной. Кое-кто из них сметал с веточки лезгу подсолнечных семечек, другие смазывали ворвань сапоги или, сняв шапку, расчесывали кудри медным гребнем; четверо, примостившись на приступках, глядели в карты.

Позелкневая заливчатый колокольчиком и бубенцами, зверь-тройка врезалась в древяную слабость Берды. Караульный забрякал колодезную, его десик о трех лапах сплывал.

— Государь, государы!— взголосоили подзаказиле ко дворцу казак.

И все вдруг засуетились. Забил барабан, четный караул рослых молодых — сабли коло — выстроился снизу вверх по обе стороны лестницы, на крыльце выбежал в шом чекмене дежурный Давыдлин, выскочили, как угорелье, две девки — Пеняла и Марья, подхватили батюшку под локотки. Пугачев на ходу приказал:

— Покличьте-ка начальника артиллерии Чаева. Пусть внизу подождет, в прием!

Он велел Непиле провести Устю в заднюю горницу, а когда подьдет с Чикой другая девушка, так и ее туда же.

— Я не замедлю,— сказал он Устинье Кузнецовой.— В твою минутку и доложу мне о делишках своих.

Вскоре прибыла Даша в сопровождении Зарубила-Чики. Он сказал:

— Ты, Устинья, говори государю всю правду, не любит он, когда врут. И Дарье Кузьминичне никакого лиха из-за лжи он не сделает. Открылась она мне, зачем пожаловала.

Даша переглянулась с Устей, потушилась. Чика продолжал:

— Идите. А я Митрия Павлыча пошщу, он, сказывали, ушел куда-то.

Явился Пугачев. Он в новом педлинном кафтане из тонкого сукла, в голубой шелковой рубаше с высоким воротом, в широких шароварах и желтого цвета козовых сапогах. В его руке белый узелок с пряниками, орехами, сахарными леденцами. Он бросил узелок на ломберный стол, накрытый вязаной скатертью, сказал:

— Отведайте-ка сладенького.

Девушки застенчиво взяли по мятому прянику в виде рыбок, сели на стулья. Пугачев уселся го-татарски на сундук, потупый меховым товром. Он не сразу оторвал свой оживающий взор от красивого лтга Устиньи. Статная, не по летам дорогая казачка прямо, грудь вперед, по сутулясь, как Даша, сидела на стуле, перебирала концами пальцев, как бы играя, туговую перекинутую через плечо золотистого прета лису и сволми темными глазами смотрела в лицо государя с задорным бесстрашием и любопытством.

2

— Здорово, Митрий Павлыч,— сощурихитрые глаза, сердито и в то же время икрадуче исприветствовал подходившего сержанта сухощектый, с козьей бородежкой Митька Лысов.

— Желая здравствовать, господин полковник,— вежливо, чтоб не раздражать злого человека, ответил сержант.

— А ты чего это все дома да дома торчишь? Батюшку-то и без тебя есть кому стеснить, ха-ха... Батюшка-т, полн, не сахарный, не растает. А я к девкам гулять иду, составь компания...

Сержант Николаев не охоч был до гулянок, он вел жизнь чистую, как подобает жемуху, но ничего не поделзень. надо же гостежку гостежку уважить. И сержант, смалодушничав, ответил:

— Хоть и педосуг мне, да и пезлоротеяся, но раз вы желаете,— извольте,— и, длинный, сугорбленный, он пошагал рядом с низкорослым Митькой Лысовым.

— Вот гарно!— сказал Лысов.— Слободские девки на мельнице собираются, у мельника свои две девки наливные да пригожие, как спелые дыни. Пу, плясы там у них, вишишко.

— Далек ли до мельницы?

— Да верстунки полторы, две... Подем жтво промахнем. Мы ведь не одни с тобой, с нами илецкие собираются.

Уже спустился вечер. В жилищах огоньки зажгли. Прошел старик-сторож с колотушкой, к его кушаку привязан трехлапый пес, он култыхал за стариком и покряхтывал. Митька Лысов вложил два пальца в широкий рот и пронзительно свистнул. Пес хамкнул на него, караульный отпрянул прочь и с перепугу забрыкал в колотушку.

Из сумехи выдвинулась на свет четыре хсьодьх казака, двое с балалайками, двое с длинными дудками. Сняв шапки, они поксьедьсь волковнику и как-то бессмысленно захохотали. Сержант заметил, что они пьяны. У одного, долгоносого, из кармана свистки торчит зеленого стекла штоф, на ходу слышно, как в нем булькает жидкость.

Тронулись вперед. Казаки во всю мочь горлавили песни, наяривали на балалайках, таськсьывали в дудки. Слобода кончилась, дсьюга шла чистым полем. Вдали едва-едва виднелись два мутных огонька, как два глаза степного волка.

— Вот и мельница маячит... Видишь, сержант? Там и девки,— сказал Лысов.

Сержант молчал. У него затосковало сердце. Ему хотелось повернуть обратно, однако, сзади него шли два казака и загадочно похихикивающий Лысов. Сержанту стало не по себе.

Сумерки сгущались все больше, облачное низкое небо было мрачно, справа темнел кустарник у речки, степь казалась пелюджьей, как заброшенное кладбище. Но вот голый разъезд казаков пугачевцев.

— Стой!— и три всадника паехали на веселую компанию.— Кто? Куда? Пропуск!

— Я — полковник,— подъял бороденьку Лысов.— С приятелями гулять идем.

— Добро,— сказал гелоусяк с чубом изпод шапки.— На мельницу, чего ли?

— Тула, туда,— ответили дружки Лысова и захохотали.

— Казаки,— сказал разъезду сержант Николаев,— посадите меня кто-либо к себе на-конь, мне запедужилось чего-то.

— Ну-чо... Садсь ко мне, господи сержант,— предложил один, чубастый.

— Куда?!— И Митька Лысов с долепосым казаком сгребли сержанта за азым.— Какой же ты к чертовой бабушке товарищ раз компанияство рушишь?.. Разъезд? Ади своим путем-дорогой, в слободе-то государь ждут.— скомащодвал полковник.

Всадники двинулись вперед.

Почувя вездное, Николаев молча бросься за всадниками вдогонку. Но его снова крепко схватила пара злобных рук:

— Ку-у-да?!

С велькой тоской посмотрел сержант в спины удалявшемуся разъезду, еще раз двадуясь, еще раз и, помяв, что у него не сил разомкнуть вражеские руки, брось Митьке Лысову в упор:

— Что тебе надо от меня, Лысов?.. Смотри, государь узнает...

— Ха-ха! Ишь, дворянчик, кляуза! Пу и кляуза!— подхихатывая, зачастил подленьким голосочком Лысов, то выпрямляясь, то сутулясь.— Ты Пугачем-то... то-бишь... того-этого, царем-то не дуже стражай, дворянчик... Да тебе, может статься, и паря-то боле не выдать... Ха-ха!

— Да ты что?!

— А вот то! Псьм, идем!— и гулякь припялась подталкивать сержанта Николаева.

— Никуда я не пойду! Большой я.

— Ах, большой? А у нас спадобье лекарственное есть,— пропусил Лысов.— Прсьлка, дай-ка ему хлебнуть из склянницы, сразу оздоровеет.

— Пусятя меня!

— Ага, затрясся, барит?! Нет, не пустим,— задышал сквозь вздернутые поздри Лысов.— А то ты нас Пугачу... То-бишь... Тьфу ты!.. Ха-ха-ха... А знаешь ли, сволочь что таких вот дворянчиков, батюшка-то в речке топить нам указал?

— Врешь, негодий!— не помя себя с отчаявьем завочил сержант и что есть силы ударил Лысова сверху вниз по голове. Тот, чакнув зубами, слетел с ног, а Николаев опять бросься в сторону Берды. Но длинноносый успел подставить ему ногу и стукнуть чем-то тяжелым по затылку. Сержант Николаев во весь рост, смаху, упал лицом в снег и, теряя сознание, видел, как к нему подбегал с арканом Митька Лысов.

Тем временем Пугачев взглянул в цюрозевшее круглое лицо тихой Даши и спросил:

— Так сказывай, красавица, кто такая и откуда прибыла?

— И приемная дочь полковника Симонова,— ответила Даша, и ее певный голос дрогнул.— Зовут меня Дарьей.

— Симонова? Комеданта Симонова?!

Даша тихо ответила: «Да» и пошла голубой. Брови Пугачева сдвинулись, и не то обаяло, не то сердито оттопырилась устатая губа.

Дверь в соседнее золотое зальце была закрыта неплотно. Глазастая Устя досмотрела, как в просвете раза два мелькнула в зальце женская фигура, и слышно было, как там прешурдало шелковое платье. Легкие женские шаги. «Кто же это там?» — подумала Устия. Она взглянула в строгие пугачевские глаза и, сделав выражение лица прескательным и кротким, сказала:

— Даша-то, падежа-государь, сиротинка. Приемная она у Симонова-то. Ты не гневайся на нее, ваше величество, она ничем не виновата пред тобой.

— Знаю, что не виновата,— ответил Пугачев и почесал под бородой.— Мы супротив баб войны не ведем... А иным часом приключится, что и баб вешаем. Эвот комедантша Елагина в Татищевой из ружья в молк пуляла, ей-ей. Ну, я, знамо дело, повелел ее повесить.

В золотом зальце тихий стон послышался. Пугачев покосился на полуоткрытую дверь, и по его подвижному лицу прошла судорога. Помедля, он спросил Дашу:

— Твой Симонов за государя меня признает, а считает за Пугачева какого-то. Ну, да он у меня еще спознается с веревкой. А ты, как ты? Говори, не таясь, по правде...

— Ой, не спрашивайте ради бога об этом,— заломила Даша руки и умоляюще поглядела в хмурое чернородое лицо его.— Я признаю вас очень добрым, милосердным человеком. Вот и Устя об этом говорила мне, и ваш казак Чика, что ехал сейчас со мной. Он очень расхваливал вас. Ведь вы защитник всех несчастных. А я, спрота, действительно несчастна. Родных отца и матери у меня нет... И единственно кто дорог мне, это...— Голос Даша дрожая, и устремленные на Пугачева глаза ее были полны слез. Вдруг всхлипнув, она бросилась пред ним на колени:

— Батюшка, ради всего святого поклудите его, отпустите его со мной... Он мой жених...

— Да кто такой? О ком ты? Ась?

— О Миленьке. О Дмитрии Павлыче Николаеве прошу,— проговорила Даша.

— Эге-ге... Вот оно куда!.. Вот оно дело-то какое!— Пугачев во все лицо заулыбался, свесил ноги с сундука, встал и ловко поднял обливавшуюся слезами девушку.— Не плачь, сирота,— сказала она,— все будет по-твоему. Хотя завтра и свадьбу сыграем. Только знай: ни тебя, ни сержанта Николаева я от себя никуда не отпущу. Суженый твой мне тоже по сердцу пришелся. Согласна ли? Брось изменника Симонова. Замест него я, царь, твоим отцом буду...

Было пресеявшее лицо Даша снова омрачилось. Она низко склонила голову и, молча вздыхая, ронила слезы.

Пугачев тоже вздохнул, коснулся рукою плеча Даша и тронул за локоть Устией:

— Эх, доченьки вы мои, милые, пригожие. Коротко счастье-то девичье ваше на свете живет, и доведется, видно, мне, государю просьбицу вашу исполнить.

— Батюшка,— проговорила Устия.— Я ведь тоже к тебе с великой просьбицей: отпусти ты домой Пустобаева, старика,— сказала Устя, отпущивая Пугачеву поясной поклон.— Дуже шибко по нем старуха его убивается, а он мне родных кровей человек.

— Пустобаева? Что ты, что ты! — замахал Пугачев руками, по глаза его улыбалось.— Ведь Пустобаев мне присягу принимал. Ну, девки, этак вы всех верных слуг моих расхитите... Ой, да сколь же вредны вы,— покачал он головой.

Дверь скригнула, пресупулась чья-то бородатая голова.

— Войди, полковник,— сказал Пугачев.

В горелку вспел вперевалку, на кривых ногах, вачалиник артиллерии Федор Чумаков. Потряхивая широкой, бурой, как медвежья шерсть, бородой, он низко поклонился Пугачеву, затем, прищурившись, оглядел девушек.

— Батюшки мои!— вдруг воскликнул он.— Да никак, землячки?

— Землячки, землячки, Федор Федотыч,— улыбаясь, ответила Устя, а Даша бесположно оттернулась.— И вот твоего двоюродного брата выручать приехала, государю челом бить.

— Это кого же? Не Пустобаева ли?— спросил Чумаков.

— Вот что, Федор Федотыч,— перебил Чумакова Пугачев.— Дельце у нас знатное на очереди.

— Слушаю, ваше величество,— опустил руки по швам пожилой Чумаков, его круглое, толстовское лицо стало серьезным и внимательным.

За огнями стемнело. Чубастый Ермилка ввес горящие свечи в медных подсвечниках

и, пока ставил их на стол, споровая су-
нуть себе со стола в рукав кусок леденца
и арляшк. Подморгнув Усте, он крадущейся
походкой, вывертывая пятки, вышел.

— Люди у тебя в порядке, полковник?

— В порядке, ваше величество.

— Нам, мой друг,— сказал Пугачев,—
треба дурака Рейнсдорпа за нос провести.
Ты вели-ка людям сей почи как можно
ближе к валу крепостному прокрасться.
И пускай они там костров шесть, а то и
после разложат. Да чтобы ярко кестры го-
рели, да чтобы костер от костра шагов на
полтораста каждый. Чуешь, полковник?
А коль скоро запалят кестры, пускай на
сторону втикают. Я чаю Рейнсдорп пере-
путается да со слепу по кострам из пушек
падать учнет. А ты, друг, тем временем на
другом участке, темной-то укрываешь,
пушки выкачи. Да сколь можно ближе
к крепости-то. Да что б не скрикнуло, не
брякнуло... Чуешь?

— Чую, батюшка, как не чуют. Сколь
пущенок-то?

— Как это — сколь?.. Все! Мы на зорь-
ке трах-тарарах Рейнсдорпу учиним...
Штурм!

Пугачев довольно долго говорил с Чума-
ковым. Наконец Чумаков ушел. В горелку
из золотого зальца заглянул Давылин и
кивком головы вызвал к себе Пугачева.
Там Давылин и Чика подхватили его под
руки, отвели в дальний угол, к печке, за-
шептали наперебой:

— Батюшка, сей вечер Митька Лысов
с четырьмя казачинками приколчили сер-
жанта Николаева, в речю утопили. Нам
все дело разобрано. Лысов с краю-то
в отпор шел, а тут сознался,— и они
вкратце рассказали, как им удалось быстро
распутать дело.

— Ах, цаглец, ах, сатана,— бормотал
Пугачев, с шумом выдыхая воздух.— Как
моих людей убивать?!

— Я его, ваше величество,— с горяч-
ностью сказала Чика-Зарубин,— я его, под-
люгу, самоуправца, Митьку этого Лысова,
на дыбки поднял бы!..

— А ты не учи меня. Созовите-ка через
часок-другой атаманов об это место. Всех!
И чтобы Лысов непременно тут же. Ах
ты, боже мой! Как теперь с девками-то
быть? Вот что, Чика. Распорядись, пожа-
луй, чтоб немедля тройку заложили, да де-
вок обратно в Плецкий городок с охраною.
А отудова они дорогу сами найдут. Ну их
к чумару. По мне лучше самую лютую сечу
с врагом выдержать, чем бабью головсёбу
слушать,— он помолчал.— Да вот еще что,

голубь мой,— снова обратился он к Чике.—
поди-ка ты к девушкам да перекинь
с ними словечками.— О сержанте-то, мотри
молчок. Чуешь? А верней того ты пасажи-
ка дескам-то былъ-песыльцу. Пропалъ
сержант Николаев без вести. Намедни
послам-де царь сержанта в Оренбур
к губернатору с приказом крепость сдать, а
он, видимо, по малодушию изменил нам
Рейнсдорпу переданъ. Стало, по всей види-
мости, в Оренбурге он таперь, жених-
твой, сержант этот. Чуешь? Значит, идя
А здесь-ка вам, кундобочки, мол, оставаты
не можно, штурм будет. Так и толкуй.

Выслушав Чикку, Устинья задумалась,
Дашенька вся вдруг просветлела. «Слава
богу, слава богу!»— радостно твердила он
про себя. Ей было очевидно, что бог сме-
лился над ее возлюбленным и спас его от
великого бесчестья. И только часом позже
сидя в санках и вслушиваясь в лихое пе-
ганье ямщика, она почувствовала такую не-
стерпимую тоску, что вслух разревелась.

Над степью шумела темная, непогожая
ночь. Колючий ветер, озорюя в просторных
степях, крутил летевший с неба снег, пе-
реметал обставленную вешками дорогу.

3

Время перевалило за полночь, а Пугачев
с утра еще не пил, не ел.

Стряпуха Цепина с сонными глазами на-
крыла ему в золотом зальце стол, подан
в сложенной блюде шей из кислой кашусти
со свиной. Он покрошил во щи чесноку
с жадностью, обжигаясь, съел и велел еще
подать.

Вошли Овчинников, Творогов, Давы-
лин, Чика и с ними Митька Лысов. Атама-
ны сказали: «Хлеб да соль твоёй милос-
ти».— «Благодарствую»— ответил Пугачев
он пригласил всех, кроме Лысова, присесть
к столу.

— А ты, Лысов, подь к печке.

Лысову это не понравилось. Он отошел
к печке, по по-сердитому прищурился на
Пугачева.

— Вот, други мои,— обсасывая свиной
хрящ, начал Пугачев.— У меня, к велико-
му горю моему, секретарь загиб, сержант
Николаев. А я без книжного человека, как
без рук. Да спасибо заместитель в налич-
ности, есть кому сержанта заменить.— Тут
он поднял голос до строгости и круто обер-
нулся к печке:— Повслеваем тебе, Лысов,
отныне быть нашим секретарем. Отправляй-
ся-ка эвот в тую торницу, подадут тебе та
всякий письменный припас, и немедля е

ть ты губернатору Рейнсдорпу указ мой, чтоб крепость сдавал, а то горазд худо ему достается. Всякие умственные резонты подпусти, чтоб посолопее вышло, чтоб читал Рейнсдорп да посом крутил.

Вдруг побагровевшее лицо Лысова вытянулось, рот раскрылся, козья бородевка обвисла, но припухшие глаза попрежнему смотрели на Пугачева пагло, по-ехидному. Переступив с ноги на ногу, он сказал:

— И чего ты, батюшка, вздумал падежку чинить падо мной? Сам ведаешь, что в царево я навовсе темный.

Пугачев ударил кулаком в столешницу (бедрыгнула-затарактела миска), и на воный голос закричал:

— Так как же ты смел, наглец, моего Николаева пагубе предать?!

— А ты, батюшка, того... не гайкай... Захлопни роток-то свой. Я, слава те Христу, не оглох еще,— дерзко откнулся Лысов и, поправив кушак, откашлялся.— Ежели мы и прикончили дворянчика, так уж, верь, не зря. Он, гнида, твою милость материть почал, а я вступился за тебя, а оп на меня, как волк бешеный, едва не убил.

— Врешь!— снова закричал Пугачев, снова грохнул кулаком в столешницу.— Ты бибих-то сказок не толкуй мне! Я Николаева пачище тебя знаю. Он на меня черным словом не замахнется. Да и вас пятеро было против одного. Врешь, смрад ты этакий!

Наступило молчанье. Лысов растерялся, сел в рубашу и, слабо дыша, раскашлялся. Затем едва слышно забормотал:

— Оп, батюшка, хоть и грамотей хороший, а все же барин, барская душонка.

— Молчи! Барин ли, татарин ли,—не твоего ума дело! Иной барин, да поверней тебя, смрада! Скользкий ты человечешка, Лысов, что твой налим.

— Я-то палим,—сзлобленно проверещал Лысов,— а ты вот в острах ходишь. Дак ты уж против нас-то, против атаманов, сержись, в щеть-то не иди... А то... не ровен час...

— Молчать, паскуда! Голову есеку!— Пугачев вскочил и, сжав кулаки, шагнул к испугавшемуся Лысову. Тот, выкинув руки вперед, в страхе пятился от грозного Пугачева, бормотал:

— Секи, секи, ежели тебе дворянская голова дороже атаманской. Да ты не больно-то... Не ты меня в полковники выбрал, твое величество, а казачий круг.

Пугачев, заглушая его голос, приказал: — Давилин! Взять полковника Лысова под арест. На хлеб да на воду. Спать с не-

го саблю...— и, обратясь к Лысову, погрозила ему пальцем:— Последнюю предосторогу я тебе, Лысов, делаю!

Когда Лысова сбезоруживали, он шумно пыхтел, скрежетал зубами, из глаз у него катились слезы.

— Ногодь, погодь, батюшка!— придушено выкрикивал он.— Сочтемся... Чистоганчиком отблагодарю...

— Не угрожайвай!— и Пугачев вышел, резко хлопнув дверью.

Огни во «дворце» один за другим стали потасать. Сонная тишина в доме и на улице. Разве что всадник промчится или споронок взбреднет озябший пес. Еще слышно было, как тикают стенные английские часы в золотом зале да за печкой однообразно и размеренно чирикает сверчок.

Прошло два часа. Вдруг тьма вздрогнула: в царской спальне внезапно возникли истешные крики, ругань, пропитательный визг, вопль, хлесткие удары пагайкой.

С заднего крыльца выскочила во двор полураздетая Лидия Харлова и, захлебываясь неутешными рыданиями, побежала мимо выползшей стражи. Она бежала чрез тьму, чрез огороды—вдаль...

А в четвертом часу ночи в Бердах забил барабан. Во «дворце» зажглись огни. Атаманы-пугачевцы съезжались на колях к царскому крыльцу. Вскоре на крыльцо вышел в сером суконном полубубке Пугачев. Ермилка подвел пару рослого коня. Царь с проворной легкостью вскочил в седло, взмахнул рукою. Всадники гурьбой двинулись за пям.

Почь была еще в полной силе. Распаленный с вечера ветерок почти угомонился. Он лишь ползал по лысым взгорьям, да бросаясь в крутые балки, исподтишка шевелил там черные оголенные кусты. И не единого звука вокруг, кроме этого ползучего ветреного шороха да бодрящего слух снежного скрипа под конскими копытами.

Глава четырнадцатая

Хлопуше оказано доверие. Злодейская расправа. «Оженить надо батюшку». Воинственный казак

1

Выехав за слободу, всадники увидели через тьму, справа от себя, шесть бурно пылавших больших костров. Хитрость Пугачева удалась: с ближайших форпостов крепости по пожарницу открыли оружейную пальбу.

Тем временем, пользуясь попутными к городу местными прикрытиями, Пугачев с Чумаковым довольно искусно расставили подвешенные среди ночи пушки, выслали вперед пени стрелков и чуть свет открыли канонаду. Крепость отвечала. Перестрелка с перерывами продолжалась почти весь день, но без всякого успеха для обеих сторон: только попусту тратили порох и ядра.

К крепостному валу во время перестрелки подвезжали одиночные пугачевцы и, не страшась пуль, кричали:

— Эй, господа казаки! Защитнички! Одумайтесь-ка, поклонитесь-ка государю Петру Федорычу. Оп, батюшка, с нами.

— Никаких батюшков ваших не признаем, мы матушку признаем!— орали в ответ с вала.

— А вы приезжайте в гости к нам, у нашего батюшки виша-зелена, что воды в Яике!

— Лучше вы тащите своего батюшку на гостеванье к нам... Мы ему цепочку сготовили на ручки-пожки... Приезжайте-ка!

К вечеру, собрав совет, Пугачев держал такое слово:

— У Рейнсдорна на каждую нашу пушку по пяти своих. Нет, детушки, нужды почем зря людей нам расходовать. Мы их, изменников, ежели не сдадутся, голодом выморим.

Тем не менее Пугачев не терял надежды как-нибудь захватить крепость врасплох. В течение двух недель, почти ежедневно, он подвозил пушки к крепостным фортам и размещал их всякий раз ближе да ближе к цели. Снова оружейная перепалка, снова приступ, снова ответная вылазка защитников, короткая схватка — и беспорядочное отступление осаждающих. Преобладающее количество и качество крепостной артиллерии явно брало верх над пугачевцами, и тогда Емельян Иванович решил, что «в крепость влезть не можно, с малым числом пушек — крепости не одолеть».

Но вот стали приходить известия, что большими самочинно возникшими отрядами пугачевцев заняты на Урале купеческие заводы: Воскресенский, Преображенский и Верхотурский — братьев Твердышевых и Мясникова, а также Капо, Никольский завод купца Мосолова. Управляющий Воскресенского завода был убит, его дом разграблен и сожжен. Вскоре в стан мятежников были доставлены и трофеи: несколько пушек, снаряды, порох и деньги.

Пугачев всему этому был много рад и начал изыскивать способы к дальнейшему развитию своей артиллерии. Он ежедневно рас-

сылал в разные стороны указы, или, как их называли в Петербурге, «прельстительные письма». И вскоре велел разыскать Хлопушу-Соколова.

Огромный, слегка подвыпивший Хлопуша, в новых валенках, черном нагольном полшубке, перехваченном красным кушаком, подошел к дому Пугачева, полез было на крыльцо, но его остановил караул:

— Куда прешь! Недавно ослеп — да и не видишь?

— К самому требуют. Шигаев прибежал за мной с час тому назад.

— Эй, Маслюк! Давай во дворец к дежурному. Безпосый-де просятя.

Заскрипели ступеньки, запела скрипучую песню дверь, через минуту Маслюк крикнул сверху:

— Пуцай идет!

Хлопуша только головой крутнул на новую порядки, выругался про себя, сказал: «Оказия».— и грузно пошагал наверх.

Его провели в боковую горницу. На окошках цветы, посреди пола, в кадке, большой фикус, над ним, у потолка, чиж в клетке.

Царь играл у окна с Шигаевым в шашки. На кругом плече Пугачева, перебирая лапками и задрав хвост, ужимался, мурлыкал, терся головой о волосатую царскую щеку белый котенок.

— А-а, Хлопуша!— произнес Пугачев и «съел» у зазевавшегося Шигаева «дамку». — Сыт ли, здоров ли?

— Благодарим покорно, покудов сыт и в добром здравии... чего и вашей милости желаем.

— О моей милости не пекись, за мое зловье попы во всех церквах, снизу доверху, бога просят.

Хлопуша умолк. Волосы у каторжника гладко причесаны, борода аккуратно подстрижена, взгляд диковатых белесых глаз вдумчивый, чрез некалеченный нос — чистая, поперек лица, повязка.

— А я ведь думал, Хлопуша, что ты все у меня повысмотришь да и к Рейнсдорну обратно,— продолжая Пугачев, прищуривая правый глаз на шашки.

— Пошто мне бегать,— обиженно прогнулся Хлопуша.— Холил одна тайком к своей бабе с робечничком, да вот, сам видишь, опять с тобой...

— Ну, и па том спасибо. Коль ты со мной, стало — и я с тобой... Три шашечки зеваешь, Максим Григорыч. Все три, брат!— Пугачев с резким стуком перекрыл у Шигаева шашки, затем искоса, сбоку, взглянул на

Хлопушу и спросил:— Ну как там, у Рейпсюрпа, порядки-то каковы, народ-то что гуторит?

— А что народ? Пароду положено губернаторишку костить. Да и поделом. Ни тебе фуража для скотины, ни тебе пропитанья для жителей на запас. А как ты его нынче кругом запер, ему теперича ни вздохнуть, ни охнуть! Голод будет!

Пугачев скосил в улыбке рот, но вслед за тем ойкнул и осторожно снял с плеча котенка: в дряпке нежности зверюшка вздулся запустить когти в чужое тело. Котенок испугнулся, подбежал к Хлопуше и приплясывая тереться мордой о его валеный сапог. Верела нагнулся и огромной горостью взял котенка к себе на руки.

— В шапках зевака ты отменный, Максим Григорьич,— снова обратился Пугачев к Шигаеву,—мотри, не прозевай, друг, сена в стени.

— Да уж прозевали, батюшка Петр Федорьич, прозевали,— потушился Шигаев и виновато замигал.

— Как так, прозевали?— воскликнул Пугачев.— Шутнишь ты, Шигаев?

За Шигаева откликнулся Хлопуша:

— Сей ночи сотни четыре городских подым на стену были, большую уйму сена в город увезли, да, поди, не менее подвод в лес по дрова губернатором отряжено.

— Прозевали, ваше величество, прозевали,— подавленно твердил Шигаев, встряхивая надвое расчесанной бородой.

Пугачев сбросил на пол шашечницу, круто выскочил из-за стола, закинул руки за спину, принялся взад-вперед вышагивать, покрикивая:

— А где же наши развезты были, где скреты? Спали, что ли? Ни брядку, ни строгости у нас, Максим Григорьич!

— Нету, нету, батюшка,— с горечью в слезе согласился Шигаев.— Ни сего, ни того.

— Повесить!— гаркнул Пугачев, остановившись возле Хлопуши. Тот сбросил с руки котенка и попятился.

— Кого, батюшка, повесить-то?— покорно спросил Шигаев.

— А кто на карауле сей ночи в стени сидел, вот кого!.. Выбрать одного да для ради «страстки вздернуть... Под барабанный бой! И чтобы всех собрать, чтобы принародно!

Внедший Падуров, поклонясь Пугачеву, с шпату наблюдая за ним, затем на пыточках подошел к Шигаеву, остановился позади него, шепнула ему на ухо: «Встань — видишь,

государь па погах». Шигаев горопливо подылся.

Падуров, взяв стул за спинку, произнес:

— Разрешите, ваше величество...

Пугачев смутился, не знал, что ответить. Сказал, засопев:

— Чего разрешить-то тебе? Уж не опять ли жениться задумал? Ась?

— Разрешите сесть, ваше величество,— и молодцоватые усы Падурова дрогнули от улыбки.

— А!—воскликнул Пугачев.—Садись скорей. Садись и ты, Шигаев.

Хлопуша слушал и своим ушам не верил. Ну, уж если сам депутат Падуров называет Емельку вашим величеством, стало быть чернобородый и впрямь царь, а не Емелька... Фуу-ты!

— Я полагал бы, государь,— начал Падуров,—когда нашей силы скопится поболс, учредить у нас военную коллегию.

— На манер той, где Захар Чернышев сидит?— живо откликнулся Пугачев.

— Вот! И чтоб всякий из начальников ваших был к чему-нибудь определен.

— Ништо, ништо... Гарно!— сказал Пугачев.— Заведем и мы графа Чернышева.

— Ваше величество,— робко ввязался Шигаев.— Хлопушу-то отпустили бы, чего ему тут тереться. Ведь он любопытник наторелый.

С обидой взглянув на Шигаева, Хлопуша обратился к Пугачеву:

— А вы все о сю пору меня на подзренье держите...

— Ан вот и пет. мой друг,— возразил Пугачев, подсобляя Шигаеву поднимать с пола рассыпанные шанкль.— Ежели б я подзренье имел, так уж, верь мне, Соколов-Хлопуша, давно бы тебя раки грызли. У меня к тебе государственное поручение примыслено. Ну, танерь подь к печке, сядь. Да хорошень прислунайся, что скажу.

Услыхав слово «государственное поручение», Хлопуша разинул волосатый рот да так с открытым ртом и дохотился до печки. «А ей-богу — это царь. Либо ловко прикидывается царем»,— с хитрой простотой в мыслях сказал он самому себе.

— Бывал ли ты, когда ништо в Авзяно-Петровском дворьянина Демидова заводе?— спросил Хлопушу Пугачев.

— Не доводилось,— хмуро молвил Хлопуша, усаживаясь возле печки.

«Экий чорт упорный! Хоть бы раз «величеством» повелчал»,— с неприязненной насмешливостью подумал Пугачев и продолжал: — Так вот что, Хлопуша-Сokolov...

Приказываю тебе моим царским именем: возьми-ка ты в провожатые себе крестьянина Иванова Митрия, что явился пред наши царевы очи с того завода, да еще прихвати добродкопных казаков пяток и поезжай не медля со господом в оный завод. Путь не мене как триста верст, а то и с гаком. И толкуй там моим вышним именем... Слышишь? Царским моим именем! — на отличие, громко пропел Пугачев и сурово уставился в белесые глаза его.

Хлопушу словно ветром подняло:

— Слышу, надежа-государь, — поднявшись, с покорностью сказал он и снова сел.

— Как прибудешь ты на место, объяви работным людям мой писанный указ. Да разузнай, не можно ли промежду них найти мастера mortиры лить? И ежели есть, пушай этого дела не прекращают. Нам mortиры во как падобны! — и Пугачев провел ребром руки у себя по горлу. — Понял меня, Соколов?

— Понял, — начал Хлопуша, — понял...

— ...ваше величество, — подсказал ему с сердцем Падуров.

Хлопуша тихонько взглянул на Падурова и тусаво замыкал что-то в тряпицу, но Пугачев махнул рукой:

— Иди, Хлопуша, готовляй себя в поход.

Проводив Хлопушу, а вслед за ним и Шигаева, Пугачев сказал Падурову:

— Вот что, Тимофей Иваныч, уж ты не больно-то церемонни разные у меня заводи. И твое усердие понимаю и благодарствую тебе. Только ведай: порядки там положены не барские, не дворцовые, а какие есть — казацкие. Давай-ка, брат, как пито попроще.

— О дисциплине пекусь, государь.

— Гарно, гарно, — одобрил Пугачев, — о дисциплине пекусь — без нее ни страху, ни порядку. Только уж когда мы со своим близкими, можно, пожалуй, и попроще. Эх, Тимофей Иваныч, жалко мне сержанта Николаева, — неожиданно перевел он разговор. — Шибко, признаться, я к людям привыкаю. Похоже, и ты из таких?

— Из таких, ваше величество.

— А из таких, так слушай. Замотался я, вершишь ли, с этой недотрогой Харловой. Такая чига припузая, что ах! Намеднишь, я ей слово, она мне двадцать, да как завопит, да как затопочет об пол пятками... Смухордилась да в бороду мне — тыфу! Ну да ведь и я горяч. Намеднишь нагаечкой шлохелся...

— Лидию Федоровну Харлову? Нагаечкой? — отступил на шаг Падуров и так взглянул на Пугачева, будто увидал за ним,

за его плечами нечто жуткое, затем, потянувшись и брезгливо дергая усами, пробормотал:

— Что не дело, то не дело.

«Ага, и про «величество» заламятовал язык отсох, — подумал Пугачев по беззастенчивости. — То-то же и есть...»

— То-то и есть, Тимофей Иваныч, — проговорил он вслух спокойно. — Вот об этом и я помышляю...

— О чем?

— Как, о чем? А насчет комендантши насчет Харлихи-га. Истинно говорится: как волка не корми, он все в лес поровит.

— Да ведь и другой сказ есть, ваше величество, сам, небось, слышали: насильно мил не будешь, — угрюмо сказал Падуров. — Как же теперь быть-то, государь? Не годя ведь нам и тварь бессловесную зря терзать да мучить.

— Знаешь что, Падуров? — внезапно бодрым голосом отозвался Пугачев. — Берись ты эту цапу-то себе.

— Нет, ваше величество, благодарствую мне и одной довольно, — в насмешливой улыбке оскалил Падуров зубы. — Будь мы в Санкт-Петербурге с вами, при дворце, — ну, куда ни шло! А ведь сами же вы только что изволили сказывать: порядков дворцовых не заводите.

Пугачев понял его и тоже заулыбался:

— Вижу, Тимофей Иваныч, урок мой тебе зазря не прошел. Мозговат ты...

Вскоре был отправлен вслед за Хлопушей и полковник Шигаев. Ему поручалось обложить все верхние ящики, форпосты и собрать верхних казаков в стап государя. Царский указ, врученный Шигаеву, начался так:

«Всем армиям государь, Российский землей владетель, государь и великая светлость, император Российский, царь Петр Федорович, от всех государей и государынь отменный». Далее следовало повеление: «Никогда и никого не бойтесь, и моего неприятеля, яко сущего врага, не слушайте. Кто меня не послушает, тому за то учинена будет казнь».

2

Через несколько дней после отъезда Хлопуши и Шигаева в Бердах произошло кровавое событие.

С субботы на воскресенье, после церковной всеобщей, после жаркой предпраздничной бани и сытного ужина с довольным возлиянием, жители слободы крепко уснули. Спал и весь пугачевский дом, лишь чутко

старухи, жившие по соседству с царскими войсками, слышали сквозь сон, как где-то близко прозвучали выстрелы, затем почувались отчаянные женские вопли, еще выстрел — и все умолкло.

Бабка Фекла вскочила с печки, перекрестилась, поскребла пятерней седую голову, прошамкала: «Наваждение!» И снова повалилась на печку. Бабка Анна тоже закреплась, зашентала: «Чу-чу нуляют!.. А либо сон ступный пригрезится».

— Эй, мужики! — крикнула она. — Слыкали?

Но вся изба сытно храпела и во сне постанывала. «Пригрезилось и есть», — подумала бабка.

Однако то не сон был, а всамделишная явь. Ночь стояла лунная. Голубели сыпучие снега, голубели далекие просторы, поблескивали мертвым пламенем остекленные окна избенок и домов. Два запороченных снегом боронных пугала на огороде были как два безликих привидения с распростертыми руками. И этот огромный огород, примыкавший к дому Пугачева, походил на заброшенное кладбище: взрытые, местами обнаженные от снега гряды темнели, как могилы. В глубине выдвигалась покосившаяся баня, будто старая часовня на погосте, а молодые вишни с толстыми ветвями напоминали надмогильные кресты.

И лишь забрезжил в небесах рассвет, проезжавший задворками крестьянин взглянул из салеи в сторону бани и с великого перелугу обмер. Затем он прытко повернул лошадь и, работая кнутом, помчался обратно вкачье.

Вскоре сбоялось к бане с десяток любопытных.

Раскинув руки, лежала на снегу, в одной сорочке, босая, лораженная двумя пулями, Лидия Харлова. Возле нее, прижав правой щекой к ее груди, лежал с простреленной грудью малолетний брат Харловой — Николай. Его подстрелили шагах в пятнадцать от сестры. Он, должно быть, на время потерял сознание, а затем, истекая кровью, пополз на хриплые стоны Лидии, чтоб утешить ее, чтоб успокоить, — ведь он обещал отцу быть мужчиной, быть мужественным, беречь сестру и мать. И вот они оба теперь — спящие.

Люди ахали, озирался по сторонам, переговаривались шепотом:

— Царская барыня-то... А это ейный братейник, мальчишка-то.

— Ах, бедные вы, бедные, горемычные!

— Царь-то батюшка выгнал барыньку-т.

Он дворянок-то не шибко привечает. Ох, ох, ох! Мальчишку-то жалко, несмышленых еще.

Когда доложили о происшедшем Пугачеву, он заскрежетал зубами и так выкатил глаза, что окружающие попятились.

Кто же это смел посягнуть на его, государя, священные права живота и смерти? Уж не Лысов ли опять?

Весь этот день Пугачев был замкнут в мрачен, он не выходил из дому, не принимал никого к себе.

— Ах, баба, баба! Горе-горькая твоя участь! — бормотал он, вышагивая из угла в угол по золотому залуцу.

Следствие по делу о разборе вел атаман Овчинников, а при нем состояли Чумаков и Творогов. Было опрошено немало казаков и жителей слободы. Многим известно было, что Харлова, после того как Пугачев однажды ночью прогнал ее от себя, оказалась в руках возвращавшейся с пьяного пиршества компании во главе с Митькой Лысовым. На другую ночь из-за барыньки случилась моножовщина: три загулявших татарина и хорунжий Усачев выкрали Харлову у Митьки. В свалке один молодой татарин был убит, казак же из лысовской шайки сильно ранен, а сам Лысов отделался ссадинами. После скандала он бегал с завязанной рукой по улице, грозил, что перевешает всех татар, а барынька все равно будет его.

На допросе Лысов вел себя вызывающе, оскорблял следователей, орал на них, угрожал расправиться с каждым по-своейски, а в деле запирался. При этом он рассуждал на допросе так:

— Убили паскудищцу — туда ей и дорога. Эка, подумаешь, беда какая! Одной барынькой на свете меньше стало, ну и слава богу!.. Ха! Да ежели бы ее не убить, из-за нее полвойска перегрызлось бы. Она кручая, она и мне чуть нос не оторвала, — и он слегка подергал пальцами свой вспухнувший, в низких кровоподтеках, нос.

— Не ври-ка, не ври, Митя! Это татарин тебя долбанул в шюхалку-то, — сказал Творогов и похихикал.

Так ни с чем и отпустили Лысова, хотя все были уверены, что убийство — его рук дело. На совещании порешили: батюлку в подробности следствия не посвящать, а доложить только, что виновные не сысканы. О Митьке также ни слова, а то батюшка, пожалуй, самолично с плеч ему голову смахнет, — батюшка не шибко уважает Митьку. А ведь Лысов, как-никак, выборный

полковник, и ежели его казнить, войско-то, чего доброго, всю дисциплину нарушит.

Под конец совещания подошли Чика, да Горшков, да Мясников Тимоха. Чужих в избе не было, за кружкой пива рассуждали про то, про се.

— Хорош-то он хорош, слов нет! — сказал Иван Творогов, когда речь зашла о государе, и криво улыбнулся. — А только вот, насчет бабьего подела он знатно охочь. Надо бы его нам, сообща, боронить от женских-то...

— Либо батюшку от баб боронить, либо баб от него хрорить, — громко всхохотал веселый Чика, покручивая лапой курчавую и чернущую, как у цыгана, бороду. — Б тебе, Иван Александрыч, кажись, Стеша твоя прибыла?

— Прибыла ламеднись, — с неохотой ответил Творогов.

— Вот и держи ее под замком, а то батюшка дозрит, заахаеть, мотри.

Творогов был ревнив, а свою Стешу он считал писаной кралей.

— Мы, поди, воевать сюда пришли, а не с бабами возюкаться, — проговорил он с досадою.

— Вот это правда твоя, — подал голос похлпой, степенный Чумаков.

— Ха-ха-ха! — еще громче залился большеротый Чика. — А пошто ж ты, Федор Федотыч, вдовую-то дьячиху к себе из Пижне-Озерной уманил?

— Ври, ври больше, ботало коровье! — буркнул в бороду Чумаков, но старые глаза его по-молодому вспыхнули.

Тогда все разом загалдели:

— Не тансь, не тансь, Федор Федотыч! Видали твою духовную, вчерась она курей на базаре скупала. Слов нет, добра дьячиха! Всем бабочка взяла: и личком, и станом, и выходка форенстая... Ну, а ежели и култыкает на леву ногу да косовата чуть — изьяну в том большого нет.

Чумаков только отмахивался, бормотал:

— Для хозяйства она у меня, при домашности. Куда мне — старый человек, — и потягивал из кружки хмельное пиво.

Стали перемиывать друг другу косточки. Оказалось, у многих крали заведены были. У Падурова — татарочка, у Творогова — соблазнительная красоточка, законная супруга, у Чики — шестипудовая купеческая дочка, у Тимохи Мясникова — тоже какая-то скрытница живет... «Вот только батюшка наш на вдовьем положении».

— Оженить бы, что ли, его? А то не приличествует осударю со всякой капителиваться, — сказал захмелевший Чумаков.

— Царям на простых жениться не полагено, из предвека так, — с серьезностью возразил атаман Овчинников, — а какую пет присуху приглядистую подсунуть ему можно.

— А ведь, братцы казаки, пригосж на батюшка-то! — выкрикнул похожий на скопи Горшков. — До него каждая пойдет. Эвот как ехал он намеднись, избоченясь, Каргалинской слободой, молодки все глаза проглядели на царя-то. А одна бабенушка до та пор шев поворачивала, глядяч на батюшку, аж в позвонках у пей хряпнуло. Ей-ей!

3

Все разбрелись по своим делам. Атаман Овчинников — с докладом к Пугачеву. Каргал у двора отбыл в его честь артику ружьем, но Овчинников передумал идти с нарядного, прошел по черному ходу на кухню в надежде там перекусить, — очень ему есть хотелось.

Ермилка сидел на лавке под окном и в зажатой меж коленями крынке сбивал мучокой масло из сметаны. Толстые губы его были в уголках запычаны сметаной. Завидя входившего атамана, он вскопчал, сунул на стол крынку, одернул фартук и, шлепая губами, крикнул атаману честь-приветствие.

— Вот что, братейник, — сказал Овчинников, — выйдн-ка ты да почи моиго коня.

Ермилка взяла скребилицу со шеткой и тотчас же удалился. Овчинников, улыбочиво прищурив на Пенилу серые глаза, подрозил ей пальцем, молвлял:

— А ты, слышь, толстая, не шибко батюшке-то досаждай великательностью-то своей женской, а то ты, краснорожая, присосешия, как пиявица, тебя и пе оттянешь.

Пенила бросила ухват, подбоченилась и зашумела, надвигаясь грудью на Овчинникова:

— Да ты что это, атаманская твоя душа. меня, девушку, позоришь? Да я те, за такие твои речи, из живого полбороды выдерну!

— Экая ты глухая! — засмеялся Овчинников и присел к столу. — Лучше дай-ка мне перекусить чего ни то малость.

— Знаю я твою малость, — брюзжала Пенила. — Тебе бараний бок подай — ты и его за присест умнешь. Любите вы, атаманы, батюшку обжирать, в расход казну вводить.

Ворча, она все же кинула гостью рушник, а на стол поставила миску со спедью.

Проголодавшийся Овчинников, ушлетая жареные куски баранины с кашей, говорил:

— Надобно жизнь батюшке устроить попышней да поприглядней. Поди, скучает он по этой... по Харловой-то?

— И не думает о ней,— азартно заговорила Ненила.— Он арапелыником кажинную вещь ее учил. Учил — да не выучил! Зря только утруждался...

— Вот уж надо будет предоставить сюда шутки две опрятных женщин, смазливеньких, чтоб обихаживали его величество, как полагается во дворце: и постель прибирать, и одежду подать да почистить. А то не по царски он живет. Страмота!

— И не смей, и не смей, Андрей Афанасьич! — замахала на него обеими руками мелуговашая Ненила.— Я сама управляюсь... И не смей!

— Так ты же на кухне...

— И на кухне, и коло батюшки. Я и разуть-обуть могу, я и в башку могу свести, я и... А чего ж такое? Оп царь, а я его раба. Его ублажать бог повелел.

Ненила вдруг вскинула голову, прислушалась: в верхнем этаже закричала дверь на кухонную лестницу, и вслед послышался голос Пугачева:

— Ненила, эй! Портянки-т просохли?

— Просохли, твое величество, просохли! — закричала снизу Ненила и засуетилась.— Отвернись скорейца, Афанасьич, переодеться мне.

Горбоносый Овчинников, улыбаясь одними глазами, отвернулся к окну.

— Хоть бы занавесочку какую повесить, так не из чего. И переодеться негде,— говорила Ненила, торопливо меняя на себе шапку.

Озорник Овчинников попытался было повернуться к ней, но дорожная курносая красавица сердито заорала:

— Не паялся, пучеглазый! А нет, клюкой по харе съезжу... Вот те Христос, съезжу, не посмотрю, что ты атаманишка! — Она быстро надела новую черную юбку, быстро накиннула шелковый шубун с пышными борами назад, повязала по черным волосам красную ленту, ополоснула руки, освежила водой разгоряченное лицо, сорвала с шеста портянки, подскочила на секунду к зеркальцу.

А сверху снова нетерпеливый властный голос:

— Да ты чего там, телиться. что ли, обралась?! С кем это ласы точишь?

— Бегу, бегу! — и Ненила, сотряса ястницу, потопала с портянками наверх.

Вскоре, сыто рыгая, направилась туда и атаман Овчинников. У него был до царя серьезный разговор.

4

Обедали втроем: Пугачев, Шахуров и Овчинников. Говорили о делах, о том, что зав-

тра же надо отправить небольшие отряды в помещичьи села Ставропольско-Самарского края: барские запасы пощупать да на зиму в Берды провианту побольше подвезти, а главное — мужиков против бар поднять.

— А как с барами управятся, пускай к нам, в наше войско, сахарц вдут,— сказал Овчинников.

— Моих высочайших указов подобает поболе изготовить, да чтоб пошны в церквях народу оглашали,— проговорил Пугачев.— Ты, Падуров, подмогни Ванюшке Почиталину бумаги-то шисать. Эх, Николаева пегу!..

И только начали «по второй», как зазвонела за окном лихая казацкая.

Хор высоких, будто жепских, голосов рвал песню с гиком, с присвистом. Стоявший при дверях Давилин бросился на улицу и, тотчас вернувшись, доложил:

— Максим Григорыч Шигаев из похода вертанулся, сто десять новых казаков с Верхнеяицкой линии привел.

— Добро, добро! Покличь сюда полковника Шигаева,— оживился Пугачев и подошел к окошку, но на улице уже сгустились сумерки, валил хлопьями мокрый снег, и ничего там пельзя было разглядеть.

Вошел Шигаев, а с ним молодой казак Тимофей Чернов.

Шигаев покрестился на старинную икону, мазнул концами пальцев по навеве расчесанной бороде и, отдав поклон застолье, сказал: — Здорово, батюшка, ваше величество! Здорово, атаманы!.. Хлеб да соль!

— Милости просим, будь гостем! — и Пугачев дал знак рукой Ермилке.— Раздеть полковника!

Чубастый Ермилка и вошедшая с киселем из обленихи рослая Ненила разом пасели на докашливавшего Шигаева. Он был в дорожном, поверх чекменя, архалук из верблюжьины. Архалук за дальнюю дорогу насквозь промок, сильно оселся, и не было возможности стащить его с длинных выпянутых рук Шигаева.

— Ну, прямо как припаялись рукав-те! — надсадно пыхтела Ненила.

— Потряхивай, потряхивай! — хрипел и каплял промокший полковник.— Ой, легче! Руку вывернешь.

Ненила с Ермилкой работали, как два грабителя при большой дороге: архалук трещал по швам, полковник от дюжей встряски мотался во все стороны, как кот в мешке. Но, слава богу, все обошлось не надо лучше: архалук уже висел на гвозде, а двое помогавших, и особенно сам Шигаев, дышали во всю грудь, будто приморившиеся юны.

— Ирсядь покамест, полковничек, отдохни.

Ну, а ты, молодец, с чем пожаловал?— обратился Пугачев к молодому казаку Чернову, смиренно стоявшему, каблуки в каблуки, подобно каменному изваянию.

Вид казака Чернова самый воинственный: мужественное, открытое лицо, большие рыжие усы, начисто бритый подбородок.

— Осмелюсь доложить, мы Сорочинскую крепость взяли,— гаркнул казак, при каждом слове вздергивая головой и крепко взмигивая, как от сильного света.

— Кто это—мы?—прикрыв правый глаз, уставился Пугачев на молодца.

— А мы—это я вкупе с четырьмя яничими казаками.

— Не может тому статья, молодец, чтобы впятером этакую крепость взять!

— Истинно, не вру, ваше величество!

— Что же, один поп, что лц, крепость-то защищал? Чего-то не пойму я.

— Нет, поп не защищал крепости,— ответил казак,—поп Кирилла сам первый присягу учинил вашему величеству.

— Ну, стало, один комендант защищал? Ась?

— И комендант не защищал. Он даже перепугался и вышел навстречь нас с хлебом-солью... И вот, конечно, было дело так. Сорочинская, конечно, в ста в семидесяти верстах отсюда. Вот мы и подкатили к крепости-та—я с четырьмя казаками яничими да сто двадцать калмыков конных...

— Ха!—ударил себя по коленкам Пугачев и вместе с креслом повернулся к казаку.—Экой ты пуганик, казак... Стало, вас четверо было на присягу-то, а сто двадцать пять конщиков...

— Сто двадцать пять, сто двадцать пять,—потряхивая рыжим чубом и все также крепко взмигивая, охотно подтвердил казак Чернов.—Как есть—сто двадцать пять... А где ж тут пятерым!.. Нешто пятерым с этакой крепостицей совладать.

— Так чего ж ты околесичу-то гнешь,—сказал, улыбаясь, Пугачев. А молодец вытаращил на него испуганные глаза и стал чешать затылок.

— Оробел, что ли?

— Это когда оробел?

— Ну вот сейчас-то?

— Ни хрена не оробел, я вправду молю. —Обескураженный вопросом государя, казак повесил голову, глядел себе под ноги, смущенно шерхал в горсть.

— Ну, а чего ж ты привез отсюда, какие трехвехи, с чем, мол, приехал-то?

— Я привез с собой, конечно, две пушки, — сразу оживился казак,— две пушки важняцкие, обе орленые, из меди литые, да

тридцать пять бочек пороху, да два ящика ядер, да всю денежную казну на пяти лаводах, конечно...

Все весело засмеялся, а казака от душной патуги бросило в испарину.

— Экой ты, экой ты!..—радостно повракивал Пугачев, паливая вина в стакан.—С этого бы и пачал, с трехвеев-то, с военных добычи-то. А то как заладил: впятером и впятером... Молодец ты, видать, ухватистый, а путем балакать не можешь. Па-ка, выпей! Нешли, воднеси молодцу на блюде. Пей, счастие Чернов!

— Я рядовой, ваше величество.

— Огненные будь сотником. Жалую тебя за старание за твое, что честь и славу воинства моего приумножил. Подойди к руке...

Падуров с Овчинниковым суетливо показывали жестами повому сотнику, что надо делать, но он не понимал. Тогда Нешла что-то шепнула ему, он шагнул к Пугачеву, поклонился ему в землю и, стоя на коленях, целовал его руку.

— Спасибочко, царь-государь, от всей конечно, казацкой души, от крови-сердца. Уж не погневайся!

— Встань, сонник. Ну, пей во здравие. Да погоди-ка...—Пугачев прошел в спальню, побрякал там ключами, вышел, пода сотнику золотой.—Па, сотник. Старайся,—и, обратясь к Овчинникову:—А ты, атаман, распорядись одеть-обуть сотника поприглядистой. А пятерым казакам и калмыкам что Сорочинскую брали, выдать по четвертаку и выкатить малый боченок водки, пущай погуляют. А теперь, сотник, сказывай, как было дело.

— Было дело так,—начал Тимофей Чернов.—Я, конечно дело, въехал один в толпу жителей, стал объявлять им, что сам царь-государь идет в крепость. Прямо скажу—врать стал. Опосля того и поехал я по городу, махая коньем, само-громко орал, чтобы все людишки выбегали за город со святыми иконами и чтобы во все колокола били. А кто, мол, встречать не пойдет, тех велено мне колоть даже до смерти.

Слушая рыжеусого воинственного казака, все приятно улыбались. Казак после стакана водки пришел в себя и говорил складно. Пугачев покручивал бороду и поощрительно подмигивал ему; казак, действительно, докладывал сущую правду. Он рассказал, как живший в крепости отставной сержант Бабаев всех уверял, что был в стане батюшки, самлично видел его, и что батюшка и по лицу и по росту вылитый государь Петр Третий. Сержанту поверил даже сам комендант, который было приготовился к обороне, а потом

спулся и велел снять с крепости все пушки. На другой день толпа калмыков и пятеро казаков с белым знаменем стала подходить к Сорочинску. Народ высыпал из города с хоругвями, с иконами, с попом Кириллом. А впереди всех — сам комендант с хлебом-солью.

— Тут я спрыгнул с коня, приложился, конешно дело, ко кресту и велел всем идти в церковь. Там приказал пону служить молебн за твоё здоровье, батюшка, и всему народу присягу учинить. Оносыя того шарод разбил, конешно дело, все кабаки. И содеялось от радости не приведи бог какое пьянство. Гулеванили двое суток. Оносыя того мы забрали добычу и честь-лю-чести вышли из крепости. Оной крепостью мы и кланяемся твоему царскому высокоблагородию.

— Величеству,— поправил Падуров.

— Тыфу, оговорился... Прости, пожалуй...

— Вот, господа полковники,— приосанившись, сказал Пугачев,— как видите, крепости сдаются не токмо мне, а даже императорскому имени моему... А ты, сотник, бери пару барабных биточков в кармап — и айда на улицу, там пожухешь. Мы же выйдем к вам — смотр чищидь!

Пугачев сунул жареное мясо в угребистую прсть сотника. Тот, приняв, пошел на цыпочках к выходу.

Затем делал доклад Шигаев, по Пугачев слушал его плохо.

— Теперь,— восклицал он, прерывая Шигаева,— припасов у нас хватит, господа полковники, чтоб Рейнсдорпа как след быть пугнуть. Молодчина сотник Черпов! Всего привез. Однако довольно талалакать, пошли! Домовитая Ненила, оставшись одна, стала гасить лишние свечи, брюзжала:

— И клесель не дожрали. Сколько сахару ззря истряела.

Любопытства ради она подошла к окну и, подняв волоковую раму, высунула голову на улицу. Липкий снег валял. Три ярких костра пылали. Невдалеке чернела страшная виселица.

Овчинников подав команду, и две сотни приведенных им казаков с калмыками мгом вскочили в седла. У крыльца виднелись на лафетах две новых доставленных Черновым пушки, а слева, возле коновязей, весь облепленный снежными хлопьями, серел большой обоз с трофеями.

И как только показался на высоком крыльце Пугачев, казаки и калмыки во всю плотку заорали:

— Ура!.. Алла!.. Ура!.. Батке осударю!.. Яшки, яшки!.. Здоров будь!.. Ура, алла!.. — полетели вверх шапки, малахан, заблестели в

сильных руках сабли, замаячили пикн. Даже стамя костров как бы приподнялось на цыпочки и вытянулось, чтобы ярким светом озарить вождя.

У Ненилы от приятного волнения захватило дух. Глядя сквозь умилыные слезы на мужицкого царя, на то, как народ приветствует его, она скривила рот и всхлипнула.

— Детушки! — взмахнув рукой, начал Пугачев громким голосом.

Глава пятнадцатая

В густом тумане. Старец праведный Мартын. Мученики. Хлопуша вмиг озверел. Ванька Каин

1

Ию грязнейшим осенним, вдрызг разбитым дорогам, между Санкт-Петербургом и полосою мужичьего восстания, один за другим, взад и вперед, спешили курьеры.

Пересекая поперек Европейскую Россию, они безостановочно везли в столицу секретные пакеты от губернаторов казанского, оренбургского, астраханского, сибирского с известными о разгоревшемся мятеже. Эти пакеты адресовались в Военную коллегию, в собственные руки графу Захару Чернышеву. Ради соблюдения тайны курьеры держались в Петербурге под строжайшим надзором вплоть до обратного их выезда в Казань, Оренбург, Тобольск, Астрахань с повелениями, указами и манифестами.

Сведения, кои поступали в столицу с мест восстания, слишком замаздывали против фактов, и правящий Петербург, не знавший всей правды об успехах Пугачева, продолжал относиться к знаменательным событиям на Яике все еще пренебрежительно и высокомерно.

Так как война с Турцией все еще продолжалась, то естественно, что правительство опасалось обнаружить пред Европой свою слабость во внутренней политике и хотело покончить с восстанием одним ударом. Но для этого удобный момент был уже упущен: ни Симонов, ни губернатор Рейнсдорп не сумели пресечь мятеж в самом его начале.

И как ни старалось правительство все сведения о Пугачеве держать в глубокой тайне от иностранных при русской короне дипломатов, это ему не удавалось. Так, английский поверенный в делах Оакс Рихард сообщал лорду Уильямсу Фрезеру, что «хотя двор смуту на востоке России хранит в большом секрете, но повсюду известно, что один ловкий казак, воспользовавшись казацким не-

уловительным в Оренбургском крае, выдал себя за Петра Третьего и что число приверженцев его так велико, что произвело опасное восстание в этих губерниях. И вести оттуда все более и более неблагоприятны».

Для ипечения пугачевскому движению сокрушительного удара, Военная коллегия, как уже было сказано, послала на место действия генерал-майора Кара и нетерпеливо ожидала от него благоприятных известий.

Но Кар двигался по плохим дорогам с крайним промедлением и лишь 20 октября достиг Москвы.

А вот посланный Пугачевым в Авзяно-Петровский завод простой человек Хлопуша, не в пример генералу, весьма торопился с честью исполнить данное ему государем поручение.

Весь душевный склад Хлопуши, все его мысли перестроились теперь на новый лад. Ему стало совершенно безразлично, кто этот чернобородый детина: бродяга ли Пугачев он, как его называет губернатор, или впрямь Петр Третий, мужицкий царь, давным давно оживаемый пародом. Кто бы то он ни был, по Хлопуша по-настоящему почувствовал, что назвавшийся государем человек стоит за правду, воюет против правительства, нищет народу добра, и Хлопуша положил в своем сердце честно служить ему до последнего вздоха. А раз все принимают чернобородого детину за царя, то и Хлопуша готов на этом утвердиться.

Хлопуша с пятью казаками и работным человеком, пришедшим к Пугачеву с Авзяно-Петровского завода, Дмитрием Ивановым, правились забеленной снегами степью.

Пряча от людей свое обезображенное лицо, Хлопуша был в сетке из конского волоса. Черная сетка, обхватывая борты шапки-сбирки, спускалась до подбородка. Такие сетки носят в таежных местах, спасаясь от укусов летучего гнуса.

На первом же привале Хлопуше довелось сетку снять, — она мешала принимать пищу, — и повязать поврежденный нос тряпичей. Он сказал у костра своим спутникам:

— Вель я сам не кто-нибудь, а работный человек, по паспорту — Соколов, а прозвище имею Хлопуша¹ за свой, значит, долгий рост. Я работывал в разных местах, и по Сибири хаживал. За многие побегу блии меля кнутыями, а последний раз приговорили к вырезанию ноздрей. Ноздри-то вель режут острым ножом, лишь бы шельмовской знак сделать на человеке, а я палачу согрубил,

«катом» обозвал его да обволочил, так е подлая душа, кленгами полноса вырвал мн всех хрящей решил.

Казаки соболезнующе причмокивали и качали головами, а заводский крестьянин Дмитрий Иванов сказал:

— Они, дьяволы, и палачи и начальство, нашего брата не больно-то жалуют. Я са весь избит да истегащ. И в леву погу челей стрелян.

— Трудно на заводах-то, дядя Митяй? — спросил молодой казак, развешивая у костра ошучи.

— У-у-у, боже ж ты мой... Да не в пример хуже каторги. Педаром же сотнями пародишко в бега бежит. И я три раза бегывал. Где пито в избушке лесной укрытие имешь, либо землянку выкопаешь. Летом-то еще ничего, а вот как снег ляжет, пашербрата-беглена ловить учнут, по снегу-то сподручней: и следы видать п дымок яственной обозначается. И посылают тогда ловить бегленов разыскные команды из старых казаков да полицейских.

Была вечерняя пора. Накатывался густой туман. Становилось сыро, холодно. Все семеро сидели на дне глубокой, поросшей кустами и глухим чапыжником балке. Для сугреву, для веселости то и дело подживляли костер. В котелках у огня црело барацье хлебово с крупой. Дядя Митяй, шурясь от дыма, спелас пепу с похлебкн деревянной ложкой.

Митяй широк в плечах, но не высок и сухопар, щеки впалые, глаза большие, строгие, как на старинных иконах, а борода рыжеватая, с сильной проседью. Весь какой-то постный, болезненный, он больше походил на заправского бродягу, нежели на заводском рабочем. И лишь большие крепкие кисти рук, изобличали в нем физическую силу.

— А и староват ты, дядя Митяй, — сказал кривой казак Дылдья. — Поди, годков десятков с шесть наберется.

— То-то, милый мой, что нет. И сорока петути, а обличьем вишь какой! Завоцкая жизнь меня изжевала этак-то, всего исчахкала. Да мы, заводские, почитай, все скрозь хворые. У кого ноги всю жизнь гудут от мокрян, у кого кашель несуетный, чахотка лютая да трясавица, а другой в молодых легах слепнет при домпшах от полыма да от аловой жарници. Эх, горе, горе!

— Сколько люду на заводе трухится? — спросил Хлопуша. Он сидел на войлочном потнике по-татарски, поглядывал то в озачеченное лицо Митяя, то на золотые огоньки костра.

Дмитрий Иванов — он же дядя Митяй —

¹ Хлопушей зовется высокий деревянный пест, которым толкут рудную породу.

ответил, что Авзян был основан ровно двадцать лет тому назад графом Шуваловым, затем куплен Евдокимом Демидовым, а всего рабочих людей по заводу значится до пяти тысяч человек.

— Многолюдство великое,— прогнусил Хлопуша.— А вдруг да не примут нас, сожгут альбо в домницы пошвыряют.

— Уж ты об этом, дружок, не пекись,— сказал дядя Митяй. Он снял лаптишки, стал переобуваться в сухие онучи.— Меня заводские изрядно знают, не сомневайся. Давель и мужиков-то на заводе таперича самая малость: кто лес валит да угли в куренях жжет, кто в шахтах руду копает, а на заводе-то дай бог, чтоб сот с пяток народу было.

Туман час от часу становился гуще. Вот скрылись в тумане лошади, хрупавшие вблизи костра овес, пропали итлстые очертания оголенного кустарника, замутнел и стал камен-то прозрачным живой огонь в костре, а три казака, сидевших по ту сторону огня, потеряв облик человеческий, превратились в расплывчатых чудовищ. Белый туман поглощал все пространство. Стало, как в бане, вгустую насыщенную морозным паром. Одежда у путников проволгла, к лицам, к обнаженным частям тела липла какая-то влажная паутина, она заползала под рубаху, заставляла сжиться и вздрагивать от пронизывающей холодной сырости. С сучков кустарника принялась показываться, как редкий дождь, оседавшая влага.

Путники порядочно продрогли, стали укладываться спать. Хлопуша и дядя Митяй улеглись бок о бок — седла в головы — на двух сотовниках, и прикрылись овчинным тулупом. Оба пошевеливали так, что трепали скулы, но спать не хотелось. Дядя Митяй, почесываясь и похивая, неторопливо рассказывал душевным невучим голосом, рошая слова в туман:

— Родители-то мои, чуешь, пришлые извод Базани крестьяне, насильно их пригнали на завод. Вскорости они от горя да с непривыку умерли. А мой братейник, парень по девятнадцатому году, у домницы работал. Как-то выпустили из домницы жидкоогненный чугуун, он и потек по канавкам, жарыща сделалась, как в пекле. А братейник-то мой, Пашка-то, чуешь, побежал прочь, да возьми и запишись печально, да и брякпись, бедная головушка, поперек жидкоогненной канавки... Брюхом упал-то... Так вернись ли — крикнуть не успел, как его напополам пережгло. Как схватили его за руки да за ноги, так надвое и раздернули...

— Неужто напополам?

— Как перерубило! Одним пыхом...

— Страдалец...

— Страдалец-то не оп, а мы страдальцы-то, кои вживе остались,— сказал в туман дядя Митяй.— Заводская жизнь самая страшительная, гаже ее нет. Возле домницы самый крепкий человек больше шести лет не выдюжит, калекой становится. Вот чрез это самое-то и ударяются трудники в побег. И я не одиножды бегивал. И вот слушай, мил человек... Лет шесть тому натакался я в лесу на праведного человека, на дедушку Мартына, отшельника. Он тоже давным-давно утек с завода и поселился в самой лесной трущобе, в уреме... И сила господня долго спасала его от разыкных команд.

— Ишь ты!.. Ну-ну, сказывай.

— Он сам себе избушку березовую срубил да опустил ее в землю. Крыша вровень с землей сделалась, а поверх крыши — мох, чапыжник, деревыща растут,— в двух шагах возле жительство пройдешь и не заметишь. Во как, милецкой... Избушка мерою до пяти аршин, лаз в нее тайный, и потайное оконце в поларшина вырублено на восток. А земля на полу покрыта хвоей пасеченной: лежать мягко, и дух от хвои смолистый, добрый дух от нее. А в уголке маленький чувал из дикого камня сложен для сугрева. Под потолком иконка старозаветная, пред ней самодельная свечечка горит,— старец сам делал свечи-то, он разыскал в уреме на деревьях четыре диких бортовых улья; ну-к у него в медок, и воск был... И была у него святая рукоишная кнжишка «Ефрем Сирий», он мне ее вгул читал... Бывало, плакали мы оба от умиления.— Дядя Митяй вздохнул и почмыкал носом.

Хлопуша слушал внимательно. Когда его сосед замолк, он толкнул его в ногу пяткой:

— Заснул, чего ли? Сказывай. Я уважаю слушать.

— Нет, я не сплю, не сплю. А так... Думки разные одолевают про правду да про неправду... Вот я и толкую... Добро жить в пустыне, добро о душе своей пекчись. Как вспомнишь, вспомнишь жизнь людскую, жизнь пропащую, так кровь в жилах и застынет,— голос дяди Митяя стал еще душевней, еще трогательней, очевидно сровни воспоминаниями он был по-настоящему взволнован.— Да, да... Такие страдания людам, такие печали да болезни. Пошто они на мир богом посланы. Пошто одни живут в тепле да в радости, а другие весь свой век маяться должны, в молодых годах стариками становиться.

— Ау,— вздохнул и Хлопуша.— Ау, брат... Маятся весь народ, все люди страждут, а в веселости свой век живут только господышки

да кулачки, да еще разве архиереи с богатыми городскими протопопами. Я-то знаю. Я-то, бражок, все знаю. Я и архиерейскую жизнь знаю всю до подошвы, я сам у тверского архиерея в услуженье был.

— Оо-о! Ишь ты!.. Бывалый ты человек.

— Ну, а как же отшельник-то, Мартын-то твой, — помолчав, спросил Хлопуша. — Как жили-то, чем штались-то вы.

— А питались больше всухоядь: то грибами, то ягодами. Ну, правда, что приносил нам из деревни какой-то дед то хлеба, то молочка когда. Приносил он тайно. Помолчусь с нами, поплачет о грехах и уйдет домой в радости. От молитвы да от покаянных слез всякая душа людская в радость приходит. Да и сам я в радости у старца жил. Душа играла, как солнышко о паске... А вот как сгребастали меня да выдрали до адушемерти, да на руки, на ноги кандалы наложили, опять заскучал я. В Сибирь на вечное поселение просился, не пустили. Ой, многие, многие просятся в каторгу, чтоб от немилей заводской жизни уйти, да не пускают. Вот горе!..

— А вот ужю мы на заводах старые-то распорядки переломим, — убежденно проговорил Хлопуша. — Царь приказал всему работному люду облегченью сотворить, людские слезы вытереть.

— Дай то бог! — вздохнул дядя Митяй.

— Добро бы к старцу-то твоему зайти да некалякать с ним, — сказал Хлопуша и почему-то застыдил своих слез. — Хоша, правду молвить, не шибко-то я люблю святых людей: бездельники да мустобрехи... Ну, только и промеж них попадаются великие трудники, людскому миру шаставники. Я знавал таких.

— Умер старец праведный Мартын, умер, — уныло, со вздыханием молвил дядя Митяй и перекрестился. — Как учинил я побег в последний раз, недель с шесть тому, по боле, опять к старцу своему подався. Вошел я в келью, в коей пять годов не бывывал, гляжу — на сухой хвое кости человеческие в правильном порядочке лежат, руки сложенные, череп в правую сторону откатился. А тела уж и следа нетути, истдело. На пожных костях запотки, на плечах да на руках армячишко натянута тленый. И книжица «Ефрем Сирий», открытая, на груди... Ой и тяжело мне стало... Я пал ему на грудь да и завыл в голос... А вскорости я и сыжкан был. Вот привели меня в заводскую тюрьму, приговорили к двум тысячам пашкуртов этих самых, — стало быть, к смерти приговорили меня за мои многократные побег.

Дядя Митяй почывал носом, повздыхал и

вновь заговорил, уже окрепшим, бодрым и лосом:

— А тут, гляжу, явился ко мне в тюрьму середь ночи трое парней. Я думал — агелы небесные. Нет, наши парни — Вань, Степка да Тереха, что у кричных молот работают. Вот они явились да и говорят мне «Мы сей мигнут, дядя Митяй, с тебя кандалы сорвем, мы караульных солдат волею опояли. И беря, ты, — говорят мне парни, лошадь стоговлемную, возле зимника в бачуге стоит, и беги пемедля к Оренбургу-то роду, там царь объявился, и толкуй батюшке, пуцай он к нам силу шлет. А мы еху свету белому, служить согласны по вся дню. Ну, я и поскакал к батюшке. А достальное миленькой мой, ты знаешь... И я так полагал своим умником немудрым, что этака дело благодатное приключилось не инак как а по молитвам Мартына старца праведно! Да ты слушаешь, ай спишь?»

Хлопуша тихоенько хрюпел и взмывлял

2

На другой день — и совершенно неожиданно — пристали к Хлопуше в степи четыре десятка конных башкирцев, готовых служить повоявленному государю. Башкирский старшина сказал:

— В нашу землю пресветлый царь указ прислал. Вот мы и поднялись.

Спустил сутки взбодрившийся отряд вступил в дремучие уральские леса. Митяй вел людей по узкой лесной дороге, по которой возницы доставляют на завод в огромных коробах древесный уголь. Стало наносить дымком. Митяй, приплюхиваясь, сказал:

— Скоро до куреня досдем.

Действительно, в глубине леса, справа от дороги, показались сквозь чащу густые клубы дыма. Отряд любопытства ради свернул туда.

Просторная поляна сплошь завалена огромными бурунами бревен и саженных поленьев. Эти лесные богатства были заготовлены еще прошлой зимой и подвезены сюда для переработки в уголь. А уголь необходим для выплавки чугуна и выделки железа и стали. На поляне высился объемистый, в виде усеченной пирамиды, холм. От плоской маковки до основания холма склопы его были засыпаны землей и перекрыты дерном. Из вершины холма, как из печки, валит густой и черный смолистый дым. Возле дымящегося холма копошились чернолицые, чернорукые, как трубочисты, люди, среди них бабы и подростки. Это — углежогги. Они насквозь прокоптели, — казалось, им в жизнь

не отмыть прокопченных лиц и тел, у них воспаленные, гноящиеся глаза и жестокий кашель, они сплевывают «чернядью». В их руках длинные обуглившися кольца, железные шесты, лопаты.

Углежюги, старые и молодые, с недоумением и любопытством поклонились подбегавшим незнакомым людям. Больше всего их удивил вид сидевшего на рослом пеньке деребце огромного детины в черной сетке, из-под которой торчала рыжая с проседью борода.

— Братцы! — прокричал с коня дядя Митяй, кивнув головой на Хлопушу. — Вот этот человек послан в Авзян пресветлым государем добрую жизнь нашим труднякам устраивать.

Углежюги, окружившие всадников, сдержали шапки, усердно перекрестились и заговорили:

— Рады служить надежде-государю. Видно, и на нас оглянулся истинный господь — царь ярослав... О! братцы, глянь... Да это никак, наш Митрий Иванов... Здорово, Митрий!

— Здорово, мужики! — ответил Митяй. — Все сколько здесь? Выберите-ка полста людей да айда с нами в Авзян. Топоры есть?

— Есть, есть. Оруженья хватит. Да мы же пойдем, все до единого.

— Всем нельзя, мярянушки, — зычным, гусавым голосом прервал Хлопуша поднявшийся было галдеж. — Всем работу бросать не годится, — царь-государь приказал скорей в пушки да ядра лить.

Тем временем дядя Митяй стал объяснять казакам, как уголь жгут.

— Вот видите, молодчики, сажечное полено укладывают в большие кучи, и кладут их то встоек, то вложку, то встоек, то вложку. Через это получается «костер». Его обсыпают со всех сторон хворостом, обсыпают землей, а сверху всего дерном обкладывают. На маковке костра дыру оставляют, в ее боку дыру, чтобы, значит, тяга заветра жила. Как с боку поюлгут, огонь-то и заберется в серединку, да шибко-то не горит ни, а только мало-мало тлеет, и поэтому всякому поленья в костре не горят, а чахнут, без что уголь образуется... Ну тут уж истер не зевай, а доглядывай, чтобы куча селала ровню, чтобы огонь где нитю ход не погрыз себе...

— А долго ль уголь в кучах чахнет?

— Да недели две, а то и больше, — с готовностью ответил Митяй, подметив, что его слушают внимательно.

От «костра» валил дым, копоть, смрад, шло глаза, захватывало дыхание. Казаки

стали чихать и кашлять, из глаз катились слезы; казачьи лошади фыркали, мотали головами, пятлились прочь. Углежюгам же волей-неволей день и ночь, на протяжении всей долгой зимы, неотступно приходилось работать у кострища, подкидывать землю в тех местах, где начинал пробиваться огонь, ходить по этому огнелюбному кургану, зачастую проваливаясь внутрь его и гибнуть лютой смертью.

— А другой-то курень далеко? — спросил дядя Митяй собравшихся в поход углежюгов.

— А эвот-эвот, не будет и версты, — загалдели углежюги.

Вдруг как раз в той стороне, где соседний курень, раздался цепственный рев и крики.

— Ой, беда стряслась, — прислушиваясь к нараставшему гулу голосов, засуетились конные и пешие. И все бросились туда напрямки, через лес.

Поляна. Такой же огромный, перекрытый землей и дерном «кострище». Из черного склона буйное пламя пышет, с другого бока и с вершины густейший дым валит. А возле кострища орут, бестолково копошатся перекутаные люди, суют в пламенную пасть обуглившися жерди, кричат: «Хватай! Хватай!» Смелчаки карабкаются по откосу, пытаются подобраться к огненному провалу. «Снегу, снегу давай! Таскай воды!» Но снегу еще мало, воды один ушат, а до речки три версты.

— Что стряслось? — откинув с лица сетку закричал с коня подсакававший Хлопуша.

Народ наперезбой загалдел:

— Двое провалились, отец да сын... Петриковы. С под Тамбова приписаны они, дальние...

— Братцы! — скомандовал своим Хлопуша. — Рой к чертовой матери всю печку, спасай людей!

— Что ты, что ты, начальник? — прихлынув к Хлопуше, завонили углежюги. — Разроешь — все уголье спортишь, да нам с копторой-то и не расчестся... Загнием в кабале, демидовские приказчики сожрут нас.

— Завод этот ныне не Демидова, а царский завод. Царь все простит! — бросал с седла Хлопуша.

— Не ври! — крикливо возражали ему. — Давно ли оп царским-то стал. Окстись! Демидова это завод, вот чей. Мы не дадим рушить. Ребята, топн ору! Дуй кольями!

— Стой, дураки! — закричал Хлопуша. — Ведь там люди погибают.

— Паплевать!

Пока шла словесная перепалка, расторопные казаки с балкирцами, руководимые Ми-

тяем, выхватили из полымя крючьями обуглившийся труп старика, а из другого дымящегося провалища извлекли задохшегося молодого парня.

— Марья, очнись! Очнись, Марья! — отваливались с неподвижно лежавшей на земле ничком женщиной — женой старика и матерью парня. — Заплашь, сердешная... Бабы, пособляйте, — маленькие, чего ли, вы?.. Трите сном хорошенько загривок-то... Ах ты, господи!..

Над парнем тоже возились до усталости, пытались вернуть его к жизни. После напрасных стараний отступились. Положили трупы вместе, сдернули шапки со своих голов, с минуту стояли молча в тупой окаменелости, затем пстово закрестились, завздыхали.

И вдруг резким визгом огласился темный, угрюмый лес: поддерживаемая бабами и еле переставляя ноги, двинулась к покойникам очнувшаяся женщина. С залитым слезами искаженным и почерневшим лицом, она заламывала руки, вся корчилась, жутко вопила. От ее пронзительного рыдания и визга весь народ содрогался, ежился и холодел. Вот женщина кой-как подтащилась к родным мертвецам, еще так недавно полным жизни, и, взревев печеловеческим голосом, — как будто все у нее внутри оборвалось, — она рухнула на их изувеченные трупы и слова лишилась сознания.

3

Толпа Хлопуши выросла до сотни человек. Подвигаясь ходко, углежогн ехали за толпой на шести подводах, примостившись в угольных коробах. Был вечер. Проблеснули звезды. Дядя Митяй сказал:

— Слышь, Хлопуша?.. Ты, может статья с отрядом-то на ночевку где ни то расположишься, ну а я на завод стану поспешать, упредить надобно.

Он попрощался, стегнул коня и пропал за поворотом извилистой дороги.

Вскоре отряд заметил, что вправо от дороги, в лесной глуши, горели три костра. А на самой опушке, прячась за старую сосну, тайно высматривал проходивших людей одетый в полувоенную форму рослый человек.

Хлопуша первый заметил притаившегося солдата и крикнул ему:

— Чего шары-то выкатил. Эй ты, вылазь!

— А вы что за люди? — окрикнул солдат и, взяв ружье наизготовку, вылез из-за дерева. Но, увидав большую толпу вооруженных всадников, быстро скрылся в чащобе.

— А-а-а! — удивленно протянул высокий

углежог-старик, присмотревшись с коня к тускло светившимся кострам вдаль. — Да ведь это беглые, у опнища-т. Глянь, сколько и сердешных, наловили-та...

— Айда! — не дошло думая скомадова Хлопуша, он взмахнул плетью и двинулся к кострам. — Окружай, братцы!

За ним густо бросились казаки и башкирцы. От костров трохнули два выстрела. Задетый пулей башкирец ушел с жоя.

Хлопуша вмиг озверел, заскрежетал зубами. У него не было ни ружья, ни пика, он выхватил из-за пояса грузный безмен с чугунным граненым шаром на конце, и стукнув через костер к стрелявшему, вдрызг разбил ему безменом голову.

— Сдаемся, сдаемся!.. — видя направленные на них пшки, взголосили полицейские солдаты, заводские стражники и сыщики. Их было человек двадцать. Шершавые стреложенные лошадепки их топтались возле.

Хлопуша дрожал, в его груди хрипел. Он сорвал густую хвою кедра и вытер ей окровавленный безмен.

Полсотни беглецов, молодых и старых, связанных по десятку общими арканами, еше ничего не понимали в происшедшем, но, уж чувствуя свое спасение, стали земно кланяться пабептому отряду:

— Ой, кормяльцы... Хлеба, хлеба. Вторые сужки ни синь-пороха во рту. — Испитые, бессильные, посиневшие, одетые в последнюю рвань, они были жалки видом.

— Государь Петр Федорыч дал приказ быть вам вольными, — перехваченным и волнения голосом сказал беглецам Хлопуша и, потрясая безменом, воскликнул: — А супротивникам царским — смерть! А ну, солдаты, развяжите их.

Стало тихо. Смущенные полицейские солдаты и стражники, недоуменно поглядывая на своего капрала, мялись.

Старый капрал, с длинной седой косой, рыжем нагольном полушубке и в валенках бросая на Хлопушу злобные взгляды, протворил сильным басом:

— Нам неведомо, что вы за люди и кто такой царь Петр Федорыч. Мы состоим на издвигении дворянина Демидова, а присягали государыне Екатерине.

— А ну, приготовьте-ка петлю! — сказал Хлопуша.

— Вздерни, вздерни его, батюшка!.. Собака он! — зашумели голоса.

— Вешать меня не за что, — перебил их капрал, невозмутимо потянулся за угольями к костру и закурил трубку. Он был угрюм и суров видом. — Я свою службу сполняю и приказу. Нашей сыскной команде велел

углецов ловить, — ну, значит, не рыбайся. лови... А ты, вояка с безменом, ежели ты есть какой начальник, разжуй нам, что к чему. А то налетели с ветру, солдата вот ухлопали ни за што, ни про што. Да вы, может, разбойники, может, завод зорить едете! Откуль нам знать?

Доводы капрала показались Хлопуше правильными. Поборов в себе неприязненное чувство к суровому служаке, он стал рассказывать людям, по какому делу послал его государь на Авзянский завод, и что самая главная думка у государя — сделать свой завод вольным да во счастию.

Толпа приняла эту весть радостно. «Дай то бог, дай то бог», — взволнованно кричали углежог с беглецами и крестились.

Капрал, хмурия седые брови и все еще по лому косясь на Хлопушу, сказал:

— Ежели ты правду молвил, мы, пожалуй, новому государю служить не отрекаемся, — и велел стражникам развязать углежогов.

Хлопуша поверил словам капрала и своей приказ о казни отменил. Разожгли еще ряд костров. Башкирцы, крикливо переговариваясь, варили в котлах махан. Ужжи поспел скоро. Все плотно подкрепились. Беглецы набросились на еду с жадностью.

Стало довольно темно. До завода оставалось около тридцати верст торной дороги. Хлопуша торопился, он отдал приказ выступать в поход. Припятились суетливо собирать. Угрюмого капрала не оказалось в толпе. Никто не приметил, как он под шумок исчез.

— Эх, жаль, дужо жаль, что не вздернул я его, — сердито замотался в седле Хлопуша. Он велел всех людей сыскной команды напshawать на один аркан и отдал их под прищмотр башкирцев.

Двигались ходью. Немощные беглецы ехали по-двое, по-трое на полицейских конях или в коробах, вместе с углежогами. Путники надрали бересты, сделали смолистые факелы, зажгли их. Тьма, вспугнутая возникшим светом, закачалась заструилась, как шпроков полотнище темной рыхлой кисеи. Десятки факелов плевались во тьму ярким огнем и клубящимся красноватым дымом. Весь лес сразу преобразился, ожил, наполнился сказочной нежностью. Деревья, казалось, перебегали с места на место, подпрыгивали, замахивались на путников мохнатыми лапами. Обгорелые пни и поваленные бурей вековые стволы с вихлястыми сучьями напоминали таежных чудовищ. А факелов зажигалось все больше да больше. Ехать было нескушно.

Свет играл, колыбался, свет вступил в

единборство с тьмой. Зрелище было живописное. Верховонная ватага башкирцев в своих цветистых халатах, в остроконечных шапках, с луками, колчанами, кривыми ножами, с длинными пиками, украшенными конскими хвостами; впереди — рослый бородатый всадник в свисавшей на глаза сетке, вереница связанных общим арканом плененных полицейских, а сзади — большая толпа черномазых углежогов. Вся эта необычайная картина, вырванная из мрака озорными огнями факелов, напоминала собою орду древних воинственных печенегов, возвращавшихся с добычей в свои кочевья.

Народ устал, двигался молча; башкирцы и казаки дремали, покачиваясь в седлах.

Хлопуша въехал в толпу беглецов, завел с ними беседу. Жалясь на свое житье-бытье, они говорили ему:

— От великого мучения на заводских работах уже затылок переломился, исхудали мы, обнищали все вконец.

— Ободрались мы все, обносились, из дрявых шортков срам прет.

Хлопуша узнал, что заводские люди больше всего терпят от управителя да приказчиков: обмеры, обчеты, дороговизна продуктов в заводских лавках. А главное — контора назначает непосильные уроки выработки, в особенности лесорубам, углежогам, кучекладам.

— Ну, а хозяин? — спросил Хлопуша.

— Хозяин редко наезжает. Да и он собака. У него все начальство покуплено — от Катеринобурга до Питера. Пробовали в суд подавать, нас же ж обвиноватят — выдерут да колодки набьют. И опять на завод... Эх ты!...

— Раскачку надо, начальник, зачипать! — выкрикнул курносый, с нешитым лицом ларень. — Ежели ты правду даве молвил, что мужичиный царь-де в народе объявился и за народ заступиться обещал, тогда весь Урал-гора, весь Каменный пояс подымется.

— Нам бунтовать не впервой, — подхватил старик с хохлатыми бровями, — так и так погибать-то!

— Да уж тряхнем! — сказал Хлопуша. — Ну, всеж-таки из работных-то есть, которые сладно живут?

— Да есть малое число. Мастера в добре живут, вот кто... Они, почитай, все раскольники. Им и начальство мирозлит. У них по две да по три коровки, да лошаженки, овцы, свиньи, хозяйство... Они, брат, живут в добре, это верно.

— Может, потому и в добре живут, что стараются да дело свое знают. — проговорил Хлопуша.

— Да уж это как есть,— ответил, крутнув головой, старик с хохлатыми бровями.— Они за работу горазды и смысл есть в башке, это верно. Да ведь и мы-то стараемся со всех сил... А откровенно-то тебе скажешь, начальник, ради кого стараться-то? Для Демидова-то? Да будь он трижды через нитку проклят! Тьфу!

— Дельно сказал,— одобрил старика Хлопуша.— Ради Демидова, худ ли, хорош ли он, жили свои надрывать не для ча. А вот уж ради царя, ради миру слобождения — силушку свою в работе не жалейте...

— Да уж... Господи, чего тут толковать! — бодрые, готовые на подвиг, раздался голоса.— Раз дело мирское начинается, на себя дакось наплевать... Мы в сознании.

— Ну, а вот скажите-ка,— спросил беглецов Хлопуша,— что бы с вами сталося, ежели бы мы не подоспели.

— А что?.. Привели бы нас, перепоролы бы всех до полусмерти, а как оклемались бы мы, всех бы нас в цепи заковали да и снова на работы понали бы.

— В цепях?

— В цепях.

— Ну, а дале бы как?

— Дале? Кон опять думкой о побеге будут жить, кои в разбой пойдут, чтобы на каторгу понасть,— там вольготней, а кои на себя руку согласны будут наложить.

Хлопуша вздохнул. И все вздохнул. Хлопьями стал падать тихий снег, и вся дорога вскоре побелела.

4

Пока дядя Митяй путешествовал из заводской тюрьмы в стан Пугачева, на Авзяно-Петровском заводе произошло жестокое событие.

Все уральские заводы строились по одному образцу: многоводный пруд, запертый плотиною, водоспуски, корпуса мастерских, церковь, контора, казармы, склады и заводский поселок. Весь завод обносился деревянным тыном с крепостными башнями, с бревенчатыми, обитыми железом воротами. В башнях и над воротами устанавливались на страх врагам малого размера пушки.

Большинство жилищ в поселке — малые хибарки, но передки и хозяйственно срубленные избы, даже двухэтажные дома. В поселках жили собственники хибарок, изб, домов — заводские рабочие люди. На старых, Петровских времен, заводах мастерские существовали из поколения в поколение. Их деды и прадеды, бывшие крепостные мужики, были вывезены из разных мест России и на-

вечно закреплены за заводом. Заводские мастерские работали под руководством мастеров при домнах, при водяных молотах, в литейных, прокатных и прочих мастерских. Они являлись первоисточником ядра завода. Их было не так уж много, они составляли всего лишь пятую часть рабочей силы. Остальные же четыре пятых трудились на подсобных предприятиях: рубили лес, жгли из него уголь, копали в разрезах и шахтах руду, занимались в обозах. Эта главная рабочая сила вербовалась из приписанных к заводу крепостных крестьян. Они не теряли связь со своим хозяйством на родине, где оставались их семейства, и время от времени получали возможность в страдную пору отправиться домой для полевых работ, а затем, по истечении положенного срока, снова явиться на завод. Были среди них счастливицы, которым пагать до дому недалеко — порядочно деревень, острожков, сел находилось вблизи завода. А каково-то было тем крестьянам, родные места которых отстояли от завода на триста, на четыреста и более верст, каково-то им было ломать таких два конца, зачастую способом пешехождения.

Весь этот крестьянский люд — углежогы, рудоконы, лесорубы, до трех с половиною тысяч душ — ютились кой-как, по-звериному: либо в грязных холодных казармах; либо за пределами поселка, в лесных землянках, в берлогах, в горных пещерах, — точно так же, как в незапамятные времена жили дикие пещерные насельники каменного века. Горькая, тоскливая, бессолнечная жизнь. А хозяину такое дело — будь то казна, или сиятельный вельможа, или оборотистый купец: мужики живут, не подышают, — значит, не о чем и толковать. А на бунты скорая управа: залпы, залпы, куча убитых и раненых — и слова благоденственное и мирное житие.

Так был убит отец Павла Сидорова, купленный еще прежним владельцем завода графом Шуваловым и перепроданный затем со всем семейством новому хозяину — Демидову.

Осиротевший Павел остался пятилетним мальчиком на руках у матери, а когда вырос, его определили в слесарную мастерскую, и через несколько лет он стал хорошим слесарем. Они жили с матерью в небольшой опрятной избе, имели огород, от которого и шитались.

Павлу исполнилось двенадцать два года. Благонаправный, искусный и горячий в работе, он был на добром счету у начальства. Мать гордилась таким сыном, берегла его лучше глаза, подыскала ему невесту, дочь мастера, у которого Павел состоял в подруч-

них. Мастер был рад породниться с Павлом, он прочил его на свое место. Мастер чувствовал, что собственные силы его на исходе, что все свое здоровье он ухлопал на увлечение капитала графа Шувалова и дворянина Демидова, а себе, кроме мучительной прыжи и чахотки, ничего не нажил.

Итак, в ноябре должна состояться свадьба. Молодежь была счастлива. Павел уже зарабатывал до трех, а иногда и до пяти рублей в месяц, что давало ему с матерью возможность безбедно существовать: пуд муки стоил пятнадцать копеек. Появилась корова, завелась лишние деньжонки.

Павел поехал в Екатеринбург, купил себе две пары штанов — суконные за восемь гривен, другие, из чертовой кожи, за двадцать семь копеек, купил овчинную шубу, кушак, шапку, сапоги, невесте полотна, шаль и на платье шелку, а матери добрые валенки. На все покушки и поездку издержал около семнадцати рублей и вернулся домой довольный и радостный.

На воскресенье было назначено обручение. Варили пиво, брагу. На заводе только и разговоров было, что о предстоящей свадьбе. Но в субботу утром случились мрачнейшие события, поставившие на естественную радость жизни черный крест.

Управитель завода из обруселых немцев, бергмейстер Иван Абрамыч Швабе, прозванный мастерами за его жестокость Ванькой Ганном, в субботу утром послал в слесарную мастерскую своего казачка с приказом, чтоб немедленно пришел в управительский дом Павел Сидоров для починки дверного замка в кабинете.

— Вот что, Сидоров, — встретил его Ванька Каин, рыжий, высокий, худой, бритый, с прямоугольным лицом и сердитыми всегда прищуренными глазами; он был в высоких сапогах и дорожной теплой кацавейке: он только что вернулся из поездки по сужденому делу в Екатеринбург. — Постарайся-ка, брат!

Павел поклонился и начал, а Ванька Каин ушел завтракать в соседнюю комнату. Павел знал о жестоком характере управителя. Пемец за всякую безделицу драл правого и виноватого; драл своих служащих и приказчиков, даже как-то выдрал своего делопроизводителя из отставных офицеров, за что получил выговор от бергколлегии и пятьдесят рублей награды от Демидова.

Павел сделал работу старательно и быстро: чрез каких-нибудь двадцать минут он доложил управителю, что работа готова, тот буркнул: «Ступай!». Павел поклонился и вышел.

Позавтракав и выпив ежевичной пастойки, управитель проверил работу Павла: дверной замок действовал отлично, затем вошел в кабинет и скользнул глазами по зеленому сукну письменного стола.

— Кошелек!.. А где ж кошелек? — с испугом воскликнул он. Я же вот сюда его положил, на стол. Я же твердо это помню. — Он бросился к столу, стал выдвигать ящик за ящиком и рыться в них, бормоча:

— Да нет, я нигде его не прятал, как приехал так и бросил его на стол. Потом пришел Пашка Сидоров, а я сел за завтрак. Да, да, это слесариска! Это он к свадьбе. Больше некому, сюда никто не входил, я видел.

Управитель был известный скряга, он копил деньги, воровал у хозяина, обчитывал рабочих, за гроши или спирт скунал у бродяг и старателей золото. Вот и на этот раз, возвращаясь из Екатеринбурга, он выменял в лесу у двух бродяг на спирт, на хлеб, на две пары яловых сапог больше двух фунтов драгоценного металла.

— Ох и задам же я ему свадьбу. — Он схватил шапку, собачий аранник и стрелой, вприпрыжку, пустился в слесарную мастерскую.

— Сидоров! — злобно закричал он.

Все слесаря бросили работу, уставились на потрясавшего аранником бергмейстера. А Павел Сидоров, опустив руки, боязливо отозвался:

— Чего изволите?

— Кошелек! — заорал, затопал бергмейстер, грозя побледневшему Павлу ослепевшими глазами, искашившимся лицом и собачьим аранником. — Ты кошелек украл с письменного стола? Подай кошелек, подай немедленно, а нет — я тебе шкуру с плеч до пяток спущу.

Застенчивый, тихий Павел сразу оробел, от неслышанной обиды весь затрясся, на серых испуганных глазах выступили слезы, он прыгающим голосом, лоя ртом воздух, захлеб заговорил:

— Что вы, что вы?.. Господин управитель!.. Помилуйте, да мысленное ли это дело.. Чтобы я... да взял ваш кошелек. Я и в горницы-то не смел войти. Что вы?..

— За парнем мы никакого худа не замечали. Парень честный, — раздался в его защиту голоса.

— Молчать! — смаху стегнув по верстаку аранником, взвизгнул Ванька Каин. — Кто никнет, тому плетей не миновать. Значит, отпираться, не признаешься? Ах ты, воруга!..

Павел с плачем повалился на колени и не своим голосом завыл:

— Истинным крестом клянусь! Не порочьте, не губите... Грех вам!

Истязание происходило рядом с мастерской, в сарайчике для угля. Нагого Павла привязали к столбу. Свирепый палач из каторжан был пьян, работал со всем усердием. Павел сначала терпел, затем стал стонать, стал выть. Управитель, приостановив палача, вновь обратился к парню с требованием вернуть кошелек. Павел отвечая, что у него нет кошелька стал клониться.

И снова свист плетки. Окровавленный Павел перестал стонать, голова упала на плечо, он потерял сознание. А как пришел в чувство, управитель вновь принялся его допрашивать. Павел тряс головой, мычал.

Его бросили на скамейку, управитель сел на стул, скомандовал:

— Валяй, палач!

Расстроенный, измученный мыслью о пропавшем кошельке, бергмейстер едва допелся до своего дома. Сухое, со вдавненными висками, прямоугольное лицо его было желто от разлившейся желчи.

— Ваня, что с тобой? Уж здоров ли ты? — участливо встретила своего супруга дородная Домна Карповна, бывшая любовница Демидова.

Бергмейстер бросился в кресло и, отдышавшись, раздраженно сказал Домне Карповне о пропавшем кошельке. Та, звякнув ключом, достала из носуного шкафа набитый самородками кошелек, подала мужу и сказала:

— Как ты спосылывал за слесарем, я взяла да и схоронила кошелек-то... Чтобы подальше от греха.

— Тыфу ты! — плюнул обескураженный управитель и, жадно схватив кошелек, спрятал его в карман. — Какая ты, право, Домнушка!.. Из-за тебя вот... безвинного — он укорчиво взглянул в красивые глаза жены, зажевал губами и, состроив плаксивую гримасу, схватился за голову: ему стало жалко парня. В дверях стояла кухарка, ждала приказаний от госпожи своей.

Весть о нашедшейся пропаже быстро облетела весь поселок. Среди заводских людей разрастался шум. Вдоль улочек и переулков разъезжали в лохматых шапках вооруженные стражники.

В воскресенье гроб с телом забитого Павла стоял в той самой горенке, где должно было в сей день состояться обручение. Горенка облепена веселыми розовыми шпалерами, — ее отделывал к свадьбе сам Павел. Но вот с ним приключилось нежданное несчастье, самое величайшее, самое сильное из всех несчастий человеческих — смерть.

В воскресенье утром управитель послал за матерью Павла. Из окна управительского дома видна дорога. Управитель видит: кой-как бредет по дороге старая женщина, рядом с ней казачок — мальчишка. Вот женщина всплеснула руками, покачнулась и повалилась на дорогу. Казачок пособил ей встать. Опять кой-как пошла. Старуха было попортила назад, но казачок схватил ее за рукав шубейки и потащил к дому управителя, она схватилась за голову, сделала несколько шагов, но вновь упала и, мотая головой, стала ползать по дороге.

«Пьяная... Нажралась!» — подумал управитель и послал кучера доставить старуху в дом.

Сидя в кабинете и ничего не видя перед собой, старуха скулила и крестилась. Управитель, сунув в карман старухи пятнадцать серебряных рублевиков, сказал ей:

— Вот что, бабка! На свете всяко случается. Ошибка вышла. Кто ж его знает, что он, этанний бык, плетей по выдюжит. А деньги тебе за несчастье даю немалые. Но помни, — закричал он и замотал пальцем перед сморщенным лицом старухи, — ежели кому из начальства пикнешь хоть слово, что кошелек-де нашлся и что-де царь твой безвинно пострадал, — знай, бабка, я тебя прямо из каторгу упекарчу, уж я ходы-выходы найду.

— Бог тебе судья! Эх, злодей ты, злодей!.. Зверь проклятый! — старуха затрясла головой и, собравшись с силами, неспешно плюнула управителю в лицо.

— Эй, выбросьте эту старую падаль! — распахнув дверь, заорал взбешенный Ванька Каши.

(Продолжение следует)

Перед восходом солнца¹

IV. СТРАШНЫЙ МИР

Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом.

Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства.

Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски.

С какого же возраста мне пачать? — подумал я.

Комично пачать с года. Комично вспоминать то, что было в два и в три года. И даже в четыре. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрязнушку отпятили. Соску в горшок уронил. Петуха испугался. Мамаши нашлапала по заднице...

Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего и не помню.

Я должен пачать с пяти лет, — подумал я.

И тогда стал вспоминать то, что случилось в моей жизни с пяти до пятнадцати лет.

И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал: значит, я на верном пути. Значит, рана где-то близко. Значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь.

С 5 до 15 лет

Скорее сбросить тягостную память
Моих воображаемых обид...

Я больше не буду

На столе тарелка. На тарелке вишневые ягоды.

Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две такие ягоды. Это чересчур мало для детей.

Я влезла на стул. Решительным жестом подвигаю к себе тарелку. И откусываю одну ягоду.

Так и есть — множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое?

Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое.

Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съелаю не всю ягоду. Я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых.

Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола.

Приходят отец и мать.

— Я не ел вишневые ягоды, — говорю я им сейчас. — Я только откусил по кусочку.

Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется. Но он хмурится, когда я гляжу на него.

— Пойдем, я тебя немножко попорю, — говорит мать, — чтоб ты лучше запомнил о том, что не следует делать.

Она тащит меня к кровати. И берет теплый пояс.

Плача и рыдая, я кричу:

— Я больше не буду.

Не надо стоять на улице

Я стою у ворот нашего дома. Не у самых ворот, а у тумбы.

Дальше тумбы я не иду. Нельзя. Может задавить извозчик.

Вдруг я вижу — на меня катится двухколесный велосипед, на котором сидит человек в кепке.

Что ж он не звонит? Велосипедисты должны звонить, когда наезжают на людей.

Я отбегаю в сторону. Но велосипед снова катится на меня.

Секунда — и человек в кепке падает. И падаю я. И велосипед падает на меня.

Из моего носа хлещет кровь.

Увидев кровь, я начинаю так орать, что

¹ Продолжение. См. «Октябрь», № 6—7, за 1943 г.

сбегаются люди. Даже прибегает однопогий газетчик, который стоит на нашем углу.

Расстаквивая людей, прибегает моя мать.

Увидев, что я лежу, она бьет по щеке велосипедиста так, что у того с головы падает кепка.

Потом она хватается меня за руки и несет по лестнице.

На лестнице она осматривает и ощупывает меня. Все цело. Только из носа течет кровь и на щеке ссадина.

Мать говорит:

— Жалко, я не знала, что он тебе ногу повредил. Я бы ему оторвала голову.

Папа говорит мне:

— Ты сам виноват. Не надо стоять на улице.

Золотые рыбки

На подоконнике банка с золотыми рыбками.

В банке плавают две рыбки.

Я бросаю им крошки сухаря. Пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо.

Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто лежали на подоконнике. Тогда, может быть, у них появился бы аппетит.

Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбок и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже неважно. Они бьются. И тоже отказываются от еды.

Я снова бросаю рыбок в воду.

Однако в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже плавают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки.

Я снова вытаскиваю рыбок и кладу их в папиросную коробку.

Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели.

Мама сердито говорит:

— Зачем ты это сделал?

Я говорю:

— Я хотел, чтоб им было лучше.

Мать говорит:

— Не притворяйся идиотом. Рыбки созданы, чтоб жить в воде.

Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде. Но я хотел избавить их от этого несчастья.

В зоологическом саду

Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке.

Мать говорит:

— Зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей.

Мы идем на площадку. Там множество детей.

Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди.

Вот мешки завязаны. И дети в мешках оставлены на белую черту.

Кто-то машет флагом и кричит: «Бегите!»

Путаясь в мешках мы бежим. Многие дети падают и режут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше.

Я тоже чуть не падаю. Но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке.

Я первый подхожу к столу. Играет музыка. И все хлопают. И мне дают коробку мармеладу, флажок и книжку с картинками.

Я подхожу к матери, прижимая подарок к своей груди.

На скамейке мама приводит меня в порядок. Она причесывает мне волосы и пальцем вытирает мое заплаканное лицо.

После этого мы идем смотреть обезьян. Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить.

Я хочу угостить обезьян мармеладом, и вдруг вижу, что в моих руках нет коробки.

Мама говорит:

— Наверное, мы коробку оставили на скамейке.

Я бегу к скамейке. Но там уже нет моей коробки с мармеладом.

Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание.

Мама говорит:

— Наверно, украли нашу коробку. Не чего. Я тебе куплю другую.

— Я эту хочу! — кричу я так громко, что тигр вздрагивает и слон поднимает хобот.

На берегу

Мы на даче. Играем на берегу.

Вдруг моя старшая сестра Деля кричит:

— Господа, Юля потонула.

Я смотрю по сторонам. Действительно нигде нет моей младшей сестренки Юли.

Деля кричит:

— Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде.

Действительно, соломенная шляпа Юли плывет по реке.

Что есть духу я бегу к нашей даче. Кричу:

— Мама! Юля утонула.

Мама бежит к реке так, что я еле успеваю за ней.

Увидев, что Юлипа шляпа плывет по воде, мама падает в обморок.

В это время Леля кричит:

— Нет, господа, Юля не потонула. Вот она плывет на лодке. Она хочет догнать свою шляпу.

Действительно, видим, Юля стоит в лодке и, вращая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое. И шляпа ее далеко.

И говорю:

— Мама, приди в себя, оказывается, Юля не потонула.

Увидев Юлю в лодке, мама кричит:

— Юля, плыви назад! Тебя унесет на середину реки.

Леля говорит:

— Она бы и рада плыть назад, но не может. Ей не справиться с веслом. Вон куда ее унесло.

Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега.

И она испуганно кричит: «Помогите!»

Услышав ее крик, мама снова падает в обморок.

Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле.

И говорю маме:

— Мама, не бойся. Юлю сейчас спасут. Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке.

И вскоре Юля на берегу.

Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой.

Коровы идут

Из рогатки я стреляю в птичку. Птичка улетает и садится на дерево, которое довольно далеко от нашего дома.

Из сада не велено уходить. Но раз такой исключительный момент, это допустимо.

И вот по дороге я бегу за птичкой.

Вдруг позади себя я слышу мычание.

Оглядываюсь. Боже мой, идет стадо коров. Отступление отрезано. Домой уже не добежать.

Коровы совсем близко. Заметавшись, я влезал на дерево.

Теперь коровы под деревом.

Интересно отметить, что они не уходят.

Они, как нарочно, встали у дерева и щиплют траву. Делают вид, что не замечают меня.

Может быть, они рассчитывают на то, что я сейчас сойду, и тогда они забодают меня? Но я не так глуп, как они думают. Я не сойду с дерева, пока не уйдет все стадо.

Только бы не обломился сучок, на кото-

ром я сижу. Вот если обломится сучок, тогда дела мои плохи. Тогда я как раз упаду между двух этих коров. И они поднимут меня на рога.

Идет пастух. Он хлопает бичом.

Это знакомый пастух Андришка. С ним можно договориться.

— Андришка,— кричу я,— гони этих коров, которые под деревом! Что они тут расположились и еще кушают!

Андришка хлопает бичом. Коровы нехота уходят.

Теперь нестрашно. Я даже нацеливаюсь из рогатки и пускаю камешек в уходящих коров.

Потом слезаю с дерева и виноватой походкой иду в сад.

Гроза

Со своей сестрой Лелей я иду по полю и собираю цветы.

Я собираю желтые цветы. Леля собирает голубые.

Позади нас плетется младшая сестренка Юля. Она собирает белые цветы.

Это мы нарочно так собираем, чтоб было интересней собирать.

Вдруг Леля говорит:

— Господа, глядите, какая туча.

Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо.

Леля говорит:

— Скорей домой. Сейчас будет жуткая гроза.

Мы бежим домой. Но бежим навстречу туче. Прямо в пасть этому чудовищу.

Неожиданно налетает ветер. Он крутит все вокруг нас.

Пыль поднимается. Летит сухая трава. И гибнут кусты и деревья.

Что есть духу мы бежим домой.

Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы.

Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр.

Вот уж близко дом.

Я оглядываюсь назад. Леля тащит за руку Юлю. Юля ревет.

Еще сто шагов — и я на крыльце.

На крыльце Леля меня бранит, зачем я потерял свой желтый букетик. Но я его не потерял, я его бросил.

И говорю:

— Раз такая гроза, зачем нам букеты?

Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати.

Ужасный гром сотрясает нашу дачу.
Дождь барабанит по стеклам и крыше.
От потоков дождя ничего не видно.

Бешеная собака

Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери.

Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок.

В окно мы смотрим на двор...

По двору идет хозяйская дочка Катя.

Мы стучим по стеклу и кричим ей:

— Катька, дура, беги скорей домой! Прячься! На улице бешеная собака.

Вместо того чтоб бежать домой, Катька подходит к нашему окну. И заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось.

— А где вы видели эту собаку?— спрашивает она.— Да, может быть, она не бешеная.

И начинаю сердиться на Катьку. Я кричу ей:

— Она двоих покусала. И если укусит тебя, мы не виноваты. Мы тебя предупредили.

Катя медленно идет к своему дому.

Бешеная собака вбегает на наш двор. Она черная и страшная. Хвост у нее висит книзу. Пасть раскрыта. Из пасти течет слюна.

Схватив грабли, Катя замахивается. И собака отбегает в сторону. Катя смеется.

Это невероятно. Бешеная собака испугалась Катьки. Я думал, что такие собаки ничего не боятся и всех кусают.

Вот бегут люди с палками. Они хотят убить собаку. Но собака убегает. Люди бегут за ней. Они кричат и улюлюкают.

Осмелев мы открываем окно. Потом выходим в сад.

Конечно, в саду небезопасно. Собака может вернуться. Кто ее знает. Но если сидеть на крыльце, то это ничего. Можно успеть убежать.

Однако собака не возвращается. Ее убили на соседнем дворе.

Ну, теперь спите

В комнате темно. Только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку.

Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит:

«Сунула руку добрая фея под подуш-

ку, а там змея. Сунула руку под перину, а там две змеи и гадюка. Заглянула фея под кровать, а там четыре змеи, три гадюки и один ел.

Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, в каждой туфельке по две жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтоб одеться и уйти из этих мест. Глядит, а в каждом рукаве ее пальто по шесть гадюк и по четыре жабы.

Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит:

— Вот чего. Ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуйте мне уйти из этих мест.

И тогда вся эта нечисть сказала и так ответила доброй фее:

— Ничего дурного и от нас вам не будет, добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили.

По тут раздался гром. Из-под земли выкинуло огонь. И перед доброй феей предстала злая фея.

— Это,— говорит,— я парочку выпустила на тебя всю нечисть, по ты,— говорит,— подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколую тебя в обыкновенную корову. Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феей пасется обыкновенная корова...»

Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юлия говорит:

— А вся другая нечисть что?

Нянька говорит:

— Про это я не знаю. Наверно, при виде злой феей они попрыгали по своим местам.

— То есть под перину и под подушку?— спрашиваю я, отодвигаясь от подушки.

Нянька встает со стула и, уходя, говорит:

— Ну, хватит разговору. Спите теперь.

Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться. Нарочно страшным голосом Леля хрипит: «Хо-о».

Мы с Юлей вскрикиваем от страха. Умоляем Лелю не пугать нас. Но она уже спит. И долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку.

Утром я не пью молоко, оттого что оно от заколдованной феей.

Так просто

Мы сидим в телеге. Рыжеватая крестьянская лошаденка бойко бежит по пыльной дороге.

Правит лошадежкой хозяйский сынок Васютка. Он небрежно держит вожжи в руках и по временам покрикивает на лошадь:

— Ну, ну, иди... заснула...

Лошадежка совсем не заснула, она бежит хорошо. Но, вероятно, так полагается покрикивать.

У меня горят руки — так мне хочется подержать вожжи, поправить и покричать на лошадь. Но я не смею попросить об этом Васютку.

Вдруг Васютка сам говорит:

— Ну-ка, поддержи вожжи. Я покурю.

Сестра Леля говорит Васютке:

— Нет, не давай ему вожжи. Он не умеет править.

Васютка говорит:

— Что значит не умеет? Тут нечего уметь.

И вот вожжи в моих руках. Я держу их на вытянутых руках.

Крепко держась за телегу, Леля говорит:

— Ну, теперь будет история — он нас непременно опрокинет.

В этот момент телота подпрыгивает на кочке.

Леля вскрикивает:

— Ну, ясно. Сейчас она нас перевернет.

Я тоже подозреваю, что телега опрокинется, поскольку вожжи в моих неумелых руках. Но нет, подскочив на кочке, телега ровню катится дальше.

Гордясь своим успехом, я хлоплюваю лошадь вожжами по бокам и покрикиваю: Ну, заснула!»

Вдруг я вижу — поворот дороги.

Торопливо я спрашиваю Васютку:

— За какую вожжу тянуть, чтоб лошадь убежала направо?

Васютка спокойно говорит:

— Потяни за правую.

— Сколько раз потянуть за правую? — спрашиваю я.

Васютка пожмает плечами:

— Один раз.

Я дергаю за правую вожжу и вдруг, как в сказке, лошадь бежит направо.

Но я почему-то огорчен, раздосадован. Так просто. Я думал, гораздо трудней править лошадью. Я думал, тут целая наука, которую нужно изучать годами. А тут такая чепуха.

Я передаю вожжи Васютке. Не особенно интересно.

Страшный мир

Горит дом. Пламя весело перебегает со стеной на крышу.

Теперь горит крыша, обитая драпкой.

Пожарные качают воду. Один из них, схватив книгу, поливает дом. Вода тоненькой струйкой падает на огонь.

Нет, не затушить пожарному это пламя.

Мать держит меня за руку. Она боится, что я побегу к огню. Это опасно. Летят искры. Они осыпают толпу.

В толпе кто-то плачет. Это плачет толстый человек с бородой. Он плачет, как маленький. И трет свои глаза рукой. Может быть, искра попала ему в глаз?

Я спрашиваю маму:

— Чего он плачет? В него попала искра?

Мать говорит:

— Нет, он плачет оттого, что горит его дом.

— Он построит себе новый дом, — говорю я. — Вот уж из-за этого я бы не стал плакать.

— Чтоб построить новый дом, нужны деньги, — говорит мать.

— Пусть он заработает.

— На эти деньги не построишь дом.

— А как же тогда строятся дома?

Мама тихо говорит:

— Не знаю, может быть, люди крадут деньги.

Что-то новое входит в мою полянку. Я с интересом гляжу на боролатого человека, который украл деньги, построил дом, и вот он теперь горит.

— Значит, надо красть деньги? — спрашиваю я мать.

— Нет, красть нельзя. За это сажают в тюрьму.

Тогда совсем непонятно.

Я спрашиваю:

— А как же тогда?

Но мать с досадой машет рукой, чтоб я замолчал.

Я молчу. Я вырасту большой и тогда сам узнаю, что делается в этом мире. Должно быть, взрослые в чем-нибудь тут запутались и теперь не хотят об этом рассказывать детям.

Кто-то утонул

Я мастерю парходик. Это досечка с трубой и мачтой. Остается сделать руль и флаг.

Размахивая пляпой, бежит Леля. Она кричит:

— Митька, скорей! Бежим. Там кто-то утонул.

Я бегу за Лелей. На ходу кричу ей:

— Я не хочу бежать. Я боюсь.

Леля говорит:

— Так не ты же утонул. Это кто-то утонул. Чего ж тебе бояться?

Мы бежим по берегу. Там у пристани толпа.

Расталкивая людей, Леля пробивается сквозь толпу. Я протискиваюсь за ней.

Кто-то говорит:

— Он не умел плавать. Течение быстрое. Вот он и утонул.

На песчаном берегу лежит юноша. Ему лет восемнадцать. Он белый, как бумага. Глаза у него закрыты. Руки раскинуты в стороны, а тело его прикрыто зелеными веточками.

Рядом с ним на коленях стоит женщина. Она пристально смотрит в его мертвое лицо. Кто-то говорит:

— Это его мать. Она не плачет от очень большого горя.

Искоса я поглядываю на утопленника. Мне хочется, чтоб он задвигался, встал и сказал:

— Нет, я не потонул. Это я так. Нарочно. Пошутя.

Но он лежит неподвижно. И мне делается так страшно, что я закрываю глаза.

Я не виноват

Сидим за столом и кушаем блины.

Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву.

Отец в очках. У него серьезный вид. Борода. Тем не менее он смеется. Он говорит:

— Видите, какой он жадный. Ему для отца жаль одного блина.

Я говорю:

— Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все екушаешь.

Приносят суп.

Я говорю:

— Папа, хочешь мой суп?

Папа говорит:

— Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик.

Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю:

— Пожалуйста. Можешь кушать мое сладкое.

Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен.

Пододвинув к отцу мое блюдо с кремом, я говорю:

— Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный.

Отец хмурится и уходит из-за стола.

Мать говорит:

— Пойди к отцу, попроси прощения.

Я говорю:

— Не пойду. Я не виноват.

Я выхожу из-за стола, не дотропувшись до сладкого.

Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдо с кремом.

Отец говорит:

— Ну, что ж ты не съел свой крем?

Я говорю:

— Папа, давай съедим пополам. Что пак из-за этого ссориться?

Отец целует меня и с ложечки кормит кремом.

В воде

Мальчишки плавают и ныряют. Я копаюсь на берегу.

Мне кричат:

— Ну, давай. Смелей иди. Научим плавать.

Я медленно иду по воде. Холодно. Мурашки ползут по моей коже.

— Сразу окунайся, балда, семь раз! — кричат мальчишки.

Я окунаюсь до плеч. Мальчишки кричат:

— С головой окунайся, недотепа.

Нет, с головой я не решаюсь окунуться. Вода попадает в глаза и в уши. Это неприятно.

— Давай сюда! Не трусь! — кричат мальчишки.

Хоть там глубоко, но я иду вперед. Я не хочу быть трусом.

Я иду вперед и вдруг проваливаюсь в яму. Зеленая вода покрывает меня с головой. Неужели я потонул.

Но нет. Я вырываюсь наверх. И, барахтаясь как собачонка, плыву.

Браво. Кажется, я сам научился плавать.

Вдруг кто-то или что-то хватает меня за ногу. Я вскрикиваю и сразу иду на дно.

Вот теперь я окончательно потонул. Я закрываю глаза.

Мальчишки выволакивают меня наверх. Один из них говорит:

— Я его за ногу потянул, пошутя. А уж он готов, преставился.

Другой говорит:

— Зря так скоро мы его вытащили. Пуцай бы подольше пожегал. Откачали бы.

Я лежу на берегу и выплевываю воду.

Вокруг меня бегают мальчишки. Им досадно, что я мало наглотался воды.

Закрывайте двери

Вечер. Мы пьем молоко. И ложимся спать.

Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбы с цветами.

Я всматриваюсь в окно.

В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут и бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток.

Желая мне досадить, Дедя говорит:

— Сегодня непременно придут воры. Так и знай.

Положим, если закрыть двери, они не придут.

Я кричу взрослым, которые сидят на балконе:

— Не забудьте закрыть двери!

Мама появляется в дверях.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Нет, ничего не случилось, — говорю я — но Дедя думает, что сегодня придут воры.

Мама целует нас и, улыбаясь, уходит. Я лежу, закрывшись с головой одеялом.

В доме уже тихо. Все спят. По мне не спится.

Двери, конечно, закрыты. Я сам слышал, как щелкнул крючок, но закрыты ли окна?

Я встаю с постели. Подхожу к окну. Пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно?

Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол.

Я слышу испуганный голос мамы:

— Что! Кто там?.. Воры!

— Где, где воры? — кричу я матери.

В доме переполох. Все прибегают. Зажигают лампу.

На полу лежит разбитая банка с цветами.

Мать успокаивает меня.

Я снова ложусь в постель, закрываюсь с головой одеялом.

У бабушки

Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед.

Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный. Он похож на льва. А бабушка похожа на львицу.

Лев и львица сидят за столом.

Я, не отрываясь, смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы. И темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенно красива.

Приносят мяску с супом.

Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать.

Но вот приносят пирожки. Это еще ничего.

Сам дедушка разливает суп.

Подавая свою тарелку, я говорю дедушке: — Мне только одну капельку.

Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку.

Я смущенно смотрю на эту каплю.

Все смеются.

Дедушка говорит:

— Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу.

Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу.

Бабушка говорит:

— Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью.

Я не даю свою тарелку и не затрагиваюсь до пирожков.

Дедушка говорит моей маме:

— Это плохой ребенок. Он не понимает шуток.

Мама говорит мне:

— Ну, улыбнись же дедушке. Ответь ему что-нибудь.

Я сердито смотрю на дедушку. Тихо говорю ему:

— Я больше к вам никогда не приеду.

Я пришел к бабушке в гости, только когда дедушка умер. Это был героический дедушка. И я не жалел, что он умер.

Мама плачет

Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе.

Мама спрашивает:

— Правда, я похожа на эту даму?

Желая утешить маму, я говорю:

— Да, немножко похожа.

Хотя я и не вижу особенного сходства.

Мама говорит:

— В таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи: «Папа, погляди, как похожа на нашу маму».

Угромо я спрашиваю:

— Для чего?

— Так пужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал.

Я говорю:

— Нет, ты все-таки скажи. Так я не пойду.

Мама говорит:

— Ну как тебе объяснить... Папа посмотрит на эту открытку и скажет: «Ах, какая

у нас интересная мама...» И будет относиться ко мне добрей...

Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму.

С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа.

Папа художник. Перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли.

Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю:

— Кажется, немножко похожа на мать. Нет?

Несколько взглянув на открытку, отец говорит:

— Не мешай мне. Иди...

Ну, конечно. Ничего не вышло. Я так и знал.

Я возвращаюсь к матери.

— Ну, что он сказал?

Я говорю:

— Он сказал: «Не мешай мне, иди...»

Закрыв лицо руками, мама плачет.

Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично идти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого.

Мама нашла билеты

Мама в гневе ударяет по столу кулаком. Говорит бабушке:

— Значит, когда мы были на даче, он тут веселился... Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто.

Я знаю это летнее шпанино пальто. Оно висит на вешалке. Совершенно светлое, коротенькое пальто.

Мама кладет на стол какие-то билеты.

Я стораю от любопытства — так мне хочется узнать, что это за билеты.

Я подхожу к столу и рассматриваю билеты, читаю: «Театр Буфф».

Бабушка говорит:

— Может быть, он был в «Буффе» со своим приятелем. Почему мы знаем?

Мама говорит:

— Нет, билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума...

Вдруг открывается дверь, и входит папа.

Папа в черном осеннем пальто. В шляпе. Он очень высокий, красивый. И даже борода не портит его.

Улыбаясь, папа говорит маме:

— Мне нужно с тобой поговорить.

Они оба уходят в гостиную.

Дедя подходит к двери. Прислушивается. Потом говорит:

— Нет, все хорошо. Ничего плохого не будет. Ручаюсь...

Я спрашиваю Дедю:

— А что у них произошло?

Дедя говорит:

— Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму.

Вскоре из гостинной выходят наши родители.

Я вижу, мама не особенно довольна. Но все же ничего.

Папа на прощание целует мамину руку. И уходит ночевать в свою мастерскую. Это через три дома от нас.

В мастерской

Папа давно у нас не был. Мать одевает меня. И мы идем к отцу в мастерскую.

Мама идет торопливо. Тянет меня за руку, так что я едва поспеваю.

Мы поднимаемся в седьмой этаж. Стучим. Дверь открывает папа.

Увидав нас, он сначала хмурится. Потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок. Смеется и целует меня.

Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван. И у них начинается какой-то таинственный разговор.

Я хожу по мастерской. На мольбертах картины. На стенах тоже картины. Огромные окна. Беспорядок.

Я осматриваю ящики с красками. Кисти. Всякие бутылочки.

Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют — без криков, не ссорятся.

Я не мешаю им. И вторично обхожу ящики и картины.

Наконец отец говорит матери:

— Ну, очень рад. Все хорошо.

Он на прощание целует маму. И мама целует его. И даже они обнимаются.

Одевшись, мы уходим.

По дороге мама вдруг начинает бранить меня. Она говорит:

— Ах, зачем ты увязался со мной...

Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую. И вот теперь недовольна.

Мама говорит:

— Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились.

Я хнычу. Но я хнычу стого, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо. Даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость.

Мать говорит:

— Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму.

Мне хочется спросить, в чем дело, что произошло. Но я молчу. Я вырасту большой и тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты.

У калитки

Я стою в саду у калитки. Пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани.

Мама уехала в город. И вот с утра ее нет. А мы уже пообедали. И скоро вечер. Ах, боже мой, где же она?

Я снова всматриваюсь в даль. Нет! Идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось.

Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок. Взрослый человек. Ей тридцать лет.

Ну, и что из того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом шагу подстерегают опасности.

Может быть, мама ехала на извозчике. Попела лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие. Еще плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из воротки.

Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги. Можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар, если, например, загорелась наша горючая квартира. Хотя, впрочем, дом у нас каменный и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка.

Скорей всего мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела. И вот теперь ей доктор делает операцию.

Ах, нет! Вот идет наша мама!

С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе. На плечах у нее белое боа из перьев. И бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эту перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтоб она так не одевалась. А то мне недовольно с ней идти — все оборачиваются.

— Ты, кажется, не рад, что я приехала? — спрашивает мама.

— Нет, я рад, — равнодушно говорю я.

Это недоразумение

Рядом со мной за партой сидит гимназист Костя Палицын.

Перочинным ножом он вырезает на парту какую-то бумажку. Я смотрю, как ловко и незаметно для учителя он режет ножом.

Я так удивился в это дело, что не слышу, когда вызывают меня.

Кто-то толкает меня под бок. И тогда я встаю и растерянно смотрю на классного наставника, который преподает русский и арифметику в нашем подготовительном классе.

Оказывается, учитель почему-то хочет, чтоб я прочитал ему стихотворение: «Весело сияет месяц над селом».

Первую строчку я бойко произношу, так как я ее только что услышал от учителя. Но что дальше, я не знаю. Я просто не знаю этого стихотворения и даже в первый раз слышу о нем.

Со всех сторон мне подсказывают: «Белый снег сверкает».

Затянувшись, я произношу, что подсказывают.

Посматривая на меня, учитель улыбается.

Ученики попеременно подсказывают мне. Они шепчут со всех сторон. От этого даже не разобрать, что они шепчут — «Крест под облаками, как ельча, горит...»

— Треск под сапогами, — бормочу я.

В классе хохот. Учитель тоже смеется. И ставит в мой дневник единицу.

Это неприятно. Я всего пять дней в гимназии. И вдруг сразу единица.

Я говорю Косте Палицыну:

— Если будут ставить единицы за все, что я еще не знаю, то я много захватаю единиц.

— Это стихотворение было задано, — говорит Костя. — Его надо было выучить.

Ах, оно было задано? Я не знал. В таком случае это недоразумение.

Мне становится легче на душе, что это недоразумение.

Снова неприятности

На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами. За спиной ранец.

В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии.

— Мама, — говорю я, — ты не беспокойся. Я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии.

Мама говорит:

— Только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами. С тебя хватит.

Я выхожу на улицу.

Нет, конечно, с закрытыми глазами я не найду. Это опасно. На улицах конки, пэвэзчики. Но от угла Большого до гимназии я

препременно пойду с закрытыми глазами. Всего двести десять шагов. Это сущие пустяки.

Дойдя до Большого проспекта я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась на людей и задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги... Двести. Двести десять...

Произнеся вслух: «Двести десять» — я с силой паталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза. Стою как раз у дверей гимназии. А человек, которого я толкнул, — это наш учитель и классный наставник.

— Ах, извините, — говорю я. — Я вас не заметил.

— Надо замечать, — сердито говорит учитель. — Для этого у тебя есть глаза.

— Они были закрыты, — говорю я.

— Зачем же ты глаза закрываешь, глухой мальчишка? — говорит учитель.

Я молчу. — Во-первых, это долго объяснять, во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза.

— Ну? — спрашивает учитель.

— Просто так закрыл. От ветра...

Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит:

— Ну, что ж ты стоишь, как пень? Иди...

Я стою оттого, что я вежливый человек.

Я хочу пропустить его вперед.

Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся.

Еще более сердито учитель смотрит на меня.

Пуд железа

Я занят разборкой моего пенала. Перебираю карандаши и перья. Любуюсь моим маленьким перочинным ножиком.

Учитель вызывает меня. Он говорит:

— Ответь, только быстро: что тяжелей — пуд пуха или пуд железа?

Не видя в этом подвоха я, не подумав, отвечаю:

— Пуд железа.

Труном хохот.

Учитель говорит:

— Скажи своей маме, чтоб она завтра зашла ко мне. Я хочу с ней поговорить.

На другой день мама идет к учителю и грустная возвращается домой. Она говорит:

— Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе.

— А что он еще сказал?

Лицо у мамы делается совсем грустным.

Прижав меня к себе, она говорит:

— Я тебя считала умным и развитым мальчишкой, а он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие.

— Это он глупости говорит, — сердито кричу я. — По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы. А на глупые вопросы трудней ответить, чем на умные.

Целуя меня, мама плачет.

— Ах, тебе будет трудно жить на свете! — говорит она.

— Почему?

— Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливым.

Мама снова целует и обнимает меня, но я вырываюсь. Я не люблю это лизапы в слезы.

Закрытое сердце

Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы.

Я думал, что придет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке. И будет петь, плясать и рассказывать нам сказки.

Наоборот. Приехал строгий, высокий человек. Не очень старый, не очень седой. Поразительно красивый. Бритый. В черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки.

И я удивился, что у нас такой дедушка. И захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой. А маме сердито сказал:

— Самы виноваты, сударыня. Слишком много породили детей.

И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату.

И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я.

И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверно, он там делает что-нибудь исключительно важное.

И вот я протыкиваю дверь и тихо захожу в комнату.

Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Невыдвижно смотрит на стену и курит длинную трубку.

Увидев меня, дедушка спросил:

— Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне не постучавшись?

И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему:

— В конце концов это наша квартира, если хотите знать — это моя комната, а если переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?

Дедушка бросил в меня свои четки и закрычал. Потом он пошел и пожаловался всему отцу. А отец пожаловался матери.

Но мама не стала меня бранить. Она сказала:

— Ах, скорей бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце.

— А у меня тоже закрытое сердце? — спрашиваю я.

— Да, — говорит мать, — по-моему, и у тебя закрытое сердце.

— Значит, я буду такой же, как дедушка?

Целуя меня, мать сквозь слезы говорит:

— Да, наверно, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить.

Нельзя кричать

На улицах беспорядки. Побили городского на углу. Жандармы скачут на лошадях. Что-то происходит необычайное.

В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют. И малыши шалят больше обыкновенного.

Перемена. Мы бегаем по залу. Второклассники бегают с криком: «Бунтуйся». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу: «Бунтуйся».

Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник.

Он трясет меня за плечи и говорит:

— Повтори, что ты сказал.

— Я сказала «бунтуйся», — бормочу я.

Лицо у учителя делается каменным. Он говорит:

— Встань к стене под часами и стой до конца перемены. А завтра пусть мама зайдет ко мне.

Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали. А он, как коршун, палетел на меня и схватил за плечи.

На другой день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует.

Потом родители зовут меня в свою комнату.

Отец лежит на кровати в брюках и в пижаке. Вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне:

— Наверно, ты не знал, что означает это слово?

Я говорю:

— Нет, я знал. Оно от слова «бухт». Но я не знал, что его нельзя кричать.

Отец улыбается. Говорит матери:

— Пойди к учителю и скажи ему, что наш сын дурачок, недостаточно развитой.. А то его посадят в тюрьму.

Услышав про тюрьму, я начинаю плакать.

Мама говорит:

— Раньше я об этом спорила с учителем. Но теперь я пойду скажу ему, что он прав.

Папа смеется.

— Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодились.

Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать.

Мы с мамой выходим из комнаты.

Разрыв сердца

Тихо открываю дверь и вхожу в панипу комнату.

Обычно отец валяется на кровати. Но сегодня он неподвижно стоит у окна.

Высокий, упрямый, он стоит у окна и о чем-то думает.

Он похож на Петра Великого. Только с бородой.

Тихо я говорю:

— Папа, я возьму твой носкичек очистить карандаш.

Не оборачиваясь, отец говорит:

— Возьми.

Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш.

В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.

Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.

Он падает на пол. И падает стул, за который он задел.

От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать.

Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему. Тербит его за плечи, целует его лицо.

Я выбегаю из комнаты и лежусь на свою кровать.

Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо. Может быть, у папы — обморок.

Я снова иду в комнату отца.

Отец лежит на кровати. Мать у дверей. Рядом с ней доктор.

Мать кричит:

— Вы ошиблись, доктор!

Доктор говорит:

— В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер.

— Почему же так сразу? Не может быть!

— Это разрыв сердца,— говорит врач.
И уходит из комнаты.

Лежа на своей кровати, я плачу.

Да, он умер

Ах, как невыносимо смотреть на маму!
Она все время плачет.

Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет.

Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать. Наверно, у меня — закрытое сердце.

Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее:

— Мама, сколько лет нашему папе?

Вытирая слезы, мама говорит:

— Ах, Мишенька, он совсем молодой. Ему сорок девять. Нет, не может быть, чтобы он умер!

Она снова теревит за плечи отца и бормочет:

— Может быть, это глубокий обморок. Летагический сон...

Мать отстегивает булавку от своей блузки. Потом берет руку отца. И я вижу — она хочет булавкой проколоть ему руку.

Я вскрикиваю от ужаса.

— Не надо кричать,— говорит мать,— я хочу посмотреть, может быть, он не умер.

Булавкой она прокалывает руку насильно. Я снова кричу. Мать вынимает булавку из проколотой ладони.

— Погляди,— говорит она,— нет ни капельки крови. Да, он умер...

Упав на грудь отца, мама снова плачет.

Я выхожу из комнаты. Меня трясет лихорадка.

На кладбище

Я первый раз на кладбище. Пичуть не страшно. Только очень неприятно.

Настояло неприятно, что я еле стою в церкви. Скорей бы кончилось опевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на шести катафалках. Но мои глаза невольно останавливаются на них.

Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. Две старухи в чепцах. Отец. Еще чей-то отец. Молодая мертвая девушка. И какой-то пузатый, толстый человек. Такой пузатый, что вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышечкой. Церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит.

Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют.

Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю в церковь.

Гроб несут на руках художники — панши товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Эта картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю четку этой елочки делал я. Она получилась кривая, и папа был доволен моей работой.

Идут певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит.

Яму засыпают. Все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я.

Дни сочтены

Мамин брат заболел чахоткой. Ему сняли комнату за городом. И он стал там жить. Но доктор сказал маме:

— Он очень плох. Его дни сочтены.

Я поехал к нему в воскресенье. Повез шашки и сметану.

Дядя Георгий лежал на кровати обложенный подушками. Он тяжело и с хрипом дышал.

Я положил на стул то, что привез и хотел уйти. Но он сказал мне:

— Я целые дни один. Мне ужасно скучно. Давай хоть с тобой сыграем в карты.

Из-под подушки дядя Георгий вынул карты. И мы стали играть в шестьдесят шесть.

Мне странно везло. А ему нет. Он проиграл мне две партии. И потребовал, чтобы сыграл с ним третью.

Мы начали играть третью партию. Но ему не везло еще больше. И тогда он стал меня сердиться. Стал кричать и бросать карты. Он огорчался, что проигрывает, хотя и играл не на деньги, а так.

И я удивился, что он огорчается, ведь дни его сочтены и он скоро умрет.

Вот он стал мне карты. И почти все от были козырные. И, увидев это, дядя затрясся от гнева, закашлялся. Начал стонать. И ему стало так плохо, что он схватил кислородную подушку и приложил ее к своему рту. Ему было душно. Он боялся задыхаться.

Потом, когда ему стало лучше, мы продолжали игру.

Но я нарочно стал сбрасывать хорошие карты. Хотел не так, как надо. Я хотел его проиграть, чтоб он не мучился.

И тогда я стал проигрывать. И от этого дядя развеселился настолько, что стал шу-

тить и смеяться. И он хлопнул меня картой по лбу, сказав, что я еще слишком мал, чтоб играть со взрослыми.

Четвертую партию я не стал с ним играть, хотя он очень этого хотел.

Я ушел с тем, чтоб к нему больше не приходило.

И мне не пришлось больше у него бывать. Он в следующее воскресенье умер.

Муза

Я в постях. Сажу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги.

Показывая книги, она вдруг спрашивает меня:

— Вы хотите быть моим женихом?

— Да,— тихо отвечаю я.— Только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи.

Мы подходим к трюму, чтоб увидеть разницу в нашем росте.

Мы ровесники. Нам по одиннадцати лет и три месяца. Но Муза выше меня почти на полголовы.

— Это ничего,— говорит она — Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтоб они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильнее меня.

Мы начинаем бороться. Муза сильнее меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся. Падаем на ковер. И некоторое время лежим ошеломленные чем-то непонятным.

Потом Муза говорит:

— Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтоб они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?

Боже мой, какой неудачный вопрос! Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. Три двойки. Остальные тройки.

— Ну, ничего.— говорит Муза.— Вы в дальнейшем поумнеете. Наверно, бывают такие женихи, у которых по четыре двойки и больше.

— Не знаю,— говорю я,— вряд ли.

Взявшись под руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить.

Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку.

— Зачем вы это сделали?— говорю я, ужасаясь ее пощупку.

— Поцелуй скрепляют договор,— говорит она.— Теперь мы жених и невеста.

Мы идем в столовую.

Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя.

Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтоб этого не было.

Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет».

— А что такое банкет?— спрашивает меня учитель.

Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом, в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?

Я молчу.

— А а?— спрашивает учитель привизгивая. И в этом «а-а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне.

И услышав это «а» ученики тоже начинают визжать.

Учитель истории машет на меня рукой. И ставит мне двойку.

По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его на лестнице. От волнения я не могу произнести слова. Меня бьет лихорадка.

Увидев меня в таком виде, учитель говорит:

— В конце четверти я вас еще спрошу. Напишем тройку.

— Я не об этом,— говорю я.— Если вы меня еще раз так вызовете, то я... я...

— Что? Что такое?— говорит учитель.

— Плюну в вас,— бормочу я.

— Что ты сказал?— грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет вверх в директорскую. Но вдруг отпускает меня. Говорит:

— Идите в класс.

Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит.

Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске.

Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им:

— Молчать!

В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы.

Учитель говорит:

— Не волнуйтесь. На тройку вы во всяком случае знаете.

Он подумал, что у меня слезы на глазах оттого, что я повально знаю урок.

Хлорофил

Только два предмета мне интересны — зоология и ботаника. Остальное нет.

Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим.

Я очень огорчаюсь, что плохо учусь. Но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было.

Даже по ботанике у меня тройка. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий — альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы.

Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит:

— А почему листья зеленые? Кто знает?

В классе молчание.

— Я поставлю пятерку тому, кто знает, — говорит учитель.

Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в пятерке. Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично.

Учитель вызывает первого ученика. Но тот не знает.

Тогда я небрежно поднимаю руку.

— Ах вот как, — говорит учитель, — вы знаете. Ну скажите.

— Листья зеленые, — говорю я, — оттого, что в них имеется красящее вещество хлорофил.

Учитель говорит:

— Прежде чем вам поставить пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу.

Я молчу. На это очень трудно ответить.

— Может быть, вы не сразу вспомнили? — спрашивает учитель.

— Нет, я сразу вспомнил.

— Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?

Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку.

Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет.

Мы сидим на траве за домом и беседуем.

Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксения.

Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я равнодушен к Ксении — все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играю в крокет.

Ксения смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары.

Уверенная в моем чувстве, она говорит:

— Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?

— Зачем? — спрашиваю я.

— Просто так. Чтобы исполнить мою просьбу.

Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры:

— Для вас я бы мог это сделать.

Вдруг мы видим — за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой! Вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного, и вода зальет дорогу, по которой мы идем.

Мы бежим к яхт-клубу. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног.

Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим вперед.

Вдруг слышим мамин голос:

— Назад! Домой!

Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Это вода хлынула с поля и затопила все позади нас.

Я бегу к дому. Капавы полны водой. Плынут доски и бревна.

Мокрый по колени, я вбегаю на веранду. А где же Ксения, сестры, Толя?

Сняв башмаки, они идут по саду.

На веранде Ксения мне говорит:

— Убегать первым... бросить нас... Ну, знаете ли... Все конечно между нами.

Молча я уйду в свою комнату на второй этаж. В ужасной тоске ложусь на свою постель.

Выстрел

Утро. Мы сидим на веранде. Пьем чай.

Вдруг слышим ужасный крик. Потом выстрел. Мы вскакиваем.

На нашу веранду вбегают женщины. Это наша соседка Анна Петровна.

Она ужасно растрепана. Почти голая. На плечи наброшен халат. Она кричит:

— Спасите! Умоляю! Он убьет меня... Он убил Сергея Львовича...

Мама всплескивает руками.

— Это такой блондин, студент, который ходил к вам в гости?

Сказав «да», Анна Петровна падает на диван и бьется в истерику.

Я бегу к соседней даче, к их окну.

Я отпрынул от окна, когда заглянул в комнату. На кровати лежал убитый человек. И кровь стекла с простыни на пол. Но больше в комнате никого не было.

Тогда я побежал в их сад. И там увидел толпу людей. Эти люди держали за руки мужа Анны Петровны.

Он стоял смиренно. Не вырывался. И ничего не говорил. Он молчал.

Пришел полицейский и хотел его увести. Но муж Анны Петровны сказал:

— Позовите мне мою жену. Я хочу с ней попрощаться.

И тогда я бросился в пап дом и сказал Анне Петровне:

— Анна Петровна, он хочет попрощаться с вами. Выйдите к нему. И не бойтесь. Там полицейский.

Анна Петровна сказала:

— Я не имею привычки прощаться с убийцами. Я не выйду к нему.

Я побежал в сад, чтоб сказать, что она не выйдет. Но мужа Анны Петровны уже унесли.

Замечание

Я был на елке у знакомых. У моего товарища. Его родители очень богатые люди.

Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн-Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для пошения на часах.

Поздно вечером гости стали расходиться.

Мама пошла провожать Маргарита со своей горничной.

И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади.

Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома.

Прощаясь, Маргарита просит, чтоб завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии.

Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку.

Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита всыхнула и пожала плечами.

На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит:

— Вы, наверно, бывали только в демократических домах, где принято за руку про-

щаться с прислугой. У нас это не принято. Это шоккинг.

Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал:

— Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой.

Маргарита сказала:

— Еще не хватало того, чтобы вы спачала попрощались с ней, потом со мной. Вы из деревенского дома и так поступаете.

Две улицы мы шли молча. Не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой.

Она сказала мне, когда я уходил:

— Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. И я из хороших чувств к вам сделала замечание.

Мой друг

Каждый день я хожу к Саме П. Он умный мальчик. Мне с ним интересно. Мы с ним дружим. Он мой единственный друг.

Мама сказала, что я не способен с кем-нибудь дружить, что я по натуре одинокий человек, вроде моего отца.

Ничего подобного. Я скучаю, если хотя бы один день не вижу моего товарища. У меня просто потребность у него бывать.

Начиная ботинки, я спешу к нему. Его дача на берегу, через три улицы.

Я иду по набережной и тихо напевая: «Невольню к этим грустным берегам...»

Вхожу в сад. Вся семья П. на веранде. Мама, он и две его сестрочки — Оля и Галя. Оле четырнадцать, Гале шестнадцать лет. А мне пятнадцать.

Все рады, что я пришел. Саша говорит мне:

— Если хочешь сегодня, мы сходим на взморье. Пофилософствуем.

Девушки недовольны. Они хотели поиграть со мной в крокет, посидеть в саду.

Саша говорит:

— Часик поболтай с девчонками. А я пока дочитаю книгу.

Я иду с девушками в сад. Мы располагаемся в беседке. И говорим о всевозможных вещах.

Мне больше нравится Оля, но я больше нравлюсь Гале. Драматической узел. Все страшно интересно. Это — жизнь.

Мы долго сидим в беседке. Потом гуляем по саду. Потом сидим на берегу. И, наконец, снова располагаемся в беседке.

Уже темнеет. Я прощаюсь с сестрами. Га-

ля что-то шепчет мне на ухо. Я не слышу. Но она не хочет повторить. Мы смеемся.

Наконец я окончательно прощаюсь и в прекрасном настроении спешу домой.

И вдруг по дороге вспоминаю, что я позабыл попрощаться с Сашей и позабыл о том, что мы собирались пойти с ним на взморье.

Мне страшно неловко. Я возвращаюсь к их даче. Подхожу к забору. У калитки стоит Саша.

Он говорит мне:

— Сегодня я окончательно понял, что ты приходишь не ко мне, а к моим сестрам.

Я горячусь, пробую доказывать, что хожу именно к нему. И вдруг сам убеждаюсь, что я не к нему хожу.

Он говорит:

— Паша дружба построена на песке. Я убежден в этом.

Мы холодно прощаемся.

Студент со стэкoм

Через два дома от нас жила девушка Ирина. Она была рыженькая, но настолько хорошенькая, что можно было часами ею любоваться.

Мы, мальчишки, часто подходили к ее забору и смотрели, как она лежит в гамаке.

Она почти все время лежала в гамаке. Но не читала. Книжка валялась на траве, либо лежала на ее коленях.

А вечером Ирина уходила гулять с Олегом. Это такой студент. Путеец. Очень интересный. В пенсне. Со стэкoм в руках.

Когда он направлялся к ее дому, мы, мальчишки, кричали:

— Ирина, Олег идет!

Пра безумно красивая и бежала к нему навстречу.

Я не знаю, что именно у них произошло, но только в конце лета Ирина бросилась с пристани в воду и утонула. И ее не нашли.

Все дачники ужасно жалели ее. И некоторые даже плакали. Но этот студент Олег очень легко отнесся к ее смерти. Он попрежнему ходил на пристань со своим стэкoм. Смеялся. Шутил с товарищами. И даже стал ухаживать за одной курсетской Слюсочкой.

И мы, мальчишки, были раздосадованы его поведением. Мы ненавидели от всей души этого студента со стэкoм.

Когда однажды он сидел на пристани, мы с берега стали стрелять в него из рогаток.

Он ужасно рассердился на нас. Закричал. Погнался за нами. Но когда он гнался за одним, другие в него стреляли.

Мы стреляли в него так, что он, наконец, побежал домой, закрыв голову руками.

Три дня мы обстреливали его дачу. Мы стреляли в каждого, кто выходил из его дома. Даже стреляли в его мамашу. И в кухарку. И в гостей. И в собаку. И даже в кошку, которая выходила погреться на солнышко.

Мы выбили несколько стекол на веранде. И довели его до того, что он вскоре уехал.

Он уехал с распухшим носом. Это кто-то из нас выстрелил в него из рогатки, когда он с вещами шел на пристань.

Первый урок

У меня — ученик. Это писарь Главного штаба. Я готовлю его к экзаменам.

Через два месяца он будет держать экзамен на первый классный чин.

У нас условие: если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед.

Это великолепное условие. И я по три часа в день и больше сижу с этим оболдуем, который не очень-то смыслит в науках.

Все свои знания я стараюсь переложить в его туманные мозги. Я заставляю его писать, думать, считать. Я заканчиваю урок, только когда он начинает выкаты, что у него болит голова.

И вот он прилично выдержал экзамен. И пришел ко мне сияющий.

Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится.

Мы с ним пошли на его квартиру.

И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед.

У меня помутилось в глазах, когда я увидел его машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин.

Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину.

Давясь от смеха, писарь сказал:

— Ничего. Смажете керосином. Протрете. Купите шины. И будет приличная машина.

С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал:

— Да что вы, в своем уме! Разве можно ее чинить!

За рубль я продал эту машину тряпичнику. И то он не хотел давать рубля. Он давал восемьдесят пять копеек. Но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок.

Даже теперь, когда прошло тридцать лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря, его утиный нос, его желтые зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания.

Этот мой первый урок дал и мне некоторые знания о жизни.

Заключение

И вот воспоминания о моем детстве закончены.

Передо мной тридцать восемь историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня.

Все эти истории я стал пересматривать и перетрахивать. Я надеялся найти в них ключик моих страданий.

Однако ничего особенного я не увидел в этих историях.

Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны. Но не более печальны, чем это обыкновенно бывает.

У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери.

У каждого случаются школьные огорчения. Обиды. Волнения. Обманы. И каждого страшит гроза, наводнения и буря.

Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску.

Тогда я сложил все эти истории вместе. Я захотел увидеть общую картину моего детства, общий аккорд, который, быть может, услышал меня, когда неверными детскими шагами я шел по узкой тропинке моей жизни.

Но и в общем этом аккорде я не увидел ничего особенного. Обыкновенное детство. Немного трудный ребенок. Nervный. Обидчивый. Весьма впечатлительный. Со взором, устремленным на то, что плохо, а не то, что хорошо. Пожалуй, пугливый из-за этого. Но совсем не слабенький, а скорей даже сильный.

Нет, события детских лет не могли испортить мою дальнейшую жизнь.

Я снова был обескуражен. Непосильная задача — найти причину моей тоски. Убрать ее. Быть счастливым. Радостным. Восторженным. Таким, как должен быть обыкновенный человек с открытым сердцем. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом!

Но, может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло еще в более раннем возрасте?

В самом деле, почему же я отбросил младенческие годы? Ведь первые впечатления бывают не в шесть и не в семь лет. Первое знакомство с миром происходит раньше. Первые понятия возникают в два и в три года. И даже, может быть, в год.

Тогда я стал думать; что же могло случиться в этом ничтожном возрасте?

Напрягая память, я стал вспоминать себя совсем крошечным ребенком. Но тут я убедился, что об этом я почти ничего не помню. Ничего цельного я не мог вызвать в своей памяти. Какие-то обрывки, куски, какие-то отдельные моменты, которые тонули в общей серой пелене.

Тогда я начал припоминать эти обрывки. И, припоминая их, я стал испытывать еще больший страх, чем тот, который я испытывал, думая о своем детстве.

Значит, я на верном пути,—подумал я.— Значит, рапа где-то совсем близка.

V. ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

То страшный мир какой-то был,
Без неба, света и светил.

Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте.

Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом.

Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери.

И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом.

Что же могло осветить эти сцены? Может быть, страх? Или душевное волнение ребенка? Да, вероятно страх и душевное волнение прорвали тусклую пелену, которой была обернута моя младенческая жизнь.

Но это были короткие моменты, это был мгновенный свет. И потом снова все тонуло в тумане.

И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к трем и четырем годам моей жизни. Некоторые же касались и двухлетнего возраста.

И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с двух до пяти лет.

Что кажется нам сладким на языке,
То кислому в желудке производит.

Открой рот

На одеяле — пустая коробка от спичек.
Спички во рту.

Кто-то кричит: «Открой рот!»

Открываю рот. Выплюываю спички.

Чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек.

Кто-то плачет. Я плачу громче и оттого, что горько, и оттого, что отпала.

Туфельки едут

Маленькие лакированные туфельки. Блестящие маленькие туфельки неопикуемой красоты. Они куда-то едут.

Эти туфельки на моих ногах. Ноги на сидении. Сидение синее. Должно быть, это пролетка извозчика.

Лакированные туфельки едут на извозчике.

Не отрываясь, я смотрю на эти туфельки. И больше ничего не помню.

Сам

Блюдец с кашей. Ложка направляется в мой рот. Чья-то рука держит эту ложку.

Отнимаю эту ложку. Сам буду кушать.

Глотаю кашу. Горячо. Реву. Со злостью колочу ложкой по блюдцу. Брызги каши летят в лицо, в глаза.

Невероятный крик. Это я кричу.

Птица в руках

Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее.

Человек поднимает птицу. Зачем? Чтоб она улетела? Она не может улететь. Она неживая. Она на палке.

Кто-то говорит: готово.

Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне два года и три месяца.

Заблудился

Мягкий полосатый диван. Под диваном круглое окошечко. За окошечком вода.

Я сползаю с дивана. Открываю дверь каюты. За дверью нет воды.

Иду по коридору. Возвращаюсь.

Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился. Кричу и плачу.

Мать открывает дверь. Говорит:

— Сиди тут. Никуда не уходи.

Петух

Двор. Солнце. Летают большие мухи.

Сижу на ступеньках крыльца. Что-то ем. Должно быть, булку.

Кусочки булки бросаю курам.

Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня.

Машу рукой, чтоб петух ушел. Но он не уходит. Приближается ко мне. И вдруг, поскочив, клюет мою булку.

С криком ужаса я убегаю.

Прогоните ее

На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня.

А я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле. И ем кашу.

Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на етол.

Я отчаянно реву.

Кто-то кричит:

— Он боится собак. Прогоните ее!

Собаку прогоняют.

Посматривая на кошку, я ем кашу.

Это нарочно

Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня.

Вдруг влет нищий с мешком.

Кто-то говорит ему:

— А вот возьмите мальчишка.

Нищий протягивает руку.

Ужасным голосом я кричу.

Кто-то говорит:

— Не отдам, не отдам. Это я нарочно.

Нищий уходит со своим мешком.

Дождь идет

Мать держит меня на руках. Беллит. Я прижимаюсь к ее груди.

Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву.

Мать закрывает мою голову платком. Беллит быстрее.

Вот мы уже дома. В комнате.
Мать кладет меня на постель.
Вдруг сверкает молния. Гремит гром.
Я сползаю с кровати и так громко рвусь,
что заглушаю гром.

Я боюсь

Мать держит меня на руках. Мы смотрим
зверей, которые в клетках.

Вот огромный слон. Он хоботом берет
французскую булку. Проглатывает ее.

Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки.

Вот огромный тигр. Зубами и когтями он
разрывает мясо. Он кушает.

Я боюсь тигров. Плачу.

Мы уходим из сада.

Мы снова дома. Мама говорит отцу:

— Он боится зверей.

Умирает дядя Саша

Я сижу на высоком стуле. Пью молоко.

Попалась пенка. Пью. Рву. Размазываю
пенку по столу.

За дверью кто-то кричит страшным го-
лосом.

Приходит мама. Она плачет. Целует меня,
она говорит:

— Умирает дядя Саша.

Размазав пенку по столу, я снова пью мо-
локо.

И снова за дверью ужасный крик.

Ночью

Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу.

Мать берет меня на руки.

Я кричу еще громче. Смотрю на стену.
Стена коричневая. И на стене висит поло-
тенце.

Мать успокаивает меня. Говорит:

— Ты боишься полотенца? Я уберу его.

Мать снимает полотенце, прячет его. Укла-
дывает меня в постель. Я снова кричу.

До двух лет

И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне...

I

Напрягая память, я стал думать о начале
моей жизни. Однако никаких сцен мне не
удалось вызвать из забвения. Никаких далю-
чих очертаний я не смог уловить. Даль сля-
валась в одну сплошную, однообразную тень.

Серый плотный туман окутывал первые

И тогда мою маленькую кроватку ставят
рядом с кроватью матери.

С плачем я засыпаю.

Заключение

И вот передо мной двенадцать историй
крошечного ребенка.

Я внимательно пересмотрел эти истории,
но ничего особенного в них не увидел.

Каждый ребенок сует в рот то, что под-
вернется под руку.

Почти каждый ребенок страпится зверей
собак. Плюет, когда попадает пенка. Обжи-
гает рот. Кричит в темноте.

Нет, обыкновенное детство, нормальное по-
ведение малыша.

Сложенные вместе, эти истории также не
разъяснили мне загадки.

Показалось, что я зря припомнил всю эту
детскую чушь. Показалось, что все, что я
вспомнил о своей жизни, я вспомнил напро-
сено.

Все эти сильные впечатления, должно
быть, не являлись причиной несчастья. Но,
может быть, они были следствием, а не при-
чиной?

Может быть, несчастное происшествие слу-
чилось до двух лет?— неуверенно подумал я.

В самом деле. Вель первые встречи с ве-
щами, первое знакомство с окружающим ми-
ром состоялось не в три и не в четыре года,
а раньше, на рассвете жизни, перед восхо-
дом солнца.

Должно быть, это была необычайная встре-
ча, необычайное знакомство. Маленькое жи-
вотное, не умеющее говорить, не умеющее
думать, встретилось с жизнью. Именно тог-
да, а не позже и могло произойти несчастное
происшествие.

Но как же мне его найти? Как мне про-
никнуть в этот мир, лишенный разума, ли-
шенный логики, в этот мир, о котором я ре-
шительно ничего не помню?

два года моей жизни. Он стоял передо мной,
как дымовая завеса, и не позволял моему
взору проникнуть в далекую таинственную
жизнь маленького существа.

И я не понимал, как мне разорвать этот
туман, чтобы увидеть драму, которая разы-
гралась на рассвете моей жизни, перед вос-
ходом солнца.

Что драма разыгралась именно тогда, я уже не имел сомнений. В поисках того, что лежало там, я бы не испытал такого безотчетного страха, который я стал испытывать, стараясь проникнуть туда, куда не разрешалось проходить людям, перешагнувшим младенческий возраст.

2

Я старался представить себя годовалым младенцем, с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными сверху ножонками.

Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти.

И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения.

Вот складки какого-то одеяла. Какая-то рука из стены. Высокая колеблющаяся тень. Еще тень. И еще рука. Какая-то белая пена. И снова длинная колеблющаяся тень.

Но это были хаотические видения. Они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроватью. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали и за ними снова была — пустота, тьма, ничто... Как сказал поэт:

Все в мутную слилось тень,
То не было — ни ночь, ни день.
То было — тьма без темноты,
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ,
То были образы без лиц.
То страшный мир какой-то был
Без неба, света и светил.

Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума.

И мне не удалось проникнуть в этот мир.

Нет сомнения — это был иной мир, иная планета, с иными, необыкновенными законами, которые не контролируются разумом.

3

Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе? — подумал я. — Чем оно защищается от опасностей, не имея разума, логики?

Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей?

Но ведь, даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней.

Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни.

Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы, — их вывели ученые, наблюдая над животными.

Это были необыкновенно строгие и точные законы, по-своему оберегающие маленькое существо.

Неважно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма — рефлекс, то есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне. Эта реакция, этот ответ и является защитой организма от опасностей.

В чем же заключается этот ответ?

Два основных первых процесса характеризуют рефлекторную деятельность — возбуждение и торможение. Комбинация этих процессов дает тот или иной ответ. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится, в сущности, к простейшей функции — к мышечному движению. То есть в ответ на любое: раздражение происходит мышечное движение, или комбинация этих движений. непременно целесообразных по своему характеру.

И принцип этого рефлекса, в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу.

Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освященный тысячелетиями, охраняет маленькое существо.

И, стало быть, первое знакомство с миром происходит по принципу этого рефлекса. И первые встречи с вещами вырабатывают привычку так или иначе к ним относиться.

4

Я прошу извинения — мне приходится говорить о предметах, весьма вероятно, знакомых просвещенному читателю.

Мне приходится говорить об элементарных вещах в расчете на то, что не все читатели твердо знают эти вещи. Быть может, они кое-что из этого позабыли и им нужно напомнить. Иные же просвещенные читатели, надо полагать, и вовсе ничего не знают, не находя интересным копаться в формулах, взятых из жизни собак.

А те, которые все знают и все помнят и, быть может, сами в этом работают, — те пусть не посетуют на меня, пусть без раздражения пробегут глазами две небольшие главы.

Я буду говорить о высшей психической функции, вернее об истоках ее — о рефлексах.

Это все равно, что говорить о первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом — истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла.

Когда-то великий ученый Ньютон выбрал закон тяготения, увидев яблоко, упавшее с

дерева. Не менее простая сцена позволила малому русскому ученому Павлову вывести закон условных рефлексов.

Ученый заметил, что собака в одинаковой мере реагирует и на еду и на шаги служителя, который несет эту еду. И на еду и на шаги слюнная железа собаки действовала одинаково. Стало быть, подумал ученый, в мозгу собаки возникают два очага возбуждения, и эти очаги между собой условно связаны.

Шаги служителя ученый заменил вспышкой света, стуком метронома, музыкальным звуком — слюнная железа собаки действовала одинаково. В том, конечно, случае, если эти новые раздражители хотя бы несколько раз совпали с моментом кормления.

Эти новые раздражители (свет, звук, гамма), повторенные несколько раз (в момент кормления), создавали новые нервные связи, весьма условные по своему характеру.

Другими словами — условный стук (или любой иной раздражитель) вызывал у собаки представление о еде. И на этот условный сигнал собака реагировала совершенно так же, как она реагировала на еду.

Эту условную нервную связь, которая возникла в коре мозга между двумя очагами возбуждения, ученый назвал «временной связью». Это была временная связь, ибо она исчезала, если не повторялись опыты.

Это было поразительное открытие.

5

Тогда ученый усложнил свои опыты.

Через лапу собаки он пропускал электрический ток. Эта операция сопровождалась стуком метронома.

Эта операция была повторена несколько раз. И в дальнейшем только лишь один стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию.

Другими словами — условный раздражитель (метроном) создавал очаг возбуждения в коре мозга и этот очаг «зажигал» второй очаг (боль), хотя раздражитель этого очага отсутствовал. Первая связь между двумя очагами продолжала существовать.

Тогда ученый увидел, что можно чисто материальными средствами вмешиваться в работу центральной нервной системы, можно строить любые нервные связи по своему усмотрению.

Ученый получил возможность управлять поведением животного, создавать в его мозгу новые механизмы.

Найден был общий физиологический закон, в основе которого лежала простейшая функ-

ция высшей психической деятельности — рефлекс.

Этот закон в равной мере относился как к норме, так и к патологическому состоянию.

Это было великое открытие, ибо оно рассеивало мрак в той области, в которой в первую очередь должна была быть абсолютная ясность — в области сознания.

Только ясность в этой области позволяла человеческому разуму идти дальше, а не возвращаться вспять — к дикости, к варварству, к мраку.

Это было величайшее открытие, ибо оно в одинаковой мере относилось и к животному, и к человеку, и тем более к младенцу, поведение которого не контролируется сознанием, логикой.

И в свете этого закона поведение младенца становилось ясным.

Младенец знакомится с миром, с окружающими вещами по принципу этого условного рефлекса.

Каждый новый предмет, каждая новая вещь создает в коре мозга младенца новые нервные связи, новые отношения. Эти нервные связи, так же как и у собаки, чрезвычайно условны.

Стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию. Крик, хлопанье дверью, выстрел, вспышки света, любой раздражитель — случайно совпавший (скажем) с моментом кормления ребенка и повторенный несколько раз, мог создать сложные нервные связи в мозгу младенца.

Вид шприца вызывал у собаки рвоту. Вид любого предмета, случайно причинившего ребенку боль, мог и в дальнейшем причинять ему страдания.

Правда, для возникновения этого рефлекса нужна была повторяемость. Ну что ж! Повторяемость могла случиться.

Но ведь эти нервные связи названы были временными. Они погасали, если не повторялись опыты.

Тут был вопрос, который следовало тщательно продумать. Ученый предложил только лишь простейший принцип, проверенный им на собаках. Психика человека сложнее. Умственное развитие человека не остается на одном уровне — оно изменяется, прогрессирует. И, стало быть, изменяются и нервные связи — они могут быть чрезвычайно сложными и запутаными.

Смерть помешала ученому продолжить свои опыты над животными, близкими человеку, — над обезьянами. Эти опыты были начаты.

Опыты над человеком не были произведены в той мере, как это подлежало сделать.

Это великое открытие — этот закон условных рефлексов, закон временных первых связей я хотел применить к своей жизни.

Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни.

Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть оттого, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был впрыснут яд.

Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу.

Но снова передо мной лежало препятствие — я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни.

Если бы я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, — я бы распутал дальнейшее. Нет, все было окутано туманом забвения.

А мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое.

Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком. И родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни.

Это были три дома. Но один дом сгорел. В другом доме я жил, когда мне было два года. В третьем доме я провел не менее пяти лет, начиная с четырехлетнего возраста.

И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето.

Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома.

Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил трехлетним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить.

И тогда я пошел к тому дому, в котором я прожил пять лет.

У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома.

Боже мой! Как все здесь мне было знакомо. Я узнал лестницу, маленький сад, ворота, двор.

Я узнал почти все. Но как это было похоже на то, что было в моей памяти.

Когда-то дом казался огромной машиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял небольшой захудалый трехэтажный домишко.

Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик.

Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я

трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса.

Какие пные глаза были тогда и теперь! Я поднялся на третий этаж и пошел дверь нашей квартиры.

Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо. И судорожно схватился за перила, не понимая, что это мной, почему я так волнуюсь.

Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти.

7

Я вернулся домой совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный.

В ужасной тоске я вернулся домой. И теперь эта тоска не оставляла меня ни днем, ни ночью.

Днем я слонялся по комнате — не мог лежать, ни сидеть. А ночью меня мучили какие-то ужасные сны.

Я раньше не видел снов. Вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро.

Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза.

Это даже не были сны. Это были кошмары, ужасные видения, от которых я в страхе просыпался.

Я стал принимать бром, чтоб погасить эти кошмары, чтоб быть спокойней. Но бром плохо помогал мне.

Тогда я пригласил одного врача и попросил дать мне какое-нибудь средство против этих кошмаров.

Узнав, что я принимаю бром, врач сказал:

— Что вы делаете! Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас оттого, что вы думаете о своем детстве. Только не этим сном вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир.

И тогда я рассказал врачу свой последний сон, и он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился и не поверил ему.

Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены.

Врач сказал:

— Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука — это хобот. Хобот — это фаллос. У вас сексуальная травма.

Я не поверил этому врачу и возмущался. И он с обидой ответил мне:

— Я вам растолковал сон по Фрейдю. Я его ученик. И нет более верной науки, которая бы вам помогла.

Тогда я пригласил еще несколько врачей. Они смеялись, говоря, что толкование снов — это вздор. Другие, наоборот, придавали снам большое значение.

Среди этих врачей был один весьма умный врач. Он мне многое объяснил и многое рассказал. И я был ему очень признателен. И даже хотел стать его учеником. Но потом отказался от этого. Мне показалось, что он не прав. Я не поверил в его лечение.

Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах. Он был правый фрейдист. В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал, как сон эротизма.

Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов.

8

Однако меня поразил метод этого лечения. Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди.

Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла, в сущности, из одного источника, из одного культа — из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая, медицина развивалась и культивировалась на единственной основе — на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа — сына Аполлона, бога врачевания, у греков — Асклепия.

Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых. Наконец — замечательных врачей — Гипократа, Галлена.

Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения.

Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон. И утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз какого-то рода недомогание у больного и, растолковывая его сон, освобождали якобы больного от страдания.

Эта древняя медицина имела, конечно,

тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на воображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение?

Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения.

История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий. Причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гипократ и Галлен.

Как же, однако, возникла эта идея толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину?

Я не мог ответить себе на эти вопросы.

И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и о сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий забытый мир младенца.

9

Что же такое сон с точки зрения современной науки?

Прежде всего это такое физиологическое состояние, при котором все внешние проявления сознания отсутствуют. Вернее — все высшие психические функции исключены, низшие функции — открыты.

Павлов считал, что ночью человек разобщается с внешним миром. И во время сна оживают заторможенные силы, подавленные чувства, заглушенные желания.

Это происходит оттого, что в механизме сна лежит торможение. Но это торможение частичное: оно не охватывает целиком весь наш мозг, не охватывает все пункты больших полушарий. Это торможение не спускается ниже подкорковых центров.

Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж — это кора мозга. Здесь — центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных павловых, жабриных сил.

Два эти этажа соединены между собой первыми связями, о которых мы говорили.

Ночью высший этаж погружается в сон. В силу этого сознание отсутствует. Отсутствует контроль, критика, условные навыки.

Нижний этаж продолжает бодрствовать. Однако отсутствие контроля позволяет его обитателям проявляться в той или иной степени.

Допустим, логика или умственное развитие затормозило или оттеснило когда-то возникший страх ребенка. При отсутствии контроля этот страх может вновь возникнуть. Но он возникает в сновидениях.

Стало быть, сновидение есть продолжение духовной жизни, продолжение психической деятельности человека при отсутствии контроля.

И, стало быть, сновидение может объяснить, какого рода силы тормозят человека, что устрашает его и что можно изгнать светом логики, светом сознания¹.

Становится понятным, почему древняя медицина придавала снам такое значение.

Вместе с тем приходится удивляться: современная наука только лишь недавно сумела разобраться в механизмах нашего мозга. Между тем на заре человеческой культуры, несколько тысячелетий назад, возникла идея — найти то, что во время сна не контролируется.

Мы не знаем, кому принадлежит честь создания древней медицины. В основе этой древней науки была светлая идея, блестящая мысль гениального человека.

Из рук гения эта идея перешла в руки бездарных, посредственных людей. И то в соответствии со своими возможностями свели ее до своего уровня, до степени шарлатанства.

Нечто комическое стало присутствовать в этой идее. Современный человек не может без улыбки рассматривать старинные сонники, старинные толкователи снов. Чуть и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг.

Правильная идея была ополжена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным.

И только в свете современной физиологии эта идея — проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение — становится ясной.

Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через

сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума.

10

Итак, два этажа имеет наш мозг — высший и низший.

Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных.

Как бы два мира заключены в сложный аппарат нашего мозга — мир цивилизованный и мир животного.

Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими. Побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе.

Казалось, именно в этой борьбе — источник многих первых страданий.

Однако беды лежат совершенно не в этом.

Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной первых страданий, эта причина не всеобъемлющая, это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная.

Этот конфликт высшего с низшим мог (и пусть) привести к некоторым сексуальным психоневрозам. И если бы наука увидела: этот конфликт, в этой борьбе, единственную причину — она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений.

Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология.

Мне кажется, что система Фрейда порочна именно в этом пункте.

Этот порок, эту ошибку легко было исправить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым.

Несточность в первоначальных установках расплывчатость в формулировке борьбы высшего с низшим создавало неточный вывод, уведило в одну сторону, в сторону сексуальных отклонений. А это не определяло дела. Это было лишь частью одного целого.

11

В конфликте высшего с низшим, в столкновении атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека Фрейд видел источник первых страданий. Фрейд писал: «Запрещенные методом культурной жизни и вытесненные в глубины подсознания, эти влечения существуют и дают о себе знать, прорываясь в наше сознание в искаженном виде...» Стан

¹ Дальнейшее показало, что можно иным путем, не только через сон найти причину патологического торможения.

быть, в победе разума над животными инстинктами была усмотрена причина трагедии. Другими словами — высокой разум подвергнут сомнению.

История человеческой мысли знает многочисленные примеры, когда разуму приписывались беды, когда высокое сознание подвергалось нападкам, и, стало быть, трагедию человеческого разума люди видели иной раз — в высоком сознании, в конфликте высшего с низшим. Им казалось, что победа сознания над низшими инстинктами несет беду, несет болезни, нервные страдания, слабость духа, психоневрозы.

Это казалось трагедией, из которой был единственный выход — возврат к прошлому, возврат к природе, уход от цивилизации. Казалось, что пути человеческого разума — ошибочны, искусственны, ненужны.

Я не считаю эту философию тождественной с философией фашизма. У фашизма иные корни, иная природа, но в отношении к разуму фашизм почерпнул нечто от этой философии, искажив ее, упростив, сплотив до уровня тупоумных людей.

Возврат к варварству — это не есть формулировка, предложенная фашизмом только лишь для нужд войны. Это есть одна из основных установок для будущего облика человека с точки зрения фашизма.

Лучше — варварство, дикость, инстинкты животного, чем дальнейший прогресс сознания.

Нелепость!

Люди, искусственно ввергнутые в варварство, ни в какой мере не избавились бы от тех нервных страданий, которые их тревожат. Землю населяли бы мерзавцы, с которых снята ответственность за их подлости. Но это были бы мерзавцы, которые не избавились бы от прежних страданий. Это были бы страдающие мерзавцы, еще в большей степени нездоровые чем прежде.

Вернуться к гармоническому варварству, о котором фантазировали люди, — не представлялось возможным даже и тысячи лет назад. А если бы такая возможность имелась — источник страданий остался бы. Ибо остались бы механизмы мозга. Мы не в силах их уничтожить. Мы можем только лишь

научиться обращаться с ними. И мы должны этому научиться с тем искусством, которое достойно высокого сознания.

Эти механизмы, открытые Павловым, мы должны изучить в совершенстве. Уменьше обращаться с ними обободит нас от тех огромных страданий, которые терпят люди с варварским скирпием.

Трагедия человеческого разума происходит не от высоты сознания, а от его недостатка.

12

Наука несовершенна. Истина — дочь времени. Будут найдены иные, более точные пути. Пока же с помощью тщательного анализа сновидения мы можем заглянуть в далекий мир младенца, в тот мир, который не контролируется разумом, в тот мир забвения, откуда иной раз берут начало истинники наших бед.

И тогда сон может объяснить причину патологического торможения, а павловская система условных рефлексов на примерах этих сновидений может устранить беду. То, что заторможено, может быть раскрыто.

Это заторможение можно снять светом логики, светом высокого сознания, а не тусклым светом варварства.

И вот все это продумав, я понял, что я могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках.

Ночью откроются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания уснут. И тогда тени прошлого, томящиеся в подполье, появятся в сновидениях.

Я захотел немедленно встретиться с этими тенями, увидеть их, чтобы, наконец, понять мою трагедию или ошибку, совершенную на заре жизни, перед восходом солнца.

Я захотел вспомнить какой-нибудь сон из тех недавних снов, какие я во множестве видел. Однако ни одного сна полностью я не мог припомнить. Я забыл.

Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу, о чем эти сны.

И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь.

VI. ЧЕРНАЯ ВОДА

Как свинец, черна вода,
И ней забвенья навсегда.

1

Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство.

Я давно собирался туда съездить. И вот,

гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню.

Это была деревня «Пески» по Неве, недалеко от Шлиссельбурга.

Боле двадцати лет я не был в этих местах.

Пароход не остановился у деревни «Пески». Там теперь не было пристани. Я перешел Неву на лодке.

Ах, с каким волнением я вышел на берег. Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань.

Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти.

Я шел по улице, и все здесь до боли мне было знакомо. Кроме людей. Ни одного человека я не мог узнать во встречных людях.

Тогда я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили.

Во дворе стояла немолодая женщина. У нее в руках было весло. Она только что прогнала какого-то теленка со двора. И теперь стояла разгневанная, разгоряченная.

Она не захотела со мной говорить. Но я назвал несколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил.

Нет, все эти фамилии принадлежали уже умершим людям.

Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей. И женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям.

С грустью я возвращался к своей лодке.

С грустью я шел по деревенской улице. Только улица и дома была те же. Обитатели были иные. Прежние пожилы здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтоб никогда сюда не вернуться. Они умерли.

Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть и как надо жить.

2

С превеликой грустью я вернулся домой. И дома не стал даже думать о своих поисках, о своем детстве. Все сделалось мне безразличным.

Все показалось вздором, чушью, в сравнении с той картиной короткой жизни, которую я увидел сегодня.

Стоит ли думать, бороться, искать, защищаться. Стоит ли по-хозяйски располагаться в жизни, которая проходит так стремительно, с такой обидной, даже комичной быстротой.

Не лучше ли безропотно прожить, как живет, и уступить свое жалкое место шныряющим побегам земли.

Кто-то засмеялся в соседней комнате, когда я думал об этих вещах. И мне показалось странным и диким, что люди могут смеяться, шутить, даже говорить, когда так все глупо, бессмысленно, обидно.

Мне показалось, что легче и проще умереть, чем покорно и тупо ждать той участи, которая ожидает каждого. В этом решении я неожиданно увидел мужество. Как был бы я поражен, если б тогда мне сказали о том, чем теперь я знаю — это было вовсе не мужество, это была крайняя степень инфантильности. Это было предиктовано страхом младенца перед тем, что я хотел найти. Это было сопротивление. Это было бегство.

Я решил прекратить свои поиски. И с этим решением я заснул.

Почью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что, даже проснувшись, я продолжал дрожать.

Я зажег лампу и записал свой сон, чтоб утром о нем подумать, хотя бы из любопытства.

Однако я не смог уснуть и стал думать об этом сне.

В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река. Мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое — бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу бегу прочь от берега. Бегу по полю. Поле почему-то синее. И кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю.

Я стал обдумывать этот сон, но ничего не попял.

Тогда я стал думать, что вот опять я увидел во сне воду. Эту темную, черную воду... И вдруг вспомнил стихи Блока:

Старый, старый сон... Из мрака
Фонари бегут — куда?
Ты лишь черная вода,
Ты забвенью навсегда...

Этот сон был похож на мой сон.

Я бежал от черной воды, от «забвенья навсегда».

3

Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море. Борюсь с волнами. Вот куда-то бреду по колени в воде. Или сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной. И вдруг вода поднимается все

выше и выше. Страх охватывает меня. Я убегаю.

Я вспомнил еще один сон. Я сижу в своей комнате. Вдруг, из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута, — и комната наполняется водой.

Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов.

Может быть частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику? Может быть, что-нибудь еще было связано с водой?

Я стал припоминать те сцены, которые я записал в поисках несчастного происхождения. Я снова вспомнил рассказ об утопленнике, рассказ о наводнении, сцены того, как чуть не утонул я, моя сестра.

Нет сомнения — вода была связана с каким-то сильным ощущением. Но с каким?

Может быть, я вообще боюсь воды? Нет. Наоборот. Я чрезвычайно люблю воду. Я могу часами любоваться морем. Могу часами сидеть на берегу реки. Я обычно езжу только туда, где есть море, река. Я всегда стремился найти комнату с окнами на воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтоб волны были почти у крыльца моего дома.

Море или река нередко возвращали мне спокойствие в той тоске, которая посещала меня так часто.

А что, если это не любовь к воде, а страх?

Что, если за этой преувеличенной любовью таится почтительный страх?

Может быть, я не люблюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я люблюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить?

Может быть, я слежу за ней с берега, из окна моей комнаты? Может, я располагаюсь поближе к ней, чтоб быть настороже, чтоб она не застала меня врасплох?

Может быть, это тот страх, который не ходит до моего сознания, который гнездится в нижнем этаже моей психики, оттесненный туда логикой, контролем разума?

Я засмеялся — так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно.

Не оставалось никакого сомнения — страх к воде присутствовал в моем разуме. Но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем.

4

Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенче-

ским дням. Чтобы его понять, нужно было отвлечься от обычных представлений, нужно было мыслить образами младенца, видеть его глазами.

Конечно, не в полной мере его образами — они, несомненно, были слишком бедны. Они изменялись вместе с развитием. Но символика их, видимо, оставалась прежней.

Мутная бурная река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло. Белая тряпка — пленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок «спасен». Но угроза осталась.

Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наввно, но не более наввно, чем должно быть.

Но как же это могло случиться? Все младенцы купаются. Всех ребят погружают в воду. У них не остается страха. Почему же я был утрашен?

Значит, вода не была первопричиной, — подумал я. — Значит, имелись еще какие-то объекты утрашения, связанные с водой.

Тут я вспомнил принцип условных рефлексов.

Один раздражитель мог вызвать два очага возбуждения, ибо между ними могла быть палочка условная первая связь.

Только лишь вода, в которую меня погружали не могла создать волнение в такой степени, как это было. Значит, вода условно связана еще с чем-то. Значит, это не был страх к воде, но вода вызывала страх, ибо первые связи соединяли ее еще с какой-то опасностью. Вот в какой сложности решался этот вопрос, и вот почему вода могла утрашать.

Однако, с чем же связана вода? Какого рода «яд» она содержала? В чем заключался второй несчастный раздражитель, «зажигающий» комбинацию столь бурного ответа?

Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, к которому так явственно тянулись первые связи.

Впрочем этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден, объекты весьма ограничены в своем количестве. Раздражители немногочисленны. Но моя неопытность не позволила мне сразу отыскать этот второй раздражитель.

Загадка не была разгадана, но ключи от нее были в моих руках.

Дальнейшее показало, что в основном я не ошибся. Я ошибся только в количестве очагов возбуждения — их оказалось не два, а

несколько. И они были переплетены между собой сложнейшей сетью условных связей.

Комбинация возникших очагов возбуждения давала тот или иной ответ.

5

Принцип условных рефлексов говорит о том, что нервные связи имеют временный характер. Нужна повторяемость опытов, чтобы они возникли и утвердились. Без опытов они гасают или исчезают вовсе.

Пу что ж. Вода в данном случае являлась превосходным и частым раздражителем в жизни младенца. Повторяемость несомненно была. Я не знал еще, какого рода был второй раздражитель, но мне было понятно, что его условная связь с водой могла утвердиться.

Но ведь потом, с развитием ребенка, эта связь должна была исчезнуть. Ведь повторяемость не могла продолжаться вечно. Ведь если не ребенок и не юноша, то, наконец, зрелый мужчина смог бы разорвать эту неправильную ложную связь. А она была неправильна, ошибочна — это очевидно.

Умственное развитие действительно борется с неверными, ложными, нелогичными представлениями. Однако ребенок, развиваясь, мог встретиться с иными, более логичными доказательствами опасности того, чего он боится.

Слова я стал пересматривать свои воспоминания, связанные с водой.

Доказательства опасности воды были на каждом шагу.

В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтоб умереть.

Какие веские доказательства опасности воды.

Нет сомнения — это могло утратить ребенка, доказать ему, что младенческое его представление правильно.

Эти своего рода «ложные» доказательства могли сопровождать меня всю жизнь. Это, несомненно, так и было. Вода сохраняла элементы утраченного, витала младенческий страх. Возникшие временные связи с водой могли не исчезать, они могли все сильнее и крепче утверждаться.

Значит, умственное развитие человека не уничтожает временных условных связей, оно только перестраивает их, поднимает эти ложные доказательства на уровень своего развития. И, быть может, угодливо выискивает эти доказательства, не слишком проверяя

их, ибо они и без проверки уживаются с логикой, падая на большую почву.

Эти ложные доказательства нередко сливаются с подлинными доказательствами. Вода действительно опасна. Но невротик воспринимает эту опасность не в том качестве, и реакция его на эту опасность также не в том качестве, как это должно быть в норме.

6

Но если это так, если вода была одним из элементов утраченного, одним из раздражителей в комбинации моего психоневроза, то какая же печальная и жалкая картина открывалась моему взору.

Ведь именно водой меня и лечили. Именно водой и пробовали избавить меня от тоски.

Мне прописывали воду и во внутрь и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Пытались на море — путешествовать и купаться.

Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска.

Это лечение могло усилить конфликт, могло создать безвыходное положение.

А ведь вода была только частью беды, может быть, ничтожной частью.

Лечение впрочем не создало безвыходное положение. Этого лечения можно было избежать. Я так и поступил. Я перестал лечиться.

Для того чтобы не лечиться, я выдумал нелепую теорию о том, что для полноты здоровья человек должен все время и без перерыва работать. Я перестал ездить на курорты, считая это излишней роскошью.

Таким образом я освободился от лечения.

Но я не мог освободиться от постоянного столкновения с тем, что меня утрашало. Страх продолжал существовать.

Этот страх был неосознан. Об его существовании я не знал, ибо он был вытеснен в нижний этаж моей психики. Часовые моего разума не выпускали его на свободу. Он имел право выходить только ночью, когда мое сознание не контролировало.

Этот страх жил почной жизнью, в сновидениях. А днем, в столкновении с объектом утрашения, он проявлялся только косвенным образом — в непонятных симптомах, кои могли сбить с толку любого врача.

Мы знаем, что такое страх, знаем его воздействие на работу нашего тела. Мы знаем его оборонительные рефлексы. В основе их — стремление избежать опасности.

Симптомы страха разнообразны. Они зависят от силы страха. Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях, и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич.

Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц.

Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям.

В основе этих симптомов была «целесообразность» — они преграждали мой путь к «опасности», они подготавливали бегство.

Животное, которое не может избежать опасности, притворяется мертвым.

Подчас я притворялся мертвым, больным, слабым, когда было невозможно уйти от «опасности».

Все это было ответом на раздражение, полученное извне. Это был сложный ответ, ибо условные нервные связи, как мы в дальнейшем увидим, были весьма сложны.

7

Можно допустить, что так поступает ребенок, желая избежать «опасности»? Но как поступает взрослый?

Как поступал я? Неужели я не боролся с этим вздором? Неужели только спасался бегством? Неужели я действительно был несчастной пылинкой, гонимой любой случайностью?

Нет, я боролся с этим, защищался от этой неосознанной беды. И эта защита всякий раз была в соответствии с моим развитием.

В детские годы поведение сводилось главным образом к бегству и в какой-то мере к желанию овладеть водой, «освоить» ее. Я пробовал научиться плавать. Но я не научился. Страх цепко держал меня в своих руках.

Я научился плавать только юношей, поборов этот страх.

Это была первая победа и, пожалуй, единственная. Я помню, как я был горд этим.

Мое сознание и в дальнейшем не уведило меня от этой борьбы. Наоборот, мое сознание вело меня к этой борьбе. Всякий раз я стремился скорей встретиться с моим могущественным противником, чтоб еще раз помериться с ним силами.

Именно в этом и лежало противоречие, которое маскировало страх.

Я не избегал пароходов, лодок, я не избегал быть на море. Наперекор своему страху я как бы нарочно шел на это единоборство. Мое сознание не желало признаться в поражениях или даже в малодушии.

Я помню такой случай на фронте. Я вел батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная, тем не менее я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти еще более легкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какой-нибудь пересохший путь через реку.

Было начало лета, и таких путей не могло быть.

Я был смущен только минуту. Я велел позвать разведчиков назад. И повел батальон через реку.

Я помню свое волнение, когда мы вошли в воду. Я помню свое сердцебиение, с которым едва справился.

Оказалось, что я поступил правильно. Переправы всюду были одинаковы. И я был счастлив, что не промедлил, что поступил решительно.

Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом нередко, приводил меня к недомоганию.

Страх действовал вне моего разума. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания. Но болезненные симптомы были слишком очевидны. О их происхождении я не знал. Врачи же фиксировали их в грубом счете — как неврозы, вызванные переутомлением, усталостью.

Чувствуя неравенство в силах, тем не менее я продолжал вести борьбу с неосознанным страхом. Но как странно шла борьба. Какие странные пути были найдены для сомнительной победы.

8

Изучением воды тринадцатилетний человек хотел освободиться от страха. Борьба шла по линии знания, по линии науки.

Это было поразительно, ибо сознание участвовало в этой борьбе. Я не в полной мере понимаю, как возникли эти пути. Сознанию не были известны механизмы счастья, и, быть может, поэтому избран был общий путь, как бы и верный, но для данного случая ошибочный, даже комичный.

Все мои тетради, записные книжки стали заполняться сведениями о воде.

Эти тетради сейчас передо мной. С улыбкой я просматриваю их. Вот записи о самых сильных бурях и наводнениях в мире. Вот подробнейшие цифры — глубин морей и океанов. Вот сведения о наиболее бурных водах. О скалистых берегах, к которым не могут подойти корабли. О водопадах.

Вот сведения об утонувших людях. О первой помощи утопленникам.

Вот запись, подчеркнутая красным карандашом:

«71 процент земной поверхности находится под водой и только 29 процентов суши».

Трагическая запись! Красным карандашом приписано:

« $\frac{3}{4}$ земного шара — вода!»

Вот еще трагические записи, из которых можно увидеть, каков процент воды в теле людей, животных, растений:

«Рыбы—70—80%, медузы—96%, каргофель—75%, кости—50%...»

Какая проделана гигантская работа! Какая бессмысленная.

Вот целая тетрадочка написана сведениями о ветрах. Это понятно: ветер — причина наводнений, причина бурь, штормов.

Кусочек из записи:

«3 метра в 1 секунду — шевелятся листья;

10 метров в 1 секунду — качаются большие ветви;

20 метров в 1 секунду — сильный ветер;

30 метров в 1 секунду — буря;

35 метров в 1 секунду — буря, переходящая в ураган;

40 метров в 1 секунду — ураган, разрушающий дома».

Под записью справка: тай — чрезвычайный, фунг — ветер. Тайфунг в 1892 году (остров Маврикия) — 54 метра в секунду!

Вот еще одна тетрадь о наводнениях в Ленинграде.

Перелистывая эти мои тетради, я сначала улыбался. Потом улыбка сменилась скорбью. Какая трагическая борьба. Какой «интеллектуальный» и вместе с тем варварский путь шло сознание для того, чтобы путем знаний «освоить» противника, уничтожить страх, одержать победу.

Какой трагический путь был найден. Он был в соответствии с моим умственным развитием.

9

Этот путь нашел отражение и в моей литературе.

По тут я должен оговориться. Я вовсе не хочу сказать, что этот путь — страх и желание уничтожить его — предопределяло мою жизнь, мои шаги, мое поведение, мою меланхолию, мои литературные намерения.

Вовсе нет. Моё поведение оставалось бы точно таким же, как если бы страх отсутствовал. Но страх усложнял шаги, усиливал недомогание, увеличивал меланхолию, которая могла существовать и без него, в силу иных причин, в силу тех обстоятельств, кои в равной степени относились и ко всем людям.

Страх не предопределял путей, но он был одним из слагаемых в сложной сумме действующих на человека.

Было бы ошибкой не учитывать этого слагаемого. Но ошибка была бы еще грубей — воспринимать это слагаемое как сумму, как нечто единственное действующее на человека.

Только в сложном счете решался вопрос.

Мы видели эту сложность в моем поведении. Основной двигателем был не страх, а иные силы — долг, разум, совесть. Эти силы оказались значительно выше низменных сил.

Моё поведение было в основном разумным. Страх не вел меня за руку, как слепца. Но он присутствовал во мне, нарушал правильную работу моего тела, заставлял избегать «опасностей», если не было более высоких чувств или обязанностей.

В общем прессе он давил на меня и, главным образом, воздействовал на мое физическое состояние.

Моё сознание намерено было устранил его. Умственное развитие избрало путь знаний. Профессиональные навыки литератора также приняли участие в этой борьбе. Среди многих тем, которые меня занимали — была тема, связанная с водой. К этой теме я имел особую склонность.

Полгода я провел над материалами Эрна, изучая историю гибели «Черного принца».

Работая над этой книгой, я тщательно обследовал все, что к этому относилось. Я выезжал на место работ, знакомился с водозащитным делом, собирал литературу о всех изобретениях в этой области.

Закончив книгу «Черный принц», я тотчас принялся собирать материалы о гибели подводной лодки «55». Эту книгу я не закончил. Тема перестала меня занимать, ибо к этому времени я нашел более разумный путь для борьбы.

Итак, изучением воды во всех ее свойствах я хотел освободиться от несчастья, от

несознательного страха. Этот страх не относился даже к воде. Но вода вызывала страх, ибо она была условно связана с иным предметом устрашения.

Борьба против этого страха, повторяю, находилась в соответствии с моим умственным развитием.

Какая трагическая борьба. Какое горе и какое поражение она мне сулила. Какие удары были предназначены для моего жалкого тела.

О каких же бедах от высокого сознания можно говорить?

Пока можно лишь говорить о разуме, которому не хватает знаний. Можно говорить о маленьком несчастном дикаре, который бредет по узкой горной тропинке, едва освещенный первыми лучами утреннего солнца.

10

Итак, первые шаги в поисках несчастного происшествия были сделаны.

Несчастное происшествие возникло при первом знакомстве с окружающим миром.

Оно произошло в предрассветных сумерках, перед восходом солнца.

Это не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный случай, поразительная комбинация случайностей.

Эта случайность создала неверные, болезненные представления о некоторых вещах, в том числе о воде.

Это была драма, в которой моя вина была не больше, чем страдание.

Однако эта драма до конца еще не раскрыта.

Змею мы рассекли, но не уббили.
Она сростется и — опять жива.

Надо было найти условные нервные связи, которые вели от воды к чему-то неизвестному, к чему-то, может быть, еще более страшному. Без этого вода не была бы предметом ужаса.

И вот, уверенный в своих силах, я пошел дальше в поисках моего несчастного происшествия.

(Продолжение следует)

При Бородине

Р а с с к а з

Двадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения неподалеку от флешей, укреплений, получивших позднее название «багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир 3-го резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.

Всего братьев Тучковых было пять, и четверо из них вышли в генералы. Были они ветвями хорошего дерева: на войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И куда б надо им всем троиц встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою у Валутиной горы, пленен французами. Когда братья соскочили с коней, обнялись, взоры их покрылись влагой: они вспомнили о брате. Они еще раз обнялись и каждый повторил про себя то, что сказал сегодня, узнав о предстоящем сражении: «битвенную долю полкинина беру себе». вслух же стали спрашивать: какое кому дело поручено в предстоящем сражении?

Александр Алексеевич, — по армейскому счету Тучков-четвертый, — красивый, стройный, волоокский мужчина в мундире темно-зеленого цвета, проводя перво рукой по лбу, — который он, кокетничая, увеличивал, подбравая верхние волосы, — сказал:

— Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал — полк защищает флешу. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?

Братья, в семейном кругу, называли друг друга именами, оставшимися с детства. Вихриком прозвали в детстве старшего брата — за его глущую и непослушливую стремительность. Выг — осталось за вторым; он в детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она — выгнутая назад», и это показалось забавным, стали это повторять, фраза сообразилась, и теперь уже плохо помнишь, что значит это слово.

— Поздравляю, Выгущка. Флешу — дюже назначен! Будете вы на них стоять как илюминированная картинка, — вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-пер-

вый: — А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести 3-й мой корпус к Старой Смолянке с тем, чтобы обрушить сей мой корпус на неприятельский фланг и ты, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.

— Прекрасно, Вихрик.

— Прекрасно? — Дыхание, короткое, гневное, подняло, широкие плечи генерала. — Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, говори! Но, какой же я секурс, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Я понимаю — москское омолочение, несут крест... тыфу! Да-с, сударь, это вам не илюминирование, это...

— Ты, Вихрик, всегда горячишься.

— А что же, мне бледному и почтительному, как улитка, быть, когда они с пиками, и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подругу! — свирепым голосом с потемневшими глазами, закричал он кавалеристу, державшему его коня.

Если Александр Алексеевич всем своим видом создавал вероятность существования ума исключительного, то брат его, голенастый и жаркий, показывал, что он может быть лютым и страстным воином. Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на не красивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата. Такой человек лишен мешкотности и томления; остаток надежды, будь тот с горошинку, он через минуту превратит в ристалище, где и примет вызов от судьбы, как бы ни был грозен этот вызов! Александру Алексеевичу по душе больше плавная и нежная мелодия, но разве не прекрасно это темно-багровое, искрометное, пеньящееся пламя?..

Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он

обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий именем попал под французские ядра и расплакался с испугу. У этого на всю жизнь клеймо от войны останется, ха-ха! Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и по лицу его можно было попятить, что он уже придумал, как приспособит московских ратников и их пики к бою. И, видно было, что выдумка эта ему очень нравится, и что она будет очень неожиданна и очень страшна для французов.

— Выгушка, а ты письмо домой с управляющим дойдешь?— спросил он.— Быстро оставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу,— лопатой испуга не спясть!

Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, и письма получались, слово в слово, приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже спиходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич невнимательно слушает его.

— Разве у тебя мало рекрутов?— спросил он.— Прислали? Сто? Двасти? Каковы? Перед самым боем изволили прислать укомплектования! И они осмеливаются считать своим законным правом заботу о России. У, подлецы! Я бы не только на их имущество, я бы на них самих наложил полное запрещение...

Александр Алексеевич слушал плохо, но чтобы не обидеть брата, занскиваяше улыбался. Подобно другим офицерам армии, Александр Алексеевич боялся прихода в часть рекрутов: как бы хорошо ни были они обучены, они могут разжижить не воинский строй, а воинский дух,— деятельную и беспрдельную ненависть к наполеоновским маюдерам, к этой жалкой и беспощадной ораве разбителей. Обычно боязнь эта оказывалась преувеличенной,— рекруты быстро проптызались духом армии, воспитанной на многолетней борьбе с Наполеоном, и через неделю другую рекрута не отличишь от старого мужилого, а все же стоит появиться толпе

рекрутов, как офицер смущенно заерзает, покраснеет и начнет кричать беспричинно на приближенных, вроде того как кричал сейчас па человека, держащего повод, Тучков-первый... Но не о рекрутах думал Александр Алексеевич.

Правда, думы начались с рекрутов. Сегодня, на рассвете, в его полк так же, как и в другие части, пришло укомплектование,— разумется, не такое огромное, преувеличенное, как укомплектование корпуса Тучкова-первого. Пришло сотни полторы здоровых, высоких и, видимо, решительных крестьянских парней. Александр Алексеевич осмотрел их и остался ими доволен. Лицо одного рыжего парня с толстыми щеками и широкой грудью показалось ему знакомым. Александр Алексеевич спросил имя и фамилию рекрута. Гулким голосом, хотя и чуть пришептывая, рекрут прокричал:

— Степан Карьин, ваше превосходительство!

— Во втором взводе у вас,— обратился генерал к поручику Максимову,— никак, есть Карьин? Да этот и лицом схож?

— Марк Карьин тебе кто будет?— спросил поручик у рекрута.

С неподвижным лицом, тем же гулким голосом, рекрут сказал:

— Отец, ваше благородие!

— Позвать сюда унтер-оффера Марка Карьина,— приказал генерал.

Выгирая на ходу руки о штаны, синеваый от испуга, прибежал и вытянулся перед генералом унтер-оффен Марк Карьин. Лицо его действительно походило на рыжего и мясистое лицо Степана, но война сильно выщелочила его: оно и суше, и решительнее. Превосходное лицо солдата! При виде этого лица генерал вспомнил Суворова, которого ему удалось видеть однажды в детстве, запомнил его голос, режущий воздух, как хлыст с кусочком свинца на конце, и, с несвойственной ему резкостью в голосе, сказал:

— Унтер-оффен Карьин! Рекрута Степана Карьина возьмешь в свой взвод!

Поручик Максимов командовал рекруту вперед-марш, и рекрут Степан Карьин пошел за своим отпом. Генерал тоже повернулся и пошел в свою палатку. На барабанах, перед ним, лежали листы бумаги, в бисерном футляре — чернильница, в графеном голубом стаканчике — перья... А письмо не писалось! Вернее сказать, писалось, да писалось не то.

Привязалась почему-то длинная и нелепая фраза: «Она так прекрасна, что даже непролазно-сонные будочники смотрят ей влез по улице, удивленно качая головой, пока она не скроется из глаз», причем фраза эта зву-

чала в голове то по-французски, то по-русски. Он знал, что никакие раскрасавицы не проймут будочников. Да и что ему будочники? А фраза между тем стучала и стучала в мозг, как молоточек. «Будочники, будочники...— думал он, с улыбкой выпиная и кладя перо в граненый голубой стаканчик.— Будочники...» Он боялся думать о любви, и думал о любви.

Ему — тридцать девять, а Маргарите Михайловне — тридцать один. В эти годы у других людей от любви остается, как при сожжении чего-либо растительного, дым, сажа, зола... А тут получился недожог, остался уголь, — и уголь тот еще в огне! Он и так и по-другому поворачивал в сердце этот тлеющий сладостно и горько уголь; ему страстно хотелось рассказать жене об этом томлении, которое при виде ее прекрасного лица вспыхивает огнем... И ему страшно было сознаться, что он не мог выразить этого. Оттого сейчас и любовь его к Маргарите казалась ему сбавом, который он тщательнейше скрывал от себя самого. Он давал думам волю, надеясь, что найдет те слова, которые надо положить на бумагу, а вместо того вдруг перед глазами вставало поле, холмы, поросшие березой и ольховником, недоведенные укрепления, поле, где решается вопрос жизни России, где разряжаются чувства, наполнявшие людей напих, чувства, обостренные отступлением. Бородинское поле!

Боясь показаться хвастливым, форменным и унылым, а если украсит себя в предстоящей битве, то — чванливым, Александр Алексеевич, однако, писал слова о родине и россях, — и слова эти словно бы определяли границы его мышления, его чувств. Прикованный мыслью к Бородинскому полю, он замирал и не находил других слов, которые вместе с этими говорили бы о любви его к Маргарите.

Тут ему вспомнились лица Карьных, отца и сына, оба рыжие, мясистые, грубые, земляные. Вот этим легко! Они в передней чувств не толкуются. Ушел, — и с глаз вои! Встретились — и не велика важность. Смотрите, как, почти не взглянув друг на друга, они пошли во взвод унтер-офицера Карьна, не выразив ни печали, ни радости. Да, таким легко. У них на все чувства один замок: два поворота ключом — закрыл, два поворота — открыл... Да, им легко!..

...А им совсем не было легко.

Степан Карьин пришел из семьи в четыре работника; а такой семье, в такую войну — все понимали ставки не миновать, и быть в той ставке Степану. Степан понимал это, и сам сказал: «Лоб!» А уходить все же куда

как трудно! В полях — уборка, на руках — молодая, желанная жена, на которую смотрел, задерживая дыхание; да и женился, к тому же недавно, весной.

И немного прошло времени, как растаялся, немного промаршировал под барабанный бой и команду «сомкнись!», — а какая тоска, какая мука, и в какое долготерпенье надо погрузиться, чтобы не думать о ней, жене!

Они с отцом сидели на краю небольшого, с высокой отавой, лужка. Позади, в березничке, расположился Ревельский полк; за березничком, меньше чем в полуверсте, находились флешы. Приближался вечер. Отец, хмурясь, нетерпеливо, с преувеличенным вниманием расспрашивал о деревне. Сын нескончаемо подробно, кротким голосом, отвечал ему. Отец пугал его. При отце Степан сам себе казался мешковатым, скучным и неповоротливым, хотя на самом деле он знал всю подноготную тяжелого кремневого ружья, которое выдали ему, все «экзерпсы» и даже отмечен был при стрельбе плутонгами.

И отцу Степан казался неуклюжим, пустым: этот и мушки на дуле не разглядит, а ведь грудь подходящая, как раз такая, какая требуется для военной работы! Марк Карьин вздыхал, и ему казалось, что генерал, отправляя сына в его, Марка, взвод тем самым намекал, что и он, генерал, видел в сыне его вельдню, требующее исправления. Марк присматривался, с какой бы стороны приступить к исправлению — исправлению немедленному, так как назавтра великий бой, и опытные солдаты уже моют рубахи, обряжают себя.

— Ну, хватит! — сказал решительный Марк. — Жить им в деревне долговечно, а нам к неприятелю быть долгорукими. Ты, Степан, слушай отца! Порох нам none выдают хороший, мускетный, пули льют в наше полку тоже хорошо, — па снаряженье не пожалуешься. А бою быть лютому, чую. А ты как, чуешь?

— И-и, что ж, — сказал вяло Степан. — Побьемся, раз лезет.

— Ружье в нашем полку крепкое, отдаст так, что человек может развалиться, алы язык сам себе откусит. Так ты, перед тем как огонь дать, вперед наклоняйся, слышишь? Откусываешь патрон, — думай, чтоб порох губами не замочить. Теперь, дальше. Сыпнешь ты часть заряда на полку, — следи, чтоб пороху лишнего на землю не просыпалось. Отдачи не бойся, порох береги. Ну-ял? — Он остро посмотрел на сына. Сын смотрел вокруг себя, как бы ища ружье: он хотел этим выразить свое внимание отцу

Отец же подумал другое, нехорошее, и голос его погрузнел, а речь стала торопливая:— Встрело высынай порох в канал, прибывай выжом! Ночь, вижу, понче будет сырая,— шь, понизу-то туман крадетя. Так я тебе дам промасленную тряпку, ты ружье укутай, оно тебе завтра жизнь спасет. Слышь, дурья голова?

— Слышу,— сказал Степан, глядя в небо.

Высоко в переливающемся, как закаленная сталь, небе летели журавли. «К ней, в ее сторону»,— подумал Степан и ему почему-то хлопмнулись большие висячие уши дворняжки, которая всегда выбегала к ней навстречу. Жена поднимала крутые плечи и смеялась. Расшитые подплечники ее рубашки дрожали... Степан не удержался и сказал в небо, как в детстве, когда желали журавлям, чтобы они вернулись:

— Колесом дорога!

— Ты чего?— строгим голосом спросил отец.

Степан забормотал:

— Бабка Ворониха говорит: раз журавли к третьему спасу летят.— быть ранним морозам; а нет— так зима позже...

Отец молчал. От журавлей мысль Степана опять вернулась к дворняжке с висячими ушами, от дворняжки — к подоюнику, который так легко умела носить жена, от подоюника — к ее пальцам, которых вдоволь не распелуешь... Он покраснел и сказал:

— Да я тебе никак не успел сказать. Бурешка-то наша полегла!..

— Говорил ты уж...— хмуро пробормотал отец.

Степан пытался удержать себя, но других слов не находилось. Ему виделась эта Бурешка, тонкомордая корова с белым пятном на лбу, чудились пизкающие звуки молока, падающего в подоюник... и маячили руки. Он говорил и говорил про корову — какая она добрая, какие у ней крепкие и сильные телята,— на сотню верст кругом знают про Бурешку! И надо ж такой золотой, царской корове пасть перед самым его уходом! Плою теперь будет хозяйству, совсем плохо. Когда он уходил из дому, дурной запах почудился ему, затхлость какая-то... Не к добру!

Марк смотрел в печальное лицо сына и думал: «Какой это солдат? Оскорбился, что корова съехала! Убыток, верно, большой, да-к ведь тут понче вся Расея требует подпоры! На что вздумал жаловаться!» Но Марк знал, что сын у него безугомонный, и что тут одним криком дела не поправишь. А злой враг уже подступил к горлу... Марк удержал

себя, даже закрыл рот рукою. Он встал и не говоря ни слова сыну, с крайне тяжелым чувством огорчения направился к генералу. После долгих переговоров,— денщик был одного села с Марком,— денщик согласился пойти в палатку. Генерал сидел в палатке, на турецком ковре. Перед ним стоял барабац, на барабане графинчик с водкой и два огурца. Графинчик был непочат, огурцы не надкусаны. Александр Алексеевич только что вернулся со свидания с братом. На душе его было грустно. Он отправил письмо, так и не выразив всех чувств, которые, он знал, надо было выразить! К чему тогда образование, множество книг, которые он прочел, к чему виденные заморские страны, встречи с умными людьми?... Он с радостью услышал о приходе унтер-офицера Карьина. Этот грубый, колочий и искристый, как снег, солдат, глядяшь, избавит его от мучительного томления. Хотя солдат был брит и опрятен, генералу он показался косматым и свирепым, как рысь. Александр Алексеевич сказал ласковым голосом:

— Говори, служивый, не бойся. Кто обидел?

— В нашем полку, ваше превосходительство, кто службу обидит,— высоким и неприятно запсвивающим голосом начал Марк Карьин.— Вот, сын приехал, ваше превосходительство. Спасибо, что заметили, обозначили.— И, без того вытянутый, он вытянулся еще больше и проговорил отчетливо, с расстановкой:— А сын-то, ваше превосходительство, печалится. За ден пять, как ему рекрутом идтить, пади у нас Бурешка, корова. И хорошая была корова! А, пала. Теперь в хозяйстве урон, беда. Он и тоскует...

— Еще бы не беда,— холодным голосом сказал Александр Алексеевич.— Корова в хозяйстве у мужика много значит.

— У, господи!— забыв об уставе, взмахнул Марк руками.— Еще бы да не много, ваше превосходительство. Вот я и говорю: «Стенушка, ты не беспокойся, ты смири сердце, у тебя все вернется». Так оно и есть!

— Что — так оно и есть?— еще более холодным голосом спросил Александр Алексеевич.

— Да, я говорю: его превосходительство подумает. Он пишет домой-то почесть каждый день, вот и напишет матушке-барыне, Маргарите Михайловне: «Так, мол, и так, у того унтер-офицера Карьина и у того рядового Степана, сына его, подохла коровенка, так ты выдай телушку хоть. Из тех породных, что халадскими зовутся...» Ведь наше-то село рядом, ваше прево...

Александр Алексеевич отвернулся. Через подвернутый край палатки видны были кусты деревьев,— тьма словно обрезала их ветви,— и за деревьями амстистое мигание костров, которое бывает всегда, после заката, в сырой вечер. Сырость преувеличивала объем французских костров и, наоборот, уменьшала зарево, видневшееся в стороне, за лесом, там, где расположен корпус Тучкова-первого. Зарево разгоралось, и чудилось даже потрескивание, выделялись отдельные предметы — то конь, то журавель колодца, то колокольня какой-то белой церкви... Так рассказчик, развивая свою мысль, добавляет то или иное описание, подробность... Вот, хотя бы рассказ об этой корове. Боже мой, какие грубые люди! Завтра — Бородино, решается судьба России, судьба наполеоновской Франции, меняется карта Европы, а он, русский мужик — о корове! Грифоны какие-то, не люди!.. «И я, — думал Александр Алексеевич, — я рассчитывал научиться простоте у него, получить облегчение! Нет, лучше страдания от любви невысказанной, лучше сознавать себя немым, чем эта серая простота!»

Вздрагивая от сырости, генерал сказал:

— Ладно, ладно, служба! Я завтра же напишу Маргарите Михайловне: получите корову. Или, служивый, иди, отдохни! Завтра — бой.

Солдат сделал быстро «кругом» и скрылся за полосой света от костра, который дежик уже развел возле палатки. Зарево у Семеновского оврага, возле Старо-Смолянки, исчезло, будто его отдернули, как занавес. Со стороны французского лагеря доносились мотивы знакомых песен. На душе было печально. Тоже, грифоны! Пришли в чужую страну и поют. Или они думают, что завтра им предстоит праздник, а не русский бой?..

Генерал попробовал прилечь. Но ни сон, ни еда, ни водка не шли в голову. Он покинул палатку. Костер мешал глазам, он отошел от него. Отовсюду десло кашей. Кашевары с большими ложками у больших котлов, приподнявшись на цыпочки и шурясь от дыма, брали пробу. Генерал невольно подумал, что вот сейчас унтер-офицер Марк Карьян и его сын Степан сидят у костра, ждут ужина и, наверное, говорят о корове. Внезапно, с каким-то скрежещущим томлением, генерал подумал: «Нет, не может того быть... да чтобы суворовские солдаты!» И, накинув плащ, он пошел направо, в лесок, туда, где была расположена рота поручика Максимова.

Поле жил своей обычной, несколько топяной, предпочной жизнью. Поужинавшие

солдаты крестились в сторону востока. Другие укладывались спать, положив рядом с изголовьем чистые белые рубахи. Некоторые из солдат спали на шинке, раскинув руки, как крестьяне после работы. Старые, поглядывая в сторону пылавших неприятельских костров, рассказывали об итальянском походе и Альпах. Тягости не чувствовалось, — наоборот, видна была на лицах хорошая предбоевая важность. Увидав плащ генерала, солдаты охотно вставали и снимали шапки. Им было приятно, что вот они укладываются спать, и некоторые уже спят, а генерал ходит среди них, беспокоится. Откуда-то прорвался ветер, захватил лапами деревья и потряс их; на фоне колеблющихся костров ветви деревьев, словно оскаленные зубы... Генерал увидел унтер-офицера Марка Карьяна. Зажав коленями сапог, он с напряжением в лице доканчивал шов... И опять генерал подумал, хотя лицо Карьяна, казалось, говорило другое: «Не может быть, чтобы суворовские солдаты?!»

Услышав голос генерала, Марк Карьян вскочил, держа в руке судорожно скомканное голенище. Генерал ласково сказал:

— Сиди, сиди, служба! — И, помолчав, он добавил: — Что же, передал ты своему сыну о корове?

Рядом с унтер-офицером генерал разглядел голову его сына. Теперь, при свете костра, лицо сына казалось менее грубым. Глаза его блестели совсем особенно, каким-то жемчужным блеском, и странны были его руки — не по-мужичьи гибкие, ираморно-белые. «Нет, не о корове он думает, — сказал сам себе генерал и перевел взор на отца. Широкий, упругий, признанный суворовский солдат стоял перед ним! — Нет, и этот думает не о корове, — опять сказал сам себе генерал. — То есть думает обо всех коровах, которые пасутся на всей нашей земле, и о всех пастухах ее, и о всех, кто возделывает землю и собирает плоды!»

Александр Алексеевич почувствовал себя хорошо и рассмеялся неизвестно чему. Солдаты, которых незаметно скопилось возле костра уже достаточное количество, тоже рассмелись. Тогда генерал достал трубку, закурил от костра и сказал Степану:

— Вот что, молодой, служивый. Я узнал, что твоя семья потеряла отличную корову. Я помогу достать другую, по хуже. Я знаю, что ты сейчас не о корове думаешь и унтер-офицер Карьян думает не о корове. Но и корова — ничего, — стодится, верно?

Отец и сын в голос, зычно отвечали:

— Так точно, ваше превосходительство, покорнейше благодарим!..

Но другое чувствовалось за этим, хорошо начерченны ответом. Не о корове думы Марка Карьина! Утвердившись на мысли, что сын его действительно способен думать перед боем только о жорове, старый солдат пришел за помощью к генералу. И как приятно пожать, почему сдвинуты сейчас эти старые, поседевшие в боях брови и эти крепко вытянутые ноги. И как приятно понять молодого солдата, еще не совсем оторвавшегося от дома, еще наполненного мыслями о красавице-жене, но уже готового к бою, уже понимающего смысл и необходимость боя. Генерал сказал:

— Степан, я буду писать домой, напишу, чтоб Маргарита Михайловна почаще заезжала к твоим и писала мне о жене твоей. А потом тебе ответ передам. Спокойной ночи, братцы!

И он, четко топя сапогами, ушел. Он шел и протяжно звал, словно он исполнил какую-то большую и приятную работу. Ему хотелось крепко выспаться перед боем, но он не лег. Придя в палатку, он сел у барабана и взял в пальцы перо. Сначала не писалось. Он глядел бессмысленно во влажную и пахучую темноту ночи. Костер потух. На светлографитном небе дробились звезды, словно крупницы пороха. Слабый ветерок чуть шевелил полу палатки, будто скребся кто-то... И вдруг в сердце словно ворвалось что-то огромное, свежее и душисто-серебряное. Очарованный этим нечеловеческим чувством, созная, что оно приходит в жизни единожды, Александр Алексеевич стал быстро писать своей жене. Уже слова не казались ему пустыми и тусклыми; крупные и словно яркорушковые фразы ложжились на перо-ловатую, чуть влажную от вечерней сырости бумагу. Он писал о любви к ней, о любви к своему дому, к своей матери, братьям, сестрам, России... Ради этой горделивой и святой любви он и его солдаты, — если потребует бог, родина, полководец, — положат свои жизни. И вы все, оставшиеся жить, поймете это и будете жить так, как необходимо богу, родине, полководцу!

Он писал и не чувствовал, что всхлипывает, что все лицо его мокро от хороших и горячих слез, и что за полой палатки, на брже, лежит его денщик, лицо которого тоже мокро от хороших и горячих слез, и что вдалеке, в лесу, под березой, лежат рядами — деляя вид, что спят, — отец и сын Карьины, и лица их тоже мокры от хороших и горячих слез, а еще дальше, в огромном шатре, лежит на походной кровати светлейший князь Кутузов, и лицо его мокро от хороших и горячих слез...

— Проворней заряжай! — кричал унтер-офицер Марк Карьин, поминутно угрюмо поглядывая на сына, как тот «саржирует» — заряжает. Степан саржировал хорошо, и помяну лицу Марка Иваныча стало светлеть, и ему было легко, словно опадала опухоль. Он оборачивался к поручику Максиму. Поручик то и дело командовал барабанщикам: сбор, унтер-офицерам — на линию, вперед равняйся — марш, батальный огонь, сомклись, не кланайся ядрам, ребята!..

Шел бой. Было Бородино.

Полк равнялся, выходил. За частоколом флешей дымила пыль. Сквозь нее шли французы. Передний, высоко поднимая ногу под барабанный бой, нес на палке сверкающую штуку, похожую на круглое долото. Поглядывая на эту штуку, поручик Максимов доставал рожок с порохом, оглядывал затравки у пистолета и подсыпал на полки пороху. А затем поручик, так же высоко задирая ногу, как французский знаменосец, шел впереди своей роты. И была схватка — рукопашная, русская, когда головы врагов разваливались, как тыквы!

Но и враги крепки. Французы начали атаки, как только после обильной росы обсохла трава, часов в семь. К одиннадцати утра сделали уже семь атак. Генерал Кюман водел атаку два раза. На второй раз свалили генерала русские. Взамен Наполеон послал генерал-адъютанта Раппа. Повалили и Раппа! Наполеон приказал маршалу Даву вести войска на флеш. Даву повел, ворвался во флеш... Багратион велит коптр-атаку!

Поручик Максимов резко дрыгнув ногой и визгливым своим голосом опять приказал роте стронься, вести батальный огонь. Поглядывая на полк... прекрасный полк! С горящими глазами стоит у знамени Тучков-четвертый, и лицо у него такое, точно испослала ему высочайшая благодать. Он видит всех, видит душу не только поручика Максимова, но и душу каждого солдата. Вот генерал смотрит — через все роты — в лицо унтер-офицера Карьина: таков ли? И генерал улыбается: таков! Вперед, ребята, за отечество!

— Ура-а!..

Французы тяжело падают в размяченную и грязную землю. Их топчут неупержимые бони, колеса орудий, артиллерийских повозок. Их лица теряют выражение развязло удали, и бесспокойное раздумье, а то и разочарование появляется на них. Французы выбиты из флешей. Маршал Даву коптужен и упал вместе с лошастью. На смену ему, в буйной и

пестрой одежде, размашистым шагом породистого коня, приближается король неаполитанский Мюрат. Подаль, атаку короля поддерживает маршал Ней. Таков приказ императора Наполеона. Низенький, в низкой шляпе, он наклоняется вперед, и, поглаживая себе колени, покашливая и усмехаясь, вглядывается в бой... Страшный бой! Страшны русские!.. Тревожно их стояние, оглушительны их батареи. Что за постылая страна?!

В одиннадцать утра — восьмая атака!

Восьмой раз на флешу идет двадцать шесть тысяч французского войска, знающего свое дело, натеревшего в победах. Они идут звонким, как песня, шагом; златозвонно колеблются над полками императорские орлы; залихватски-бесшабашно поют барабаны. Король Мюрат и маршал Ней ведут эти войска.

— Vive! Vive! Vive!

Против этих двадцати шести тысяч стоит восемнадцать тысяч русских — и все! Резервов нет. Отступить нельзя. Падо стоять. И стоят Марки и Степаны Барынины, стоят и падают, падают и поднимаются, паспех перевязывают раны, идут в рукопашную. Пораженный картечью, ранен смертельно Багратион; контузен начальник его штаба Сен-При...

Через полчаса девятая атака французов. У фаса передней оборонительной линии флешей выстроился Ревельский полк. Подпрапорщик Тоськин держит полковое знамя. Он моргает глазами и время от времени, когда над полком летит ядро, мнет рукою лицо. Полк, осыпaeмый картечью, стоит без выстрела, держа ружья под курок. Впереди полка прославленная рота поручика Максимова, а в первой шеренге роты — унтер-офицер Марк Иванович Карьин и его сын Степан.

Генерал-майор Тучков-четвертый, в кожаном картузе и темозеленом спензере с черным воротничком и золотыми погонычками, ждет, слегка покачиваясь от напряжения и легкого охьянения боем. Он счастлив, как никогда. Все окружающее — войска, ядра, облака в высоком и узорном небе, выстрелы и даже смерть кажутся ему веселыми, воздушными и вкрадчиво-сладкими. Он вглядывается в приближающихся французов, видит скачущего короля Мюрата и чувствует, что всего его охватывает косматая и дивно-грозная злоба. И все, кто окружают его — он знает это — тоже охвачены этой злобой. Еще три, пять минут, и они ринутся!..

И ему мерещится белая фуражка брата и его лохматая, как жнивье, бурка, которую он носит всегда во время боя. Он выстроил жарре гренадер, свой любимый Павловский

полк, и тоже шагает вперед. Он выходит в оврага, что перед Утицей, и проходит развалины сгоревшей деревни. На улпце мечется голосистая белая курочка, а у забора, в крапиве, лежит мертвый мальчик... Вперед за отечество!..

— Вперед, за отечество! — крикнул Александр Алексеевич, выхватывая у прапорщика Тоськина полковое знамя. Тоськин, зная, что так надо, тем не менее без схоты отдаст знамя, а отлав, выхватывает тесаки и шагает плечо в плечо со своим генералом. Барабанщики бьют марш-поход. Полк идет навстречу французам. Впереди — рота поручика Матвеева, и в этой роте, со знаменем в руке, генерал-майор Тучков-четвертый, а налево, через пять шагов, Марк Карьин — унтер-офицер и его сын Степан — рядовой...

* * *

...Было тихо и совсем почти стемнело, когда к безлюдным флешам, покрытым трупами, подъехал верхом на коне человек побольшего роста, в сером до колен сюртуке и низкой треугольной шляпе. Он поглядел на траверсе — поперечную насыпь в укреплении, прикрывающую солдат от сквозного рикошета. На траверсе, вместо русских, лежали мертвые французы. Небольшой человек в сером с трудом нашел среди них нескольких русских солдат и двух офицеров, один из которых был, повидимому, генерал. Обратила его внимание также и лица двух солдат — рыжих, спокойных-величавых, похожих друг на друга. Это были Марк и Степан Карьины; а мертвый генерал — Тучков-четвертый. Пуля навывлет убила его. Мертвые очи генерала смотрели не на человека в сером, хотя он и был императором, а на юг, где, возле Утицы, должен был стоять корпус Тучкова-первого, брата его. Мертвые очи не видели и не знали, что и Тучков-первый ранен смертельно и умрет через три недели от раны; не знали они, что мать их, проливаячи неудержимые слезы, ослепнет от слез и горя; что прекрасная жена, Маргарита, пострижется в монахини и построит монастырь над тем местом, где погиб муж ее. Не знали они... Да и зачем им было знать это?!

Из-за укрепления показались санитары. Они осторожно, зная, что возле укрепления остановился император, песли смертельно раненого гренадера, из тех, которых вел Мюрат. Гренадера, перед своей смертью, ранил Марк Карьин, — и очень поразовался тому, как ловко работает и он, старик, и сын его рядом. Чтобы утешить гренадера перед смертью и чтобы побольше было записано в историю

распевных и звонких слов, человек в сером плаще спросил:

— Сколько взято пленных?

Умирающий гренадер, словно сквозь сон, услышал вопрос императора, и подумал, что вопрос этот обращен к нему. Умирающему не за чем выслуживаться, он имеет право говорить правду, а кроме того, умирающий видел, что русские своей обороной разбили то непобедимое и блестящее, что было его, гренадера, жизнью. Вот почему гренадер из последних сил сказал:

— Ваше величество, они не сдаются живыми!

— Eh bien! Nous les tuérons!¹ — быстро ответил Наполеон, и было в его голосе такое, что ему самому, если б он пожелал прислушаться, могло показаться стра-

¹ Превосходно! Мы их уничтожим!

шным. Одно короткое, чрезвычайно тоскливое мгновение сказало ему, что существует не только Аустерлиц, но и Бородино; что отсюда, с этого дня, он вынужден будет повернуть и политику свою, и, что горше всего, стратегию: всегда нападающий — он перейдет к обороне... Но он не остановился на этом иговеице, а, сделав сияющее и праздничное лицо, стал смотреть поверх укреплений, на восток, — туда, где по его мнению, его ждала всемирная корона и всемирное рабство.

Восток был в летучей, мерцающей дымке, подальше переходящей в глубокую и повелительно-гордую тьму. В тьме этой незбылемо и стародавне, с голубоватым блестящим отливом, светились огни. Это были костры русских войск, фронт которых так и не удалось прорвать Наполеону при Бородине.

Близ старой Смоленской дороги

Рассказ

В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.

Клубы золотисто-зеленой пыли, пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню...

— Горки?

— Горки, — недовольным голосом отозвался кучер. Василий Андреевич мягко улыбнулся на это раздутое недовольство. «Ахти, батюшки! — думает кучер. — Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император, небось, уже скачет по Москве; ведь даже продолговатая карета митрополита, темнобронзовая, блестящая, похожая на огромную садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их. А теперь кто обгоняет, тыфу!»

Тарантасы, по самые края налитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнущие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые до дна солнцем толстые офицерские баулы со спящими на них немоверно пьяными денщиками. Прямо-волосые мопахи и пышно-волосые дьяконы, покрывающие своими пахальными голосами пыльный, трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колоннальных товаров. Кипарисы на раздутых и деспотически неутомимых конях. Уланы на «степистых» — колесом шея...

Дальние помещики с закругленными лицами и крикливо-папыщеничьими, — как им тумалось, по-московски, — голосами. Бухонные мужики. Плетенки с незарезанной еще птицей, эффектно тому радующейся: гогочущей, кукурекающей... Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи... И, над всем этим, пыль, пахнущая ванилью, — должно быть оттого, что по дороге, перед проездом государя, разбросали множество словых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни — вслед за зрителями идет стоятидесятитысячная масса войск, парадировавших при открытии Бородинского обелиска.

Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Царево и проселком выехать к холмам на старую Смоленскую дорогу в том месте, где позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад, стояли, в ожидании боя, полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.

Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а того более — еще раз увидеть былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят

шесть... и двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в повенском ополченском мушкетере, жавшем подмышкам, стоял в кустарниках: «Ядра, невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело...»

Он смотрел на хуторок, мимо которого катилась коляска, и ему, за живьем, представлялись клубы сизого дыма, словно тысячи огромных кулаков, неизвестно кому грозящих... земля содрогалась и была шершава, как шагреновая кожа. Ах, какой был тогда косматый и грубый день! Видишь его туманно, будто сквозь прокоптелое стекло, и тем не менее сердце болит попрежнему.

Здесь, именно здесь, а не в лагере под Тарутинном, сложились строфы «Певца во стане русских воинов», поэтике: «защитой бо града единый был Гектор». Здесь, — защищая Москву, — родились эти слова, что в тысячах списков разнеслись по всей России. Хорошей болью болело сердце, когда писались эти строки, воспевающие златорядную и безбрежную решимость биться за родину, отчизну, землю, семью...

Длинный кухонный обоз, видимо принадлежавший какому-то генералу, важному и родовитому, звучно выходил на проселок из кустов. А там, в кустах на полянке, лакеи доедали остатки обеда, хохоча над каким-то дурачком, который плясал перед ними, высоко вскидывая ступни, нирокне, растоптанные, с отшельно торчащими пальцами, так что ступни его походили на птичьи лапы. Василий Андрееч видел и пляску, и лакеев, и даже кусок гусиного крыла в гнилом рту лакея. — и не видел ничего.

Ему представлялась его семья, мать... дивная, какая-то вся прозрачная, турчанка с проделанно-заостренными ресницами над древними, медленно разгорающимися и словно бы лиловыми глазами. Как она попала сюда — с лучезарного Босфора в прохладно-душистую Тульскую губернию? Ах, не пужно думать! Жизнь суть пронасть слез и страданий. Помещик Бунин прижил с нею ребенка. Много лет спустя этого ребенка и мать взяли в семью помещика, — и все же мать должна была стоя выслушивать приказания барыни. И сын этой турчанки, лицо которой всегда казалось иззябшим, стоя выслушивал приказания Жизни:

Считаю ль радости минувшего — как мало! Нет! Счастье к бытию меня не причало; Мой юншеский цвет без запаха отцвел...

Вспоминается ему пугливый и тревожный дом Протасовых в Белеве. Долохастые комнаты; поседелые и равнодушные окна, за

которыми даже лазурь неба кажется серой и мечтательная Маша Протасова с ресницами и мерцающими глазами. Он преподает русский язык — такой дунно-нежный и ласковый. В 1812 он у Е. А. Протасовой — крутой и пезыблемой женщины с мрачными бровями над кремнистым и презрительным лбом — просит руки старшей дочери, Маше Гордо сказав губы, одним звуком носа, ей отказывают. Он уезжает в Москву. Ополчение, «Певец во стане...», — и жадный и зловонный тиф, от которого остались в памяти трепещущие коралловые пятна далеких островов в неизвестном море... Еще раз он просит руки Маше. Еще раз ему отказывают... Маша выходит за профессора Мейера, а зоркая любовь попрежнему полноым-полношененко наполняет его, так что никакне тряски дорожника никакне придворные ступени, — а он поднимался во все дворцы России и Европы, — не вытеснили его любви...

...Он услышал тягучий голос кучера:

— Василий Андрееч, прикажешь у кустов ждать, али на дорогу выехать, да стегануть покамест войско-то не догнало. Вот их сколько! Ведь их пропускать, — к утру в Можайске не будешь!

На западе, в сизоватых тенях вечера, колебалось теплое и пурпурное облако пыли. Слышался мерный шаг пехоты. Тренильно скользил беглый блеск штыков. Обрывисто зампрала песня, будто и в этом поле тесно ей, беспредельной, самозабвенной, русской... Василию Андреечу приятно было ощущать рукой узорчатую ветвь кустарника, смотреть на стадо, в зыбкой голубовато-зеленоватой дымке понимающеся по кособору, приятно было чувствовать себя сумрачным, седым и таинственно-тоскующим. Он хотел сказать: «Постойм, пропустим войско», да не успел. Он вздрогнул от раздавшегося возле самого плеча женского голоса:

— Барин, батюшка. А то не тучковский полк идет?

— Какой — тучковский? Нет в армии такого!

В мохнатом, малиновом луче заходящего солнца он разглядел в кустах старуху, одетую в длинный крестьянский зинуш, с широкого, должно быть чужого плеча, сплпно потрепанный по краям. Старуха, стоя спиной к солнцу, торопливо запакивала рваные полы, за спиной ее колыхалась котомка. Голос у нее был вслуганный, молящий, а лицо с крылатыми седыми бровями являло следы былой красоты. Надо полагать, то была боготомка, которой до гробовой доски ходить по монастырям да купеческим прихожим...

Но правились эти серые лица Василию Андреечу.

— Иди, или, старуха,— сказал безжизненным голосом кучер.— Иди, вот тебе кусок. Иди. Говорят тебе — нет такого полка. Чего тебе лезть? Иди.

— Иду, иду, батюшка,— торопливо отозвалась старуха,— и не надобно мне твоего жеста, иду. А только сделай божеску мизюта... уныло у меня на душе... земля, воп, та сотряслась да и замерла, отдыхает, а я не могу. Ты мне скажи: не тучковские ли солдаты иду? Тьмотьмушее войско идет, где мне разобрать, старой да грешной, где разобрать, и так будто под колоколом, такой шум... весь день хожу, тучковский полк иду...

«Какой тучковский?— подумал Василий Андрееч, глядя на мутно-мраморное лицо старухи.— Ах да! Не тех ли двух братьев Тучковых, что пали при Бородине. Сегодня, кстати, при открытии обелиска показывали впокину Марию, что постриглась после смерти мужа... как она постарела, однако! Да разве имение Тучковых здесь?.. и полк Тучкова — какой же? Пугает что-то старуха».

Он опять обратил глаза к стаду. Было в стаде что-то стерновски-трогательное. А его коляска разве не коляска в Кале, и сам он не Пюрк, и эта старуха не напоминает отца Юрению? Ему захотелось поговорить со старухой. Движением руки он остановил кучера, который взял было старуху за шнур. Указывая на стадо, он сказал:

— Хороший, крупный скот, матушка. Тучковых?

— Не, не, батюшка,— торопливо заговорила старуха.— Звoryкинных будет скот, Звoryкиных. Тучковых здесь нетути. Тучково войско идет, мне бы на его посмотреть, батюшка... да, вот хожу весь день, и все парод попадаетея жесткой, будто кора на немедная, прости, господи... А стадо, батюшка, звoryкинское, они крупный скот держат, у них, сказывают, бык пятьдесят пудов весу...

— Эка, бабка, хватила!— сказал кучер, покачивая плечом отлично пахнущую свежей кожей, розовато-сизую от вечернего солнца, коляску.— В пятьдесят пудов каркадил весует, а ты — бык. Быку настоящий вес — от силы двадцать пуд, а ты — полсолони. Откормила, ха!

* * *

Старуха Агриппина Карьина встала сегодня раным-рано, когда пухлая синева лежала еще по всей земле. Бесшумно ступая, вышла она на крыльцо избы и посмотрела на

небо — каков-то попо день? Вчера Пья, второй ее сын,— старший жил в Москве,— отпустил ее с трудом. Да и как отпустишь? Хлеба, несмотря на долговременную засуху, колосовиты, большекососы,— сжать их ждали, надо молотить поскорее, пока не ударили дожди, а они, судя по всем приметам, где-то рядом. Пья, жадный и спорый на работу, молотит с утра до ночи, цеп его стучит, высоким и крылатым говором выговаривая: «урюжай, урю-жай», и непонятно ему, зачем стремится мать к Бородинскому полю. Верно, был случай, полегли на том Бородинском отец его Марк Иванович и брат Степан. Но вель было это двадцать семь лет тому назад! «Папикидку отслужить? Почему же не отслужить? Зачем только сейчас, когда такое горячее время, когда весь ты в липком поту от работы, как в меду? Вот отвезем тяжелые и тусклые возы с зерном, засыпаем его... привезем домой белесоватые мешки муки, испечем пироги,— вот тогда можно и «папикидку!» Непонятно Пье желание матери, и долго он ворчал, прежде чем отпустил ее. Старуха пустилась на все хитрости — и поделужится-то ей, и помолиться-то ей надо в Спасском монастыре, и свечечку-то о здравии ввучка, что кашляет, надо поставить...

И вот перед нею толкое и сырое живнвье. Восток уже рыхл и разноцветен. Подвязав полу зипуна, опустив пониже котомку, где плещется в крынке с узким горлышком молоко, перекатываются четыре яйца, краяха хлеба, данная на дорогу, и, на дне, завязаны в уголке платка заветные два рубля — «на полную папикидку», — старуха торопливо идет проселком. Путь дальний. От ее деревни лишь до Спасского шесть верст, а от монастыря до Бородина еще считают чуть ли не десять.

На сердце у старухи и легко, и тоскливо. Впрочем, тоска какая-то бессильная, и старуха думает, что вот отслужит «папикидку», даст полу и дьякону устатовленное, услышит благодарность, и ей сразу станет легче. Поп и дьякон, разумеется, за такие большие деньги, какие она предложит им, выслушают всю ее повесть. А как хочется рассказать эту повесть! Деревня знает страдания старухи давно — из слова в слово — о том, как уже много лет служил «в ревельском» Марк Иванович, и как пошел француз, и как приказали собирать тех, кто побезугомонней, чтобы направить их в тот же «ревельский», против француза. А кто будет безугомонней Степана Карьина? Хвоцевы? Лобовы? Жилины? Мискалевы? Нет такого парня, как Степан Карьин! Он сам сказал: «Юб! Иду,

«матушка, прости». И день был, как сейчас она помнит, солнечный, разве-разве набегит влажное облачко, и не из облачка упала голубая слеза, а из ее глаз. Простите, добрые люди, зыбкое бабуе сердце — мать! И пошла она провожать его, как речпо водится, за околицу, как провожали на татарву, на печенега, на половца. Тусклым взором смотрела она ему вслед, прогрета солнцем земля под ее ногами, а кажется ледяной. Рухнула она безгласно на землю, только лишь скрылась за пригорочком Степан, что шел к своему отцу на подмогу... Простите, добрые люди, зыбкое бабуе сердце. Понимаю — земля зовет, знаю — пале, а на душе холодно и нemo... Выслушают ее поп и голосистый дьякон, вытрут бороды, закапающие воском свечей, и скажут: «Многие грехи тебе простятся, мать, многие, повеже муж и сын твой пали на поле бранном». И тогда скажет она: «Ох, батюшка, грехи мои тяжки!» И станет ее поп выспрашивать о грехах, и вспомнит она, как молодой любила плясать, как ела на Петровке мясное, как однажды обсчитала дьячка на три копейки и педодала творогу в «пасхальное»... И скажет поп: «Прощается, мать, тебе грехи твои!» и станет у ней из душе легко-легко, будто кто-то сумрачный взмахнул крыльями и улетел.

Солнце поднялось, когда она подошла к Спасскому. Привратница, с неподвижно-мягким лицом и искрытыми глазами, сказала ей, что весь причт и все монахиши уже ушли на Бородинское, а вот ей горе — сиди у пустой обители да считай галок, которые от орудийных залпов понесутся. Старуха горестно всплеснула руками. Как же так? Ведь ей необходимо надо уговориться с отцом Николаем насчет «папикидки», на том самом на Бородинском, по убиенным войнам: Марку и сыну его Степану! Два рубля припасено. Она достала эти две засаленные и шелковиесто-холодные бумажки, показала их привратнице. Привратница соболезнующе покачала неподвижным лицом и пояснила, где старуха может найти отца Николая, — не очень, впрочем, убежденная, что его найдешь.

Старуха потопталась и так как разговаривать ей с привратницей было некогда, то, положив четыре яйца рядом с теплым сидением привратницы, от которого шел тонкий запах серы и ладана, спросила: «А где ж иноклия Мария?» Иноклия Мария, бывшая прежде женой генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова-первого, погибшего вместе с мужем и сыном старухи, тоже, оказывается, равным-рано, сильно волнуясь, уехала на Бородинское. Еще бы не волноваться?! Сказывают, государь пожелал ее видеть, при-

казав ей встать чуть ли не у самого изголовья гроба с прахом Багратиона, который будет выставлен у подножия обелиска.

Услышав эту весть, старуха безропотно перекрестилась и пошла к Бородинскому.

Тупая, тяжелая, огненно-неолименная жара стлалась над нею. Серая пыль лежала на дороге, люто загоразивая от нее людей. Старуха в мертвешней тоске-кручине не замечала ни жары, ни пыли, ни шумной толпы, переполняющей дороги. Она шла и шла. Подступуна билась по ее тощим ногам. Ласковая напряженность светилась на ее лице. Она подходила к тарантасам, каретам, бричкам, дрожкам, а то и к отдельным прохожим, спрашивая, где тут найти отца Николая, чтобы заказать «папикидку». Холодно-равнодушные смотрели на нее люди, отвечая ей либо кичливым пожатием плеч, либо глумливым хохотом, либо пустой ложью.

А солнце в хрустально-беспечном небе поднималось все выше и выше. Томителем и зловец был для старухи всюду пропикающий блеск его. Она со страхом поглядывала вверх.

Наконец она увидела Бородино. Испуганная ее строгая линия солдат, замгнутая в тожительно-торжественный блеск штыков. Все же, переборов свою робость, подошла она к усатому, расшитому серебром и спросила опять-таки об отце Николае. Солдат сказал ей, что того отца Николая теперь шесть лет искать не найдешь, так как поны сюза съехались со всей земли, и даже есть афонские! Он зевнул и предложил ей отойти в сторону.

Она и пошла в сторону, прямо по жнивью, к тому месту, где среди поля виднелся колокий купол обелиска.

Не попала она к обелиску.

Зажатая телегами, на которых лежало угощение для «оставных», некогда участвовавших в битве, собравшихся из разных мест на праздник, она видела расписанный ржавчиною-красными кругами задок телеги, пестрово-толетый круп лошади и лютые от жары морды лошадей вокруг. Оглушенная залпами орудий, криками «ура», топотом конских копыт, от которых дымилась земля, старуха, схватившись черными руками за телегу, замерла недвижно.

В телеге спал какой-то паренек с глухой мордой, похожий на тетерева и такой же краснобровый. Старуха не видела его. Гремучий и звонкий праздник пестря возле нее — она не слышала его, не видела.

Не видела она памятник бородинский, у подножия которого стоял гроб Багратиона, покрытый пышным парчевым покровом. Не видела императора, высокого красавца в яр-

ной одежде; не видела разноцветных посланников; ни высоких хоругвей, зыбко блещущих золотом; ни крестов, вздрагивающих в руках священников и епископов, необыкновенно обрадованных тем, что они идут перед царем и полторастотытысячным войском. Не видела она прекрасных грузинских княгинь, что стояли возле своих мужей, сляпущих белеющей одеждой и звучным оружием. Не слышала размеренно-радостного пения клира, ни того, как митрополит, дружный и высокий старик, приблизился к алтарю. Не видела густых колонн войск, амфитратом поднимающихся одна над другой. Не видела ипвалков бородинских, и не видела она инокнии Марии, которая, действительно, стояла недалеко от гроба, скромно опустив некогда великолепные очи, ныне окруженные зловедущими темными пятнами приближающейся смерти. Не видела того, что на инокнию Марию действительно благосклонно взглянул император. Не видела и отца Николая, да и не увидеть его среди тысячи монахов и священников.

— Великой державе российской... — провозглашает первосвященитель.

— Ура-а!.. — отвечает полторастотытысячного войско.

И за всем этим грохотом, пением, сверканьем штыков, хоругвей, знамен, — одинокая старуха, ухватившись за грядку телеги, смотрела в небо, видела там поднимающиеся после заливов тучи неистового дыма, видела, тряслась от испуга и все же мало-помалу стала чему-то радоваться. Вот бы только найти попа, отслужить «паникидку» да рассказать ему об убиенном Марке и сыне его Степане...

Но попа не нашлось. Весь день ходила старуха по полю. Только освободится поп, только он снимет епитрахиль, только устремится к нему старуха, ав, уже подскочил какой-нибудь купец или чиновник и заказывает сразу столько панихид, что служить попу до самого завтрашнего утра! Бежит старуха к другому, а возле того стоит важный степной барин и утроблистым голосом перечисляет всех героев, которым он желает сказать «вечную память». Нет старухе ни места, ни пощады. От беготни и суесть скислось молоко в узкошейей крынке, вылила его старуха, пробралась к ключу-родничку, еле успела наполнить крынку, как подбежали молодые чиновники, разостлали возле родничка, в тени березки, ковры и отогнали старуху. Шум, грохот, крики... нет места старухе, некому рассказать о своем горе!

И вот, к вечеру уже, вылила она к старой Смоленской дороге, где неподалеку, говорят,

пал генерал Тучков-первый и с ним войско русское, а среди тех вопнов ведь пал ее муж Марк Иваныч и сын безугомонный с нежным лицом — Степушка. Стоит старуха в кустах. Поги усталые дрожат, хочется пить, — достала она крынку с водой, заткнув мокрой тряпкой, отдающей молоком, взяла краюху, подумала, что целый день не ела, и видит — качается громоздкая коляска, бархатное сиденье у кучера, кучер седой, почтенный, и на скользкой, в клеточку, бледнозеленой коже, сидит господин с широкими и ласковыми глазами и смотрит на дорогу. Пало в голову старухе: «Не сын ли погиб у него в тучковском полку? Не тучковских ли солдат ждет он? Не останятся ли возвращающиеся с праздника солдаты? И не расскажет ли она, старуха, как умерли и как жили ее муж Марк Иваныч и сын безугомонный Степушка? Для нее, для старухи, разве останятся солдаты, а он, небось, сильный барин».

Вот и спросила у барина старуха о том тучковском полку. Но барин, надо полагать, был из дальних, — скотовод, что ли? Смотрел он на стадо и спросил — не тучковское ли? И подумалось тогда старухе: «Поговорю с ним о коровках, а там, слово за слово, с коровок перебросимся на Бородино, человек он, видно, степенный, не торопится уезжать... все ему расскажу, все...» Сказала старуха, обращаясь к кучеру, который бранил ее за пятидесятишудового быка, что есть у Зворыкиных:

— И, батюшка, ведь барской скот особай. Вот возьми нас, мужиков. Куда бы, глядишь, иметь нам скотину? А есть! Есть, батюшка. Перед самым Бородинским сражением пала у нас корова: Бурешкой звали. И давала та корова, не поверишь, в один удой ведро с четвертью молока.

— Такно коровы бывают, — сказал кучер. — А ведь про быка...

— Подожди ты насчет быка, — быстро заговорила старуха. — Ты слушай, батюшка, насчет коровенки. Муж-то мой, Марк Иваныч, стоял на самом Бородинском, в полку Тучковом... и сын, Степушка, направился к нему. А перед тем самым уходом Бурешка-то и пада. Ох, и парень был Степушка, десятерых оди кормил бы! Ух, хозяйственный парень! Ему завтра в тот бородинский поход, а тут — Бурешка и пада... Господи, горя-то было!..

Василий Андреич перевел свой взор с мягко уходящего во мглу силуэта старухи на запад, где громоздились облака, кудреватостью своих украшений напоминая каштеляи колонн коринфского ордена. Он уже забыл о

стаде, которое скрылось за косогором, и разговор старухи казался ему переполненным околичностями. Он думал: «Ее муж и ее сын стояли на Бородинском поле, может быть, их даже ранило, а она — из всего Бородина помнит только, что пезадогло перед боем у них пала корова. Знает ли она что-нибудь о могуществе России, добытом ее близкими здесь, на Бородинском поле? Понятен ли ей смысл сегодняшнего торжества? Обелиск? Величие инокини Марии? Инвалиды, что стояли, опершись на клюку, без руки, без ноги? Гроб Багратнона?» Но что-то ей понятно, продолжал думать Василий Андренч, чувствовавший, что духота уменьшилась и ему легче, иначе, разве бы стала она пекать этот тучковский полк, которого на самом деле не существует? Но как уловить ее мысли, как понять ее?

Однако он попробовал. Он расспрашивал ее о корове, с тем чтобы старуха рассказала ему дальше о том, как и что чувствовали на Бородинском поле ее муж и сын. Старуха, пайдя в его вопросе подтверждение своим предположениям, еще старательней стала вспоминать уж совсем скучные подробности о Бурешке, подробности которых она не вспоминала лет двадцать пять. Говорила, к тому же, она торонясь и оттого повторялась.

Василий Андренч стоял перед ней растерянно. Что делать? Как ей помочь? Как разуверить ее, что нет тучковского полка в армии, да и падо ли разуверять? Может быть, дать денег? Василий Андренч достал было кошелек, да спросил:

— Что с твоими-то сталося при Бородинском, бабушка?

— При Бородинском-то? — спросила старуха, звучно разбедняя губы. — С моими-то, батюшка, о-о-ох?! — Она всхлинула, сначала тихо, затем громче и, наконец, опустилась на землю, необузданно и с каким-то скрипом рыдая. — О-о-о-и-и! — рыдала она, желая сказать, что вот ничего-то ей не вымолвить, потому что грешпа она, ох, как грешпа!

И от этих рыданий склоненной до земли старухи на сердце Василия Андренча снизошло хорошее и ровное умление. Все-то понимала старуха, все-то она знала! Все-то понимал Василий Андренч, все-то он знал! Это обоюдное знание, эту обоюдную горькую и нежную любовь он и пел россыпам, — пусть старуха и не знала его стихов! Пел, дабы трепетное умление с торжественной нежностью, свойственные поэзии, проникало в их сердца, дабы с неописуемой пытливостью взглянули они на себя, на свою страну, светозарную и задумчивую Россию. Как хо-

рошо, ах, как хорошо!.. И понимая, что молчаливое расставание будет самым лучшим, Василий Андренч тихо влез в экипаж и шепотом приказал ехать. Копи, словно понимая его шепот, как бы на цыпочках спустился экипаж к Старо-Смолянке. Экипаж несмыслно скрылся в пухлой и нежной мгле вчера.

Старуха продолжала рыдать. Правда, рыдания ее стали мягче, хотя попрежнему шла от всей глубины сердца.

От дороги послышались шаги. Старуха разглядела фигуру солдата, видимо отставшего от части. Через плечо его болтались сапоги с короткими голенищами.

— Ну и жарища! — сказал он хрипло. — Да и ноги стер к тому ж. Вот и отстал. Где тут речка? У тебя попить нету, бабка!

Старуха сказала, что речка далеко, и хотя ей самой очень хотелось пить, она тем не менее предложила солдату свою крынку с узких горлышком. Солдат жадно схватил горшок и припал к нему. Старуха смотрела на крынку, глотая сухую слюну, и чем выше поднималась крынка в руках солдата, тем сильнее ей хотелось пить. И все? Да. Говорить с солдатом не хотелось, а тем более выпрашивать про тучковский полк. Зачем! Она только что высказалась, выплакалась до дна... и она внимательно разглядывала свою крынку, которая, словно подсмеиваясь, вздрагивала в руках солдата.

Солдат выпил воду, вытряхнул капли на траву — теплую и так жаждущую дождя, — поправил сапоги и сказал:

— Вот и спасбо, бабка. Коров, что ли, пасешь? Паси, паси!..

Она с деланным радушием ответила:

— Да за что спасбо, родной? Тебе спасбо, что не пообрезговал.

И они разошлись. Солдат пустился допять свой полк, а старуха вышла на старую Смоленскую дорогу и пошла по ней. Дорога слабо, голубовато отечивала. Росы не было, — а то хоть собирай по капле, так хочется пить! А до воды, до ржавого болотца на взлете, до мочажины верст, пожалуй, пять, да и то, небось, пересохло. Устало вязко ступая по пыли дороги, старуха шла домой. Ей небывало сильно хотелось пить и есть, но все же она чувствовала себя удивительно хорошо, свободно и что-то тихое, кроткое, неизвестно откуда нахлынувшее наполняло всю ее душу. «Вот бы только папикидку, — думала она лепиво, — только б папикидку!.. И слово «папикидка» почему-то напоминало ей сизого, томно воркующего голубя.

Розовый заяц

Рассказ

Рота лейтенанта Коровина, только что захватив у немцев сильно укрепленную высоту 234 — лысый, крутой холм, похожий в опрокинутую каску, — очищала траншеи от пулов. Худенький паренек, с вespущатым лицом, ухватив за ноги длинного немца, тащит его по земле, пытая и чертыхаясь.

— Да помоги ж, Котов, — сказал он, тяжело переводя дыхание, обращаясь к высокому бойцу, который насмешливо посмотрел на него, заломив пилотку на затылок.

— А ты, Ганушкин, выбирал бы поменьше сторых, по своей силенке. Он же вдвое сильнее тебя.

— Я не выбирал. Такой чорт длинноногий попался, — устало проговорил Ганушкин, вытирая ладонью взмокнувший лоб.

— В атаке, брат, выбирать некогда. Бой, который ближе, — сказал Ганушкин, стараясь придать суровость своему писклявому голосу.

— Взвод, смирно! — раздался взволнованный голос, и Ганушкин вытянулся, прижимаясь к стенке окопа.

По траншее шел командир дивизии, — невысокого роста, полный, он двигался боком, опасной для него щелью.

— Здравствуйте, товарищи красноармейцы! — сказал он веселым басом, и бойцы разбойно ответили на приветствие. — Ишь сколько вы тут навалили... Молодцы! Товарищ лейтенант, назовите мне отличившихся. Молодешный лейтенант Коровин, счастливо выбиваясь, указал на Ганушкина.

— Вот он герой. Боец Ганушкин.

Генерал с улыбкой посмотрел на худенького паренка и удивленно спросил, глядя на длинного немца:

— Этот твой?

— Точно, товарищ генерал-майор, — тихо ответил Ганушкин, глядя напряженно на генерала и обливаясь пересохшими губы; он впервые видел командира дивизии и теперь имел только о том, чтобы стоять как можно прямей и смотреть прямо в глаза.

— Как же это ты совладал с ним, товарищ Ганушкин? — спрашивал генерал, внимательно разглядывая шуплую фигурку бойца, и в усталых глазах его засветилась искра. — Расскажи, расскажи.

— Не помню, товарищ генерал-майор, — виновато проговорил Ганушкин.

Котов усмехнулся и, поправляя пилотку, сказал:

— Он в помрачении ума действовал, товарищ генерал-майор. Конечно, силенка у него не так чтоб... Видно, заяц ему помог.

— Какой Заяц? Товарищ, что ль? — спросил генерал.

— Нет, товарищ генерал-майор, обыкновенный. Прямо сказать, резиновый...

— И вовсе не резиновый, — сердито перебил его Ганушкин. — Из такого материала, что грешки делают... Розовый.

— Верно, розовый. А в середине вовсе пустой, и одно ухо отломано, — оживленно продолжал Котов, но генерал рассмеялся и, обращаясь к лейтенанту, сказал:

— Ничего не понимаю. Что за розовые зайцы завелись в вашей роте, товарищ лейтенант? Как будто по штату не положено...

— Я сейчас все поясню по порядку, товарищ генерал-майор, потому как Ганушкин боец моего отделения, и я его наскрозь знаю, — сказал Котов, вопросительно поглядывая на лейтенанта, как бы спрашивая: «Можно или нет говорить?» Лейтенант одобрительно улыбнулся. — Тут такая история получилась, товарищ генерал-майор. Брали мы позавчера деревню Брюковку. Вскочили, а там еще избы горят и жители водой заливают. Известно, каждому жалко своего добра... Подходит к нам старушка одна и говорит: «Пойдемте-ка, ребятки, со мной. Я внучонка вам своего покажу». Привела она нас в ров за деревней, а там человек сорок не то полсотни лежат в немисленном положении, и мужчины, и старики, и женщины, и детишки махонькие... Смотреть невозможно, товарищ генерал-майор! А одна женщина молодая с мальчиком, обняла его, прижала к груди да так и заколечела... А мальченок кудрявенький, волосенки колечками, чистый барашек, и в ручонке зажал зайчика розовенького... одноухого...

Котов умолк, тяжело дыша, по серому лицу его катились капельки пота, словно он поднимал какую-то тяжесть, и руки его с набухшими венами, и сутулая спина, и дро-

хажие губы — все выражало крайнее напряжение.

— Стоп мы так, смотрим... Тут подходит товарищ лейтенант Коровин, наш ротный, взял того розовенького зайчика, подал его бойцу Ганушкину и говорит: «Берегите эту игрушку, товарищ Ганушкин, и когда вам станет невмоготу, то на нее поглядите». А перед тем такая история получилась, товарищ генерал-майор... Ганушкин в нашей роте недавно. Он в моем отделении, прямо сказать, боец был вовсе несостоятельный, тихолохлый. Как в атаку — трусит, или там в ямку какую залезет, словно гусенок, и то сказать, силенки у него нет, чтоб за всеми попевать... Вот товарищ лейтенант отдает ему того зайчика одиоухого и говорит: «В этой игрушке большая есть сила...» И верно, вон какого длинного угробил.

— А где этот заяц? — спросил генерал.

Ганушкин сунул руку в карман, извлек оттуда сначала жестянку с табаком, потом несколько патронов и какую-то тряпочку. Он осторожно развернул ее и протянул генералу игрушку из целлулоида.

Генерал держал в руках розового зайца с оторванным ухом и смотрел на него с таким пристальным вниманием, будто впервые видел эту дешевую игрушку.

— Дай-ка мне ее, дай и другим посмотреть, — усмехнувшись, сказал генерал, пряча в карман игрушку.

В тот же день он вручил ее командиру батальона, который опоздал выйти на указанный ему рубеж и чуть не сорвал план атаки. С тех пор розовый заяц путешествует по дивизии, — его вручают тому, кто забывает, что жил-был на свете кудрявый мальчик и умер из груди матери, зарезанной широким немецким штыком.

Письмо

Рассказ

Агния Антоновна получила письмо от командира части, где служил ее муж. Генерал сообщал, что майор Николай Сергеевич Гушин убит в бою 15 марта 1943 года и похоронен с воинскими почестями возле деревни Лаптево Смоленской области, у большого, идущего из Вязьмы на Дорогобуж.

Агния Антоновна прочитала письмо у окна, не сняв вязанной шапочки и пальто, как пришла со службы. Почувствовав слабость, она оперлась рукой о подоконник и медленно опустилась на стул. Рука, державшая письмо, упала на колени и не было сил поднять ее. Агния Антоновна попробовала представить себе Николая мертвым и не могла. — Он стоял перед ней с печальной лаской в добрых глазах, высокий, чуть сутулый, в летней гимнастерке, с полевой сумкой, перекинутой через плечо. Таким она видела его последний раз на вокзале в июне 1941 года, таким он остался в памяти навсегда.

С улицы доносились крики ребят, тараканье грузовика, отдаленный гул трамвая, и все эти обыденные звуки казались неуместными, оскорбительными, — тем, кто был на улицах большого города, не было никакого дела до ее горя: они ехали в трамваях, спешили в театры и кино, в магазины... Шесть

часов. В это время Агния Антоновна всегда ходила в булочную за хлебом, но сегодня она не пойдет, — зачем хлеб, если Николай умер? Она будет вот так сидеть весь вечер, всю ночь с одной мыслью, что Николая больше нет на свете. К этому нужно привыкнуть и невозможно.

Агния Антоновна сидела неподвижно, скованная оцепенением. Слез не было, — слишком велико было горе, — так в предельно знойный день грохочет гром, но тучи уходят, не проронив ни одной капли дождя.

Зазвонил телефон, но Агния Антоновна не тронулась с места, — она не хотела сейчас никого ни слышать, ни видеть, — нужно было в одиночестве и тишине понять то, что случилось, а понять это было невозможно, потому что Николай стоял перед ней живой, смотрел на нее и печально улыбался, одергивая топорщившуюся гимнастерку. И не было сил оторвать взгляда от милочного образа, и хотелось говорить с ним, как с живым...

Агния Антоновна присела к столу и начала писать:

«Родной мой!

Мне сообщили сегодня, что ты убит. Я не могу не верить этому, — пишет твой командир. И в то же время ты существуешь для меня, продолжаешь жить в моей душе, и я

ишу тебе, хочу говорить с тобой, как говорили мы, бывало, вечерами, сидя на диване рядом, и я чувствовала твоё тело, слышала твой голос, видела твою улыбку... Через час придет Тоня из института, и я должна буду объяснить ей, что тебя больше нет в живых, что мы остались с ней теперь или, вдвоём, и будем одни долго-долго, до самой нашей смерти, а ты будешь лежать где-то возле деревни Лаптево...»

Она писала, быстро заполняя мелкими строчками одну страницу за другой. Опять звонил телефон, кто-то стучал в дверь, а она все писала о том, как впервые познакомилась с Николаем на вечере у знакомых Савинских, какое было тогда на ней платье — темное с белым кружевным воротничком, и как Николай, улыбаясь, сказал: «Вы похожи на учительницу», а она, смеясь, ответила, что он угадал, и сразу завязался тогда у них разговор — простой и сердечный, положивший начало любви...

Агния Антоповна вспомнила все радостные дни в теснине их двадцатилетней жизни: рождение Тони, первую статью Николая в толстом журнале, постройку дачи, поездку на Кавказ... Она припоминала каждое ласковое слово мужа, и оказалось, что память бережно хранит все доброе, что дал ей этот человек, и этого доброго было так много, что вся жизнь предстала сотканной из одной ласки, и чем ярче вставали перед ней картины ушедшей в прошлое жизни, тем все ясней становилось, что эта жизнь и была счастьем ничем не омраченной любви.

«...Спасибо тебе, родной мой,— писала Агния Антоповна, и слезы текли по щекам, скатываясь на бумагу, расплываясь темными пятнами.— Спасибо за твою ласку за все, за все...»

Пришла Тоня и, удивленно взглянув на мать, спросила:

— Что это ты, мамочка, сидишь в пальто и шапочку не сняла? Что-нибудь срочное пишешь?

Мать писала, не отвечая. Тоня подошла, увидела, что мать пишет отцу и тихонечко отошла к окну, подумав, что, вероятно, с фронта кто-нибудь из товарищей отца должен зайти за письмом, вот мама и спешит. Она заметила на окне письмо и, схватив глазами первую строчку, побледнела. Сжав в руках письмо, она смотрела на мать испуганными глазами, и ей казалось, что она уходит с ума.

А мать все писала, не вытирая слез, струившихся по лицу. Тоня выбежала из квартиры, постучалась к соседям.

— Мне нужен телефон... скорей,— прошептала она, срывая трубку.— Дома доктор? Павел Петрович? Вы? Скорей идите к нам... Это говорит Тоня... С мамой нехорошо... Папу убили... А она... я боюсь за её рассудок... Ради бога скорей приходите! Милый, Павел Петрович... Мне страшно...

Тоня встретила доктора на лестнице.

— Она пишет письмо отцу... Знает, что он убит и пишет...

— М-да... Это, очевидно, нервный шок,— задумчиво сказал доктор.— У меня был такой случай. Разбился самолет, а летчика выбросило. Приезжаем мы на место аварии. Ваяются обломки самолета, а летчик, прихрамывая, ходит вокруг и что-то ищет. «Что вы ищите, Смородин?» — спрашиваю его, а он отвечает: «Вот самолет разбился, а летчика не видно... Он где-нибудь здесь...» — «А как его фамилия?» Летчик посмотрел на меня, что-то вспоминая. «Смородин, кажется, летел сегодня на этой машине, видите на хвосте «восьмерка». Это смородинская». Но мы не показали и виду, что с ним случилось. Потом прошло... И сейчас вот не нужно трогать мать. Пусть пишет... Это к ней возвращается сознание, помраченное горем. Плачет? Это хорошо...

Доктор и Тоня вошли в комнату. Агния Антоповна писала, но усталая рука ее еле водила перо. Тоня беззвучно плакала, зябнув лицо платком.

Окончив писать, Агния Антоповна вложила исписанные листочки в конверт, написала адрес полевой почты мужа.

— Павел Петрович, опустите, пожалуйста, в почтовый ящик по дороге,— сказала она, передавая письмо.

Павел Петрович положил письмо в карман; оно заинтересовало его с медицинской точки зрения, и он не мог удержаться от искушения, чтобы не прочесть это необыкновенное письмо к мертвому человеку.

Письмо удивило его ясностью мысли. Проникнутое глубокой скорбью, оно не возбуждало ни тоски, ни безнадежной печали. Сердечную боль заглушала торжествующая радость женской нежной и могучей любви, которая отвергала смерть, несмотря на ее очевидность. Это письмо к человеку, уже ушедшему из жизни, выходило за пределы нормальной психики, но оно было нормальным для большой, неумирающей любви.

И, проникнутый светлым чувством этой необыкновенной радости, Павел Петрович бережно запечатал конверт и опустил письмо в почтовый ящик.

Сухоплюев и Фауст

Рассказ майора К.

Это было в начале войны. Закрепившись на берегу Западной Двины, мы сдерживали яростный натиск немцев. Они засыпали минами нашу пехоту, а мы, артиллеристы, никак не могли нацелить их минометные батареи. Тогда я впервые узнал, что у немцев есть кочующие минометы.

С наступлением темноты немцы прекращали огонь до утра, ложившись спать в полной уверенности, что справятся с нами и днем. Вообще немцы тогда воевали с удобствами. Они были так уверены в нашем поражении и так презирали нас, как противника, что война казалась им короткой прогулкой к Москве.

Но тут, на Двине, они застряли. Мы показали зубы. По почам мы изматывали их беспokoящим огнем наших орудий, накрывали их снарядами в тот момент, когда им спалась Москва.

Как-то утром немцы вдруг обстреляли бешеным артиллерийским огнем рощу, в которой не было наших войск. Все деревья скопили. Мне докладывают, что виновником этой пальбы по пустому месту является красноармеец-разведчик Николай Сухоплюев.

Вызываю его к себе. Я командовал полком уже третий год и успел узнать почти всех артиллеристов. Сухоплюев ничем особенным не выделялся. Это был старательный, аккуратный артиллерист-разведчик, каких было много. Сам он родом из Тамбовской области.

Приходит. Как всегда подтянутый, в глазах лукавый огонек. Этакий тамбовский мужичок-простачок. Вот, мол, весь я тут: умею пахать, песни петь, службу свою исполнять, взысканий не имею.

— Ну, рассказывайте, товарищ Сухоплюев, как это вы заставили немцев бить из пушек по пустому месту.

— Обидел меня помкомвзвода, товарищ майор. Говорит: «Ты, Сухоплюев, воеешь аккуратно, но вроде как по должности, а не по сердцу». Засело тут меня. «Как это так — по должности?» — говорю я. — Я не занимаюсь воевать, а по присяге службу исполняю, честь по чести и никаких за мной дел таких нет, чтоб взыскания или оплошки какие». А он опять свое: «Ты должен так воевать, словно не на Двине находишься, в чужом краю, а будто дома. Небось дома-то и минуты покою тебе нет, — то с топором, то с

пилой, то еще чего удумаешь. Мужья и в сне пахнет...»

Поговорили мы так, и мне от обиды все не спится, товарищ майор. Лезу и сам про себя лизнь свою домашнюю вспоминаю. Дома я, действительно, любил хозяйничать: все у меня, бывало, горело под руками, всякое дело мне по плечу и почью вертеться все думаешь, как бы так сделать, чтобы еще лучше было. Ну и шутник я большой был на всю деревню. Один раз чего удумал? — Сухоплюев усмехнулся, прикрывая рот ладонью. — Пospорили мы между собой: чья бригада больше за сутки вспахнет? Я тогда бригадиром был, а в другой бригаде Терентий Мышкин. Спор при народе был и зажилась мы на полведра водки. Я говорю: «Вам с нами не тягаться, Терентий Павлыч. Мы вдвое больше вашего отхватим». Нахали дотемна, вровань шпал, Терентий Павлыч поднажал, не отстает. Распрягли коней, смеются надо мной: «Ставь полведра, хвальбишка». Я махнул рукой и говорю: «Что я, утром выпьем». Ну, полегли спать, а я почью поднял своих говорю: «Запрягай коней. Пахать будем». — «Да ты что, одурел? — спрашивают. — В потемках ничего не видеть». — «А мы костры разведем, говорю. Ночь не поспим, зато завтра умоем Терентия Павлыча...» Утром подымается парод, глядь — а у нас точка в точку, в два раза больше вспахано. И пришлось Терентию Павлычу выставить нам полведра. Смеху что было! Так ведь то дома... А тут война, приказ тебе дают и ты его исполняй. Но между прочим засело меня от обиды на помкомвзвода, лежу и все думаю, как это можно войну приравнять к домашней работе? Думал-думал и полез я на елку, товарищ майор. Елка высокая, над всем лесом торчит, а я на самую маковку влез и качаюсь. Ну, немцы, надо полагать, это заметили и так порешили, что тут у нас наблюдательный пункт. И давай по той роще снарядами шпарить. Я с елки соскочил, в сторонку. Пережил малость, а как утихло, полез на другую елку и опять качаю ее. Немцы ничего, молчат. Тогда я бипокль вынул да так его на солнышко навел, чтоб от стекла блеск получился. Немцы опять давай шпарить! Смех меня взяла. Часа два по елкам били, все деревья повалили. Считать — снарядов больше сотни выпустили, дров павалили — на год топить-

ся.. Пришел я, докладываю товарищу ком-
комвзвода: так и так, можете поглядеть на
мою работу, которая не по должности. Он в
сердцах мне два наряда дал, потому как я
сказал это с усмешкой и опять же — я ви-
волат...

Я похвалил Сухоплюева, взыскание отме-
вел, конечно. А через день докладывают:
Сухоплюев восемь немцев убил. Послал я
проверить, действительно, лежат в лоштинке
восемь немцев. Спрашиваю Сухоплюева, как
он с ними один управился. «Всю ночь, —
говорит, — в кустах их стерег, а потом гра-
ватой накрыл, дело очень простое».

Однажды ночью поднялась стрельба. Уд-
вило меня, что немцы стали по ночам стре-
лять. И опять ведут ко мне Сухоплюева.
Оказывается, он навешал консервных банок
на проволочные заграждения немцев и ночью
устроил трезвон. Немцы решили, что наша
пехота идет в атаку, и открыли огонь, а Су-
хоплюев отполз в сторонку и в другом ме-
сте трезвонит. Так и палили немцы всю ночь.
Несколько тысяч патронов попусту извели, а
Сухоплюев посмеивается.

— Ловко я их надул, товарищ майор.

Вижу, парню цепы пет. Говорю:

— Вот что, товарищ Сухоплюев, дело
есть для вас интересное: нужно с катушкой
пробраться в расположение немцев и засесть
эти проклятые минометы. Разыщите их и
дайте знать по проводу.

Взял он с собой катушку и пошел. Часа
через три передает:

— Вижу немецкие минометы.

Так мы накрыли одну батарею, потом дру-
гую, третью, все ночью. Днем засекает их
Сухоплюев, а мы ночью — огневой налет, и
все минометы умолкли.

Приводят ко мне однажды старушку. Она
пришла с той стороны, где были немцы, и
подает записку. Читаю: «Командиру артил-
лерийского полка номер такой-то, майору. Я,
командир пехотного полка, Фауст, предлагаю
по ночам не беспокоить друг друга. Для вой-
ны достаточно и дня. Ночь же самим богом
отведена людям для отдыха и покоя».

Посмеялись мы, записку прочитали во
всех батареях. Артиллеристы сочинили от-
вет: «Мы не будем вас беспокоить по ночам,
если вы уйдете спать домой, в Германию, а
тут мы вам спать не дадим, будьте увере-
ны».

Отдали ответ старушке, а она в слезы:
«Не пойду я назад к лиходеям, у вас оста-
нусь». Поплакала, потом вспомнила, что у
нее дома перосенок остался некормленный, и
пошла.

Прошло несколько дней, и мы уже забыли
про старушку. Приходят как-то два артил-
лерийских командира, ищут меня. Возле
моей землянки находился Сухоплюев. «А вы
откуда?» — спрашивает он. «Из соседней ча-
сти», — отвечает. Сухоплюев знал соседей и
почти всех командиров, а этих видит впер-
вые. Показалось ему это подозрительно, вы-
звал он начальника штаба полка. Тот при-
гласил командиров к себе в землянку, про-
верил документы, — все как будто в порядке,
но начальник штаба у меня был дока: лю-
дей насквозь видел. Слово за слово и стало
ему ясно, что перед ним немецкие лазутчи-
ки. Обезоружил он «гостей», и они призна-
лись, что по приказу Фауста являлись убить
меня, — до того осточертел им наш артил-
лерийский полк. Задание они получили от ко-
мандира первого батальона. Так...

Вызываю я Сухоплюева, говорю:

— Нужно достать этого командира перво-
го батальона. Хочется мне поговорить с ним.
Сможете?

— Есть достать командира первого ба-
тальона, — отвечает Сухоплюев. — Только для
этого разрешите мне взять с собой пять че-
ловек половчей и три дня сроку.

Через три дня приводит он немецкого
фельдфебеля. Длинный такой, а трясется, как
ребенок, и молчит. Я и так и этак — мол-
чит, как рыба. Приказал дать ему стакан
водки. Выпил он и уснул, а проспавшись,
стал разговорчивым, сказал, что он из пер-
вого батальона.

— Где блиндаж вашего командира? —
спрашиваю.

Немец показал на елку с отбитой макуш-
кой:

— Под той елкой.

Говорю Сухоплюеву:

— Видите елку?

— Вижу, товарищ майор. Все понятно.
Десять бойцов и два дня сроку.

В ту же ночь он ушел. К блиндажу они
подползли с тыла, набросили на часового
плащ-палатку и бесшумно прикончили. Су-
хоплюев вошел в блиндаж, а там четыре
офицера. Наставил на них автомат, а они до
того растерялись, что даже рукой не пошеве-
лили. Разведчики заткнули им рты индиви-
дуальными пакетами, связали руки полотен-
цами и повели.

Смотрю я и глазам своим не верю: стоят
передо мной четыре немецких офицера, а
возле них Сухоплюев со своей тамбовской
лукавой улыбочкой, — мол, вот я какой му-
жичок-простачок: на вид пятачок, а стою
сотню целковых.

Командир немецкого батальона и говорит:
— Я знаю, что мне не жить. Прошу исполнить мою просьбу: покажите мне вашего командира полка.

А я был в плащ-палатке, знаков различия не видно. Начальник штаба откинул плащ-палатку и говорит:

— Вот полюбуйтесь на нашего командира полка.

Командир немецкого батальона вытянулся, взял под козырек и остальные тоже смотрят на меня во все глаза. Я говорю им:

— Вы смотрите не на меня, а вот на ко-

го,— указал я на Сухоплюева.— Он пострашней.

— Кто такой?— спрашивает командир батальона.

— Тамбовский мужичок-простачок, с вадпятачок, а стоит миллионы.

Смотрят на него немцы, а Сухоплюев улыбается: еще, мол, не такую штуку могу выкинуть, только развернусь во весь силу.

И, глядя на него, я подумал, что мы не можем не победить.

СТЕПАН ШИПАЧЕВ

Из фронтовой почты

1

Опять весна над русскими полями.
Ты писем ждешь, недели торопи.
Их много, с фронтовыми штемпелями,
Скопилось за два года у тебя.

Пускай у писем далека дорога
От обжитых землянок фронтовых,
По эти письма я руками трогал
И ты, читая, будешь трогать их.

2

Я о тебе не научился думать.
Сегодня бой и завтра будет бой.
Течет песок в землянке от обстрела.
Мы за войну не впились с тобой —
Наверно, изменилась, постарела.

По в мыслях вижу и сейчас тебя
Еще красивую и молодую,
Пусть жестче, строже сделались черты.
Так на плакатах родину рисуют,
Пемного на нее похожа ты.

3

Весенний дождь хлестал кусты,
И над землянкой ветер злился.
Мне этой ночью снилась ты
И городок далекий снился.

В какой бы ни был стороне,
Какой бы ни свистел мне ветер,
Не надо больше счастья мне,
Чем то, что ты живешь на свете.

Всего сильнее

Рассказ

Днем—тепло, в рытвинах и низинах стояла вода, сверкавшая снежно-золотым блеском. На закате начало подмораживать. Исковый вечер застеклил лужи и покрыл снега шершавой коркой.

— Ползти — наст хрупкий. Лишний шум, да и дольше, — сказал Куроптев, старший группы, как бы думая вслух. — Поле ровное, но пока месяц не светит...

Луна взошла, когда еще пробирались перелеском, почти час назад. Большая, как костер, она мелькала за черными стволами, разгораясь все ярче. Куроптев сердито ворчал:

— Вылупилась, дура, фрицам на-руку!

Но вскоре костер за деревьями погас. В перелеске потемнело.

— А все-таки засорили вы ее, товарищ сержант, — с усмешкой заметил Остап Мовчун. — Заховалась...

— Да на долго ли?

С опушки увидели, что на востоке по небосклону простирается облако. Сплошное и непрозрачно сизое над дальним лесом, выше оно редело, шло клочьями, которые становились все длинней и светлее.

— Точно крыло! — сказал Павлушин, самый молодой из тех четверых, кого вел сержант. — У кобчика такое.

— Крыло или помело, лишь бы застыло! — хмуро отозвался Сутокин.

Обычно этот бывалый тридцатилетний боец придерживался равнодушного тона и был скучен на слова. Неожиданное его замечание оставило у Павлушина неприятный, беспоясанный осадок.

Теперь, когда стояли, перейдя лоцину, на краю снежного поля, луна находилась где-то за серединой облака; рассеянный свет ее был тускл, мутен.

Куроптев надел рукавицы и ощутился на четвереньки.

— Пошли так. По одному.

«Правильно! Быстрее кончим», — подумал Павлушин.

Немного покатав у лоцины поле стало гальше совсем ровным. Павлушин поднял лицо. Вперед, на звездном фоне, чернели крыши. Казалось, деревья рядом. Ошеломленный, двигаясь наугад, он прикованно смотрел на

червые треугольнички и трапеции, торчавшие прямо из-под снега.

До деревни было метров четыреста. Однако, поняв ошибку, Павлушин все же не успокоился. Как бы то ни было, а он и его товарищи находились от немцев на расстоянии прицельного выстрела, и дистанция все сокращалась. «Где же колючая проволока? Неужели у самой деревни!» — подумал он. И хотя шея ныла, опять поднял голову.

За сержантом, прокладывая путь, полз Сутокин с минометом на винтовке, потом Валеев и Мовчун. Позади Мовчуна тащился на бечеве удлинненный заряд — полсотни толковых шашек между двухметровыми планками. Ползти было неудобно. Наст проламывался, руки и ноги проваливались в крупчатый снег. Звонкий хруст, жесткий шорох сопровождали каждое движение.

Рослый Мовчун двигался косолапо, не попадая в след. Павлушину мнилось, что весь шум производит именно Мовчун. Догнав Остапа, он сказал свистящим, злым шепотом:

— Тыше ты, медведь! Держись следа.

На четвереньках, в маскировочном костюме, в котором его крупная фигура казалась еще неуклюжее, Мовчун и вправду был похож на медведя, только на белого. Он не обернулся, лишь короче перехватил бечеву. Нижняя планка заряда заскрипела, как санный полз.

«Не увидят, так услышат!» — подумал Павлушин. — Возможно, они уже... Подпустят ближе и скосят всех». Ему стало не по себе. Спихнувшись, он начал про себя возражать против испугавшей его мысли. Куроптев — опытный командир, ведет не впервые, дела еще посерьезнее ему поручали, не засыпался. Все это было справедливо. Но настроение не улучшалось; хватывала дрожь. И хотелось лечь, будто все сильнее притягивала земля.

Шарканье прекратилось. Перелесок один за другим легли. Павлушин рухнул на коярыный наст и, проломив его, погрузился в снег. На душе сразу стало спокойнее. Лежал, как в окопчике, без мыслей, просто отдыхал.

Однако слова донесся шорох: пришлось выглянуть. Сутокин и Валеев ползли по-

пластунски. Чем дальше, тем медленнее они двигались, или это так только слышалось?

Павлушину хотелось приподняться, чтобы посмотреть, но осторожность пересилила любопытство. Зато вдруг на четвереньки привстал Мовчун и пополз, круша наст. Павлушин не успел даже ругнуть товарища. Вспыхнувшая было досада сменялась изумлением, близким к испугу: рядом с Мовчуном ползла серая тень. Оказывается, ночь посветлела! Снег белел ярче.

Собственно, ничего удивительного не случилось, но сейчас это было очень некстати.

Не нравилось и другое: светлело как-то исподволь. «Словно обманывает!» — подумал Павлушин и, повернувшись на бок, взглянул в небо.

Облако теперь еще больше походило на распростертое крыло. Луна проступала сквозь него мутно-огненным пятном в радужном кольце и была уже близко к темному прогалу между длинными «маховыми перьями», свисшими серебристой белизной.

«Может, сержант тоже не замечает?!» — с этой мыслью Павлушин приподнялся и, на полчетвереньках, шаркая коленями, пополз за Мовчуном.

Мовчун лег рядом с Куроптевым. Приблизившись, Павлушин услышал приглушенный басок:

— Время дорого. А снимать мины — это ж дольше, чем шукать их.

Павлушин занял место позади Мовчуна, подже заряды. Сержант отяпнулся.

— Почему ты здесь?

— Мовчун пошел, и я тоже...

— Ну, Мовчун! Поди, одному скучно стало.

Сержант наполовину был прав. Согласный в тайне с его замечанием, Павлушин сказал деловым тоном:

— Луна вот-вот совсем выгланет.

— Ну так что?! Если бы даже и солнце...

Павлушин промолчал.

Разговаривая с ним, сержант, должно быть, наблюдал за действиями Сутогина и Валеева: он что-то прошептал про себя и сказал:

— Мовчун, ступай.

Мовчун повозился и пополз вперед. В снегу осталась борозда с изломанными краями. Павлушин передвинулся на место Мовчуна. И опять его глазам открылась деревня. Мрачные постройки казались были нагромождены без всякого порядка.

— Где же колючая проволока?

— Не видишь? Да вот же рогатки...

Пад деревней, озарив крыш, наисосок

потянулась ввысь изумрудная ракета. В уши ударил пулеметный клекот, Павлушин уткнулся лицом в снег и замер. «Ну, попали!» — пронеслось в мозгу. Не было никаких других мыслей, ничего, только одно слово «попали!» Тело тряслось. Визашни услышал:

— Павлушин!

Ноняв, что окликают его, Павлушин медленно поднял голову. Сержант смотрел на него:

— Не по нас строчил. Для близиру...

Беспомощное чувство стыда охватило Павлушина; он нахмурился.

— Стрхнул?

Сержант спросил запросто, но Павлушин не отозвался. Он стал противен сам себе. Лежал, угрюмый и подавленный, зло думая: «Какой ты к чорту комсомолец! Ребята, вон, впереди, среди мп... Опозорился, да еще при ком — при Куроптеве!» Сержант опять спросил:

— На боевом задании в который раз?

— На таком — в первый.

— А я, может, в сотый... Старый сапер. Да... Но и со мной иной раз тоже так бывает...

Павлушин со злостью признался:

— Вряд ли что так! У меня душа в пятки...

— Разве? Впрочем, это и со мной случается.

— Бросьте вы! — сердито возразил Павлушин.

— Нет, правда!

Сержант Куроптев славился своими смелыми делами — их называли даже дерзкими, на его груди красовался орден. Пзумленный Павлушин живо обернулся и заглянул сержанту в лицо. Как тон, каким тот произнес слово «правда», так и выражение округлого, с мягким овалом, курносого лица сержанта было простодушным, искренним. На сердце у Павлушина полегчало.

— Верю, да не понимаю, — сказал он. — Как же тогда у вас получается?

— Просто. Помню про приказ.

— Выходит, дрожишь и делаешь?

— Выполняю приказ.

— Значит, если страшно — принуждаешь себя?

— Ясно. Сердце в кулак.

— По-моему, одного этого мало...

— Достаточно. Ведь еще смекалка есть. Серьезного дела дураку не поручат.

— Но человек от страха тупеет.

Сержант ответил жестко:

— Тогда это не человек, а дерьмо! Такому не доверяют.

«Возможно, и меня он считает за дерьмо? Ничего ведь не поручил». Подумав так, Павлушин снова угрюмо умолк. До этой поры он считал себя настоящим бойцом, мало того: полагал, что так оценивают его и командиры. Но теперь ему казалось, что сержант может и в праве быть иного мнения о нем. К тому же он чувствовал себя виноватым перед самим собою — перед тем вторым Павлушиным, который был главным и еще строже командиров, по почему-то не мог заставить во всем подчиниться себе. «Сердце в кулак! У меня, видно, и кулак слабый», — думал он. Гордость «главного» страдала, и в нем нарастало возмущение.

Павлушин попрежнему лежал, втиснувшись в снег, но голову держал повыше, хотя в поле еще больше посветлело. От тени пабоках березовых, кольев, торчавших наклонно, рогатки сделались заметней. Они тянулись поперек поля и напоминали изгородь. Но между крестовинами угадывалась густо натянута проволока: снег там казался серым, словно покрытый сеткой.

«Главное дело впереди, — подумал Павлушин. — Интересно, кто потащит заряд? Один только я ничего еще не сделал. Но меня он не пошлет».

Павлушину хотелось продолжить разговор с Буроптевым, спросить: «Что же тогда, по вашему, храбрость?» Но молчал: ему ли, Павлушину, затевать беседу на такую тему. Да и ни место, ни время для досужих разговоров не подходящих.

На восточной стороне деревни переругивались пулеметы. Звуки очередей, издали схожие с рывками раздираемого полотна, доносились то громче, то слабее. Против обыкновения немецкие пулеметы были слышнее наших.

Привычная для уха перестрелка по фронту шла все время, и Павлушин только сейчас обратил на нее внимание: очереди утихли.

Сержант вытянул часы на ремешке из кармана брюк. Они заблестели. Заслонив их ладонью со стороны деревни, он посмотрел и сказал:

— Точно, как по графику!..

Павлушин тоже взглянул на свои прямоугольные ручные часы, сделав это машинально, и не понял:

— Что точно?

— А вот, слышите? — сержант кивнул влево. — Наши начали собак дразнить.

— А! Но разве только «дразнить»?

— Пока — да, чтоб отвлечь внимание...

— От вас?

— От флангов.

— Наши ударят с обох флангов?

— Ага! Сейчас на правом тоже делают проходы. Как мы — под шумок...

— Малость запоздал шумок, — сказал Павлушин.

— Ничуть. Оп только усилился. Подходят пехотинцы...

— Сколько же осталось до атаки?

— Будет сигнал.

Деревия Лужки, куда отступили немцы, закрывала выход на шоссе и была сильно укреплена. Зная это, Павлушин и сам чувствовал, что предстоит серьезный бой. Но сейчас ему стало понятнее, как бой задуман и должен произойти. Яснее выступила и роль его группы.

Успех боя определялся внезапностью, она же, по замыслу командира, во многом зависела от действий сапер, посланных на немецкие фланги.

Командир все учел и все рассчитал.

По человеческое сердце? Командир знает их десяток-другой, но он не может знать, какое сердце у каждого. Только после боя станут известны фамилии тех, кто смелодушиничал или не сумел...

«Что ж! Фамилии Павлушина среди них не окажется...»

— Товарищ сержант! Поплите меня помочь товарищам.

— Было бы пужно, так послал бы. Ребята уже кончают.

Павлушин покраснел и потупился.

— Как себя чувствуешь? — спросил сержант.

— Ноги начинают мерзнуть.

— Да? Шевели пальцами.

Глубокая борозда в снегу, наполненная синеватым сумраком, как бы сократилась с дальнего конца — равнялась с настом: по ней полз кто-то одетый в белое. Снежным комом приблизилась голова, поднялась. Из прорехи капютона выглянуло смуглое скуластое лицо Сутоккина.

— Товарищ сержант, проход в минном поле готов.

— Хорошо.

— Мины в четыре ряда. Смешанные. Т-37 и прыгающие.

— Дальше мни нет?

— Не должно быть. Папротив прохода — проталина. Видите, полоска чернеет! На самом деле проталина почти до рогаток, широкая.

— Может быть, мины закопаны?

— Нет, товарищ сержант! Мины в слег поставлены. Фрицы снесли: по маскировке видно.

Со свистом и, как показалось Павлушину, сверкнув позади Сутокина, лежавшего ногами к немцам, хлестнула по снегу струя пуль. Сержант и Сутокин спрятали головы. Павлушин сделал то же самое немного позже. Но и поднял он голову тоже последним, когда сквозь клетку пулемета послышалось равнодушное замечание Сутокина:

— Случайная очередь.

— По нас — случайно. По направление?.. Бьет точно влодь прохода. Это уже не случайность, — сухо сказал Куроптев. — Вас заметил...

Пулемет умолк.

— Так вы уверены, товарищ Сутокин, что дальше мид нет?

— Да.

— Хорошо. Вы и заряд подложите.

Возвращались Мовчун и Валеев. Первого можно было узнать, еще не видя лица, по тяжелому дыханию. Сержант рукой показал, где лечь. Они расположились слева от Павлушина, в трех шагах.

— Шоб ее чорт забрав, яка свитла! — проворчал Мовчун. — Кажись, хрицы нас побачылы...

Сержант вытащил из-за пояса куртки моток коричневого шнура и, подвигая заряд, стал наощупь проверять стиснутый с боков планками ряд толовых шпек, похожих на куски туалетного мыла в бумажных обертках, потом привязал к нижней планке конец шнура.

— Мовчун, у тебя взрыватель?

— У меня. А шо?

— Передай Сутокину.

Мовчун передал через Павлушина упрощенный взрыватель и, бормоча что-то, недовольный, вернулся на место.

Сутокин прикрепит бечеву от заряда к своему поясному ремлю. Припав винтовку за спину, он попросил у сержанта разрешения действовать и пополз. Заряд толчками втянулся в борозду.

У границы минного поля борозда разветвлялась. Сутокин пополз прямо. Белый бугорок все уменьшался, вскоре он стал отличным от снега только по тени, и уже трудно было заметить, движется ли он. Но коричневый шнур, извиваясь, все тянулся.

Стрельба по восточной стороне обороны немцев то разрасталась до гулко-го рокота, то затихала. Изредка там взлетали ракеты, и тогда на темном небосклоне среди мерцающих звезд ярко загоралась еще одна, самая крупная и лучистая.

Шнур полз. Моток ворочался, уменьшаясь.

Все шло хорошо. Но сержант лежал неспокойно, поскрипывая снегом. Павлушин

понимал это волнение. Вот еще несколько минут и — удача: заряд будет подложен. останется лишь дернуть за шнур...

Ударил пулеметная очередь слитным, но резким стуком. Моток перестал шевелиться. Затем шнур дернулся и опять зазвенел. Очередь повторилась. Шнур полз. В лицо Павлушину и сержанту брызнула острыми зернами снега.

— Окопаться! Живей!

Павлушин попытался на полкорпуса и, вытащив лопату из чехла, принялся рыть снег. Он спешил. Руки не слушались. Однако это был не страх. Сейчас Павлушин думал не о себе, а о товарище, и спешил он скорее углубить ямку лишь затем, чтобы больше не быть запятым этим делом, в то время когда товарищ ползет под огнем. Сутокин выполнял наиболее ответственную часть задания, порученного всей группе, он рисковал собой — один за всех пятерых. Окопавшись же, Павлушин почувствовал себя обескураженным: а дальше что?! Чем он поможет товарищу?

Пулемет стучал — резко и часто. Три-четыре удара, короткая пауза — и снова дробный стук. Вероятно, огонь был прицельный.

— Павлушин, ты что затих? — спросил сержант, не оглядываясь.

— Готово.

— Ага! Теперь окопывайся на моем месте...

Куроптев передвинулся в открытую ямку. Павлушин занял новое место и прежде всего начал сканывать снежный бугорок, отделявший его от сержанта, — не терпелось увидеть шнур.

Шнур, извиваясь, все тянулся. Он казался живым. Начинаясь очередь, он останавливался, умолкала — дергался рынком моток, и шнур снова полз, чуть шурша.

Обрадованный Павлушин, опершись на ладони, приподнялся и стал всматриваться в поле.

Снег был словно обрызган жидкой синькой: в каждой лунке таилась тень. Дальше темнела полоса проталины...

— Чего высунулся? Окапывайся! — строго шепнул сержант. — Недоставало еще, чтобы обнаружили...

В последний момент Павлушину почудилось: на краю проталины белеет какой-то холмик.

Шнур дернулся и замер.

Молоток гробовщика вбил очередной гвоздь и будто застыл на взлете.

Павлушин смотрел на коричневые кольца и ждал. Шнур недвижимо свисал с края окопчика, моток не шевелился.

— Товарищ сержант! Видите?

Куроптев молча спустился в окопчик и тоже устался на шнур, схваченный со стружкой застывшей крови.

— Товарищ Мовчун, ко мне!

— А, Максуд, товарищ сержант?— спросил Валева.— Максуд хорошо ползай...

Мовчун сердито перебил его:

— Тебе не клычут, так и лежи! Не лезь вперед батька в пекло.

Он кулем свалился к Павлушину и потеснил его вправо.

Куроптев ровным холодным тоном сказал:

— Сутокин ранен или убит. Время не ждет.

— Це ясно.

— Взрыватель у Сутокина. На всякий случай возьми еще запасной...

Пока сержант, повернувшись на бок, доставал взрыватель, Мовчун вынул откуда-то и сунул Павлушину в руку легкую пластинку. В шепоте его послышались просьба и смущение.

— Адрес... Матери и жипки...

— Зачем? Ты ведь вернешься.

— И сам так думаю, да все же так...

Павлушин спросил невпопад:

— И дети у тебя есть, Остап?

— Во! Як же им не быть?! Трое хлопчат.

Куроптев подал Мовчуну взрыватель.

— Ну, счастливо!

Мовчун полез из окопчика.

Большие подошвы его ботинок немного задержались на краю стенки, носками вниз, потом исчезли — рывком: сперва одна, затем вторая.

Прислушиваясь к затихающему шороху, Павлушин посмотрел на замасленный блокнотик, лежавший в руке, и спрятал его в нагрудный карман. Смешанное чувство охватило Павлушина. Сердечная симпатия, какую вызывала в нем простой, всегда ясный Мовчун, в эту минуту возросла до обожания, но вместе с тем возникла и глухая обида. Павлушин понимал, что, передавая ему адрес семьи, Мовчун не мог даже подумать о чем-либо постороннем. Но было в его искренней просьбе и нечто обидное. Почему Мовчун попросил написать семье именно его, Павлушина, а не Валева, с которым был дружен, и не сержанта? Видно считает, что кто-кто, а Павлушина-то в эту ночь уцелеет. Сам, мол, он на риск не отважится, а сержант не пошлет.

Мовчун, наверно, так не рассуждал, но — тем хуже! Значит, у него вообще такое мнение...

Павлушин снова, взяв лопату, принялся углублять свою половину общего с сержантом окопчика. Чувство, какое он сейчас испытывал, требовало действия. Павлушин с силой втыкал лопату, срезал и подскребывал снег до ледка, а сам думал, думал, тут же споря с возникавшими мыслями:

«Нет! Я докажу вам... Дурень! Это важно, как товарищи тебя цепят, но главное — ведь в другом. Товарищи могут многое извинить: «Что с него спросить?! Молод очень, но обывк». Но родина...»

Лопата звякнула, наткнувшись на камень и выпала из рук.

— Остап!

Вспомнив о Мовчуне, Павлушин опять услышал резкий, выделяющийся из дальней стрельбы, хищный клекот пулемета и, не подняв лопаты, вплотную придвинулся к Куроптеву:

— Шнур! Не движется!..

— Ну и что? Мовчун, наверно, не успел еще доползти...

По тону чувствовалось, что сержант обеспокоен. И он нарочно не сказал «до Сутокина». Один боец уже потерял, дело не закончено, и неизвестно, как получится, а условленная минута приближается. Опираясь ладонями о землю, сержант не отрываясь смотрел в поле, туда, где должен был ползти Мовчун.

— А вы видите его, товарищ сержант? — спросил Павлушин.

— То вижу, то нет. Сейчас не видать...

«Может быть, Остап уже убит?» Павлушину стало неловко, досадно на себя за то, что обиделся на Мовчуну. Вспомнил вдруг, что ничего не сказал Мовчуну на прощанье, даже не взглянул ему в лицо, и чувство досады усилилось. Кто знает! Быть может, он уже не увидит этого лица улыбающимся, живым, с лукавыми искорками в карих глазах.

Хмурые слова сержанта «не влжу» внезапно обрнулись другой стороной, положительной, более светлой. Павлушин спросил:

— Значит, и немец его тоже не видит?

Куроптев сухо заметил:

— Фриц бьет откуда-то с возвышения...

Шнур вдруг ожил, извиваясь, потянулся кверху. С края окопчика посыпался снег, завалив моток. Волнуясь, Павлушин взял моток в руки и начал распускать его, словно от этого товарищу могло стать легче.

За Сутокиным шнур тянулся плавно, а теперь — какими-то рывками, по рывки были равномерными, по полметра.

Куроптев медленно поднял голову выше и застыл. Павлушину тоже хотелось видеть,

что там впереди, но сержант мог рассердиться, и он только спросил:

— Незаметно, откуда бьет?

Помедлив немного, сержант проговорил:

— Посмотри сам. Постройка напротив. Выше карниза...

Амбар или сарай, на который указал Куроптев, стоял немного левее прохода, продолженного в мшиных заграждениях. При рывке очереди в середине темного треугольника мелькнул огонек.

Павлушин схватил винтовку.

— Опупел?! — прошептал сержант. — Де-маскируешь...

— А может, я его раньше срежу...

— Положи! Тоже — спайпер! Еще из миномета начнут давать. А у нас серьезное дело...

— Да. Но если бы не строчил, так сделали бы уже! — с досадой сказал Павлушин. — Да и потом нехотищцам он не даст ходу...

— Даст! После сигнала — другой разговор. Артиллеристы ахнут прямой паводкой. Небось уже...

Куроптев взглянул на шнур и умолк.

Прошла минута, другая. Судя по шнуру Мовчун лежал на одном месте. Сержант опять высунулся из окопчика. Время шло, моток не шевелился.

Павлушина начало лихорадить. Наступала минута, которую он ожидал. Страха не было, но руки дрожали. В уме он едко ругал себя, но это не помогало. К счастью, сержант смотрел вперед. Павлушин отодвинулся от него в сторону, руку прижал к груди, дрожь стала утихать, но волнение не унималось.

Притихнув, Павлушин зорко следил за сержантом. Вдруг тот опустился в окопчик. Следующее его движение — поворот головы — было резким, решительным. «Сейчас позовет Валеева!» — подумал Павлушин и, сразу весь подтянувшись, быстро, горячим, прерывистым шопотом сказал:

— Товарищ сержант! Попыйте меня.

Куроптев оглянулся. Никогда еще Павлушин не замечал у него такого острого взгляда.

— Тебя? А может быть, я сам ползти хочу.

— Нет, вам нельзя! Вы старший в группе. У вас еще два бойца. Вы не должны, — торопливо, но твердо возразил Павлушин. — А я проворнее Валеева, сделаю скоро...

Сержант подумал и решил:

— Красноармеец Павлушин, приказываю вам подложить заряд.

Павлушин отчетливо, усилем воли пода-

вив внутренний трепет, повторил приказание. Сержант другим уже топом продолжал:

— Еще не все. Мовчун, может статься, просто залег. Не придавливай шнура. Мовчун поползет, ты лежи, остановится оп — ты вперед, следом. Изредка сигнал мне — три рывка. Когда будет все готово — два: «Можно рвать». Не перепутай, за какой конец дернуть. У тебя есть часы?

— Да.

— Сверим. Без двадцати семи три. Верно? В три ноль ноль рогатки и у нас здесь, и в других местах, где пужно, должны взлететь на воздух. Взрыв будет сигналом для атаки. Ясно? Постарайся до трех часов отползти подальше от колючей проволоки.

— Понимаю.

— Я на тебя надеюсь, ты — комсомолец. Действуй!

У Павлушина перехватило дух. Так было у ребят веснами. Вода в реке еще студеная, а нельзя же выкупаться. Зажмурясь, парнишка с размаху бросается в реку. Теперь вместо пугающей водяной поверхности впереди стало снежное поле, мертвенно сияющее от лунного света. И, нырнув в глубокую борозду, пропаханную телами товарищей, Павлушин полз несколько метров, не переводя дыхания и ничего не видя.

Полз он быстро, частыми толчками и вдруг вспомнил: «Шнур!» Теперь движение замедлилось: пужно было откидывать шнур с пути, а делать это становилось все неудобнее. Натягиваясь, шнур падал обратно в борозду.

Павлушин попробовал откидывать другой рукой — оказалось, что влево он ложился легко. Удалось освободить сразу метра три пути. Но тут Павлушин обнаружил, что шнура в борозде нет. Не было его и дальше. Павлушин остановился, недоумевая. Неужели шнур оборвался? Могло перебить и пулей. Мовчун не заметил обрыва: ведь конец тянулся следом. Если получилось так, то возможно, что Мовчун жив. Чудесно бы! Но как быть со шнуром? Ползти обратно, отыскивая конец? Павлушину не хотелось тратить время, но другого выхода не было. Досадая, он повернул было назад и тут увидел шнур, лежавший в метре от борозды. «Фу, чорт! Так просто, а не сообразил!» Серлитый, он энергично пополз вперед.

Вот и проход в мшином поле: по сторонам, сплеча, зияли разрытые ямки.

Пулемет бил короткими очередями. Обычные пули перемежались с трассирующими. Сверкнув в воздухе, красные и зеленые линии утыкались в землю на проталине против прохода, либо несколько левее. Пока Пав-

лиши мог быть спокоен: немец его не видел.

Шнур отошел от борозды уже далеко, был едва заметен и с каждым метром отходил все левее. Это значило, что Мовчун где-то круто свернул. Павлушин задумался. Взлезти ли бороздой и дальше, до поворота, или же взять направление по шнуру, напрямик к заряду? Трудно было решить, где безопаснее. Оба товарища погибли или, раненые, лежали под огнем. Короче же был путь по шнуру. Но это не означало выгоды и во времени: прямой путь шел по целине.

«Главное, шнур не потерять из виду». Павлушин пополз навскось влево. Нужно было двигаться так же быстро, как и бороздой, а это требовало лишних усилий. Он до предела напрягал мускулы, стараясь вместе с тем не горячиться. Полз с расчетом, упираясь ладонями и носком согнутой ноги, равномерно толкал тело вперед, голова в каске входила под снежную корку: надвигаясь, лед ломался на сине.

Очувтившись опять подле шнура, Павлушин лег. Лицо горело, исцарапанная кожа саднила, все тело было горячим. Чувствовалась усталость. Но лежать не было времени, да и опасно. Немного передохнув, он двинулся дальше.

Слой снега становился тоньше. На пути попадались мерзлые камешки или камни, затруднявшие движение. Неожиданно снег кончился. Павлушин почувствовал себя точно голым.

К счастью, полоса льда оказалась неширокой — в два человеческих роста, а поверхность была корявой — руки и ноги по ней не скользили. Дальше опять пачался снег. Но лежал он тонким слоем и напоминал перемерзшие стружки.

Одолев еще метров пять, Павлушин замер на месте. Педалею вперед толыней темнела проталина. А за нею, четкие на фоне леда, торчали березовые колья рогаток. Где же товарищи? Павлушин огляделся. Навскось вправо от него, на краю проталины белел небольшой сугроб. Приглядевшись, Павлушин с трепетом различил линию головы и спины человека. Несомненно, это лежал Сутоклин. Мовчуна же следовало искать, глядя вдоль шнура. Но там не было видно чего-либо похожего на тело, только на кромке снега за проталиной бледно синело продолговатое пятно: не то тень от сугроба, не то впадина.

По снегу у края проталины был проложен след; тянувшийся от Сутоклина, он оглябал ее слева. Вероятно, это был след Мовчуна. Шнур же пересекал проталину.

Теперь надо было решить, как добраться до заряда. Через проталину? — нужно снять маскпровочный костюм. В обход — больше потратишь времени, да и этот путь может привести к смерти раньше, чем к цели. Но и Сутоклин тоже погиб.

Почему Сутоклин не снял маскпровочного костюма? Забыл? Вряд ли. Он был предусмотрительный. Не случайно его труп лежит на самом узком месте проталины. Вернее всего, Сутоклин полз под таким огнем, что не мог задержаться хотя бы на полминуты.

Раздумье заняло у Павлушина времени не больше, чем нужно его для полета пули. Успел он заметить и невыгодную сторону своего положения. Проталина здесь была шире, к тому же пересекать ее предстояло навскось по шнуру.

Решение было принято, и вдруг впереди, у рогаток, раздался лопочущий треск, от кольев сверкнули огненные брызги. И по проталине тоже гремуче порскнули крупные искры.

Павлушин в страхе прижался к земле. «Чорт, разрывными!» Сердце замерло. Чувство страха росло стремительно и неотвратимо. Так растет опьянение у человека, впервые хватившего волки. Внутренне Павлушин точно бы раздвоился, испытывал страх, а вместе с тем пасторожившись, зорко, как за врагом, следил за этим чувством. Сейчас оно было опаснее пули. Он сознавал это, но молодое его тело, жаждавшее жить, слепо рвалось назад, дальше от этих проклятых рогаток. Воля изнемогала. Но поддержку ей Павлушин мог найти лишь в самом же себе. Отчаяваясь уже, он свинул обшлаг рукава и взглянул на часы. Прямоугольное стеклышко вспыхнуло лунным блеском. Павлушин повернул кисть руки — блеск погас, осталась лишь одна сияющая точка.

Стрелки показывали без двенадцати три. Цифра три чернела резче и крупнее всех других.

«Приказ!» — подумал Павлушин. Вспомнились слова сержанта: «Выполняю приказ».

Опять дробно прощептало. Павлушин лежал впиз лицом, но по звуку понял — пуля разорвалась где-то правее шнура. Он отметил это со стороны, безразлично. Страх таял. Душой овладевало другое чувство, гордое, отрешенное и сладостное: занескотало в горле и на глазах выступили слезы.

Павлушин рванулся вперед. Энергичные толчки, двигавшие тело, смелялись быстро, настигая друг друга. Внезапно Павлушин услышал под собой какой-то новый шипящий звук и сразу остановился. Он лежал животом на проталине. Перед лицом и

малыше топорищлась трава, мертвая, жесткая, посыпанная морозной солью.

— Остолоп!

Павлушин почувствовал, что все в нем как-то уравнилось. Сердце билось размеренно, полное трезвого спокойствия; сознание было необычайно ясно.

Осталось одиннадцать или десять минут. Он может не жалеть своей жизни — хорошо. Но эти минуты он обязан прожить — и прожить умно, так, чтобы в конце последней минуты рогатки с колючкой взлетели к чорту.

Пока голова думала, руки уже действовали. Понятившись, Павлушин повернулся на бок и быстро расстегнул крючки и распахнул полы. Потом он опять лег на живот и, отведя руки за спину, стал рысками стаскивать рукава, то одной, то другой, затем дернул оба сразу. Куртка съехала с плеч. Он скомкал ее, закинул за пазуху под ватник и подвинулся на проталину. Ватник оказался одного цвета с травой. Это было удачей. Распустив поясной шнурок, Павлушин опять лег на бок, согнул ноги и подтянулся рукой к пиколотке, где штанина была перехвачена тесемкой. Узелок не подтавлялся. Павлушин вспомнил о ножичке...

В левую голень что-то ткнулось — как пчела; толчок был еле опутым, но нога непроизвольно, рывком, выпрямилась. Павлушин повернулся на живот и пополз, прижавшись к земле. Сейчас требовалось двигаться как можно быстрее. Упереться левой ногой было больно — сквозь голень словно продергивали колючку, — однако и эта раненая нога помогала ползти; он старался не замечать боли.

Павлушин не знал, целился ли в него немец. Если целился, то и сейчас мог держать на мушке. Правда, пули посвистывали в стороне. Голова и туловище, незаметные на траве, немного заслоняли от немца ноги в белых штанах. И возможно, пулеметчик потерял цель и вытался ее найти. Но он мог дать по проталине и длинную очередь.

В траве попадались камешки, какие-то мерзлые корни; они цеплялись за пояс, за обмундирование. Но по проталине ползти было все же легче, чем по хрупкому насту. И Павлушин сам удивился, когда прямо перед глазами увидел снег.

Падеть куртку оказалось сложнее, чем снять: на это пришлось потратить не меньше минуты. Но зато не пужно было возиться со штанами. «Вот и опять удача!» Пусть и маленькая, но она все же приближала к цели, и он порадовался ей, хотя она стояла ему рапы.

Голень болела. Обмотки были горячими и сырыми, однако отсырев, они ту же стлывали икру, и кровь теперь, повидному, лишь чуть сочилась. Тугие обмотки — и это было кстати; ведь перевязать рану он и имел возможности.

Шнур привел к Мовчуну.

Павлушин оторопел от неожиданности. И хотя он и готовился увидеть товарища — скорее мертвым, чем живым.

Мовчун лежал плашмя в снегу, с протянутой вперед правой рукой. Ноги его упирались носками ботинок в землю, уже под ластом, причем правая, согнутая в колене, была напряжена сильнее. На первый взгляд казалось, что человек еще ползет. Но в следующий миг становилась очевидной мертвая сцепленность позы. Тело застыло в своем стремлении вперед.

Шнур шел к заряду через правый кулак Мовчуна. Павлушин потянул шнур, потом подергал. Но мертвый держал шнур крепко. Павлушин вынул ножик. Так поступил и Мовчун, очутившись подле Сутоккина: перерезал бечеву. Связав концы, Павлушин обмотал шнур вокруг кулака, потом пополз к Мовчуну. Память подсказала, в каком из карманов тот спрятал взрыватель, — пришлось лишь прокопать снег. Достав взрыватель, Павлушин передвинулся на полметра и опять лег. Лицо Мовчуна утопало в снегу, торчал лишь кончик черного уса. На левом плече, против погона, полотно куртки адело. Пуля прошла вдоль тела.

Павлушин смотрел, не мигая. Сердце его было полно жгучей жалости, вместе с тем он ощущал, что и сам словно цепенеет.

— Эх, Остол, Остол! — с усилием прошептал он, дышахнем своим парующая ледяной покой смерти. — Прощай!

Смерть была и впередя. Но все же Павлушин поспешил отползти вперед и почувствовал себя бодрее, увереннее, оставшись опять один. А через несколько шагов он уже не испытывал ничего, кроме злого желанья скорее закончить дело, ради которого погибла товарищи.

Мовчун был убит, когда он полз уже вдоль ряда рогаток. Судя по ране, сразившая его пуля летела не под прямым, а под острым углом к линии проволоки. Повидному, заграждения охранял еще один пулемет, стрелявший почти вдоль них.

«Недостает еще мномета!» — подумал Павлушин, глубже зарываясь в снег. Мысль о новой опасности не пугала его, а лишь еще больше взбадривала и вызывала гордость самим собой: он вооружен только волей и смекалкой, и все же он сильнее врага.

Теперь он полз с зарядом вдоль рогаток. Снег здесь был довольно глубокий. Время от времени Павлушин оглядывался вправо, на труп Сутоклина: заряд следовало взорвать точно против хода, сделанного в минометном поле.

Оба погибших товарища Павлушина и сейчас, после своей смерти, помогали ему: рана одного предупредила об опасности с фланга, тело другого служило ориентиром.

Коричневый шнур, пересекая проталину, передвигался все вправо. Поровнявшись с телом Сутоклина, Павлушин круто повернул влево, к проволочному заграждению. Но только он попытался посмотреть вперед, как по снегу, на той стороне рогаток, точно ударило хлыстом: вспыхнула цепочка белых дымков. Павлушин замер. А услышав длинную очередь, подумал: «Ну, и пусть! Скорее кончится лента». Простучала новая очередь. «Спасибо, что не сбоку», — опять отметил Павлушин. Бессознательно сейчас он старался во всем находить хорошую сторону — даже в том, что угрожало ему смертью почти уже у цели. Этим он безотчетно подбадривал себя. Но головы он не поднимал. Его жизнь была драгоценна как никогда — и не ради будущих лет, а из-за нескольких уже истекающих минут.

Павлушин лежал пичком, уткнув лицо в варежку, и все же до боли ясно видел каждый атом его существования, ощущал, как его тело и все кругом ярко озарено беспощадным светом.

В прошлой жизни, недавней и бесконечно далекой, юноша Леня Павлушин, ученик десятилетки, любил лунные ночи, любил мечтая, подолгу смотреть на зеркальный диск, тихо сиявший в вышине, и какие чудесные мысли и чувства рождались в мягком, таинственном сиянии тех ночей!

Теперь же Павлушин, лежа у колючей проволоки, всеми силами души ненавидел луну, проклинал ее, а зеленоватый ее свет вызывал у него тошноту. Мысли его, как и прежде, были связаны с ясной ночью.

«Тень, вот что!» — Павлушин обрадовался догадке, тут же подосадовал, что не сразу пришла спасительная, но такая простая мысль. Уловив момент, когда кончилась очередь, он приподнял голову только на миг, чтобы наметить направление, потом пополз наискось.

Он очутился у стыка двух рогаток. Связанные проволокой крестовины заслоняли его, если не от нуля, то от взгляда врага, стрелявшего от люстрок. А всякая тень от кольев прикрывала тело и от взглядов сбоку: люди

различия издали, какая из этих синеватых полосок шире остальных!

Пулемет застучал снова. Но теперь Павлушину уже нельзя было медлить. Он подтянул заряд за шнур к себе, перехватывая планку, стал передвигать его дальше, пока втулка с гнездом для взрывателя не пришла вровень с плечом.

Следующим делом было перерезать шнур и прикрепить один конец к взрывателю. Это тоже прошло без задержки. Павлушин стал пальцем прочищать отверстие втулки. Он помнил про время, но нужно было все сделать, как полагается. Вернув взрыватель, он подвинул заряд еще на метр вперед, потом немного к себе, и начал толкать его дальше, уже обеими руками.

Проволока была натянута низко, шипы касались наста. Передний конец заряда уткнулся в нее. Оставалось одно — вдавить заряд в снег, но для этого требовался сильный нажим сверху.

Время шло... Опершись ладонями на боковые планки заряда, Павлушин приподнялся. Тут же его ударило под ключицу — будто ткнуло стальным прутом. Руки разошлись, он рухнул грудью на толстые шипы. Рот стал наполняться густой солоноватой влагой.

«Что же — конец?!» Эта мысль потрясла Павлушина. Все было напрасно! И ему показалось, что условленный срок уже истек.

Сейчас сержант, не дождавшись сигнала, дернет за шнур, но взрыв не даст пугного результата...

«Погибну без толку!» — подумал Павлушин. Возмущение неудачей, испавишь к врагу, жалость к самому себе — все, что испытывал он сейчас, — все слилось в одно чувство, упрямое и ожесточенное. И, выплюнув кровь, он снова приподнялся.

Наст под зарядом, оказалось, уже проломился, почти на всю длину планок, унаб грудью, Павлушин сразу сделал то, чего хотел добиться пажимом ладоней. У плохого, гибельного опять оказывалась своя хорошая сторона. Значит, нужно только не сдаваться, пока есть хоть капля силы.

А силы у Павлушина еще были; ожесточение увеличивало их. Стиснув зубы, он оттянул заряд немного на себя и, упершись в копец, снова толкнул вперед. Заряд прошел под проволоку. Не переставая подталкивать его, Павлушин подвигался и сам, все дальше, пока не очутился лицом у самых колючек. Заряд лег хорошо, подле крестовины; его длины хватало на оба ряда рогаток.

Припав к снегу, Павлушин зажал в кулаке шнур со стороны взрывателя, а дру-

гой рукой стал тащить на себя свободный конец. Шнур собрался петлями, темневшими на снегу. Вот шнур натянулся. Павлушин дважды сильно рванул его к себе и, вздохнув, лег щекой на шершавый наст.

— Все!

Сигнал был дан. Шнур пополз назад, опять натянулся. Но взрыва не последовало. Изумленный Павлушин поднес к глазам кисть левой руки. Секундная стрелка бежала мелкими, поспешными толчками. Было без двух минут с половиной три часа.

Павлушин медленно и смутно, как бывает в момент пробуждения, подумал: «Выходит, что живу!»— и потрогал холодную браслетку.

Эти стальные часики подарила Павлушину мать, в день его совершеннолетия. А теперь они и сами делали ему драгоценный подарок— две с половиной минуты, ничтожный промежуток времени, который может растянуться на целую жизнь.

Последнее, впрочем, зависело от самого Павлушина. Еще нужно было бороться, чтобы эти минуты и секунды могли превратиться в дни и годы...

Павлушин повернулся, раскопал снег и пополз вдоль шнура.

Торопливый стук пулемета, бывшего с заворков, прерывался короткими паузами. Отрывистые очереди порой сменялись длинными, раскатистыми: это старая другая пулемет, бывший наискось. Работали машины смерти и на восточной стороне немецкой обороны. Там стрельба шла живей, сливаясь в гулкий рокот; крепко рвались мины. Но Павлушин ничего не слышал. Он ожидал взрыва, который вот-вот мог грохнуть позади, и ему казалось, что в мире совсем тихо.

Сейчас Павлушин не думал о враге: опаснее были режущая боль и слабость, ощущавшиеся все заметнее. Взрыва же он ждал и страшился. Напрягая все силы, он старался отползти подальше от рогаток. Сознание временами мутилось. Хрипло дыша, он полз сквозь туман, наплывавший волнами: на воспаленных губах вздувались и лопались пузырьки.

Проталина с мерзлой травой осталась позади. Тело все глубже проваливалось в снег. Силы иссякали. И вдруг Павлушин осознал: нет уже смысла тратить остаток сил! Только две минуты с половиной отпущены ему, не могут же они длиться долго. Он лег. Воздух над полем стоял недвижимо, словно оледенев, прозрачный и немного зеленоватый. Павлушин сплюнул кровь и стал поворачивать в обратную сторону. Вскоре здесь, спешащие и яростные, пробегут бойцы, следом придут санитары... Павлушин постарается не умереть, а если умрет, так пусть его тело лежит головой в сторону врага. вперед.

С трудом повернувшись, Павлушин прижал ладонь к скользкой куртке против раны и спокойно как человек, смертельно уставший, но сделавший все, что мог сделать, с тихой довольной улыбкой опустил голову на лунный снег.

Мать стала подле него, родимого своего Алеши на колени, скорбная и гордая, и ладонью легко, как ветерок, коснулась его саднившего лица.

Быть может, мать прощптала что-либо, но в это мгновение впереди свернуло высокое золотистое пламя, озарив поле, и, мощно сотрясая землю, громом ударил взрыв.

Действующая армия

Из „Берлинского дневника“¹

Берлин, 10 мая

Гроза на Западе разразилась. Сегодня на рассвете немцы вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург. Гитлер играет ва-банк: теперь или никогда. Германия, пожалуй, действительно не в состоянии выдержать длительную экономическую войну, и Гитлер решил нанести удар, пока его военные запасы еще не истощились, а в воздухе он имеет перевес над союзниками. Он, повидимому, понимает, что поставил на карту все. Его приказ по армии начинается словами: «Час решающей битвы за будущность германской нации пробил». И кончается: «Начавшаяся сегодня битва решит судьбу германской нации на ближайшую тысячу лет». Так и будет, если он проиграет.

Насколько я понимаю, у Гитлера было три возможности: выжидать и ограничиваться пока войной на экономическом фронте, как делали обе стороны всю зиму; нанести удар по какому-нибудь слабому звену союзников, например, на Балканах; искать решения на Западе, обрушившись на противников через нейтральную Голландию и нейтральную Бельгию. Он избрал третий путь — самый рискованный.

Не могу похвастать, чтобы события застали меня на чеку. После моей обычной радиопередачи в ноль сорок пять я спал сном праведника, когда в семь часов утра меня разбудил телефонный звонок. Звонила одна из барышень Рундфунка. Она сообщила мне новости.

— Когда вы хотите радировать в Нью-Йорк? — спросила она.

— Я сейчас же еду к вам, — ответил я.

— У Риббентропа в министерстве иностранных дел в восемь часов пресс-конференция, — намекнула она.

— А ну ее! — возразил я. — Сообщите Нью-Йорку... передайте туда срочно... пусть предупредят дежурного... я буду у микрофона через час.

Прошло добрых два часа, пока я оказался у микрофона. Надо было одеться, доехать до Рундфунка, восстановить полную картину, — все это требовало времени. На радиостанции была порядочная сумятица,

и приходилось чуть не силой вырывать из рук у дикторов различные коммюнике, что тоже удалось не сразу. Хорошо еще, что цензура, очевидно, получила ночью соответствующие указания и не задержала меня надолго. Цензоры придрались только к конферансу и не дали мне называть немецкие действия в Голландии и Бельгии вторжением. Они заявляли, что это не вторжение. Я раскиспятился, но потом сообразил, что они в трех местах проморгали слово «вторжение» в самом тексте передачи, а потому можно заменить его в конферансе «вступлением» и спасти для американских радиослушателей рассказ о событиях, передаваемых прямо из Берлина. Компромисс был мне не по душе. Но не жертвовать же целым, и притом важным, сообщением из-за одного слова. А кроме того, Америка понимает, что происходит, когда идет вторжение.

Тот же день, позже

Надо сказать, что берлинское население встретило известия о битве, которая должна «решить судьбу германской нации на ближайшую тысячу лет», с обычной свойственной ему апатией. Никто не спешил ко дворцу рейхсканцлера, перед которым принято собираться, когда происходят большие события. Лишь немногие останавливались купить полуденную газету, где были напечатаны первые сообщения. Экстренные выпуски утренних газет Геббельс по каким-то соображениям запретил.

Немецкий меморандум, «обосновывающий» довший акт гитлеровской агрессии, был вручен голландскому и бельгийскому посланникам в шесть часов утра, т. е. через полтора часа после того, как немецкие войска нарушили нейтралитет их стран. Этот меморандум представляет собой рекорд цинизма и беззастенчивой наглости — даже для Гитлера. Он требует, чтобы оба правительства издали приказ, запрещающий всякое сопротивление немецким войскам. «В случае, если немецкие вооруженные силы встретят сопротивление в Бельгии или Голландии, — говорится далее в этом документе, — оно будет подавлено всеми средствами. На бельгийское и голландское правительства падет вся ответственность за последствия и за неизбежное в этом случае кровопролитие».

Меморандум, — Риббентроп огласил его сегодня утром на пресс-конференции, — заявляет также, что Англия и Франция готовили наступление на Германию через территорию «обеих нидерландских стран», ввиду чего Третья империя сочла необходимым послать туда собственные войска, чтобы «оградить нейтралитет Бельгии и Голландии». Этот лицемерный вздор «подкрепляется» фальшивкой, составленной немецким верховным командованием, которое утверждает, будто оно располагает

¹ Уильям Ширер, видный американский журналист, прожил в гитлеровской Германии ряд лет, вплоть до вступления США в войну на стороне свободолобивых наций. В качестве берлинского корреспондента одной из американских радиовещательных компаний Ширер был свидетелем важнейших событий первого военного двухлетия (1939—1941 годов). Его книга «Берлинский дневник», вышедшая в США, пользуется там большим успехом.

Мы печатаем часть «Дневника», начиная с записей о вторжении немецко-фашистской армии в Бельгию и Голландию.

данными, доказывающими, что союзные войска должны были вступить в Бельгию и Голландию с целью захватить Рур.

Но подделка сомнению, что в бой брошены все силы немецкой армии. Люфтваффе пустила в ход все свои самолеты до последнего и намерена, очевидно, полностью использовать немецкое превосходство в воздухе над союзниками. По сообщению верховного командования, сегодня на рассвете немцы бомбардировали десятки аэродромов и посадочных площадок в Голландии, Бельгии и Северной Франции вплоть до Люна. И есть нечто новое: одна из сводок говорит о высадке немецких воздушных десантов на ряде бельгийских и голландских аэродромов. Немцы утверждают, что они захватили аэродромы и овладели прилегающей к ней территорией. Надо думать, — хотя военный цензор вычеркнул это из моей сегодняшней передачи, — что немцы сбрасывали парашютистов тысячами. Слухи о том, что немецкие парашютисты заняли уже часть Роттердама, пока не подтверждаются. Все это звучит, как фантастический рассказ, но после Норвегии ничему больше не удивляешься.

В первых же немецких сводках говорится, что немцы переправились через Маас, заняли Маастрихт и одновременно прошли через Люксембург и вступили в Бельгию. Сейчас, к вечеру, немецкая армия находится под Льежем, где она была задержана в 1914 году и где впервые выдвинулся Людендорф.

Война с гражданским населением началась также. Союзники сообщают о многочисленных жертвах немецких летчиков. Вечером немцы тоже выпустили сообщение, по словам которого три самолета союзников сбросили бомбы в центре Фрейбурга, причем было убито двадцать четыре человека из гражданского населения. И тут же характерная черточка, показывающая, во что обратится война в ее нынешней фазе: немецкое сообщение заявляет, что «впредь на всякую бомбардировку гражданского населения Германии ответом будет бомбардировка английских и французских городов впятеро большим количеством немецких самолетов». (Следует отметить при этом специфические нацистские методы: сообщение является, во-первых, составной частью «психической войны», играющей на нервах неприятеля; оно предназначено, во-вторых, для немецкого населения, которое при неприятельских налетах должно подбодрять себя мыслью, что англичанам и французам достается впятеро больше.)

Это один характерный штрих. А вот и другой. Голландский и бельгийский посланники потребовали сегодня на Вильгельмштрассе свои паспорта, заявив одновременно резкий протест против беззастенчивого нарушения нейтралитета их стран; тотчас же после этого было опубликовано официальное сообщение, в котором говорится, что «дежурный чиновник (в министерстве иностранных дел), ознакомившись с содержанием протестов и найдя их дерзкими и неслесными, отказался принять их и предложил обоим посланникам потре-

бовать свои паспорта в обычном порядке. Немцы совсем с ума сошли!

Провел весь день у микрофона, устал, сосет под ложечкой.

Берлин, 11 мая

Тяжелая немецкая машина катится по Голландии и Бельгии. Сегодня вечером немцы объявили о взятии Эбен-Эмала, который, по словам немецкого верховного командования, является важнейшим из льежских фортов; этот форт расположен на высотах, господствующих над слиянием Мааса с каналом Альберта. Командование, которое, следуя указаниям Гитлера, не упускает ни одного удобного повода для пропаганды, выпускает таинственность, заявляя, что форт был взят при помощи «нового метода атаки». Неужели история повторяется? В 1914 году, когда Льеж задержал немцев на двенадцать дней, у немецкой армии тоже был заготовлен сюрприз — сорокадвукалассная гаубица, которая крошила форты крепостью как дерево.

Немцы хранят молчание по поводу воздушных десантов, сброшенных ими на парашютах и высаженных с транспортных самолетов в голландском тылу — в Гааге и Роттердаме. Впрочем, верховное командование, уязвленное сообщениями союзников, дивергало сегодня, что голландцы отбили обратно гаагский и роттердамский аэродромы. Выходит, что парашютисты, помимо прочего, снабжены портативными радиопередатчиками!

Страшное впечатление производит апатия населения в дни решающего поворота в ходе войны. Если не считать официальных лиц, то у большинства немцев, с которыми мне приходилось говорить, настроение глубоко подавленное. Странно: много ли немцев поддерживает эту безоглядную, отчаянную игру, затеянную Гитлером? Писательские журналы, рассуждавшие сегодня на эту тему за обедом в «Адлоне», отвечали по большей части: много, много! И все-таки я не верю, что один немец, действительно готовый поверить в гитлеровские объяснения — в то, что Гитлер вторгся в нейтральные страны, предпринимая те, которых он сам гарантировал, для того, чтобы предупредить аналогичный шаг со стороны союзников. Эта ложь очевидна даже для немца.

Пропагандистская машина Гоббельса тоже переключилась на полный ход и сегодня, через сутки после официального сообщения о жертвах бомбардировки во Фрейбурге, поразила всех открытием, что из двадцати четырех убитых тринадцать были дети, предававшиеся пешим забавам на городской площадке для игр. Но каким образом десятки детей оказались на площадке для игр в разгар неприятельского налета? Это редкое гоббельсовское вранье должно, по всей вероятности, служить для оправдания убийств гражданского населения, совершаемых немцами по ту сторону фронта.

Берлинские газеты вышли сегодня с аршинными заголовками по поводу «бес-

стыдных» протестов Бельгии и Голландии против немецкого нашествия.

Нацисты интернировали вчера в «Кайзергофе» всех голландских журналистов, кроме нацистов, в том числе и Гарри Мадейка, который до последней минуты не хотел верить тому, что это может случиться. А какая-то голландка, корреспондентка голландской нацистской газеты, с раннего утра сидела вчера на Руддфунке и передавала лживые сообщения голландскому народу на его родном языке. Своего рода леди Гав-Гав!

У меня была дополнительная передача в четыре тридцать ночи — по Нью-Йоркскому времени всего лишь в половине одиннадцатого вечера. С восьми утра — снова за работой.

Берлин, 12 мая

Воскресенье. Немного отоспался. Полуденную передачу взял на себя Хилл.

Прошло всего два дня после начала боя, а верхнее командование заявляет, что немцы заняли уже всю Северо-Восточную Голландию к востоку от Эйндерзее, преодолели первую и вторую линии обороны в самом сердце Голландии и прорвали восточный край бельгийской оборонительной линии, тянущейся вдоль канала Альберта. Около года тому назад я видел этот канал, на берегах которого бельгийцы возвели долговременные укрепления. Высокие, очень крутые, выложенные камнем берега производили впечатление грозной противотанковой преграды. Неужели бельгийцы не взорвали мосты?

Вечером по радио передавалось предсказание голландцам: в случае каких-либо преследований немецких подданных в Голландии «имеются всевозможности отплатить за них многотысячным голландцам, проживающим в Германии».

Берлин, 13 мая

Новости — поразительные. В вечерних газетах — заголовок: «Падение Льежа! Немецкие наземные войска прорвали фронт и установили связь с воздушными войсками под Роттердамом!»

Ничего удивительного, если даже верховное командование, как сказал мне сегодня один офицер, несколько смущено темпами наступления.

Воздушные войска состоят из парашютистов и отрядов, которые с первого же дня кампании высаживались с транспортных самолетов на побережье у Гааги. Именно эти войска и заняли часть Роттердама (!) вместе с аэродромом, хотя у них совершенно не было артиллерии, а у голландцев, при их богатстве, артиллерия должна была быть хоть отбавляй. Каким образом немецкие наземные силы беспрепятственно прошли через южную часть Голландии и достигли моря — это загадка для всех иностранных наблюдателей в Берлине. Это были, конечно, моторизованные

войска, и их путь перерезывали десятки каналов и рек. А голландцы, надо полагать, позаботились о том, чтобы взорвать свои мосты.

«Знамя свастикки развеется над льежской цитаделью», — вещают заголовки вечерних газет. Повидному, немецкие войска, форсировавшие канал Альберта, обошли Льеж и ударили на него с северо-запада, где он был защищен наиболее слабо, так как бельгийцы ожидали главной атаки с прямо противоположной стороны. В 1914 году Льеж держался пять дней. Если теперь он пал через четыре, то это — плохое предзнаменование для союзников.

Иностранные радиостанции приобщать о немецких парашютистские сыплются градом на Бельгию и Голландию, захватывают аэродромы, бомбят города. (Здесь нам не удалось добыть никаких сведений на эту тему). Это — новая форма войны; интересно, как она повлияет, и какой исход упорной, длительной кампании теперешние военные действия в такую кампанию, а не просто немецкую военную прогулку.

Вчера вечером французский генерал Рейно объявил, что захваченные немецкими неприятельскими парашютистами в Льеже на себе немецкой воздушной формы расстреливаться на месте. А сегодня вечером, как нам сообщили из Вилстрассе, немецкое министерство и другие органы уведомили союзные правительства, что за каждого расстрелянного немецкого парашютиста немцы будут стрелять десять плененных французских парашютистов. Эти парашютисты образуют нас на несколько тысяч километров назад. И заметьте, что это лишь часть новой террористической стратегии Гитлера.

Я был сегодня в нашем посольстве, где все подавлены, и большинство из них (за исключением четвертый день после начала войны!) что союзники пропали. Я ушел в ответ, какими мрачными рисунками Лондону и Парижу перспективы в 1914 году, когда немцы стремились к столице Франции и французское правительство бежало в Бордо.

Берлин, 14 мая

Все ошеломлены сегодняшними известиями.

Голландская армия капитулировала после пяти, только пяти, дней боев, замечательные водные рубежи, считались непреодолимыми? Где смята, насчитывавшая свыше полумиллиона человек?

За час до того, как мы прочли вестник в специальном коммюнике сообщены о падении Роттердама. Самый ужасом под впечатлением немецких пикирующих бомбардировщиков и страхе предстоящей атаки на танков, город Роттердам капитулировал. Этим спас себя от разрушения. — Этот немецкое официальное сообщение этого сообщения мы впервые узнали Роттердам подвергался воздушным

¹ С начала войны в Берлине ежедневно выступал по радио с лживыми пропагандистскими сообщениями на английском языке выдававший себя за англичанина агент, укрывавшийся под именем «лорда Гав-Гав».

бардировке и едва не был разрушен до- тла. Интересно, сколько мирных роттер- дамцев заплатило жизнью за эту войну, которую Адольф Гитлер «обещал» не ве- сти против гражданского населения? Или, может быть, целый город с пятьюстами тысячами жителей являлся военным объектом и подлежал полному уничтоже- нию?

Вслед за прорывом у Льежа сегодня ве- чером немцы объявили, что они прорвали вторую линию бельгийской обороны к се- веро-западу от Намюра. Они должны быть теперь очень близко от Брюсселя. Танки и самолеты, в особенности самолеты, со- служили и еще сослужат немцам хорошую службу. Каким преступлением со стороны англичан и французов было их невниман- ие к своим военно-воздушным силам!

Мне начинают надоедать однообразные приемы немецких радиосообщений о новых победах. Передача программы приостано- вливается, раздается звук фанфар, затем прочитывается последняя сводка и в за- ключение хор исполняет новейший боевик: «Мы идем на Англию». В случае крупного успеха исполняются дополнительно са- национальных гимна.

Берлин, 15 мая

Сегодня у иностранных дипломатов и журналистов снова ошеломленные и вы- тянутые лица. Верховное командование заявляет, что немцы прорвали под Седаном линию Мажино и пересекли Маас в двух местах — у Седана и дальше к севе- ру, между Намюром и Живе. Тому, кто знает низменную, покрытую дремучими лесами долину Мааса, с трудом верится, чтобы немцы могли так быстро пройти через нее, если хоть какие-нибудь войска защищали западный берег реки. И, од- нако, в сообщениях обеих стран гово- рится о крупных танковых боях к за- паду от Мааса.

Почти все мои знакомые оставили все- гие надежды. Я — нет... пока. В августе 1914 года, когда казалось, что никакими силами нельзя остановить немецкие вой- ска на пути к французской столице, Париж переживал наверное еще более тяже- лые дни. Наши военные указывают, что генеральное сражение еще не начиналось и немцы еще не встретились с главными силами французов и англичан. Да и бель- гийцы сохранили еще полмиллиона бойцов. Линия, занимаемая на сегодня союзника- ми, в грубых чертах следующая: Антвер- пен — Лувен — Намюр и далее вниз по Маасу до Седана, причем в ряде пунктов немцы переправились через реку.

Из Рима идут упорные слухи, что те- перь, когда немцы, повидимому, одержи- вают верх, Италия в конце этой недели тоже ринется в бой.

Причина, заставившая голландцев поло- жить оружие, заключается, повидимому, в том, что немцы устроили варварское воз- душное побоище в Роттердаме и грозили такой же участью Утрехту и Амстердаму. Гитлеровская система поддержки военных операций при помощи террористических угроз и их осуществления достигла высо- кой степени дьявольского совершенства.

Так, например, сегодня вечером гитле- ровское верховное командование пригрози- ло подвергнуть Брюссель бомбардировке, если не будут немедленно прекращены все передвижения войск, якобы замечае- ные там немецкими разведывательными самолетами. «Если бельгийское правитель- ство, — говорит в коммюнике, — желает спасти Брюссель от ужасов войны, оно должно немедленно прекратить передви- жения войск в городе и всякие фортифи- кационные работы».

Миленькая война!

Берлин, 16 мая

Будут ли немцы бомбардировать Брюс- сель после своей вчерашней угрозы? П., всегда хорошо осведомленный насчет не- мецких планов, считает, что Гитлер в те- чение ближайших двух суток подвергнет Париж и Лондон бомбардировке среди бе- ла дня.

Только что на пресс конференции в ми- нистерстве пропаганды я видел два не- цензурированных выпуска кинохроники. Кар- тины огромного шествия немецких войск через Бельгию и Голландию. Показыва- лись примеры особенно разрушительной работы немецких бомб и артиллерийских снарядов. Опустошенные города, валяю- щиеся на земле тела солдат и трупы ло- шадей, фонтаны земли и пшутатурки, взлетающие ввысь при попадании снаряда или бомбы. Немец-диктор злобно рявал: «Так обрекаем мы на смерть и разруше- ние наших врагов». По-моему, эти фильмы, в известном смысле, отражают немецкую сущность.

Перед вечером мы с Джо Харшем гуля- ли в Тиргартене и пришли к такому вы- воду: сталью и динамитом варварски уничтожить другого, взорвать его дом, его жену, его детей — это прекрасно, это осу- ществление высшей цели немецкой жиз- ни; но если другой сделает то же самое с немцем, он — дикарь, который губит невин- ную жертву. Кинохроника, которую нам показывали, после Бельгии и Голландии перескочила на Фрейбург, где, по утверж- дениям немцев, во время налета было уби- то уже не двадцать четыре, а тридцать пять человек, в том числе тринадцать де- тей (хотя Геббельс вспомнил о детях только через сутки после того, как он сообщил о бомбардировке и о числе по- страдавших). При этом диктор со злобой сказал: «Вот как наши жестокие, бессо- ветные враги бомбардируют и убивают невинных немецких детей».

— Старая история, — сказал я Джо. — У немцев всегда две мерки.

Поймал на короткой волне выступление Рузвельта, читавшего специальное послан- ие конгрессу. Он выражался без всяких обиняков. Был, так сказать, в ударе. Он предложил, чтобы мы выпускали ежегодно 50 000 (!) самолетов и без всяких проме- делений выполняли заказы союзников. По его словам, Германия имеет сейчас 20 000 самолетов против 10 000 самолетов сою- зников и продолжает выпускать их более быстрыми темпами. Мы здесь давно знаем об этом, но когда мы об этом сообщали, нас обвиняли в нацистской пропаганде.

ской ратуше. Если не считать нескольких разбитых окон, оба здания невредимы.

Входим гуськом в ратушу. В большом средневековом зале,—повидимому, это приемный зал, так как с него начинается афилада,— сразу замечаем, что здесь помещался английский штаб. На длинном некрашенном столе — карты, блокноты, бутылки от виски, бутылки от пива, жестяные коробки от печенья со старомодными английскими этикетками. Вещественное доказательство того, что англичане были здесь совсем недавно.

Отсюда коридор ведет в сравнительно небольшие, боковые комнаты, где, судя по всему, жили английские офицеры. На столах много карт, англо-французские словари. На одном я заметил какой-то артиллерийский устав. В одной из комнат на полу — кровавые пятна. Комендант пускается в разъяснения, что здесь истекла кровью, нашли смерть двое раненных бельгийцев. На стенах всюду пышная живопись эпохи Возрождения, а на полу — растерзанные тюфяки, на которых недавно спали англичане. Ложа эти по большей части окровавлены, словно в последние дни англичане не спали, а только умирали на постелях.

Когда мы, покидая ратушу, снова пробираемся гуськом через большой приемный зал, я замечаю, что над большой бронзовой доской, прислоненной к задней стене, кто-то уже поорудовал,— половина ее отбита и куда-то убрана.

— Что означает это? — спрашиваю я одного из офицеров.

В ответ он нескладно бубнит что-то насчет чести германской армии. Доска была сооружена в память мучеников Лувена, двухсот заложников, расстрелянных немцами в 1914 году, ну, а всему миру известно, что эти двести именитых граждан были казнены только потому, что бельгийцы подстреливали немецких солдат, а в надписи на доске говорилось что-то о варварстве немецкой военщины, и необходимо было поддержать честь немецкой армии, и поэтому половина доски, где упоминалось о «героях-мучениках и немецких варварах», теперь удалена, но другая половина, где перечисляются подвиги бельгийской армии при обороне страны в 1914 году, оставлена на месте, потому что против этого немцы решительно ничего не имеют и даже наоборот...

На площади у вокзала высится еще массивный монумент, вокруг которого три дня кипел бой между немцами и англичанами. Он тоже посвящен добрым гражданам, расстрелянным в 1914 году. На нем высечены даже их имена. Немцы не успели еще взорвать его.

Останавливаемся на площади отдохнуть. Беженцы,— на лицах у них все еще потрясение и ужас,— понемногу просачиваются в город и бродят среди развалин, молчаливые, озлобленные, гордые. Сердце обливается кровью, но все же мы останавливаем некоторых и пробуем попросить их. Кое-кому из нас хочется вывести на чистую воду сочинителей сказки о поджоге Лувенской библиотеки

англичанами, чтобы посрамить немцев и еще сильнее настроить американцев против наци. Но беженцы опасно косятся на сопровождающих нас немецких офицеров, мнутя и дают уклончивые, двусмысленные ответы. Все, как один, утверждают, что ничего не видели. Во время боев их не было в городе. Они скрывались среди холмов.

— Как же я мог что-нибудь видеть? — спрашивает дряхлый старик, глядя с торжким упреком на немцев.

Бельгийский священник отвечает столь же уклончиво.

— Я сидел в монастырском подвале, — говорит он, — и молился за свою паству.

Монахиня-немка тоже рассказывает, что она, вместе с пятьюдесятью шестью детьми, трое суток провела в битком набитом подвале женского монастыря. Она хорошо помнит, что налет начался в пятницу утром, десятого. Тревоги объявлено не было. Никто ведь не ожидал бомбежки. Бельгия не участвовала в войне. Бельгия никого не трогала... Она замечает, что немецкие офицеры устались на час, и умолкает.

— Вы немка, не так ли? — говорит один из них.

— Ja... — и она торопливо добавляет испуганным тоном: — И, как немка, я, конечно, была очень рада, когда все кончилось и пришли немецкие войска.

Около полудня мчимся по пыльной дороге в Брюссель. Вдруг кто-то из нас замечает Стенокерцель и старый средневековый замок, где жили Отто Габсбургский и его мать, последняя австро-венгерская императрица Зита. Останавливаемся посмотреть замок. Он носит следы бомбардировки.

Многочисленные башни и башенки, неровные очертания стен убожают старые здания. Вокруг замка — ров, полный ила. Когда мы подходим поближе, видно, что часть крыши сорвана и одна стена вот-вот, кажется, рухнет. Стены выбиты. Повидимому, — результат взрывной волны большой силы. Мы продолжаем путь и видим две огромные воронки, они сливаются со рвом и как бы расширяют его. Повидимому, здание устояло только потому, что обе бомбы, — это были по меньшей мере пятисотфунтовки, — попали в ров: вода и ил ослабили силу взрыва. Так как ров находился всего в шестидесяти футах от стен замка, то попадание надо признать довольно точным. Ясно — работа шукаса.

Но к чему было бомбить замок Отто Габсбургского? Спрашиваю одного из офицеров. Он не знает, что придумать. Наконец, он высказывает предположение: «Тут наверное помещался английский штаб. Следовательно, это был настоящий военный объект». Мы обошли потом весь замок сверху до низу и нигде не нашли ни малейшего следа пребывания англичан.

Попав в замок, сразу замечаем, что он был разграблен, хотя и не очень основательно. По всему видно, что обитатели замка покидали его в большой спешке. В спальнях наверху всюду разбросаны в беспорядке женские одеяния — на стуль-

ях, на кроватях, на полу, словно уезжавшие никак не могли решить, что именно взять с собой, да к тому же не имели ни времени, ни места в экипаже, чтобы взять побольше. Шкафы переполнены аккуратно висящими на плечиках платьями и костюмами. В одной из комнат, явно мужской, являю разбросаны книги, свитеры, ключики для игры в гольф, записные книжки, граммофонные пластинки. Внизу, в салоне, обставленном в отвратительном мешанском вкусе, на большом столе навалены как попало книги, тетради, фарфор. Огромная книга по энтомологии просит следы частого перелистывания; быть может, это следы пальцев Отто. Наверну, в его кабинете, я обнаружил французскую книгу под названием: «Грядущая война». Просматривая его книги. Есть прекрасные издания на французском, немецком и английском языках. Отто был, очевидно, большим любителем книг. Много университетских руководств, книги по вопросам политики, хозяйства и т. д.

С полчаса бродим по комнатам. По большей части они обставлены скудно. Ванные очень примитивны. Вспоминаю роскошь венского Гоббурга, где так долго жили и правили Габсбурги. Да, далеко этому замку до Гоббурга. Некоторые из нас нагружаются сувенирами — пшлагами, старинными пистолетами, разными безделушками. Я беру листок из рукописного английского сочинения, — повидимому, Отто упряжился перед недавней поездкой в Америку с целью осветить свой английский язык. Чувствую себя грабителем. Один из немецких офицеров протягивает мне корпоративную фуражку Отто. Нерешительно беру ее. Кто-то обнаруживает визитные карточки Зиты. На них значится по-французски: «Императрица Австрия и королева Венгрии». Упускаю в карман, грабить — так грабить. Грустный, голодный, шеприкающий пес увязывается за нами в комнатах с провожатом потом до автомобильной. Оставляем замок на его попечение. Людей поблизости не видеть.

От Степокерцеля до Брюсселя дороги по правой стороне забиты немецкими армейскими грузовиками и моторизованной артиллерией, мчащимися в западном направлении; по левой стороне — бесконечные вереницы усталых, запыхавших, изнемогающих от зноя беженцев, возвращающихся на свои пепелища. Я уже начинал было мечтать о хорошем, плотном завтраке в Брюсселе. Но это зрелище настраивает меня на иной лад.

2 часа дня. Брюссель

Брюссель был пощажен — единственный город в Бельгии, который не был полностью или хотя бы частично разрушен. Гитлер грозил бомбардировать и разрушить его на том основании, что через него проходят бельгийские рейсы, и что, следовательно, он не является открытым городом. Возможно, что быстрое падение спасло Брюссель от уничтожения.

Впрочем, проезжая по улицам, там и там видишь разрушенные дома: бомбы все-таки сбросили наудачу несколько

бомб (неужели только для того, чтобы терроризировать население?) А в центре города все мосты через канал, — их было, наверное, не меньше дюжины, — взорваны англичанами...

Постскриптум к 20 мая

Я знал, что английские юноши никому не уступали в храбрости в бою. Но храбрость еще не все; она далеко не достаточна в наш век машин. Надо иметь тело, способное выдержать самую ужасающую трепку. А кроме того, — и особенно в настоящую войну, — надо иметь военные машины всех видов. Как обстояло дело на этот счет у англичан? Я спросил об этом у шестерки солдат, державшихся несколько в стороне от других, — это было все что осталось, по их словам, от роты вступившей в бой под Лувеном.

— Нам не дали и пальцем пошевеливать, — сказал один из них. — Нам просто задавали. В особенности эти пикирующие бомбардировщики и танки.

— А ваши собственные бомбардировщики и танки? — спросил я.

— Мы их и в глаза не видали, — поспешил единодушный ответ.

У трюков были грязные окровавленные повязки. Один из юношей выглядел особенно подавленным и все время скрежетал зубами от боли.

— Малый потерял глаз, — шепнул мне его товарищ, — и чувствует себя довольно паршиво.

— Скажите ему, что это не так уж страшно, довольно неужлиже пытался я как-нибудь его утешить. — Я сам в свое время ослеп на один глаз. А по мне вы этого никогда не заметите.

Но думаю, чтобы он мне поверил.

И все же, несмотря на коптузии и на ожидавшее их в плену мрачное будущее, они держались весело и бодро. Один маленький юнец из Ливерпуля насмешливо прищурился на нас сквозь толстые стекла очков.

— А знаете, я до вас ни разу не видал живых американцев, — сказал он. — Забавное место для первой встречи, не правда ли?

Это развязало языки другим, и мы хорошо посмеялись. Но на душе у меня было не так уж весело. Мы с Ф. rozdали им все свои сигареты и уехали.

А а х е н, 21 мая

Сегодня, наконец, попал на настоящий фронт и в первый раз наблюдал сражение — на реке Шельде, в Западной Бельгии. Это — первое настоящее сражение, которое я видел после боя под Гдыней в Польше, в сентябре прошлого года.

Повернув к юго-западу от Брюсселя, мы выехали на дорогу, ведущую к Турну, который находится пока в руках союзников. В Тюбизе, в нескольких милях к юго-западу от Ватрлоо, — знакомые признаки недавних боев: разрушенные дома, дымящиеся развалины. Пока что, мысленно отметил я, война ведется на шоссе — армиями, поставленными на колеса. Почти все города полностью или частично разрушены. Но окрестные поля штурноваты

Около полудня подъезжаем к Энгиему и поворачиваем к штабу генерала фон Рейхенау, командующего шестой армией. Штаб помещается в замке недалеко от города. В парке перед замком всюду расставлены зенитные пушки. Замок — один из тех изящных «шато» в стиле Возрождения, которыми усеяны сельские местности Франции и Бельгии; парк и лужайка перед замком зеленеют и дышат прохладой.

Рейхенау, которого я видел раза два в Берлине перед войной, встретил нас у подъезда. С типично немецкой обстоятельностью и с видимой откровенностью, которая меня удивила, он сделал обзор имевших место до сих пор операций, время от времени прерывая изложение, чтобы ответить на задаваемые ему вопросы. В краткой телеграмме, которую я нацарапал потом на основе сделанных мною во время интервью заметок, я писал:

«Несмотря на немецкие успехи, Рейхенау подчеркнул, что военные действия свелись пока к охватывающему маневру и генеральное сражение еще впереди.

— Когда и где? — спросил я.

— Где? — рассмеялся Рейхенау. — Это зависит отчасти от того, что будет делать неприятель. А когда оно начнется и сколько будет продолжаться, предоставим решить будущему. Оно может быть и коротким и длительным. Вспомните, что авангардные стычки под Ватерлоо продолжались несколько дней, а генеральное сражение длилось всего восемь часов.

«Рейхенау признал далее, что немецкое продвижение «возможно, будет замедлено, если Вейганг решится оказать упорное сопротивление. Мы начали эту кампанию, — сказал генерал, — с абсолютной уверенностью в своих силах. Но мы не питаем никаких иллюзий. Мы знаем, что решающий бой еще впереди.

«По словам Рейхенау, немецкие потери пока сравнительно невелики и составляют в среднем около одной десятой числа захваченных немцами пленников. По последнему официальному подсчету, число пленных достигает 110 тысяч, не считая полу-миллиона капитулировавших голландцев.

«Один из корреспондентов задал вопрос, каким образом немецкая пехота с такой быстротой переправлялась через каналы и реки, привлекая во внимание, что союзники постарались разрушить мосты.

— По большей части в резиновых лодках, — ответил Рейхенау.

Несколько заявлений Рейхенау я кратко записал в общих чертах:

«Гитлер активно руководит немецкой армией из своей ставки. Подрывная работа на бельгийских мостах и дорогах по большей части выполнена французскими инженерами. Обезьяная фронт, я ежедневно делаю полтора-два миль и еще ни разу не видел воздушного боя. Мы, конечно, были удивлены, что союзники не попытались даже бомбардировать наши переправы через Маас и канал Альберта. Англичане только раз сделали такую попытку — при свете дня. Мы сбили восемнад-

цать английских самолетов. Но едва ли можно сомневаться, что англичане держат свои воздушные силы в резерве. По крайней мере у меня такое впечатление».

А у меня было впечатление, что это его даже беспокоит.

Вот еще несколько записанных мною фраз Рейхенау.

«У англичан в Бельгии два корпуса, в значительной мере моторизованных. Бельгийцы удерживают северный сектор, англичане стоят в центре и на южном фланге... Нам пришлось встретиться с марокканской дивизией. Марокканцы дрались хорошо, но им не хватает устойчивости и выдержки... Самые ожесточенные бои в первые дни были на канале Альберта. А затем — на линии Дняля, в особенности в районе Жамблу, к северо-западу от Намюра».

А затем мы едем на передовые линии. Вскоре до нас доносится отдаленный гул орудий. Мы едем по направлению к Ату, который, как показывает карта, лежит на полдороге между Брюсселем и Лиллем, находящимся пока в руках французов. Все больше признаков, что впереди происходит сражение. Все чаще проносятся мимо автомобили Красного креста. В деревенских улицах стоит зловоние разлагающихся конских трупов. На придорожных пастбищах лежат недвижно в траве быки и коровы, сраженные авиабомбами и снарядами.

На доезжая Ата делаем небольшой поворот и едем по веселой проселочной дороге. Ober-лейтенант, — один из руководителей нашей поездки, еще издавая чиновник министерства иностранных дел, — поднимается в наполеоновской позе со своего переднего сиденья в головном автомобиле и величественными жестами подает нам сигналы: поворот, остановка и тому подобное. Наши шоферы-солдаты уверяют, что его взволнованные сигналы равно ничего не означают; они едут у руля и смеются... Но оберлейтенант почуял, очевидно, запах крови, хотя до крестов еще довольно далеко. Неожиданно мы все оказываемся среди страшного зловония. Перед нами — все, что осталось от небольшой французской колонии после воздушной атаки немцев. На тесном пространстве дороги раскидано с десятком лошадиных трупов, непускающих ползучими лучами солнца адское зловоние; два французских танка, — броня у них продырявлена, как папиросная бумага; шестидюймовое орудие и 75-миллиметровка; тут же несколько грузовиков, брошенных, очевидно, с большой поспешностью, потому что вокруг валяется посуда, шинели, рубашки, куртки, штаны, консервные банки ил. письма домой — к женам, матерям, любимым девушкам.

У самой дороги я вижу свежие могилы, над ними на шестах — французские племени. Подбираю несколько писем в расчете, что, может быть, когда-нибудь мне удастся переслать или лично передать их и рассказать, как выглядит то место, где писавших настиг конец. Но я не вижу ни конвертов, ни адресов, ни даже фамилий. Нацарапанные насмех каракули: «Моя ми-

ляя Жакелина», «Дорогая мама» и т. п. Просматриваю несколько писем. Должно быть, они были написаны до немецкого наступления. Жалобы на скуку фронтовой жизни и рассказы о том, с каким нетерпением ожидается очередной отпуск в Париж, «дорогая моя!»

Явственно слышны раскаты пушечной пальбы. Мчимся по пыльной дороге, обгоняя бесконечные колонны немецких грузовиков с войсками, боеприпасами, со всемогущей нефтью, с орудиями на прицепе — тяжелыми и легкими. Мост через речку или канал у Лёза был взорван, но немецкие саперы успели уже соорудить временный мост, по которому мы и едем.

Лёз забит автомашинами и войсками. Целые кварталы домов превращены в кучи мусора. Кое-где развалины еще дымятся. Останавливаемся на полчаса на веселой маленькой площади между церковью, школой и ратушей или каким-то другим правительственным учреждением. В школе — пункт Красного креста. Кое-как, по кучам битого камня, добирюсь до него. Семь или восемь санитарных автомобилей выстроились в очередь один за другим, ожидая выгрузки раненых. Даже когда дело касается раненых — все та же безличная, механическая организованность. Никакого волнения, никакой напряженности. И кажется, что даже раненые только исполняют роль, предназначенную им в этой гигантской деловой машине. Они не стонут. Не ропщут. Не жалуются.

По мере приближения к фронту начинаем немного нервничать. Едем к северу, параллельно фронту, отклоняемся миль на пять в сторону по направлению к Ренэ, проносимся через город, и снова едем на север к Шельде, где идет сейчас бой. Пехота в пешем строю, — кажется, это впервые, что мы видим пехоту в пешем строю, — разворачивается на многочисленных дорожках, ведущих к реке. Тяжелая артиллерия, — шестидюймовые орудия на резиновом ходу, на прицепе у гусеничных тракторов, — поднимается по холму со скоростью сорока миль в час. Эффектное зрелище! (Или это тоже один из немецких военных секретов — умение передвигать тяжелые орудия с такой быстротой?) Наконец, останавливаемся. Батарея шестидюймовых орудий, скрытая между деревьями фруктового сада, обстреливает неприятеля. Отсюда открывается вид на долину Шельды, можно видеть холмы по ту сторону реки. Батарея грохочет, и через секунду на далеких склонах возникают дымки от разрывов снарядов. Один из офицеров объясняет, что они обстреливают в неприятельском тылу дороги. Вылезли было из наших автомобилей, но тотчас же кто-то приказывает нам убираться отсюда. Еще кто-то поясняет, что здесь мы подвергаемся слишком большому риску. Мы можем попасть под неприятельские вылазкомы или арсенаряды. Мы отъезжаем немного назад, затем поворачиваем прямо на запад и поднимаемся на холм, находящийся несколько впереди огневых позиций батареи, так что теперь она — позади и снаряды пролетают у нас над головой. В лесу на вершине холма —

артиллерийский наблюдательный пункт. Усаживаемся на склоне и сквозь ветви деревьев ищем глазами линию боя.

Но нас ожидает разочарование. В сущности, видно так мало. Нельзя, например, различить пехоту или понять, что она делает. Один из офицеров разъясняет, что бой идет вдоль Шельды. Союзники пока удерживают оба берега, но уже начали очищать правый. Единственным доказательством того, что пехота вступила в бой, служит заградительный огонь немцев: он теперь ближе к нам. Потом прекращается. Потом возобновляется — немного ближе к нам. Это означает, что противник произвел контратаку, и немцы должны, под прикрытием огневой завесы, начать все сначала. Канцелярский вояка с Вильгельмштрассе уверяет, что он в состоянии различить движение пехоты. Опять хватаюсь за бинокль. Пехота невидима.

Судя по дымам разрывов на склонах холмов по ту сторону Шельды, немцы ведут ожесточенный обстрел тыловых коммуникаций противника. В полевой бинокль видно, как они обстреливают все извилины дороги. Вскоре горизонт заволакивается густым облаком дыма. До сих пор нам почти не приходилось слышать, чтобы немецкая артиллерия играла особенно видную роль в стремительном продвижении немцев. Все наше внимание было поглощено знаменитыми штутгас — пикирующими бомбардировщиками. Но не подлежит сомнению, что немецкая моторизованная артиллерия, продвигающаяся вслед за танками со скоростью сорока миль в час, является могущественнейшим фактором боя. Союзники, вероятно, не предполагали, что артиллерия может передвигаться так быстро.

Возруг нас гремят немецкие 105- и 150-мм. орудия. Грохот не такой оглушительный, как я ожидал. А может быть, постепенно привыкаешь к нему.

К нам подходит молодой солдат и пробует сервировать для нас порцию нацистской пропаганды. Как бы мимоходом, он замечает, что прошлой ночью англичане произвели контратаку, проникли вплоть до леса, где мы сейчас находимся, и, отступая, увели с собой все гражданское население. Не большинство из нас это не действует. Я лично думаю, что если англичане в ходе контратаки вновь захватили местность на один вечер, то большая часть жителей ушла потом с ними по собственной воле, чтобы не попасть в руки немцев... Даже итальянцы, и те посмеиваются.

Все время над фронтом висят два-три немецких самолета-разведчика, корректирующих, по видимому, артиллерийский огонь. Они кружатся над полем сражения без всякой похоти. И ни одного самолета, который корректировал бы артиллерийский огонь союзников, которые обстреливают, кажется, только передовые позиции немцев, совершенно не трогая немецких батарей. Странно. Даже один этот факт — отсутствие разведывательных самолетов — должен ставить союзников в тяжелое положение. В течение всего дня мы не видели ни одного английского или француз-

кого самолета. Раза два немцы давали сигнал тревоги, но никаких самолетов не слышалось. Да, Англия и Франция жестоко расплачиваются теперь за преступное невнимание к собственной авиации.

Возвращаемся в Брюссель. По дороге встречаем немецкие пикирующие бомбардировщики, отправляющиеся на вечерний бомбеж. В Брюсселе немецкие бомбардировщики и истребители демонстративно летают над городом. Это немецкий способ приводить впечатление на жителей...

В Аахен попадаем уже за полночь. Радировать слишком поздно, и я пишу корреспонденцию, которая будет передана по телефону в Берлин, откуда по телеграфу в Нью-Йорк, и только там попадет в эфир. Едва я уселся писать, как над Аахеном появились англичане. Пришлось покинуть мою комнату, — она на предпоследнем этаже (с чердака я уже перешел), — и перебраться в столовую в первом этаже. Гремят зенитки всех калибров. Время от времени чувствую сотрясение и слышу взрыв бомбы. Наша маленькая гостиница находится в сотне ярдов от вокзала. Англичане явно стараются разбить станционные сооружения. Слышен гул тяжелых английских бомбардировщиков, перемежающийся порою с жужжанием немецких ночных истребителей.

Телефонный разговор получаю в час двадцать. Меня очень плохо слышат, — мешают грохот зениток и разрыв бомб.

Работая над корреспонденцией, я попутно делал заметки о полете:

12. 20. Стреляют зенитки.

12. 40. Сигнал тревоги.

12. 45. Несождаанно гремит тяжелая зенитка вблизи.

12. 50. Пушечные выстрелы немецких истребителей.

1. 00. Легкая зенитная артиллерия вокзала открывает огонь.

1. 15. Еще продолжается.

Это продолжалось четыре часа — до часа пятого. Но после телефонного разговора с Берлином меня клонило ко сну, и я отправился к себе, улегся в постель и медленно заснул.

Берлин, 24 мая

Две недели тому назад Гитлер начал свой блицкриг на Западе. Вот итоги этих двух недель: Голландия захвачена целиком; оккупировано три пятых Бельгии; французская армия отброшена к Парижу; польская армия, насчитывающая около миллиона человек и состоящая из отборных английских и французских дивизий, попала в ловушку и окружена на берегу Ла-Манша.

Надо видеть немецкую армию в действии, чтобы заставить себя этому поверить. Вот некоторые моменты, — я говорю о том, что наблюдал, — которые объясняют прошедшее.

У немцев абсолютное превосходство в воздухе. Это покажется невероятным, но на фронте я не видел ни одного самолета союзников в дневные часы. Пикирующие бомбардировщики дробят оборонительные позиции союзников, превращая атаку этих

позиций пехотой и танками в сравнительно легкое дело. Они разрушают также коммуникации союзников в тылу, бомбардируя дороги, забытые грузовиками, танками, артиллерийскими орудиями, и сметаая с лица земли стратегически важные железнодорожные станции и узлы. Наряду с этим разведывательная авиация дает немцам полнейшую картину всего, что происходит за линией фронта. У союзников нет этого ока; лишь немногим из их самолетов-разведчиков удается перелететь через неприятельские линии. Точно также бомбардировочная авиация союзников оказалась совершенно не в состоянии нарушить немецкие коммуникации при помощи дневных атак. На фронте наблюдателя поражают масштабы, в каких немцы без всякой помощи перевозят войска, оружие и боеприпасы. Так как бельгийцы и французы постарались основательно разрушить свои железнодорожные мосты, то немецкое командование решило воспользоваться исключительно автомобильным транспортом. Весь день по фронтовым дорогам движутся бесконечные моторизованные колонны. Они растянулись бесконечной цепью через всю Бельгию. И они движутся быстро: со скоростью тридцати-сорока миль в час. Эта армия — гигантская, безличная военная машина, и управляют ею столь же холодно и методично, как, скажем, нашей автомобильной промышленности в Детройте. Непосредственно за линией фронта, где от грохота артиллерии лопаются барабанные перепонки, над головой режут моторы самолетов и тысячи грузовиков громяют по пыльным дорогам, офицеры и солдаты держатся холодно и деловито. Никакого нервничания, никакой суматохи. Офицер, руководящий огнем батареи, тратит полчаса на то, чтобы объяснить посетителям, что именно он делает. Генерал фон Рейхенау, руководящий действиями огромной армии в решающем сражении, отрывается на целый час, чтобы объяснить дилетантам свои операции.

Утверждение лондонского радио, что летучие немецкие колонны, вроде той, что прорвалась к морю у Аббевиля, представляют собою слабые силы, которые не в состоянии будут удержать захваченное, — явная чепуха. Немцы кидают на прорыв не только танки и небольшое количество моторизованной пехоты, но все вообще. За танками и моторизованной пехотой следует по пятам легкая и тяжелая моторизованная артиллерия.

Берлин, 25 мая

Сегодня вечером в немецких военных кругах попросту заявляли: участь многочисленной армии союзников, попавшей в мешок во Фландрии, решена.

Берлин, 26 мая

Немцы взяли Кале. Англия отрезана теперь от континента.

Берлин, 28 мая

Король Леопольд покинул союзников. Бельгийская армия, бившаяся всю неделю вместе с англичанами и французами во

всесжимавшемся кольце во Фландрии и Артуа, сегодня на рассвете положила оружие. Ночью Леопольд послал к немцам парламентаря с просьбой о перемирии. Немцы потребовали безоговорочной капитуляции. Леопольд согласился. Англичане и французы попали в хорошенькую западню. Немецкое командование заявляет, что их положение «безнадежно». Поймал по радио речь Рейно, в которой он обвиняет Леопольда в измене. Черчилль, судя по сообщению лондонского радио, был более сдержан. Он кратко заявил в палате общин, что не намерен выносить приговор по этому делу.

Немецкая пресса ликует по поводу капитуляции Бельгии. Только восемнадцать дней потребовалось на это, напоминают берлинские газеты. И ровно столько же, восемнадцать дней, понадобилось в прошлом году немцам, чтобы сломить сопротивление поляков. По всей вероятности, еще на этой неделе они зажмут в кулак остатки союзной армии. Как сообщает лондонское радио, Черчилль предупредил палату общин, что следует быть готовым к дурным вестям.

В вечерних газетах — заголовки: «Черчилль и Рейно оскорбляют короля Леопольда». «Лондонские и парижские трусы приказывают продолжать самоубийство во Фландрии». В немецкой радиопередаче сегодня говорилось: «Леопольд поступил как солдат и человек». На прошлой неделе я видел спрашивную расправу, которой подвергалась бельгийская армия; видел всю Бельгию, разгромленную, если не считать Брюсселя, немецкой артиллерией и пикирующими бомбардировщиками. Можно поэтому до известной степени понять желание короля Леопольда снять с себя ответственность за продолжение этих ужасов. Но англичане и французы говорят, что он сделал это, не предупредив их, и таким образом предал и поставил их в отчаянное положение, лишив последней надежды вывести свои войска из ловушки. Вместе с тем три армии имели некоторые шансы выбиться из окружения. Теперь, когда полмиллиона превосходных бельгийских войск вышло из игры, судьба английских и французских армий, повидимому, предрешена.

Вообще — миленькая, цивилизованная война. Сегодня вечером Геринг заявил ввиду дошедших до него сведений о дурном обращении французов с пленными немецкими летчиками, захваченными в плен немцами, будут немедленно заковываться в кандалы. И дальше: если он узнает о расстреле какого-нибудь немецкого летчика французами, он прикажет расстрелять за него пятерых пленников французов. И еще дальше: если он узнает, что немецкий летчик был застрелен «во время спуска на парашюте», он прикажет расстрелять пятьдесят пленников французов.

Насколько известно, союзники стреляют в отказывающихся садиться парашютистов, потому что парашютисты сыграли большую роль в падении Голландии и создали дикое смятение в тылу. Повидимому, где-то приняли за парашютистов обычно-

венных немецких летчиков, выброшенных на парашютах с подбитых союзников самолетов. А приказ Геринга — это явно все та же гитлеровская система подавления протывинка при помощи террора. Б., посетивший на прошлой неделе Роттердам, говорит, что город был в значительнейшей части разрушен уже после сдачи. Немцы оправдываются тем, что сообщение о сдаче поступило, когда штukas уже поднялись в воздух и их нельзя было остановить. Глупейшая отговорка, так как на всех самолетах есть радио и они поддерживают постоянную связь с землей.

Геринг, между прочим, пояснил, что вводимое им правило о расстреле пятерых за одного и пятидесяти за одного не относится к англичанам, «так как они пока не дали оснований для применения к ним подобных репрессий».

Министерство пропаганды показало нам сегодня полнометражную кинохронку со звуковыми эффектами, изображающую разрушения в Бельгии и Франции. Поселок за поселком, город за городом тонут в море огня. На экране передним планом — потрескивающие языки пламени, вжиряющего дома, стрельба из окон обрушивающихся крыши и стены. Все это — там, где всего лишь несколько дней назад люди вели, если не очень счастливую, то во всяком случае мирную жизнь.

Немецкий комментатор все больше и больше приходит в раж по мере того, как один пылающий город сменяется на экране другим. У него был жесткий, колочий рот, и под конец он говорил как бы в бурном припадке садизма. «Взгляните на картину разрушения, на объятые пламенем дома, — выкрикивал он. — Вот идет жидет всех, кто противится мощи Германии!»

Неужели Европой будет править и распоряжаться такой народ — такой садизм!

Берлин, 29 мая

Лилль, Брюгге, Остенде взяты! Ипр форсирован! Дюнкерк бомбардируется! Судьба окруженных союзных войск решена!.. Весь день такие невероятные заголовки следовали один за другим без передышки. К вечеру еще одна фаза этого грандиозного сражения, не знающего премеров в истории, подходила, — так по крайней мере казалось в Берлине, — к концу. Немецкое верховное командование следующим образом излагает события в начале своей сегодняшней сводки: «Судьба французской армии в Артуа предрешена. Ее сопротивление к югу от Лилля сломлено. Английскую армию, стянутую в районе Дюксмюде, Армантьера, Балбеля и Берга, к западу от Дюнкерка, также ждет гибель от нашей концентрической атаки».

А затем, вечером, командование сообщило, что стремительными атаками, рассчитанными на разгром английской армии, немцы форсировали Ипр и Кеммель.

По словам немцев, со вчерашнего дня английская и французская армии отрезаны одна от другой и обе попали в мешок. Мешок потеснее, — он имеет форму квадрата со сторонами длиною примерно в двенадцать миль, — обрабатывался к югу от

Дюля — между этим городом и Дуэ. В этом небольшом квадрате находится все, что осталось от трех французских армий, и сейчас немцы обрушились на них со всех четырех сторон. Мешок пошире охватывает полукругом Дюнкерк и, упираясь концами в море, вдаётся в континент на расстояние до двадцати пяти миль. Здесь зажаты англичане.

Что же дальше, если английские и французские войска капитулируют или будут, как предсказывают немцы, уничтожены в своих мешках? Нашествие на Англию впервые после 1066 года? Английские опорные пункты на континенте, если в последнюю минуту не случится чуда, более не существуют. Нидерландские страны, лежащие прямо против Англии по другую сторону Ламанша, и сужающаяся важная часть Северного моря, защита которой всегда составляла один из основных заветов английской политики, находятся во вражеских руках. А французские порты на берегу Ламанша, связывавшие Англию с союзной Францией, потеряны. Здесь большинство думает, что Гитлер попробует завоевать Англию. Может быть. Я в этом не так уверен. Возможно, что он постарается сначала прикончить Францию.

Одна из зловещих черточек вчерашних боев: когда немцы брали французские позиции к востоку от Касселя, они нагрянули на французские укрепления вдоль франко-бельгийской границы с тыла.

Сегодня в Потсдаме с воинскими почестями хоронили принца Вильгельма прусского убитого в бою на западном фронте. Если бы 1914 год не нарушил хода событий в Германии, он был бы, вероятно, когда-нибудь германским императором. На похоронах присутствовали: кронпринц с супругой, фельдмаршал Макензен и ряд офицеров времен первой мировой войны в старомодных шлемах с пышными перьями. Бывший кайзер прислал венок.

Еще пример психической войны: выпущенное сегодня вечером официальное сообщение заявляет, что за каждого немца из гражданского населения, убитого во время ночных налетов англичан, равно как и за каждый поврежденный камень англичане расплатятся сторицей.

Берлин, 30 мая

Грандиозное сражение во Фландрии и Артуа подошло сегодня к развязке. Это — колоссальная победа немцев. Вчера, судя по сообщениям немецкого командования, англичане сделали отчаянную попытку спасти морским путем то, что осталось от английского экспедиционного корпуса. Они послали свыше пятидесяти транспортов, чтобы взять на борт войска, теснящиеся на берегу вокруг Дюнкерка. Немцы отправили большую двух авиационных корпусов, чтобы бомбардировать эти суда. Но утверждения немцев, они потопили шестнадцать транспортов и три «военных корабля», — что является конечно преувеличением, — и повредили или подожгли двадцать один транспорт и десять военных кораблей, — что является, вероятно, еще большим преувеличением. Англичане

отрядили якобы сотни самолетов для охраны своей флотилии. Немцы уверяют, что они сбили 68 английских самолетов. Англичане сообщают, что они сбили 70 немецких.

Из немецких сообщений можно сделать вывод, что остатки французских армий, отрезанные во Фландрии и Артуа, подвергаются постепенному истреблению. Сегодня немцы сообщают, что они взяли в плен командующего первой французской армией, генерала Прне. Генерала Жиро, командующего одной из двух других армий, они захватили в тот самый день, когда он принял командование. Французы, повидимому, полностью окружены. У англичан все-таки остается еще море, и они постарается выволочь своих, сколько удастся. Лондонское радио вчера заявило, что англичане ведут «величайший в истории арьергардный бой». Слишком уже много таких боев вели они.

Здесь много разговоров о том, что Гитлер собирается бомбардировать Лондон и Париж до бесчувствия. Кампания в прессе и радио для подготовки немцев к этому уже началась. Сегодня главные нападки были направлены против французов. «Фелькштер Беобахтер» назвал их «ублюдками, негроидами и упадочниками» и обвинил в том, что они пытаются пленить немецких летчиков. Скоро, говорят газ-та, французы расплатятся за все это. Все газеты вообще только и знают, что твердят о мести и за то, и за другое, и за третье.

На сегодняшней пресс-конференции бывший немецкий посланник в Бельгии ораторствовал перед нами на тему о том, как дурно обращались с ним французы при проезде его в Швейцарию. Как заметил потом в разговоре со мной один немец, немцы, очевидно, не в состоянии понять, что ненависть к ним во Франции и Бельгии вполне объяснима: они торговались в эти страны, — при этом в Бельгии без всякого повода или основания, — разоряют города и селения и убивают своими бомбами и снарядами тысячи мирных жителей. Еще один характернейший для немца пример неспособности хотя бы на мгновение взглянуть на вещи с чужой, не обязательно немецкой точки зрения. Со сбитыми и спускающимися на парашютах немецкими летчиками французы обходятся круто, так как знают, что Гитлер завоевал Голландию при помощи сброшенных в тылу парашютистов. Но немцы считают, что противники не смеют защищаться против этих людей, сыплющихся на них из облаков. А если они защищаются, если они стреляют, то Германия вправе массами убивать обезоруженных пленных.

Берлин, 31 мая

Для Италии, повидимому, близится час решения: она выступит на стороне Германии. Сегодня итальянский посол Альфьери посетил Гитлера в его ставке.

Ровно три недели назад Гитлер бросил свои армии на Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию в отчаянной попытке разгромить союзников одним ударом. До сих пор он знал только успехи. Сколько

это стоило ему человеческими жизнями и военными материалами, мы не знаем. А добился он за три недели вот чего:

1. Захватил Голландию; принудил голландскую армию к сдаче.

2. Захватил Бельгию; принудил бельгийскую армию к сдаче.

3. Прошел далеко к югу от линии Мажино и занимает позиции на фронте протяжением свыше двухсот миль от Моммеди до Дюнкера.

4. Разгромил первую, седьмую и девятую французские армии, оказавшиеся отрезанными, когда немцы прорвались к морю.

5. Разгромил английский экспедиционный корпус, который тоже окружен. Часть корпуса, впрочем, эвакуируется из Дюнкера на кораблях. Но как организованная армия он перестал существовать. Он не может взять с собой свои орудия, танки, боеприпасы.

6. Завладел голландским, бельгийским и французским побережьем Ламанша, представляющим собой трамплин для вторжения в Англию.

7. Захватил важнейшие угольные шахты и промышленные центры Бельгии и Северной Франции.

В моей сегодняшней радиопередаче я сказал: «Немцы безусловно выиграли потрясающий первый раунд. Но покаута еще не было. Борьба продолжается».

Некоторые из моих приятелей считают, что я слишком оптимистичен — с союзной точки зрения. Может быть. Не знаю.

Немцы захватили в плен первого шофера американского санитарного автомобиля: это некий мистер Гарибальди Хилл. Немцы предложили немедленно освободить его. Только... они не могут его разыскать.

Из Брюсселя от наших получено сообщение, что проловольственных запасов в Бельгии осталось только на пятьдесят дней.

— Наткнулся на одного из наших консулов, приехавшего из Гамбурга. Говорит, что англичане жестоко бомбардировали Гамбург ночью. Старались разбомбить нефтехранилища. По его словам, тамошние резервуары пусты. Немцы как будто забрали из Гамбурга, на фронт все зенитные пушки. Англичане могли поэтому добраться до города без помех, держась на небольшой высоте и порою бить довольно точный прицел. Население так взбесилось, что военные власти вынуждены были вернуть часть зениток.

Берлин, 1 июня

Хотя победы на берегах Ламанша так же мало воодушевляют население Германии, как и все другие события этой войны, газеты всячески стараются подогреть настроение своими заголовками. Весьма типичны сегодняшние заголовки в «В. Ц. ам Миттаг»: «Катастрофа стучится в двери Лондона и Парижа», «Пять армий отрезано и разгромлено», «Английский экспедиционный корпус более не существует», «Французские первая, седьмая и десятая армии уничтожены».

Немецкие войсковые массы, ликвидировавшие союзные силы во Фландрии, гото-

вятся теперь к решению новых задач. Перед немецким верховным командованием открываются два пути. Оно может ударить через Ламанш по Англии или отбросит французов к Парижу и заставить Францию выйти из войны. Судя по тому, что мы приходилось слышать в здешних военных кругах, едва ли можно сомневаться, что немецкое командование уже выбрало второй путь и расположило большую часть своих войск лицом к остаткам французской армии — вдоль рек Соммы и Эн. У генерала Вейгана было десять дней для того, чтобы организовать сопротивление на этой линии, но тот факт, что он не считал себя достаточно сильным для наступления к северу от Соммы против довольно тонкого немецкого заслона — маневр, который в случае успеха спас бы англо-франко-бельгийские войска во Фландрии, — убедил немецких генералов (если их еще надо было убеждать), что они легко могут расщепить силы Вейгана и быстро превратиться к Парижу и к портам Нормандии и Бретани.

Из разговора с одним офицером из штаба командования я узнал, что провидение ниспослало, наконец, англичанам передышку. В районе Дюнкера над морем два дня стоял туман, и Люфтваффе не могла особенно бомбить транспорты, деятельно занятые эвакуацией английских войск. Сегодня погода прояснилась, и германские бомбардировщики снова отправились на работу над побережьем Дюнкера.

Берлин, 2 июня

Английские Томми продолжают драться в Дюнкере с упорством бульдогов. Немецкое командование вынуждено признать это.

Сегодняшнее официальное коммюнике гласит: «В результате ожесточенных боев полоска берега по обе стороны Дюнкера, которую англичане продолжали вчера упорно отстаивать, еще более сузилась. Ньюпорт и побережье к северо-западу от него — в руках немцев. Взяты Адикерк, к западу от Фюрна, и Гивельде, в шести с четвертью миль к востоку от Дюнкера». Шесть с четвертью миль — это уже близко.

В эфире немцы снова претендуют на грандиозные успехи. Официально сообщается: «Всего наши бомбардировщики потопили четыре военных корабля и одиннадцать транспортов, общим водоизмещением в 54 тысячи тонн. Четырнадцать военных кораблей, в том числе два крейсера, два легких крейсера, крейсер противовоздушной обороны, шесть миноносцев и два торпедных катера, а также тридцать восемь транспортов общим водоизмещением в 160 тысяч тонн были повреждены бомбами. Опрокинуты вверх дном бесчисленные шлюпки, плоты и паланты...»

Характерный пример германских преувеличений. Когда два с половиной месяца спустя я посетил побережье у Дюнкера, я нашел останки всего-навсего двух грузовых пароходов, двух миноносцев и одного торпедного катера.

Берлин, 3 июня

Лондонское радио только что сообщило, что сегодня днем немцы бомбардировали Париж. Может быть, союзники немощно вступают Берлину этой ночью.

Сегодня днем нашего поверенного в делах Дональда Хита вызвали на Вильгельмштрассе и вручили ему копию заготовленного для печати сообщения, в котором немецкое правительство заявляет, что по сведениям, полученным им из неподлежащих оглашению источников, английская разведка намерена потопить три американских океанских парохода — «Президент Рузвельт» и «Манхаттен», находящиеся сейчас на пути в Нью-Йорк с пассажирами-американцами, и «Вашингтон», направляющийся сейчас в Бордо за новой партией американских беженцев. При помощи этого предназначенного для печати сообщения, — весьма своеобразный дипломатический прием, — немцы уведомляют американское правительство, что командирам всех немецких военных судов дан строжайший приказ не тревожить ни одного из названных американских пароходов. В сообщении официально заявляется: «Имперское правительство ожидает, что американское правительство примет все возможные меры, чтобы не допустить преступления, замышляемого англичанами».

Немецкая «теория» заключается в том, что в случае потопления пароходов американцы будут теперь обвинять англичан. Очень подозрительное дело. Что мешает немцам самим потопить пароходы, а затем вопить до потери сознания, что это сделали англичане и что Берлин даже позаботился заранее предупредить Вашингтон о том, что англичане хотят это сделать? Установить национальную принадлежность подводной лодки по пирискону очень трудно.

Берлин, 4 июня

Грандиозная битва во Фландрии и Артуа закончилась. Сегодня немецкие войска вступили в Дюнкерк; остатки союзных войск — около сорока тысяч человек — сдались. Немецкое командование говорит в официальном коммюнике, что эта битва войдет в историю как «величайшее побоище всех времен». Немецкие потери за время наступления на Западе, по опубликованным сегодня вечером данным, выглядят так: убитых — 10 252, пропавших без вести — 8 467, раненых — 42 523, самолетов потеряно — 432. Все это очень страшно. Не далее как три дня назад в эфирных военных кругах нам дали понять, что ожидается опубликование данных о потерях, причем цифры будут приблизительно таковы: убитых — 35—40 тысяч, раненых — 150—160 тысяч. Впрочем, немцы поверят любым цифрам, что им ни сообщить.

Что касается потерь союзников, то коммюнике говорит о 1 200 000 пленных, считая вместе с капитулировавшими бельгийцами и голландцами. Разгромлен весь флот, причем потоплено пять крейсеров и семь миноносцев и повреждено десять крейсеров и двадцать четыре миноносца.

Что же касается немецкого флота, то коммюнике утверждает, что он не потерял ни одного корабля.

Париж сообщает, что при вчерашнем немецком налете убито 50 и ранено 150 человек из гражданского населения. Лондонское радио говорит, что парижане требуют мести. Но ни одного самолета союзников не показывалось над Берлином прошлой ночью; да и сегодня пока их не видно...

Очень беспокоюсь за Тессе и ребенка. Она звонила сегодня и сказала, что, наконец, ей удалось достать билет на «Вашингтон», но пароход не зайдет в Геную. Надо ехать в Бордо. Но ей не советуют разезжать сейчас по Франции, когда французы в таком паническом настроении. А вблизи Лиона немцы дважды на этой неделе бомбардировали железную дорогу, по которой ей пришлось бы проехать. Так что она предпочитает оставаться на месте.

Берлин, 6 июня

По приказу Гитлера во всех церквях звонят колокола и всюду вывешены флаги в ознаменование победы во Фландрии. Но действительного воодушевления в народе не заметно. Никакого приподнятого настроения. В широковещательных прокламациях к армии и к населению Гитлер объявляет, что сегодня началось новое наступление на западе. Здесь пока нельзя получить никаких подробностей, но лондонское радио сообщает, что наступление начато на фронте протяжением в двести километров, от Аббевиля до Суассона, причем особенное давление немцы оказывают вдоль канала Сомма-Эн.

Мне говорили, что в последние ночи союзники бомбардировали Мюнхен и Франкфурт. Но Берлину никогда не сообщают об этих налетах. Здесь пока еще никто не чувствует войны.

Берлин, 9 июня

Немецкое верховное командование нарушило свое молчание по поводу нового большого наступления и с треском сообщило сегодня, что к югу от Соммы и в районе Уазы французы разбиты по всей линии. В сообщении говорится о продвижении немецких войск к нижней Сене, а это чертовски далеко от Соммы, где они начали наступление всего четыре дня назад. В сегодняшней шестичасовой передаче лондонское радио подтвердило эти сведения. Вейган выпустил сегодня новый приказ по армии, призывая солдат не уступать ни пяди. Но все это звучит как-то безнадежно.

Немцы сообщают далее: «Сегодня утром началось наступление еще на одном участке фронта во Франции». Как расклифовать в своем приказе Вейган, этот участок занимает пространство от Реймса до Аргона. Немцы рвутся теперь вперед на фронте протяжением в двести миль — от побережья до Аргона. Мирровая война номер первый не знала продвижений такого масштаба!

Верховное командование объявляет также, что два единственных линейных корабля Германии «Шарнхорст» и «Гнейзе-

нау» вышли в море и окажут поддержку немецким войскам, вытесненным недавно из Нарвика. Надо отдать немцам справедливость: они умеют дерзать и поражать противника неожиданностью. Как английский флот мог позволить двум линейным кораблям дойти до Нарвика? Немецкое командование сообщает, что они потопили уже английский авансоед «Глориэс», транспорт «Орама» водоизмещением в 21 тысячу тонн и танкер водоизмещением в 9 100 тонн. Еще один пример того, как немцы умеют идти на риск и захватывать инициативу. А союзники не умеют видно ни того ни другого.

Берлин, 10 июня

Италия вступила в войну.

Она нанесла Франции удар в спину в тот момент, когда немцы подошли к воротам Парижа и Франция лежит поверженная.

В шесть часов — как раз когда радиослушатели настраивали свои приемники, чтобы послушать последние известия о натиске немецких войск на Париж, — диктор возвестил:

«Через час дуче обратится с речью к итальянскому народу и ко всему миру. Его речь будет транслироваться всеми немецкими радиостанциями».

И через час она транслировалась, причем на площади Венеция очень кстати оказался под рукой немецкий радиокомментатор (он был послан для этого в Рим еще в субботу 8 июня), который описывал всю сцену.

Мы догадывались о происходящем еще днем, когда получили приглашение прибыть в семь часов на чрезвычайную пресс-конференцию в министерство иностранных дел и выслушать декларацию Риббентропа. В половине пятого в министерстве пропаганды нам показали английский пропагандистский фильм «Крылатый лев». Я все время твердил себе, что фильм был заснят прошлой осенью, но все же нашел, что он очень плох. Поверхностен. Бездарен. В шесть часов на обычной пресс-конференции нас угостили новой порцией еженедельной немецкой кинохроники. Снова обращенные в развалины города, мертвые человеческие тела, гниющие лошадиные трупы. На одном из кадров были изображены обугленные останки английского летчика среди обломков сгоревшего самолета. Большинство немцев смотрело на эти картины смерти и разрушения с каким-то садистским сладострастием. Но не все. Некоторые, — их очень немного, — реагируют еще по-человечески.

Около семи я перекочевал из министерства пропаганды в министерство иностранных дел и оказался втиснутым в какой-то зал заседаний. Помещение было рассчитано человек на пятьдесят, а набилось туда уже человек пятьсот. День был жаркий, но все окна были наглухо закрыты, и в зале горели распространяющие жгучий запах лампы, чтобы можно было как следует фотографировать Риббентропа. В углу самый выгнанный репродуктор, какой

мне приходилось когда-либо слышать, выкрикивал речь Муссолини на площади Венеция в Риме. Я разобрал ровно столько, сколько надо было, чтобы понять, что он объявляет о решении Италии вступить в войну на стороне Германии. Трескучая шумиха дуче, в комбинации с накаленным смертным воздухом, ссорящимися фотоаппаратами, обливающимися потом журналистами и еще кое-какими подробностями, — это было для меня слишком. Работая локтями, мы с С. выбрались из зала до появления Риббентропа. Я зашел к Джо, настроил радиоприемник и поймал на римской волне довольно комичный английский перевод речи дуче.

В это же самое время у здания итальянского посольства в Берлине разыгрывался другой акт комедии, который Ральф протом подробно описал мне. Две-три тысячи итальянских фашистов, проживающих в Берлине, накричались до хрипоты в маленькой улочке между Тиргартеном и итальянским посольством. Немцы водружили там громкоговорители, чтобы толпа могла слышать дуче. Под конец, как рассказывал Ральф, Риббентроп и новый итальянский посол Альфиери появились на балконе и, улыбающиеся на все стороны, произнесли коротенькие, ничего не говорящие речи.

А тем временем кольцо немецких войск смыкается вокруг Парижа. Картина выглядит сегодня мрачно для союзников. Рузвельт выступает по радио сегодня в час пятнадцать ночи.

Берлин, 11 июня

Рузвельт говорил очень определенно. Он обещал немедленную материальную помощь союзникам. Клеймил предательство Муссолини. Здесь об этой речи ни звука — ни в печати, ни по радио.

Вильгельмштрассе попрежнему утверждает, что американская помощь опоздала. По словам одного лица, только что побывавшего у фюрера, фюрер уверен, что с Францией будет покончено к 15 июня, т. е. через четыре дня, а с Англией — самое позднее к 15 августа! Как рассказывает это лицо, Гитлер ведет себя так, словно мир уже лежит у его ног, но некоторые из генералов, хотя они вполне удовлетворены немецкими военными успехами, несколько опасаются все же за будущее под властью такого необузданного фанатика.

Здесь носится слухи, что французское правительство покинуло Париж. Немцы сейчас приблизительно в таком же расстоянии от Парижа, как 1 сентября 1914 года. В связи с этим немецкое командование подчеркнуло нам сегодня, что немцы теперь в гораздо лучшем положении, чем тогда. Во-первых, их правый фланг на этот раз сильнее и продолжает движение к западу от Парижа, тогда как в 1914 году он повернул правым плечом к востоку. Во-вторых, французы не получают сейчас никакой действительной помощи войсками от англичан. В-третьих, сейчас, нет восточного фронта, так что вся немецкая армия может быть брошена на Париж. (В 1914 году два армейских

корпуса были спешно сняты с Западного фронта, чтобы остановить русских на Востоке. Дорого обходится Парижу и Лондону их близорукая антисоветская политика. До Мюнхена и даже после Мюнхена, даже еще в июне прошлого года они могли заключить с русским союзом против Германии.)

После своей очередной радиопередачи в ночь сорок пять я сидел у Д. на радиостанции, и вдруг мы услышали сообщение из Нью-Йорка, о том, что пароход «Вашингтон», вышедший днем раньше из Лиссабона и державший курс на Голуэй в Ирландии, битком набитый американскими беженцами, по большей части женщинами и детьми, был остановлен на расвете подводной лодкой неизвестной национальности, которая дала ему всего десять минут, чтобы спустить спасательные шлюпки. У Тесе был билет на этот рейс «Вашингтона», но заход парохода в Геную был отменен, а в Бордо она не могла успеть попасть вовремя. По прошествии десяти минут, когда должна была быть выпущена торпеда, командир подводной лодки просигнализировал: «Простите. Недоразумение. Следуйте дальше». Одновременно со мной это сообщение слушал немецкий морской офицер, который сам в прошлую войну командовал подводной лодкой. Он пришел в страшную ярость. «Английская лодка. Никакого сомнения! — воскликнул он. — Эти англичане не останавливаются ни перед чем!» А когда я выразил осторожное предположение, что это могла быть и немецкая подводная лодка, он возмущенно сказал: «Немыслимо. Немецкий командир, который позволил бы себе такую вещь, был бы предан военному суду и расстрелян».

Берлин, 12 июня

Подводная лодка, которая остановила «Вашингтон», оказалась все-таки немецкой. Это было официально признано в Берлине после того, как на Вильгельмштрассе хранили молчание весь день. Немцы возлагают вину на наш государственный департамент и наше посольство. Они заявляют, что наше посольство не постаралось осведомить правительство Германии о маршруте «Вашингтона», вышедшего из Лиссабона в Ирландию.

Если немецкое правительство не было осведомлено об этом маршруте, то немецкая печать и радио были прекрасно осведомлены. Они давно уже сообщали о нем.

Я отправился в наше посольство, чтобы проверить это, но там были несколько встревожены и просили журналистов представить дело государственному департаменту, против чего спорить не приходилось. Страшнейший промах, если наши не сообщили немцам о маршруте.

В здешнем официальном сообщении в объяснение инцидента приводится еще одна любопытная версия. Согласно этой версии «ошибка» произошла потому, что командир подводной лодки принял «Вашингтон», за греческий (!) пароход, который был уже раз и навсегда остановлен я получил от него приказание переменить курс. Когда на горизонте показался американ-

ский пароход, говорится в официальном сообщении, командир подводной лодки решил, что это греческий пароход, не повинующийся его указаниям, и поэтому остановил его.

Позволительно спросить: 1. Есть ли у греков хоть один пароход хотя бы приблизительно таких же размеров, как «Вашингтон», имеющий водоизмещение в 24 тысячи тонн? Ответ гласит: нет. 2. Почему командир немецкой подводной лодки приказал команде и пассажирам парохода сесть в спасательные шлюпки прежде, чем установил, что это за пароход? 3. Если командир считал, что это греческий пароход, почему он ждал еще десять минут после того, как «Вашингтон» просигнализировал, что он американский пароход? Эти вопросы не затрагиваются в официальном сообщении. В моей радиопередаче цензура разрешила мне поставить только первый из них. Два остальных были, по ее мнению, некорректными.

Привнимая во внимание подозрительное немецкое предупреждение от 3 июня, когда Берлин утверждал, будто он располагает сведениями о намерениях англичан потопить «Вашингтон», я уверен, что сам Берлин отдал приказ о потоплении парохода. После этого немцы собирались поднять страшный шум, обещая англичан и подчеркивая, что они предупреждали американское правительство еще 3 июня. Риббентроп, повидимому, наввно верил, что может таким путем испортить англо-американские отношения и подорвать американские поставки англичанам. Немецкие моряки говорили мне, что подводная лодка остановила «Вашингтон» на расвете. По нашим официальным данным, пароход несколько опаздывал против расписания. Весьма вероятно, что командир подводной лодки собирался торпедировать пароход, пока было еще совсем темно и нельзя было установить национальную принадлежность лодки. Но «Вашингтон» появился только на рассвете, часа на два позже, чем немцы его ожидали, и командир лодки не выпустил торпеды только потому, что боялся, как бы при свете zunehmающегося утра на пароходе не опознали немецкую подводную лодку. Лодка держалась на поверхности, и узнать ее было вовсе не трудно.

Хотя немецкое верховное командование ничего и не говорит об этом, в действительности немцы находятся уже у ворот Парижа. Слава богу, город не будет разрушен. Франгузы из осторожности объявили Париж открытым городом и не собираются защищать его. Возникли сомнения, признают ли его немцы открытым городом, но около полуночи выяснилось, что признают.

Взятие Парижа будет страшнейшим ударом для франгузов и для союзников вообще. К востоку от Парижа немцы тоже прорвались, — повидимому, до Шалона.

Берлин, 14 июня

Париж пал. Гитлеровский флаг со свастикой развевается над Эйфелевой башней на берегу Сены — в том самом Париже, который я так хорошо знал и так любил.

Немцы вступили в город сегодня утром. Берлинское радио сообщило об этом в час дня, после того как фанфары трубили целую четверть часа, призывая правоверных выслушать последние новости. Новости заключались в коммюнике верховного командования, в котором говорилось: «Полное крушение французского фронта на всем протяжении от Ламалша до линии Мажинно у Монмеди опрокинуло первоначальные намерения руководителей Франции, собиравшихся записать столицу. Париж был объявлен поэтому открытым городом. Победоносные войска как раз сейчас вступают в Париж».

Бедный Париж! На глазах у меня невольные слезы. Столько лет он был для меня родным домом, я любил его, как любят женщину. А «Фелькишер Беобахтер» сегодня утром говорит: «Париж был городом легкомыслия и разврата, демократий и капитализма, городом, где евреи имели доступ ко двору, а негры в салоны. Этот Париж никогда больше не возродится». Но немецкое командование обещает, что его солдаты будут вести себя как следует, — что их поведение «как ночь от дня будет отличаться от поведения французских солдат на Рейне и в Руре».

Верховное командование заявило также сегодня: «Со взятием Парижа закончена вторая фаза кампании. Началась третья фаза — преследование и окончательное уничтожение врага».

Завтра, вероятно, еду в Париж. Мне не хочется ехать. Мне не хочется видеть, как тяжелый немецкий сапог топчет камни тех улиц, которые я любил.

Берлин, 15 июня

Сегодня еду в Париж.

Под Магдебургом, 15 июня

Верден взят. Верден, который стоил немцам шестьсот тысяч жизней в последний раз, когда они только пытались взять его. А на сей раз они взяли его в один день. Допустим, что французская армия в критическом положении и что взятие Парижа еще больше деморализовало ее. И все же невольно возникает вопрос: что случилось с французами? Немцы утверждают также, что прорвана линия Мажинно.

Мобеж, 16 июня

Встал в три часа утра, в четыре мы уже выехали в Аахен. В Руре мало следов английских ночных бомбардировок. В Аахен мы приехали в одиннадцать. Оттуда через Лимбург — в Льез и Намюр. Поразительно, как мало разрушений вдоль этой дороги. Совсем не похоже на дорогу от Аахена до Брюсселя, где большинство городов представляют собой развалины.

Я купил местную газету «Журналь де Шарлеруа». Она печатает военные сообщения на обоих языках — немецком и французском. В газете был помещен приказ, объявляющий, что немецкие войска и бельгийская жандармерия будут стрелять без предупреждения во все освещенные окна. Другое распоряжение немецкой командатуры требовало прекращения всяких

«проделок» с почтовыми голубями. Третья, за подписью главного армейского врача, предписывало всем местным врачам явиться на регистрацию. Не явившиеся без уважительных причин, говорилось в распоряжении, будут подвергнуты каре. «Никакие оправдания не будут приняты во внимание», — добавлялось к этой угрозе.

Сам Мобеж подвергся жестокому разрушению. Главная часть города превращена в груды битых камней, исковерканных балок и черной золы. Один из немецких офицеров рассказал нам, что произошло в Мобеже. Немецкие танки пытались пройти через город. Скрытые в домах французские противотанковые пушки подбили первые пять—шесть танков. Немцам пришлось отступить. Вызвали штукас. Штукас прилетели и сделали свое дело с обычной убийственной обстоятельностью. Самое крупное бомбоубежище в городе, сказал нам командант, было под церковью. Одна из бомб попала прямо в церковь. Результат: пятьсот человек лежат погребенные под обломками. Погребенные и закупоренные герметически, так как сейчас, в теплую, звездную, летнюю ночь, оттуда не доносится никакого запаха.

Один солдат, родом из Южной Германии, шепнул мне потом:

— Это пруссаки разрушили город.

Ему, простому немецкому солдату, противно это разрушение.

— Страдают всегда бедные люди, — говорит он.

Местный комендант, немецкий торговец, призванный из запаса, принял нас в одном из немногих уцелевших домов. Вот некоторые факты, сообщенные им. Из двадцати четырех тысяч жителей Мобежа осталось около десяти тысяч: это те, что вернулись или выдержали в городе воздушную бомбардировку и артиллерийский обстрел.

— Одно предприятие, — продолжает он, — не закрывалось здесь, повидимому, ни на минуту — ни во время сражения, ни после. Это — здешний публичный дом. В конце концов я велел закрыть его, но мадам явилась ко мне на прием. Она была очень расстроена. Деловая жизнь продолжается, разве не так? — сказала она.

— А вчера, — продолжал комендант, — верховное командование распорядилось открыть все дома терпимости в той части Франции, которая занята немецкими войсками. Надо послать за мадам. Она будет очень довольна, — хихикнул он.

Наконец мы прощаемся с комендантом. Вестовой провожает нас в отведенное нам помещение — в покинутом доме, обставленном в кошмарном, псевдо-восточном стиле; вскоре выясняется, что это была квартира одного из виднейших местных банкиров.

В сумерки, под охраной трех солдат, бродим по разрушенному городу. В проезде городских ворот какая-то растрепанная женщина роется в груде кирпичей. Солдаты кричат, чтобы она прекратила свое занятие. Уже наступил час, когда воспрещается выходить на улицу. Женщина продолжает рыться. Один из солдат берет

винтовку наперевес и направляется к непослушной, чтобы прогнать ее. До нас доносится возглас женщины: «Куше?»— Она предлагает солдату разделить с ней постель... Чорт возьми, еще не все погибло здесь! Солдат, смеясь, подталкивает ее. Она шевелит, очевидно, где-нибудь поблизости в подвале,— как крыса. Мы предостерегаем наступать и вскоре замечаем ее опять среди трупов щепок — когда-то это было аллеей. Она кричит: «Куше?»— и убегает. Идем дальше и останавливаемся перед тем, что сталося от церкви. Как-то не укладывается в голове, что под этими почерневшими кирпичами и щебнем погребены пятьсот женщин и детей. Мусора столько, что перебраться они очень прочно. Совершенно не чувствуется хорошо знакомого, тошнотворного, сладковатого запаха.

Спускается тьма, и мы возвращаемся в квартиру нашего банкира. Мимо дома всю ночь проезжают грузовики. Один раз где-то дальше на дороге открыла огонь зенитная пушка. Встаем на рассвете,— я особенно усталости не чувствую,— и выезжаем в Париж.

Париж, 17 июня

Это было не так легко для меня. Когда мы въехали в Париж и покатили по хорошо знакомым мне улицам, у меня засосало под ложечкой и я от души пожалел, что уехал. Мои спутники-немцы пришли в прекрасное настроение при виде города. Мы приехали около полудня. Стоял один из тех прекрасных июньских дней, которые так характерны в этом месяце для Парижа и который парижане в мирное время провели бы на скачках в Лоншане, или на теннисной площадке Роллан Гарро, или в тени деревьев на бульварах, или на прохладных террасах кафе.

Первый удар: улицы совершенно пусты, магазины закрыты, на всех окнах — ставни. Именно эта пустота болезненно поражает прежде всего. Мы ехали из Лё-Бурже, и наш путь лежал по улице Лафайега. По мостовой с лязгом мчались немецкие военные автомобили и мотоциклы. Но на тротуарах — ни души. На перекрестках — многочисленные кафе, которые я хорошо знаю. Но столики убраны внутрь, ставни закрыты. А «патроны», «гарсоны» и полные завсегдатаи бежали. Наши две машины неслись по улице, давая отчаянные гудки на каждом перекрестке, пока я не попросил нашего шофера бросить это дело.

А вот на углу здания «Пти журнал», где я работал в качестве корреспондента гагской «Трибюн» в 1925 году, когда впервые приехал в Париж. Напротив, через дорогу, — кафе Трех ворот. Как много приятных часов безделья провел я там, когда Париж был еще нарядным и прекрасным. А родным домом для меня!

Мы свернули влево, к Большим бульварам по улице Пеллетье. Кафе Пти рипш было закрыто. Бульвары тоже были пусты, если не считать немногочисленных немецких солдат, уставившихся на витринах немногих открытых магазинов. Площадь Оперы. Впервые в жизни не вижу

здесь затора, не вижу французских бюстителей порядка, без толку орущих из автомобилей, попавшие в безнадежную пробку. Фасад Оперы скрыт за наваленными горой мешками с песком. Кафе де ла Пэ сейчас как раз открывается. Одинокий гарсон выносит на тротуар несколько столиков и стулья. Их расхватывают немецкие солдаты. Поворачиваем к Мадлен, у нее тоже фасад закрыт мешками, и мчимся по улице Ройиль. Ларю и Вебер — на замке. Открываются знакомые виды. Площадь Согласия, Сена, палата депутатов, над которой развевается гигантское знамя со свастикой, и вдали — золоченый купол Дома инвалидов. Проезжаем мимо морского министерства, у которого стоит на страже тяжелый немецкий танк, и выезжаем на площадь Согласия. Отправляемся у отеля Крпйон, занятого немецким штабом. Наш офицер заходит туда, чтобы справиться насчет помещения для нас. Я, к великому неудовольствию едущих с нами немецких чиновников, захожу по соседству в американское посольство. Ни Буллита, ни Мэрфи, ни одного из знакомых нет — все ушли завтракать. Я оставил записку Буллиту.

Нам отвели комнаты в отеле Скриб, где я часто останавливался в дни цивилизации. К моему удивлению и удовольствию, в вестибюле встречаю Демэри Бесса и Уолтера Керра, пересидевших в Париже большинство своих коллег. Они поднялись ко мне наверх потолковать. Уолтер нервноничал несколько больше, но был таким же милым, как всегда. Демэри, по обыкновению, вял и неповоротлив. Он с Дороти жил в Елисейском Парк-отеле на Рон-де-Пуан. За день до падения Парижа хозяин запыхавшись ворвался к ним и умолял их бежать со всеми; лично он намерен дать тягу и закрыть отель. Они уговорили его поручить отель им. Я спросил о знакомых. Большинство покинуло Париж.

По словам Демэри, паника в Париже не поддавалась описанию. Все потеряли голову. От правительства ничего нельзя было добиться. Людям сказали: «Бегите», и по крайней мере три из пяти миллионов жителей Парижа побежали; побежали без всяких вещей, побежали в буквальном смысле слова — пешком, на юг.

Жители озлоблены против правительства, которое, судя по всему, что мне пришлось слышать, в последние дни оказалось полным банкротом. Оно забыло даже своевременно осведомить население о том, что Париж не будет оборонять, и вспомнил об этом, когда было уже слишком поздно. Французская полиция и пожарные команды остались в городе. Любопытное зрелище представляли сейчас «ажаны» без револьверов, патрулирующие на улицах или регулирующие уличное движение автомобилей, состоящих исключительно из немецких военных машин. У меня было чувство, что сейчас в Париже мы наблюдаем полное крушение французской государственности — крушение армии, правительства и морального состояния общества. Это слишком ужасно, чтобы этому верить.

Париж, 18 июня

Маршал Петэн просит перемирия. Парижане, хотя и огорошенные всем случившимся, не в состоянии этому поверить. Да и мы тоже. Что французская армия вынуждена прекратить борьбу, это ясно. Но большинство из нас думало, что она капитулирует, по примеру бельгийской и голландской, а правительство, как похвалялся Рейно, переедет в Африку, где, опираясь на флот и на африканские войска, сможет еще долго держаться.

Об этом шаге Петэна население оповестили громкоговорители, заботливо установленные немцами чуть ли не на всех площадях. Я стоял среди толпы французов — мужчин и женщин — на площади Согласия, когда было передано первое сообщение. Все как громом поражен. К отелю Крийон, где жил Вудро Вильсон во время мирной конференции, пока разрабатывались условия, которые должны были быть предъявлены Германии, то и дело подъезжали автомобили и из них выходили сверкающие золотыми галунами офицеры. Монокли, щелкающие каблучки, руки по швам. А на площади, на этой площади, не знающей равных в Европе, на площади, откуда можно окинуть одним взглядом Мадлен, Лувр, Собор Парижской Богоматери, палату депутатов, Дом инвалидов, где покоятся останки Наполеона, Эйфелеву башню, над которой сейчас развевается флаг со свастикой, и, наконец, — дальше вниз по Елисейским полям — Триумфальную арку, — на площади Согласия люди не замечали суестьи у входа в немецкий штаб в отеле Крийон. Они стояли, опустив глаза в землю, или вопросительно глядели один на другого. Они говорили: «Петэн капитулирует. Что это значит? Comment? Pourquoi?» И ни у кого не хватало духа ответить.

Вечером Париж был каким-то чужим, неузнаваемым для меня. С девяти часов — за час до наступления темноты — запрещается выходить на улицы. Правила светомаскировки оставлены в силе. Улицы темны и пусты. Веселые огни Парижа, музыка, смех, женщины на улицах — куда это все девалось? И как назвать то, что видишь теперь?

Вчера в Париже вышли две газеты — «Виктуар» (какая прогния судьбы!) и «Матен». Издателя «Матен» Бюно-Варилья я видел вчера в нашем посольстве. Мне говорили, что он стремится свискать благоволение немцев и хочет, чтобы его газета сразу пустилась вскачь. Он начал уже нападать на Англию, обвиняя ее во всех бедах. «Виктуар», у редактора которой не все дома, призывает парижан не называть больше немцев «бошачи». Вчерашняя передовица ее кончалась словами: «Да здравствует Париж! Да здравствует Франция!»

Немецкая военщина вселилась вчера в гостиницу Бессов.

Париж, 19 июня

Перемирие будет подписано в Компьене! В том самом салон-вагоне маршала Фоша, в котором было подписано перемирие в

Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. Французы еще ничего не знают. Немцы держат это в секрете. Я узнал об этом сегодня благодаря чьей-то оплошности.

В половине пятого дня военные влезли вдруг повезли меня в Компьен. В этом и заключалась оплошность. Этого им не следовало делать. Но где-то перепутали распоряжения, и пока это выяснилось, я уже был на месте. Вчера в Мюнхене состоялось свидание между Гитлером и Муссолини, на котором были намечены условия перемирия. Когда мы выезжали из Парижа, я вспомнил, что вчера я попутно спросил одного чиновника министерства иностранных дел, верны ли слухи, что Гитлер категорически требует, чтобы перемирие было подписано в Компьене. Он поморщился при моем вопросе и холодно ответил: «Конечно, нет».

Но когда в шесть часов мы прибыли на место, немецкие саперы с лихорадочной поспешностью ломали стены музея, где стоял исторический салон-вагон маршала Фоша. Здание музея было построено на средства некоего Артура Генри Флеминга из Пассадены в Калифорнии. Работы пневматическими сверлами саперы до нашего отъезда успели сломать одну стену и выкатить вагон из его убежища.

Как рассказывали мне нацисты, план заключается в том, чтобы поставить вагон в точности на то же самое место на протяжении в Компьенском лесу, где он стоял в пять часов утра 11 ноября 1918 года, и заставить французов полинить там теперешнее перемирие... Я расспрашивал немецких офицеров и чиновников о разных технических подробностях, которые могли пригодиться для моей радиопередачи. Это будет эффектная радиопередача, но она прозвучит трагически для американцев. Один полковник показал мне вагон внутри. Приколотые к столу карточки с именами показывали, где кто сидел в знаменательное утро 1918 года.

Обратно мы выехали к вечеру и по дороге остановились на шоссе, которое ведется между лесистыми холмами от Компьена до Санли. Здесь была атакована с воздуха небольшая французская колонна. Вдоль дороги на протяжении около четверти мили было разбросано десятка два насех вырытых могил. Лошадиные трупы, зарытые очень неглубоко, еще издавали зловоние. Сбоку от шоссе стояла 75-миллиметровая пушка, там же валялись и другие брошенные вещи — одеяла, шинели, башмаки, винтовки, патроны и т. п., говорившие о лихорадочной спешке. Я полюбозыгательствовал, какого вылуека пушка. 1918! Важнейшую дорогу к столице французы защищали орудиями времен первой мировой войны.

Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом Гитлер так легко выиграл эту кампанию. Правда, французы, сражавшиеся в городах. А в городах не могут драться миллионы собранных под знамена людей. Для этого там не хватает места. И французы не сражались на полях, как в прошлые войны. В двадцати ярдах от шоссе хлеба даже не примяты тяжелыми солдатскими сапогами и десятками тысяч

машин моторизованного транспорта. Я не думаю, конечно, отрицать, что во многих местах французы доблестно сражались. Такие случаи, несомненно, были. Но не было организованной, хорошо продуманной обороны, как в прошлую войну. Судя по всему, что я видел, французы позволили немцам навязать им новый способ ведения войны. Эта война велась главным образом вдоль шоссе и дорог, редко — на линии, пересекающей всю местность. А на дорогах все заранее складывалось в пользу немцев; у них было полнейшее превосходство в танках и самолетах — главных средствах такой войны. Как рассказывал мне вчера один солдат-австриец, это было невероятно просто. Немцы шли по дорогам с танками и с артиллерийской поддержкой в тылу. Они редко встречали какое-нибудь серьезное сопротивление. Лишь там и сям огневые точки или отдельные посты открывали пальбу. Тяжелые немецкие танки обычно не обращали на это никакого внимания и спокойно продолжали свой путь. Пехотные части следовавшие за танками на грузовиках вместе с легкой артиллерией, лишь выдвигались французские огневые точки и пулеметные гнезда. Изредка, если сопротивление оказывалось несколько более сильным, они — по телефону, по радио или просто сигналами — давали знать артиллерии. Если тяжелым орудиям не удавалось заставить французов замолчать, вызывали штуркас, которым это, как правило, удавалось. И так изо дня в день.

Я задаю себе вопрос: если французы хотели оказывать серьезное сопротивление, почему нигде не были подорваны шоссе? Почему столько стратегически важных мостов сохранилось в полной неприкосновенности? Там и сям на дороге попадаете противотанковое заграждение — несколько бревен, куча камней или разных обломков, но ни одного действительно серьезного препятствия. Ни одной настоящей противотанковой ловушки вроде тех, что тысячами построили швейцарцы.

Кампания во Франции была войной машин на шоссе и магистралах, а французы не были готовы к ней, не поняли ее и не имели под рукой ничего, чтобы дать отпор. Это просто невероятно.

Генерал Глайз фон Хорстенау (австриец, позорно предавший Шумнига и возведенный Гитлером в ранг главного официального историка нынешней войны) дал вчера вечером иное объяснение. Его мысль состоит в том, что Германия захватила союзников в один из тех редких в военной истории моментов, когда — на несколько недель, месяцев или лет — наступательные средства войны имеют превосходство над оборонительными. Он считает, что нынешняя фашистская кампания могла иметь место, вероятно, только теперь — летом 1940 года. Если бы дело затянулось до будущего года, союзники имели бы в своем распоряжении оборонительные средства — противотанковые пушки, зенитную артиллерию и истребительную авиацию, могущие состязаться с немецким наступательным оружием. Это привело бы к ин-

чайному положению, вроде установившегося на Западном фронте в 1914—18 гг., когда возможности наступления и обороны были приблизительно одинаковыми.

И еще: не думаю, чтобы потери как с одной, так и с другой стороны были велики. Очень мало видно могил.

П а р и ж, 20 и ю н я

Ездившие вчера в Ормеан и Блуа рассказывают потрясающую вещь. Вдоль дороги, у самого шоссе или немного в стороне, на опушке леса, лежат беженцы, до двухсот тысяч человек, из всех классов общества, богатые и бедные, и умирают с голода: ни пищи, ни воды, ни крова над головой — ничего.

Это лишь часть тех миллионов, которые бежали из Парижа и других городов от немецкого нашествия. Они бежали и потащились по дорогам с пожитками за спиной или на велосибидах и детских колясочках, с детьми, восседающими на груди скарба. Вскоре дороги были закупорены. Войска тоже пытались протолкаться. В воздухе появились немцы и стали бомбить дороги. Появились мертвые и умирающие. И нигде ни пищи, ни воды, ни крова, ни помощи.

Массовое бедствие в масштабах, каких не знал даже Китай. (А много ли французов и других европейцев поддавалось чувству сострадания, когда голод или народное унижение уносили миллионы человеческих жизней в Китае?)

П а р и ж, 21 и ю н я

На небольшой прогулке в Компьенском лесу, на том самом месте, где в пять часов утра 11 ноября 1918 года было подписано перемирие, закончившее первую мировую войну, Адольф Гитлер предъявил сегодня французам свои условия перемирия. И чтобы немцы могли полностью насладиться своей местью, встреча немецких и французских уполномоченных была устроена в том самом вагоне, в котором маршал Фош почти двадцать два года назад предъявил условия перемирия Германии. Даже стол в старом трясущемся салон-вагоне был тот же самый. А в окна нам было видно, как Гитлер сидит за этим столом на том самом месте, на котором сидел Фош, когда он диктовал то перемирие.

Унижению Франции и французам было полное. Правда, в своей вступительной декларации Гитлер поведal французам, что он выбрал это место в Компьенском лесу отнюдь не из мести, а только для того, чтобы исправить старую несправедливость. Но по поведению французских делегатов я видел, что они не сумели оценить это тонкое различие.

Немецкие условия нам пока неизвестны. Во вступительной части говорится, что в основу их положены следующие задачи: 1. Предупредить возобновление военных действий. 2. Предоставить Германии полные гарантии, необходимые для продолжения войны против Англии. 3. Заложить фундамент мира, построенного на возмещении за несправедливость, жертвой которой в свое время стала Германия. Тре-

ний пункт, повидимому, означает: месть за поражение в 1918 году.

В конце дня мы с Керкром (представитель Национальной радиовещательной компании) совместно выступили перед микрофоном и в получасовой передаче постарались достойным образом описать происходившую сегодня драматическую сцену. Кажется, получилось неплохо.

Делегаты начали съезжаться в четверть четвертого. Знойное июньское солнце обжигало верхушки огромных вязов и осен, укрывавших лесные просеки в благодетельной тени, когда, сопровождаемый немецкими уполномоченными, показался Гитлер. Он вышел из автомобиля у статуй, воздвигнутой французами в память освобождения Эльзас-Лотарингии, в конце одной из просек, ярдах в двухстах от прогалины, где точь-в-точь на том же месте, что и двадцать два года назад, стоял и ждал пресловутый вагон.

Памятник был весь закрыт немецкими знаменами, чтобы нельзя было ни разглядеть скульптурные изображения, ни прочитать надписи. Но я видел этот памятник несколько лет назад — гигантский меч, меч союзников, острие которого пронзает огромного бесильного распластавшегося орла, символизирующего империю кайзера. А на цоколе — французская надпись: «Героическим солдатам Франции... защитникам отечества и права... славным освободителям Эльзас-Лотарингии».

Я видел в бинокль, как фюрер остановился, поднял глаза на памятник и несколько секунд смотрел на знамена Третьей империи с громадными свастиками посредине. Затем он медленно двинулся по направлению к нам — к маленькой прогалине в густом лесу. Я следил за его лицом. Лицо у него было серьезное, торжественное и в то же время дышащее местью. В выражении лица, как и в слегка подпрыгивающей походке Гитлера, чувствовалось самоуверенное торжествующее зловещее, бросающее вызов всему миру. Было в его облике и еще нечто, с трудом поддающееся описанию: какое-то надменное самодовольство по поводу того, что он присутствует при великом переломе исторических судеб — переломе, которого он добивался.

Но вот он дошел до прогалины. Он останавливается и медленно оглядывается кругом. Прогалина имеет форму круга ярдов двести в диаметре и декорирована, как лужайка среди парка. Она обсажена со всех сторон кипарисами, а за ними виднеются лесные великаны — вязы и дубы. Двадцать два года она была одной из французских национальных святынь. Мы стоим на почетном расстоянии, на окраине круга, и наблюдаем.

Гитлер останавливается и медленно оглядывается кругом. За ним столпились остальные немецкие уполномоченные. Вот Геринг, сжимающий в руке свой фельдмаршальский жезл. Он в небесно-голубом мундире, Гитлер — в двубортном сером, с болтающимся на левой стороне груди «железным крестом». Рядом с Герингом — оба вышших начальника немецких вооружен-

ных сил: генерал Кейтель, носящий звание руководителя верховного командования, и генерал фон Браухич, главнокомандующий германской армией. Обоим по шестьдесят, но выглядят они моложе, особенно Кейтель, которому слегка заломленная на бок фуражка придает заливчатый вид.

Тут же и д-р Редер, прос-адмирал немецкого флота в синем мундире и неизменном отложном воротничке немецких морских офицеров. Штатских двое в гитлеровской свите: его министр иностранных дел, Иаохим фон Риббентроп, в серой зашитной форме своего ведомства, и заместитель Гитлера Рудольф Гесс, в серой форме национал-социалистической партии.

Часы показывают восемнадцать минут четвертого. Личный флаг Гитлера взвизывает над небольшим знаменем в центре прогалины.

Там же, в центре, стоит большая гранитная глыба, фута на три возвышающаяся над землей. Гитлер, сопровождаемый остальными, подходит к ней, становится на выступ и читает выгравированную крупными буквами надпись. Надпись гласит: «Здесь одиннадцатого ноября тысяча девятьсот восемнадцатого года была сломана преступная надменность германской империи... побежденной свободными народами, которые она хотела поработить».

Гитлер читает надпись. И Геринг читает надпись. Они все читают ее, стоя в безмолвии под лучами июньского солнца. Я слежу за выражением лица Гитлера. Всего какая-нибудь полусотни ярдов отделяет меня от него, и в бинокль я вижу его, словно рядом. Я много раз видел это лицо — лицо Гитлера в торжественные моменты его жизни. Но сейчас! Оно пылает презрением, злобой, ненавистью, местью торжеством. Он смотрит на памятник через плечо, презрительно и злобно. Злобно потому, — и вы почти физически чувствуете это, — что он не может стереть ненавистную надпись одним движением своего русского сапога. Он медленно обводит взглядом прогалину, и вот теперь, когда его глаза встретились с нашими, можно измерить всю глубину его ненависти. Но во взгляде его есть еще и торжество. Это мстительная, торжествующая ненависть. Внезапно, словно на лице у него недостаточно полно отражались его чувства, он резким движением становится в позу, которая придает выразительность всему его телу. Он упирает руки в бока, сгибает плечи и широко расставляет ноги. Поза вызова и жгучего презрения к этому месту и всему, что оно знаменовало в течение двадцати двух лет со дня унижения Германской империи.

Но вот Гитлер со своей свитой переходит к другой гранитной глыбе, поменьше размерами, ярдах в пятидесяти от первой. Здесь стоял вагон, в котором помещались немецкие уполномоченные во время переговоров о перемирии в 1918 году — с 8 по 11 ноября. Гитлер удостоивает только беглого взгляда надпись, которая гласит: «Немецкие уполномоченные». Гранит вставлен между парой старых заржа-

живших рельсов — тех самых, на которых стоял вагон немецких уполномоченных двадцать два года назад. В стороне, на краю прогалины, высится большая из белого камня статуя маршала Фоша, изображающая его в том виде, как он выглядел, когда вышел из вагона утром 11 ноября 1918 года. Гитлер, не оборачиваясь, проедет мимо; он делает вид, что не замечает ее.

Стрелки часов показывают уже двадцать три минуты четвертого, и немцы шагают к достопамятному вагону. На несколько секунд они останавливаются, бьют, у вагона. Затем Гитлер поднимается по ступенькам, за ним следуют остальные. В окна все видно очень хорошо. Гитлер занимает то место, где сидел маршал Фош, когда подписывалось перемирие 1918 года. Остальные рассаживаются вокруг. Четыре кресла на противоположной от Гитлера стороне стола остаются пустыми. Французы еще не прибыли. Но ждать не долго. Ровно в половине четвертого они выходят из автомобиля. Они прилетели из Бордо и сделали посадку на соседнем аэродроме. Они тоже бросают взгляд на памятник, посвященный Эльзас-Лотарингии, но только короткий, мимолетный взгляд. А затем они идут по просеке, сопровождаемые тремя немецкими офицерами. Их отлично видно, когда они выходят на залитую солнцем прогалину.

Генерал Хюнцигер, в полинялой форме цвета хаки, генерал военно-воздушных сил Бержере и вице-адмирал Ле-Люк, оба в темносиней форме, и, наконец, почти совсем затерявшийся среди мундиров французский посол в Польше Ноэль. Немецкий почетный караул, выставленный у выхода из просеки на прогалину, делает равнодушно направо, когда проходят французы, но не берет на караул.

Тяжелый час в жизни Франции. Французы смотрят прямо перед собой. Лица у них торжественные и напряженные. Они воплощают картину трагического достоинства.

Они подходят деревянными шагами к вагону, где их встречают два немецких офицера: генерал-лейтенант Типпельскирх, квартирмейстер штаба верховного командования, и полковник Томасс, начальник ставки фюрера. Немцы отдают честь. Французы отдают честь. Выражаясь по-европейски, атмосфера «холодной вежливости». Формальные приветствия, никаких рукопожатий.

Дальнейшая картина открывается нашим взором сквозь пыльные окна старого салона-вагона. Гитлер и остальные немецкие главарь встают при входе французов. Гитлер приветствует их по-нацистски — топяной рукой. Риббентроп и Гесс делают тот же жест. Мне не видно Ноэля, и я не знаю, отвечает ли он на это приветствие или нет.

Насколько мы можем заметить через окно, Гитлер не произносит ни звука. Он молча кивает генералу Кейтелю, который сидит рядом с ним. Кейтель приводит в порядок свои бумаги. Затем начинает читать. Сперва идет вступительная часть к

немецким условиям перемирия. Французы сидят с застывшими каменными лицами и напряженно слушают. Гитлер и Геринг внимательно изучают зеленое сукно, покрывающее стол.

Чтение вступительной части длится всего несколько минут. Гитлер, как вскоре выясняется, вовсе не намерен долго сидеть здесь и слушать чтение самих условий перемирия. В сорок две минуты четвертого, через двадцать минут по прибытии французов, мы видим, как Гитлер встает, сухо отдает честь и выходит из салона; за ним следуют Геринг, Браунчх, Радер, Гесс и Риббентроп. Французы, как мраморные изваяния, продолжают сидеть за зеленым столом. Генерал Кейтель остается с ними. Он начинает читать подробные условия перемирия.

Гитлер со своими адъютантами идет по аллею к памятнику освобождения Эльзас-Лотарингии, где немцы ждут автомобили. Когда «фюрер» со свитой проходит мимо почетного караула, оркестр исполняет один за другим обл национальных гимна — «Дейчланд, Дейчланд кобер аллес» и «Хорст Вессель». Вся церемония от приезда Гитлера до его отъезда заняла не больше четверти часа.

П а р и ж, 22 июня (полночь)

Слишком устал, чтобы описывать снова сегодняшний день. Вот что я передал по радио:

«Перемирие подписано. Перемирие между Францией и Германией подписано ровно в без десяти минут семь по немецкому летнему времени, т. е. час двадцать пять минут тому назад... Оно было подписано в Компьенском лесу, в том же самом старом вагоне, что и перемирие 11 ноября 1918 года... Но хотя перемирие подписано французами и немцами, оно пока еще не вступает в силу. Как нам сообщили, французские делегаты на специальном самолете вылетают в Италию. Когда они придут туда, Италия предъявит условия, на которых она согласна прекратить свои военные действия против Франции. Как только под этим перемирием будут стоять подписи итальянцев и французов, немцам дадут срочные сообщения. Они в свою очередь немедленно уведомят французское правительство в Бордо. И только через шесть часов после этого прекратятся военные действия, пушки перестанут стрелять, самолеты приземляться, кровопролитие кончится. То-есть кончится война между Германией и Италией, с одной стороны, и Францией — с другой. Война с Англией разумеется, продолжается...»

«Переговоры о перемирии завершились гораздо быстрее, чем все ожидали. Телеграф и телефон немало поработали между Бордо и французской делегацией в Компьене. Одним из чудес нынешней войны надо признать телеграфную линию отсюда до Бордо, проходящую через фронт, где еще продолжаются бои.

«А к концу вечера немцам и французам удалось установить телефонную связь между делегатами в Компьенском лесу и французским правительством в Бордо. Не-

сколько минут тому назад я собственными ушами слышал первые фразы, произнесенные по этому телефону, когда устанавливалась связь. Второстепенные, но не лишённые исторического интереса фразы.

«В руках у немцев была телефонная линия вплоть до берега Луары у Тура. Там немецкие саперы подвесили провод над мостом через реку, и на другом берегу он — странным и довольно загадочным образом — оказался соединённым с центральной станцией французской телефонной сети, которая в свою очередь соединила его с Бордо. Мы слышали, как немецкий телефонист здесь, в Компьене, вызывал: «Алло, Бордо! Алло, французское правительство в Бордо!» Он повторял эти слова по-немецки и по-французски. Это звучало жутко, и, должно быть, такое же ощущение было у французов, когда он сказал по-французски: «Говорит центральная телефонная станция немецких войск в Компьене. Говорит штаб немецких войск в Компьене. Вызываем французское правительство в Бордо». Линия была проведена очень хорошо, и мы прекрасно слышали телефониста в Бордо. А затем линия была предоставлена в распоряжение французского правительства и его уполномоченных.

«Так вчера вечером и сегодня протекали переговоры об окончании войны. Время от времени французские делегаты покидали свою палатку и вновь возвращались в салон-вагон для дополнительных разговоров с генералом Кейтелем. Сколо полноты переговоры были прерваны до утра, и хотя в палатке были приготовлены постели для французов, немцы увезли их отсюда в Париж, где они и переночевали. Город, должно быть, показался им неизвестным.

«Утром французские делегаты вернулись в Компьенский лес. Около половины одиннадцатого они гуськом поднялись в старый салон-вагон маршала Фоша. Они ждали целый час, пока прибыл генерал Кейтель. После этого мы видели в окна, как они разговаривают с ним и рассматривают различные документы. В половине второго был сделан перерыв, чтобы дать французам возможность в последний раз высказаться со своим правительством в Бордо.

«И, наконец, наступил решающий момент. В шесть часов пятьдесят минут господы в салон-вагоне поставили свои подписи под немецкими условиями перемирия. Генерал Кейтель подписал от имени Германии, генерал Хюцигер — от имени Франции.

«Это заняло всего лишь, несколько мгновений».

А теперь оставим мою радиопередачу, чтобы изобразить сцену, нарисовать которую я предоставил Куркеру в его части нашей общей передачи. Я знал, что немцы спрятали в салон-вагоне незаметные микрофоны. Направляясь в лес и отыскивая одну из передвижных радиостанций. Никто меня не останавливает, я подхожу и слушаю. Это было перед самым подписанием перемирия. Я слышу голос генерала Хюцигера, дрожащий и напря-

женный. В точности записываю его слова по-французски. Он произносит их медленно, с большим трудом, вытаскивая одно за другим. Он говорит: «Я заявляю, что французское правительство приказало мне подписать эти условия перемирия. Я желаю сделать личное заявление. Выпущенная превратностями военного счастья прекратить борьбу, в которой она участвовала на стороне союзников, Франция видит, что ей навязываются крайне тяжёлые условия. Франция вправе при будущих переговорах ждать, что Германия проявит дух, который позволит двум великим соседним странам жить и работать в мире».

После этого слышен скрип дверей и несколько приглушённых замечаний со стороны французов. Один из наблюдавших сцену в окно рассказывал мне потом, что адмирал Де-Люк тщетно пытался проглотить слезы, когда подписывал документ. А после подписания — низкий голос Кейтеля: «Я приглашаю всех членов немецкой и французской делегаций встать, чтобы воздать должное храбрым немецким и французским солдатам. Почтим вставанием всех, кто сражался за свое отечество, и всех, кто пал за свою родину». Минута молчания, все встают.

Когда я после передачи в Нью-Йорк отхожу от микрофона, на лоб мне падает капля дождя. Между деревьями я вижу на дороге беженцев, — медленно, устало, без конечной вереницей тащатся они пешком, на велосипедах, на двуколках, изредка на грузовиках. Они изнурены и оступели, у пешеходов изранены ноги, и никто из них не знает, что перемирие подписано и военным действиям скоро конец.

Я вышел на прогулку. Небо было со всех сторон обложено тучами, дождь усиливался. Кучка немецких саперов, с веселыми возгласами, уже передвигала куда-то исторический вагон.

— Куда? — спросил я.

— В Берлин, — последовал ответ.

П а р и ж, 23 и ю н я

Вчера мы, кажется, произвели сенсацию, поразив мир самым сообщением о подписании перемирия, не говоря уже о подробной картине происходившего. Кто-то из помогавших нам в этом деле получил страшную головомойку. Я понятия не имел, что мы опередили всех, пока сегодня утром Уолтер Керр не сказал мне, что я ловил американские радиопередачи ночью, причем в течение двух или трех часов наше сообщение оставалось единственным. Некоторые из наших комментаторов, по словам Керра, начали слегка нервничать по мере того, как время шло, а никакого подтаскивания не было. Они, очевидно, боялись повторения того, что было в 1918 году, — когда телеграммы «Юнайтед Пресс» поторопились сообщить о перемирии 7 ноября.

Я выспался впервые за всю неделю и чувствую себя значительно лучше. В двенадцать, вместе с Джо Харшем и Уолтером пил кофе со сливками и ел бrioche на террасе кафе де ла Пэ; солнышко грело

успокаивало нервы. В час пошли к Филиппу, где вкусно позавтракали — первый раз со времени приезда.

После завтрака вместе с Джо проделали небольшое «сентиментальное путешествие». Пешком, так как нет ни трамвая, ни автобусов, ни такси. Мы прошли по Валдомской площади и вспомнили Наполеона. Походили по саду Тюильри. На сердце становится немного веселее, когда видишь столько детей. Они качались на качелях, вертелась даже карусель с полным грузом ребят, пока какой-то сердитый «ажан» по неизвестной причине (чтобы подолжиться к немцам) не запретил качание.

День был очаровательный. Мы остановились, чтобы лишний раз (что касается меня, наверное — миллионный) полюбоваться видом, отрывающимся из Тюильри на Елисейские поля с силуэтом Триумфальной арки на горизонте. Красиво, как всегда. Потом мы направились через Лувр на другую сторону Сены. Рыболовы, как всегда, сидели на берегу с удочками. Я подумал: так будет продолжаться до последнего дня Парижа, до скопчения веков... Никогда не переведутся люди, ловящие рыбу в Сене. Я остановился, как делал это тысячи раз, чтобы взглянуть, не клюет ли хоть раз за столько лет у кого-нибудь из рыболовов. Но хотя те непрерывно забрасывали удочки, ни один из них ничего не вытащил. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь поймал рыбу в Сене.

Затем — вниз по берегу к Нотр Дам. Глазный портал уже освобожден от мешков с песком. Мы постояли и поглядели на собор. Внутри он слишком залит светом благодаря окну — розе и двум окнам поперечного нефа. Но когда подходишь со стороны реки, фасад — готика во всем ее величии — великолепно прекрасен. Мы обошли собор кругом. Как изящны легкие контуры, поддерживающие верхнюю часть нефа!

Дальше я принял на себя роль гида. Показал Джо соседнюю церковь святого Юлиана милостивого, древнейшую в Париже, потом повел его по узкой улочке мимо отель дю Каво, в погребе которого мне случалось проводить веселые ночи во времена моей молодости. А немного дальше я показал ему полицейский участок и напротив, по другую сторону мостовой, дом терпимости. Судя по всему, жрицы любви бежали, как почти все добропорядочные люди во Франции. Затем мы прошли мимо Клони, — музей был закрыт, — и остановились перед статуей Монтеня, на пьедестале которой выгравирована его красноречивая фраза, называющая Париж «красой Франции». Возле Сорбонны мы зашли выпить пива к Бальзару, — пивная, где я провел немало ночей в первые годы моего пребывания в Париже. А оттуда, — поскольку это было «сентиментальное путешествие», оголенное и бесстыдное, — мы направились по бульвару Сен-Мишель и дальше по улице Вожирар к гостинице «Лиссабон», где я прожил два года в свой первый приезд в Париж. У «Лиссабона» был

такой же ветхий и грязный вид, как и прежде. Но, судя по табличке у входа, он обзавелся ванной. Когда я жил там, подобных признаков цивилизации не было еще и в помине.

Затем Пантеон — со стороны бульвара Сен-Мишель, а за Пантеоном — Люксембургский сад, такой же лакшью, как всегда, и, как всегда, переполненный детьми, вид которых опять развеселил меня, а в саду — статуи королей Франции вокруг центрального озера, мальчуганы, плывающие кораблики по воде. Люксембургский дворец сбоку и хорошенькая девушка на скамейке под статуей королевы такой-то, которая царствовала, как я прочел, когда мы оторвали взоры от красивого личика девушки, в 1100-х или еще каких-то годах.

После Люксембургского сада — Монпарнас, аперитивы за столиком на тротуаре у Ротонды, — против собора, набитого как всегда старушками, — и рядом с нами за большим столом — куча немолодых французских буржуазок начавших, повидимому, оправляться от потрясения, так как они вмушались (в конце концов они ведь француженки) поведением мальчуганов, вступавших в разговоры с немецкими солдатами.

И, наконец, обратный путь — рюмочка у Двух мартышек против аббатства Сен-Жермен-де-Пре, массивная башня которого действовала сегодня еще более успокаивающе, чем всегда, и вниз по улице Бонапарта, мимо книжных лавок, мимо художественных магазинов, таких культурных, мимо дома, где мы с Тесс жили в 1934 году. Снова пересекаем Сену. Джо захотелось пройти по садам Пале-Рояля, что мы и сделали; там было так же спокойно, как и раньше, и так же тихо, если не считать жужжания немецких самолетов над головой.

И вот мы у себя в гостинице, переполненной немецкой воеппиной, а по бульвару мимо гроыхает длиннейшая колонна немецкой артиллерии.

Берлин, 26 июня

Вернулся из Парижа. Мы выехали отсюда в семь утра и до Брюсселя ехали через «поля сражений», точнее — через разрушенные города, где происходило то, что называлось боем в эту войну. Немецкие офицеры и чиновники говорили, что им хочется в последний раз хрюхенько похрюпать, прежде чем снова узреть фатерланд, и в Брюсселе я повел их в Таверн Рояль. Мы набрали себе желудки закусками, бифштексом, горамп овощей, свежей клубничкой со сливками и запили все это двумя бутылками доброго пата-марго.

По дороге в Брюссель мы проехали через Компьер, Нуайон, Валансьен и Мове, — все разрушено дотла. Но, кроме городов, я нигде не видел никаких признаков серьезных боев. Там и сям — брошенные танки и грузовики, но нигде на дорогах никаких следов серьезного сопротивления со стороны французов. Городские жители во Франции и Бельгии все еще не вышли из оцепенения.

Мы свернули в сторону с дороги Маастрихт — Аахен, потому что в немецком посылстве в Брюсселе нашим немцам сказали, что имперские таможенники будут к нам придираться: а наши оба автомобиля были доверху нагружены добычей, купленной на марки, называемые французам по грабительскому принудительному курсу двадцать франков за марки. Немецкие офицеры и чиновники произвели набег на Париж, покупая костюмы, шотландскую шерсть, дамские сумочки, шелловые чулки, духи, белье и т. д. Мы сделали огромный крюк, потеряв несколько часов на поиски какого-нибудь заброшенного таможенного поста.

Маленькая долина к востоку от Льежа зеленела в вечерней прохладе, и здесь не видно было следов войны, если не считать одной разрушенной деревни и мостов, взорванных на главной железнодорожной линии, ведущей к Аахену. Наконец мы подъехали к границе. Наш шофер, рядовой, урвавший, конечно, и свою долю добычи, так нервничал, что чуть не раздавил таможенного чиновника. Но наш штабной офицер разговаривал с таможенниками так твердо и убедительно, что мы проскочили со всей нашей добычей.

В Аахене мы как раз успели на почтовый поезд в Берлин. Продропший, зачехленный от усталости и бессонных ночей, я растянулся на доставшейся мне верхней койке и мгновенно заснул тяжелым сном. Это было часов в десять вечера. Около половины двенадцатого меня разбудили неистовые вопли сирен. Судя по звуку снаружи, мы стояли на станции (как оказалось, в Дунсбурге). Не успели сирены замолкнуть, как поезд отчаянно рванулся с места и стал набирать скорость невероятными темпами; я так и ждал, что на каком-нибудь из поворотов мы сойдем с рельс. К этому времени я окончательно проснулся, но, говоря совершенно откровенно, ничуть не был испуган. К лягу и грохоту нашего поезда примешивался гул английских бомбардировщиков; они летели на небольшой высоте, пикируя, снижались еще больше и явно охотились за нами. Керкер рассказывал утром, что он видел их из окна вагона. Но в конце концов англичане, повидимому, решили махнуть на нас рукой, как на несостоящую внимания мелочь, как оно и было в действительности. Во всяком случае я не слышал ни одного разрыва бомбы. Постепенно гул английских моторов замор вдали. Наш машинист замедлил ход до разумных пределов. Я снова заснул.

Берлин, 27 июня

Итак:

Прежде всего оговоримся. Мы еще по все знаем. И во всяком случае мы не могли всего видеть, и так далее в том же духе.

Но из того, что я видел в Бельгии и Франции, и из разговоров, которые я вел там с французами и немцами, а также из разговоров с бельгийскими, французскими и английскими пленными, которых я

встречал по пути, для меня вполне ясно следующее:

Франция не сопротивлялась.

А если и сопротивлялась, то это мало кто мог заметить. Многие из моих знакомых, подобно мне, проделали в автомобиле путь от немецкой границы до Парижа и обратно. Никто из нас не обнаружил каких-либо следов серьезных боевых действий.

Поля Франции остались нетронутыми. Боев на какой-либо укрепленной линии не было совершенно. Немецкие войска стремительно продвигались вперед по дорогам. Но даже на дорогах, судя по имеющимся признакам, французы ограничивались тем, что тревожили неприятеля, да и это делалось только в городах и деревнях. И это значило — только тревожить, тормозить. Не было никакой попытки задержаться на определенной линии и дать демпам организованный отпор, перейти в контрастступление.

Но почему же французы не остановили немцев, если немцы решили вести войну на дорогах? Дороги представляют идеальную мишень для артиллерии. А между тем я не видел в Северной Франции ни одного хотя бы самого маленького участка дороги, носившего следы артиллерийского огня. Когда мы ехали в Париж, мы проезжали те самые места, откуда началось второе немецкое наступление, и сопровождавший нас штабной офицер, не участвовавший в этой кампании, все время бормотал, что он ничего не понимает, что вон там, на той высоте, господствующей над дорогой и поросшей густым лесом, который представляет собой великолепное укрытие для артиллерии, французы не могли не установить нескольких орудий, если они хоть что-нибудь смыслят в этом деле. Несколько орудий было бы вполне достаточно, твердил он и то и дело, приказывал автомобилям остановиться, чтобы произвести небольшую рекогносцировку. Но никаких орудий не было на этих лесистых высотах, и ни на дороге, ни поблизости от нее не было никаких воронок от снарядов. Огромная немецкая армия прошла здесь почти без выстрела.

Французы взорвали много мостов. Но, наряду с этим, много стратегически важных мостов они оставили в неприкосновенности, в частности мосты через Мазе, являющийся — благодаря своей глубине, крутым берегам и покрывающим долину лесам — сильнейшим естественным рубежом. Не один французский солдат, — из тех, с которыми мне приходилось говорить, — называл это прямой изменой.

И нигде во Франции, и только в двух-трех местах в Бельгии, я не видел минированных как следует или, точнее, вообще как-то минированных участков дороги. В городах и деревнях французы насех соорудили противотанковые заграждения, по большей части из тяжелых камней и всякого хлама. Но немцы справлялись с этими заграждениями в одну минуту. А с колоссальной воронкой, оставляемой взрывом мины, справиться было бы по так легко.

Многие французские пленные рассказы-вают, что они ни разу не видели боя. Едва только противники начинали сближе-ние для боя, как французы получали при-каз отступить. Именно эти вечные приказы об отходе еще до того, как сражение за-вязалось или, в лучшем случае, до того, как определился его исход, подорвали со-противление бельгийцев.

Один немецкий танковый офицер, с кото-рым я беседовал в Компьене, говорил мне: — Французские танки в некоторых от-ношениях были лучше наших. У них, на-пример, броня толще. И бывали случаи, когда в течение некоторого времени, — скажем, в течение нескольких часов, — французские танковые войска дрались умело и отважно. Но вскоре у нас сложи-лось определенное впечатление, что душа у них к этому не лежит. Когда мы поня-ли это и стали действовать соответствую-щим образом, все было кончено.

Месяц назад я счел бы такой рассказ элементарной нацистской пропагандой. Те-перь я верю ему.

Еще одна загадка. Прорвавшись через франко-бельгийскую границу от Мобежа до Седана, немцы, как они уверяют, почти без выстрела продолжали свой марш по Северной Франции до самого моря. Когда они достигли побережья. в Булони и Ка-ле им пришлось иметь дело, главным об-разом, с англичанами. Вся французская армия была как бы парализована, неспо-собна ни к малейшему действию, к нич-тожнейшему контрудару.

Правда, у немцев было превосходство в воздухе. Правда, англичане повели в де-ло все военно-воздушные силы, которые они могли и должны были дать. Но и в этом нельзя видеть основную причину крушения Франции. Судя по тому, что приходилось наблюдать, значение авиации в этой войне преувеличивалось сверх вся-кой меры. Газеты писали о массированных воздушных атаках, которым подвергались колонны союзников, двигавшиеся по до-рогам. Но напрасно было бы искать следы этих атак на дорогах. Там нет никаких воронок от бомб. Правда, немецкий метод заключался в том, чтобы сначала *обстрелять* колонну из пулеметов и только по-том, когда войска рассыплются по об-стоянии дороги, начать бомбежку (пада-ющим образом самую дорогую, которая дол-жна была пригодиться вскоре самим немцам). Но и следов такой бомбежки тоже очень мало. Кое-где попадается воронка у обочины дороги или на соседнем поле, но этого недостаточно, чтобы разгромить це-лую армию. Самую смертоносную работу немецкая авиация проделала под Дюнкер-ком — там, где англичане задержали нем-цев на целых десять дней.

Таким образом, хотя кое-где французы сражались доблестно и даже с упорством, французская армия в целом была, повиди-мому, парализована, едва только немцы в первый раз прорвали фронт. После этого прорыва она развалилась почти без боя. Французы находились словно под действи-ем какого-то дурмана; воля к борьбе не проснулась в них, даже когда ненавист-

нейший из врагов Франции вторгся в ее пределы. Это было полное крушение фран-цузской государственности и французско-го духа. Кроме того, тут была измена, либо же преступное забвение долга и во французской ставке, и в среде француз-ского генералитета.

Большое несчастье союзников, в особен-ности французов, заключалось в том, что командование было у них подчинено старикам, находившимся во власти рокового заблуждения, будто нынешняя война бу-дет в основных чертах вестись точно так же, как и прошлая. Их неноворогливое, негибкое военное мышление застряло где-то между 1914 и 1918 годами, и мозг их оброс корой. Этим отчасти и объясняется, почему французы, столкнувшись лицом к лицу с новыми формами войны, оказались неспособными быстро перестроиться и дать противнику надлежащий отпор.

И дело обстояло вовсе не так, чтобы этим дряхлым старикам надо было в мгновение ока приспособиться к новым методам, революционизирующим военное искусство. Одна из загадок кампании на Западе заключается в том, что союзное командование даже не потрудились, повиди-мому, изучить опыт польской кампании. А между тем в Польше немецкие войска уже развернули ту тактику, которую они применили потом в Голландии, Бельгии и Франции: парашютисты и пикирующие бомбардировщики для разрушения комму-никаций в тылу; стремительные броски бронетанковых дивизий, прокальвающих, словно иглой, неприятельский фронт на полевых дорогах, проникающих все глубже и глубже и, наконец, смыкающих-ся, как гигантские стальные клещи; укло-нение от лобовой атаки, отнимающее у противника возможность организовать фронтальную оборону вдоль какого-ни-будь рубежа; нанесение удара в глубокий тыл неприятеля, прежде чем он успеет собрать силы для сопротивления. Восемь месяцев протекло от польской кампании до наступления на Западе, но очень мало заметно, чтобы английские и французские генералы воспользовались этим драгоцен-ным временем и организовали новую си-стему обороны, способную противостоять тактике, применявшейся на их глазах немцами в Польше. Они, по всей вероят-ности, слишком низко расценивали прояв-ленную польской армией боеготовность; они думали, должно быть, что это был просто плохо вооруженный сброд, а ведь применять новый стиль ведения войны против такой первоклассной армии, как французская, да еще когда она находится под защитой линии Мажино, значит биться головой о стену. Если бы линия Мажино была продлена от Седана до моря, эта точка зрения еще имела бы некоторое оправдание. Но, как хорошо знали союз-ники и как хорошо помнили немцы, дей-ствительная линия Мажино заканчивалась в нескольких милях к востоку от Седана.

Б е р л и н, 28 июля

Два слова, за которые немцы меня рас-стреляют, если гестапо или контрразведка

найдет когда-нибудь мой дневник. (Я прячу его у себя в номере гостиницы, но даже детектив-любитель смог бы найти его без труда.)

Я был возмущен тем, как немцы во Франции и Бельгии злоупотребляли знаками Красного креста.

Как-то раз милях в сорока от Парижа мы остановились у временного нефтехранилища, чтобы заправить наши автомобили. От сорока до пятидесяти армейских автоцистерн скопилось там под деревьями фруктового сада. Многие из них были украшены огромными знаками Красного креста. Много обыкновенных грузовиков с брезентовым верхом, на которых перевозили бочки с бензином, тоже были разукрашены красными крестами по бокам и наверху и действительно были похожи на санитарные автомобили Красного креста. Один из немецких офицеров, очевидно, заметил, что я приглядываюсь к этому бесстыдству. Он поспешно закричал нас в нашу машину и приказал ехать.

Этим можно объяснить, почему Люфтваффе не уважала знаков Красного креста у союзников. Геринг, вероятно, воображает, что союзники поступают так же, как и он. Теперь мне становится понятен случай, о котором рассказывали мне корреспонденты, ездившие в свое время в Дюнкерк. Особенно потрясены они были арсеналом обугленных остатков длинной вереницы английских и французских санитарных автомобилей на набережной. Предстояла, очевидно, погрузка раненых на суда, но повисшие птицы и стали бомбить санитарные автомобили дугасными и зажигательными бомбами. Обугленные тела раненых еще лежат в машинах. А между тем, подчеркивали рассказчики, ни один немецкий пилот не может отговариваться тем, что он якобы не заметил больших красных крестов на брезентовой крышке автомобилей.

Я наблюдал также в Бельгии и во Франции много случаев, когда штабные немецкие офицеры разбегались в автомобили со знаками Красного креста.

Женева, 4 июля

Приехал сюда на неделю отдохнуть. Трупы людей и животных, зловоние, развалины напоминают здесь как явление иного мира, оставленного в давно забытые времена. Восторженные крики Эйлин, когда я беру ее купаться в озере в первый раз в ее жизни, в почтенном возрасте двух с половиной лет, мягкий голос Тессе, когда она читает Эйлин сказку перед тем, как уложить ее в постель, вот настоящая и отчаянная реальность.

Здесь все только и говорят, что о «новой Европе». Большинство эта тема приводит в содрогание. Швейцария, проводившая поистине мобилизацию полнее, чем любая другая страна на свете, проводит сейчас частичную демобилизацию. Швейцарцы считают свое положение в достаточной мере безопасным, так как они окружены победоносными тоталитаристами и должны отныне кланяться им, чтобы иметь возможность ввозить к себе продо-

вольство и другие товары. Никто не платит иллюзий насчет того, как будут обращаться с ними диктаторы. Газеты пестрят советами: готовьтесь к суровым временам. Конец высокому жизненному уровню. Конец личной свободе. Конец доброты и порядочности и прилично в общественной жизни.

Но все же швейцарцы, видимо, не вполне представляют себе участь, которую готовят им диктаторы. А вооруженная борьба — сейчас, когда Франция потеряла полное крушение и Швейцария окружена немцами и итальянцами, — безнадежна.

Вид Моплана с набережной сегодня великолепен. Его снега плещут в лучах клонящегося к закату солнца.

В конце дня отправился на празднование 4 июля к нашему консулу. Приятный загородный домик дышит спокойствием, на лугах вокруг пасутся коровы. Разговор — хоть отбавляй.

Все толкуют о вчерашнем поступке англичан, потопивших три французских линейных корабля в Иране, чтобы они не достались немцам.

Французы, которые пали невообразимо низко, заявляют, что порвут дипломатические отношения с Англией. Они утверждают, что верят обещанию Гитлера не пользоваться французским флотом против Англии. Жалости достойно! И все же во Франции этот случай вызовет большое озлобление, «сердечное согласие» умерло.

Мы обедали на ползавке, у альпийского берега озера, под старым густым капитаном, ветви которого свисали над водой. Юрские горы были синими-синими. — темной дымчатой синевой, такими я их еще никогда не видел. Они стояли отменно и гордо, и немцы уже оккупировали их. Я встал из-за стола и подошел к порядам, чтобы взглянуть на отсвечивающийся вид при заходе солнца. Необычайная сцена Юны окрашала в свой оттенок Женевское озеро, которое было похоже на синее зеркало в раме холмов, садов, рощ.

Женева, 5 июля

Генеральный секретарь Лиги наций Авеноль, очевидно, рассчитывает найти себе местечко в гитлеровских Соединенных штатах Европы. Вчера он пропал всех секретарей англичан и отправил их на автобусе во Францию, где они будут, вероятно, арестованы немцами французской национальности.

Вечером при заходе солнца сквозь листву деревьев просвечивает белый мрамор здания Лиги наций. Благородный облик здания напоминает, что сама Лига будучи во многих умах благотворные надежды. Но она не оправдала их. И от нее осталась только оболочка — здание и форма, а надежды умерли.

Берлин, 8 июля

Франция, которую всего лишь несколько недель тому назад считали последним оплотом демократии на континенте, сбросит завтра свои демократические притязания и вступит в ряды тоталитарных государств. Лаваль, которому Гитлер поручил эту

грязную работу во Франции,— главным гитлеровским доверенным является там небезызвестный Отто Абетц,— соберет палату депутатов и сенат и заставит их вогнать свое собственное упрямство и передачу всей власти маршалу Петэну, гитлеровской марионетке на посту диктатора, которую будет дергать за ниточки Лаваль. Наци веселятся.

Сегодня в Берлин прибыл достопамятный вагон маршала Фоша.

Берлин, 9 июля

Наци продолжают веселиться. Орган министерства иностранных дел «Динстаус Дейчланд», комментируя вотум Виши, стеревающий с лица земли французский парламентский режим, пишет сегодня: «Замсна прежнего режима во Франции авторитарной формой правления не окажет ни малейшего влияния на политический баланс войны. Дело в том, что Германия отнюдь не считает франко-германские счеты урегулированными. Они будут через некоторое время урегулированы в духе исторического реализма... берущего за основу не только два десятилетия, протекавшие со времени Версальского договора, но учитывающего также гораздо более ранние времена».

Берлин, 10 июля

Заходил ко мне Ганс. Он только что приехал на автомобиле из Ируна на франко-испанской границе. Говорил, что не может отделаться от впечатления, произведенного на него видом Вердена, через который он проехал вчера. Ни один дом там даже не поцарапан. А в первую мировую войну, когда Верден не был взят, там не уцелело ни одного здания. Вот наглядный пример разницы между 1914—1918 и 1940 годами.

Берлин, 15 июля

Немецкая печать оповестила сегодня, что немецкие войска всех видов оружия «готовы к нападению на Англию» и что момент нападения будет выбран лично фюрером». По слухам, немецкое командование не очень расположено к этому шагу, но Гитлер настаивает.

Берлин, 17 июля

Триста эсэсовцев в Берлине с утра до ночи изучают суахели. Суахели — ходовое наречие бывших немецких колоний в восточной Африке.

Берлин, 19 июля

Блицкрига против Англии не будет. По крайней мере пока. Сегодня вечером в рейхстаге Гитлер «предложил мир». Он казал, что не видит причин к продолжению войны; разумеется, предлагаемый мир — это мир, установленный Гитлером, который оседлал континент и командует им завоеватель. Выхода из рейхстага после этого феерического заседания — самого эффектного из всех, на которых мне пришлось присутствовать. — я задавал себе вопрос, как отнесутся к этому англичане. Что касается немцев, то дело ясное.

В качестве маневра с целью объединить их для борьбы против Англии гитлеровский ход является блестящим. Ибо немцы будут теперь говорить: «Гитлер предлагает Англии мир без всяких фокусов. Он говорит, что не видит оснований, почему война должна продолжаться. Если она продолжается, это вина Англии».

Меня страшно интересовало, что ответят англичане, и не успел я приехать на Рундфунк, чтобы подготовить свою радиопередачу, как услышал лондонскую передачу на немецком языке. И в ней уже содержался ответ. Это было решительное, категорическое — нет! Чем больше я думал об этом, тем меньше я находил поводов удивляться. Мир с Германией, самодержавно властвующей над континентом, нелепым для Англии. «Нет» британской радиопередающей компании было очень решительным. Лондонская передача жестоко высмеивала каждую фразу Гитлера. Офицеры из штаба верховного командования и чиновники различных министерств, собравшиеся в комнате, не верили своим ушам. Один из них крикнул мне:

— Вы в состоянии понять что-нибудь? Что вы скажете об этих дураках? Откажитесь сейчас от мира!

Я что-то пробормотал.

— Они с ума сошли, — не переставал восклицать он.

Я заметил, что Гитлер может беспардонно врать с самым честным выражением лица. В некоторых случаях, пожалуй, ложь для него не ложь, и он фанатически верит в то, что говорит, как, например, когда он фальсифицирует историю последних двадцати двух лет или в тысячный раз повторяет, что Германия не потерпела поражения в прошлой войне, но была предана.

Я еще никогда не видел сразу столько расшитых золотом генералов, как на этом заседании рейхстага. Увешанные крестами и медалями, они скопились все вместе и заняли треть всех кресел на балконе. Часть спектакля предназначалась специально для них. Сделав внезапную паузу среди речи, Гитлер вдруг превратился в Наполеона и мановением руки (на сей раз это был жест нацистского приветствия) создал двенадцать фельдмаршалов, а так как у Геринга уже было это звание, то для него было изобретено новое — рейхсмаршал.

Гитлер обернулся к нему и вручил ему япичек с полагающимся рейхсмаршалу знаками достоинства. Геринг принял япичек и было умилительно видеть инфантильное удовлетворение и гордость этого заматерелого убийцы.

Граф Чиано, спешно прибывший из Рима, чтобы приложить авторитетную печать свои к гитлеровскому «предложению мира» весь вечер вел себя как рыжий в пирже. В черно-серой форме фашистской милиции

он сидел в первом ряду дипломатической ложи и поминутно подпрыгивал, словно чортик на дружинке. Стоило Гитлеру остановиться, чтобы перевести дыхание, как Чанго вскакивал и делал фашистский приветственный жест. Он держал в руках текст речи Гитлера, но, повидимому, это был итальянский перевод, и он не в состоянии был следить за словами «фюрера». Поэтому он и приветствовал его всегда невпопад. Я невольно отметил необычайную нервность Чанго. Он все время двигал челюстями. А во рту у него не было жевательной резинки...

Самой мрачной фигурой в зале, — не считая, конечно, манекенов, которые под именем «депутатов» сидели внизу, в партере, — был, на мой взгляд, генерал Гальдер, начальник немецкого генерального штаба. По мнению большинства, он представляет собою мозг немецкой армии, и именно ему принадлежит разработка окончательного плана польской кампании и решающего наступления на западе, которая им же и осуществлена с таким изумительным успехом. Но он никогда не лебезил перед Гитлером. Хотя упорные слухи, что он не раз очень резко говорил с «фюрером». Короче говоря, Гитлер ненавидит его. Во всяком случае он не был произведен сегодня в фельдмаршалы, а всего лишь повышен на один чин.

Наш поверенный в делах, Александр Керк, тоже присутствовал на заседании. Нацисты посадили его в заднем ряду, вместе со всякой мелкотой, но он сделал вид, что не замечает этого. Он просидел там весь вечер неподвижный, как сфинкс, и только раз по лицу его пробежала ироническая улыбка, когда некоторые из его дипломатических коллег с Балканского полуострова вскакивали с мест, чтобы сделать приветственный жест. Квислинг, маленький человечек со свиными глазами, забившись в кресло в углу балкона, упивался невиданным спектаклем.

Берлин, 31 июля

Выпущенная сегодня кинохроника показывает, как немецкие саперы взрывают французские памятники, воздвигнутые в честь перемирия 1918 года. На воздух взлетели уже все монументы, кроме статуи маршала Фоша. В Париже один немецкий чиновник приглашал меня в Компьен на взрыв памятников, но, когда я выразил изумление, как немцы могут позволить себе такое варварство, он взял свое приглашение обратно.

В тексте моей сегодняшней передачи говорилось, что в настоящее время немцы наслаждаются копченой свиной, яйцами и овощами, присылаемыми в больших количествах из Голландии и Дании. Цензор заявил, что я не в праве касаться этой темы.

Берлин, 1 августа

По приказу Геббельса, немецкое радио фальсифицировало сегодня заявление американского военного министра Стимсона. Оно процитировало его следующим образом: «Англия через короткое время будет

разбита, и английский флот перейдет в распоряжение неприятеля». Это из области новой пропагандистской кампании, цель которой убедить немцев, что даже Соединенные Штаты потеряли всякую надежду на спасение Англии.

Всем не терпится знать, когда начнется вторжение в Англию. Я принял еще два пари, предложенные мне нацистами с Вильгельмштрассе. Один из них утверждает, что знамя свастик будет развеваться над Трафальгар-сквером к 15 августа. Другой, что к 7 сентября. Нацисты говорят, что правая рука Геринга, генерал Мильх, указал последнюю дату, как совершенно несомненную.

Берлин, 4 августа

Летал вчера в Гамбург на старом транспортном самолете, которым немцы пользовались недавно для перевозки из Парижа в Берлин захваченных у французов лошадей. Сидений никаких не было, так что мы расползлись прямо на полу, который порожочно вибрировал. Немецкие власти телефонировали, что они приглашают меня и еще двух корреспондентов посетить Гамбург, где мы сможем осмотреть все, что угодно. По их словам, англичане только что сообщили, что Гамбург превращен английскими бомбардировщиками в «грудь пепла».

Когда я прибыл на берлинский аэродром, там ждали еще двадцать приглашенных, а когда мы прилетели в Гамбург, для меня вскоре же стало ясно, что немцы вовсе не намерены показывать мне «все, что угодно». Перед полетом я два часа просидел над планом Гамбурга и составил список интересующих меня военных объектов, куда вошли нефтехранилища, авиационные заводы, судостроительные верфи и один тайный аэродром. После того, как нас несколько часов водили по разным местам и показали, между прочим, как английская бомба разрушила целый флигель приюта для эпилептиков, я представил мой список руководителям нашей эсکورсии.

— Конечно, конечно! — отвечали они. — Мы покажем вам все. После чего нас захватили в автобус и помчали по набережной со скоростью тридцати пяти миль в час. Доки бесспорно не были превращены в «грудь пепла», но рассмотреть, не были ли они кое-где повреждены, мы не могли. Затем мы поднялись на башню святого Михаила, на высоту в триста футов, от куда открывалась панорама всего гамбургского порта. Даже с помощью полевого бинокля я не в состоянии был ничего рассмотреть. Нефтехранилища были слишком далеко. Доки и одна из верфей Блома и Фосса неподалеку от башни были, казалось, невредимыми. На реке в одном месте были потоплены несколько мелких судов, их матчи еще торчали над водой. Скоро наступили сумерки, и нас поспешили посадить в самолет.

Сидя на вибрирующем полу и размышляя о виденном, я чувствовал себя подавленным. Хотя немцы не сдержали своего обещания и не показали мне то, что я хо-

тел, но и по тому немногому, что мы видели, ясно было, что Гамбургу причинены незначительные повреждения. Я думал, что за два месяца почти ежедневных ночных бомбардировок английской авиация делала гораздо больше. В порту были, несомненно, попадания, но по-настоящему не пострадал. Два важнейших моста через Эльбу в центре гавани были целы и невредимы — ближайшая бомба разорвалась в двухстах ярдах от них. Два крупнейших немецких пассажирских парохода «Бремен» и «Европа» стояли на якоре подалее — в Фиркенвердере — и, повидному, не пострадали. На пристани два железнодорожных состава вытряхивали свой груз — воинские эшелоны, должно быть — из экспедиционного корпуса, предназначенного для вторжения в Англию. Говорили, что их посадят на «Бремен» и «Европу».

В Роттердаме, в центре города, немецкие штukas в течение получаса превратили в голое место пространство размерами в квадратную милю, а может быть, и больше. Почему англичане за два месяца бомбежки не смогли уничтожить гамбургские портовые сооружения и верфи Блома и Фосса, на которых строятся военно-морские суда, в частности, подводные лодки? Важнейшие гамбургские объекты сконцентрированы главным образом на двух островах на Эльбе.

Берлин, 5 августа

Несмотря на все разговоры о предстоящем якобы на ближайших же днях вторжении в Англию, в военных кругах мне объяснили, что Люфтваффе должна провести гораздо более серьезную подготовку прежде, чем пойдет речью о попытке какого бы то ни было десанта. Геринг ясно сказал это в статье, напечатанной вчера в «Фелькшер беобахтер» за подписью «Арминий» — латинская форма его имени Герман. Он пишет, что основная задача военно-воздушных сил — добиться абсолютного превосходства в воздухе путем уничтожения самолетов противника, его посадочных площадок, ангаров, нефтехранилищ и гнезд противовоздушной обороны. После этого, говорит он, начинается вторая стадия, когда авиация может уделить свое главное внимание поддержке, необходимой для наземных сил. Такова была немецкая стратегия в Польше и на западном фронте.

Спрашивается: почему же Люфтваффе не производит на Англию нападений в более широком масштабе. Потому ли что Гитлер все еще надеется заставить Черчилля согласиться на мир? Или потому что генералы наземных войск все еще не хотят отважиться на попытку вторжения? Или английская авиация слишком сильна, чтобы немцы могли рискнуть сразу всей Люфтваффе?

В рейхскапеллерском дворце сейчас происходит важное совещание между Гитлером и верховным командованием. Мои осведомители видели, как входили в подъезд Кейтель, фон-Браунхич, Йодль, Геринг,

Редер и все прочие военные тузы. Решается вопрос о вторжении в Англию.

Берлин, 8 августа

На Вильгельмштрассе нам сегодня заявили, что Германия отклоняет от себя всякую ответственность за организацию снабжения на территориях, оккупированных немецкой армией. Немцы надеются, что о снабжении в оккупированных странах позаботится Америка. Им, повидному, желательно, чтобы эту задачу взял на себя Гувер.

Берлин, 10 августа

Министерство иностранных дел официально заявило сегодня о том, что французские моряки, принявшие сторону де Голля, будут рассматриваться как пираты. В случае поимки им пощады не будет.

Берлин, 11 августа

Вот уже несколько дней, как рабочие заняты сооружением новых трибун на Паризерплац, против гостиницы, в которой я живу. Сегодня они их покрасили и установили два огромных золотых орла. По краям площади воздвигнуты два одинаковых железных креста. По этому поводу в кругах нацистской партии ходят толки, будто Гитлер так уверен в близком окончании войны — путем ли победы над Великобританией или с помощью заключения «почетного» мира с ней, — что он распорядился, чтобы трибуны были готовы к концу месяца, когда он предполагает провести победоносные войска церемониальным маршем через Бранденбургские ворота.

В тот же день, позднее

Сегодняшний день увидел величайшую воздушную битву пынешней войны, разыгравшуюся над английским побережьем. Германские данные о британских потерях росли в течение всего вечера. Сначала командование германскими воздушными силами сообщило о 73 сбитых английских самолетах против 14 немецких; дальше их оказалось 79 против 14; наконец в полночь названы были цифры 89 против 17. Когда же я подсчитал все немецкие данные, в той последовательности, в которой они поступали с разными интервалами на протяжении всей второй половины дня и вечера, то уже оказалось, что англичане потеряли 111 единиц. Командование германскими воздушными силами врет в таких темпах, что опережает даже собственную ложь.

В германском военном транспортном самолете, между Берлином и Гентом, 14 августа

Вчера ночью мы пережили первую длительную воздушную тревогу. Она началась в 2 часа пополудни. Я только что вернулся домой после радиопередачи. Мы с Тэсс, приехавшей на несколько дней в Берлин, не ушли в убежище, в надежде увидеть световые эффекты. Но пожаров не было.

В 10 часов 45 минут мы поднялись со штаахенского аэродрома. Летели низко, примерно на высоте 500 футов, так, чтобы

немецкие зенитные батареи ясно видели наши опознавательные знаки. Вообще-то они немало сбили своих собственных самолетов... Вот с севера показались Антверпен, и летчик пошел на посадку... Тяжелый момент... Из-за туч прямо на нас вынырнули два истребителя, и мы, конечно, подумали, что это «Спитфайры». (На днях они так поймали германского генерала, летевшего из Парижа в Брюссель.) Но это оказались «Мессершмитты», и мы благополучно продолжили свой полет. Летчику пришлось разыскивать свой аэродром, — это тоже задача не легкая, так как все аэродромы замаскированы.

Гент, Бельгия, 14 августа

Маскировка здесь аэродрома обходится в сущие пустяки. С воздуха кажется, что аэродром ничем не отличается от окружающего ландшафта. Вдоль и поперек он изоброжден беспорядочно разбросанными полосками, которые можно принять за крестьянские поля. Каждый военный самолет, находящийся на аэродроме, заключен в свой собственный временный ангар, построенный из плетеных шитов, прикрытых дерном. Шиты подпираются палаточными шестами. С обеих сторон и сзади такой шалаш обкладывается мешками с песком, которые предохраняют самолет от осколков. Эти ангары так искусно построены, что, пожалуй, ни одного из них не различишь с высоты в 1000 футов. Аэродром сам по себе невелик, но немцы лихорадочно работают над его расширением. Артиллерия бельгийских рабочих поспешно сносят прилегающие к аэродрому постройки — особенно местные аристократии. Характерный штрих, свидетельствующий о том, как немцы заставляют Бельгию помогать им в войне против ее союзника — Англии. Один из искусных приемов по укрыванию самолетов, применяемых немцами, заключается, как я заметил, в том, что на некотором расстоянии от летного поля они устраивают «карманы» — небольшие площадки, которые соединены с основным аэродромом узкими дорожками. На таких площадках размещаются самолеты, укрытые среди деревьев. С воздуха такой «карман» трудно заметить. Можно сколько угодно бомбить аэродром, а спрятанные здесь самолеты останутся невредимы.

Гент представляет для меня известный романтический интерес. Еще со школьной скамьи он связывается в моем воспоминании с историческими рассказами о том, как здесь был подписан в самый сочный мирный договор, завершивший нашу войну 1812—1814 годов. Если верить рагним фламандским художникам, Гент был живописным уголком в эту знаменательную ночь под рождество. Американские и британские делегаты, не спеша договаривались здесь о том, как покончить с войной, которая была в тягость обеим сторонам. Рождество чувствовалось во всем. Узкие, пронизанные ветром улицы искрились снегом. На каналах резали лед конькобежцы. Всюду щедро ели и пили. Нельзя было выбрать более подходящего

момента для заключения мира, чем рождество. Но тогда еще не было ни радио, ни трансатлантического кабеля, и Америка узнала о мире только через три месяца. Пока что Джексон продолжал драться у Нью-Орлеана.

Мы сидим в пышной гостиной сахарного магната, особняк которого летчики захватили для себя. Мы ждем автомобилей, которые должны подвезти нас «на фронт». Кто-то забыл заблаговременно позаботиться о транспорте. Доктор Фрелих из министерства пропаганды, которого мы прозвали «юродивый», высокий, неуклюжий, добродушный тугодум-немец, обладатель гарвардского диплома и жены-американки, все никак не может собраться с духом и решиться на что-нибудь. Мы ждем, а немецкие летчики усиленно потчуют нас изысканным вином из собственных погребов сахарозаводчика. Автомобили так и не пришли. Поэтому мы погрузились на автобус и поехали осматривать город. Гент оказался совсем не таким романтическим, как я себе представлял. Это — серый, мрачный, расположенный в низине, промышленный город. Улицы полны немецких солдат, жадно скупающих на свои марки последние остатки товаров в магазинах. Мы зашли в один из магазинов и поболтали с владельцем.

Кале, 15 августа (полдень)

Примерно в десяти милях от Дюнкерка мы неожиданно наткнулись на тошнотворный запах лошадиной падали и человеческих трупов. Повидимому, из многочисленных каналов еще не успели выловить убитых людей и животных. Сам Дюнкерк уже был приведен в порядок, и те, кто побывал в нем два месяца тому назад, едва узнавали город. Часовые не пропустили нас в тот район города, который непосредственно примыкает к главной части порта, вероятно из опасения, что мы что-нибудь узнаем о приготовлениях к десанту. В самом Дюнкерке и в его окрестностях многие районы усеяны искалеченными грузовыми машинами и военным снаряжением, которые были брошены английским экспедиционным корпусом. Немецкие монтеры заняты тем, что пытаются хотя бы враспех их исправить, или срывают с ободов резиновые покрышки, новые качества которых еще неизвестны немцам. В самом городе — длинные очереди французского гражданского населения выстраиваются перед благотворительными кухнями в ожидании скудной кормежки. Странно, что после всех убийственных воздушных и артиллерийских бомбардировок, пережитых городом, в нем все еще уцелело какое-то гражданское население. Мы все, повидимому, еще очень недооцениваем меру выносливости человеческого существа.

Мы подъезжаем к той части набережной, откуда происходило отступление четверть миллиона британских войск. Меня сильно удивляет, что вдоль берега, миль на дватцать, виднеются остатки всего лишь двух грузовых пароходов. А как бахвалились немцы, потоплением многочисленных

транспортных и других судов (олажды нам сообщили в Берлине, что Люфтваффе будто бы в один день потопила 50 судов!). Кроме того, видны остовы двух миноносцев, из которых один, как мне кажется, разбомбили, задолго до донкеркекого отступления, и одной торпедной лодки. Всего-навсего пять мелких единиц. Между тем любое судно, потопленное даже на большом расстоянии от берега, было бы ясно видно, так как море здесь на редкость спокойное. Если уж бомба поражает судно, то она, надо сказать, разделяет его довольно основательно. Наиболее близкий к нам миноносец, тот, который находился, примерно, в 200 ярдах от берега, — сильно пострадал: тут было, повидимому, прямое попадание. Бомба упала как раз перед капитанским мостиком. Огромный обломок, футов двадцати в диаметре, был отброшен взрывом к самому берегу.

В тот же день, позднее

Мы еще были в Кале и сидели за завтраком, когда до нас донеслось гудение первых звеньев германских бомбардировщиков, летящих курсом на Англию. Они летели на такой высоте, что их едва было видно, — пожалуй не меньше двенадцати тысяч футов. Я насчитал двадцать три бомбардировщика и над ними целую стаю «Мессершмиттов». Погода начала проявляться. Неплохой выдался денек для летчиков. Около трех часов мы в машинах двинулись вдоль берега к мысу Гри-Не. Проезжая через порт, я отметил, что и здесь не было концентрации судов, баржи или хотя бы мелких моторных торпедных катеров. Только три катера стояли на причале у одного из молв. Что же это, значит немцы выдумали всю эту историю с десантом в Англии? Мы продолжаем двигаться по прибрежной дороге. Вот опять жужжат над нами германские самолеты. С одной стороны — эскадра в двадцать семь бомбардировщиков, с другой — навстречу им — пятьдесят истребителей «Мессершмиттов». Вот они вместе развернулись и на очень большой высоте поплы в открытое море, в сторону Дувра. Скоро уже ясно стало, что англичане не собираются вылетать им навстречу — так далеко, во всяком случае. Мы все ждали, не покажутся ли англичане над каналом. Ни один «Спитфайр» не появился.

Мы продолжаем быстро ехать по берегу в сторону мыса Гри-Не, к тем местам, где Гертруда Эдерле, а позднее — тучный египтянин, и многие другие, устраивали свои палатки в те дни — как бесконечно далеки они кажутся теперь! — когда мир еще интересовался мужчинами и женщинами, переплывающими канал.

В воздухе — непрерывный шум моторов и полно самолетов: бомбардировщиков, истребителей, и все немецких. Звено бомбардировщиков «Хейнкель» (мы еще не видели ни единого «штука») нарушенным строем возвращается со стороны Дувра. Три-четыре из них здорово потрепаны, а один, почти потеряв управление, с большим трудом ухитрился сесть на узкую полоску земли, позади скал. Мессершмит-

ты-109 и 110, последние двухмоторные, — прорезают воздух со скоростью в 350 миль в час и носятся, как возбужденные наездники, оберегающие своих дыплят. Они заполняют воздух густым гудением, пока все бомбардировщики не снижаются благополучно, потом снова взмывают вверх и ложатся курсом на Англию.

Наши машины стали, чтобы удобнее было наблюдать. Один из сопровождающих нас офицеров нагло утверждает, будто «Хейнкель» поврежден «Спитфайром», а английский истребитель сбит. Но это чистойшей плод его воображения, он видел не больше нас. Мы стояли чуть не до вечера. Наконец двинулись дальше. Крестьяне сноповязалками убирают перезревшую пшеницу. Мы изо всех сил вытягивали шеи, чтобы не упустить из виду смертоносных машин в небесах. Крестьяне не следят за полетом эскадрилий, они не смотрят вверх. Их интересует пшеница. Не заставляет ли это призадуматься над вопросом: кто же из нас культурней? Мы проезжаем мимо поставленного на железнодорожную платформу большого морского срубка, из которого ведется обстрел Дувра. Орудие искусно замаскировано сеткой, на которую немцы забросали снопы пшеницы. На всем побережье немцы заставляют работать отряды французских рабочих, которые строят для них артиллерийские площадки. Наконец-то мы сворачиваем к морю и едем по дороге, ведущей к мысу Гри-Не. Здесь опять много очевидных точек и прожекторных установок. Все это в совершенстве замаскировано сетками. Насколько, повидимому, немцы уделяют больше внимания искусству маскировки, чем союзники! На мысе Гри-Не солдаты заняты такой же усмешливой маскировкой всех оборонных сооружений, которые, кстати сказать, французы оставили им в полной исправности. Целые бригады заняты тем, что режут дерн на близлежащем лугу и обкладывают им гравийные брустверы вокруг дотов и наблюдательных гнезд. Это именно то, что нужно, так как белый гравий на фоне зеленых полей образует легко выделяющийся ориентир.

Остаток дня мы проводим, валяясь на траве, на самой верхушке Гри-Не. Германские бомбардировщики и истребители продолжают реветь над нами, направляясь в сторону Дувра. В бинокль можно без труда разглядеть дуврские скалы, время от времени в поле зрения попадают английские привязные аэростаты, вероятно, преграждающие немецким бомбардировщикам доступ к порту. Я заметил, что германские бомбардировщики вылетали в правильном строю и шли на большой высоте — обычно не менее 15 000 футов, а возвращались — значительно ниже, беспорядочными группами, а то и в одиночку. Мы все надеялись, что дождемся настоящего воздушного боя или увидим хотя бы, как группа «Спитфайров» преследует возвращающихся на базу германских бомбардировщиков. Напрасные ожидания. За несколько часов, проведенных здесь, мы так и не увидели ни одного английского самолета. В зоне канала у немцев на сегодня

пя абсолютное превосходство в воздухе. Несколько германских сторожевых судов, большей частью небольшие торпедные катера, патрулируют вдоль побережья. Они представляли бы собой легко доступную мишень, если бы только какой-нибудь английский самолет залетел в эти края. Море неподвижно, как зеркало, и германские морские гидропланы с большими красными крестами на крыльях то прилетают, то вновь улетают. Задача заключается в том, чтобы подбирать летчиков, сбитых над Каналом. Около шести часов вечера мы увидели шестьдесят мощных бомбардировщиков «Хейнкель» и «Юнкерс-82», конвоируемых сотней «Мессершмиттов», летящих на большой высоте в направлении Дувра. Через три-четыре минуты мы ясно услышали, как британская зенитная артиллерия в окрестностях Дувра открыла огонь по ним. Судя по низкому звуку выстрелов, у англичан вместе с значительное количество тяжелых зенитных орудий. К раскатам их присоединяется другой, еще более низкий звук разрывов, и один из наших офицеров высказывает предположение, что это от авиабомб. Примерно через час появляется отряд бомбардировщиков на обратном курсе, но всем признакам тот же. На этот раз мы насчитываем только восемнадцать машин вместо первоначальных шестидесяти. Неужели англичане расправились с остальными? Трудно сказать, так ли это; известно, что немцами летчикам часто приказывают возвращаться не на те аэродромы, с которых они вылетели. Видимо, командование старается скрыть от самих летчиков точные размеры германских потерь.

Мы с Бойером все еще надеемся, что какой-нибудь «Спитфайр» все-таки покажется. Но вот уже и солнце заходит. Зеркально гладкое море ясное небо. Время на мысе Гри-Не протекло для нас скорее как буколический пикник, нежели день, проведенный на передовой линии воздушной войны. И здесь, как и в Бельгии так и в Северной Франции, мы наблюдаем все ту же неравную борьбу. Ни одного английского самолета, ни одной английской бомбы. Маленький японец, журналист, подбегает под шумок к орудийным площадкам с намерением сделать несколько снимков. Но часовой все-таки накрыл его. Время возвращается в Кале ужинать. Прибегает один из сопровождающих нас немецких офицеров и взволнованным тоном сообщает, что сегодня днем над французским побережьем сбито три «Спитфайра». Мы удивлены. Просим показать нам их.

Первый «Спитфайр», которого нам показали на обратном пути, пролежал здесь, видимо, так долго, что немецкие механики успели уже снять с него мотор роле-ройс и доску приборов. Он даже покрылся ржавчиной. Мы обращаем на это внимание офицера. Он предлагает нам посмотреть второй «Спитфайр», сбитый близ маленького села на полпути в Кале. Мотор еще не снят, приборы на месте, но молодой лейтенант, командующий зенитной батареей по соседству, отводит меня в сторону

и решается сделать мне интересное сообщение: самолет подбит уже несколько недель тому назад, но лишь сегодня, во время отлива, удалось вытащить его из воды. Когда офицер предложил показать нам третий «Спитфайр», мы сказали, что проголодались, и пожелали вернуться в Кале.

Позднее

Чего я никогда не забуду, так это то, что в этих прибрежных городах бельгийцы и французы ежедневно молят небо о налете английских бомбардировщиков, хотя в ответ на их молитвы прилетает зачасую их собственная смерть и хотя они нередко приветствуют ту самую бомбу, которая убьет их. Сейчас три часа утра, и немецкая зенитная батарея с предельной скоростью палит вот уже с половины двенадцатого, с той минуты, как послышался гул от разрыва первой английской бомбы в порту. К счастью, англичане, по-видимому, летели только в порт, и ни одна бомба не упала в городе в такой близости от нас, чтобы причинить нам какие-нибудь хлопоты. Сигнала воздушной тревоги не было. Грохот зениток да разрывы бомб вот вам и все сигналы. Никто не спустился в бомбоубежище. Когда немцы замолчали, мы сидели в задней комнате с хозяином-французом, его семьей и двумя официантами и запивали красным вином каждую английскую бомбу.

Булонь, 16 августа

Как изумительно замаскировали немцы свои временные аэродромы! По пути нашего следования между Кале и Булонью мы видели только три таких аэродрома. Они расположены не на лугах, как я думал раньше, а на пшеничных полях. Скирды пшеницы оставлены на поле, проложены только узкие проходы для подъема и приземления самолетов. Каждый самолет спрятан под ангаром, сделанным из веревочной сетки, поверх которой лежат спящие пшеницы. Как в Генте, боковые и задние щиты каждого ангара прикрыты мешками с песком. На большом пшеничном поле рассеяно, вероятно, штук сто таких маленьких ангаров. Мастерские и склады горячего тоже помещаются под своего рода сеткой. «Карманная» система, которую я видел в Генте, применяется и здесь. Самолеты, приземлившись, рулят по колеям или дороге к близлежащему «карману», который находится иногда в отдалении от летного поля. Здесь самолеты либо скрывают под сеткой, либо спрятамы в лесу.

Наши офицеры и чиновники следили за тем, чтобы мы не общались с немецкими пленными, которые возвращались на свои аэродромы. Но я разговоривал — вчера в сегодня утром — со многими моряками и армейцами, обслуживающими береговые орудия, и, к моему удивлению, все они уверены, что война кончится через несколько недель.

Брюссель, 17 августа

Из моих последних разговоров с бельгийцами и французами я вынес впечатле-

ние, что и те и другие возлагают свои последние надежды на выдержку англичан. Они теперь понимают, что если Гитлер победит, им уготована участь рабов. И, невзирая на суровые тюремные приговоры за слушание иностранного радио, все приемники здесь настроены на Лондон. Отчаяние сменяется надеждой, надежда вновь уступает место отчаянию. С тем же отчаянием в голосе все спрашивают меня: выдержат ли англичане? Каковы их шансы? Поможет ли Америка? Газеты в оккупированных странах вынуждены закрывать свои столбцы одной немецкой пропагандой, и это действует на моральное состояние населения угнетающим образом. Но Геббельс заставляет его ежедневно проглатывать порции самой пёвобразной лжи.

На Ламанском побережье немцы не разрешали нам разговаривать с немецкими пилотами, но нынче днем Бойер и я зашли на террасе кафе разговор с молодым немецким летчиком. По его рассказам, он пилотирует «Мессершмитт», участвовавший в больших воздушных полетах на Лондон вчера и третьего дня. (Значит, самолеты, которые мы видели, летели на Кале в Лондон.) Он не производит впечатления хвастуна, как многие летчики, которых я встречал.

— Если хотите знать, — ровным, спокойным тоном замечает он, — еще неделя, другая, и английской авиации конец. Через две недели у англичан не останется больше самолетов. Сначала, дней десять назад, с ними было еще много хлопот, но на этой неделе их сопротивление уже слабеет с каждым часом. Вчера, например, я почти не видел в воздухе английских истребителей. Пожалуй, с десятком, не больше, но мы быстро их сбили. Мы выходили к нашим объектам и возвращались обратно почти без всяких помех. Англичане выдыхаются. Я уже строю планы поездки в Южную Америку: собираюсь пролавать там самолеты. Разве это война? Это забава!

Расспрашиваем его о качестве английских самолетов.

— «Спитфайры» так же хороши, как наши «Мессершмитты», — сказал он, — «Харрикейны» будут похуже, «Дифайнты» — ужасны.

После этого он покидает нас, объясняя, что должен повидать товарища в госпитале, который вчера был ранен и спешно оставлен сюда для операции. Мы с Диком Бойером поражены и удручены. Дик только что приехал сюда и не очень хорошо знает немец.

— Я напишу об этой беседе, — говорит Дик. — Парень, мне кажется, не хитрит.

— И я так думаю. Но подождите. У летчиков, знаете, широкий горизонт.

Позднее

Дик, Фред Экнер и я только зашли в «Атлантик» выпить по рюмочке на сон грядущий, как вдруг с улицы доносится глухой и низкий звук разрыва.

— Бомба, и близко, — соображает вслух официант-бельгеец.

Выходим на улицу, но ничего не обнаруживаем. Дик вернулся позднее и рассказал, что в соседнем квартале взрывом до основания разрушен дом и убиты все его обитатели. В направлении аэродрома слышен грохот зенитных орудий.

На борту германского военного транспортного самолета Брюссель — Берлин, 18 августа

Утренние брюссельские газеты сегодня очень интересны. Сообщение о бомбардировке, которую мы слышали прошлой ночью, идет под заголовком: «Гнусное преступление англичан в Брюсселе!» Немцы заставляют бельгийцев давать такие заголовки. Но я больше заинтересовался сообщением военного командования в газете, выходящей на немецком языке, — «Брюсселер цейтунг». Здесь сказано, что в пятницу, во время воздушного боя над Англией, англичане потеряли 83 самолета, а немцы 31. А как же наш бесхитростный паренек, пилот «Мессершмитта», уверявший, что в пятницу он не видел английских самолетов и что английская авиация выдохлась?

В брюссельском аэропорте обнаруживаю, что нас подвезли к аэродрому обружным путем — так, чтобы держать нас в отдалении от главных ангаров. Но наш самолет еще не готов, и, кроме того, с десятков немецких офицеров спорятся между собой из-за права занять два свободных места в нашем самолете и лететь в Берлин. Пользуюсь всей этой кутерьмой, чтобы поближе подойти к ангарам. Два из них носили следы свежей бомбежки, а позади них лежали груды поврежденных германских самолетов. Видно, английские атаки не так уж безобидны.

Записываю текст объявления, расклеенного вчера по всему Брюсселю: «В селении Савантем, близ Брюсселя совершен акт саботажа. Я взял 50 заложников. Движение впредь до дальнейшего распоряжения, прекращается в 8 часов вечера. Впредь до дальнейшего распоряжения закрываются также все кино и другие увеселительные заведения».

Подписано немецким командантом. Это хорошая новость. Она показывает, что бельгийцы сопротивляются. Полдень. Мы подлетаем к Берлину.

Берлин, 24 августа

Немцы теперь признают наличие серьезного саботажа в Голландии. Генерал Кристиансен, немецкий командующий Голландии, предупреждает, что, в случае, если саботаж не прекратится, на голландские города будут наложены штрафы и взяты заложники. О характере саботажа можно судить по обвинениям, которые генерал предъявляет голландцам: они, мол, «уклоняются от донесения властям о посадке неприятельских летчиков на голландской территории». Генерал прибавил: «Голландцы, дающие прибежище неприятельским солдатам, понесут суровую кару, вплоть до смертной казни». Это, повидному, подтверждает слухи, будто англи-

чане по ночам спускают на парашютах своих агентов.

Немцы отрицают, что они вывозят продовольствие из оккупированных стран, но я сам видел в одной голландской газете официальное распоряжение германских властей о том, чтобы между 15 мая и 31 июля из Голландии в Германию было вывезено 150 миллионов фунтов продовольствия и свежих овощей.

Министерство иностранных дел отклонило требование Америки, чтобы американские пароходы с детьми моложе шестнадцати лет, эвакуированными из зоны военных действий, были проведены до места назначения безопасным путем.

Берлин, 26 августа.

Такого мощного налета, как прошлой ночью, за все время войны еще не было. Сирены завывали в 12 ч 30 м. ночи, а отбой был в 3 ч 22 м. утра. Впервые английские бомбардировщики летали и сбрасывали бомбы непосредственно над городом. Мне еще не доводилось быть свидетелем такого концентрированного огня зенитных батарей. Великолепная и страшная картина! Но странно — эффективность этого огня была ничтожна. Ни один самолет не был сбит. Ни один не попался в лучи прожекторов, бешено рыскавших по ночному небу.

Берлинцы опеломлены. Они не думали, что это возможно. Когда война началась, Геринг их заверил, что этого не будет. Он хвастал, что ни один вражеский самолет не прорвется сквозь внешнее и внутреннее кольцо противовоздушной обороны города. Берлинцы — наивный народ. Они поверили Герингу. Тем сильнее их разочарование. Стоит лишь взглянуть на их лица, чтобы измерить всю силу этого разочарования. Геринг еще больше испортил дело: всего три дня тому назад он известил население, что по сигналу воздушной тревоги нет еще необходимости спускаться в бомбоубежище, сделать это нужно после того, как поблизости начнут стрелять зенитные батареи. Подразумевалось, что зениткам стрелять не придется. Это дало населению уверенность, что даже в том случае, если английские бомбардировщики проникнут на окраины города, в самый город им никак не провалиться. И вдруг, прошлой ночью, зенитки загрохотали по всему городу, моторы английских самолетов загудели прямо над нашими головами и, судя по всем рассказам, миллионы берлинцев в панике и беспорядке ринулись в бомбоубежища. Я был на радио и писал как раз текст своей передачи, когда раздался вой сирены и, почти в ту же секунду — лай зениток. По странному совпадению, у меня за несколько минут до этого был спор с цензором министерства пропаганды: может ли Берлин подвергнуться бомбардировке? Лондон только что бомбил.

— Естественно, — сказал я, — что англичане попытаются отплатить.

Он рассмеялся:

— Это невозможно, слишком много зенитных орудий вокруг Берлина.

Мне нелегко было сосредоточиться на моей рукописи. Огонь зениток вблизи здания радио был особенно интенсивен, и окно моей комнаты дребезжало при каждом залпе орудий или взрыве бомбы. В довершение всего, дежурные по противовоздушной обороне в полной пожарной амуниции носились по зданию, загоняя людей в убежища. Это были большей частью портье и курьеры, которые упивались своей кратковременной властью. В большинстве случаев немцы не заставляли себя долго упрашивать и отправлялись в убежища.

Моя передача была назначена на час ночи. Как я уже объяснял раньше, чтобы попасть в студию, где установлены микрофоны, нам приходилось выходить из здания, в котором мы записывали текст нашей передачи и давали его на просмотр цензорам, и бежать каких-нибудь двести ярдов по пустому, абсолютно темному двору. Когда я вышел из здания без пяти минут час, батареи, предназначенные для защиты радиостанции, бешено грохотали. Вдруг я услышал более мягкий, но и более зловеющий звук. Как будто град падал на жестяную кровлю. Это были осколки. Первый раз в жизни я пожалел, что на мне нет стального шлема. Для меня было всегда что-то отталкивающее в германском шлеме, что-то символизирующее грубую тевтонскую силу. На фронте я отказался надеть его. Теперь я готов был отбросить свое предубеждение. На секунду я задержался в дверях, не решаясь переступить за порог. Но через две или три минуты моя передача. Я ринулся вперед, побежал по дорожке, испуганный и ослепленный, и спустился кое-как по деревянной лестнице. Зигрид одолжила мне свой фонарь. Я зажг его. Сторож в дверях заорал, чтобы я выключил фонарь. Когда он крикнул, я ударился об угол навеса и растянулся на песке. Звук падающих вокруг меня осколков заставил меня быстро вскочить на ноги. Еще несколько шагов, и я вошел в дверь студии.

— С ума вы сошли! — крикнул эсэсовец, укрывавшийся в дверях от осколков. — Где ваш пропуск?

— Через минуту у меня передача, — взмолился я.

— Меня не касается. Пропуск?

Наконец я нашел его. В студии инженер потребовал, чтобы я говорил: стоя вплотную у микрофона. Он не сказал почему, но это было и без того ясно. Чем ближе я стоял к микрофону, тем меньше посторонних звуков улавливал микрофон. Но мне хотелось, чтобы в Америке слышали грохот пальбы. Цензоры разрешили мне сказать о налете только одну фразу: сообщить о самом факте налета.

Едва я заговорил, как грохот, к сожалению, затих. Только издалека, через дверь студии, проникало слабое гудение. Но пальба, новидимому, в Америке слышна была лучше, чем здесь, в студии: через несколько минут я поймал конец нашей программы, передававшейся на коротковолновой станции, и слышал, как Эльмер Девис в Нью-Йорке заявил, что во время

мой передачи были ясно слышны грохот орудий и разрывы бомб. Это доставило мне большое удовольствие, но я заметил, что немецкие чиновники, тоже поймавшие слова Девиса, насупились.

Зигрид, выступавшая через полчаса после «Мючуэл», несмотря на все наши уговоры, храбро побежала через двор. Осколки падали, казалось, еще гуще, чем прежде. Пытаясь увернуться от града осколков, она споткнулась, упала и сильно поранила ногу. И все же, несмотря на острую боль, передачу провела. Но ей решительно не везло. Та же самая передаточная станция, которая за несколько минут до этого прекрасно работала для других компаний, внезапно прервала работу, а передача Зигрид не дошла до Америки.

Почти до рассвета мы наблюдали за налетом с балкона. Стояла низкая облачность, и немецкие прожекторные батареи тешно пытались поймать английские самолеты. Сноп света вспыхивал на несколько секунд, лихорадочно шарил по небу и газли. Англичане летали, как хотели, над самым сердцем города и, судя по звуку моторов, опускались совсем низко. Немецкие зенитки беспорядочно палили, ориентируясь исключительно на звук. По звукам стрельбы легко было проследить путь самолетов над городом: грохот доносился главным образом с севера, где расположены военные заводы.

Сегодняшняя бомбардировка — единственная тема разговоров в Берлине. Поэтому особенно смешно, что Геббельс разрешил местным газетам дать лишь коротенькое сообщение в шесть строчек: вражеские самолеты, мол, летали над столицей, сбросили несколько зажигательных бомб на два предместья и разрушили деревянный домик в саду. Ни слова о фугасных бомбах, взрывы которых мы все прекрасно слышали. Ни слова о трех уличах, которые сегодня весь день оцеплены, чтобы скрыть от глаз любопытных, то что может натворить бомбежка. Интересно проследить реакцию берлинцев на старания властей скрыть размеры налета. Берлинцы впервые имели случай сопоставить реальную действительность с сообщением доктора Геббельса. Англичане проплой ночью сбросили также некоторое количество листовок, в которых говорится, что «война», затеянная Гитлером, протянется столько, сколько протянет Гитлер». Это неплохая пропаганда! К сожалению, листовки попали в руки только немногим, — их сброшена была всего лишь маленькая пачка.

Берлин, 29 августа

Прошлой ночью англичане опять налетели на Берлин, и в столице Третьего рейха появились первые немецкие жертвы. По официальным данным, убито десять и ранено двадцать девять человек. На Котбусерпитрассе, по дороге в Темпельгоф (который, вероятно, и был целью налета) сброшены две фугасные бомбы. Друганику воздушной обороны, дежурившему у ворот своего дома, оторвало ногу. Кроме того, убито четверо мужчин и две женщи-

ны, которые легкомысленно залюбовались из подъезда на световые эффекты.

Мне кажется, что население Берлина больше потрясено тем фактом, что англичане смогли без всяких помех появиться над центральной частью города, нежели тяжелыми последствиями налета. Впервые эта война вплотную приблизилась к немцам. Если англичане будут продолжать в том же духе, это окажет громадное влияние на моральное состояние берлинского населения.

Сегодня Геббельс внезапно изменил тактику. После первой же крупной бомбардировки прессе приказано было не поднимать шума. Сегодня же всем газетам предписано поднять вой по поводу «варварства» английских летчиков, которые де нападают на беззащитных берлинских женщин и детей. Надо помнить, что здешнее население еще не осведомлено о разбойничьих налетах немецкой авиации на Лондон. Во всех сегодняшних газетах один и тот же стандартный заголовок: «Подлый удар англичан». И карлик «дотор» заставляет печать вколачивать в головы немцев, будто германская авиация совершает в Англии налеты исключительно на военные объекты, между тем как «английские пираты», «по личному приказу Черчилля», избирают своей целью одни лишь гражданские объекты. Несколько не сомневаюсь, что немцы попадутся и на эту удочку. А одна из газет в припадке форменной истерии объявила даже, что британским воздушным силам якобы приказано «кистребить все население Берлина».

Ни в воскресенье, ни прошедшей ночью противовоздушная оборона Берлина, — которая, вероятно, по праву считается лучшей в мире, — не смогла ни поймать своих прожекторами, ни сбить хотя бы один английский самолет. Не репаше утверждать в официальном коммюнике, что над городом сбито несколько самолетов, так как ведь тысячи людей, вероятно, собственными глазами видели, что этого в действительности не было, власти объявили, будто один из самолетов противника сбит на полоступах к Берлину, а второй — при возвращении на базу.

Вчера ночью у меня были свои огорчения на радио. Во-первых, цензоры заявили нам, что впредь мы не имеем права сообщать о происходящих налетах. (В Лондоне Эд Мерроу не только сообщает о них, но и описывает их.) Во-вторых, у меня произошел резкий разговор с немецким радионачалством. Не успел я окончить свою передачу, как мне предложили слушаться в бомбоубежище. Я пытался объяснить, что приехал сюда в качестве военного корреспондента, и заставлял меня спускаться в бомбоубежище, мне мешают исполнять мои прямые обязанности. Разговор на эту тему прошел в довольно резких тонах.

Берлин, 31 августа

Переболел гриппом, лежал. Я спросил горничную, которая зашла ко мне вечером, как раз перед самой бомбежкой:

— Как вы думаете, англичане сегодня опять прилетят?

— Конечно, — ответила она, не колеблясь. Вся ее вера, вся вера пяти миллионов берлинцев в безопасность столицы, в невозможность воздушных нападений, улеглась.

— Зачем они это делают? — спросила она.

— А зачем ваши бомбят Лондон? — спросил я.

— Да, но наши бомбят только военные объекты, а англичане разрушают жилые дома.

Доходчива, значит, геббельсовская пропаганда. Эта горячая — неплохая реклама.

— А может быть, и ваши бомбят жилые дома? — сказал я.

— Наши газеты пишут, что это неправда, — возразила она.

Потом она прибавила, что немцы хотят мира. Почему англичане отказались заключить мир, когда фюрер предложил им это? — хочется ей знать. Это — женщина из рабочей семьи. Она замужем за рабочим. Тем не менее и она стала слепой жертвой официальной пропаганды.

Англичане хорошенько проручили нас прошлой ночью, и даже немецкие чиновники вынуждены признать, что на этот раз ущерб причинен больший, чем при всех прежних бомбардировках. Один из моих знакомых немцев забескавказать, что пострадали крупные заводы Симменса. «Берзенцйтунг» вышла сегодня вечером с заголовком: «Британские воздушные пираты над Берлином».

Я отклонил приглашение министерства пропаганды участвовать каждое утро вместе с другими иностранными корреспондентами в организованном осмотре разрушений, произведенных во время ночных налетов. Уверен, что военные власти не подпустят нас к действительно пострадавшим во время налетов военным объектам, да и, кроме того, добросовестный осмотр отнял бы несколько часов езды по обширной территории Берлина.

Берлин, 1 сентября

Если верить официальному сообщению германского командования, зенитные орудия этой ночью действовали блестяще. Английские летчики «лишены были возможности сбросить свой груз бомб в районе города и были поэтому вынуждены разгрузиться за пределами городской черты».

Заявление довольно странное, так как Тиргартен сегодня весь день оцеплен, и вечерние газеты признали, что после сегодняшнего налета в Тиргартене обнаружены «воронки». Я все-таки поплелся сегодня на радио, в расчете на юбилейную передачу. Военный цензор, приличный парень, был явно смущен противоречивостью официальных сообщений о результатах налета.

— Вы не имеете права передавать сведения, расходящиеся с коммунистическим верховным командованием, такзовы инструкции, — сказал он.

— Но вся немецкая пресса расходится с коммунистической, — возразил я. — Я сам слышал взрыв в Тиргартене, да и берлинские газеты не отрицают этого.

Цензор оказался парнем с головой, и он дал мне возможность сообщить моим слушателям обе противоречивые версии.

Не прекращавшиеся в течение последней недели ночные бомбардировки развеяли множество иллюзий в головах берлинцев и посеяли там всевозможные сомнения. Сегодня один немец сказал мне:

— Больше я им никогда не поверю, что бы они ни говорили. Если о налетах в других частях Германии они вралли столько же, сколько о берлинских, то можно себе представить, как там обстоят дела!

По существу английские бомбардировки были не очень-то смертоносны. Англичане действуют слишком небольшими группами — от пятинадцати до двадцати самолетов в ночь, и, кроме того, им приходится пролетать такое расстояние, что они не в состоянии брать с собой подлинно эффективные, то есть тяжелые бомбы. Основное назначение таких бомбардировок — подорвать «мораль» населения. И если у англичан есть головы на плечах, они постараются прилетать еженощно.

Нынешней ночью бомбардировка началась перед самой моей передачей, но была не слишком внушительной.

Сегодня ровно год, как немцы приступили к знаменитой «контратаке» против Польши. За этот год германские армии одержали ряд побед, беспримерных даже в блестящей военной истории этой агрессивной, милитаристической нации. Однако война еще не кончена и не выиграна. Насколько я могу судить, именно эта мысль владеет умами немцев. Они жаждут мира. Мира до наступления зимы.

Берлин 2 сентября

Сегодня я узнал, что удаленные бомбы замедленного действия занимают главным образом заключенные из концентрационных лагерей. Тем из них, которые уцелели, обещано освобождение. По всей вероятности, они не задумываются над выбором. Даже смерть для них только желанное освобождение от пыток гестапо. Здесь же все-таки есть шанс на спасение: может быть, бомба и не взорвется. Некоторые из бомб, которые упали в Тиргартене, оказались бомбами замедленного действия.

С недавнего времени наши цензоры запрещают нам пользоваться на радио словом «наци». Мотивируют они это тем, что в Америке, мол, «наши» плохо звучит. Надо говорить «национал-социалист» или вообще избегать этого термина, — что я и делаю обычно. Запрещено также пользоваться словом «вторжение» для обозначения того, что произошло в Скандинавии и на Западе и что замышляется против Англии.

Изучая явно фальсифицированные германские данные о потерях авиации обеих сторон над Англией, я заметил, что ежедневно получается соотношение четыре к одному в пользу Германии. Почему-то именно эта пропорция оказывается, видимо,

магическое действие на статистиков из берлинского министерства авиации.

Берлин, 4—5 сентября (3 часа утра)

Сегодня днем, по случаю открытия кампании «зимней помощи», неожиданно выступил Гитлер. Подобно кампаниям за дешевый, так называемый «народный автомобиль», с помощью которого из карманов немецких рабочих ежемесячно выкачиваются миллионы марок,— в то время как завод, якобы предназначенный для производства дешевых машин, на самом деле занят выпуском танков,— «зимняя помощь» тоже одно из скандальнейших явлений гитлеровского режима. И все же подлинный смысл его вряд ли понятен хотя бы одному немцу из миллиона. Кажется бы ясно, что в стране, где нет безработицы, нет нужды в «зимней помощи». Между тем наци ежегодно выжимают из народа несколько сот миллионов марок на «зимнюю помощь», расходуя эти суммы частью на вооружение, частью на содержание аппарата собственной нацистской партии.

О предстоящем выступлении Гитлера до последней минуты ничего не было известно. Корреспондентов, находившихся на пресс-конференции, министерство пропаганды поспешно вызвало оттуда в Спортпаласт. Чего собственно опасался Гиммлер? Ведь английские бомбардировщики среди бела дня не залетают. Уж не «инцидента» ли какого-нибудь?

Выступление в Спортпаласте — еще один великолесный пример того, как Гитлер играет на легковерии своего народа. Он, например, назвал трусами английских летчиков за то, что они совершают налеты только ночью, тогда как немецкие бомбардируют английские города днем. Но Гитлер не объяснил, почему это происходит: ведь немцы имеют возможность летать над Англией днем потому, что ближайшие их базы находятся в двадцати пяти милях от Англии, и это позволяет им прикрывать свои бомбардировщики отрядами истребителей; англичанам же, чтобы добраться до германских центров, приходится покрывать такое огромное расстояние, что их истребители не могут сопровождать бомбардировщиков.

Далее этот непревзойденный лицемер заявил:

— Три месяца я молча терпел ночные бомбардировки. Я надеялся, что англичане сами прекратят свои злодеяния. Но господин Черчилль усмотрел в этом признак нашей слабости. Могу вам сообщить, что в ответ на это мы бомбим их теперь ночь за ночью. И на каждые две-три тысячи килограммов английских бомб мы будем отпечатать 150—200—300—400 тысячами килограммов в ночь!

Тут речь его была прервана истерической овацией аудитории, в подавляющем большинстве своем состоящей из сестер милосердия и дам-патронесс и им подобной публики.

— Если они собираются,— продолжал Гитлер,— усилить свои налеты на наши

города, то мы их города сравняем с землей!

Еще более бешеный взрыв аплодисментов, жные сестры милосердия и дамы-патронессы чуть не задожлись от восторга. Когда они затихли, Гитлер продолжал:

— Мы положим конец разбою этих воздушных пиратов, и да поможет нам бог!

Тут уж молодые немки не выдержали: повскакали с мест и, захлебываясь, визжа, стали выкрикивать возгласы одобрения.

— Настанет час,— вещал Гитлер,— когда одна сторона окажется побежденной, но это, конечно, будет Англия, а не национал-социалистская Германия.

Тут совершенно обезумевшие девы все же обнаружили достаточно соображения, чтобы прервать свои экзотически-неплеворадельные выкрики, хором завопив:

— Никогда Германия не будет побеждена! Никогда!

Наряду с яростными угрозами, Гитлер в этот вечер пытался и шутить. Аудитории показались очень забавными следующие его заявления:

— Англичане невероятно любопытны, они все спрашивают: «Где же Гитлер, почему его еще нет здесь?» Будьте покойны! Будьте уверены! Он явится! Он придет!— При этом он вложил в интонацию своего голоса весь юмор и сарказм, какие только мог выжать из себя.

По радио речь Гитлера непосредственно не передавалась, а была записана на пленку и пушена в эфир через два часа после ее окончания.

Позднее

Сегодня ночью англичане снова прилетели, они появились ровно без четверти двенадцать, в свое обычное время. То, что прожекторы не обнаруживают ни одного самолета, породило среди берлинцев слухи, будто английские самолеты покрыты такой краской, которая делает их невидимыми. Сегодня бомбардировщики налетали с интервалом в два часа. Зенитные орудия палили, как сумасшедшие, но почти без толку. В Тиргартен попала еще одна бомба. Убит полицейский.

Берлин, 5 сентября

Меня все время злит, что радиобюрократы попрежнему запрещают мне наблюдать ночные налеты. Налеты происходят как раз в то время, когда я нахожусь в радиостудии. Мы не имеем права упоминать о них, даже если они происходят в момент передачи. Явившись сегодня для очередной радиопередачи, я увидел, что Радиоконпания установила для нас «глухой микрофон». Чтобы вас услышали через такой прибор, надо приложиться к нему губами. Грохота зенитных орудий микрофон не передает. Поэтому-то они и установили его. Но так как аппарат находится в одном помещении с дирекцией, то теперь, чтобы попасть к микрофону, нам уже больше не придется делать перебежки под градом осколков.

В обмен на морские и воздушные базы вдоль восточного побережья Соединенные Штаты передают англичанам пятьдесят эсминцев. Немцы говорят, что это — нару-

шение нейтралитета. И это, конечно, верно, но мер против этого они никаких не предпринимают и даже протеста не собираются заявлять. Они надеются на то, что наши изоляционисты и наши лэндберги сами не допустят участия Америки в войне, и поэтому избегают каких-либо действий, которые могли бы скомпрометировать их сторонников.

Берлин, 7 сентября

Прошлой ночью происходила самая сильная и самая эффективная бомбардировка Берлина за все время войны. За последние несколько дней немцы увеличили количество действующих зенитных батарей и прошлой ночью открыли убийственный огонь, но им не удалось сбить ни одного самолета.

На этот раз англичане чаще попадали в цель. Когда я, в четвертом часу утра, возвращался из радиостудии, небо над северной и центральной частью Берлина было освещено двумя большими пожарами. Самый великий пожар вспыхнул на пакгаузах Лертеровского вокзала. Попала бомба также в вокзал на Шуссендорфштрассе. Горел, как я слышал, и каучуковый завод.

Вопреки всем этим фактам, высшее командование выпустило сегодня следующую коммюнике: «Вчера ночью враг снова совершил нападение на столицу Германии. Бомбами, беспорядочно сброшенными на военные объекты в центре города, причинен некоторый материальный ущерб. Имеется несколько человеческих жертв. В ответ на это крупные соединения германских военно-воздушных сил предприняли бомбардировку Лондона».

В коммюнике нет ни намека на то, чего немецкий народ так и не знает до сих пор, — а именно, что в течение последних двух недель немцы и без того непрерывно бомбили центр Лондона. Цензоры мои предупредили меня сегодня, чтобы я совершенно не касался этого предмета. Очевидно, у меня имеются немецкие слушатели, которые ловят мои коротковолновые передачи в Нью-Йорк через германскую станцию. Поскольку станция германская, немцы, слушающие ее, не могут быть привлечены к ответственности.

Коммюнике высшего командования, явно составленное под диктовку Гитлера, — он часто прикладывает руку к редактированию официальных военных коммюнике, — говорит ложь, утверждая будто немцы решили бомбить Лондон только потому, что англичане первые напали на Берлин. И немцы поверят в это, как они теперь верят любым сказкам, которые рассказывают. С тех пор как существует печать и радио, не было еще, конечно, подобных прецедентов одурачивания целого народа и при том многомиллионного.

Нигде еще искусство самой бессовестной лжи и самого бесстыдного обмана миллионов людей не было доведено до такой степени совершенства, как в гитлеровской Германии.

Сегодня, например, высшее командование официально которого все «честные» немцы убеждены, что устами его глаголет сама святая истина, выпустило коммюни-

ке, где говорится, что, в ответ на английские налеты на Берлин, немцы совершили сегодня первый крупный налет на Лондон. В результате этого ответного налета, — продолжает коммюнике, — «над Лондоном — от центра и до устья Темзы — стоит сплошное облако дыма».

Для того чтобы дать американским радиослушателям представление о той пропаганде (хотя я не имел возможности назвать это пропагандой), какой пичкают теперь немецкий народ, я прочитал в своей передаче следующую выдержку из «Берзеңцейтунг»:

«Несмотря на то, что германские военно-воздушные силы совершают налеты исключительно на военные объекты, — этот факт признает как английская пресса, так и радио, — британский воздушный флот попрежнему не находит ничего лучшего, как бомбардировать невоенные объекты. Ярким доказательством тому служат вчерашнее преступное нападение на центр Берлина. Пострадали исключительно жилые дома, ни один военный объект не потерпел от бомбардировки».

Немецкий народ даже не подозревает. — гитлеровская пресса и радио на этот счет хранят полное молчание, — что в одном только августе месяце, во время налетов немецкой авиации на так называемые «военные объекты», в Англии убито свыше тысячи мирных жителей.

Вот еще один образец гитлеровского вранья. В официальном сообщении о вчерашнем налете на Берлин говорится, что первые две волны неприятельских самолетов были отражены, и только несколькими самолетами из третьей волны удалось прорваться к городу. Такова официальная версия. Между тем ни для кого из берлинцев не секрет, что прошедшей ночью английские самолеты были над городом с той самой минутой, как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Англичане налетели несколькими волнами, и каждый раз был ясно слышен гул их моторов. И все же, боюсь, что большинство немцев поверит официальной версии.

«Берзеңцейтунг» даже не постеснялась сообщить своим доверчивым читателям, что английским самолетам никогда не добраться до военных объектов, так блестяще поставлена в Германии их защита. Поэтому они бомбят незащищенные жилые дома. Сколько же немцев спросит себя: почему же при таком количестве орудий в самом Берлине и на подступах к нему, какого нет нигде в мире, не сбит еще ни один самолет противника?

Что касается лично меня, то я начну уставать от цензуры, которая запрещает нам передавать в Америку хотя бы крупную правду о воздушных налетах. Долго я этого не выдержу.

Берлин, 9 сентября

Сегодня со мной проделали типичный гитлеровский трюк. Три цензора, усмотрев в тексте моей передачи, назначенной на два часа дня, неуместную проноию насчет «ответной» бомбежки Лондона, как долго прекекался со мной, что, когда мы при-

шли, наконец, к соглашению, было уже поздно выступать в эфире. Мои пять радиоминут истекли.

Против этого было бы трудно возражать, поскольку цензоры имеют полное право выбрасывать из текста передачи все, что им не по вкусу, и поскольку я в праве вовсе не выступать, если они вычеркивают из моих передач, то что составляет их подлинное содержание. Но вечером я узнал от Поля Уайта, через каналы, дающие мне возможность получать телеграммы из Нью-Йорка без ведома немцев, что директор германской коротковолновой станции следующим образом объяснил, почему не состоялась моя передача в два часа. Он телеграфировал в Нью-Йорк: «Нашему сожалению Ширер сегодня опоздал передачу».

Английские бомбардировщики не появились ни вчера, ни третьего дня. Официально германскому народу это разъяснили так: «Обе последние ночи английские самолеты пытались прорваться к Берлину, но были отогнаны». Я слышал, что Геббельс распорядился разъяснять во всех без исключения случаях, когда нет налета, что противник пытался прорваться, но великолепная оборона столицы не допустила его к городу.

В последнее время, как только англичане появляются над Германией, большинство германских радиостанций немедленно прекращает работу, чтобы не служить радионелегатами для английских летчиков. Сегодня германское радио оповестило своих слушателей, что передачи, уже сейчас значительно сокращенные «по соображениям военного характера», в дальнейшем будут еще более сокращены. «Теперь не время, — сказал диктор, — входить в объяснение причин этого мероприятия».

Берлин, 11 сентября

Этой ночью бомбардировка была очень жестокой. Немецкие газеты в бешенстве. «Берзенцйтунг» называет наших воздушных гостей «варварами» и дает шапку: «Злодеяния англичан в Берлине». Согласно нацистским сообщениям, убито всего пять человек, но на этот раз англичане впервые сбросили много зажигательных бомб, вызвавших несколько пожаров. Три зажигательных бомбы упали во двор гостиницы «Адлон», пять — по соседству, в сад американского посольства, и еще с полдюжины — в сад доктора Геббельса, расположенный позади посольства. Попала бомба и в здание министерства боеприпасов, которое находится между «Адлоном» и посольством. Все эти бомбы были своевременно обезврежены и пожаров не вызвали. На самом деле англичане метили в Потсдамский вокзал, но им не повезло. Они взяли почти правильный прицел; их первые бомбы попали в рейхстаг, следующие падали по прямой, ведущей к Потсдамскому вокзалу, и угодили в Бранденбургские ворота, в посольство, в сады позади него и только последняя бомба на каких-нибудь триста ярдов не долетела до вокзала.

Сегодня английское радио сообщило, что Потсдамский вокзал поврежден. Но это неверно, и по крайней мере три немца из

числа слышавших английские станции говорили мне, как их разочаровал этот недостаток правдивости в английской передаче. Такая плохая пропаганда — не на пользу англичанам. Незачем передавать сюда на немецком языке, что один из главных берлинских вокзалов сгорел, тогда как он даже не задел.

Вчера ночью я чуть не погиб. После отбоя, мчась в моей машине домой со скоростью пятьдесят миль в час, я внезапно раскочил на какието развалины и затормозил машину в двадцати футах от самой воронки, в полутората ярдах от Бранденбургских ворот. При затемнении легко было не заметить эту воронку, а дежурные по противовоздушной обороне еще не обнаружили ее. Осколок бомбы, вырвавший эту воронку, пролетев двести ярдов и пробив двойное окно американского посольства, упал в кабинете Дональда Хита, нашего первого секретаря. Пролетав большую дыру в обеих рамах, осколок пролетел над письменным столом Дональда и застрял в задней стенке, войдя в нее дюйма на четыре в глубину. Этой ночью Дональд должен был как раз дежурить и, вероятно, сидел бы за своим письменным столом. Но поверенный в делах Кирк почему-то отправил его домой, а сам остался «развлекаться» ночными сюрпризами.

Берлин, 18 сентября

Вчера ночью в поезде, по дороге из Базеля, где-то близ Франкфурта, неожиданно раздался крик проводника:

— Воздушная тревога! — и послышались отдаленные раскаты. Впрочем, мы ехали благополучно. Мы прибыли на Потсдамский вокзал точно по расписанию, и я еще раз убедился, что вокзал не разрушен, несмотря на сообщение английского радио. Здесь я увидел некоторое количество легко раненых солдат, главным образом летчиков, которые выходили из специального вагона, прицепленного к нашему составу. По характеру их перевязок можно было предположить, что ранения их являются результатом ожогов. Моё внимание привлек также санитарный поезд, причем такого длинного состава мне еще никогда не приходилось видеть. Он тянулся на полмили от вокзала к мосту над Ландверским каналом. В поезде шла уборка, — очевидно, раненых выгрузили ночью. Санитарные поезда немцы обычно разгружают по ночам, чтобы без нужды не расстраивать население зрелищем мрачных последствий столь славной войны. Меня удивило: откуда столько раненых, если вот уже три месяца, как на Западе нет боев? На вокзале было мало носильщиков и, оживля их на перроне, я разговорился с железнодорожным рабочим. Он рассказал мне, что большинство раненых, прибывших этим санитарным поездом, — пострадавшие от ожогов.

Неужели рассказы, слышанные мной в Женеве, все-таки имеют под собой какую-то реальную почву? Суть же этих рассказов сводилась к тому, что во всех случаях — и когда немцы пытались совершать значительными силами рейды на английском побережье, и когда они осуществля-

ли пробные выходы в море у французского побережья — англичане задавали им жестокую трепку. В Швейцарию доходили из французских источников слухи о том, что много немецких судов и барж, вместе с большим количеством германских войск, потоплено, и что англичане будто бы выпустили новый вид торпеды, управляемой по радио (по словам швейцарцев, это швейцарское изобретение). Такая торпеда будто бы распыляет горящую нефть по воде и поджигает неприятельские баржи. Отсюда и множество обожженных немецких военных, которых я наблюдал сегодня утром на вокзале.

Сегодня вечером Риббентроп неожиданно выехал в Рим. О причинах толкуют разное. Мое предположение: Риббентроп поспешил к Муссолини с вестью о том, что нынешней осенью попытка вторжения в Англию не состоится. Это, конечно, поставит Муссолини в пиковое положение, так как он уже начал наступление на Египет и прошел сто миль по пустыне в сторону Сиди-Барани. Но все это итальянское наступление замыслилось исключительно с целью отвлечь внимание англичан от вторжения немцев в Англию. Между тем дело как будто принимает такой оборот (хотя я все еще думаю, что Гитлер попытается напасть на Англию), что зимой война перекинется в бассейн Средиземного моря, и державы оси попытаются нанести сокрушительный удар Британской империи захватом Египта, Суэцкого канала и Палестины. Наполеон в свое время пытался осуществить тот же замысел, но Британской империи он все же не сокрушил. Задумав напасть на Англию, он сконцентрировал свои суда и баржи там же, где и Гитлер, но так и не отважился довести до конца свою затею. Однако в наши дни потеря Суэцкого канала могла бы оказаться роковой для Британской империи. Гитлер потому и держит при себе в Берлине подручного Франко — Серрано Суньера, что хочет заставить Франко либо самого занять Гибралтар, либо пропустить для этой цели находящуюся во Франции германскую армию. Здесь много говорят о том, что при разделе Африки между Германией и Италией Франко только в том случае получит солидную долю, если Испания примет участие в гитлеровской игре.

За время моего отсутствия на Берлин был сделан один единственный налет. Пять миллионов берлинцев не успевают слушая вылетать, и слова готовы верить любому вымыслу. Они и в самом деле думают, что английские самолеты не могут пролетать к городу. Черчилль совершает ошибку, не посылая самолетов на Берлин. С поддесятью машинами каждую ночь — и цель была бы достигнута, так как берлинцы вынуждены были бы забыть о сне, бегать среди ночи в бомбоубежища. Если бы англичане посещали нас ночь за ночью, душевное равновесие берлинцев сразу нарушилось бы. Мне не раз приходилось слышать жалобы на то, что в результате бессонных ночей и растущей нервозности падает производительность труда не только у рабочих военной про-

мышленности, но и у правительственных чиновников. У англичан не хватает самолетов, чтобы превратить Берлин в развалины, но у них, несомненно, достаточно машин, чтобы пять-шесть штук ежедневно появлялось над Берлином и подрывало моральное состояние населения одного из важнейших центров страны. Неужели англичане шадят Берлин, в надежде добиться этим прекращения ужасающих бомбардировок Лондона? Было бы очень глупо рассчитывать на это.

Берлин, 20 сентября

Еще один роскошный образчик нацистского лицемерия. В первоначальном тексте обеих моих сегодняшних передач я писал, что немецкая печать и радио широчайшим образом спекулируют сообщениями из Нью-Йорка о том, будто английская цензура решила запретить иностранным корреспондентам в Лондоне передавать сообщения о воздушных бомбардировках во время самих налетов. Германское министерство пропаганды ухватилось за это известие и через свои коротковолновые радиостанции, а также через агентов по обслуживанию иностранной печати, пыталось уверить мир, что отныне Америка будет лишена достоверных сведений из Лондона. В очередной передаче я мимоходом отметил, что в Берлине такого рода цензурные ограничения введены были еще раньше. Мои цензоры безжалостно вычеркнули это место.

Я все задаю себе вопрос: чего ради я остаюсь здесь?

Первые восемь месяцев войны здешняя цензура была довольно снисходительна. Во всяком случае, Севарейду и Гарнидну гораздо больше доставалось от придирок парижских цензоров. Но по мере того как война принимает все более серьезный и мрачный характер (в особенности, со времени оккупации Норвегии), цензурные строгости стали непрерывно возрастать. За последние несколько месяцев я то и дело пытался с помощью всевозможных уловок обойти цензуру, чтобы подчеркнуть какой-нибудь факт или намекнуть на лживость какой-нибудь официальной версии: я то пускал в ход различные интонации, то выдерживал необычно длительные паузы, то прибегал к американизмам, смысл которых, как мне казалось, мало уловим для большинства немцев, изучавших английский язык в Англии, то обыгрывал, насколько только возможно, важное слово, фразу, суждение, абзац или их сопоставление. Но нацисты одолели меня. Вот уже несколько времени, как министерство пропаганды приставило ко мне двух цензоров, владеющих американским не хуже меня. Один из них — это профессор Лессинг, долго работавший в одном из американских университетов, а другой — некто Крауз, бывший в течение двадцати лет совладельцем одного из банков на Уолл-стрит. Их не очень-то проведешь! Сами по себе — это почтенные и интеллигентные немцы, так же как и капитан Эрих Куисте, прежде ведавший программным отделом австрийского ра-

сговещения, а теперь — мой главный личный цензор. Но они вынуждены делать то, что им приказывают. Кроме того министерство иностранных дел и министерство пропаганды получают донесения в США, — не только из вашингтонского консульства, но и от своей прекрасной организованной контрразведки, раскинувшей свою сеть по всей территории США, — о том, что я будто бы пользуюсь своим шифром (что не соответствует действительности) и что меня надо обуздать. Доктор Курт Сел, нацистский агент в Вашингтоне, в обязанности которого, между прочим, входит доносить Берлину о содержании наших передач, несколько раз давал неблагоприятный отзыв о характере моих выступлений. У меня нет ни малейшего интереса оставаться здесь, если я и впредь лишен буду возможности посылать достаточно точные корреспонденции. А между тем с каждым днем они, под нажимом цензуры, становятся все менее и менее правдивыми. Сегодня я впервые заметил, что, пока я говорил, один из молодчиков, который регулирует мой график (он вызывает Нью-Йорк к передатчику, когда подходит время моего выступления и следит по рукописи, в какой мере то, что я говорю соответствует зашифрованному цензурой тексту), испещрял текст моего выступления забавными штришками, какими мы обычно размечали в школе отдельные слоги, когда учились скандировать стихи. Он, как мне кажется, пытался отмечать слова, которые я подчеркивал, произносил с неуместным сарказмом и т. д. Я был так озадачен этим открытием, что остановился посреди своей передачи, чтобы наблюдать за ним.

Берлин, 21 сентября

Х, сегодня зашел ко мне в «Адлон». Мы выключили телефон, удостоверились, что никто не подслушивает за дверью смежной комнаты, и он рассказал мне сенсационную историю. По его словам, гестапо систематически ликвидировало душевнобольных в Германии. Наци называют это сублиетвом из милосердия. Пастор Бодельшвинг, директор крупного госпиталя для слабоумных детей в Веттеле, несколько дней назад был арестован за отказ выдать тайной полиции наиболее серьезных больных. Через некоторое время именно его больница будто бы подверглась «английской» бомбардировке. Надо заниматься этим делом и докопаться до истины.

Берлин, 22 сентября

Нам стало известно, что Гиммлер уже повесил без суда одного поляка за полую связь с немкой. Нам стало также известно, что по крайней мере с полдюжину немецких женщин приговорено к длительному тюремному заключению за то, что они были недостаточно суровы с польскими военнопленными и батраками. Мне рассказывали, что в провинциальных городах даже расклеены на видных местах соответствующие плакаты: власти предупреждают от какого то ни было общения с польскими батраками и предни-

сывают не давать им пощады. На прошлой неделе местное бюро «Союз немцев за границы» распространило по всему Берлину листовку, направленную против братания с поляками — военнопленными или батраками. Вот несколько выдержек из этого документа:

«Немцы! Никогда не забывайте, что зверства поляков против немецкого населения заставляли фюрера прибегнуть к вооруженной силе для защиты интересов нашего народа!.. Угодливость поляков перед их немецкими хозяевами — это только коварная маска: под их дружелюбием скрывается предательство. Помните, что между немцами и поляками никогда не было и не будет ничего общего! Берегитесь каких бы то ни было связей с ними на почве общей веры!.. Наши фермеры могут подумать, что, если поляк приветствует их словами: «Да будет благословен Иисус Христос!», то это уже порядочный человек. Но с их стороны было бы ошибкой, если бы они ответили: «Во веки веков, аминь!»

«Немцы! Поляк никогда не может быть нам товарищем! Он ниже любого немца, будь то на ферме или на заводе. Будьте справедливы, как это свойственно немцам, но никогда не забывайте, что вы принадлежите к расе господ!»

Я обратил внимание на то, что поляки, работающие в Германии, обязаны носить нарукавную повязку или прикрепленную к груди эмблему в виде большой буквы «П», вышитой красными нитками по желтому полю. В оккупированной части Польши такой же знак, но только помеченный буквой «И», обязаны носить евреи.

П о з ж е

Риббентроп вернулся из Рима, и вся пресса полна намеков на то, что там будто бы уже намечена «финальная фаза» войны. Если верить Рудольфу Кирхнеру, редактору «Франкфуртер цейтунг», военная ситуация сложилась настолько благоприятно для стран оси, что Риббентроп и дуче занимались главным образом обсуждением планов «нового порядка» в Европе и Африке. Может быть, это несколько и поднимает общее моральное состояние немцев, но большая часть моих немецких знакомых все же начинает выражать недоумение по поводу того, что десант в Англию так и не состоялся. Они всё еще верят, что война будет окончена к рождеству. Но две недели тому назад они точно так же были уверены, что война кончится до наступления зимы, которая не за горами. Пока что я выиграл все мои пари, заключенные с нацистскими чиновниками и журналистами насчет того, когда знамя со свастикой взлетит над Трафальгарской площадью. Шампанского, которое получу или мог бы получить с них, хватило бы мне на всю зиму. Сегодня, когда я предложил некоторым из них еще одно маленькое пари, которое позволило бы им отыграть хотя бы часть шампанского, никто из них не воспринял этого как шутку, но и пари тоже никто не принял.

Немецкие корреспонденты сообщают се-

годня из Рима, что Италия недовольна Грецией и что Англия нарушила морской нейтралитет Греции, повторив опыт, ранее продолженный с Норвегией. Это звучит зловеще. Полагаю, что Греция на очереди.

Берлин, 23 сентября

Вчера вечером заглянул один из давних немецких знакомых. Он теперь в Люфтваффе, принадлежит к экипажу одного из ночных бомбардировщиков и в течение последних трех недель принимал участие в налетах на Лондон. У него нашлось для меня несколько интересных подробностей.

1. Прежде всего он потрясен размерам Лондона. Он и его товарищи по оружию громили этот город три недели подряд, и их поражает, что так много зданий осталось еще нетронутыми. Перед вылетом им часто говорили, что они легко найдут предназначенные им объекты по огромным пожарам, охватывающим сплошь целые кварталы площадью в квадратную милю и больше. А когда они прилетали в Лондон, то никаких сплошь горящих кварталов не обнаруживали, и только кое-где виднелись очаги пожаров.

2. Он рассказывает также, что германские летчики приближаются к Лондону на высоте в 15—16 тысяч футов, над самым городом снижаются до 10 тысяч футов и с этой высоты бросают бомбы. Это, конечно, слишком высоко для точного прицела в ночное время. Они не отваживаются опуститься ниже 7 тысяч футов из опасения наткнуться на загадательные аэростаты. Огонь зениток в районе Лондона залает им, как он выражается, «взрядного жару».

3. Экипажи ночных бомбардировщиков утомлены. Они перегружены работой. Командование Люфтваффе рассчитывало разгромить английскую авиацию в дневных операциях, так же как это ему удалось в отношении поляков, голландцев, бельгийцев и французов, и поэтому не уделяло достаточного внимания подготовке летчиков к ночной работе. Мой сребселник проговорился также, что у экипажей в настоящее время бывает лишь четыре летных ночи в неделю. В отличие от доктора Геббельса, пропагандистская машина которого вбивает в голову немцам, что английские летчики либо трусы, либо звери, мой друг откровенно признался, что немецкие летчики с величайшим восхищением относятся к своим английским противникам и уважают их за отвагу и мастерство.

4. Он подтверждает, что английские бомбардировщики по ночам адеки бомбят французское и бельгийское побережье. Налетая по ночам, они часто обстреливают германские базы из пулеметов в моменты вылета или приземления немецких машин.

5. Он утверждает, что Геринг действительно летал над Лондоном. Об этом представители иностранной печати были осведомлены, но так как германские газеты его замолчали, то мы отнеслись в этом сообщении с недоверием.

6. Он говорит, что англичане построили много ложных аэродромов, уставленных

деревянными самолетами; однако немцы большую часть их уже обнаружили.

7. Он утверждает, что немецкие бомбардировщики возвращаются после полетов над Англией на разные базы — редко на ту, с которой они вылетели. Бомбардировщики вылетают с разбросанных на широком пространстве аэродромов во Франции, Бельгии и Голландии, но всегда по строгому расписанию, чтобы избежать столкновения в темноте. Точный курс обратного полета всегда заранее предписан, так чтобы возвращающиеся самолеты не столкнулись с вылетающими. Мой информатор дал интересное объяснение большого поражения немцев при дневном налете на Лондон в прошлое воскресенье, во время которого, по английским данным, было сбито 185 самолетов, главным образом бомбардировщиков. По его мнению, немцы на этот раз допустили ошибку в расписании: немецкие истребители, которые должны были прикрывать бомбардировщиков, в установленное время вышли к английскому побережью, но там не оказалось никаких бомбардировщиков. Прождав двадцать пять минут, они вынуждены были лететь обратно, так как горючее было на исходе. Когда же бомбардировщики все-таки явились, то оказались без прикрытия, и английские истребители собрали богатую жатву.

8. По его словам, германские ночные бомбардировщики действуют эскадрильями в составе семи самолетов каждая.

Он настойчиво твердит также, что любая из германских военно-воздушных без сообщает точные данные о своих потерях и что всякие манипуляции над цифрами протельваются либо в штабах, либо в Берлине.

Он подтверждает, что пока германской авиации не удалось еще достигнуть превосходства в воздухе над Англией, хотя во время моего пребывания на побережье Ламанша пять недель назад немцы говорили, что это вопрос каких-нибудь десяти — пятнадцати дней.

Во всяком случае, несомненно, что вот уже около двух недель, как немцы отказались от дневных налетов на Англию в сколько-нибудь крупных масштабах и перешли к ночным бомбардировкам. Это уже само по себе — признание поражения.

Берлин, 24 сентября

Англичане хорошо поработали над Берлином прошлой ночью. Они бомбили основательно, с превосходной точностью, ровно четыре часа. Их бомбы угодили в несколько важных предприятий северной части города, в крупный газовый завод и железнодорожные пути к северу от Штетинского и Лерттерского вокзалов.

Но мы не могли сообщить об этом. Власть утверждает, что военные объекты не пострадали, а министерство пропаганды, у которого в связи со вчерашними разрушениями вдруг разыгралась неря, предупредило всех корреспондентов, что они могут передавать лишь информацию, исходящую от военных властей. Под тем предлогом, что у нас нехватит времени осмотреть все как следует, геббельсовское

ведомство отменило даже обычный тур по городу, который мы совершали раньше после каждого налета под бдительным оком начальства.

Германская печать и радио никогда не стали так нагло по поводу налета, как сегодня. Даже флегматичные берлинцы, судя по их разговорам, озадачены враньем собственных газет. Официальные сообщения гласит: «Несмотря на сильный огонь зенитных орудий, нескольким английским бомбардировщикам удалось достигнуть дешлой почтой северных и восточных окраин Берлина и сбросить некоторое количество бомб. То обстоятельство, что бомбы упали вдали от военных и промышленных объектов, является новым доказательством того, что английские летчики преднамеренно бомбардируют жилые кварталы города. Военные объекты не пострадали».

Даже верховное командование, которому многие немцы до сих пор еще верят, повторило эту ложь в своем ежедневном коммюнике. Сотни тысяч жителей северной окраины Берлина, которым пришлось сегодня три раза высаживаться из поездов и которых автобусами перевозили через три участка одной из главных железнодорожных линий, где пути разрушены английскими бомбами, были несколько озадачены тем, что они прочли в газетах.

Англичане дважды чуть-чуть было не взорвали эстакадную окружную железную дорогу, проходящую с запада на восток через центр Берлина. Оба раза бомбы упали в нескольких ярдах от путей, повредив соседние дома. По этой линии ходит не только множество пригородных электропоездов, но и большое число пассажирских поездов дальнего следования. Это наиболее важная дорога в пределах города. Развалины зданий загроздили путь, и ночью движение было прервано, но сегодня оно уже восстановлено.

Сержанто Суньер, шурин Франко и испанский министр внутренних дел, только что вернувшийся из поездки на западный фронт, поспел в Берлин как раз вовремя, чтобы впервые испытать здесь, что такое английский налет. Это может иметь свою выгодную сторону. Мы, иностранные журналисты, ясно представляли себе, что могло бы произойти, если бы дело обстояло иначе. Мы представляли себе, как Суньер возвращается в Мадрид и как Франко, на которого как Берлин, так и Рим нажимают изо всех сил, чтобы втянуть его в свою игру, спрашивает его: «Ну, как там насчет британских налетов на Берлин?» А Суньер отвечает: «Налеты? Какие налеты? Никаких налетов я не видел. Я пробыл в Берлине десять дней, и за это время англичане ни разу даже не добрались туда. С Англией покончено, кау-диальо. Теперь самое время для Испании получить свою долю добычи».

Гейббельс и куча других «светил» нацистской партии чествовали Суньера обедом в «Аллонге», когда началась бомбардировка. Банкет был неожиданно прерван как раз перед десертом, и все присутствующие удрали в просторное бомбоубежище «Аллонга», рядом с парикмахерской. Разош-

лись они оттуда только в четыре часа утра, как раз когда я возвращался с радиостанции.

Как я узнал, во вторник сюда приезжает Чиапо. Между Берлином и Римом идут переговоры об окончании африканской кампании этой зимой и о разделе Черного континента. Но сначала они должны быть уверены в поддержке Испании. Поэтому они настаивают, чтобы Франко либо сам взял Гибралтар, либо позволил взять его немцам.

Берлин доволен тем, что французы, которые фактически отдали японцам Индо-Китай без всякого сопротивления и что ни день безропотно делают новые уступки державам оси, сегодня открыли огонь по де Голлю и англичанам, которые пытаются овладеть Дакарком.

Вчера, во время ночной бомбардировки, я вспомнил, что лучшее бомбоубежище в Берлине у Адольфа Гитлера. Специалисты утверждают, что он там в совершенной безопасности. Бомбоубежище находится на большой глубине, защищено железными балками, сильно забетонировано и оборудовано собственной вентиляционной и осветительной системой. В нем имеется специальная киноустановка и демонстрационный зал. Если английские бомбы вдребезги разнесут канцлерский дворец, отрезав таким образом все нормальные выходы из убежища, то фюрер и его ближайшие соратники все же смогут благополучно спастись через один из туннелей, которые разными путями приводят к выходам, расположенным на расстоянии нескольких сот ярдов. В убежище устроены также просторные спальни — весьма важное удобство, отсутствующее в большинстве убежищ: бессонные ночи изводят немцев гораздо сильнее, чем английские бомбы.

Если у Гитлера самое лучшее бомбоубежище в Берлине, то у евреев — худшее, а во многих случаях они и вовсе лишены его. Как правило, еврейские убежища отделены от прочих. Обычно это тесная конура, выделенная из общей площади подвала, служащего для укрытия «арийцев». Но большинство берлинских убежищ состоит только из одного помещения, которое отводится только «арийцам». Евреям приходится искать убежища в первом этаже, обычно на площадке, ведущей от дверей квартиры к лифту или лестнице. Здесь достаточно безопасно в тех случаях, когда бомба попадет в крышу — тогда мало шансов на то, чтобы она проникла в первый этаж. Но опыт показал, что это самое опасное место в целом здании, если бомба падает на улице, вблизи дома. Тогда именно там, где укрываются евреи, наиболее ощутителен удар взрывной волны: сюда же попадает и наибольшее количество осколков.

Берлин, 25 сентября

Доктор Вемер, редактор ипострастной печати в министерстве пропаганды, в общем типичный наци, — хотя он леглуп и много путешествовал и придает особое значение таким нацистским благодеяниям, как предоставление корреспондентам

там дополнительного питания. Если путь к сердцу корреспондента ведет через его желудок, то Геббельс энергично пытается этот путь найти. Прежде всего он относит нас к категории «занятых тяжелой работой», другими словами, мы получаем двойной рацион мяса, хлеба и масла. Раз в две недели по вторникам, после нашей пресс-конференции, мы обычно выстраиваемся в очередь за карточками на добавочное питание. Более того, Геббельс не только разрешает нам, но и поощряет получение из Дании дорого стоящих и оплачиваемых в долларах продовольственных посылок. Эти посылки — спасительная вещь. Благодаря им я имею четыре-пять раз в неделю ветчину и яйца на завтрак. Обычно я не ел к завтраку ветчины и яиц, но при перепешных скучных военных пайках такого рода пища дает зарядку на целый день. Еще до начала западной кампании я получил из Голландии запас кофе, которого мне хватит на полгода. Одним словом, мы, корреспонденты, не очень-то страдаем от рационирования военного времени. Продовольствия у нас вдоволь. И немцы стараются получить снабжать нас не из любви к нам, а из расчета — и, пожалуй, они правы, что на полный желудок мы будем больше расположены к ним, — ведь в конце концов мы только люди.

Более того, министерство пропаганды и министерство иностранных дел, у которых есть немало поводов для конкуренции между собой, наперебой соперничают друг с другом в деле оборудования лучшего клуба для иностранной прессы. Риббентроповское учреждение на Курфюрстендаме пока превосходит по своей роскоши геббельсовский клуб на Лейпцигерштрассе. Но, говорят, что «доктор» уже ассигновал несколько миллионов марок на модернизацию «своего» клуба и собирается переплывать Риббентропа. Я имел обыкновение несколько вечеров в неделю ужинать в геббельсовском клубе, который мне больше по пути; да и перспектива настоящего бифштекса и настоящего кофе тоже немалое искушение. Кроме того, там самое подходящее место для того, чтобы поболтать с нацистами и прощупать их мысли, если у них вообще в голове что-нибудь имеется. Но после гнусного германского нападения на Голландию и Бельгию, я туда больше не хожу; немотогу мне перебаривать нацистских сановников вместе с обедом.

Если мы питаемся хорошо, то это не значит, что и немецкий народ хорошо питается. Оккупация Дании и Голландии привела к временному расширению запасов овощей и молочных продуктов, но то, что Германия не в состоянии поставлять корма в эти страны, создает для нее новые затруднения в области продовольствия. Нет никаких сомнений, что немцы разграбили все наличное продовольствие в Скандинавских странах, Голландии, Бельгии и Франции, хотя правда, они предложили за него плату — в бумажных марках, которые ровно ничего им не стоят. В факте грабежа сомневается толь-

ко один человек — представитель мистера Герберта Гувера в Берлине.

Основной вывод тот, что скажем, в ближайшие два или три года Англии не удастся взять немцев измором. И Гитлер никогда не отличавшийся особенной чувствительностью по отношению к другим народам, постарается, чтобы сотни миллионов людей в оккупированных странах умерли с голоду прежде, чем умрет от голода хоть один немец. В этом мир может быть уверен.

Берлин, 26 сентября

Нацистский комиссар в Осло, «гаулейтер» Тербовен, вчера вечером внезапно известил по радио норвежский народ с суровой участи, которая ждет норвежцев. Гаулейтер объявил: 1. Норвежский королевский дом потерял свое политическое значение и никогда больше в Норвегию не вернется. 2. То же самое относится к эмигрировавшему правительству Ньюгаардсвольди. 3. Поэтому всякая деятельность в пользу королевской династии или бывшего правительства запрещается. 4. Для ведения правительственных дел назначается, согласно декрету Гитлера, комиссарский совет. 5. Старые политические партии немедленно распускаются. 6. Никакие объединения, имеющие целью политическую деятельность любого характера, не будут дозволены.

Вот что стало с Норвегией. Все что в ней было достойного, все ее демократические учреждения, — все это уничтожено. Германия еще раз показала, что править кем бы то ни было она не может и не способна. Теперь во всех оккупированных странах немцев остро ненавидят. Ни один уважающий себя норвежец или голландец не желает иметь с ними ничего общего.

Выступление гаулейтера по радио — превосходный образчик немецкой бестактности. Он сказал норвежскому народу, что тщетно пытался сговориться со старыми политическими партиями. Они цепляются за власть, «не обращают внимания» на его предостережения, и ему остается одно: ликвидировать их. В заключение он объявил норвежцам, что у них, как стало теперь совершенно ясным, был всегда только один путь — путь квислинговского движения, и в будущем немцы не потерпят никакой другой партии, кроме партии Квислинга. Другими словами, ничтожный, жалкий, презираемый поголовно всеми норвежцами предатель отныне будет единственным, кто посмеет подавать свой голос в вопросе о будущем Норвегии. — Поскольку вообще норвежцу будет разрешено обсуждать такие вопросы.

Не требуется особой дальновидности, чтобы понять следующие: власть, которую устанавливают теперь немцы на оккупированных ими территориях, власть грубой силы никоим образом не может быть долговечной. Несмотря на всю военную и полицейскую мощь, которой немцы безусловно обладают, нельзя править европейскими народами, если они ненавидят и

презирают своих иноземных правителей. Поэтому гитлеровский «новый порядок» в Европе можно считать обреченным еще до того, как окончательно он установился. Наци, никогда не дававшие себе труда изучать европейскую историю, движимые лишь примитивным германским племенным инстинктом завоевания и не задумывающиеся о возможных последствиях, воображают, что благополучно вышли на путь установления в Европе «нового порядка» под вековечным владычеством Германии и для выщего ее блага. Их план, рассчитанный на много лет вперед, состоит не только в том, чтобы навсегда разоружить покоренные европейские народы, лишив их этим возможность восстать против своих германских хозяев, но и экономически поставить их в такую зависимость от Германии, чтобы они могли существовать только с соизволения Берлина.

Таким образом, оснащенная высокой техникой тяжелая промышленность, пока еще существующая в славянских странах, будет сконцентрирована в Германии. Славянские народы, согласно этому плану, будут производить сырье, чтобы питать заводы и продовольствие, чтобы питать своих владык. В основном, славянские страны повернутся в аграрные и горнодобывающие округа, поставленные в полную зависимость от Германии и выполняющие ту же роль, что в наше время выполняют балканские страны для всей Западной Европы.

Угнетенные европейские народы будут, разумеется, спасены, если Англия устоит и в конечном счете выиграет войну. Но даже если бы войну выиграла Германия, она потерпит поражение в борьбе за организацию Европы. Немцы, я глубоко в этом убежден, прожив с ними бок о бок много лет, не способны организовать Европу. Отсутствие меры, разнузданный садизм, когда они у власти, природная неспособность хотя бы приблизительно понять, что делается в умах и сердцах других народов, слепая уверенность, что отношения между народами могут быть только отношениями хозяина и раба, я никак не строятся на основе равноправия, на основе принципа «живи и живи давай другим» — все эти характерные особенности немцев делают их непригодными к руководящей роли в Европе, которой они всегда помогали: совершенно ясно, что все их попытки в этом направлении обречены в конечном итоге на провал.

Берлин, 27 сентября

Гитлер и Муссолини состряпали еще один скупириз.

Сегодня в час дня в канцлерском дворце Японии, Германия и Италия подписали договор о военном союзе, направленном против Соединенных Штатов. Я раньше думал, что Чинано приехал сюда сигнализировать испанцам, что де им пора вступать в войну. Это было ошибочным предположением. Скупир даже не присутствовал на сегодняшнем спектакле, поставленном и разыгранном фашистами Европы совместно с фашистами Азии.

Я понял, в чем дело сегодня утром, увидев процессию школьников, которые шли по Вильгельмштрассе с развевающимися японскими флагами. Так как па два часа дня была назначена моя передача, а корреспонденты были приглашены в канцлерский дворец на час дня, я попросил Гартриха присутствовать на церемонии для репортажа. С радиостанции я следил за ней в эфире.

Важнейшей статьей пакта является статья третья. Она гласит: «Германия, Италия и Япония обязываются помогать друг другу всеми политическими, экономическими и военными средствами, если одна из трех договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны державы, в настоящее время не участвующей в европейской войне или в китайско-японском конфликте».

Есть две великие державы, еще не вовлеченные ни в одну из этих войн: Россия и Соединенные Штаты. Но статья 3-я к России не относится. К России относится статья 5-я. Она гласит: «Германия, Италия и Япония утверждают, что вышеприведенные статьи никоим образом не касаются политического статуса, который существует в настоящее время между каждой из трех договаривающихся сторон и Советской Россией».

Итак, не о Советском Союзе речь. Значит, это относится только к Соединенным Штатам. В здешних кругах незаметно ни малейшего поползновения замаскировать эту очевидную истину, хотя, как я и ожидал, мои цензоры пытались помешать мне сказать об этом, и мне пришлось всечески хитрить, чтобы вpleсти это в мои передачи. Было бы, конечно, и честнее и правильнее сказать прямо и резко, что союз направлен против Соединенных Штатов и что наци этого даже не скрывают, и все-таки мне пришлось полбавить в это утверждение водички, после чего оно превратилось в нижеприведенную изящно закругленную вступительную фразу: «В осведомленных кругах не пытаются скрывать тот факт, что военный союз, заключенный сегодня в Берлине... имеет в виду некую великую державу. Эта держава — Соединенные Штаты».

Спрашивается: почему Гитлер, вдохновитель и инициатор этого союза, поспешил оформить его именно теперь? Я объясняю это так. Недели две тому назад Риббентроп внезапно выехал в Рим с поручением сообщить Муссолини, что вторжение в Англию, которое Гитлер, выступая всего лишь несколько дней тому назад, обещал немцам в самом ближайшем будущем, — что это вторжение в первоначально запланированные сроки состояться не может. Между тем Муссолини начал уже наступление на Египет, рассчитывая, что оно будет проходить параллельно со вторжением немцев на Британские острова и вынудит англичан разделить свои силы. К более серьезным усилиям со своей стороны Муссолини не готовился. Как известно, Риббентроп оставался в Раме дольше, чем предполагалось. Дуче, без

сомнения, был расстроен отказом от столь многообещающего вторжения в Англию, так как верил, что оно положит конец войне, а ведь Италия только потому и вступила в войну, что считала ее почти законченной. Что оставалось делать державам оси? Само собой напрашивалось решение: зимой нанести удар в сердце Британской империи, то есть завоевать Египет, захватить Суэцкий канал, затем заграбастать Палестину, Ирак, где под рукой была бы столь возделанная нефть, и по возможности итти дальше по Евфрату, завладеть персидскими нефтерожденными или по крайней мере обслуживающей их экспортной базой в Персидском заливе. Германия могла бы снабдить горючим тысячи самолетов и танков, несколько полных бронедивизий, которые она собирает для нападения на Англию. Если понадобятся, будут оккупированы Югославия и Греция (Италия навсегда завладеет Далмацией), и Южная Греция будет использована как база для немецкой авиации, действующей против Египта и британского флота в Средиземном море.

Чтобы обеспечить полный и своевременный успех кампании, надо было втянуть Испанию, заставить ее немедленно захватить Гибралтар и таким образом подорвать положение Британии в западной части Средиземного моря. Сержант Суньер, зять Франко, министр внутренних дел и лидер фалянгистов, был в Берлине. Он лично склонялся в пользу этого плана, и только Франко, этот неблагодарный Франко, колебался. Ведь англичане, повидимому, думал он, еще не побиты, и...

Оставался второй фактор — Соединенные Штаты.

В Берлине этот фактор до недавнего времени не особенно принимался в расчет. Прошлой осенью Геринг издевался над предположением, что американская помощь союзникам может сыграть какую-нибудь роль в этой войне. В течение всего лета, когда немецкая армия быстро двигалась на запад, Берлин верил, что война закончится осенью и что поэтому американская помощь союзникам, которая могла бы стать по-настоящему действенной лишь весной 1941 года, не должна беспокоить Германию. Повидимому, этот взгляд держался здесь до самого недавнего времени. В последние две-три недели что-то разладилось, и вторжение в Англию не выгорело. Состоится оно или не состоится — неизвестно; вероятнее всего, состоится. Берлин несколько дней тому назад осенило, что и в том и в другом случае может быть в конце концов оказана, что Англия этой осенью еще не будет добита, что она продержится еще до весны, и тогда американская помощь, в особенности самолетами, начнет ощущаться очень серьезно. И вот надо что-то предпринять против США. Что именно? Нечто такое, что ударит по ним и даст возможность американским изоляционистам снова поднять крик об опасности войны.

В Японии несколько недель назад сформировалось новое правительство, возглав-

ляемое принцем Коноэ и провозгласившее «новую жизнь» и «новый порядок» в Восточной Азии. Принц — такой человек, с которым немцы поладят. Штамеру, доверенному лицу Риббентропа, которому обыкновенно поручалась обработка английских «миротворцев», было приказано позондировать почву. В результате — военный договор, подписанный с целью угрозыть Америке и удержать ее от вступления в войну. Насколько я могу судить об американском характере, никто на моей родине, за исключением уиллерсов, найесов и линдбергов, ни в какой мере этого не испугается. Эффект будет прямо противоположный тому, какого ожидают Гитлер и Риббентроп, всегда проявлявшие непонимание англо-саксонского характера.

Кроме того, превознося этот трехсторонний пакт до небес, державы оси, в первую очередь Германия, пытаются тем самым отвлечь внимание народа от того факта, что обещанное вторжение в Англию не состоялось и что война, завершения которой каждый немец ждал, начиная с середины лета, через месяц-другой, до наступления зимы во всяком случае не кончится.

Уже сегодня шумиха вокруг пакта приняла невообразимые размеры; весь остальной материал совершенно вытеснен с первых полос газет. Немецкому народу говорят, что пакт этот перевернет вселенную и принесет в недалеком будущем «всеобщий мир». Церемония подписания пакта, как ее описал Гартрич, присутствовавший на ней, проведена была с типичным для всех этих господ призрастием и театральным эффектом. Прежде всего полной неожиданностью явилось самое событие. Потом какая постановка! Вот Риббентроп, Чиано и японский посол Курусу, маленький застенчивый человек, входят в парадный зал канцлерского дворца, вспыхнули огни осветительных приборов, фото и кинорепортеры запечатлевают сцену для истории. Повсюду мундиры всех цветов и ведомств. Присутствует весь состав итальянского и японского посольств (других дипломатов не видно; русский посол был приглашен, но ответил, что в это утро его не будет в городе). Три высоких персоны сели за позолоченный стол. Риббентроп встает и знаком приказывает одному из своих рабов, доктору Шмидту, огласить текст договора. После этого они ставят на свои документы подписи. Кинокамеры работают во-всю. И, наконец, самый эффектный момент, или то, что наци считают таковым. Три громких удара в высокие двери. В громадном зале напряженная тишина. Японцы затаили дыхание. Двери медленно раскрываются, и в залу торжественно вступает Гитлер. Риббентроп вылезает вперед и почтительно докладывает, что пакт подписан. Великий хаи одобрительно кивает, но не благовоит обронить хотя бы словечко. Он величественно опускается в кресло, в центре стола, в то время как два министра иностранных дел и японский посол не знают, как и куда им теперь сесть. Кое-как разместившись, они по очереди вскакивают и по очереди произносят заранее приготовленные при-

встретия, которые радио разносит по всему миру.

Берлин, 5 октября

Смешно читать сегодня, как немецкие газеты сервируют бреннерскую встречу. Целые столбцы они заполняют вздорной болтовней о «мировом значении» встречи и не дают ни малейшей информации по существу дела. Вообще они не дают никакой информации! Но в этой «сталитарной» атмосфере, где слова потеряли всякий смысл, истиной становится то, что выдается за истину контролируемой и инспирируемой сверху печатью.

Заслуживающие доверия люди рассказывают, что бреннерская встреча была довольно бурной и что Муссолини изрядно пошумел. Итальянцы рассказывают здесь историю, вероятно апокрифическую, но отражающую действительное состояние итало-германской дружбы. Дуче будто бы спросил вчера фюрера, почему он отказался от мысли о вторжении в Англию. Гитлер уклонился от прямого ответа. Он ответил тоже вопросом:

— А почему вы, дуче, не сумели справиться с таким пустяком, как Мальта? Вы очень меня разочаровали.

И на что Муссолини будто бы возразил, хитро прищурив:

— Не забывайте, фюрер, что Мальта тоже остров.

Сегодня пошла пятая неделя широкого воздушного наступления Германии на Англию. И немцы очень раздражены тем, что англичане не желают признавать себя побитыми. Они не могут скрыть своей ярости против Черчилля за то, что он поддерживает в своем народе надежду на победу, вместо того, чтобы пасть ниц и слдаться, как делали до сих пор все противники Гитлера. Немцы не могут попать народа с характером и выдержкой.

Берлин, 8 октября

Немецкие газеты так часто повторяют, что германские налеты на Англию представляют собой лишь «репрессии» за бомбардировки вроде вчерашней, что здешнюю публику начинает уже тошнить, а немецкой публике и без того приходится глотать изрядные дозы рвотного. Рассказывают даже такой анекдот: рядовой берлинец, покупая свою десятипфенниговую вечернюю газету и вручая разносчику деньги, говорит: «А ну-ка, дай сюда на 10 пфеннигов репрессий». Интересно, кстати, отметить и то, как плохо теперь расходятся вечерние газеты. Взгляните на публику в метро или в автобусе в людные вечерние часы. Никто не читает газет. Эти медленно думающие и тупо-терпеливые немцы все же, мне кажется, начинают понимать, что газеты мало их осведомляют, и эта мизерная информация до такой степени пережрана с пропагандой, что самые факты искажаются в ней до неузнаваемости. Радионовости ничуть не лучше, и в последнее время я нередко замечаю, что немцы выключают радиоприемник через минуту-другую после начала передачи с выразительным берлинским: «Oh, Quatsch!».

Берлин, 30 сентября

Ночью была двухчасовая тревога, но мы ничего не слышали. Повидимому, англичане бомбардировали Бранденбург, к западу от столицы. Хотя ущерб от английских налетов пока невелик, власти, я слышал, распорядились эвакуировать из Берлина всех детей, моложе 14 лет.

Берлин, 3 октября

Повидимому, завтра состоится «неожиданная» встреча Гитлера и Муссолини в Бреннере. Гитлер уже покинул Берлин. Отъезд его окружен обычной таинственностью. Нам не разрешено сообщать об этом, так как передвижения Гитлера считаются военной тайной. (По распоряжению Гимmlера, штандарт фюрера развешивается над канцлерским дворцом даже в отсутствие «великого человека», так что никто об его отъезде не узнает.) Я ухитрился в заключительную часть моей сегодняшней почной передачи вкратить несколько слов об «ожидаемом назавтра событии, представляющем специальный интерес».

Берлин, 4 октября

Встреча в Бреннере состоялась сегодня около полудня. Официальное коммюнике не дает никакой информации о беседе и только упоминает, что при ней присутствовал Кейтель. Министерство иностранных дел предупредило нас: сами мы ничего не должны комментировать.

Между двумя державами осп., — думается мне, — возникли настолько глубокие разногласия, что Гитлер нашел целесообразным лично повидаться с дуче. Ведь за последний месяц Риббентроп побывал в Риме, и Чзано побывал здесь, так что между двумя номинальными руководителями иностранной политики не было недостатка в контакте. Одна из наиболее вероятных догадок — это то, что Муссолини недоволен отказом немцев от вторжения в Англию нынешней осенью, и тем, что немцы оставили его в дураках с наступлением в Египетской пустыне, где итальянская армия, успешная уйти вглубь на 75—100 миль, вынуждена возить за собой воду. Очевидно, Риббентропу не удалось успокоить итальянцев, и это пришлось сделать самому Гитлеру. Однако мы приняли бы желанная за действительность, если бы предположили, что сегодняшняя встреча дала только отрицательные результаты. Видимо, там обсуждались планы дальнейших военных действий и, может быть, принято решение нападением на Египет и Суэцкий канал серьезно потревожить Британскую империю в самом чувствительном для нее месте. Возможно, что Германия согласилась создать военные базы на Балканах в помощь этой кампании. Один из немецких планов, о котором здесь много говорят, заключается в наступлении на Турцию через Ближний Восток.

Это звучит сильнее, чем «какая бессмыслица!» Более близкий перевод: «чепуха, вздор, чушь!» будет, пожалуй, более точно.

Берлин, 15 октября

Я принял твердые решения по некоторым лично меня касающимся вопросам. В последнее время в военных кругах говорят, что Гитлер готовится к походу в Испанию с целью захвата Гибралтара, захочет или не захочет этого Франко, который бессилен этому помешать. Подобный ход событий лишил бы мою семью, жившую в Женеве, последних шансов на спасение. Единственный путь из Европы в Америку лежит теперь через Швейцарию, неоккупированную часть Франции, Испанию и Португалию. Лиссабон — единственный теперь на континенте порт, где можно сесть на пароход или самолет и добраться до Нью-Йорка. При неблагоприятном обороте событий я всегда могу уехать через Россию и Сибирь, но для двухлетнего ребенка это неподходящая авантюра. Нынешней зимой немцы, чтобы показать свою силу и зажать в кулак этих упрямых демократов-швейцарцев, отказываются продавать им даже те небольшие количества угля, какие необходимы для отопления жилищ. Кроме того, все по тем же гнусным побуждениям немцы разрешают ввозить в Швейцарию только очень скудные количества продовольствия. Жить в Швейцарии этой зимой будет очень трудно. Тэсс с большой охотой осталась бы в Женеве, но все же согласилась ехать в конце этого месяца. Я следую за ней в декабре. Думаю, что дальнейшее мое пребывание здесь бесполезно. До последнего времени, мне кажется, я еще мог, вопреки цензуре, давать из Германии честный репортаж. Но это становилось все труднее и труднее и, наконец, стало почти полностью невозможным. В последних инструкциях как военным, так и политическим цензорам предписывается выбрасывать все, что так или иначе может создать неблагоприятное представление о нацистской Германии в Соединенных Штатах. Более того, новые цензурные ограничения вынуждают либо давать совершенно искаженную картину воздушных налетов, либо вовсе не упоминать о них. Я обычно предпочитаю последнее, но это почти так же нечестно, как и первое. Скоро и совсем нельзя будет давать информацию о войне или об условиях жизни в Германии. Нельзя называть нацистов «нацистами» и вторжение «вторжением». Вам остается лишь составлять ваши радиопередачи из текстов официальных коммюнике, т. е. из сплошного вранья. Дошло до того, что один из наиболее интеллигентных и порядочных моих цензоров спросил меня по-дружески, чего ради я здесь торчу. У меня и впрямь нет ни малейшей охоты оставаться здесь при таких обстоятельствах. С моей глубокой, жгучей ненавистью ко всем идеям и делам нацизма мне всегда было невесело работать и жить здесь. Но это было не столь существенно, пока я мог выполнять свой про-

фессиональный долг. В Европе теперь личная жизнь не в счет, и у меня не было личной жизни с той минуты, как началась война. Но теперь даже и работы не осталось. Здесь ее делать нельзя.

Цюрих, 13 октября

Удивительно, какое облегчение чувствуешь всегда, как только оказываешься по ту сторону германской границы. Вылетел из Берлина сегодня в полдень. От Мюнхена до Цюриха мы летели на «Дугласе» с пилотом-швейцарцем. Слева от нас все время расстилалась великолепная панорама Альп. Пики и высокие горные цепи уже в глубоком снегу. Когда солнце стало спускаться к горизонту, снег окрасился в изумительные бледно-красные тона. В полудне от Мюнхена за нами погнались два немецких истребителя: негодян-летчики упражнялись на нас в пикировании. Три или четыре раза, пикируя, они почти задевали нас крылом. Меня даже в пот бросило, но ничего нельзя было поделать. У них были парашюты: у нас не было.

Вскоре густая облачность скрыла от нас землю. Я немного обеспокоился: доберемся ли мы до цюрихского аэродрома, окруженного высокими холмами? Потом мы нырнули в облака и скоро заметили, что заблудились, так как пилот покружив минут пять, снова поднялся над облаками и повернул назад на Мюнхен. Тут мы снова нырнули, на этот раз глубоко. Вдруг стало темно. Мысль, что нам, может быть, придется сделать вынужденную посадку в Германии, удручала меня: ведь всего лишь за несколько минут перед тем я так радовался, что не дышу больше воздухом «райха». Мы круто спикировали. Пилот сигнализировал, чтобы мы привязали себя к сиденьям. Я крепко ухватился за поручни сиденья. И тут из темноты показалось красное зарево над аэродромом, и знакомые верхушки крыш, и сияющий огнями город. Это не мог быть город затемненной Германии, это мог быть только Цюрих. Через минуту мы были на твердой земле. Пилот сделал безупречную слепую посадку в тумане.

Я сидел на вокзале в ожидании поезда на Женеву, потягивая хорошее красное вино и глядя на толпившихся в зале свободных швейцарцев, — зрелище, достойное внимания. Я испытывал чувство облегчения, но вместе с тем мне грустно было думать о предстоящем прощании с Женевой, о том, что еще один домашний очаг, который мы пытались построить, будет разрушен.

Женева, 23 октября

Тэсс и Эйлин выехали ранним утром в швейцарском автобусе, который после двух дней и ночей быстрой езды по неоккупированной Франции доставит их в Барселону, откуда они поедут поездом в Мадрид, затем в Лиссабон, а из Лиссабона пароходом на родину. Во Франции теперь поезда не ходят. Автобус — единственное средство сообщения, и мы должны считать себя счастливыми, так как более тысячи беженцев добиваются места в одном

из двух автобусов, отбывающих один раз в неделю в Испанию. Багажа можно провезти лишь небольшое количество, и вещи наши пришлось сдать на хранение. Автобусы компании «Американский экспресс» теперь не курсируют, так как в Пиренеях, между Францией и Испанией, размыты, говорят, все дороги. Наша же компания надеется, что все же удастся пробиться, и я разделяю эту надежду. Тэсс взяла с собой запасы провизии и воды для себя и ребенка, так как во Франции ничего достать нельзя. Девочка была в радостном возбуждении, когда автобус тронулся, а я радовался тому, что она еще так мала и не чувствует, не понимает трагедии людей, наполняющих машину: это были, большей частью, немецкие евреи; мысль, что французы задержат их и выдают Гимmlеру на пытки или же испанцы не пропустят, приводела их в состояние нервозности и страха, граничащего почти с истерикой¹. Если бы они могли попасть в Лиссабон, они были бы спасены, но Лиссабон был далеко.

Бетти Сарджент рассказала мне, что Роберт Делл умер в Америке. Это крупная фигура, старый представитель либерального английского журнализма. Я не знаю никого, кому еще были бы так дороги принципы справедливости, морали, дороги были бы мир и демократия, кто бы так любил жизнь, хорошую беседу, хорошую еду, вино и красивых женщин. Мне его будет нехватать.

Берн, 24 октября

Унылая, печальная поездка с Джо (Гарш) из Женевы. Мы выехали в полдень. С тяжелым сердцем смотрел я через окно вагона на Швейцарию, Женевское озеро, Монблан, зеленые холмы и мраморный дворец погибшей Лиги.

Мюнхен, 25 октября

Слепая посадка в густом тумане. Власти не разрешают нам продолжать полет в Берлин из-за плохой видимости. Я сажусь на ночной поезд. Все рестораны, кафе и пивные битком набиты дюжими заварцами. Я заметил, что приветствие «Хайль Гитлер!» совершенно вывелось у них из употребления.

Берлин, 27 октября

Эд Гартрич уезжает на родину через несколько дней, а я в первых числах декабря. Из Сен-Луи придет Гарри Флендери, который меня заменит.

Берлин, 28 октября

Классический пример того, как фашистская диктатура утаивает новости, если эти новости могут быть плохо приняты народом. Сегодня утром итальянская армия вступила в Грецию. Сегодня же утром Гитлер неожиданно приехал во Флоренцию и встретился с Муссолини для обсуждения этого последнего акта фашистской агрессии. В берлинских газетах крупные заголовки извещают о встрече во Флорен-

ции. Но ни единой строчки об итальянском вторжении. Мои осведомители сообщают, что несколько дней тому назад Геббельс распорядился исподволь подготавливать общественное мнение Германии к этому известию.

Ни слова от Тэсс со времени ее отъезда из Женевы. При том хаосе, который царит теперь в неоккупированной Франции и в Испании, можно ждать всяческих сюрпризов.

Берлин, 29 октября

Прошло уже двадцать четыре часа с момента наглого вторжения Италии в Грецию, а правительство еще скрывает эту новость от народа. Ни в утренних, ни в дневных газетах об этом ни одной строчки. Но Геббельс постепенно подготавливает население к этому известию. Сегодня утром он распорядился напечатать текст оскорбительного итальянского ультиматума греческому правительству. Это была почти точная копия ультиматума, который немцы предъявили Дании и Норвегии, а в дальнейшем и Голландии с Бельгией. Но ведь немецкий народ может спросить себя, что же случилось после ультиматума, раз срок его истек вчера утром.

Позднее

Новость была, наконец, преподнесена немецкому народу вечерними газетами в виде очередного итальянского военного коммюнике. И все. Да еще в прессе были тошнотворные передовицы с нападками на Грецию за то, что она не поняла «нового порядка» и вступила в заговор с англичанами против Италии. В какую политическую, идейную, моральную клоаку превратилась германская печать! После нескольких лет пребывания здесь меня все еще удручает это. Вот и сегодня — обычное геббельсовское жульничество. Газеты утверждают, что Греция не соблаговолила даже ответить на ультиматум, хотя на самом деле она ответила. Она его отвергла.

Немцы, конечно, без особого энтузиазма встретили это очередное бандитское деяние «оси». Военные круги, как всегда, пренебрежительно относятся к итальянцам, говорят, что вторжение в Грецию отнюдь не будет прогулкой для фашистских легионов. Гористая местность затрудняет операции моторизованных частей; кроме того, у греков, по словам военных, лучшая горная артиллерия в Европе. Генерал Метакса, нынешний греческий премьер, и некоторые греческие офицеры получили подготовку в Потсдаме.

Берлин, 31 октября

С приближением зимы становится ясно, что этой осенью германское вторжение в Англию не состоится. Почему? Что заставило Гитлера уклониться от основной цели своей стратегии? Почему нет больше речи об окончательной победе, о триумфальном мире. Как известно, в начале июня Гитлер был уверен, что к концу лета он добьется и того и другого. Ни он сам, ни его немцы не питали никаких сомнений на этот счет. Разве для великого парада победы все уже не было готово,

¹ Большинство из них было возвращено обратно с испанской границы.

не были построены и покрашены трибуны, декорированные свергающими гербами с орлом и свастикой и черносеребряными железными крестами под Бранденбургскими воротами?

В чем же загвоздка?

Полной правды мы еще не знаем. Но кое-что можно себе уяснить.

Прежде всего Гитлер в какой-то определенном момент заколебался, и эти колебания, возможно, явились столь же колоссальной оплошностью, как и нерешительность германского высшего командования под Парижем в 1914 году. Так обозначился некий поворот в ходе войны, которого пока еще никто из нас уловить не может; впрочем, определенно говорить о повороте еще рано. Французская армия перестала существовать 18 июня, в тот день, когда Петэн попросил о перемирии, многие из тех, кто последовал за германской армией во Францию, ожидали, что Гитлер сейчас же повернет и ударит на Англию, пока железо горячо, пока он и его превосходная военная машина окружены еще магическим ореолом непобедимости. Гитлер знал, что Англия шатается под обвалившимися на нее чудовищными ударами. Она потеряла своего союзника — Францию, — и только что вернулись с континента деморализованные остатки ее экспедиционной армии, которая оставила на побережье у Дюнкера свое дорогостоящее, незаменимое оружие и снаряжение. В ее распоряжении уже нет большой организованной, оснащенной сухопутной армии. Ее береговые укрепления ничтожны. Ее всемогущий флот не может сражаться большими силами в узких водах английского канала, где в воздухе господствуют бомбардировщики и «Мессершмитты» Геринга, оперативные базы которых находятся у самого моря.

Такова была ситуация 21 июня, когда Гитлер на одной из полянок Компьенского леса продиктовал Франции суровые условия перемирия. Я припоминаю теперь, хотя в свое время и не обратил на это должного внимания, что в период Компьена германские военные вожди как будто не очень-то спешили покончить с Англией. Гитлер (так представляется мне теперь, много времени спустя после событий, когда я сопоставляю отдельные обрывки разговоров, подхваченные то здесь, то там в Компьене или в Париже), я думаю, считал тогда, что, хотя готовиться ко вторжению надо быстро и по-настоящему, в самом осуществлении этой операции нет и не будет никакой необходимости. Черчилль и без того, мол, примет условия мира, которые австрийский проходимец уже состряпал. Это будет нацистский мир, он надолго изолирует Англию от европейского континента; возможно, это будет даже не мир, а только перемирие, передышка, во время которой Германия сбберет на континенте такие превосходящие силы, что Англия в конце концов придется склониться перед нацистским завоевателем без борьбы. Но так как Черчиллю этот

мир даст возможность «спасти лицо», то он примет его. Я думаю, что Гитлер действительно в это верил, и эта уверенность внесла элемент оттяжки и снижения темпов работы, связанные с подготовкой и концентрацией барж, необходимого количества пароходов, понтонов, всевозможных видов снаряжения.

Июль 1941 г.

Передышка могла быть использована также и для сведения счетов с Россией. Некоторые наблюдатели в Берлине были убеждены в конце июня 1940 г., что Гитлер серьезно стремится заключить мир с Англией (разумеется, на продиктованных им условиях), чтобы повернуть затем оружие против Советской России, давнишнего объекта его воцелений. Гитлер, по мнению этих наблюдателей, уверен был, что англичане сочувственно к этому отнесутся. К чему шло вся политика Чемберлена, как не к тому, чтобы двинуть германскую военную машину на восток, против России? Тот факт, что в последние дни июня и в первые три недели июля германские дивизии одну за другой отъезжали из Франции и спешно перебрасывали на «русский фронт», как обычно выражались немцы, повидному, это подтверждает. Однако полной достоверности тут быть не могло. Россия, — рассуждал Гитлер, — слаба, с ней можно подождать. В первую очередь важно смести с пути Англию. Но тут его мысль оказывалась, повидному, во власти самых отчаянных противоречий. Он ясно понимал, что германская гегемония на континенте, не говоря уже о господстве в Африке, немисляма, пока Англии принадлежит господство на морях и она располагает воздушными силами, которые непрерывно растут. Но с другой стороны, Гитлер не мог не знать, что англичане, как ни удручены, как ни подавлены они событиями в Франции и Нидерландах, никогда не согласятся на мир, ликвидирующий их морское могущество или подрезающий крылья у их воздушного флота. А ведь только такой мир Гитлер мог им предложить. И тем не менее, он видимо, верил, что Черчилль предпочтет этого сорта мир германскому вторжению.

Вполне возможно, что Гитлер ожидал от Черчилля почина в мирных переговорах. В чем, в чем, а уж в том, что его победили, англичане в конце концов разберется! Гитлер терпелив, он может подождать, пока эта истина не проникнет окончательно под толстые британские черепа.

Он ждал месяц. Всю последнюю упорительную неделю июня и первые три недели июля он ждал. В Берлине циркулировали слухи, что в Стокгольме установлен контакт между Берлином и Лондоном и идут переговоры о мире. Подтверждения мы не получили, по всей вероятности, это были пустые слухи.

19 июля Гитлер выступал в рейхстаге. Он публично, хотя и в завуалированной форме, предложил Англии мир. А то об-

стоятельство, что сессия была посвящена, главным образом, производству его виднейших генералов в фельдмаршалы, словно победоносная война была уже закончена, показывало, что Гитлер в тот момент все еще был уверен, что Черчилль первый попросит мира.

Воздушный флот был сосредоточен на Северном море и на Канале уже более месяца, а германская авиация все еще воздерживалась от мало-мальски серьезных налетов на Англию. Задержка эта исходила от Гитлера.

Мне думается, что быстрая и решительная реакция в Англии на его «мирные предложения» была для него настоящим ударом. Он не ждал такого энергичного и недвусмысленного «нет». Думаю, что он колебался до конца июля.— двенадцать дней,— пока не понял, что это и есть окончательный ответ Черчилля. Но к этому моменту уже целых полтора месяца драгоценного времени оказались упущенными.

Есть основания предполагать, что большинство генералов из высшего командования, в особенности генерал фон Браунхич, главнокомандующий, и генерал Гальдер, начальник генерального штаба, серьезно сомневались в успехе вторжения в Англию наземной армии, в особенности в конце июля, когда англичане, как то было известно немцам, несколько оправившись от ударов, нанесенных им в мае и июне. Связанные с этой операцией морские проблемы совсем, повидимому, ставили генералов в тупик. И хотя Геринг, как мне передавали из надежных источников, заверял их, что он за две недели выпьет английскую авиацию из воздуха,— уничтожил же он польскую в три дня! — у них, надо думать, и на этот счет оставались кое-какие сомнения, которые в конце концов полностью подтвердились.

В течение всего июля немцы собирали баржи и понтоны на капалах, на реках, в портах вдоль французского, бельгийского и голландского побережий и старались сконцентрировать свои суда в Бремене, Гамбурге, Киле, в различных портах Дании и Норвегии. Обычная для того времени картина на вновь построенных магистральных Западной Германии: баржи с нефтяными двигателями, взятые со всех судоходных рек Средней Европы вплоть до Дуная, перетаскивались на катках к западному побережью. Мастерские и гаражи по всей Германии были оборудованы для выработки маленьких разборных самодвижущихся понтонов, на каждом из которых можно было бы перевезти через Канал,— но только в штиль, отнюдь не во время волнения,— либо танки, либо тяжелое орудие, либо же роту солдат. 16 августа я видел несколько таких понтонов близ Кале и Булони.

В ночь на 5 августа, как отмечено в другом месте в этом дневнике, Гитлер долго совещался в канцлерском дворце со своими главными военными советниками. Присутствовали Геринг, адмирал

фон Редер, Браунхич, Кейтель и генерал Йодль, член личного военного штаба Гитлера, весьма влиятельный в армии человек, в особенности с тех пор, как началось наступление на западе. Похоже на то, что Гитлер на этом совещании принял решение вторгнуться в Англию возможно скорее и совместно с начальниками трех главных видов оружия — наземной армии, флота, авиации — обсуждал окончательные планы операций.

Что это были за планы? Скорее всего мы этого никогда не узнаем, но из того немногочисленного, что просочилось наружу, можно, мне кажется, составить себе самое общее представление с стратегической стороны дела. Это была осторожная, в духе классических образцов, выдержанная стратегия. 13 августа или приблизительно к этому сроку Люфтваффе должна была начать генеральное наступление на английский воздушный флот. Предполагалось, что английский воздушный флот будет подавлен и приведен к бездействию примерно к 1 сентября. И тогда, добившись полного господства в воздухе над Каналом, что лишило бы англичан возможности сосредоточить свой флот, а на самих островах позволило бы сокрушить с воздуха артиллерийскую оборону, немцы начали бы вторжение. Главные силы пересекли бы Канал на баржах, самодвижущихся понтонах и небольших шлюпках. Другие суда под прикрытием авиации вышли бы из Бремена, Гамбурга и норвежских портов, чтобы высадить десант в Шотландии; но это была бы второстепенная операция, она зависела бы от действий английского флота в этих водах. Еще одна небольшая десантная группа, отплывшая из Бреста, должна была захватить Ирландию. И, разумеется, в широком масштабе намечались парашютные десанты с целью деморализовать английские и ирландские тылы.

Было решено, что армия не двинется до тех пор, пока не будет уничтожен воздушный флот. Привести в действие весь механизм вторжения можно было, только решив эту основную задачу. Геринг пообещал выполнить ее быстро. Но, как и многие немцы до него, он допустил грубые просчеты в оценке английского характера, а следовательно, и английской стратегии. Уверенность Геринга,— теперь это, по-моему, совершенно ясно,— основана была на простых выкладках. У него было в четыре раза больше самолетов, чем у англичан. Насколько хороши английские самолеты и пилоты,— а он с большим почтением отнесся и к тем и к другим,— не имело значения. Надо было только нападать, превосходящими силами, и даже если он потерял бы столько же самолетов, сколько враг, у него в конечном счете остался бы порядочный воздушный флот, а у англичан никакого. А ведь мало вспянуто, что ваши потери будут равняться потерям противника, если вы атакуете с превосходящими силами.

Но Геринг и другие немцы неспособны

были понять, что англичане готовы терпеть и бомбардировку и разрушение своих городов, но не станут рисковать всеми своими самолетами в крупных воздушных битвах при защите этих городов. Простой здравый смысл подсказывал англичанам это поведение, и это была единственная тактика, которая могла их спасти. Но в немецкие понятия о войне это не укладывалось. Если план вторжения в Англию в нынешнем году пришлось оставить, то я убежден, что решающую роль сыграл здесь этот, столь типичный для немцев, ошибочный расчет.

Чтобы уничтожить воздушные силы англичан, Герингу прежде всего надо было поднять их с аэродромов. Но, несмотря на все его усилия, — а когда я был в середине августа на Канале, он посылал в Англию по тысяче самолетов в день, — заставить англичан подняться, — последнее никогда ему не удавалось. Англичане держали большую часть самолетов в резерве. В результате временно страдали их города. Но английский воздушный флот оставался нетронутым. А пока он оставался нетронутым, немецкая наземная армия, сосредоточенная на побережье, не могла двинуться с места.

Почему, — спрашивали многие немцы, — германская авиация не смогла разрушить английскую на земле? Воздушные силы Польши, Голландии, Бельгии и Франции в значительной мере были уничтожены немцами на аэродромах, разве что они имели возможность подняться в воздух. Ответ, который дают на это офицеры Люфтваффе, несомненно, верен. Немецкие летчики говорили мне, что англичане попросту разбросали свои самолеты на тысячах значительно удаленных друг от друга аэродромов. Ни один воздушный флот в мире, как бы он ни изоцирялся, не мог бы выманить их оттуда в таком количестве, чтобы нанести им мало-мальски чувствительный урон.

И еще одно обстоятельство помешало Герингу, — столь очевидное для нас, находящихся в Берлине. Целый месяц, начиная с середины августа и до середины сентября, пытался он уничтожить английскую авиацию. Попытки эти производились в форме дневных налетов, так как нельзя уничтожить воздушные силы страны в ночных операциях. Но, начиная с третьей недели сентября, крупные дневные налеты прекратились. Я отметил это в моей ночной передаче 23 сентября. Я писал: «Из последних немецких сообщений явствует, что крупные воздушные налеты на Англию в отличие от налетов предыдущего месяца — происходят ночью. Верховное командование называет теперь дневные налеты «вооруженной разведкой», ночные же именует «атаками с репрессивной целью». Военному цензору не понравился этот абзац, и он разрешил мне оставить его только после того, как я смягчил его, написав, что крупные операции германского воздушного флота «в последнее время производятся большей частью по ночам».

что плохо звучит по-английски, но все же ясно выражает мою мысль.

На первый взгляд есть как будто противоречие между нашим предположением, что англичане предпочли бы скорее видеть свои города разгромленными, нежели рисковать сразу большим количеством самолетов, и тем фактом, что за такой короткий срок как один месяц, английские летчики, видимо, отправляли в тартарары такую массу германских машин, что Герингу пришлось отказаться от своих грандиозных дневных налетов.

По всей вероятности, никакого противоречия здесь нет. Судя по тому, что говорили мне немецкие пилоты, англичане, никогда не рискуя большим количеством своих истребителей сразу, высылали их все же в достаточном числе, чтобы сбивать германские бомбардировщики в большей пропорции, чем на это мог пойти Геринг. Ведь если он свою бомбардировочную авиацию бросал на Англию такими массами, то не только с целью бомбардировки наземных объектов, но еще больше в качестве приманки, чтобы поднять английские истребители с аэродромов и тогда уже, с помощью «Мессершмиттов», нанести им в воздухе сокрушающие удары.

И здесь воздушная тактика англичан сыграла важную роль. Немцы говорили мне, что английским истребителям было строго приказано всячески избегать сражений с немецкими истребителями. Вместо этого им предписывалось решительно атаковать бомбардировщики, выводить из строя возможно больше этих неповоротливых машин, а потом уходить от встречи с немецкими истребителями. В связи с этой тактикой многие пилоты «Мессершмиттов» жаловались, что-де пилоты английских «Спитфайров» и «Харрикейнов» — трусы, что они удирают, чуть увидят германский истребитель. Теперь, мне думается, и немецкие пилоты стали понимать, что англичане совсем не трусы, что они просто смысленные парни. Они знали, что уступают врагу в числе, что немцы стремятся уничтожить их истребительную авиацию и что с Англией будет все конечно в ту самую минуту, когда будет сбит последний ее истребитель. И, зная все это, англичане усвоили единственную тактику, которая могла их спасти: они атаковали немецкие бомбардировщики — это хорошая мишень для преследующего самолета — и избегали «Мессершмиттов». В конце концов «Мессершмитты» не возили с собой бомб, с помощью которых они могли бы стереть с лица земли Англию. В конце августа и с первых чисел сентября было, по крайней мере, три таких дня, когда английские истребители сбивали по 170—200 немецких машин ежедневно, большей частью бомбардировщиков, и выводили из строя не меньше половины этого количества. От таких ударов немцы ошалели, они не могли долго выдерживать их, несмотря на свое численное превосходство, так как англичане теряли

только треть или четверть этого количества, хотя, главным образом, конечно, истребителей.

Был еще и другой фактор. Так как воздушные сражения происходили большей частью над Англией, то англичане сохраняли по крайней мере половину пилотов, машины которых были сбиты и которым удавалось спастись на парашютах. Когда же англичане сбивали немецкий самолет, экипаж его, даже если он и спасался на парашютах, бывал потерян для Люфтваффе на все время войны. А это означает, если сбит бомбардировщик, потерю четырех квалифицированных специалистов всего дела.

Итак, первые две недели сентября наступили и прошли, а немцы все еще не могли сокрушить английскую авиацию и, следовательно, добиться над Англией полного превосходства в воздухе. Большая наземная армия наци ждала — и был ее постепенно остывал — за утесами Булони и Кале, вдоль каналов за морским побережьем. Нельзя сказать, чтобы англичане ее совершенно не тревожили. По ночам, — я уже описывал в этом дневнике налеты, которых я был очевидцем, — английские бомбардировщики прилетали и делали свое дело над портами и каналами, — всюду, где были сосредоточены и грузились баржи. Германское верховное командование хранило молчание насчет этих будничных эпизодов войны. Какие потери людьми и материалами несли немцы от систематических английских налетов, неизвестно. Проверенных сведений я получить не мог. Но, судя по тому, что я видел сам и что мне говорили немецкие пилоты, я считал крайне невероятным, чтобы германская армия когда-либо в состоянии была сосредоточить в портах Булони, Кале, Дюнкерке и Остенде или на самом побережье достаточно барж и пароходов для переброски необходимых сил на Британские острова. Сомнительно также, делали ли когда-нибудь немцы серьезные попытки в этом направлении.

Идущие из Франции слухи о том, что немцы будто бы пыгались вторгнуться в Англию в середине сентября или около этого времени, но потерпели неудачу, также, по видимому, судя по тому, что нам здесь известно, лишены основания. Прежде всего, если бы англичане, моральное состояние которых в это время было, вероятно, не очень удовлетворительным, действительно отбили такое нападение, они безусловно сделали бы это событие достоянием гласности. Опубликование такой новости не только наэлектризовало бы общественное мнение в Англии и во всей остальной Европе, но и сыграло бы большую роль в деле получения помощи из Америки. Мне говорили, что Вашингтон в августе почти отступился от Англии, как от безнадежно обреченной страны, и трепетал от страха, как бы английский флот не попал в руки Гитлера, что создало бы огромную угрозу восточному побережью Америки. Кроме того, англичанам не стоило бы особого труда по

радио и посредством листовок оповестить немецкие народы о провале грандиозного плана Гитлера — плана завоевания Англии. Психологическое действие этого сообщения в Германии было бы сокрушающим.

Поскольку нам удалось здесь узнать случилось, вероятно, следующее: в первых числах сентября немцы произвели в довольно широких размерах, респетицию вторжения. Баржи и пароход вышли в море, но погода обернулась против них, легкие морские силы англичан, подержанные авиацией, напали на них, подожгли часть барж и вообще нанесли им чувствительный удар. Необычайно большое число санитарных поездов, переполненных обожженными людьми, подтверждают эту версию, хотя других конкретных сведений у нас нет.

Быть может, англичане уже располагают информацией, которая делает излишними наши соображения о том, почему немцы отказались от попытки вторжения. Я высказываю их, суммируя довольно скудные сведения, собранные нами в Берлине. Немцы оглашают какие-либо новости только тогда, когда они, немцы, побеждают или победили. Но о своих потерях, например, в полводных лодках они упоминали в последний раз почти год тому назад, и с тех пор об этом ни слова.

Берлин, 5 ноября

Если все пойдет хорошо, я уеду через месяц. Весь путь до Нью-Йорка я проделю на самолете: отсюда до Лиссабона на самолете Люфтваффе, из Лиссабона до Нью-Йорка на «Клиппере». Самая перспектива отъезда из Германии вызывает такое чувство облегчения, точно с души скатилось громадное бремя. У меня словно крылья отрастают.

Берлин, 6 ноября

Рузвельт переизбран в третий раз. Это оглушительный удар для Гитлера, Риббентропа и всего нацистского режима. Ведь, несмотря на то, что Уилки чуть ли не громче самого президента обещал содействовать победе Англии, наци пламенно желали избрания республиканского кандидата. Нацистские бонзы не делали из этого секрета в частных беседах, хотя, по распоряжению Геббельса, печать игнорировала выборы, чтобы не дать в руки демократам козыря: наци, мол, за Уилки.

За последнюю неделю по меньшей мере три чиновника с Вильгельмштрассе возбужденно спрашивали меня по телефону, можно ли верить данным Gallup Poll¹. Из Вашингтона им телеграфировали, что, по данным пробного голосования, Уилки имеет равные с Рузвельтом шансы. Эта новость крайне их обрадовала.

За время войны Рузвельт проявил себя как один из подлинных политических лидеров, которых оказалось так мало в демократических странах (вспомните, что

¹ Институт изучения общественного мнения в Америке.

было во Франции и что было в Англии, пока у руля не стал Черчилль!) Кроме того, Рузвельт умает быть твердым, и все это вместе взятое вынуждает Гитлера относиться к нему с почтением и даже с некоторым трепетом.

Берлин, 8 ноября.

Англичане сегодня ночью, как нам говорили, изрядно побомбили Мюнхен. Это совпало с годовщиной «пивного» путча — подходящий вечер для бомбежки. Путч был состроен 8 ноября 1923 года в пивной «Бюргербрейкеллер», и годовщина эта всегда праздновалась именно здесь. В прошлом году бомба взорвалась в пивной через несколько минут после того, как Гитлер и все нацистские лидеры оттуда удалились. Пострадала только мелкота. Сегодня Гитлер не рискнул подставить голову под новую гиммлеровскую бомбу. Он произнес речь в другой пивной — в «Левенбейер». Он выступил, — так повелось с тех пор, как начались английские палеты, — до наступления темноты, с тем чтобы закончить собрание раньше, чем прилетят английские бомбардировщики. Сегодняшнее выступление его поставило американских радиокорреспондентов в затруднительное положение. Ни CBS, ни NBC не разрешают транслировать по «своей сети механическую запись. Когда мне позвонили сегодня утром из германского радио и предложили передать в Америку речь Гитлера, в указанное для передачи время — 8 часов вечера — это заставило меня насторожиться. Я не думал, чтобы фюрер решился выступать так поздно, так как теоретически, ввиду наступления длинных ночей, англичане могли прилететь в 9 часов или около того. И я спросил, не предлагают ли они нам механическую запись. Крупный чиновник германского радио отказался ответить мне на этот вопрос под предлогом росной тайны.

— И вам не разрешается, — прибавил он, — телеграфировать в Нью-Йорк, хотя бы вы подозревали, что это механическая запись. Если будете телеграфировать, то только о том, что мы предлагаем вам передать речь Гитлера в Америку.

У меня есть возможность связаться с Полем Уайтом в Нью-Йорке очень быстро, не прибегая к услугам германской коммерческой радиосети, которая прежде всего отправляет мои корреспонденции к цензору. Но сегодня вечером в этом не оказалось надобности. Прежде чем я мог связаться с Нью-Йорком, меня известили, что передача речи Гитлера сегодня вообще не состоится. Она будет транслироваться только завтра. Английская бомбардировка сняла этот вопрос с очереди. Вечером я узнал, что немцы с самого начала намеревались предложить мне механическую запись речи в 8 часов, так как выступление состоялось в 5 часов вечера. Надо обсудить это с Нью-Йорком.

Мне смешно: в последнее время я замечаю на столах немецких чиновников, с которыми мне приходится иметь дело, копии телеграмм, полученных мною из Нью-Йоркского бюро или посланных ту-

да. Я, конечно, знаю, что вся моя входящая и исходящая почта просматривается, и бесконечно забавляюсь, посылая абсурдные телеграммы в Нью-Йорк, критикуя в них моих чиновников поименно или загадывая им какие-нибудь загадки. К счастью, у Поля Уайта есть чувство юмора, и он присылает подходящие ответы.

Берлин, 9 ноября

Вот некоторые анекдоты, которые циркулируют в последнее время. Начальник противовоздушной обороны в Берлине советует дожить до утра и попытаться соснуть два-три часа до того, как начнется налет. Некоторые следуют этому совету, большинство же с ним не считается. Берлинцы говорят, что те, кто поступает по этому рецепту, являются в убежище после тревоги, приветствуют своих соседей возгласом «Доброе утро!» Это значит, что они уже спали. Другие, входя, говорят: «Добрый вечер!» Это значит, что они, еще не ложились. Но некоторые входят с восклицанием «хайль Гитлер!» — это значит, что они все еще спят.

Вот еще одна острота: самолет с Гитлером, Герингом и Геббельсом потерпел крушение. Все трое убиты. Кто спасен?

Ответ: германский народ.

Один из жителей Кельна рассказал мне историю, которая, по его словам, не выдумка, а факт. Улицы теперь так пестрят самыми разнообразными мундирами, что разобратся в них невозможно. И вот случилось, что английский офицер, летчик, которому пришлось сделать вынужденную посадку близ Кельна, пешком пришел в одно воскресное утро в город, чтобы сдатьсь. Он ждал, что полиция или кто-нибудь из солдат, проходивших по улицам, тут же его арестует. Но они, вместо этого, щелкали каблуками и козыряли ему. У него было десять марок — говорят, все английские пилоты, летающие над Германией, берут с собой немецкие деньги, — и он решил попытаться счастья в кинематографе. Он спросил кресло за двенадцать марок. Кассирша дала ему сдачи 9 марок, вежливо объяснив, что военные платят полцены. Посмотрев фильм, он стал разгуливать по улице Кельна и до полуночи не мог найти полицейского участка, чтобы сдатьсь. Он рассказал полиции, как трудно английскому летчику в полной форме заставить себя арестовать в центре немецкого города. Полиция ему не поверила. Вызвали кассиршу кинематографа, чтобы убедиться.

— Продали вы этому человеку билет на сеанс сегодня вечером? — спросили кассиршу.

— Конечно, — ответила она, — за полцены, как всем военным. — И с гордостью прибавила, указав на вензель RAF¹ на его мундире. Не каждый день видяшь Reichs Arbeit Führer². Мне ли не знать, что это означает.

¹ Royal Air Force — Королевские воздушные силы — официальное название британских воздушных сил.

² Руководитель трудового фронта.

Берлин, 11 ноября.

День перемирия¹. Это сейчас звучит в известном отношении весьма иронически. Германская печать не упоминает об этом событии. В Бельгии и Франция германские военные власти запрещают праздновать эту годовщину. Речь Рузвельта в связи с ней здесь запрещено печатать. Мы транслируем за океан каждое слово Гитлера, немецкому же народу не разрешено знать о том, что говорит Рузвельт. Это одна из слабых сторон демократии, уместно мне, хотя многие полагают, что это ее сильная сторона.

Берлин, 11 ноября

Если верить немецкому радио и «Варшавской газете», американский представитель Гувера в Берлине поздравил доктора Франка, свиреного губернатора Польши, с годовщиной его пребывания на посту. Он поздравляет Франка с тем, что им сделано для поляков. По моим сведениям, от поляков, как национальности, ничего не останется после того, как доктор Франк со своими нацистскими душителями с ними разделается. Всех поляков нацисты, конечно, не смогут перебить, но поработить их всех смогут.

Берлин, 25 ноября

Я, наконец, получил все сведения о так называемых «убийствах из милосердия»². Скверная история.

Гестапо, с ведома и одобрения германского правительства, систематически истребляет страдающую душевными расстройствами часть населения страны. Какое количество больных было при этом казнено, знают, вероятно, только Гиммлер да кучка нацистских главарей. Знакомый немец из консерватории, человек надежный, сказал мне, что, по его мнению, — около ста тысяч. Думаю, что эта цифра преувеличена. Но не подлежит сомнению, что жертвы насчитываются тысячами и число их растет изо дня в день. Началось это прошлым летом, после падения Франции. Несколько особенно заядлых наци предложили тогда эту идею Гитлеру. Сначала предполагалось, что фюрер издаст декрет, разрешающий умерщвлять душевнобольных. Но потом решено было, что огласка вызовет всякие кривотолки, неприятные лично для Гитлера. В конце концов Гитлер просто написал письмо руководству тайной полиции и министерству здравоохранения, рекомендуя практику «Gnadenstadt'a» (coup de grâces), то есть «убийства из милосердия», в тех случаях, когда доказано, что соответствующие лица больны неизлечимой душевной болезнью. Говорят, что когда выработалось это решение, посредником между Гитлером и экстремистами был Филипп Боулер, статс-секретарь имперской канцелярии.

Вот тут и разыгралась беттельская

¹ Речь идет о перемирии между немцами и союзниками, подписанном в результате военного разгрома немцев 11 ноября 1918 г. — Ред.

² См. запись от 21 сентября.

трагедия, о которой мы уже говорили в нашем дневнике. Доктор Фридрих Бодельшвинг, протестантский пастор, однако любимый католиками и протестантами Западной Германии, стоял во главе приюта для дефективных детей в Беттеле. Немцы рассказывали мне, что это в своем роде образцовое учреждение известно всему цивилизованному миру. Очевидно, в конце прошлого лета у пастора фон Бодельшвинга потребовали, чтобы он указал властям наиболее серьезных больных из числа его питомцев. Он, повидимому, понял, что ожидает этих детей. Он отказался. Власти настаивали. Пастор поспешил в Берлин с жалобой. Он отправился к известному берлинскому хирургу, личному другу Гитлера. Хирург, отказываясь верить, бросился в канцлерский дворец. Фюрер заявил, что ничего не может сделать. Тогда гастор и врач направились к Францу Гюртнеру, министру юстиции. Гюртнер, казалось, был, скорее, смущен тем, что умерщвление производится без санкции специального писанного закона, чем самым фактом убийства. Однако он согласился обратиться к Гитлеру.

Пастор вернулся в Беттель. Местный гаулейтер потребовал выдачи нескольких детей. Бодельшвинг снова отказался. Тогда Берлин приказал арестовать его. На этот раз запротестовал гаулейтер. Пастор был самым популярным человеком в этой провинции. Арестовать его в разгар войны значило вызвать совершенно нежелательное брожение. Гаулейтер отказался арестовать пастора. Пусть гестапо берет на себя ответственность. Он не желает. Это было как раз в ночь на 18 сентября. В эту ночь и произошла бомбардировка беттельского убежища. Теперь я понимаю, почему некоторые спрашивали, кто же бросал бомбы.

В последнее время мои осведомители в провинции обратили мое внимание на странные объявления о смерти, появляющиеся в провинциальных газетах. (В Германии во всех общественных кругах принято, в случае смерти близких, давать в газеты недорогое объявление с указанием даты и причины смерти, возраста умершего, времени и места похорон.) В объявлениях, на которые обратили мое внимание, указывается одно из следующих трех мест, где наступила смерть: 1) Графенек, одинокий замок возле Мюнценгена, в 60 милях к юго-востоку от Штутгарта; 2) Гартгейм, близ Линца, на Дунае; 3) Зоннштейновский институт по подготовке врачей и сестер в Пирне близ Дрездена.

Именно эти три места названы мне немцами, как центры «убийств из милосердия».

Мне рассказывали еще, что когда родственникам вручают урну с телом несчастных жертв (тел никогда не выдают), тайная полиция строго предостерегает их: не интересоваться подробностями и «не распространять фальшивых слухов». Вот почему эти провинциальные объявления о смерти приобретают особое значение.

Я приведу здесь несколько типичных образцов, изменив по понятным причинам даты, имена и названия местности:

«Лейпцигер нейесте Нахрихтен», 26 октября: «Йоган Дитрих, участник войны 1914—1918 гг., неоднократно удостоенный боевых наград, род. 1 июня 1881 г., скончался 23 сентября 1940 г. После нескольких недель неизвестности я получила поразившее меня своей невероятностью известие о его внезапной смерти и кремации в Графенек, в Вюртемберге».

В той же газете, в октябре: «После нескольких недель неизвестности получила уведомление о внезапной кончине 17 сентября в Пирне моего любимого сына Ганса. Погребение состоится 10 октября».

Там же: «Мы получили невероятное известие о неожиданной скоропостижной смерти близ Линца на Дунае моего любимого сына инженера Рудольфа Мюллера. Там же имела место кремация».

Другое: «Уже после состоявшейся кремации мы получили прискорбное известие из Графенека о скоропостижной кончине нашего любимого сына и брата Оскара Гида. По получении урны с прахом погребение состоится на кладбище X, приглашены будут лишь ближайшие родственники».

Или: «После нескольких недель тревожной неизвестности мы получили 18 сентября потрясающее известие о смерти от гриппа 15 сентября в Пирне нашей любимой Марианы. Кремация произведена там же. По получении урны погребение состоится в родной земле в присутствии лишь ближайших родственников».

Последнее объявление датировано 5 октября, значит, власти оттягивали выдачу урны в течение трех недель. По моим сведениям, за первые две недели прошлого месяца в лейпцигских газетах появилось 24 таких объявления.

В предпоследнем объявлении меня поразили слова: «Уже после состоявшейся кремации мы получили прискорбное известие о скоропостижной кончине». Поразило меня и выражение, употребленное в первых двух: «После нескольких недель неизвестности наступила внезапная смерть», а также слова «невероятное известие».

Нет ничего удивительного в том, что немцам, привыкшим читать свои газеты между строк, с поправками на суровую цензуру, эти слова показались крайне подозрительными. Если после «нескольких недель неизвестности» наступает внезапная смерть, то тут что-то не так.

И почему сначала кремация, а затем оповещение родственников? Почему тело вообще кремируется? Почему останки не перевозятся на родину, как это обычно в таких случаях делается? Несколько дней назад я видел стандартный текст официального повещения, которое получают семьи жертв.

Вот он: «С прискорбием извещаем вас, что влп... недавно перевезенный по распоряжению министерства в наш институт, нежелательно скончался члена... от... Все усилия врачей, к несчастью, остались тщетными».

Ввиду серьезного характера заболевания и его неизлечимости, следует только как избавление рассматривать смерть, спасшую больного от пожизненного пребывания в лечебнице.

Вследствие существующей в данном случае опасности инфекции мы, по приказу полиции, вынуждены были немедленно кремировать тело покойного».

Даже наивнейшего из немцев вряд ли успокоит такое сообщение. Кое-кто из родственников погибших ездит в Графенек, уединенный замок, чтобы получить более подробные сведения. Но вход в замок воспрещен, и на страже, как оказывается, стоят облаченные в черные мундиры эсэсовцы. В последнее время на всех дорогах, ведущих к этому печальному месту, висят выкрашенные в яркую краску дощечки с надписью: «Seuchengefahr!» («Опасность заразы!»). Задуманные родственники крестьяне рассказывали родственникам, что в один прекрасный день здесь появились эсэсовцы и оцепили всю усадьбу. По словам этих местных жителей, ночами — но только ночами — они слышат громыхание грузовиков. В Графенек раньше никогда не было госпиталя.

Другие родственники, говорят, осведомлялись о подробностях смерти своих близких у руководителей учреждения, находящегося в Гартгейме, возле Линца. Им предложили убраться вос-свосяи и пригрозили суровой карой, если они будут болтать. Повидимому, некоторые из них нашли в себе мужество опубликовать приведенные выше объявления о смерти, без сомнения, надеясь привлечь внимание общества к этим злодеяниям. Я слышал, что гестапо теперь запретило печатать такие объявления, точь-в-точь как Гитлер после тяжелых потерь флота в Норвегии запретил родственникам погибших моряков печатать объявления об их смерти.

Немец X. вчера сказал мне, что родственники спешат забрать больных из лечебных заведений и спасти их из когтей наци. Он говорит, что гестапо умерщвляет даже людей, страдающих временным психическим расстройством или нервным истощением.

Мотивы этих убийств для меня еще неясны. Самы немцы выдвигают тройного рода объяснения:

1) «Убийства из милосердия» позволяют сэкономить продовольствие;

2) они преследуют экспериментальные цели: изучение действия новых ядовитых газов и смертоносных лучей;

3) эти убийства — практический вывод из евгенических и социологических идей, проповедуемых крайними элементами наци.

Первое объяснение — явный абсурд, так как уничтожение ста тысяч человек не экономит достаточно продовольствия для народа численностью в 80 миллионов. Второе объяснение более правдоподобно, хотя и в нем я сомневаюсь. Возможно, что ядовитые газы и применяются для уничтожения этих несчастных, но если это и так то экспериментирование здесь только приводящий момент. Многие немцы, с

которыми я говорил, полагают, что какой-то новый газ, неузнаваемо уродующий жертву, действительно применялся и что потому-то останки погибших и предаются кремации. Но реальных подтверждений я получить не мог.

Наиболее правдоподобным кажется мне последнее, третье, объяснение. В течение уже ряда лет группа «крайних» нацистских социологов, по требованию которых проводятся в жизнь законы о стерилизации, настаивает на переходе государства к политике уничтожения душевно неполноценных субъектов. По их словам, у них много последователей среди социологов других стран; возможно, что это и так. Параграф второй стандартного письма, посылаемого родственникам, носит на себе отпечаток этой социологической идеи: «Ввиду серьезного характера заболевания и его неизлечимости следует только как избавление рассматривать смерть, спасую больного от пожизненного пребывания в лечебнице».

Некоторые подозревают четвертый мотив. Они говорят, что, по подсчетам наци, на каждых трех-четырёх больных, пользующихся медицинским помощью в лечебных заведениях, приходится один здоровый немец, обслуживающий их. Это отвлекает несколько тысяч здоровых немцев от более полезной деятельности. Если этих больных уничтожить, рассуждают далее наци, то в больницах освободится место для раненых на случай, если война затянется и число раненых будет расти.

Чисто нацистские дела, грязные дела!

Берлин, 27 ноября

Фленнери, который только что приехал, вынужден уехать в Париж. Наци обязывают нас соблюдать тайну по поводу каких-то важных событий, которые, утверждают они, разыграются здесь на будущей неделе. Нам, на радио, следовало бы по возможности заблаговременно приготовиться. Но я уезжаю отсюда во всяком случае 5 декабря. Много говорят о растущем саботаже в Голландии. Немцев бесят многочисленные случаи потопления в голландских каналах в эти темные зимние ночи немецких солдат и полицейских. Х. рассказывал мне любопытную историю. Английская разведка в Голландии, говорит он, работает прекрасно. Обе воюющие стороны строят фальшивые аэродромы,

16 декабря 1940 года Ватикан осудил «убийства из милосердия». Отвечая на вопрос, разрешается ли властям уничтожать тех, кто хоть и не совершил преступления, караемого смертью, но не может рассматриваться более как полезный член общества или государства в силу своей физической или духовной неполноценности, Ватикан нашел, что «такие убийства противоречат законам природы и божественному закону». Сомнительно, поймут ли массы немецких католиков, о чем здесь идет речь, даже в том случае, если они узнают об этом суждении Рима, что невероятно. Только меньшинство в Германии знают об «убийствах из милосердия».

установленные деревянными самолетами. Такой бутафорский аэродром, огромных размеров недавно был выстроен немцами близ Амстердама. Здесь они расставили более сотни деревянных самолетов и ждали, что англичане прилетят их бомбить. На следующее утро англичане прилетели. Они сбросили много бомб. Но только бомбы были деревянные.

Берлин, 1 декабря

Сегодня воскресенье, нет утренней передачи, и я воспользуюсь этим, чтобы на прощание подвести кое-какие итоги.

Вот уже полтора года, как длится блокада Германии. Но она еще не поставила немцев у преддверия голодной смерти и не причинила серьезного ущерба нацистской военной машине. Люди здесь еще питаются сносно. Питание это нельзя назвать восхитительным, и американцы вряд ли выдержали бы его. Но немцы, организм которых за последнее столетие привык к большим количествам картофеля, пока еще довольствуются картофелем, капустой и хлебом.

Если война затянется, будет остро ощущаться проблема одежды. Германии приходится импортировать весь хлопок и почти всю шерсть, чем и определяется нынешняя система рационирования одежды. В основном немцу придется довольствоваться тем, что надето на нем и висит у него в шкафу, до тех пор, пока не кончится война и не будет снята блокада. Нехватка текстильных товаров ощущается не только гражданским населением, но и армией, которую трудно было снабдить этой зимой достаточным количеством шинелей. Гитлеру уже пришлось одеть трубочяных в краденую чешскую аммуницию. Членам так называемой организации Толта — несколько сот тысяч человек, выполняющих работу, обычно производимую у нас нестроеными частями армии — вовсе не выдается форменной одежды. Прошлым летом я видел их на фронте в оборванном штатском платье. Немцы делают отчаянные усилия, стараются пополнить недостаток сырья текстильными заменителями, в особенности из целлюлозы. Но не верится, чтобы можно было одеть восемьдесят миллионов человек в ткани из древесины.

Что касается сырья, необходимого для военного производства, то Германия в изобилии располагает железом. Из Югославии и Франции она получает достаточно бокситов и в состоянии снабдить алюминнием свою обширную авиационную промышленность. Тяжело ощущается здесь недостаток меди и олова.

Генерал Шелл, ведающий нефтяным снабжением, уверяет, что проблема нефти его не беспокоит. Если бы и беспокоила, он, конечно, не признался бы в этом. Тут надо принять во внимание некоторые обстоятельства:

1. Германская авиация ни в какой мере не зависит от ввоза нефти. Все немецкие авиационные механизмы изготавлиются так, что могут работать на синтетическом бензине, который Германия изготавливает из собственного угля. Нынешней ее про-

дукции синтетического бензина — около четырех миллионов тонн в год — более чем достаточно для пужд авиации. Англичане могли бы поставить под угрозу снабжение горючим, бомбардируя крекинг-установки, где уголь превращается в бензин. Они и пытаются это делать. Их самолеты бомбили большой завод Лейпа близ Лейпцига и другой завод в Штеттине. Но эти налеты слишком слабы, чтобы вывести заводы из строя или даже создать серьезные перебои в их работе.

2. Германия теперь фактически получает всю продукцию румынских нефтепромыслов.

3. Германия вступила в войну с большими запасами нефти; кроме того, она получила неожиданное наследство в Норвегии, Голландии и Бельгии.

4. Потребление нефти гражданским населением сведено почти к нулю. Частным лицам запрещено пользоваться легковыми и грузовыми автомашинами. Запрещено пользоваться нефтью для отопительных целей.

Я считаю, что Германия обеспечена нефтью для удовлетворения своих военных нужд по крайней мере на ближайшие два года.

Что касается английских воздушных налетов на Германию, то до сих пор они имели главным образом психологическое значение, приближая войну, так сказать, вплотную к усталому гражданскому населению, изнашивая его и без того потрешанные нервы и отнимая у него сон. Физический ущерб, причиненный бомбардировками за шесть месяцев ночных налетов, в общем не особенно велик. Точных его размеров мы, разумеется, не знаем. Знают о них, вероятно, только Гитлер, Геринг и верховное командование, но они не скажут. Однако, я думаю, что наши предположения близки к истине. Наиболее чувствителен ущерб, причиненный Руру, где сосредоточена тяжелая промышленность. Если бы этот район удалось по-настоящему опустошить, Германия не могла бы продолжать войну. Но ей причинены там пока только царапины. Боюсь, что пока еще военная промышленность Германии не пострадала сколько-нибудь серьезно от английских налетов. Ущерб, причиненный рурской промышленности, выражается, в основном, не в разрушении заводов или транспорта, а в другом. Во-первых, в потере миллионов рабочих часов: рабочие проводят часть ночи в убежище. Во-вторых, в снижении выработки вследствие бессонных ночей.

После Рура сильнее всего потерпели от бомбардировок немецкие порты Гамбург и Бремен и морские базы в Вильгельмсгафене и Киле. Но они еще не выведены из строя. Без сомнения, наиболее жестокие английские бомбардировки припились на долю захваченных немцами портов на Канале. Здесь расстояние от английских баз небольшое, и англичане имеют возможность нагружать свои самолеты более тяжелыми бомбами и в большем количестве. От доков в Остенде, Дюнкерке, Кале и Булони мало что осталось.

Сам Берлин относительно мало пострадал от ночных налетов. Мне кажется, что иностранец, прибывший сюда впервые, может часами гулять по улицам, где расположены торговые предприятия и правительственные учреждения, и не заметить поврежденных зданий. По всей вероятности, англичане разбомбили не более пяти-шести жилых строений, а так как они бросают легкие бомбы, большая часть домов в течение какого-нибудь месяца была восстановлена и снова заселена. В большинстве случаев англичане бомбардируют заводы на окраинах городов. Иногда они попадают, разумеется, в намеченный объект, но за исключением двух-трех небольших заводов, ни один, насколько мне известно, серьезно не пострадал. Англичане бомбили крупный электротехнический завод Сименса на северо-западной окраине города и разрушили несколько цехов и складов. Но весьма сомнительно, снизилось ли производство вооружения более, чем на пять процентов в день. Недавно я объехал вокруг завода, его станки жужжали, и снаружи нельзя было заметить ни малейших повреждений.

По каким-то причинам англичане за последние шесть недель ослабили свои налеты на Берлин. Это большая ошибка. Когда они летали почти каждую ночь, моральное состояние этого главного нервного центра страны, сплывающего всю Германию воедино, значительно упало. Немцы, я убежден, не могли бы перенести таких бомбардировок, какими германская авиация угощает англичан в Лондоне. Невидимому, англичане еще не в состоянии предпринимать таких атак: но они, конечно, могли бы послать горсть самолетов пять — шесть раз в неделю, чтобы загонять берлинцев в убежища. Это сильно повлияло бы на их душевное состояние.

Почему английские бомбардировки не причинили большего ущерба? Потому что англичане производили свои налеты на Германию небольшими силами и сбрасывали слишком мало бомб. Авиационные атташе нейтральных стран расходятся в определении количества самолетов, участвовавших в операциях над Берлином, но в лучшем случае в одну ночь прилетает не более тридцати, а в среднем около пятнадцати. Над всей же территорией Германии число английских самолетов при благоприятных условиях колеблется между шестидесятью и восьмидесятью. Груз бомб на английских самолетах слишком незначителен: за отдаленностью баз самолеты приходится нагружать главным образом, топливом и нефтью. Сделать рейс до Берлина и обратно значит покрыть расстояние по крайней мере в 1100 миль.

Каким количеством самолетов располагает Германия? Не знаю. Сомневаюсь, знают ли об этом во всем мире хотя бы двадцать человек. Но о производстве немецких самолетов мне кое-что известно. В данный момент число производимых в месяц машин колеблется между 1500 и 1600. Предельная производственная мощность Германии — 3000 самолетов в ме-

ся. Другими словами, Геринг мог бы форсировать производство, довести его до этой цифры при условии, если его снабдят необходимым сырьем и если все немецкие заводы будут работать в полную меру своей мощности, к тому же 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Кстати сказать, с начала войны, авиационная промышленность в Германии совершенно не расширилась. В настоящее время Геринг, Мильх и Удет лихорадочно ищут новый тип истребителя — нечто такое, что решительно заткнуло бы за пояс «Спитфайры» и «Эйрэкобры», которые Англия получает из Америки.

После полутора лет тотальной войны моральное состояние Германии пока еще можно считать удовлетворительным. В этом надо сознаться. Энтузиазма к войне в народе нет, да никогда и не было. И после восьми лет лишений, вызванных приготовлениями наци к войне, народ устал и измотан. Немцы жаждут мира. Они разочарованы, подавлены, удручены тем, что война не кончилась этой осенью, как было обещано. И все же теперь, на пороге второй зимы, долгой, темной зимы, моральный дух населения еще достаточно силен. Как объяснить это противоречие? Тут надо учесть три обстоятельства.

Во-первых, сбылась исконная тысячелетняя мечта немцев о политическом объединении. Осуществил ее Гитлер, между тем как в прошлом все другие — Габсбурги, Гогенцоллерны, Бисмарк — потерпели неудачу. Мало кто понимает вне Германии, как это объединение сплотило немецкую нацию, вселило в немцев веру в собственные силы и в свою историческую миссию и заставило их забыть о своей неприязни к режиму наци, к его главарям и ко всему варварству, которое он принес с собой. В сочетании с возрождением армии и воздушного флота, с реорганизацией в духе «тоталитаризма» всей промышленности, торговли и сельского хозяйства в еще невиданных до сих пор размерах, это объединение дало немцам ощущение силы. Для большинства немцев это самоцель, в их понимании жизни быть сильным значит быть всем. Это проявление примитивного племенного инстинкта первобытных язычников-германцев, рассеянных в дремучих северных лесах. Для них грубая сила была не только средством, но и целью жизни. Это и есть тот первобытный расовый инстинкт «крови и земли», который наци пробудили в германской душе с большей силой, чем это удавалось сделать их предшественникам за последнее время, и который показал, что влияние христианства и западной цивилизации на жизнь и культуру Германии было лишь чисто внешним, казовым.

Во-вторых, удовлетворительное моральное состояние немецкого народа объясняется тем, что этим летом немцы отомстили за ужасное поражение 1918 г. и одержали ряд военных побед, которые обеспечили им, наконец, «место под солнцем» — сегодня господство над Европой, завтра, быть может, над всем миром. А по свойствам немецкого характера не-

мец должен либо быть господином, либо подчиняться господину. Он не понимает других отношений между человеческими существами на этой земле. Свойственное древним грекам чувство меры, золотой середины, усвоенное до известной степени западным миром, не укладывается в его понимании. Более того, широкая масса рабочих, крестьян и мелких торговцев, точно так же, как крупные промышленники, сознает, что если Гитлеру удастся построить «новый порядок», — во что они теперь верят, — то он обеспечит им большую долю молока и меда в сем мире. То обстоятельство, что благополучие это может быть обречено только за счет других народов — чехов, поляков, скандинавов, французов, — ни в малейшей степени не тревожит немцев. Никакие угрозыния извести не нарушат его душевного покоя.

В-третьих, одной из главных причин, заставляющих немецкий народ всеми силами поддерживать войну, к которой он относится без малейшего энтузиазма и с которой покончил бы завтра же, если бы его спросили, — это растущий страх перед последствиями поражения. Медленно, но верно начинает он понимать, какую ужасающую силу ненависти и мщения пробудили в Европе гестаповцы и германские войска, топтавшие ее своими тяжелыми сапогами с того момента, как была завоевана Австрия. Они начинают думать, что победа при режиме наци, с какой бы антипатией многие из них к этому режиму ни относились, лучше, чем второе поражение Германии, которое заставило бы побледнеть Версаль и уничтожило бы не только нацию, но и немцев как народ. Не один немец в последнее время делился со мной своими страхами. Немцы уже видят, как в случае поражения Германии, ожесточенные народы Европы, которых они зверски поработили, чьи города они безжалостно разрушили, чьи жены и детей они во множестве хладнокровно истребляли и в Варшаве, и в Роттердаме, и в Лондоне, — как эти народы обрушатся грозной и мстительной лавиной на их прекрасную, устроенную землю, взрывая и разрушая ее и предоставляя уцелевшим голодать и умирать в опустошенной стране.

Нет, этот народ, как бы он ни был подавлен и обманут шайкой самых бессовестных правителей, каких видела современная Европа, далеко, очень далеко пойдет с ними в этой войне. Только в том случае, если он поймет, наконец, что победа невозможна, и вместе с тем поверит союзникам, что отказ от борьбы не означает его истребления, он решится сложить оружие раньше, чем одна из сторон будет окончательно уничтожена в этой борьбе.

Мы, стоявшие в такой непосредственной близости к арена этих событий, собственными глазами видевшие, как наци топчут своими сапогами Европу, собственными ушами слышавшие полные ненависти истерические вопли Гитлера, лишь с трудом можем сохранить чувство исторической перспективы. Мне кажется, что причины, в силу которых Германия вступила на путь необузданных завоеваний, корен-

нятся не только в том факте, — правда, факте огромного значения, — что кучка беспринципных и беспощадных бандитов захватила власть в этой стране, развратила весь ее народ и увлекла его на нынешний путь. Корней всего этого надо искать глубже, хотя я очень сомневаюсь, дало ли бы это растение такой пышный цвет, если бы садовник был не Гитлер.

Один из этих корней — страшный, противоречивый характер немецкого народа. Неправильно думать, как уверяли многие наши американские либералы, что нацизм — форма правления и жизни, несвойственная немецкому народу и навязанная ему против его желания кучкой фанатиков, этих обломков крушения, которым кончилась первая война. Верно то, что на свободных выборах нацистская партия никогда не получала в Германии большинства голосов, хотя была к этому близка. Однако за последние три-четыре года нацистский режим был выражением свойств, глубоко заложенных в природе немца, и в этом смысле нацистское правительство действительно представляло народ, которым оно правило. У немцев, как у народа, отсутствует та уравновешенность, которой достигли, скажем, греки, римляне, французы, англичане, американцы. Немца всегда снедают внутренние противоречия, создающие в нем неуверенность, неудовлетворенность, душевный разлад, заставляющие его бросаться из одной крайности в другую. Веймарская республика была таким крайним выражением либеральной демократии, что немцы не могли переработать ее. И они метнулись в другую сторону — в сторону тирании; демократия и либерализм предъявляли слишком большие требования к их индивидуальности, они принуждены были мыслить и принимать решения как свободные люди, а в хаосе XX столетия это оказалось для них непосильным напряжением. Чуть ли не с радостью, чуть ли не мазохистически потянулись они к нацистскому самодержавию, которое освобождает их от усилий индивидуального решения, выбора, мышления и создает для них обстановку, которая так приятна немцам: другие решают за них и берут на себя риск, а они зато с радостью повинуются. Средний немец жаждет безопасных, проторенных путей, раз и навсегда установленной рутины. И он откажется от независимости и свободы — по крайней мере, на данной стадии развития — только бы эта его потребность была удовлетворена.

Натура немца двойственна. Как индивидуум он будет в воскресное утро кормить своим пайковым хлебом белок в зоологическом саду, он может быть и любезным, и занимательным. Но как единица германской нации он будет преследовать евреев, пытаться и убивать своих соотечественников в концлагерях, истреблять женщин и детей артиллерийскими и воздушными бомбардировками, захватывать без малейшего на то основания земли чужих народов и беспощадно подавлять их сопротивление, обращать их в рабство.

Надо также отметить, что гитлеровская

мания кровавых завоеваний никоим образом не является чем-то исключительным в этой стране. Стремление к экспансии, жажда земельных приобретений, иностранства, того, что немцы называют «Lebensraum», искони присуща немецкому народу. Многие лучшие умы Германии отразили эту жажду в своих произведениях. В прошлом столетии эти идеи прививали немецкому народу Фихте, Гегель, Ницше и Трейчке. Да и в наш век у этих идеологов не было недостатка в последователях, хоть и мало известных за пределами Германии. Карл Гаусгофер выпустил кучу книг, в которых он, точно молотом, вколачивал в умы немцев мысль, что для германской нации, если она хочет быть великой и долговечной, необходимо «жизненное пространство». Такие его книги, как «Macht und Boden» («Власть и земля») и «Weltpolitik von Heute», («Мировая политика сегодняшнего дня»), оказали глубокое влияние не только на нацистских лидеров, но и на широкие массы народа. Такое же влияние имела книга Ганса Гримма «Volk ohne Raum» («Народ без пространства»), роман, распроданный здесь в количестве полумиллиона экземпляров, несмотря на его размеры — около тысячи страниц. Таким же успехом пользовалась книга Меллера ван-ден-Брука «Третья империя», написанная за 11 лет до прихода Гитлера к власти.

Вся эта литература подчеркивает, что Германии самими законами истории и природы дано право на пространство, соответствующее ее миссии в жизни. То, что это пространство пришлось бы отнять у других, глазным образом, у славян, поселившихся его еще в те времена, когда сами немцы были немногим больше, чем первобытное дикое племя, не имеет никакого значения. В немцах, за редким исключением, глубоко сидит чувство, что «низшие расы» европейцев не имеют абсолютного права на свою собственность, на то, чтобы возделывать свою землю и жить на ней, не имеют права даже на города и села, выстроенные ими в поте лица своего, если немцы помогают их территории. Вот это засевшее в немцах чувство и является одной из причин нынешнего состояния Европы.

Развязал это чувство и дал ему реальное выражение Адольф Гитлер.

Вопреки противоположным взглядам, принятым за границу, он — единственный в абсолютный властелин Германии, не терпящий никакого вмешательства в свои действия с чьей бы то ни было стороны: он редко советуется и почти всегда пренебрегает предложениями своих запуганных заместителей. Окружают его люди преданные, терроризованные, но друга среди них у него нет. У него вообще нет друзей. И со времени резни 1934 г., с того дня, как был убит Рем, среди его последователей не осталось никого, кто бы к нему обратился с фамильярным «ты». Геринг, Геббельс, Гесс и все другие называют его только «mein Führer». Он ведет одинокую, замкнутую жизнь, всегда под охраной, а с начала войны Гиммлер тща-

тельно скрывается от внешнего мира самое его местопребывание.

Теперь он редко обедает со своими ближайшими помощниками, предпочитая более легкое общество старых соратников по партии, таких людей, как его адъютант Вильгельм Брюкнер, как его первый личный секретарь Гесс, единственный человек в мире, которому он вполне верит, и Макс Аман, немецкий сержант времен первой мировой войны, которого Гитлер сделал полновластным хозяином крайне доходного нацистского издательства «Eherverglag»¹. Высокие сановники нацистского мира — Геринг, Геббельс, Риббентроп и Лей, руководители военных ведомств встречаются с Гитлером либо по вызову в течение дня, либо после обеда, вечером, когда Гитлер приглашает их на просмотр фильма. У Гитлера страсть к кинофильмам, включая продукцию Голливуда (две его любимых кинопесни: «Это случилось однажды ночью» и «Развеянные ветром»).

Герман Геринг безусловно является в Германии вторым человеком после Гитлера; это единственный наци, который мог бы стать во главе пинешнего режима, если бы с Гитлером что-нибудь случилось. Тучный, весь в медалях, рейхсмаршал пользуется в массах наибольшей популярностью после Гитлера, но по причинам противоположного характера. В отличие от далекого, окруженного легендой, туманного, загадочного Гитлера, Геринг — дружелюбный, земной, дородный человек, человек из плоти и крови. Немцы любят его потому, что он им понятен. Он обладает пороками и добродетелями среднего человека — и теми и другими немцы восхищаются. У него ребяческое пристрастие к мундиру и к медалям. У них тоже. Он падох до еды и питья в количествах, которым мог бы позавидовать Гаргантюа. Они тоже. Он любит показное великолепие — дворцы, мраморные залы, пышные балкеты, яркие одежды, ливрейнных лакеев. Они тоже. И несмотря на старания Геббельса вызвать критическое отношение к своему сопернику, немцы не проявляют ни зависти, ни недовольства фантастическим, средневековым и очень дорогостоящим образом жизни Геринга. Это именно тот образ жизни, который они вели бы сами, если бы могли.

Никто другой из едипомышленников Гитлера не обладает достаточной популярностью, или силой, или способностью, чтобы сохранить власть наци. Гитлер всегда надеялся, что его протееже Гесс сможет быть его преемником, и в своем завещании называет его как второго, после Геринга, кандидата в свои преемники. Но у Гесса нехватает силы воли, честолюбия, умения руководить и воображения, необходимого для роли главаря. Геббельс, которого прежде можно было считать по-

мером третьим, за время войны потерял свою популярность; отчасти его оттеснило военщина и тайная полиция, отчасти сыграло роль банкротство его пропаганды в некоторые решающие моменты. Он, например, приказал печати и радио бить в литавры по поводу победы «Графа Шпее» за день до того, как этот корабль был потоплен. Место Геббельса, как третьего человека в Германии, было занято Генрихом Гиммлером; это человек с мягкими манерами, с наружностью безобидного школьного учителя, но его беспощадность, жестокость и организаторские способности вознесли его на один из командных постов в Третей империи. Его влияние основано на том, что он превратил гестапо в организацию, под надзором которой в настоящее время находится почти вся жизнь страны и которая, по воле Гитлера и других политических руководителей, не спускает бдительного ока даже с самой армии. Гиммлер, единственный из заместителей Гитлера, властен над жизнью и смертью всех граждан Германии и оккупированных стран, и не бывает дня, когда бы он не пользовался этой властью.

Почти ежедневно на последних страницах газет можно найти маленькие заметки: «Начальник СС Гиммлер извещает, что Ганс Шмидт, немец (или Владислав Котовский, поляк), застрелен при оказании сопротивления полиции».

В окружении Гитлера есть еще две «важных шишки» — Иоахим фон Риббентроп и доктор Роберт Лей. Риббентроп, тиеславный и папыщеный человек, вызывающий к себе репнительную антипатию и в нацистской партии и в широких кругах, пока еще пользуется благосклонностью фюрера за проявленную в Мюнхене дальновидность по отношению к Англии и Франции (Геринг оказался тогда недальновидным и временно впал в немилость). Тот факт, что Риббентроп попал впрас в сентябре 1939 г., заверив Гитлера, что англичане не вступят в войну, почему-то не поколебало его положения в канцлерском дворце. Гитлер недавно прозвал его «вторым Бисмарком», хотя Геринг, например, который терпеть не может Риббентропа, не видит к тому никаких оснований.

Роберт Лей одновременно состоит в аппарате нацистской партии и возглавляет «Трудовой фронт». Этот жестокий, грубый человек, который славится своим умением пить, — способный администратор, фанатически преданный фюрору.

Все вместе — Геринг, Гиммлер, Гесс, Риббентроп и Лей — составляют «главную ступенную пятерку» — ближайших сотрудников Гитлера. Все они, за исключением Геринга, высказывают свое мнение очень осторожно и с некоторой робостью. Во всех случаях решающее слово принадлежит Гитлеру.

Есть в фашистской иерархии и мечтание «светила». Это руководители нацистской партии, поставленные во главе крупных ведомств, или люди, получившие свои посты из руки Гитлера, уверовавшие в их технические знания. Наиболее видные из них: Вальтер Дарро, способный и пред-

¹ Аман вместе с тем представитель германского Бюро печати и в качестве такового он правит всей прессой Германии. Через «Eherverglag» и субсидируемые правительством акционерные общества Аман контролирует финансы большинства крупных газет в стране.

примчивый министр земледелия; Бернгард Руст, министр народного просвещения, новаторские потуги которого изуродовали немецкую школу; Вильгельм Фрик, старый чинуша, полувивший пост министра внутренних дел за то, что он предал баварское правительство, на службе которого состоял много лет подряд; доктор Вальтер Функ, вытеснивший Шахта и занявший пост председателя рейхсбанка и министра хозяйства, и доктор Толт, блестящий инженер с творческим воображением, построивший по заданию Гитлера широкую сеть автострад и укреплений, опоясывающих западную границу.

Альфред Розенберг, наставник Гитлера в первые годы существования нацистской партии, некогда одна из виднейших фигур в этой партии, в настоящее время совершенно потерял свое влияние и не играет никакой роли. Это скорее фантазер, чем человек практики, и в нацистских джунглях, в борьбе с более сильными хищниками, населяющими нацистский Олимп, он потерпел жалкое фиаско. Чтобы угодить ему, Гитлер дал ему пышный титул: «Beauftragter des Führers zur Überwachung der National-Sozialistischen Bewegung» («уполномоченный фюрера по контролю над национал-социалистским движением»). Он ухитрился сохранить за собой пост редактора гитлеровской газеты «Фелькшпер беобахтер», хотя его влияние на политическую линию газеты ничтожно.

Юлиус Штрайхер, некогда влиятельная и зловещая фигура в Германии, человек, который терроризовал своим хлыстом подчиненный ему «гау» (округ) — Франкония, тоже исчез со сцены. Он был арестован за финансовые злоупотребления.

Гитлеру принадлежит решающее слово не только в политике, но и в военных вопросах. Генерал фон Браухич, способный, но отнюдь не выдающийся полководец, главнокомандующий армией, подает голос при случае, но не часто. Кейтель — своего рода посредник между Гитлером и генеральным штабом. Генерал Гальдер, начальник генерального штаба, вероятно, один из умнейших людей в армии, не пользуется кредитом у Гитлера, который усиленно поддерживает молву, что только ему одному принадлежит руководство и тактической и стратегической стороной больших кампаний. Генерал фон Рейхенау сам говорил мне, что так оно и есть, но я сомневаюсь. Однако нет сомнения, что в вопросе, где и когда нанести очередной удар, Гитлеру действительно принадлежит решающее слово. Один из его главных военных советников, могущественный человек в армии, хотя совершенно неизвестный широким кругам, — это генерал Альфред Молль, начальник личного военного штаба Гитлера.

Остается затронуть еще один вопрос в этих беглых заключительных замечаниях: входит ли в расчет Гитлера война с Соединенными Штатами? Я обсуждал этот вопрос целыми часами со многими немцами и американцами и долго тщательно обдумывал его. Я твердо убежден, что война с Соединенными Штатами входит в планы

Гитлера и что, если он выигрывает войну в Европе и Африке, он нападет на Америку — разумеется, если мы только не обнаружим готовности отказаться от нашего образа жизни и примириться с второстепенным местом в его тоталитарной системе.

В представлении Гитлера земной шар слишком тесен для двух великих систем жизни, управления и хозяйства. По этой же причине, думаюется мне, он нападет и на Россию, вероятно, раньше, чем возьмется за американский континент.

Это вопрос столкновения не только между тоталитарным и демократическим жизненным укладом, но и между пангерманским империализмом, стремящимся к мировому господству, и основным жизненным принципом большинства других наций на земном шаре — жить так, как им нравится, то есть на началах свободы и независимости.

И точно так же, как гитлеровская Германия никогда не сможет установить господства над европейским континентом, пока сопротивляется Англия, она не установит господства над миром, пока Соединенные Штаты неустрашимо стоят на ее пути. Конфликт между Германией и США — это длительный глубокий конфликт динамических сил. Столкновение здесь так же неизбежно, как столкновение двух планет, неотвратимо несущихся навстречу друг другу в мировом пространстве.

В сущности, это столкновение может наступить скорее, чем представляет себе большинство американцев. На днях, я обсуждал этот вопрос с одним из офицеров высшего командования, и он поразил меня своим замечанием. Он сказал: «Вы утверждаете, что Рузвельт сумеет выбрать наиболее благоприятный момент для вступления Америки и Англии в войну. Но неужели вы когда-нибудь думали, что Гитлер, такой мастер по части сроков, не сумеет сам выбрать такой момент для войны с Америкой, который даст преимущество ему?»

Я вынужден был согласиться, что никогда этого не думал.

Поскольку я мог узнать, Гитлер и верховное командование не намерены в ближайшие несколько месяцев начать эту кампанию. Они все еще думают, что смогут поставить на колени Англию раньше, чем на выручку подоспест Америка. Теперь они уже говорят, что выиграет войну не позже середины будущего лета. Но кое-кто в высших сферах все же придерживается мнения, что если Гитлер теперь объявит войну (он еще ни разу не объявлял войны) Америке, это даст ему решительное преимущество. Во-первых, это послужит сигналом к широкому саботажу для многих тысяч нацистских агентов, рассеянных по всей Америке, что не только деморализует Соединенные Штаты, но значительно нарушит их морскую связь с Англией. Во-вторых, в случае объявления войны в ближайшее время, американская армия и флот, в виду угрозы со стороны Японии (согласно тройственному

пакту, Япония должна будет выступить против нас), потребовали бы прекращения вывоза военного снаряжения, которое в противном случае шло бы в Англию. В-третьих, в Америке усилились бы внутренние распри: изоляционисты считали бы Рузвельта виновником войны, как они считали его виновником тройственного пакта. Явно неверная мысль, так как, объяви нам Германия войну, изоляционистские настроения в Америке испарились бы в одно мгновение.

Линдберги и их друзья смеются над предположением, что Германия способна когда бы то ни было напасть на Соединенные Штаты.

Это высмеивание немцам наруку, точно так же, как им было наруку, когда английские друзья Линдберга смеялись над самой мыслью, что Германия может вступить в войну с Англией.

Каким образом Германия сможет напасть на Соединенные Штаты? У меня нет достоверных сведений о военных планах Германии. Но, как я слышал, немцы выдвигают следующие возможности.

Если они захватят английский флот или хотя бы часть его или же если у них будет достаточно времени, чтобы построить на европейских верфях (производственная мощность которых значительно превосходит нашу) сильный флот, они попытаются уничтожить в Атлантическом океане ту часть нашего флота, которую не успеют связать японцы в Тихом океане. Сделав это, они смогут частями перебросить свою армию и воздушные силы через северную часть Атлантического океана, расположив свои базы прежде всего в Исландии, затем в Гренландии, на Лабрадоре, Ньюфаундленде и все дальше, вплоть побережья Атлантического океана. По мере того как эти базы приближались бы к западу, воздушная армада проникала бы все дальше, сначала по пути к США, а затем и в самую страну. Это, пожалуй, звучит фантастично, но в настоящий момент у нас нет настолько мощного воздушного флота, чтобы оказать сопротивление такому походу.

Но большинство немцев считают более вероятным поход через южную Атлантику. Они полагают, что Германия займет французский порт Дакар, а оттуда сделает прыжок в Южную Америку. Главные силы флота США будут в это время связаны в Тихом океане. Из Дакара попасть в Бразилию можно гораздо скорее, чем из Гемптон-Родс. Морские силы Германии, опираясь на этот африканский порт, могли бы с успехом оперировать в бразильских водах, для американского же флота операции в этих водах затруднены дальностью расстояния. Из Дакара транспортные суда могли бы прибыть раньше, чем из Америки. Действия «пятой колонны», сотен тысяч немцев, живущих в Бразилии и Аргентине, парализовали бы оборону этих стран, если бы они попытались ее организовать. Таким образом, Южную Америку, как полагают многие немцы, завоевать нетрудно. А раз Германия утвердится в

Южной Америке, рассуждают они, битва выиграна.

Берлин, 2 декабря

Еще три дня, и меня здесь не будет.

Берлин, 3 декабря

Бесконечные прощальные вечера, которых хотелось бы избежать, но нельзя. Забавный случай произошел на одном из них. Чиновник министерства иностранных дел, казавшийся порядочнее других, похвалив, шагнул мне, что он давно хотел мне кое-что показать. И тут же вынул из кармана билет сотрудника тайной полиции. Должен сказать, что его я никогда не подозревал в этом, хотя знал, что некоторые его коллеги служат в гестапо.

Министерство иностранных дел все еще задерживает мой паспорт и визу, и это меня тревожит. Сегодня ночью провол свою последнюю берлинскую передачу и боюсь, что несколько раз запнулся.

Еще до моей передачи позвонил из Парижа Фленнери. Он был весьма возбужден ожиданием какого-то большого события, которое, по его словам, должно там разразиться послезавтра. Очевидно, к нему был приставлен немецкий чиновник — я не мог выпытать у него ни намека на то, что произошло. Здесь носят слухи, что Гитлер собирается предложить Франции подобие постоянного мирного соглашения, Лавала поставить у власти в Виши, Петэна оставить для декорации, а взамен потребовать присоединения Франции к оси и вступления в войну против Англии.

Берлин, 4 декабря

Получил свой паспорт и официальное разрешение на отъезд. Остается уложить вещи. Уэлли (Дьюэл), ожидавший отъезда, как и я, уехал сегодня. Он собирался лететь, но погода плохая, и немцы, потерявшие за последние три недели три крупных пассажирских самолета (на одном из них погиб мой близкий друг), предложили ему добраться до Штутгарта поездом. Надеюсь, что мне больше повезет. Я вынужден оставить здесь все мои книги, большинство вещей, так как на самолет можно взять лишь небольшой багаж. Эд Мерроу обещает встретить меня в Лиссабоне. Вот и последняя ночь в затемненном Берлине. Завтра огни... и цивилизация!

В самолете Берлин — Штутгарт, 5 декабря

Я выехал из «Адлопа» на Темпельгофский аэродром еще до рассвета. Мела мотель. Полной уверенности, что мы вылетим не было, но в 9.30, несколько минут тому назад, мы все-таки вылетели. Но очень-то весело лететь в такую погоду...

Дрезденский аэропорт.
позднее

Чуть не попали к праотцам. Уже недалеке от Штутгарта наш громадный «Юнкерс», рассчитанный на 32 пассажира, вдруг стал обледеневать. Сквозь окно мне видно было, как обледенело крыло и два мотора на правом борту. Стюардша испу-

галось, хотя мужественно старалась это скрыть, а когда стюардша на самолете пугается, пугаюсь и я. У сиденья напротив чиновника Люфтганзы лоб покрылся испариной. Вид у него был очень подавленный. Куски льда, откалываясь от мотора, ударялись о бок кабины с ужасающим треском. Пилот, который вряд ли мог следить за состоянием самолета, попытался набрать высоту, но ледяная корка была слишком тяжелой. В конце концов он повернул назад и, спикировав, снизился с 2500 до 1000 метров.

— Ниже он спуститься не может, тут легко напороться на гору,— пояснил мне чиновник Люфтганзы.

— Так, так...— сказал я.

— Из-за бурана нельзя пользоваться радио...— продолжал он.

— А нельзя ли сделать где-нибудь посадку?— сказал я.

— Не здесь,— возразил он.— Земная видимость равна нулю.

— Так, так...— сказал я.

Самолет бросало, швыряло из стороны в сторону вверх и вниз. Очень скоро я увидел на циферблате, что мы спустились ниже 1000 метров. Ледяной пестров становился все тяжелее. Следующие четверть часа показались вечностью. Вдруг вырвавшись из тумана и снега, мы стали пикировать на дорогу. Это оказалась двухколесная автострада. Мы пролетели над ней на высоте в 50 футов, но иногда пилот, попадая в полосу метели или тумана, на минуту ослепленный, круто взмывал вверх, боясь задеть за дерево или холм. В 11.30 мы попали на какой-то аэродром. Это оказался Дрезден, который находится на таком же расстоянии от Штутгарта, как и Берлин, если не больше. Приятно было ощущать землю под ногами. У обоих пилотов, когда они вышли из кабины, был очень взволнованный вид. После завтрака я слышал, как один из них сказал начальнику аэропорта, что он боролся, как дьявол, чтобы удержать машину в воздухе. Страшное совпадение: едва мы вошли в зал ресторана, как началась передача последних известий, и первое, что мы узнали, это гибели американского самолета поблизости от чикагского аэропорта. Были человеческие жертвы. Несчастливый день.

На самолете Штутгарт — Лион — Марсель — Барселона,
6 декабря

Легкий «катцен-яммер»... Пережитое возбуждение при отъезде из Германии, близость катастрофы в самолете, прекрасные бары в Штутгарте... Галлет Джонсон, советник нашего посольства в Стокгольме, оказался в одном самолете со мной. Он говорит, что я спал целый час после отлета из Штутгарта, и что это его первый полет, и что мы летели вслепую сквозь облака, и что... В Лионе мы заправились горючим. Немецкая авиация контролирует аэропорт, хотя это неоккупированная зона. С одной стороны аэродрома громоздятся разоруженные самолеты, с другой — выстроилась сотня совершенно нетронутых французских самолетов. Некоторые из них

так и не были использованы французами во время войны. Чиновник немецкого министерства иностранных дел, похожий на ворону, глядя на поверженные, самолеты, ухмыльнулся: «La belle France! А как мы ее расколосматили! По крайней мере на три столетия!...» Приближаясь к Барселоне, мы летим вдоль побережья, и вдруг за правым бортом открывается маленькое испанское селение Льорет-де-Мар, дома белеют в полуденном солнце среди зеленых холмов. Давно это было...

Позднее. Барселона

Фашизм принес Барселоне хаос и голод. Это уже не та счастливая, беспечная Барселона, которую я знал. На Пазео, на Рамблас, на Пласа-де-Каталунья, — всюду молчаливые, изможденные, голодные, угрюмые люди. В отеле Рип, куда мы добрались с аэродрома в тряской деревенской повозке, так как для машин нет горючего, я встретил нескольких друзей.

— Боже ты мой, что тут произошло? — спросил я. — Знаю, гражданская война несет разруху, но эта...

— Нет продовольствия, — ответили мне, — нет порядка. Тюрьмы переполнены. Если рассказать вам, какая грязь кругом, перенаселение, голод, вы бы не поверили. По-человечески питаться здесь нельзя. Мы только поддерживаем существование.

На аэродроме испанские чиновники весь день продергали нас в заключении в тесной комнатке, хотя нас было только несколько человек. Они тоже словно парализованы — неспособны на малейшее организационное усилие. Старший полицейский офицер не мыл рук по крайней мере неделю. Интересовался он, главным образом, нашими деньгами. Мы считали и пересчитывали перед ним наше серебро, банкноты, аккредитивы. Наконец, уже затемно, он отпустил нас.

Эсториль близ Лиссабона,
7 декабря

Лиссабон и свет и свобода, и гигиенические условия, наконец! Мы летели из Барселоны в Мадрид против ветра, скорость которого равнялась ста километрам в час. Пилот старого неуклюжего «Юнкерса-52» уже подумывал повернуть назад из-за недостатка горючего, но в конце концов мы добрались. Всю дорогу мы летели над самыми горами, часто на расстоянии нескольких футов от них. Мы попадали в такие воздушные ямы, что два пассажира ударились о потолок и один из них серьезно пострадал.

На мадридском аэродроме еще больший хаос, чем в Барселоне. Чиновники Франко суетятся, как безумные. Власти решили, что ни один самолет из-за шторма не вылетит. Но затем перешли: один из трех самолетов, назначенных к вылету, отправился в Лиссабон. Сначала они сказали мне, что я могу лететь, затем, что лететь нельзя, затем предложили мне сесть на четырехчасовой поезд, затем сказали, что поезд уже отошел. И все время чиновники кричат, а пассажиры мучутся. Ресторан есть, но еды в нем нет. Наконец стали вызывать пассажиров на

лиссабонский самолет. Разрешили лететь только группе испанских чиновников и одному немецкому дипломату. Я потребовал свой багаж. Никто не знал, где он. Вдруг какой-то чиновник протиснулся сквозь толпу ко мне и потащил меня к самолету. Не было возможности спросить насчет багажа или куда летит самолет. Через минуту мы поднялись, пролетели над развалинами Университетского городка и до наступления сумерек летели над долиной Тахо. Показался Лиссабон. На аэродроме португальские власти продержали меня несколько часов, так как я не мог предъявить билета в Нью-Йорк, но в конце концов отпустили меня. В Лиссабоне гостиницы переполнены, номера достать нельзя — город полон беженцев. Но я нашел комнату в Эсториле. Хороший обед с местным вином, прогулка по городу, чтобы полюбоваться огнями, а теперь — в постель. Точно бремя скатилось с плеч. Эд Мерроу приезжает завтра из Лондона, и мы отпразднуем нашу встречу.

Эсториль, 8 декабря

Сегодня светит чудесное южное солнце, и я провел все утро, слоняясь по городскому саду и радуясь, что еще цветут цветы. Гулял на пляже. С моря набегали большие синие волны и бурно пенились, ударяясь о песчаный берег. Возмолвие, мягкий ритм моря были невыразимо хороши. Слишком хороши, к этому не привыкнешь в одно утро. Я бежал отсюда, позвал такси и отправился в Лиссабон встречать Эда. Осторожные англичане на авиалинии не хотели говорить, когда прибудет самолет и прибудет ли вообще, очевидно, из опасения, что эти сведения каким-то чудом дойдут до немцев, которые собьют самолет. Я ждал, пока не стемнеет, а затем вернулся в Эсториль.

Позднее

Эд, наконец, приехал, и было очень хорошо. Мы до одури болтали с ним всю ночь, с десяти часов вечера, перебирая события за год войны, а теперь в пять часов утра, приятно возбужденные, отправляемся в постель. Принимаю во внимание бомбежки, которые он перенес, и убийственный темп его работы, Эд выглядит неплохо. Он несколько не спал.

Эсториль, 9 декабря

Мы валялись на пляже, под солнцем. Эд говорит, что бомбежки в Англии были страшные, но не такие уж, как хвастали немцы. Кроме Лондона, сильно пострадали от бомбардировок Ковентри, Бристоль, Саутгемптон и Бирмингем. Особенно центральные кварталы этих городов — церкви, общественные здания, частные дома. На объеме промышленного производства, по словам Эда, отозвались не столько повреждения, причиненные заводам, сколько расстройство нормального хода жизни в районах, где живут рабочие и где сосредоточены предприятия по снабжению электроэнергией, водой и газом. Англичане пришли к выводу, что германская авиация во время ночных налетов не стремится вывести из строя заводы, у нее

есть другие важные задачи, и, прежде всего, она старается терроризировать мирное население, затем разрушить важнейшие участки коммунального хозяйства и таким образом парализовать жизнь больших городов. Это, мне кажется, верно.

Эд хорошего мнения о моральном состоянии англичан, в котором мы в Берлине несколько сомневались. Оно великодушно, говорит он.

Эсториль, 10 декабря

Пат Келли, талантливый руководитель Трансамериканской линии воздушных сообщений, говорит, что у меня мало шансов попасть домой к рождеству, если я буду ждать почтового самолета. Сообщение нарушено, так как на аэродромах в Хорте размыт грунт и большие самолеты лишены возможности взлетать. Он советует мне ехать пароходом. Так как это будет мое первое рождество на родине за 15 лет, я сегодня же отправился в Бюро пароходства заграничного плавания, чтобы заказать билет на «Эскамбион», который отходит в пятницу. Бюро было битком набито беженцами, дрожащими, отчаявшимися, трагическими жертвами гитлеровского террора. Они молили о месте, любом месте на ближайшем пароходе. Но, как объяснил мне один из служащих пароходства, в Лиссабоне три тысячи беженцев, а пароход забирает только 150 пассажиров и отходит только раз в неделю. Директор обещал мне местечко на «Эскамбионе», который отходит в пятницу, 13-го, — хотя бы матрац в одном из салонов. Сегодня вечером мы с Эдом были в казино. Залы были полны посетителей. Станный ассортимент человеческих существ: немецких, английских шпионов и шпионок, богатых беженцев, сумевших каким-то непонятным образом вывезти большие деньги и щедро швырявших ими направо и налево, разоренных беженцев, пришедших сюда попытаться счастья на рулетке в отчаянной надежде добыть деньги на проезд двумя-тремя азартными ставками, и международных шулеров, которых всегда можно встретить в таких местах. Ни мне, ни Эду не повезло на рулетке, и мы перешли в танцевальный зал, где такого же сорта публика старалась потопить все свои горести в вине и джазе.

На борту парохода «Эскамбион», 13 декабря (полночь)

Весь день мы были удручены предстоящей разлукой, ведь все последние бурные три года мы проработали вместе, в тесном общении друг с другом, и между нами возникла настоящая крепкая связь, одна из тех, которые не часто бывают в жизни. Почему-то — может быть, это глупая сентиментальность — нами овладело предчувствие, что встреча эта последняя, что случайности войны, какаля-нибудь шальная бомба, разлучит нас навсегда.

В ожидании парохода мы падали взад и вперед вдоль доков. Спускались сумерки. Неподалеку, на открытом воздухе, находился маленький бар, посещаемый грузчиками. За стойкой стояла блондинка, плот-

ная, неряшливая португалка. Она болтала, разливая напитки. Вскоре совсем стемнело, начали поднимать сходни. Я взобрался на пароход, а Эд ушел в ночь.

Над Тахо встала полная луна. Пароход вышел в море. В Лиссабоне и на прибрежных холмах ярко сияли миллионы огней. Долго ли еще гореть им? За Лиссабоном, почти во всей Европе, огни потушены. Только здесь, на этой маленькой юго-западной окраине континента ночь еще освещается огнями. Здесь еще цивилизация не растоптана нацистским сапогом. Но через неделю? Через месяц? Через два? Не нагрянут ли и сюда гитлеровские полчища, не загасят ли последние огни?

Пять других американских корреспондентов, бегущих от войны на родину, из Англии, из Германии, из Франции, сидели в маленьком баре парохода над стака-

ном вина. Это хорошее средство смягчить горечь прощания. Я подсел к ним. Налили вина и мне. Но алкоголь не всегда действует. Я был взбудоражен, встревожен. Вышел на палубу. Некоторое время я стоял у перил, глядя, как уходила вдаль огни Европы, где я провел 15 лет жизни, где я приобрел весь свой жизненный опыт и те скромные знания, которыми я обладаю. Немало лет, но лично для меня это были счастливые годы, для народов же Европы—годы надежды, пока не пришла война и нацистская чума, и ненависть, и ложь, и политический бандитизм, и убийства, и бойня, и безграничная нетерпимость, и все страдания, и голод, и холод, и грохот бомбы, на куски разрывающей людей в домах, грохот всех бомб, разрушающих человеческие надежды и все, чем хороша человеческая жизнь.

Слава и честь русского оружия

I

Биографы Суворова справедливо указывают на то, что «военный его гений, несмотря на всю оригинальность свою, выработался под влиянием классических впечатлений»¹.

Корни родословной Суворова-полководца теряются в глубокой древности.

Во время швейцарского похода, отдыхая на соломе в альпийской хижине, старый Суворов поучал молодого Милорадовича: «Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед; поравняйся, обгони — слава тебе! — Я выбрал Цезаря — альпийские горы за нами... Орлы русские облетели орлов римских».²

Но Юлий Цезарь не был единственным «наставником» Суворова. Он вдохновлялся примером Эпаминонда, умеравшего с гордым сознанием, что за всю жизнь не проиграл ни одного сражения. Он проникался непоколебимой справедливостью Аристиды.

Учился Суворов искусству войны и у своих ближайших предшественников, умея извлекать пользу как из безрассудной решительности Карла XII, так и из нерешительной рассудительности Монтекули.

Генеалогия Суворова-полководца естественно насчитывает в своих рядах в сущности всех выдающихся военачальников далекого и недавнего прошлого. Однако, называя имена учителей и предшественников Суворова, обычно забывают одного, служившего непосредственным образцом для него; перечисляя книги, оказавшие воздействие на суворовскую мысль, упускают одну, бывшую для него своего рода азбукой. Я разумею Петра I и его «Устав воинский».

Петр казался Суворову «Прометеем», «редким, чудесным смертным». Он поражался, «как такие сверхчеловеческие силы вмещались в голове необразованной, по словам беллетристов, ученым воспитанием»; советовал иностранцам учиться по-русски, чтобы познакомиться с этим «великим человеком»; удивлялся его гению «и на Ладожском канале, и на Полтавском поле»; считал, что Ладожский канал — лучший «монумент» Петру — ждет лиры Державина («водопад — чудо природы,

здесь — чудо искусства», говорил он); находил, что один Петр обладал «великой тайной выбирать людей»; цитировал его изречения. Наконец, Петр был в глазах Суворова «первым полководцем своего века». Высказывая это, Суворов ссылался на авторитет Румянцева: «мнение мое и Румянцев удостоил одобрить».³

Суворов родился несколько лет спустя после смерти Петра I, но вырос в атмосфере петровских традиций. Отец его, Василий Иванович Суворов, был крестником Петра и служил при дворе денщиком. Дружбу с ним водил известный «арал Петра Великого» — Абрам Петрович Ганнибал. Мальчик Суворов не мог не слышать их рассказов о «батюшке Петре Алексеевиче». Оба они были питомцами Петра. Посмертным «птенцом гнезда Петрова» становится и Суворов. Недаром Ганнибал сказал однажды своему приятелю, что если бы жив был Петр Великий, то поцеловал бы его сына в лоб и похвалил за настойчивые труды.

Суворов вполне подходил к типу нового русского человека, воспитанного Петром. Руководящим правилом этого нового человека было: «жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага». Это правило внедрял в его сознание сам Петр, не знавший частного интереса вне интереса общего⁴.

В натуре Суворова было много родственного с Петром. Их сближает между собой самоотверженная любовь к отечеству, возвышенное понимание своего долга перед родным народом, неутомимая жажда деятельности, исключительное умение владеть своим временем, прямота и упорство характера, отвращение к внешней условности в обращении с людьми, русский склад ума с его грубоватой приветливостью и живым чувством высокого и смелого. Даже пресловутые чудачества Суворова, неспроста названные им своими «рекреациями», несколько сродни подобным же выходкам Петра: в них находила разрядку вечно напряженная и целеустремленная энергия двух великих русских людей.

Такую бьющую ключом энергию, такое всеподчиненное себя своему призванию встречаем мы только в одном современни-

же Суворова. Лишь в одном Ломоносове сказались в такой же полной мере человек петровской закваски. В разных областях Суворову и Ломоносову суждено было выполнить однородное дело. С «благородной упрямкой» и дукротимой пылкостью отставал Ломоносов национальный характер русского просвещения, — неотразимой силой личного примера и боевого опыта утверждал Суворов национальные начала русского военного искусства.

Возвращение Ломоносова из-за границы и вступление Суворова на военную службу совпали с первыми годами царствования Елисаветы. Позор бирюшницы был позади; господству иностранных карьеристов, казалось, был положен предел. Однако — быть может менее открыто и явно, чем раньше — немцы всё еще продолжали, по выражению мемуариста, как «однодневные мушки, забиваться в мельчайшие изгибы государственного тела России»⁵. Вот тут-то и поднялись на защиту «труда Петра Великого» (Ломоносов) подлинные наследники его заветов, говоря словами Петра — «истинные сыны российской». Задачей их было вновь вызвать к жизни заглушенные петровские традиции.

Между петровским «Уставом воинским» (1716) и суворовской «Наукой побеждать» в ее окончательной форме (1796) лежит восемьдесят лет. Почти сорок лет отделяют первые самостоятельные выступления Суворова, как военного наставника, от петровской эпохи. Между ними тянется полоса упадка. Военный историк так характеризует эту эпоху: «Во времена Миниха и других иноземцев-начальников на первом плане была строгая «муштровка». Мелочи «ружьиштики», детально-педантическое исполнение уставных пунктов немецкой школы, — всё это заглушало корни военно-воспитательных вопросов, установленных Петром, которые в своей своеобразной форме могли быть вполне понятны только природным русским людям, воспитанным в национальной, а не в иноземной школе»⁶.

Таким природным русским человеком, воскресившим военно-воспитательные начала Петра I, и был Суворов.

II

Петр I заставлял переводить на русский язык книги по военному делу и считался с военными авторитетами (так, например, «Юлиус Цезарь» с почтенным упоминаньем в «Уставе воинском»), по в основу его боевого искусства положен большой личный опыт. На это указывают постоянные обмелки и оговорки Петра в его инструкциях: «я в последней акции видел сам...», «усмотрел я...», или его ссылки на пример «последней баталии»⁷.

Суворовская «Наука побеждать» впитала в себя весь многовековой опыт величайших полководцев всех стран и народов, но этот опыт был принят Суворовым только после личной проверки его на «практике».

Военно-воспитательные положения Петра вытекают из глубокого знания национальных и исторических черт

русского воина. Корянкой особенностью его Петр считал природную выносливость и врожденную склонность к послушанию («ни единый народ в свете так послушны как российский»). Под ферулой грубого воспитателя эти черты могут выродиться в тупую покорность раба. История крепостнической России знает немало примеров такого полного морального подавления человека. Наоборот, в руках умелого воспитателя-психолога те же самые свойства обращаются в мощное и гибкое средство пробуждения и развития человеческого достоинства. Денис Давыдов писал о Суворове: «Найдя повинование начальству — сей необходимый, сей единственный склей всей армии, — доведенным в нашей армии до совершенства, ...он удесятёрил пользу, приносимую повинованием, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире, — чувством, которого следствию нет пределов»⁸.

Суворов приучал смотреть на послушание — «субординацию» как на «мать» военного искусства. При Павле и Аракчееве, внушаемая дикими окриками и свистом шпирутенгов, субординация превратилась в ненавистную ма чеху военной службы. Молодой Суворов, стоявший на часах, отказался взять от императрицы Елисаветы крестовик, твердо зная, что военный устав запрещал часовому принимать деньги от кого бы то ни было. Этот известный эпизод из биографии Суворова показывает, насколько строго соблюдал он предписания устава. Смолоту в Суворове глубоко вкоренилось убеждение, что прежде чем повелевать нужно самому уметь повиноваться.

Крепкая дисциплина, основанная на субординации, служила в глазах Петра одним из залогов нравственного воспитания солдата. В «Уставе воинском» говорится: «...ничто так людей ко злу не приводит, как слабая команда, которой пример суть дети в воле без наказания и страха возвращенные, которые обыкновенно в беды впадают. Но случается после, что и родителям пагубу приносят. Так и в войске командующий суть отном оных, которых надлежит любить, снабждать, а за прегрешения наказывать. А когда послабит, то тем по времени вне послушания оных приведет и из добрых злых сочинит и порадетельных и в своем звании оплошных. И тако себе гроб ископает и государству бедство приключит...» Следуя этому правилу устава, затверженному наизусть, Суворов не допускал нарушения дисциплины и требовал твердости от командиров. В одном из приказов он предписывает: «В случае оплошности взыскивать и без наказания не оставлять, понеже ничто так людей к злу не приводит, как слабая команда. Почему командующему за прегрешения неослабно наказывать, ибо когда послабит, то тем временем в непослушание придут и в своем звании оплошнее учинятся». Чем выше был чин, тем строже взыскивал Суворов с виновного за проступки против дисциплины. Во время итальянской кампании 1799 г., видя, что генерал Розенберг медлит выполнить дав-

ный ему приказ. Суворов написал ему: «Не теряя ни минуты, немедленно сие исполнить или под военный суд»⁹.

Строгость Суворова не умаляла его популярности. И солдаты, и офицеры знали, что если он наказывает, то наказывает не зря, а за дело. Он никогда не оскорблял и не унижал в человеке человеческого достоинства; он, по справедливому замечанию Дениса Давыдова, «не сделал несчастным» ни одного подчиненного. Нередко полные укоризны слова: «Ты не русский, это не по-русски», действовали сильнее любого наказания. И достаточно было Суворову сказать: «Покажи на деле, что ты русский», чтобы виновный постарался всячески загладить свой проступок.¹⁰

Внушая молодым офицерам, каким должен быть образцовый командир, Суворов включал в число обязательных его качеств «подчинение без униженности». Суворов требовал не слепого повиновения, а сознательного исполнения своего долга. Поступая так, а не иначе, каждый должен был отдавать себе полный отчет в том, почему именно он поступает так, а не эдак. В приказе, относящемся ко времени итальянской кампании 1799 г., Суворов писал: «Не довольно, чтобы одни главные начальники были известны о плане действия. Необходимо и младшим начальникам постоянно иметь его в мыслях, чтобы вести войска согласно с ним. Мало того: даже батальонные, эскадронные, ротные командиры должны знать его по той же причине, даже унтер-офицеры и рядовые. Каждый воин должен понимать свой маневр. Та и на есть только предлог, больше вредный, чем полезный. Болтуя и без того будет наказан».¹¹

Сознательность была одним из начал, прививаемых военно-воспитательной системой Петра. «Устав воинский» 1716 г. с тем и был «учинен», дабы всякий «знал свою должность, и обязан был своим званием, и неведением не отговаривался». В 1722 г. Петр присоединил к нему дополнительные пункты, предписывающие офицерам, под угрозой строгой ответственности, «рассуждать» и сообразовываться с обстоятельствами, применяя правила устава, а не держаться их «яко слепой стены», «ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет».¹²

Тем самым предоставлялась командиру полная свобода проявить свои способности и свои знания. Военный устав заключал лишь общие, исходные данные; всё остальное зависело от «мудрой осторожности командующего». Суворов никогда не уставал напоминать офицерам, насколько на войне необходима инициатива. Он избегал давать им до мелочей разработанные инструкции. В этом отношении показательна составленная им диспозиция первой экспедиции на Туртукай: «...Атака будет ночью с храбростью и фурнею российских солдат. Расстройки: против правого неприятельского положения, где у них первый незнатный лагерь, потом, пробываясь до наших палаток, где у них лагерь поменьше, а наконец и версты 3 оттуда далее, до их лагеря побольше... Сия есть

генеральная диспозиция атаки; ...а подробности зависят от обстоятельств, разума, искусства, храбрости и твердости господ командующих». Истоки этих суворовских наставлений не трудно отыскать в петровском уставе. Так, например, после общего указания, как войскам строиться в бою, в уставе следует пояснение: «Сие всё зависит от осторожности, искусства и храбрости генерала, которому положение земли, силу неприятеля и обыкновение оного знать и потому свое дело управлять надлежит».¹³

Здесь уже содержатся зерна основных правил суворовской науки побеждать. Сочетать храбрость с умением, развивать «глазомер» (иными словами, знать «положение земли»), изучать своего противника,— всего этого требовал и Суворов. Уменьше порождает уверенность в себе, уверенность в себе порождает храбрость — таково было убеждение Суворова. Суворовская «па себя надежность» это то же, что петровское «бесконфузство». В инструкции 1708 г. для обучения войск Петр четко отделяет, так сказать, внешнюю, материальную сторону военного искусства от внутренней, нравственной его стороны. К первой он относит «справную и неспешную стрельбу», «добрый» приезд, отступление и наступление, «секундирование» и «прочие обороты и потвиги воинские»; ко второй — «бесконфузство», которое «всему мать есть... ибо кто его не блюдет, тот всегда бесприкосновение потеряет». «Бесконфузство» — уверенность в себе, самообладание, неустрашимость — «едино войска возвышает».¹⁴

«Готовься в войне к миру, а в мире к войне» — этими словами передавал Суворов завет Петра: «надеясь на мир, не ослабевать в военном деле».¹⁵ Петр считал необходимым в мирное время всячески поддерживать боевые способности войска («надлежит непрестанно тому обучать, как в бою поступать»); Суворов достигал этого постоянными «экзерцициями», проводившимися в обстановке наиболее близкой к условиям боя.

Понятие воинской чести было вынесено Суворовым из петровской школы. Не павший своей жизни ради отечества, Петр требовал того же и от каждого отдельного воина. Еще в 1704 г. он утвердил инструкцию, в которой говорилось: «...если какую причину или множеством (неприятельских людей) назад пожмут, и тогда отнюдь не должен никто бегать назад, но стоять до последнего человека, как добром солдату надлежит, под наказанием смерти, также и во время боя приказано задним стрелять из пушек и из ружья по тем беглецам без всякого милосердия».¹⁶ Петр строго настрого запрещал «господам генералам» отступать до получения на то директив от главнокомандующего.

Нравственная подготовка сражения занимает видное место в военном искусстве Петра I. В знаменитом приказе по войскам в день полтавской битвы он выказал глубочайшее понимание психологии русского воина, умение вдохнуть в него мужество и героический пыл. Этот приказ

Петра — замечательное обращение русского полководца к русским войскам. Наступил решительный час. Не за Петра предстоит им сражаться, но за государство, за отечество, за «род свой». Не должна смущать их «слава непобедимости неприятеля»: ложь ее не раз доказали они своими победами. А ему, Петру, жизнь не дорога, «жила бы только Россия во славе и благоденствии».¹⁷

Эти слова Петр подкрепляет делом. В критическую минуту полтавского боя, когда ряды русских войск были разорваны шведами, Петр во главе одного батальона сам бросается в сечу и восстанавливает дрогнувшее равновесие.

Презрение к трусости было одной из отличительных черт нравственного облика суворовца. Чем ближе к врагу, тем лучше, — твердил ему Суворов: «Урабрый впереди — и жив; трусиху и назади убивают, как собаку; ему, если и жив останется, ни чести, ни места нет». Шаг назад равносил смерти.

Воспитывая в своих подчиненных чувство нравственной силы, твердой уверенности в себе, Суворов изгонял из официального языка термины, выражавшие понятия противоположного свойства, высмеивал слова, отвечавшие инстинкту самосохранения: «С и к у р с (поддержка — К. П.) есть слово ненадежной слабости, а р е з е р в — склонности к мужественному нападению; о п а с н о с т ь есть слово робкое и никогда, как и с и к у р с неупотребляемое и от меня заказанное. А на то служит о с т о р о ж н о с т ь, а кто в воинском искусстве тверд, т о п р е д с т о р ж н о с т ь, но не торопливость»¹⁸.

Суворов не допускал ненужных бравад, но в решительную минуту всегда готов был подать пример бесстрашия и самообладания. Дважды раненый в кинбурнской битве, он, пока позволяют ему силы, остается в строю и воодушевляет солдат.

Подобно Петру, Суворов мастерски осуществлял нравственную подготовку сражения. Обезжая полки, он заражал их духом непобедимости, вспоминал прошлые победы, вселял в них уверенность в неминуемом успехе. «Богатыри, неприятель от вас дрожит» — таков был лейтмотив его напутствий в бой.

Чувство уныния было органически чуждо Суворову. Когда его донимали козни недругов, он раздражался, сердился, негодовал, но не унывал никогда. Суворов умел разогнать чувство уныния и растерянности в окружающих. Средства, к которым обращался при этом Суворов, были разнообразны. Он умело рукою касался патристических струн души русского воина. «Русак не трусак; пройдем» — говорил он, когда его войска, казалось, были обречены на гибель в альпийских пропастьях, — и русак проходил. Он шутил и смеялся, когда на сердце его гнетущим камнем лежало австрийское предательство, — и этот смех, и шутки, и народные прибаутки, срывавшиеся с его уст, разряжали гущенную атмосферу усталости, лишений и разочарований. Современный английский фельдмаршал Уйэвелл, рассуждая об искусстве полководца, заметил: «Только один

знаменитый полководец обладал чувством смешного — это русский генерал Суворов».¹⁹ Напоминание о Рымнике и Измаиле и уместная шутка были в устах Суворова одинаково действенными средствами для пробуждения нравственного элемента в походных или боевых условиях.

Не одним штыком поражали противника суворовские «чудо-богатыри»: они поражали его своим моральным превосходством. Военная этика Петра и Суворова предписывала гуманное и великодушное отношение к пленным. Оно служило резким контрастом бесчеловечному обращению с русскими пленными в других странах.

В 1705 г. Петр I представил британскому, прусскому и голландскому послан в Москве двух солдат, бежавших из шведского плена: у обоих на руках и на ногах были обрублены пальцы. По их показанию, это было сделано на глазах шведского короля. В предшествующем году шведы сожгли здание, в котором находилось до двухсот русских военнопленных. По приказу самота Карла XII, захваченные в плен русские казаки избивались до смерти палками. В 1706 г. с исключительной жестокостью были умерщвлены все русские, взятые в плен при Фрауштадте: их клали один на другого по два и по три и кололи штыками, пиками и ножами. «Лютость таковая происходила по точному повелению самого короля шведского», — замечает летописец «деяний Петра Великого» Голицов. Тот же Голицов повествует, что после полтавской победы, Петр милостиво принял пленных неприятельских генералов, возвратил им шпаги, пригласил к своему столу. «А между тем по его повелению угощаемы были столом и все пленные офицеры, накормлены со изобилием и все пленные же солдаты». На содержание пленных Петр определил «довольные деньги»²⁰.

В Семилетнюю войну, в битве под Цорндорфом, Фридрих II «приказал не шадить ни одного русского». Исполняя приказ короля, пруссаки сбрасывали в ямы раненых русских солдат и закапывали их вместе с убитыми. Между тем фельдмаршал Салтыков отмечает в своих реляциях, что русские солдаты проявляли в высшей степени человеческое отношение к побежденным. Очевидец рассказывает: «Многие наши легко раненые неприятельских тяжело раненых на себе из опасности выносили; солдаты наши своим хлебом и водою в коей сами великую нужду имели, их снабжали».²¹

Воинский устав Петра I «под смертным страхом» воспрещал, «не токмо в своей союзничей или нейтральной землях, но и в неприятельской» принимать какие-либо «обиды» мирным жителям. Инструкция 1706 г. генерал-майору Брюсу и бригадирю Шонбургу также внушала никаких «бесчинств огню не чинить, но поступать как вышним, так и рядовым так, как добрым и честным солдатам надлежит...»²²

Так, еще с отроческих лет русской военной мощи внедрялось в сознание наших войск правило, позднее сформулированное в известном афоризме Суворова: «Солдат — не разбойник».

Правило это, определявшее гуманный

образ действий по отношению к пленным и к обывателям на чужой стороне, стало одной из лучших национальных традиций русской армии. Всякое отступление от него являлось своего рода аномалией, стекавшей из чуждых русской военной этике принципов. Знаменательно, что упомянутая о фактах насилия и разбоя, допущенных некоторыми офицерами во время взятия Варшавы в 1794 г., один мемуарист — русский немец — замечает: «К моему удивлению, эти офицеры большей частью не русские, а немцы».²³

Особенной жестокостью запятнал себя еще в эпоху первой польской войны подполковник Древиц, немец на русской службе. Он с полным хладнокровием отрезал кисти рук у пленных поляков. Необузданная жажда наживы была основным стимулом его военной карьеры.

Письма Суворова к главнокомандующему русскими войсками в Польше И. И. Веймарну кипят негодованием против Древица. Этот иностранец напрасно кичится своими победами: их одерживал не он, а русские солдаты. Сам он чужд России и не понимает ее, — «он в определенные три года российской грамоте не научился». Древиц угрожает своим «абшитом», отставкой, — пусть; найдется довольно русских, чтобы заменить его. Он только позорит честь русского оружия, действуя «в стыд наш... в стыд России, лишившейся давно таких варварских времен».²⁴

Это писал Суворов, которого враги его называли северным варваром. Немилосердно коверкая его фамилию, французы пользовались созвучием между «loup-garou» (оборотень) и «Sourgaru» и стращали непослушных детей именем русского полководца.

Только лютая злоба и открытая ненависть могли превращать Суворова в бугу и пугало.

Предписывая бить, колоть, рубить и преследовать неприятеля «пока истреблен не будет», Суворов строго разграничивал противника сопротивляющегося и противника, складывающего оружие. «Неприятель сдался — пощада», гласит суворовская «Наука побеждать». В своих приказах Суворов беспрестанно напоминает: «Если неприятель будет сдаваться, то его щадить; только приказывать бросать оружие»; «с пленными быть милосерду»; «...сильно бить, гнать и истреблять неприятеля холодным ружьем; но покоряющимся давать пардон подтверждается»; «...кричать пардон, а ежели не сдаются — убивать».²⁵

Суворов требовал, чтобы с пленными обращались человечно, кормили хорошо, «хотя бы то было и сверх надлежавшей порции». Сам он показал пример рыцарски благородного отношения к пленным, вернув шпагу французскому генералу Серьюрье со словами: «Кто ею так владеет, как вы, у того она нестьемлема».²⁶

Суворов строжайшим образом запрещал трогать мирных жителей. За «шалости на квартирах» он гневно взыскивал с виновных. «Солдат бей врага на сражении, а с

бабами не воюй, не градь», говаривал он «Вор не служивый; он худой солдат».

Слова эти глубоко западали в душу суворовской армии.

«Вас могут... утешить великодушие и умеренность победителей в отношении побежденных, — писал комендант Варшавы Орловский пленному польскому патриоту Костюшко, — если они будут всегда поступать таким образом, вы увидите, что наш народ, судя по его характеру, крепко привяжется к победителям».²⁷

Поступая так и уча других поступать так, Суворов действовал с «благосудной» обдуманностью и дальновидностью. Это давало ему возможность утверждать в 1795 г., когда назревала опасность войны с Пруссией: «Если бы прусский король вздумал предпринять что-либо против России, то большая часть жителей употребит оружие в нашу пользу».²⁸

Восстановление монархии в Неаполитанском королевстве в 1799 г. сопровождалось жестоким преследованием республиканцев и всех подозреваемых в сочувствии республике. Казни, убийства, грабежи бушевали в Неаполе. Лишь в домах, занятых русскими войсками, находили надежное убежище обреченные, ускользнувшие от ножа разнуздавшихся палачей. Среди спасенных был знаменитый итальянский композитор Чимароза. Рассказывая об этой резне, историк восклицает: «срам Италии и слава русским!»²⁹

Солдаты Суворова помнили, что русское слово твердо. Когда Суворов спросил одного из участников войны 1799 г., кто внушил ему чувство гуманности и верность своему слову, тот отвечал: «Русская азбука: с, т (слово, твердо) и словесное ваше сие смятельство к нам поучение».³⁰

III

Расценивая Петра как «первого полководца» своей эпохи, Суворов, конечно, имел в виду не одни военно-воспитательные его приемы. Родоначальник всех выдающихся полководцев нового времени, Петр явился самобытным новатором в области европейской стратегии и тактики.

Петр-полководец сочетал в себе решительность с осторожностью, т. е. качества, составлявшие в глазах Суворова неотьемлемое достоинство истинного героя. Именно эта строгая проверка себя рассудком и дѣлает Петра великим полководцем. Полной противоположностью ему был его современник и соперник Карл XII, обладавший только необузданной смелостью и действовавший всегда очертя голову.

Основным началом стратегии Петра было конечное истребление неприятельской армии. Сосредоточивая, а не раздробляя свои войска, Петр избирает главной целью своих ударов не крепости, как при нем было принято на Западе, но живую силу противника; пассивной обороне, общепринятой в Западной Европе, предпочитает активную, рассматривая оборону лишь как подготовку к наступлению; не довольствуется честью выиграть поле сражения, но обращается к немедленному преследованию врага.³¹

Особенности стратегии Петра, как и его военной педагогики, проникнуты мыслью, что главную силу армии, ее основную ценность составляет солдат. Тем самым определяется и устанавливаемое Петром отношение командиров к подкомандным «яко отцов к детям». «Целость солдата» вменялась в обязанность офицеру.³²

Было бы неправильным думать, что возрождение петровских начал русского военного мастерства было делом одного Суворова. Его наука побеждать возникла не на пустом месте. Петр заложил для нее прочный фундамент, но он успел некрошиться и обветшать от времени. Над восстановлением недостающих в нем камней, над очисткой его от сору потрудился целый ряд русских людей, выступивших вместе с Суворовым на военном поприще. Но нужно было быть Суворовым, чтобы возвести на этом основании стройное и величественное здание по-настоящему национального военного искусства.

Из всех современников Суворова наиболее убежденным поборником петровских военных традиций был Румянцев. Суворов недаром называл себя учеником Румянцева.³³ «Обряд службы» Румянцева, общепринятый с 1770 г., и его «Мысли о воинской части» во многом предвзвешают суворовскую «Науку побеждать».

Первым, основным правилом стратегии Румянцева считал уничтожение живой силы противника. «Никто не берет города, не разделавшись прежде с силами, его защищающими» — таков был руководящий принцип его образа действий.

В эпоху Мишиха внешние мелочи военного обучения совершенно вытеснили внутреннюю сущность военного искусства — задачу нравственного воспитания солдата. Румянцев первый провел отчетливую грань между вопросами обучения и вопросами воспитания. Созданные же классически законченной военно-воспитательной системы выпало на долю Суворова.³⁴

Успех обучения обуславливается, по убеждению Румянцева, «труднолюбивым примером» младших начальников и простотой устава. Чем проще правила, тем они доступнее. Этими указаниями Румянцева подготавливалось суворовское положение: «Обучение нужно, лишь бы с толком и кратко».³⁵

Военному искусству Румянцев уделял должное внимание. От искусства зависит инициатива. В эпоху Румянцева самостоятельность военачальника сковывалась заранее разработанными планами. Еще в 1769 г., в начале русско-турецкой войны, Румянцев убедился в полной несостоятельности плана, составленного военным советом при петербургском дворе (копия австрийского гофкригсрата). План составлялся на основании «ряда предположений о вероятнейших способах действия противника» и соответственно этому определялся «способ действий армии на каждый случай». Румянцев решительно восстал против подобного связывания рук главнокомандующему и всячески поощрял и развивал в своих подчиненных дух инициати-

вы, основанной на «искусстве и способностях».³⁶ Суворов «смолоду проникся твердой уверенностью в невозможности выиграть «баталию» по «идеальным выметкам» кабинетов, и эта уверенность усвоена им в румянцевской школе.

В своих «Мыслях о воинской части» Румянцев определяет субординацию как «душу службы» и отводит отдельные статьи «чистоте» и «лучшему призрению и врачеванию больных», т. е. опять-таки тем сторонам армейского быта, которые были предметом неусыпного попечения Суворова.³⁷

Румянцев более других современников Суворова приближался к тому идеальному образу полководца, какой рисовался в его воображении. Отличавшийся бесстрашием и учивший других презирать страх («ближе к неприятелю, — ближе к победе»), Румянцев был предан своему делу и любил свою армию. Десять лет спустя после кагульской битвы Румянцев случайно встретил в Орле одного сторожа, служившего ранее рядовым под его начальством, узнал его, назвал по имени и расцеловал.³⁸

Суворов уважал и ценил Румянцева и считался с его мнением. Известно, что он посылал Румянцеву военные реляции даже тогда, когда не был подчинен ему.

Не один Румянцев ратовал за национальные основы русского военного искусства. Той же мыслью проникнуты «Инструкция ротным командирам» графа С. Р. Воронцова и анонимная «Инструкция пехотного (конного) полка полковнику». Последняя вменяла в обязанность внушать войскам при помощи исторических примеров, что «никакие страхи и трудности храбрость и верность российской солдат никогда поколебать не могли». По мнению Воронцова, это сознание и должно порождать то честолюбие, — «амбицию», — «которое одно может возбуждать к предостережению трудов и опасностей и подвигнуть на всякие славные подвиги».³⁹ Здесь мы встречаем то же понимание честолюбия, какое было свойственно и Суворову. Это честолюбие патриота.

С. Р. Воронцов, впоследствии известный дипломат, посол в Лондоне и корреспондент Суворова, написал свою «Инструкцию» в бытность полковником первого гренадерского полка, в 1774 г. Поклонник Румянцева, Воронцов отличился под его знаменами при Ларге и Кагуле. Когда он составлял «Инструкцию ротным командирам», Суворов уже несколько лет применял свои приемы обучения и воспитания войск. Но «суворовские» замечания Воронцова о субординации, чистоте, опрятности, солдатском честолюбии, отношении командиров к подчиненным не свидетельствуют о какой-либо зависимости Воронцова от Суворова. Они говорят о другом, — о едином направлении мыслей и о едином руководстве. Таким руководством для Воронцова, как и для Суворова, был военный устав и артикулы Петра I. Воронцов сумел провести в жизнь коренные положения военно-воспитательной системы Петра. Как начальник, он оставил по себе хорошую память:

он нам был отец, а не командир», говорили о нем солдаты.⁴⁰

Пользовались любовью войск и Салтыков, и Румянцев. Однако ни кунерсдорфский победитель, ни кагульский герой не были для солдат тем, чем стал для них Суворов. «Великолепный князь Тавриды» Потемкин «худо спал» от заботы о солдатах, а они распевали про него:

Вор-Потемкин генерал

В своем полку не бывал.⁴¹

Потемкин смотрел на солдата, как на «стража целостности отечества», писал разумные, продиктованные трезвой необходимостью соображения о «туалете солдатском», ввел в армии новое удобное обмундирование, но солдаты не считали его своим. Он мог потребовать себе солдатского квасу или кашу, но делалось это им не по-суворовски: в Потемкине то было прихоть, просыпченностью тонкими яствами, и солдат знал, что расшитый шатер, раскинутый посреди лагеря, китайской стеной отгораживает Потемкина от солдатской палатки. Только один Суворов может быть назван в полном смысле слова первым солдатом среди своих подчиненных.

Военная служба, начатая с «долговременного бытия в нижних чинах», крепкой внутренней спайкой связала Суворова с солдатской средой, — в этом тайна его неотразимого влияния на солдат. Суворов, как никто, знал и любил русского солдата, ибо плечо о плечо с ним прошел весь длинный путь военной службы — от капрала до главнокомандующего. Это не значит, что, держа себя с ним на равной ноге, Суворов допускал запанибратское отношение к себе. В суворовских войсках существовала строгая дисциплина, но основанная на чувстве глубокого уважения к достоинству человека. Петровское правило, обязывающее командира блюсти «целость солдата», было хорошо усвоено и осознано Суворовым. «Солдат дорог», внушал Суворов, наставляя офицеров внимательно относиться к каждому рядовому в отдельности («взирать на каждого особю»), молодых рекрутов приучать к службе исподволь, «со старыми не равнять», пока не окрепнут.

Удержанье здоровья в войсках путем упорядочения санитарного состояния армии составляло всегда предмет неуспешных забот Суворова. Того же требовал он и от своих подчиненных, строго взыскивая с тех, чьим «небрежением» развивались болезни и росла смертность в войсках. Суворов при этом прекрасно понимал, что не всем приходится по душе его приказы «о сохранении здоровья» или выработанные под его руководством «правила медицинским чинам». В письме к П. И. Турчанову из Екатеринослава от 13 декабря 1792 г. он передает колоритный диалог с одним из своих ординарцев: «— Зыбин, что вы бежите в роту, разве у меня вам худо, скажите по совести?» «Мне там на прожиток в год 1000 рублей». — «Откуда?» — «От мертвых солдат». Смысл этих коротких реплик понятен: заболевшие или умершие солдаты не показывались в делах выбывшими из полка, а за счет этих «мертвых

душ» паживались разные армейские Чищиковы. Со свойственной ему настойчивостью Суворов добивается улучшения качества провианта, отпускаемого для солдат, и тут наталкиваясь на разного рода злоупотребления. Зная, что мелкие хищники часто прячутся за расшитые спины знатных покровителей, Суворов смело заявляет: «Кого бы я на себя ни подвиг, мне солдат дороже себя; лучше его я имею сподобы к самоблюденню».⁴²

Если про Суворова без преувеличения можно сказать, что он относился к солдатам, как отец к детям, то и они в свою очередь относились к нему, как дети к отцу: любили, боялись и берегли его. Субординация не клала преграды между ними. Он болел душой за «веренное ему войско»; суворовцы охраняли вверенного им полководца. Участник швейцарской эпопеи, повествуя о переходе через гору Бинтнерсберг, рассказывает: «Глаза мои встречали нашего неутомимого вождя, бессмертного Суворова. Он сидел на казачьей лошади, и я слышал сам, как он усиливался вырваться из рук двух шедших по сторонам его дюжих казаков, которые держали его самого и вели его лошадь; он беспрестанно говорил: пустите меня, пустите, я сам пойду! — Но усердные его охранители, молча, продолжали свое дело, а иногда с хладнокровием отвечали: сиди! — И великий повиновался».⁴³

Много громких побед одержал на своем веку Суворов. Плоды одних были вырваны из его рук завистниками и недоброхотами, результат других был испорчен тупоумием людей, ничего не смысливших в военном деле. Но одной крупнейшей победы не мог его лишить никто; она навсегда осталась за ним: он завоевал души своих солдат.

Это блестящее завоевание было осуществлено им в итоге многолетнего личного примера. Все, чему учил он своих полкомандных и чего от них требовал, было предварительно пройдено и проделано им самим. Не брезгуя никакой черной работой, Суворов-полковник с удовлетворением писал: «Знают офицеры, что я сам то делать не стыдился... Суворов был и майор, и адъютант, до ефрейтора, сам везде видел, каждого выучить мог».⁴⁴ И величайшим предметом гордости для Суворова всегда было сознание, что солдат с него пример берет.

В этом отношении из всех русских полководцев до Суворова с ним можно сравнить опять-таки лишь одного Петра. Для него не существовало мелочей: всё оказывалось важным и требующим его внимания. Он сам показывал пример субординации, последовательно прохода сухопутную и морскую службу с нижних чинов. Позволяя повышать себя в чине лишь за действительные военные заслуги, Петербарабанщик дослужился до полного генерала. Желая с точностью определить размер солдатского пайка, Петр в течение месяца жил солдатской жизнью и выполнял все солдатские обязанности. О таком Петре поется в песне:

Сам ружьем солдатским правил,
Сам и пушку заряжал.⁴⁵

И знаменательно, что в памяти народа именно песни и сказания о Петре переждаются позднее в песни и предания о Суворове.

IV

Суворовская «Наука побеждать» — плод не только военного гения, но и многолетних наблюдений проницательного психолога, заглянувшего в глубины души русского воина. Она возникла, как противовес схематически-сухой системе Фридриха II, основанной на полном пренебрежении к солдату-человеку и считавшейся последним словом современного военного искусства. Понятно поэтому, что когда венчаный маньяк Павел I, смотревший на солдата, как на движущийся автомат, стал преобразовывать русскую армию на прусский лад, — возмущению Суворова не было предела. Нововведения Павла опрокидывали всю полувековую «практику» солдата-полководца, подменяли основные положения науки побеждать, выдержавшие огненное испытание на полях сражений, мертвыми правилами отжившего военного устава, найденного «в углу развалин древнего замка, на пергаменте, изъеденном мышами»⁴⁶.

Новый 1797 год Суворов встречает запиской под многоговорящим заглавием: «буря мыслей». Эту «бурю» вызывают в нем павловские реформы, прежде всего больно задевшие патристическое чувство Суворова. «Русские прусских всегда бивали; что ж тут перенять?» — спрашивает он, намекая на слепое преклонение Павла перед системой Фридриха.⁴⁷

Какая разница между полной достоинства субординацией Суворова и палочной дисциплиной Павла II Суворов: не обинуясь, называет ее «тиранством»: «Милосердие покрывает строгость. При строгости надобна милость, иначе строгость — тиранство. Я строг в удержании здоровья, истинного искусства благонравия, — мила солдатская строгость. А за сим — общее братство. И во мне строгость по прихотям была бы тиранством».⁴⁸

Достается от Суворова и прочим частностям военного устава Павла. С большой едкостью и сарказмом нападает он на замену прежнего обмундирования новым — маскарадным нарядом, не пригодным не только к условиям похода, но и к обстановке военной службы в мирное время. Взаимодействию реформатору до этого не было дела: старая форма была ему ненавистна, ибо она была введена в войсках ненавистным ему Потемкиным.

Князь Таврический умел порою отвлечься на нужды русского солдата. Его соображения относительно обмундирования русских войск целиком разделялись Суворовым, и последний вполне мог бы скрепить своей подписью замечания Потемкина по этому поводу: «Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов. Если бы можно было счастье, сколько выдано в полках за щегольство палок и сколько храбрых душ пошло от сего на тот свет. Простительно ли, чтоб страж целости

отечества удручен был прихотями, происходящими от вертопрахов, а часто и от безрассудных».⁴⁹

И вот царственная прихоть превращает этого «стража» родины в какой-то костюмированный манекен, «удручает» его голову напудренной прической с косой, перевитой черной лентой, а ноги лакированной обувью с множеством всяких крючков, подтяжек и петель. Глядя на эту дикую форму, Суворов мечет афоризмами; летучая молва подхватывает их и разносит по свету: «Косой не колотить, буклей не палить, пудрой не стрелять», «Шудра не порох, букли не пушки, коса не тесак; я не немец, а природный русак». В письмах Суворов еще резче обрушивается на прусский образец нововведенного обмундирования: «Нет вшивее пруссаков, лаузер или вшивень назывался их плащ; в шильтгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головною их вонью вам подарят обморок. Мы от гадины были чисты, и первая долука ныне солдат — штилеты: гной ногам...»⁵⁰

Суворов ненавидел сухую формалистику, схематизм и мертвечину.

После суворовских побед перенимать отжившую «протухлую» систему Фридриха мог только человек, для которого солдат не существовал за чертой плацпарада. Наоборот, военное искусство Суворова вытекало из повседневного общения с солдатом в живой жизни. Суворов не терпел ничего, отзывавшегося кабинетными расчетами. В своей автобиографии он говорит: «Никакой баталии в кабинете выиграть не можно и теория без практики мертва».⁵¹

На лучезарном закате своего боевого прищипа, в героические дни итальянского и швейцарского походов «полевому солдату» Суворову пришлось выдерживать трудную и упорную борьбу с кабинетными стратегами Вены, пытавшимися всячески скрывать самостоятельность его действий, как главнокомандующего союзной русско-австрийской армией. Вне себя от нелепых и часто унижительных для него предписаний венского гофкригсрата (придворного военного совета), Суворов заявлял, что не может нести службу, «когда хотяя операциями править за тысячи верст, не зная, что всякая минута на месте заставляет оные переменять». Между тем «проекторы, элоквенты, пустобаи» гофкригсрата, возглавляемые бароном Тугуттом, настаивали на беспрекословном исполнении их планов, без каких-либо от них отступлений, хотя бы и вынужденных непредусмотренными обстоятельствами. Как это расходилось с «практикой» Суворова, чьи краткие директивы всегда четко намечали основные контуры его военного замысла, но в деталях его осуществления никогда не связывали самостоятельности исполнителей! Вспомним письмо Суворова к графу И. Е. Ферзону из Варшавы от 5 ноября 1794 г.: «Рекомендую вашему превосходительству полную решимость. Вы генерал! — Я издали, и вам ничего приказать не могу. Иначе стыдно

бы было: вы локальный. Блудите быстро-ту, импульсию (патрик — К. П.), холодное ружье...»⁵³

Страдая лихорадкой, подхваченной им в Италии, Суворов в августе 1799 г. пишет графу П. А. Толстому: «Я уже с неделю в горячке, больше от яду венской политики». Этой горячей пышет его итальянские и швейцарские письма. «Сия сова не с ума ли сошла или того никогда не имела?» — с раздражением спрашивает он, имея в виду Тугута. «Начало моих операций, — объясняет Суворов императору Павлу, — будет и должно зависеть единственно от обстоятельств времени, назначение которому венский гофкригсрат делает по старинному навыку к таковым идеальным политическим выметкам. Беспорывные от того последовавшие неудачи, помрачавшие славу австрийского оружия, не научили его еще поныне той неоспоримой истине, что от одного изюда мгновения разрешается жребий сражения. Столь же мало послужило ему полезным уроком и то, что быстрое, неослабленное и безостановочное нанесение неприятелю удара за ударом, приводя его в замешательство, лишает его всех способов оправляться».⁵⁴

Свое единоборство с Тугутом Суворов рассматривает, как своего рода патриотический долг. Он знает: «Меня не будет, не будет никого, кто против Тугута правду скажет». Правду о том, что австрийцы хотят затребовать жар чужими, русскими руками, что «невежественный гофкригсрат подкапывается под него, Суворова, как тужестранца, что австрийские генералы не гнушаются заведомой клеветой «для очернения даже наших войск», тех самых войск, которые вливали «в упавший дух австрийцев соревнование», — эту правду Суворов разглашает открыто и смело.⁵⁴

Большой помехой Суворову была деятельность русского посла в Вене графа А. К. Разумовского, бывшего пешкой в руках Тугута. Своим подслуживанием австрийскому министру Разумовский выводил Суворова из себя. Напоследок Суворов вовсе отказался от непосредственных сношений с досадившим ему послом и демонстративно вступил в переписку с помощником и будущим преемником последнего С. А. Колычевым. «Будьте тверды, — увещевал его Суворов, — не разитесь воздухом совиного гнезда; чуть вы гибки, — Тугутова гибкость вас одолеет и будете вы в узде, как граф Андрей Кириллович».⁵⁵

Накинуть узду на Суворова Тугуту не удалось, — «гибкости» в русском полководце не было. А потому австрийское командование вероломно покинуло своего союзника в альпийских снегах. Только благодаря гениальности своего вождя и юбственной самоотверженности, ценой жестоких испытаний и тяжких жертв, суворовская армия прорвала опутавшую ее паутину предательства и преодолела горные кручи Швейцарии. Враги Суворова «ордаствовали»: знаменитый «генерал Вперед» отступил.

Суворов горячо возражал на эти обвинения: «Во всю жизнь свою я не знал ни

отступления, ни обороны». Не только понятие отступления было изгнано из его военного ватехизиса, но и самое слово «ретирада» вычеркнуто из словаря военных терминов, употребительных в его войсках. «Нет ретирады», — гласит один из приказов Суворова 1774 г. «Ни о каких ретирадах в пехоте и кавалерии не мыслить», — сказано в «Науке побеждать». В заметках, диктованных Суворовым в сентябре 1798 г. в селе Кончанском генерал-майору Преводе-Люмнану и содержащих соображения Суворова касательно предстоящей войны с Францией, мы снова встречаем запрет «помышлять о ретирадах».⁵⁶

Хотя бы мнение представляет Суворова действующим всегда наступательно, наперекор любым обстоятельствам. Французский генерал Моро, разбитый Суворовым при Кассано, отозвался о нем как о полководце, «который обладает стойкостью выше человеческой, который погибнет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг».⁵⁷

И однако он, действительно, отступил, но отступил так, что Ф. В. Растворчин с восхищением писал ему: «В Вене вапе последнее чудесное дело удостоивают названием une belle retraite (прекрасное отступление — К. П.); если бы они умели так ретироваться, то бы давно завосвали всю вселенную».⁵⁸

Суворовское военное искусство не было статичным: он постоянно развивал его «непрестанной наукой» и непрестанной «практикой». Вот почему Суворова-полководца необходимо изучать в его эволюции. «Глазомер» Суворова подсказывал ему, что «все кампании различны между собой».⁵⁹ Итальянский поход обогатил его новым опытом. В 1799 г. «Наука побеждать» расширяется и дополняется новым понятием — прекрасного отступления.

Когда Суворов затыкал уши при слове «ретирада» или издевался над «подлой обороной», он руководствовался прежде всего педагогическими соображениями. Подводя итог наставлениям Суворова войскам, М. Драгомиров следующим образом пересказывает его мысли об отступлении: «Избегайте, как величайшей опасности, всех тех упражнений, которые отвечают истинству самосохранения и, следовательно, могут дать ему пищу; и, наоборот, дайте возможно большее развитие упражнениям, воспитывающим человека в упорстве, бесстрашии, решимости, находчивости, готовности на все неожиданности; солдат подобного закала будет хорошо отступать, ибо для этого важно знать не механическое движение отступления, но именно быть упорным, бесстрашным, предприимчивым». Считая, что обучать солдат механическим приемам отступления незачем («инфлюенция их, — т. е. влияние — солдату весьма вредна»), Суворов был далек от того, чтобы уложить на месте всю армию до последнего человека. Суворов дорого ценил жизнь своих воинов: вся земля не стоила в его глазах «одной капли бесполезно пролитой крови».⁶⁰

Ратуя за наступательную тактику, «по-

обедительную атаку», предвизывая Багратиону «от ретирад отучить» необученные тирольские вонска. Суворов в то же время с исчерпывающей ясностью изложил свой взгляд на отступление в замечательном письме к австрийскому генералу Крау: «Ни одного поста не должно считать крепостью; нет стыда уступить пост превосходному в числе неприятелю; напротив, в том и состоит военное искусство, чтобы во время отступить без потерь; упорное же сопротивление для удержания иного поста стоило бы дорого, между тем впоследствии придется все-таки отдать его превосходному неприятелю... Уступленный пост можно снова занять, а потеря людей невозвратима; нередко один человек дороже самого поста». ⁶¹

На итальянском театре войны Суворов не раз отдает приказания об отводе войск на прежние позиции. Так форт Серавалле, осажденный Багратионом, не заслуживал, по мнению Суворова, больших жертв, и он предоставляет неустрашимому «князю Петру» полную волю — в случае, если обнаружится неравенство сил, — отойти заблаговременно назад. ⁶²

Подобно Петру I, Суворов признает только активную оборону. Но и отступление становится в его руках средством активного сопротивления; это не та «гадная ретирата» (*garstige Retraite*), которую он старался вытравить из сознания австрийцев.

Суворов «оглядывается назад, но «не с тем, чтобы бежать, а чтобы напасть». ⁶³

На это с полной определенностью указывает следующая диспозиция Суворова: «Неприятель наступает через Акви, Сильвано, Гави, Арквату, С. Себастьяно. Аванпосты, стоящие на означенных дорогах, должны получить верные сведения о неприятеле; держаться лишь против слабых отрядов, но стараться захватывать пленных, а перед превосходными силами отступать; ибо никакого от армии подкрепления ожидать не должны, так как цель наша — выманить неприятеля на равнину». ⁶⁴

Биограф Суворова А. Петрушевский яркими красками изображает, что представляло собой суворовское отступление. Даже тогда, когда о скором контр-наступлении не могло быть и речи, когда русская армия в Швейцарии была истощена от недостатка продовольствия и в сумках солдат оставались лишь считанные патроны, — и то «суворовские батальоны не ограничивались сдерживанием французов, переходили в атаку, дерзко бросались в штыки и не только останавливали сильно неприятеля, но заставляли его осаждать назад». ⁶⁵

В героический месяц альпийской эпопеи двойная забота волновала Суворова: забота о чести русского оружия и забота о людях, чья жизнь была ему доверена. В дни, когда союз России с Австрией уже висел на волоске, Суворов писал Колычеву: «При сем для сведения вашего превосходительства препровождаю переписку мою с эрцгерцогом (Карлом, главнокомандующим австрийской армией. — К. П.). Неудовольствие его, что я не соглашаюсь

на его требования, обнаруживается довольно в сих бумагах; но слава и честь высочайше вверенного мне войска для меня священнее, и все замыслы Тугута не вовлекут меня в расставленные им сети; я твердое принял намерение дать войскам нашим нужный отдых, снабдить их всеми потребностями, и потом уже расположить свои действия».

Отступая, Суворов обдумывал план «открытия новой кампании», лелеял мысль предпринять новое наступление. ⁶⁶

Швейцарский поход явился блестящим подтверждением афоризма Суворова «где проходит олень, там пройдет и солдат». Под колючим снегом альпийских вершин, в своем поношенном, «ветром подбитом», плаще, Суворов провел своих «чудо-богатырей», воодушевляя их горящим взором и бодрящим словом. И несмотря на то, что они видели своего полководца живущим их жизнью, знали, что он спит на соломе и грызет солдатские сухари, он казался им каким-то сказочным богатырем, производил впечатление вездесущности. Один из суворовских ветеранов рассказывает: «Он был повсюду: и в передовых войсках (в авангарде), и в замыке войск (в арьергарде); всё видел и во всех вливал дух порядка, дух богатейства. — Чудны были дела его!.. Неутомима деятельность!» ⁶⁷

V

Перемена курса внешней политики Павла I не позволила Суворову осуществить его военных замыслов, а годы и неутомимая деятельность сломили его силы. Больным возвращался он на родину, где ожидали его высочайшие оскорбления и смерть.

Суворова не стало, но он завещал потомству свое военное искусство и свой пример.

Следовать за Суворовым можно и должно, подражать — нельзя.

Несколько Суворовых не бывает: это явление слишком самобытное, слишком исключительное. Важно быть суворовцем, оставаясь самим собою. Кутузов был настоящим суворовцем, но прежде всего — К у т у з о в ы м.

На первый взгляд может показаться, что между двумя великими русскими полководцами мало общего и, наоборот, очень много несходного.

Любители классических сравнений называли Кутузова Фабием, Кункатор (Медлитель) представлялся им прототипом Кутузова. «Он решился выждать и преуспел», писала о русском фельдмаршале французская писательница Сталь. ⁶⁸

Современники изощрялись в сочинении подобных параллелей между Суворовым и Кутузовым: «Один быстр — как Цезарь; другой медлен — как Фабий. Быстрота глазомер, натиск — тактика нашего Цезаря; спеша медленно — нашего Фабия. Одно слово ретирата приводило Суворова в гнев и иступление... Кутузов, с скорбным молчанием, отдает врагу перестольный град, и донесение, что потеря Москвы не есть потеря России окропляется его слезами» ⁶⁹

Эта параллель — образчик поверхностного суждения. Не в том дело, что Суворов был худ и подвижен, а Кутузов тучен и неповоротлив; что первый был аскет, а второй гастроном; что один, являясь ко двору, шеголял пренебрежением к «светским наружностям», а другой почтительно подчинялся этикету, ни на минуту, впрочем, не роняя собственного достоинства. Дело не в том, что Суворова можно определить вполне лишь двумя словами, слившимися в одно понятие, — солдат-полководец, в то время как Кутузов был и саяновником, и вельможей, и дипломатом. Важно другое. Кутузов-полководец образовался в суворовской школе: пройдя через нее, он стал тем, чем он был для солдат, — не тенью Суворова, а Кутузовым, русским полководцем. Его назначение главнокомандующим в 1812 г. было встречено в войсках, как настоящий праздник: «Приехал Кутузов бить французов». С ним вместе пришла к солдатам уверенность в победе.

Но мысль о победе в представлении русских воинов была неразлучна с воспоминаниями о Суворове. Вот почему, когда Кутузов, обращаясь к солдатам, воскрешал в их памяти заветы великого полководца, — это вызывало восторг и воодушевление: «Кутузов любит, Кутузов помнит Суворова». ⁷⁰

Как было ему забыть того, чьей «правой рукой» он был под Измаилом, кто ценил его военные способности, его мудрую хитрость, не позволявшую кому бы то ни было обойти и обмануть его.

Получив специально военное образование, Кутузов был одним из просвещеннейших людей своей эпохи. Зная одинаково хорошо как теорию, так и практику военного дела, Кутузов состоял одно время директором Сухопутного кадетского корпуса, с которым в годы своей молодости был тесно связан и Суворов. На этом посту Кутузов показал себя опытным администратором и искусным руководителем.

Кутузов имел огромный нравственное влияние на солдат. Он умел говорить с ними на их языке. В общении с солдатами, в трудах войны Кутузов словно перерождался: сибарит и любитель комфорта, он преспокойно почивал на соломе и по-суворовски, а не по-потемкински довольствовался солдатской еухней.

Кутузов как-то выбрал своим девизом суворовские слова: «Солдат дорог». Русского солдата Кутузов берег, как зеницу ока; за десятерых французов он отказывался отдать одного русского. Обескровить, ослабить противника и, наконец, «проложить ему голову» было основной целью Кутузова: этой цели он добивался твердо и неуклонно, но не жертвуя ни единой каплей «бесполезно пролитой крови» своих воинов «Какая от того польза отечеству, если, захотев блеснуть храбростью, владимся в опасность бесполезную?» — говорил он. — «Не тот истинно храбр, кто по произволу своему мечется в опасность, а тот, кто повинуется». ⁷¹

От солдат и командиров Кутузов требовал стойкости в бою. Ему принадлежат

известные слова: «Ни шагу назад — стоять на смерть». В разгар бородинской битвы он карандашной запиской предписывает генералу Дохтурову «держаться» во что бы то ни стало до тех пор, пока от него не последует приказ об отступлении. И он же на знаменитом военном совете в Филях, вопреки мнению большинства генералов, рвавшихся сразиться с врагом, властью главнокомандующего приказал отступить.

Во всех трех случаях Кутузовым руководил исключительный дар «глазомера» и дальновидности.

Кутузовское отступление не было поражением, ибо, благодаря ему, отступление Наполеона превратилось в настоящее бегство. История русского военного искусства до Кутузова могла гордиться только двумя блестящими образцами отступления: я разумею вывод русских войск из Гродно в 1706 г. ⁷² и возвращение суворовской армии из Швейцарии в 1799 г. Все три отступления, осуществленные тремя великими русскими полководцами — Петром I, Суворовым и Кутузовым, — в совершенно различных условиях преследовали общую цель: сохранить величайшую ценность армии — ее живую силу.

Не один Кутузов из героев Отечественной войны 1812 г. был отмечен суворовской печатью. Целый выводок славных русских полководцев вырос под крылом Суворова.

Если Кутузов был правой рукой Суворова при взятии Измаила, то в продолжение всей войны 1799 г. правой рукой его был бесстрашный Багратион, умевший с одного намека понимать своего начальника. «Мой Багратион, — говорил о нем Суворов, — имеет присутствие духа, расторопность, отважность и счастье». По словам близко знавшего его Д. Давыдова, Багратион «почерпнул в этой бессмертной войне ту быстроту в действиях, то искусство в изворотах, ту внезапность в нападениях, то единство в натиске, которые приобрели ему полную доверенность, неограниченную любовь и глубокое уважение всей армии». ⁷³

Неискушенному глазу таланты Багратиона открывались не сразу. «В беседе с ним его не увидишь», — сказал Суворов ⁷⁴. Не получив военного образования, Багратион искупал недостаток теоретических знаний огромным боевым опытом. Он умел показывать товар лицом лишь на полях сражений. Недаром Наполеон считал его лучшим генералом русской армии.

Но Суворов знал, что Багратион не только опытный военачальник, но и надежный военный наставник. Именно ему поручил отперлат аустрийским войскам графа Бельгарда «тайнства» своей «Науки побеждать». ⁷⁵

Решительный, смелый, горевший любовью к отчизне, с характером пылким и открытым, Багратион обладал ключом к сердцу русского солдата, умевшем возвышать его дух, превращать слабых и робких в настоящих героев. Отставив свою позицию при Бородине, Багратион показывал пример воинского долга и стойкости: его унесли с поля битвы смертельно раненным.

Воодушевляющая сила личного примера всегда была отличительной чертой суворовцев, могущественным военно-воспитательным средством в их руках.

Однажды во время швейцарского похода русские войска в замешательстве остановились на краю крутого спуска к деревне Урзерн, куда им было приказано идти. «Посмотрите, как возмрут в плен вашего генерала!», закричал Милорадович и с этими словами на спине скатился с утеса в равнину. Этого было достаточно, чтобы солдаты бросились за любимым начальником и стали мигом выстраиваться в виду неприятеля.⁷⁶

Исключительно цельный и законченный образ командира-суворовца представляет Кульнев.

Воспитанник Сухопутного кадетского корпуса, он вполне отвечал тем требованиям, которые предъявлял Суворов к молодым офицерам. Знарок истории, Кульнев умел по-своему осмысливать исторические события и ставить в пример своим подчиненным подвиги русских и римских героев.

Кульнев был настоящим питомцем суворовской школы, проводившим в жизнь все основные положения «Науки побеждать».

«Я не сплю и не отдыхаю, чтобы армия спала и отдыхала», — говаривал он. Ложась спать, он только снимал саблю и клал ее у изголовья. В течение ночи его будили по семи-восемью раз возвращавшиеся разведчики, имевшие приказание докладывать ему в любое время о результатах разведок.⁷⁷

Перед лицом врага Кульнев был бесстрашен. «Чем ближе, тем видней», — сказано в одном его приказе эпохи финляндской войны 1808 г. Он сурово преследовал всякое проявление трусости и малодушия. Денис Давыдов в своих воспоминаниях о Кульневе говорит, что «он был неумолимо строг к солдатам, уклонявшимся от неприятельских выстрелов и оставлявшим свои места под предлогом снабжения себя патронами, в замену истрелянных ими». Тот же Д. Давыдов приводит красноречивый приказ Кульнева одному офицеру: «...Ежели бы у вас осталась только два человека, то честь ваша состоит в том, чтобы иметь неприятеля всегда на глазах и обо всем меня уведомлять. Впрочем, старайтесь отстаивать пункт, который вы защищаете, до самого нельзя; к ретираде всегда есть время, к победе редко».⁷⁸

Нарушение воинской дисциплины и притеснение мирных жителей карались Кульневым так же строго, как и недостаток стойкости в бою. Основным правилом Кульнева было: «Солдат должен быть чист честью». Попечительный о пужах своих войск, Кульнев считал, что обеспечение солдата как в мирное, так и в военное время всем необходимым, служит залогом его нравственной крепости. «У голодного брюха нет уха», — любил повторять он.⁷⁹

Кутузов, Кульнев, Д. Давыдов продолжают благородную русскую традицию гуманного обращения с военнопленными. Холодная жестокость Фитнера вызывает негодование со стороны Д. Давыдова и оправдывает справедливость суворовского

утверждения: «Гражданские доблести не заменят бесполезную жестокость в посях.»⁸⁰

Благоговение перед Суворовым, при котором он служил во время польской войны 1794 г., Кульнев во многом следовал его примеру. Из всех современных ему русских генералов Кульнев более других может быть назван командиром-солдатом. Но солдатские привычки Кульнева не были наигранными, а вытекали из его тесной повседневной близости с солдатской средой.

Смерть Кульнева была осуществлением его мечты — пасть на поле брани, «пожертвовать последнею каплею крови... защищая отечество».⁸¹

Из теплых воспоминаний Д. Давыдова вырисовывается цельный и героический образ Кульнева, этого русского сердцем и умом полководца. «Он был таким, — пишет Давыдов, — каким мы представляли себе россиян того времени, когда все их сделки, все их обещания, все клятвы их скреплялись одним словом: «Д а б у д е т м н е стыдно» и соблюдались не от страха законов, а от страха упреков собственной совести».⁸²

Пробуждение и развитие этого чувства ответственности война перед самим собою — быть может одно из самых блестящих достижений военно-воспитательной системы Суворова, нравственный стержень созданной им национальной школы русского военного искусства.

К славному в русской военной истории семейству суворовцев вполне принадлежит и Д. В. Давыдов. Девятилетним мальчиком он видел Суворова. Прославленный полководец перекрестил грудь ребенка и зарыл воинственную искру в его сердце. Маленький Денис воспитывался в суворовских традициях, в чувстве вражды к «гачишцам», заглушавшим корни военно-воспитательной системы Суворова. Посвятив себя военной службе, Давыдов-офицер видел претворение в жизнь суворовских заветов в деятельности своих начальников — Баграциона и Кульнева. Как и они, он принадлежал к так называемой «русской партии» в среде высшего офицерства александровской эпохи. Отсюда его ненависть к «прусачеству», т. е. ко всему, что противоречило духу военной школы Суворова; штабных генералов — советчиков Александра I и Николая I — Давыдов называл «бездарными невеждами, истыми любителями изыщной ремешковой службы». Сам он «избирал все роды службы (кроме постыдных), чтобы быть полезнее, от первого до последнего выстрела не отступая с передовых постов в армии...»⁸³

В натуре Давыдова были черты, сходные с натурой Суворова. О кн. Н. В. Репнине Суворов однажды высказался так: «Князь Репнин удражнялся больше в дипломатических изворотах; солдатского мало». В Денисе Давыдове как раз было очень много солдатского. Давыдов в мирное время или в отставке тяготится покоем, случает в бездействии, не скрывает своей злобы «на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню», считает, что он

«еще слишком молод для сохи и мыслями и чувствами». Но он совершенно преобразается, когда вокруг него грохочут пушки, развеваются ратные знамена, раздаются взрывы победных кликов: «Теперь я пан, ... я уже теперь в моей стихии, ...я среди сего хаоса кручусь, как перо в вихре; ...я опять солдат, опять человек».⁸⁴ Эти строки мог бы написать Суворов.

Гоголь сравнивал Пушкина с «поэтическим огнем, от которого, как свечи заж-

глись другие самоцветные поэты». Это сравнение хочется применить к Суворову. От его «огня» загорелись другие «самоцветные» герои. На небосклоне нашей родины наряду с пушкинкой плеядой поэтов, мы созерцаем суворовское созвездие полководцев. Ярче всех сверкает главная звезда этой плеяды — Суворов, но и мерцающие вокруг большие и малые светила горят своим, а не отраженным блеском.

ПРИМЕЧАНИЯ

При ссылках на наиболее часто указывающиеся источники допущены следующие обозначения:

Левшин. — Собрание писем и анекдотов, относящихся до жизни Александра Васильевича князя Италийского, графа Суворова-Рымнического, в коих изображается истинный дух и характер сего героя, с присовокуплением Вахтпарада или Науки побеждать, сочиненной сим непобедимым полководцем, собранные Васильем Левшиным, М. 1809.

Масловский, вып. II — Масловский Д. Ф., Записки по истории военного искусства в России, выпуск II, 1762—1794 гг., СПб. 1894.

¹ Петрушевский, т. I, стр. 13.

² Левшин, стр. 135—136.

³ Фукс, Анекдоты, стр. 16, 40, 80, 102; Петрушевский, т. III, стр. 338.

⁴ Ключевский В. О., Петр Великий среди своих сотрудников. — «Очерки и речи», II, М. 1913, стр. 476—477.

⁵ Винский Г. С., Записки. — «Русский архив», 1877, ч. II, стр. 164.

⁶ Масловский, вып. II, стр. 93—94.

⁷ Масловский Д. Ф. Строевая и полевая служба русских войск времен императора Петра Великого и императрицы Елизаветы, М. 1883, примечания, стр. 23.

⁸ Давыдов Д. В. Встреча с великим Суворовым. — «Военные записки», М. 1940, стр. 44—45.

⁹ «Устав воинский», СПб. 1717, стр. 38—39; приказ от 28 февраля 1772 г. — Петрушевский, т. I, стр. 69; Милютин, том II, стр. 58.

¹⁰ Глинка С. Н., Русские анекдоты военные и гражданские, ч. II, М. 1822, стр. 162.

¹¹ Милютин, том I, стр. 578.

¹² «Устав воинский», стр. 3; Масловский, вып. II, стр. 1—11.

¹³ Там же, примечания и приложения, стр. 90—91; «Устав воинский», стр. 192—193.

¹⁴ Масловский Д. Ф. Строевая и полевая служба..., примечания, стр. 15.

¹⁵ Петрушевский, т. II, стр. 242; Масловский вып. II, стр. I.

¹⁶ «Письма и бумаги императора Петра Великого», т. II, СПб., 1893, стр. 78.

¹⁷ Масловский Д. Ф., Записки по истории военного искусства в России, вып. I, СПб. 1891, стр. 138.

Милютин. — Милютин Д. А., История войны России с Францией в царствование императора Павла I в 1799 году, т. I—III, СПб. 1852; т. IV—V, СПб. 1853.

Петрушевский. — Петрушевский А. Ф., Генералиссимус князь Суворов, СПб., 1881, 3 тома.

«Письма и бумаги». — Письма и бумаги Суворова, т. I, письма 1764—1781 гг., объяснил и примечаниями снабдил В. Алексеев, Петроград, 1916.

Фукс, Анекдоты. — Фукс Е., Анекдоты князя Италийского графа Суворова-Рымнического, СПб. 1827.

¹⁸ Приказ ротмистру Вагнеру от 25 февраля 1771 г. — Петрушевский, т. I, стр. 55.

¹⁹ «Красная звезда», 1941, № 71.

²⁰ Голиков И. И., Деяния Петра Великого..., ч. II, М. 1788, стр. 253—255; ч. III, стр. 113—117.

²¹ Коробков Н. Пальпиг и Кунерсдорф. — «Военно-исторический журнал», 1940, № 1 (6), стр. 83.

²² «Устав воинский», стр. 42—43; Голиков И. И., Деяния Петра Великого..., ч. II, стр. 360—361.

²³ Петрушевский, т. II, стр. 164.

²⁴ Там же, т. I, стр. 89—90.

²⁵ Приказы 1799 г. — Милютин, т. II, стр. 243, 246, 279.

²⁶ Петрушевский, т. I, стр. 123; Фукс, Анекдоты, стр. 103.

²⁷ «Чтения в Обществе истории и древностей российских», 1866, кн. 3, смесь, стр. 57.

²⁸ Письмо к кн. П. А. Зубову — Петрушевский, т. II, стр. 176.

²⁹ Botta Ch., Histoire d'Italie de 1789 a 1814, Paris, 1824, t. IV, p. 215; ср. Милютин, т. II, стр. 384—385.

³⁰ Фукс, Анекдоты, стр. 61.

³¹ Леер Г., Петр Великий, как полководец. — «Военный сборник», 1865, № 3, отд. II, стр. 6; № 4, отд. II, стр. 209—210, 223.

³² Масловский, вып. II, стр. 93.

³³ Фукс, Анекдоты, стр. 41.

³⁴ Масловский, Записки по истории военного искусства в России, вып. II, стр. 131.

³⁵ Письмо к П. И. Турчанинову от 13 декабря 1792 г. — «Сборник Русского Исторического Общества», т. I, СПб. 1867, стр. 295.

³⁶ Масловский, вып. II, стр. 143, 147.

- ³⁷ Там же, примечания и приложения, стр. 10.
- ³⁸ Фукс, Анекдоты, стр. 7.
- ³⁹ Масловский, вып. II, стр. 100; «Военный сборник», т. LXXXII, 1871, № 11, ноябрь, отд. I, стр. 36.
- ⁴⁰ «Архив князя Воронцова», кн. VIII, М. 1876, стр. 95—96.
- ⁴¹ Петрушевский, т. III, стр. 377.
- ⁴² «Сборник Русского Исторического Общества», т. I, СПб. 1867, стр. 285; письмо к П. И. Турчанинову — Петрушевский, т. II, стр. 20.
- ⁴³ Орлов П. А., Поход Суворова в 1799 г. по запискам Грязева, СПб. 1898, стр. 121.
- ⁴⁴ Письмо к И. И. Веймарну — Петрушевский, т. I, стр. 67.
- ⁴⁵ «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 9, М. 1872, дополнения, стр. XXXVIII.
- ⁴⁶ Письмо к Д. И. Хвостову, январь 1797 г. — Петрушевский, т. II, стр. 347.
- ⁴⁷ Петрушевский, т. II, стр. 345.
- ⁴⁸ Письмо к Д. И. Хвостову от 12 января 1797 г. — «Красный архив», 1941, т. 3 (106), стр. 164.
- ⁴⁹ Дубровин Н. Ф., А. В. Суворов среди преобразователей екатерининской армии, СПб. 1886, стр. 109—110.
- ⁵⁰ Петрушевский, т. II, стр. 350—351; Левшин, стр. 159; письмо к Д. И. Хвостову, январь 1797 г. — Петрушевский, т. II, стр. 347.
- ⁵¹ «Русский архив», вып. 5, отдельное приложение, стр. 8.
- ⁵² Письмо к гр. Ф. В. Ростопчину — Петрушевский, т. II, стр. 192; «Отечественные записки», ч. X, № 24, апрель 1824, стр. 107.
- ⁵³ Милютин, т. III, стр. 421; «Русская старина», т. СII, 1900, май, стр. 316, Милютин, т. II, стр. 436.
- ⁵⁴ Петрушевский, т. III, стр. 215—216; там же, стр. 148, 152; Милютин, т. III, стр. 486.
- ⁵⁵ «Русская старина», т. СII, 1900, май, стр. 318. Употребленное в тексте письма сокращенное обозначение: «Г. ан. К» раскрыто в «Русской старине», как «Г (енерал) ан (шеф) К (орсаков)», тогда как, совершенно очевидно, следует читать: «Г (раф) Ан(дрей) К(ириллович)», т. е. Разумовский.
- ⁵⁶ Письмо Суворова к эрцгерцогу Карлу от 21 октября 1 ноября 1799 г. — Милютин, т. IV, стр. 375; Масловский, вып. II, примечания и приложения, стр. 68; Милютин, т. I, стр. 261.
- ⁵⁷ Цитируется по книге Н. А. Орлова «Разбор военных действий Суворова в Италии...», СПб. 1892, стр. 323.
- ⁵⁸ Петрушевский, т. III, стр. 283.
- ⁵⁹ См. рассуждения Суворова по поводу войны 1799 г. Французский подлинник — Милютин, т. V, стр. 479; перевод — Фукс Е. История российско-австрийской кампании 1799 г., ч. III, СПб. 1826, стр. 654.
- ⁶⁰ Драгомиров М. И. Сборник оригиналь-
- ных и переводных статей, т. II, СПб. 1881, стр. 232; «Наука побеждать».
- ⁶¹ См. ниже, примечание 75, письмо Суворова к кн. П. И. Багратиону от 30 мая 1799 г.; Петрушевский, т. III, стр. 185.
- ⁶² Петрушевский, т. III, стр. 156—157, 159.
- ⁶³ «Keine garstige Retraite» — гласит стихотворное предписание Суворова генералу Меласу, написанное перед сражением при Нови. — Петрушевский, т. III, стр. 160; Фукс, Анекдоты, стр. 168.
- ⁶⁴ Милютин, т. III, стр. 301.
- ⁶⁵ Петрушевский, т. III, стр. 277.
- ⁶⁶ Письмо к С. А. Колычеву от 17 октября 1799 г. из Линдау. — «Русский архив», 1869, вып. 2, стлб. 210; Милютин, т. IV, стр. 188, 355.
- ⁶⁷ «Москвитянин», 1842, ч. VI, № 12, стр. 303.
- ⁶⁸ «Русская старина», 1872, май, стр. 701. Перевод с французского.
- ⁶⁹ Фукс, Суворов и Кутузов. — «Сборник разных сочинений», стр. 157—158.
- ⁷⁰ Глинка С., Русские анекдоты военные и гражданские, ч. V, М., 1822, стр. 74.
- ⁷¹ Там же, стр. 91.
- ⁷² В 1706 г. русская армия в Гродно была блокирована шведами, но выведена из окружения без потери единого человека.
- ⁷³ Фукс, Анекдоты, стр. 50; Давыдов Д. В. Материалы для истории современных войн — «Сочинения», т. I, СПб. 1893, стр. 130.
- ⁷⁴ Фукс, Анекдоты, стр. 50.
- ⁷⁵ «Славянин», 1827, № 6, стр. 99—100 — письмо Суворова к Багратиону от 30 мая 1799 г.: «Князь Петр Иванович! Графа Бельгарда войски из Тироля придут под Александрию необученные, чужды действия штыка и сабли. Ваше сиятельство, как прибудете в Асти, повидайтесь со мною и отправьте не медля к Александрии, где вы таинство поблнения неприятеля холодным ружьем бельгардовым войскам откроете и их к сей победительной атаке примерно направите. Для обучения всех частей довольно 2—3 раз: и коли время будет — могут больше сами учиться: а от ретирад отучите. Наблюдайте сне кренко и над российскими. Скорее возвращайтесь к своей команде».
- ⁷⁶ Милютин, т. IV, стр. 45.
- ⁷⁷ Давыдов Д. В., Воспоминание о Кульневе в Финляндии. — «Военные записки», М. 1940, стр. 147.
- ⁷⁸ Там же, стр. 156, 150.
- ⁷⁹ Там же, стр. 147.
- ⁸⁰ Письмо к Д. И. Хвостову от 12 января 1797 г. — «Красный архив», 1941, т. 3 (106), стр. 164.
- ⁸¹ Давыдов Д. В. Воспоминание о Кульневе..., стр. 152.
- ⁸² Там же, стр. 153—154.
- ⁸³ Письмо Д. В. Давыдова к И. В. Васильчикову 1814 г. — Давыдов Д. В., Военные записки, М. 1940, стр. 16.
- ⁸⁴ «Отечественные записки», 1841, т. XIV, отд. II, стр. 4; Давыдов Д. В. Военные записки, стр. 18—19.

Организация научной работы в институтах физических проблем Академии наук СССР¹

Академик А. Ф. Иоффе, председатель нашего собрания, в своем вступительном слове связывает мое сегодняшнее выступление с тем награждением, которое получили сотрудники нашего института, и я не могу не сказать несколько слов по этому поводу.

Мы горды и счастливы таким отношением к нам нашего правительства, именно как к коллективу, сумевшему добиться результатов, которые получили признание. Еще более мы счастливы тем, что это признание заслужено нами во время войны, которую ведет наш народ в защиту родины. Когда наступит мирное время, то наши ордена и медали будут напоминать о той маленькой ленте, которую мы стремились внести в эту борьбу миллионов за свою свободу и счастье.

Основная тема моего доклада, порученного мне президиумом Академии наук, — это организация научной работы Института физических проблем.

Когда я вернулся работать в Союз, то вопрос об организации науки вообще и, в частности, научной работы в моем институте меня очень интересовал. Я был хорошо знаком с тем, как организованы наука и научная работа за рубежом. Я был в продолжение ряда лет директором института в центре английской научной мысли — в Кембридже. На основании этого опыта я чувствовал, что те организационные формы научной работы, которые приняты на Западе, неприменимы у нас полностью. Нам надо искать, мне думалось, свои собственные формы организации научной работы в институте и еще больше в организации всей науки.

Это обусловлено, главным образом, тем, что в нашей социалистической стране науке отводится особое место. Конечно, в других странах хорошо известно и общепринято, что наука играет большую роль в развитии культуры и техники страны. Но в нашей стране за наукой признано значение одного из основных устоев развития культуры, ей отводится направляющее значение в развитии нашей техники и народного хозяйства. Поэтому организация науки должна быть у нас более целеустремленной, чем это мы видим в капиталистических странах, где она носит скорее случайный, спонтанный характер. У нас связь между наукой и жизнью должна быть более тесная и полная. Особенно важны вопросы организации науки для нас — работников Академии наук Советского Союза.

Рассказывая сейчас вам об организации

научной работы в нашем институте, я попытался сперва дать картину тех общих принципов организации науки, из которых мы исходили, и затем расскажу, что нам удалось в действительности осуществить.

Позволю себе сделать несколько предварительных оговорок.

Я буду говорить в основном об организации института не в военное время. Как институт изменил свой облик на период войны, как мы его приспособили к нуждам военного времени, об этом я скажу несколько слов в конце своего доклада. Но это, конечно, надо рассматривать, как временную стадию существования нашего института. Постоянный интерес представляет для нас структура института, какой она была в мирное время. Чем здоровее эта структура, тем легче она может быть приспособлена к боевым условиям, когда бы они ни возникли.

Хочу также напомнить вам, что наш институт молодой: он существует всего 7—8 лет. Хотя я приехал сюда уже более или менее сформировавшимся ученым, тем не менее создавать институт, не имея школы, не имея сотрудников, было трудно. Поэтому рост института шел гораздо медленнее, чем если бы он отпочковался от какого-либо другого института и на этой основе продолжал развиваться и расти самостоятельно. Дополнительные трудности в подборе кадров были связаны с особенностями нашей работы, относящейся к области сильных магнитных полей и низких температур — области научной работы, мало развитой у нас в СССР. Первые годы мы были заняты формированием и обучением основных кадров, научного и обслуживающего персонала института. Только после того как рабочее ядро было сформировано, он мог начать нормально расти и расширяться. Этим объясняется, что наш институт развил меньше, чем это будет со временем.

С этими оговорками разрешите мне приступить к моему докладу.

Вопрос, который я с самого начала поставил перед собой, был: каковы должны быть задачи института Академии наук? — Задавался этим вопросом, я имел в виду конечно, институт по физике или вообще институт, посвященный исследованиям в области естественных наук; задачи и организация института, работающего в других областях знания, будут, конечно, отличаться, поэтому я заранее оговариваюсь против слишком широкого обобщения тех тезисов, которые я буду развивать.

Далее я подчеркиваю, что речь идет об организации института именно Академии наук. Что такое Академия наук? Академия наук — это главный штаб советской науки. Она, с моей точки зрения, призвана идей-

¹ Доклад академика П. Л. Капица на заседании президиума Академии наук СССР 18 мая 1943 г.

но руководить всей нашей наукой сверху донизу и направлять ее по здоровому руслу. Это она должна делать и во всяком случае она должна к этому стремиться. Каждый отдельный ее институт должен вести ту же самую политику, то есть стремиться иметь руководящее влияние на науку в той области, в которой он работает, стремиться вывести ее в передовые ряды.

Поэтому первое задание, которое должен поставить перед собой институт Академии наук,— это заниматься большой наукой. Большая наука — это та наука, которая изучает основные явления, необходимые для наиболее глубокого познания природы. Задача большой науки — дать необходимые знания, чтобы преобразовать природу так, чтобы она служила человеку в его культурном развитии. Поэтому чрезвычайно важным является выбор основной тематики института, выбор областей, в которых направлена его работа. Это направление института должно соответствовать тому направлению в развитии науки, которое в данный момент является наиболее многообещающим и при данном состоянии науки, учитывая методические возможности, может наиболее быстро и плодотворно двигаться вперед.

В области физики существует, я считаю, три таких основных направления: исследование в области низких температур, исследование в области атомного ядра и, наконец, в области твердого тела. Я не имею сейчас возможности вникать в обоснование причин, по которым считаю эти направления наиболее важными, и возможно, ряд товарищей физиков со мной не будут согласны. Наш институт работает над изучением явлений, происходящих при низких температурах, вблизи абсолютного нуля. Отмечу, что за последние годы это направление — одно из наиболее быстро развивающихся в физике, и в нем можно ожидать много новых и основных открытий.

Научная работа выполняется у нас небольшим количеством ведущих кадров. Это делает работу института целеустремленной, сосредоточенной вокруг небольшого количества ведущих тем. Ничто так не опасно для научной работы института, как засорение мелкой тематикой, отвлекающей от основных задач и устремлений.

Следующий по важности вопрос после выбора общего направления работы — это подбор научных работников. В большой науке значительных успехов может добиться только глубоко творчески одаренный и творчески относящийся к своей работе человек. Таких работников в науке немного, да их не может быть много, как не может быть в стране много крупных писателей, композиторов и художников. Но зато, имея их, мы должны их поставить в такие условия, чтобы использовать их научные силы для развития нашей большой науки наиболее полно и целесообразно. Поэтому ядро института безусловно можно образовать только из небольшого количества очень тщательно подобранных научных работников. Это ядро должно все-

цело отдаться научной работе. Институт должен быть организован так, и в нем должны быть созданы такие условия для работы, чтобы научные работники проводили в лаборатории и занимались наукой не менее 80 процентов времени, отвлекаясь на выполнение общественных и других функций не более чем на 20 процентов. При этих условиях только и можно добиться того, чтобы научные работники могли сидеть в лаборатории и работать сами. Только когда работаешь в лаборатории сам, своими руками проводишь эксперименты, пускай часто даже в самой рутинной их части, только при этом условии можно добиться настоящих результатов в науке. Чужими руками хорошей работы не сделаешь. Человек, который отдает несколько десятков минут того, чтобы руководить научной работой, не может быть большим ученым. Я во всяком случае не видел и не слышал о большом ученом, который бы так работал, и думаю что этого вообще быть не может. Я уверен, что в тот момент, когда, даже самый крупный, ученый перестает работать сам в лаборатории, он не только прекращает свой рост, но и вообще перестает быть ученым. Эти принципы очень важны, но они относятся только к мирному времени, в военное время часто приходится поступать и действовать иначе.

В особенности важно привить эти принципы начинающим ученым. В этих целях я пытаюсь вводить их работу в несколько жесткие организационные рамки. Например, научный работник не должен заниматься несколькими темами сразу, в особенности, когда он находится в начале своего пути. Когда научный работник подрастет, станет более крупным, он, может быть, сможет в виде редкого исключения вести одновременно две-три темы, но начинать он должен с одной.

Следующий из организационных приемов, важных для успешной работы, — это то, что в лаборатории научный работник должен работать ограниченное количество часов. Работа «запоем» вредна — она истмывает человека и понижает его творческие силы. У нас в институте, например, принято, что все работы в лаборатории заканчиваются после 6 часов вечера. Научный работник должен идти домой, обдумать свою работу, читать, учиться и отдыхать. В исключительных случаях, с разрешения заместителя директора, можно работать до 8 часов вечера. Ночная работа допускается уже только с разрешения директора и может быть оправдана техническими требованиями, вызванными специальными условиями эксперимента. Таков режим, в котором работают научные работники нашего института.

Институт, по качеству своих научных сил и по качеству своей продукции способный явиться центром большой науки, может все же стать замкнутой в себе изолированной единицей и не удовлетворять тем требованиям, которые мы вначале себе поставили, то есть наиболее действительно влиять на науку и культуру всей страны.

Как же может институт проявить свое влияние на развитие передовой науки страны, как может он связать себя с другими очагами научной мысли страны? Путей для этого несколько. Назовем главные из них.

Прежде всего он должен воспользоваться для этого теми преимуществами, которыми он должен обладать как институт Академии наук. Эти преимущества заключаются в богатом и современном техническом оснащении, в подборе сильных кадров, благодаря чему имеется возможность выполнять некоторые научные работы, которые недоступно осуществить в других институтах. У нас в институте, например, наличие специальной установки для получения в больших количествах жидкого гелия открывает исключительные возможности ведения опытов в области низких температур, какие отсутствуют в других местах. И вот, пользуясь этим, наш институт предоставляет работникам других институтов возможность приезжать как бы на гастроли — делать в институте свои работы в области низких температур, которые не могут быть поставлены в другом месте. Работы эти обычно не являются ведущими и подчас даже стоят в стороне от основной тематики института.

Организуется приезд к нам товарищей из других институтов обычно так. Товарищ, который хочет работать у нас, приглашается на наше научное собрание или семинар и докладывает опыт, который он хочет поставить. Происходит обсуждение, и если выявляется, что предложение представляет обоснованный научный интерес, а автор достаточно квалифицирован, ему предоставляется возможность провести работу. Чтобы не расстраивать основных работ института, число таких работ со стороны невелико и у нас обычно не превышает двух-трех.

Желающих приехать поработать в институте у нас в Советском Союзе до сих пор оказывалось больше, чем возможностей их всех устроить. Это хороший показатель того, что институт является передовым, так как только в этом случае посторонние научные учреждения будут заинтересованы в работах ведущего академического института и будут стремиться соприкоснуться с ним.

Постоянное пребывание у нас работников из других научных учреждений позволило осуществить один из видов живой связи с внешним научным миром. Уезжая от нас после окончания работы, научные работники помимо опыта, полученного от проведенной работы, знакомят свои институты и с другими нашими работами, и наш опыт все дальше и дальше проникает в другие научные учреждения страны. Таким образом через них устанавливается живой контакт с другими учреждениями, и мы в свою очередь узнаем, что делается там. Живая связь — это самая сильная связь. Использование ее — хороший метод воздействия на развитие науки в стране.

В перспективе необходимо наладить такую же живую связь и с зарубежными учеными. В первые годы существования

института к нам приезжали научные работники из-за границы. Но за последние годы политическая обстановка настолько усложнилась, что хотя желающие приехать и были, но вообще связь с границей была нарушена, так что об этой стороне нашей связи — с зарубежными учеными — можно говорить только в плане будущего. Но ее, конечно, нужно считать нормальным и здоровым условием работы всякого академического института, так как вся наука в мире составляет одно неразрывное целое. Если академический институт хочет претендовать на ведущее положение, для работы в него должны стремиться приезжать работники не только своей страны, но и других стран. Это будет объективным доказательством того, что в институте ведется передовая, большая наука.

Есть еще одна область влияния на нашу культуру и на нашу науку со стороны передовых академических институтов. Это область подготовки научных кадров.

Никто кроме института не может готовить свои будущие кадры, и он должен с большим вниманием постепенно выращивать их из молодежи. Поэтому созданный у нас институт аспирантуры надо всячески приветствовать и поддерживать. Но тут есть некоторые трудности, на которых я хочу остановиться.

Первая такая трудность — это отбор аспирантов. Дело в том, что связь между научными учреждениями и вузами в ряде случаев у нас неудовлетворительна. Я считаю, что это большой недостаток в нашей организации. Лучшие, наиболее крупные ученые ушли в научно-исследовательские учреждения. Руководство вузов осталось, главным образом, в руках педагогов учительской работы, для которых исследовательская работа является не главной частью их деятельности. Наши профессора в преобладающей части, надо прямо сказать, не могут рассматриваться как ведущие ученые нашей страны. Их требования к студентам, их система воспитания молодежи обычно направлены не на то, чтобы выделять наиболее творчески сильную молодежь. Поэтому в наших вузах творческие задатки нашей молодежи плохо развиваются. Присутствуя на аспирантских экзаменах, я обычно наблюдал, что вузовской профессурой наиболее высоко ценится не тот студент, который более всего понимает, а тот студент, который больше всего знает. А для науки нужны люди, которые прежде всего понимают. Поэтому отобрать студентов из вуза в аспирантуру по данным на экзаменах очень трудно. Чтобы правильно отобрать обещающих аспирантов, надо наблюдать их в продолжение некоторого отрезка времени, когда они заняты такой работой, на которой могли бы проявить свою творческую жилку, свое умение самостоятельно мыслить. Я думаю, что разрыв между вузами и научными институтами и привел к тому, что подбор молодых научных кадров теперь гораздо слабее, чем было в мое время, когда главная научная работа велась в вузах.

Я вспоминаю тот период, когда академик А. Ф. Иоффе руководил кафедрой физики в Политехническом институте в Ленинграде. Думаю, что не случайно именно тогда в его группу работников отобраны целый ряд начинающих ученых, которые хорошо пошли вперед (четверо из них уже стали академиками). В наших вузах и сейчас несомненно много обещающей и талантливой молодежи, но сито, которым мы их пытаемся отсеять для научной работы, с такими дырками, что они проскальзывают и не попадают в научные институты. Если мы хотим начать отбирать наиболее талантливых ученых, необходимо серьезно подумать над тем, как найти форму, связывающую наши научные институты с вузами, чтобы выявлять и воспитывать наиболее творчески способную молодежь.

Поэтому мы стали искать новые формы отбора аспирантов из молодежи вузов. Эта форма отбора, которую мы стали осуществлять для нашего института, начала развиваться только последние два-три года перед войной, и пока трудно сказать, какие она даст результаты. Заключается она в следующем. Пользуясь тем, что мы обладаем жидким гелием для экспериментов при низких температурах в количествах больших, чем холодильные лаборатории всего мира вместе взятые, мы имели возможность организовать при институте практикум, через который проходит каждый студент физического факультета Московского университета. Конечно, сперва такой практикум был организован только для лучших студентов, но последние два года все без исключения студенты физфака проходили этот практикум, причем каждый выполнял две-три лабораторные работы с жидким гелием. С точки зрения криогенных институтов, это большая роскошь, потому что, например, в Лейденском и других лабораториях работа с жидким гелием и по сей день считается малодоступной даже для ученых; у нас же каждый студент МГУ имел возможность делать такие работы, как, например, по свойствам сверхпроводников, изучать магнитные явления при температурах, близких к абсолютному нулю, и т. д. Естественно, что университет приветствовал такую возможность и охотно посылал к нам студентов. В процессе работы практикума установилась такая система: лучшие студенты, наиболее хорошо себя проявившие на занятиях практикума, отмечались, и если они желали, они могли делать больше положенных трех работ. При этом научные работники, руководившие работами в практикуме, беседовали с ними, лучших направляли побеседовать со мной. Таким образом мы получили возможность отмечать наиболее способную молодежь, сблизиться с ней, начиная с 3—4 курса, и следить за ней. Далее лучших из них мы приглашали к себе в институт практикантами. В этой должности они участвовали уже в исследовательской работе как младшие лаборанты, помогали нашим научным работникам в их экспериментах, делали записи, налаживали более простые работы

и т. д. Отбор в аспирантуру производился уже из кадров практикантов не только на основании ответов на экзаменах, но с учетом того, как кандидат проявил себя при работе в институте. Конечно, такой отбор молодых ученых позволяет захватить более широкий круг молодежи и лишить отбор элемента случайности. На этом наш опыт был прерван войной. Но если бы мы его продолжили, он должен был развиваться так: окончив аспирантуру, получив кандидатскую степень, эти молодые ученые шли бы в другие научные учреждения и распространяли бы научный опыт нашего института. Далее можно было ожидать, что один из десяти или один из пятнадцати окончивших аспирантуру был бы настолько талантливым, что остался бы в институте в основном кадре творческих работников. Так рос бы институт.

Такой метод наблюдения за молодежью с университетской скамьи, тщательная и непрерывная проверка ее способностей представляются, с моей точки зрения, пока единственно правильный путь для отбора молодых научных кадров. На эту работу нельзя жалеть сил, и не только потому, что молодые научные кадры есть наше будущее. Они — наше настоящее. По мере того как ты становишься старше, только молодежь, только твои ученики могут тебя спасти от преждевременного мозгового очерствления. Каждый ученик, работающий в своей области, конечно, должен знать больше, чем знает в этой области его учитель. И кто же учит своего учителя, как не его ученики? Учитель благодаря своему опыту руководит направлением работы, но в конечном счете учителя учат его ученики, они углубляют его знания и расширяют его кругозор. Без учеников ученый обычно очень быстро погибает как творческая единица и перестает двигаться вперед. Я никогда не забывал слов моего большого учителя Резерфорда. «Капица, — говорил он, — ты знаешь, что только благодаря ученикам я себя чувствую тоже молодым». И когда я сам подхожу к старости, я чувствую, что общение с молодежью должно быть модус вивенди, предохраняющим тебя от увядания, обеспечивающим сохранение бодрости и интереса ко всему новому и передовому в науке. Ведь консерватизм в науке для ученого — это хуже преждевременной смерти, это тормоз для развития науки.

Теперь перейдем к еще одному важному виду связи научной работы института с внешним миром, мне кажется, несправедливо игнорируемого не только в научных институтах, но и в Академии наук в целом. Это вопрос о пропаганде науки.

У нас много говорят о популяризации науки, подразумевая под этим популяризацию ее для широких масс, но не привыкли думать, что кроме нее существует еще пропаганда науки. Всякое большое научное достижение, всякий шаг вперед в науке можно не только популяризовать — и это, конечно, не обязательное дело ученого, но дело ученого — это пропагандировать его, то есть показать своим же товарищам ученым его значение, объ-

яснить ту роль в науке, которую это достижение призвано сыграть, указать, какое влияние оно может иметь на развитие научной мысли, на наши философские воззрения, на нашу технику и т. д. Пропаганда науки — это не пересказ научных мыслей более простым языком. Это — творческий процесс, потому что совсем не так легко и легко представить самому себе и объяснить другим, как может повлиять то или иное научное достижение на развитие науки, техники и культуры в целом. Между тем, пропагандой науки в этом ее понимании мы мало занимаемся, и ей не отводится достаточно почетное и важное место в работе наших ученых. Этой работе, к сожалению, и в нашем институте мы не всегда отдавали должное внимание. Пропагандистская работа находила у нас свое выражение в виде отдельных лекций в научных учреждениях, привлечения на наши научные собрания сотрудников других институтов, обсуждения с ними проблем, затрагивающих области науки, смежные с нашей, и т. д.

Такая форма связи науки с жизнью и в других научных учреждениях осуществляется у нас случайно, неорганизованно, о ней мало говорят. Результат этого — замедленное влияние одних областей науки на другие и задержка проникновения научных достижений во все виды жизни страны. Нам надо подумать о том, чтобы воспитать пропагандистов науки и их работу организовывать. Я всегда стараюсь поощрять возможно более широкое обсуждение всякой научной работы и не только не сдерживал научных споров, когда они возникали на научных собраниях, но наоборот, считал, что неплохо немножко подзадорить людей, чтобы они поспорили по-настоящему. Всякое, самое широкое обсуждение научных работ надо приветствовать. Чем больше споров, чем больше возникает противоречий, чем они острее, тем больше стимулов для здорового развития научной мысли. Следуя этой тенденции, наш институт, кажется, больше, чем другие институты, выступал с докладами на собраниях физико-математического отделения Академии наук.

Подхожу теперь к одной из важнейших форм влияния научной работы на культуру — к вопросу о влиянии ее на развитие передовой техники и промышленности.

Какие организационные формы должно принять у нас, в социалистической стране, влияние науки на нашу технику и хозяйство? Этот вопрос у нас часто дебатировался и стоит наиболее остро. Я должен прямо сказать, что ряд настроений, которые у нас в этом вопросе существуют и которые часто высказываются даже довольно ответственными руководящими товарищами, с которыми мне приходилось беседовать, я не могу разделять. Мне думается, что понятие о связи науки и техники у нас часто вульгаризируется: очень многие полагают, что всякая научная работа должна дать тут же, сейчас же и непосредственный выход в технику. Эти товарищи судят о том, хорошо или плохо работает выполнивший то или иное исследование научный институт

только на основании масштаба той конкретной помощи, которую научная работа оказала той или иной отрасли промышленности. Это, конечно, неправильно. Такой подход наивен и ведет к вредному упрощенчеству. Даже поверхностное изучение истории науки и культуры показывает, что всякая большая наука неизбежно влияет не только на технику, но и на весь уклад нашей жизни. Совершенно ясно, что только благодаря фундаментальным работам и открытиям Фарадея стали возможным такие совершенно новые виды орудий человеческой культуры, как динамомашинна, телефон и пр. Но, очевидно, что не следует требовать от Фарадеев, чтобы они сами делали и телефон и динамомашину. У Фарадея не было инженерной складки, к тому же промышленность его времени не была еще готова воплотить все его идеи в жизнь. Белл, Сименс, Эдисон и другие крупные инженеры сделали это несколькими десятилетиями позже. Таких примеров много. Но то, что Фарадей не воплотил свои идеи в технику, не умаляет его гениальных открытий законов и свойств электрического тока. У нас же часто принято судить о достижениях науки только по ее практическим результатам, и получается, что тот, кто сорвал яблоко, тот и сделал главную работу, тогда как на самом деле, кто посадил яблоню, тот сделал яблоко.

Тот взгляд на вещи, который я оспариваю, умаляет значение большой науки, в частности, лучшую часть работ, которую ведут ученые Академии наук.

Вопрос о связи науки с техникой очень многосторонен. Когда рядовой инженер рассчитывает тормозные тележки, прочность строения, он пользуется законами механики, данными Ньютоном. Когда эксперт по патентам отвергает очередное «многообещающее» предложение вечного двигателя, он основывается на законе сохранения энергии, открытом Майером, и т. д. Когда к ученому приходит инженер за советом, с просьбой либо объяснить непонятное явление в процессе производства, либо указать, как можно рассчитать тот или иной механизм и т. д., это тоже есть важный вид связи науки и техники. Все это происходит у нас каждый день при самых различных обстоятельствах в десятках, сотнях мест. Но это так обычно, что об этом мы не говорим, этого мы не чувствуем и очень мало ценим. Между тем эта форма связи есть одно из могучих средств влияния науки на технику и на промышленность. Но чтобы это влияние происходило, необходимо, чтобы у нас была большая наука и чтобы были люди, называемые учеными, которые ею умели бы владеть.

Например, наша военная техника, как об этом не раз говорил товарищ Сталин, по уровню своему стоит наравне, а во многих отношениях даже превосходит технику наших противников. Чему она этим обязана? Конечно, в первую очередь существованию у нас большой науки и ученых, влияющих по ряду незримых путей на нашу технику.

Чему, например, обязана своим высоким уровнем наша металлургия? Конечно, в первую очередь работам Чернова и всех его учеников и тем традициям научного подхода к металлургии, которые они создали в продолжение многих лет. Инженерам принадлежит, конечно, большая заслуга: они сумели воспринять, извлечь все, что нужно из большой науки, созданной основоположниками нашей научной металлургии. Но без Чернова, Курнакова и их последователей наша металлургия, конечно, не дала бы ни такой хорошей стали, необходимой для наших орудий, которыми вооружена армия, ни такой великолепной брони, какую мы делаем сейчас. А без нее конструктора были бы бесильны создать первоклассные танки.

Возьмите еще один пример — нашу авиацию. Чему она обязана своим прогрессом? Без работ Жуковского, Чаплыгина и их школы, конечно она не могла бы развиваться. Но Чаплыгин никогда не мог не только сконструировать аэроплана, но даже вычертить профиля. Он был большой математик, так же как и его гениальный учитель Жуковский, который заложил основы аэродинамики полета. Перед Жуковским преклоняется весь мир за открытие основной теоремы, которая лежит в основе расчета профиля крыльев аэропланов и благодаря которой стал понятен механизм подъемной силы крыла. Но следовало ли бы требовать от Жуковского, чтобы он эти аэропланы рассчитывал? Его теорема — это та прекрасная яблоня, которую он посадил, и с нее будут срывать яблоки еще многие века все те, кто строит аэропланы.

Конечно, это влияние большой науки на технику должно быть организованнее, чем оно у нас сейчас, должно идти через пропаганду, о которой я говорил. Нужно также лучше организовать консультативную ученых промышленности. Нужно, чтобы ученые более интересовались теми областями техники, в которых их знания могут оказать наибольшее влияние. Если можно говорить о планировании науки, то оно должно заключаться в поощрении развития тех областей знания, которые в данный момент могут оказать более широкое влияние на развитие техники. Но нельзя требовать от большого ученого, чтобы он обязательно влиял на технику путем прямого проведения своих идей до практического результата.

Перехожу от этого общего вступления к конкретному рассказу о связи нашего института с техникой. На первый взгляд может показаться, что то, что я буду рассказывать, будет противоречить тем идеям, которые я развивал. Но это противоречие обязано случайным обстоятельствам, тому, что помимо научной работы я занимаюсь и инженерными проблемами. Но это, конечно, случайное обстоятельство, которое нельзя рассматривать как правило. Мне кажется, что самое простое будет рассказать вам о том, как институт развивал свои работы по кислороду в промышленности.

Примерно в 30-х годах в нашей технической печати оживленно обсуждался

очень важный вопрос о широком применении кислорода в промышленности и возможном его влиянии на современную технику. Ряд интересных статей и расчетов наших передовых инженеров показывал, насколько велико может быть влияние дешевого кислорода на промышленность. Из них особо привлекательна была интенсификация черной металлургии: доменной плавки, получения сталей на кислородном дутье. Далее шли вопросы подземной газификации, интенсификации ряда химических производств и т. д. Все эти заманчивые и интересные перспективы упирались в вопрос получения в больших количествах дешевого кислорода. Одновременно предлагались и обсуждались методы получения в больших количествах кислорода. Я заинтересовался этими материалами, обратив внимание на некоторые статьи с явными ошибками. Стал разбираться в разных возможностях получения наиболее дешевого кислорода. На основании современных физических представлений можно было показать, что всего дешевле будет получать кислород из воздуха, где он находится в свободном состоянии. Дальше можно было показать — и я докладывал об этом в Академии наук, — что наиболее дешевый путь получения кислорода на современном уровне техники лежит через ожижение воздуха и последующую его разгонку. Жидкий воздух можно разгонять на кислород и азот, подобно тому как мы разгоняем спирт из жидкой смеси его с водой. Затем, также на основе общих научных соображений, можно было показать, что в современных установках, которые служат для получения жидкого воздуха, коэффициент полезного действия не больше 10—15 процентов, что существующие циклы ожижения и ректификации очень усложнены. Далее можно было показать, как нужно построить цикл, более близкий к идеальному. Можно было показать, что самым верным путем упрощения и удешевления этих процессов для получения кислорода в большом количестве будет отказ от поршневых холодильных машин и переход на ротационные — турбинные машины. Интересно было отметить, что идея постройки холодильной турбины хотя и была высказана еще в 90-х годах Релеем, но, несмотря на ряд попыток, до сих пор не была успешно осуществлена. Можно было теоретически показать, в чем, по всей вероятности, была ошибочность этих попыток и как этих ошибок избежать. Всю эту теоретическую работу было интересно делать и это, конечно, была работа ученого.

Получив эти результаты, я рассказал о них инженерам, специалистам и указал, какого пути, по моему, надо держаться, чтобы создать новую технику получения дешевого кислорода. Они мне прямо сказали, что профессор фантазирует, — это все чересчур нереально и далеко от их современных представлений. Иначе говоря, наша техническая мысль не была достаточно зрелой, чтобы воспринять эти новые идеи.

По существу, как ученый, я мог бы здесь остановиться, опубликовать свои ре-

зультаты и ждать, пока техническая мысль достаточно созреет, чтобы их охватить и воплотить в жизнь. Сегодня я знаю, что этим теоретическим исследованием я предначертал всю ту работу, которую делал сам последние четыре года уже как инженер и которую, как я вначале предполагал, должна была бы делать наша промышленность. На этой теоретической работе я имел бы право остановиться, если бы сам не был инженером, если бы меня, не скрою этого, не разобрал задор инженера. Мне говорят, что те идеи, которые я выдвигаю как ученый, нереальны. Я решил сделать еще шаг вперед.

За полтора-два года я построил в институте машину для получения жидкого воздуха на этих новых принципах. Общие теоретические положения, которые были высказаны, оправдались. Машина была подвергнута экспертизе правительственной комиссии. Постановление Экономсовета обязало один из заводов воспринять наш научный и технический опыт и развивать дело дальше. Я думал, что на этой стадии я смогу успокоиться. Завод начнет разрабатывать новые установки и пойдет дальше их развивать в том же направлении. Я предполагал, что из нашей лабораторной модели, дающей все необходимые показатели и тем самым подтверждающей все основные выдвинутые теоретические положения, промышленность разовьет новую технику получения дешевого кислорода. Но на деле вышло совсем не так. Хотя правительством были даны заводу довольно жесткие указания, завод все-таки не выполнял их.

Присматриваясь к тому, что происходило на заводе, нетрудно было понять причину задержки в развитии и внедрении в жизнь новых установок. На данном заводе были молодые талантливые инженеры и конструкторы, которые отнеслись к нашему заданию с большим интересом. Некоторые из них и сейчас работают со мною. Общее отношение заводского коллектива к новому заданию нельзя было назвать враждебным. Он признавал пользу и интерес нового, но у работников завода просто до него руки не доходили. Они были связаны повседневными заботами и, главное, выполнением основного плана завода. Конечно, наши установки отнимали много сил, мешали выполнению плана, а по своему масштабу, как мелкое производство, в годовом балансе завода не играли никакой роли. Я думаю, что лучше всего можно охарактеризовать отношение завода к новым творческим начинаниям, вспоминая и несколько перефразируя строки из Фауста. Вы, может быть, их помните, а применительно к данному случаю они могут звучать так:

К высокому, прекрасному стремиться,
Увы, житейские дела мешают нам.
И если годовой наш план осуществится,
То блага высшие отнесим мы к мечтам...

Наши заводы хотят добросовестно отнестись к новым научным достижениям, но

жизнь ставит их в такие условия, что выполнение плана является для них наиболее важным. Год работы показал, что нет надежды, что при таких условиях завод станет развивать самостоятельно проблему дешевого кислорода.

Тогда было решено изменить нашу тактику. Задача была передана на другой завод, где был создан специальный цех и конструкторское бюро, которые занимались исключительно нашими установками. Постановлением Экономсовета подбор кадров этого цеха и техническое руководство этой работой были переданы институту.

Между тем, чтобы не терять времени, в институте делалась та работа, которую, как мы рассчитывали, должна была взять на себя промышленность. От установки для получения жидкого воздуха мы перешли к осуществлению новых циклов, к постройке установки для получения жидкого кислорода. Мы продолжали проверять наши теоретические построения и получили жидкий кислород на турбоустановках. При этом мы интересовались еще, сколько часов подряд наши установки могут работать непрерывно, в каких условиях работы на заводе им предстоит за себя постоять. Поэтому, хотя кислородная установка института работала исправно, все-таки нельзя было заранее сказать, что она уже доросла до промышленного образца.

На новом заводе дело шло теперь лучше, чем на первом, но все же он раскачивался медленно, и хотя мы руководили цехом, но наше вмешательство, как постороннего элемента, не проходило всегда гладко. Через год-полтора удалось построить несколько установок и передать их промышленности. Трудно сказать как бы дело пошло дальше, так как началась война и на этом эта новая форма связи с промышленностью кончилась.

Опыт работы с заводами научил нас многому. Он показал, что в промышленности есть творческие инженеры, есть стремление к новой технике. С самых первых шагов нашей работы над кислородом мы встречали большую помощь, поддержку и интерес ко всем нашим начинаниям со стороны правительства. Нам охотно шли навстречу во всех наших начинаниях. Конечно, только благодаря этому работа двигалась вперед. Что же в таком случае тормозило дело? Несомненно, организационные моменты. Наша заводская промышленная организация недостаточно приспособлена для быстрого и гладкого освоения новых идей в технике. Однако у меня нет сомнения в том, что при нашей хозяйственной системе можно найти и создать те организационные формы, которые открыли бы возможность гладкого и быстрого внедрения и развития передовых идей в технике и дали бы возможность широкого влияния науки на промышленность. Но эти формы еще не найдены, их еще надо искать.

Война обостряет нужду страны в кислороде. Приходится, засучив рукава, самим всеми силами браться за доработку машин под промышленный тип, изучать вопросы выносливости, долговечности...

сти эксплуатации. Это мы делали в Казани после эвакуации туда института. Параллельно, на основании казанского опыта, но чертежам, под руководством и совместно с институтом, срочно строятся крупные промышленные установки, которые начинают вступать в промышленную эксплуатацию.

Война и предстоящие в послевоенный период народнохозяйственные задачи страны поставили кислородную проблему очень остро. Нам надо было действовать энергично, чтобы использовать для нашей страны все возможности, которые открывают для промышленности наш метод получения кислорода. Я не могу входить в подробности принятых мероприятий, скажу только, что сейчас создан самостоятельный главк: промышленное управление по кислороду, одна из главных задач которого — разрабатывать и внедрять установки нашего типа. У главка есть свой завод. Руководство этой организацией поручено мне.

Тема моего доклада не позволяет мне более подробно останавливаться на задачах, поставленных перед Главкислородом и параллельно с ним созданным Техническим советом по внедрению и использованию кислорода. Скажу лишь, что идея, лежащая в основе этой организации, несет в себе попытку создать организацию, связывающую большую науку с промышленностью, и попытку, используя кислород, интенсифицировать нашу металлургию, химическую промышленность, энергетику и т. д.

Тут как будто появляется противоречие с моими основными тезисами, но это противоречие легко устранить, если допустить, что существует два Капица: один — ученый, другой — инженер. На время войны ученому пришлось уступить место инженеру. Как инженер я сосредоточил свои усилия, чтобы попытаться создать такую промышленную организацию, которая была бы приспособлена к восприятию и внедрению новых научных идей. Трудно сказать, что из этой попытки выйдет, но во всяком случае обстоятельства войны требуют приложения всех сил, чтобы добиться успеха.

Все это, конечно, не противоречит тому, что я сказал вначале. Все это происходило от простого совпадения, что мне удалось работать и как ученому и как инженеру. Ведь известны же такие случаи, что человек имеет две профессии. Например, Бородин был химиком и композитором. Но нельзя возводить это в правило и ставить это в пример. Если вы слушаете певца, то не требуется, чтобы он во что бы то ни стало сам себе аккомпанировал. Поэтому и от ученого нельзя требовать, чтобы он непременно искал выход и внедрил свои научные работы до промышленных результатов. Некоторые ученые имеют необходимую инженерную склонность, и тогда, конечно, эту счастливую случайность следует использовать. Но если этого нет, то побуждение человека делать то, к чему он не приспособлен, может принести только вред. Приведу в пример академика Н. Н. Семенова. Работы академика Н. Н. Семс-

нова по ценным реакциям и горению являются одними из наиболее блестящих и ведущих научных работ, сделанных у нас в Союзе. Теория горения, теория взрывов, теория детонации, вышедшие из его работ и из работ его школы, имеют колоссальное и всеми признанное влияние на современное развитие двигателей внутреннего сгорания, взрывчатых веществ и ряд других областей техники. Как у нас, так и за границей, везде, где приходится сталкиваться с изучением процессов горения, имя Семенова упоминается как основное. Но если Семенов сам попытается строить двигатель внутреннего сгорания или руководить такой постройкой, то у него мало что может получиться, а его время и силы будут оторваны от большой науки, где он проявил себя как виртуоз. Нам Н. Н. Семенов ценен как большой русский ученый, как гордость нашей теоретической мысли, и, конечно, его работы в теоретической химии будут цениться в длинном ряду поколений. Но как инженер он ниже среднего. И если певец не создан быть аккомпаниатором своих песен, то зачем же его поощрять это делать! Не лучше ли воспитать отдельно аккомпаниаторов? Но надо признаться, что мало где у нас в промышленности занимаются созданием соответствующих кадров для проведения в жизнь новой передовой техники. Это, надо сказать откровенно, большой наш недостаток, и с ним надо бороться. Но не менее вредно валить эту работу на наших больших ученых.

Мне кажется, что этот большой вопрос — о связи науки с промышленностью — нам надо широко дискутировать, чтобы найти здоровые формы этой связи, столь необходимой для нашего быстрого культурного роста. Надо избегать вульгаризации в постановке этого вопроса, каково, например, требование, огульно обращенное ко всем ученым: непременно самим внедрять результаты своих работ, как это частенько делается даже президиумом Академии наук. Против этого я всегда буду protestовать. Наука — большая наука — всегда двигала и будет двигать техническую мысль. У нас в советском государстве есть все возможности, чтобы сделать это влияние наиболее действительным. Но нельзя эти вопросы сводить до уровня примитива.

Теперь позвольте мне коснуться последнего вопроса — организационной структуры института. Те задачи, которые поставил перед собой институт и которые я вам обрисовал, несомненно влияют на его структурный облик. В нашем институте существует небольшой кадр постоянных научных работников, а также кадр временно работающих ученых и аспирантов. Только одна треть работников принадлежала к числу постоянных, текущий же состав института доходил до двух третей. Это необходимо накладывало известный стпечаток на всю структуру института. Поскольку временно работающие не оплачиваются из средств института, естественно, что размеры нашего хозяйственного обслуживающего аппарата не соот-

ответствуют принятым нормам, отнесенным к числу одних только постоянных научных работников. С бухгалтерской точки зрения, это часто ставилось нам в минуе как перерасход по хозрасходам, но если относить количество обслуживающего персонала ко всем научным работникам, работающим в институте, то несоответствия не получается. Кроме того, надо принять во внимание, что присутствие в институте временно работающих вызывает необходимость иметь более квалифицированный обслуживающий персонал. Аспиранты вначале, если остаются без присмотра, неизбежно портят приборы и ломают аппаратуру, прежде чем научаются работать. Разрушительным явлением для научного оборудования института могут явиться также и приезжие работники, если к ним не приставить опытных лаборантов. Они также ускоряют работу, так как могут помочь установить специальные приборы, принять работы при низких температурах, наладить довольно сложную термометрию глубоких температур, показать приемы обращения с жидким гелием и т. д. Помимо штата проверенных и опытных лаборантов, наш институт располагает мастерами высшей квалификации, чтобы быстро изготовлять специальную аппаратуру. Надо отметить, что ничто так не тормозит, не расколачивает и не угнетает научную работу, как медленное изготовление приборов для опытов. Поэтому хорошая мастерская при институте приносит нам много пользы.

Немалое значение в организации института имеет финансовое хозяйство. Та система финансирования, которая принята у нас для научных институтов, почти ни в чем не отличается от той, которая существует для всех других хозяйственных учреждений. Это, конечно, неправильно. Задачи хозяйственных учреждений, организация их работы в корне отличаются от научных институтов. Поэтому это несоответствие финансовой системы задачам учреждения обычно тяготит директоров наших научных институтов. Но почему-то даже Академия наук не сделала серьезной попытки изменить эту систему и, вместо того чтобы ее приспособить к себе, бесконечным рядом ухищрений и выдумок приспособляется к ней. Нам удалось для нашего института получить разрешение на значительное изменение и упрощение финансирования. Мы исходили из того, что научный институт должен быть организационно очень гибок. В самом деле, в ходе творческой работы трудно предвидеть не только на год, но даже на месяц вперед, как будет разворачиваться та или иная работа и какие организационные формы и затраты будут нужны, чтобы ее наиболее успешно развивать. Гибкость нашей организации создается тем, что нам, например, разрешили, — и я считаю, что это очень существенно, — не регистрировать заранее наши штаты. Штаты устанавливаются директором института по мере необходимости в них. Рассказывать подробно о нашей финансовой системе было бы долго, но главная мысль ее в том, что институт получает

в год лимит, который может использовать более свободно, чем обычные госбюджетные учреждения.

Чтобы убедить Наркомфин в необходимости такой системы, потребовалась некоторая настойчивость. Как раз в то время у Наркомфина была тенденция вводить так называемый тематический учет: он считал за идеал, чтобы расходы учитывались в деталях по каждой научной теме в отдельности. В своих дискуссиях с работниками Наркомфина, я писал, примерно, следующее: «Неужели, когда вы смотрите на картину Рембрандта, вас интересует, сколько Рембрандт заплатил за кисти и холст? Зачем же, когда вы рассматриваете научную работу, вас интересует, во сколько обошлись приборы или сколько материалов на это истрачено». Если научная работа дала значительные результаты, то ценность их совершенно несоизмерима с материальными затратами на нее. Ценная стоимость научной работы вообще несоизмерима с культурной ее ценностью. Я спрашивал, сколько Наркомфин считал бы допустимым отпустить средств Исааку Ньютону под его работу, приведшую к открытию всемирного тяготения?

Наркомфин неумолимо возражал. Споры с ним длились более полгода, и я думаю, что я бы его не переспорил, если бы не помощь и распоряжение СНК СССР. В конечном счете для института была создана упрощенная финансовая система, которая избавляет директора от ряда повседневных хлопот и необходимости «комбинировать». Это привело, например, к тому, что в институте работает только один бухгалтер, и тот имеет время в периоды аврала, например, помогать на испытаниях установок, вести записи и делать измерения. Это все облегчает, упрощает жизнь института и оздоравливает его дух.

Теперь я коснусь последнего вопроса о перестройке работы института во время войны.

Институту не пришлось очень много перестраиваться. Проблема кислорода оказалась актуальной и в военное время. Война заставила нас всех стремиться возможно быстрее реализовать весь накопленный в этой области опыт и знания. Мы пытались организовать нашу работу так, чтобы поскорее передавать весь наш опыт по кислороду промышленности, чтобы он по возможности полно был использован для борьбы с врагами. Также оказалось, что и в некоторых других областях работы института имели актуальное значение для задач войны. К сожалению, по ряду обстоятельств я не могу рассказать об этом подробнее. Направив сюда всю энергию своих работников, институту пришлось значительно сократить работу по тем направлениям, о которых я говорил в начале своего доклада. Мы почти целиком сосредоточили силы на главном направлении, на кислороде, чтобы концентрированным ударом добиваться определенных и быстрых результатов. Мы исходили из того, что научная работа во время войны, не доведенная до конца, не давшая результатов, может оказаться даже вредной, если она

отнимает силы от той работы, которая более актуальна.

Закачивая свой доклад, я хочу отметить, что я пытался касаться только самых общих и принципиальных вопросов организации научной работы. Некоторые из них далеко еще не решены нами окончательно. К сожалению, вопрос организации науки у нас еще мало дискутируется. Поэтому я допускаю, что ряд наших решений можно еще значительно улучшить. Но мне кажется безусловным, что в условиях нашей страны для организации науки есть еще много неисчерпанных возможностей. Даже при той еще несовершенной организации науки, которая есть у нас сейчас, наша большая наука уже имеет большее влияние на технику, на всю нашу жизнь, чем мы себе обычно представляем. Это влияние осуществляется развивающимися традициями, создаваемыми большой наукой и ее связью рядом незримых нитей с нашей жизнью и промышленностью. Нужно помнить, что без больших научных традиций, начавших создаваться нашими

учеными уже со времен Ломоносова, у нас не было бы хороших пушек, крепкой брони и быстрых самолетов, хотя непосредственно ни один из наших ученых академиком не умеет рассчитать аэроплан или выстрелить из пушки.

Мы еще не понимаем тех возможностей, которые у нас есть в стране, тех сил, которые дает нам близость нашей науки с жизнью, тех возможностей, которые нам предоставляются советским государством для научной работы. Мы не умеем еще использовать ту большую свободу, которая существует у нас в стране для развития научной мысли. Есть еще много ошибок, есть непонимание той большой роли, которую призвана сыграть Академия наук, есть умаление своего значения со стороны самой Академии наук. Но при всем этом достижения наши вполне реальны.

Товарищи ученые! Мы призваны делать большое дело в большой стране, и это дело мы сами первыми должны ценить и уважать и об его развитии заботиться.

Ф. ГЛАДКОВ

„Испытание“¹

Как бы критически мы ни относились к творческим успехам наших писателей в дни отечественной войны, как бы ни были строго требовательны к качеству их художественных произведений,— одно несомненно, что за два года войны советская литература дала ряд ярких книг большого общественного и исторического значения. Они различны по своему художественному уровню, но одинаково сильны по внутреннему напряжению, как боевые творческие документы нашей эпохи. Да и число этих произведений не так уж незначительно: наоборот, достойно удивления, что только в течение одного года войны появились такие крупные вещи, как «Радуга» В. Василевской, «Русские люди» К. Симонина, «Народ бессмертен» В. Гроссмана и другие. Удивительно именно то, что писатели работали во фронтовой обстановке и успели в беспрерывно короткое время написать «широкие полотна», а ведь при тщательной работе на книгу в 12—15 печатных листов обычно тратится не меньше двух-трех лет. Хотя и сильно чувствуется торопливость в этих повестях и романах, но мы благодарны литераторам за их большой и прямо-таки самоотверженный труд. Они с честью выполнили свой патриотический долг перед родиной как боевые художники.

Из произведений, посвященных людям тыла, надо в первую голову отметить книгу Арк. Первенцева.

Когда-то он написал хорошую повесть «Кочубей». Это широкая волнующая поэма

о народном герое Кубани. Ее романтический пафос и пленительная напевность будут долго волновать нашего читателя.

В романе «Над Кубанью» — тот же мотив, та же народная стихия, но тут уже больше эпического спокойствия.

И было как-то неожиданно появление в печати последнего романа Первенцева «Испытание». Голос писателя зазвучал по-новому, стиль и строй образов — иные, чем в прежних его произведениях. Роман посвящен самой животрепещущей теме наших дней — людям советской индустрии в первый год отечественной войны. Тема эта вообще очень трудная, а для романтического певца кубанского казачества, казалось бы, совсем далекая. И надо сказать прямо, что Первенцеву принадлежит первое слово в художественном изображении подвигов людей заводского труда в сложнейших условиях переброски предприятий на Урал и восстановления их на новом месте.

Сюжет романа несложен. На Украине в годы сталинских пятилеток был построен огромный авиационный завод. В Закавказьи и на Урале дублировались цехи этого завода. Началась война. Завод спешно разбирается, грузится на платформы и отправляется несколькими эшелонами на восток. Там он дружно и быстро, с помощью местных рабочих-энтузиастов, возводится чуть ли не в джбрах и пускается в ход. Кардуса старого завода взрываются; мамца остаются дунны.

Но это внешние обстоятельства, которые обуславливают судьбу людей, действующих в романе. А действующих лиц в романе очень много. Некоторые из них на-

¹ Аркадий Первенцев. «Испытание», роман, Гослитиздат, 1943, 211 стр., цена 7 руб.

писаны ярко и колоритно. Наиболее удачные и пластичные: главный инженер, — впоследствии директор — Богдан Дубенко, его отец, рабочий, и старый партизан-губанец Максим Трунов. Богдан Дубенко — центральная фигура романа. Это — характер, созданный советской действительностью. Сильный духом, с большой волей и знанием людей, умница, он — поэт в душе, нежный и славный парень. Нравом, правда, Богдан крутенец, вспыльчив, но быстро отходчив: умеет брать себя в руки и подавлять гнев. Единственно, что приводит его в бешенство, — это шкурничество, делечество, подлость, карьеризм.

Знающий и трезвый инженер-большвик, он живет заводом, самозабвенно предан ему, он вкладывает в него всю свою душу. По приезде из Америки он строит поселок «Белые коттеджи» и делает его по-русски уютным, поэтичным и, если можно так выразиться, задушевым: каждый рабочий свил в милейдидном домишке с садиком родное гнездо. Этот домик уже был неотделим от завода. Дубенко не просто готовит на своем заводе самолеты, — он создает их. Самолет — это часть его самого.

Он поэтизирует и жизнь. Но эта поэтизация нередко выражается у него как-то странно. Прежде всего и больше всего его волнуют и пленяют женщины. То где-то в Закавказьи неожиданно поражает его, «как мимолетное виденье», женщина с зелеными глазами — какая-то актриса, то у него бурно пробуждается желание обладать какой-то первой встречной, загадочной блондинкой. И это в самые тяжелые дни, когда враг уже бомбит город, когда роятся всюду укрепления и когда эвакуируется завод. А жена Валя, которую он любит и которая самоотверженно предана ему, только что отправлена с эшелоном в тыл. (На самом деле она осталась в городе, чтобы не расставаться с мужем.)

Ото всей этой прелюбодейной канители несет пошлятинкой, но главное в том, что она совсем не соответствует характеру Дубенко: все это врешито к нему ирривой фантазией автора. Надуманная фальшивая интрига вызывает досаду и недоумение.

Эта «личная» линия в обрисовке характера Дубенко не удалась автору, но, к счастью, суть всего повествования заключается в другом — в великом испытании, переживаемом страной. Оно показано А. Первенцовым горячо и живописно. Жаль только, что вся книга густо пересыпана мало понятной для читателя технической терминологией, жаргоном. Местами изложение похоже на доклад хозяйственника и инженера. Даже разговоры на эти темы между действующими лицами похожи на стенографические записи.

Превосходны картины монтажа, погрузки завода, отправки эшелонов. Враг бомбит и город и рабочий поселок. Уже льется кровь женщин и детей. Рабочие, обожженные горем и ненавистью к врагу, со слезами, с болью в душе снимают с площадок станки и грузят их на платформы под фугасами немцев. Эти странницы полны страдания: все эти сооружения,

целый город заводских корпусов, созданы рабочими — людьми, которые выросли здесь и здесь же хотели умереть. А пришлось переселяться в неведомую даль, на суровый Урал.

Их любовь к своей родине безмерна, потому что эта страна полита их кровью, создана их руками. Они — хозяева этой страны и сильные и умные ее работники. Они одухотворили ее своими великими целями, своей созидающей энергией. Они рождены и воспитаны ею. Их отцы защищали ее когда-то от интервентов, от тех же немцев, они еще жили воспоминаниями о доблести тех лет. А они, дети, сделали эту страну сильнейшей индустриальной державой. Теперь же все созданное нужно было уничтожить, чтобы не досталось врагу. И читателю передается та боль, с которой юноша-воин пишет в письме к Дубенко: «Ой, как жаль вашего города. Сколько труда было вложено в город. Какие дома! Когда я ходил по вашему городу, я славил власть нашу, достигшую таково... Казалось мне, что хожу уже я по коммунизму».

Дубенко, как и все, «познал горькую правду уничтожения, и в душе его на время было задавлено чувство созидания», потому что «нельзя оставлять баз, на которых враг может подремонтировать свою машину войны». И рабочие сами взрывали заводы. Это была тоже война — война беспощадная, самоотверженная.

Тяжело было уничтожать плоды своего труда, и не все способны были приносить эти жертвы. Рабочий Хоменко, потеряв семью, зам погиб, не имея сил оторваться от своего завода.

Но на Урале рабочие обрели такую же родину, как на Украине. Там встретили уральские рабочие украинцев как братьев. Правда, уральцы сдержанные, замкнутые, суровые люди: «они немного обещают, но много делают». Десятки тысяч этих уральцев идут на помощь и быстро разгружают эшелоны. Они приветили и приютили приезжих товарищей. Угрюмов — председатель облисполкома, хорошо знает своих уральцев. Он мудро организует людей и направляет дело.

С таким же самозабвением и энтузиазмом, как и раньше, рабочие стали возводить корпуса и монтировать печи на новом месте, в дебрях Урала. Здесь как будто ждали этого гиганта: здесь была неисчерпаемая сырьевая база. Украинцы и уральцы поняли и почувствовали друг друга с первой же встречи. Суровая и богатая природа Урала встретила ласково украинских степняков. Рабочий класс нашей страны издавна поражал мир своей способностью делать чудеса: он создал целую эпоху чудес — это эпоха сталинских пятилеток. В дни величайших испытаний, в дни кровавого вторжения врага, рабочий класс с невиданным напряжением, с невиданной быстротой перенес за тысячи километров свои заводы, воскресил их и стал работать на своих станках на полную мощь. Все печи открывались одновременно. «В результате всей этой сложной организаторской и строительной работы, — говорил по этому

поводу товарищ Сталин, — преобразились не только наша страна, но и сами люди в тылу». Эту свою перемену чувствует и Дубенко. Он говорит своим товарищам: «Давайте на все смотреть свежими глазами и не бояться. Даже таких решений, которые с первого взгляда покажутся абсурдом... Полнейший абсурд — в мирное время. А теперь все получается».

Это, конечно, не абсурд! Свойственный советскому человеку героизм невозможное делает возможным.

«Мы с Урала будем бить по фашизму».

Об этой великой эпопее переселения заводов с запада на восток и замечательном героизме рабочего народа много можно было бы написать в связи с книгой Первенцева. Но невозможно это сделать в короткой статье. Нужно эту книгу прочесть — прочесть внимательно: она поучительна, она написана кровью сердца.

В заключение не могу не указать на некоторые стилистические недостатки. Книга очень перегружена публицистическим и деловым материалом, а это сильно тормозит чтение. Много излишней риторичности и кудрявости в языке. Приведу наудачу два-три

примера: «Последние часовые — наиболее преданные сыны родины, и им было доверено проследить за уничтожением драгоценного имущества родины».

«Гром орудий — предвестник неумолимого приближения».

«Поле боя! Но только не было воин. Завод погиб один, как часовой у порохового погреба».

Можно было бы сделать множество выписок подобного рода.

Кстати, русскому человеку чуждо при обращении к отцу называть его «отец». Это плохой перевод с иностранного. Потом нет надобности писать слова так, как они произносятся: «што», «скушно», — потому что мы именно так и произносим, хотя и пишем: «сучно», «что».

Несмотря на все большие и малые недостатки и недоделки, книга Арк. Первенцева нужна нашему народу на фронте и в тылу: она укрепляет боевой дух и трудовой энтузиазм, она разжигает огонь ненависти и мщения к подлому врагу, она дышит бодростью и уверенностью в скорой и решительной победе над фашизмом.

МИХ. СЛОНИМСКИЙ

„Горький среди нас“¹

О рождении советской литературы, о том молодом и бурном времени, когда десятки новых писателей, насыщенных огромным опытом войны и революции, вошли в литературу, — об этом своеобразном периоде «бури и натиска» почти ничего не написано. О нем рассказывает книга Конст. Федина «Горький среди нас», первая часть которой недавно вышла в свет.

Центральным лицом воспоминаний Федина, естественно, стал Горький, основоположник новой революционной литературы, суровый и нежный учитель молодых советских писателей.

Благочестивой влюбленностью в Горького начинаются воспоминания Федина, тем же чувством запечатлена и последняя страница. Теперь о тех годах можно писать спокойно, беря самое главное и отбрасывая несущественное. Так и написана книга Федина — ровно, местами почти эпично. Но под видимым спокойствием изображения есть глубокая взволнованность, вдруг взрывающая каноническую форму мемуаров, есть та страсть художника, которая неотделима от выражения своей, особой точки зрения на события. Федин обнажает эту страсть в скупых отчетливых словах. «Все, что я любил, было мне дорого лишь настолько, насколько я создавал себя — хотя бы в далеком будущем — писателем. Я готов был отдать в жертву всю свою молодость, всю жизнь,

лишь бы по-настоящему приблизиться к литературе. Так и говорилось наедине с собою: жертва, молодость, жизнь. Это было обожание писательства — застенчивое, скрытое, но преданное, испытанное гсрячими угольями времени...»

Этим ощущением высокого призвания, страстным и благоговейным отношением к делу литературы пропитана вся книга Федина, это составляет ее основной тон, ее убеждающую силу, ее главную прелесть.

Для начинающего писателя книга Федина становится своеобразным учебником — она учит тому, как надлежит писателю относиться к ответственному делу, которое он делает. Книга отрицает ремесленничество, книга призывает к работе вдохновенной и самоотверженной.

В воспоминаниях Федина — Петроград 1920—1921 годов, умирающий особняк на Бассейной «Дом литераторов», ядром которого были журналисты закрытых газет, — «естественные безработные, которым чудилось, что небо пало в ту минуту, когда прекратилась газета «Речь»; основанный Горьким «Дом искусств», где и родилась одна из первых ячеек советской литературы; квартира Горького на Кронверкском...

Федин не раз повторяет наставление Горького, касающееся критики: «Слушайте, но не слушайтесь». Действительно, высказанный Алексеем Максимовичем в беседе с Фединым совет этот стал неписанным правилом у молодых писателей. «Горький никому не подсказывал, что и как надо делать, — пишет Федин, — и молодая литература рядом с ним, с его подавляющей индивидуальностью, была совершенно сво-

¹ К. Федина. «Горький среди нас», Гослитиздат, 1943, 147 стр., цена 3 р. 75 к.

бодной». И дальше: «Мы не помышляли ни о какой школе, ни о какой «группе», и поэтому Горький, далекий от насаждения школ, легко признал нас явлением жизненным». Все это верно и точно определяет позицию Горького в отношении молодой литературы. Горький утверждал великое жизненное разнообразие и самостоятельность творческих индивидуальностей, и это сыграло благотворную роль в развитии советской литературы. Федин правильно видит главное, чему учил Горький молодых писателей: «Он учил вере в дело литературы, он убеждал в его величии». Именно этой верой, этим убеждением проникнута небольшая книга Федина, именно это составляет не только содержание ее, но и основной ее тон.

В сцене беседы Горького с пролеткультовцами Федин дает картину русских просторов, летних, осенних, зимних, возникающих в речи Алексея Максимовича. Так «размашистыми мазками живописца» беседа о культуре, о пролетариате и крестьянстве, о России, Горький перенес жизнь большой родной страны в «петербургскую комнату, освещенную непогожей весной». Так соединяет Федин образ Горького, тему литературы с темой России, так соединяется в книге любовь к литературе с любовью к родной стране.

Огромно было обаяние личности Алексея Максимовича, и потому воспоминания о Горьком похожи иногда на любовный роман. Любовь обостряет зрение и слух, удерживает в памяти каждый жест, каждую интонацию. Изображение Горького у Федина вдохновлено великой любовью и великим уважением, и потому живой Горький ходит, курит, разговаривает, работает, улыбается и хмурится в его воспоминаниях. Иногда отношение Федина к Горькому как бы заменяет отсутствующего на той или другой странице Алексея Максимовича, иной же раз (правда, редко) отношение к Горькому несколько заслониет самого Горького.

Федин среди молодых начинающих писателей 20-х годов был самым старшим. В его ранних рассказах, в его высказываниях, во всем поведении его с наибольшей ясностью и силой выражалась нерушимая приверженность к традициям классической русской литературы. Это была принципиальная позиция, это было сознание преемственности. Алексей Максимович рекомендовал Федину познакомиться с кругом молодых писателей, назвавших себя «Серапионовыми братьями». И Федин так рассказывает о первых впечатлениях встречи с ними: «Искусство — есть плод исканий, муж и раздумий художника, оно серьезно, оно ответственно перед высшим судьей — человеком, — это было самым сильным из моих убеждений и самым драгоценным из всех чувств. А тут шутили с литературой, вели с ней игры...» И дальше: «...Отсюда, само собой, было недалеко до ... тех шуток и веселых издевательств, в которых Гоголь и Лесков оказывались — о, ужас! — в одной куче со всеми нами. Как мог я перенести подобное?» Отлично

написанная сцена «стычки» с самым страстным из молодых новаторов Львом Лунцем дает яркое представление о жарких спорах, в которых рождалась советская литература. В этой главе Федин 20-х годов оказывается всего лишь персонажем книги, изображенным к тому же не без иронии, и живой Лев Луни в испепеляющем жару спора встает перед нами, «потрясая трепещущими руками, — по-библейски воздетыми над головой». Страницы, посвященные Лунцу, рано умершему, талантлившему писателю, один из лучших в книге. А конфликт очень быстро сменился редкой дружбой молодых писателей, объединенных глубокой любовью к литературе и осознавших единую цель — «создание новой литературы эпохи войны и революции». И может быть истина, которая «сидела где-то в углу комнаты ухмыляясь», заключалась в том, что «лишний человек», созерцатель, уйдя из жизни, остался только в прошлом литературы, и как «левые» с лозунгом «на запад», так и «правые» с приверженностью к традициям русской литературы одинаково стремились вылететь, ввести в литературу героя Октябрьской революции, человека действия. Первые рассказы с такого рода героями-партизанами написал как раз «правый» Всеволод Иванов.

В воспоминаниях Федина есть великолепные страницы, посвященные Ленину. Конец этой главки выписан со всей силой фединского дарования. Отчетливо запоминается Горький, стоящий возле Ленина: «Я увидел на лице Горького новые черты, каких не помнил из прежних встреч. Он был, наверно, до глубины взволнован и преодолевал волнение, и это сделало его взгляд жестким, всегда живые складки щек — неподвижными. Он показался мне очень властным, и все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвучала в речи Ленина и которой дышал весь конгресс». И дальше: «...мне казалось — все лучшее, что я когда-нибудь думал о Горьком, воплощено в нем в этот миг, в этой близости к Ленину — к высшему осмыслению всего происходившего в мире».

Молодая советская литература рождена была великими событиями и обязана была стать достойными их. Горький приближал молодых советских писателей «к высшему осмыслению всего происходившего в мире».

У нас нет истории советской литературы. Без воспоминаний, свидетельств современников писем эта история не обойдется — она будет тогда безжизненной, сухой, скучной. А советская литература рождалась и росла в бурях величайшей из эпох. Воспоминания Федина у каждого, кто вникал в то же время, вызывают желание кое-что добавить, дополнить, кое в чем поспорить и т. д. Эта книжка, написанная полновесным языком большого художника, наверно вызовет и других писателей на рассказы о Горьком, о росте советской литературы, и в этом еще одно достоинство работы, выполненной Фединым талантливо и очень искренно.

„Кровью этой земли“¹

«Можайское направление», «Калининский фронт», «Юхнов» — эти пометки под стихами В. Захарченко не просто географические указания. Захарченко не только пишет о войне, — он сражается в рядах Красной Армии. Правда, самый этот факт более важен для биографии поэта, чем для оценки его произведений. Но не в нем ли объяснение той искренности и силы чувства, которые привлекают в лучших стихах молодого автора, и которые далеко не всегда встретишь в иных сборниках более опытных литераторов.

Родная земля, любовь русского человека к ней, глубина ответственности за судьбы ее и почетное право бороться за ее счастье — таково содержание наиболее значительных стихотворений Захарченко («Родина», «Дорогами войны», «Медынь», «Земля», «В саду установили пулеметы»).

Поэт знает, что «сегодня кровь, сегодня дождь свинцовый нужны земле, чтобы цвели цветы», ему бесконечно больно видеть, как в горькие дни отступления «сырая земля за колеса цеплялась последней раз». Свою землю боец защищает, привыкая к ней, зарываясь в нее, и движется вперед, заслоняя ее собою, как живое существо, как друга, как мать:

Что мне слепая стихия взрыва?
Я так и встречу последний взрыв —
Раскинув руки,

в одном порыве

Телом

тело земли закрыв!

В сборнике Захарченко нет новых тем, сложных переживаний. Но поэт умеет наполнить конкретный зрительный образ большим внутренним содержанием. Картины, описания в лучших его стихах не служат самоцелью, а подчинены раскрытию мысли и чувства. Это относится и к стихам о родной земле, и к задушевному обращению к любимой, и к строкам о великом прошлом России. Бронзовый Пушкин, мимо которого идут войска на фронт, «провожает их на бой, молча, с обнаженной головой», простое название старинного русского города так много говорит нашему сердцу («Здесь пахло медом... Липы у воды тянулись прямо в город зацветать. И древнерусским именем «Медынь» привыкли этот город называть»). И даже образы, не раз уже встречавшиеся в поэзии, свежи, и есть в них черты новые, говорящие о чем-то еще не раскрытом раньше:

Утром, когда затоскуют птицы
И заплачут летящие журавли,
Я вынимаю из черной тряпицы
Последнюю горстку родной земли.

¹ Василий Захарченко. «Кровью этой земли», Госполитиздат, 1943, 46 стр., ц. 1 р. 75 к.

Кровью омытая,

из пепелища

При отступлении взятая на ходу,

У порога разрушенного жилища,

Принявшая клятву мою:

— Приду!

Приду все равно!

Наперекор гаданьям,

Наперекор всему...

В стихах Захарченко сказывается влияние Блока, Пастернака, Маяковского. Хорошо сказывается, как видим, как приемы и образы прославленных поэтов помогают молодому автору найти «слова такой чеканки», интонации такой убедительности, которые сообщают его строкам выразительность и силу.

Но верю, мы выстоим

С сердцем таким на горючей земле,

На этом военном ветру неистовом,

Под острым, в глаза наведенным

выстрелом,

В дыму и пожарах,

в крови и во мгле!

Но нередко влияние этих поэтов ощущается слишком непосредственно. Так стихотворение «Март» начинается строфой, повторяющей ритмику и образы «Болотного поэта» Блока, дальше на смену нескольким оригинальным строфам идут строки, целиком повторяющие интонации и синтаксис пастернаковского «Определения поэзии», затем — ритмы и интонации Маяковского. Вся первая половина «Сусанина» — это смешение блоковских и есенинских пейзажей и настроений. Отдельные стихотворения представляют собой чисто внешнее, механическое сочетание мотивов, интонаций и лексик самых различных поэтов, и можно лишь удивляться тому, как попали в сборник такие неэпигрально подражательные строки:

Долетают из дальних сел

Золотистые пули пчел.

Опускаются на цветок

И густой собирают сок.

или:

Не позабудь меня...

не позабудь!..

И злой свинец мою не тронет грудь.

или:

Война... Война...

Опять на небосклоне

Огонь и дым,

Если в первом из этих отрывков поэт хоть как-то «переосмысливает» гумилевский образ пчел-пули, то в двух других перед нами просто учебческое переложение всем известных строк Блока и Симонова.

Наряду с ясными и простыми строками, живыми, прочувствованными образами, в стихах Захарченко не мало искусственных метафор и сравнений, излишне изысканных эпитетов («Кажется железом раскаленным огненные ягоды рябины», «властные ладоныя Морфея на пол опрокинуты бойцы», «беспощадно побратать с могилкой по стране расплзшуюся грязь», «машинны цвета европейской пыли уже несуществующих держав» и др.). Нередки в сборнике герящливые обороты речи («Степь разбита грохотом орудий», «К смерти пду — и не дрогнет рот»).

Подобной же печатью искусственности и

побрежности отмечены не только отдельные строки. Такие стихотворения, как «Можайский снег», «Имя твое», «Гитлер-петрассе», «В пути» почти целиком состоят из «общих фраз и заимствованных строк, зарифмованных и даже не всегда как следует ритмически скрепленных. Это тем более обидно, что В. Захарченко нельзя отказать в таланте, поэтической чуткости, в умении слушать ветер великих событий и голос поэзии. Приходится напомнить В. Захарченко, как и многим другим молодым авторам, о взыскательности к себе истинного художника, о которой они подчас забывают.

Письмо в редакцию

Не в целях защиты своего произведения — романа «Иван Грозный»¹, который подвергся критическому разбору С. Бородин², но в целях внесения необходимой фактических поправок в статью С. Бородина прошу редакцию журнала «Октябрь» поместить это письмо.

Разумеется, роман мой не свободен от недостатков, и каждому критику, либо читателю, обнаружившему их, я только благодарен.

Но в данном случае дело обстоит иначе.

В интересах самих читателей, в интересах воссоставления фактов в их истинном свете, приходится мне выступить со следующими возражениями тов. С. Бородину.

Тов. Бородин обвиняет в «народности» моего Грозного. Он пишет: «Незачем искажать действительность и опропускать Грозного, представляя его как печальника о повседневных, будничных благах народа».

Кто читал роман, тот не найдет в нем ни одной странички, где бы Грозный изображался как «народный печальник». По словам самого С. Бородина, Грозный представлен в романе «передовым государственным деятелем, преобразователем жизни страны, твердым в достижении цели, прозорливым и смелым».

«Опропускание» Грозного, в чем меня обвиняет С. Бородин, как-то не вяжется с приведенной характеристикой, сделанной самим рецензентом.

На чем основывает С. Бородин свое обвинение?

На том, что деревенским парням, впервые увидевшим царя — к нему они пришли жаловаться на боярина — царь показался «простым, обыкновенным».

Это первое впечатление деревенских парней в той же главе контрастно отличается тем, что царь приказывает бить их батогами, говоря: «А за побег из вотчины накажи смердов батожем, чтоб не бежали самовольно из поместий, ще чинили не-

послушания господам... Смерд должен зять свою меру!» (№ 5—6, стр. 46).

Царь Иван в осуществлении своих государственных задач не считал ни бояр, ни крестьян, привлекая на свою сторону, главным образом, служилое дворянство, которое он тоже обременял всяческими повинностями. Грозный, подобно Петру I, был прост в обращении, а вместе с тем и бояр, и служилое дворянство держал на известном расстоянии от себя.

В романе не раз подчеркивается гордое, основанное на сознании важности своих замыслов для русского государства, предвзятое царя о своей власти. По его словам: «царь — божий воевода на земле» (№ 5—6, стр. 39). Но нельзя забывать, что, борясь с родовитым боярством, Иван Грозный никогда не был противником родовых князей и никогда не стремился унижить значение рода.

В романе есть ряд глав, характеризующих высокомерное и жестокое обращение царя Грозного со смердами, когда с их стороны замечалось стремление стать ближе к царю. Например, в сцене на стрельбище (№ 5—6, стр. 73) царь в споре пушкаря Андрея с боярином Телятьевым, принял сторону пушкаря, наградил его деньгами и велел его выпороть, чтобы «вежество соблюсти». «Божь надо уважать!» — говорит царь. А на Пушечном дворе (№ 5—6, стр. 58) царь велит наказать Андрея за то, что тот упал с челобитьем ему в ноги. Пария бросают в каземат и пытаются, по своей же воле он учинил эту дерзость.

Можно еще привести ряд примеров, но и этих довольно, чтобы рассеять утверждение тов. Бородина, будто бы я «упростию» Грозного, изобразил его «народным печальником».

Этого в романе нет.

В мему своего умения я показал, что Иван Грозный был одушевлен в своей кипучей деятельности величайшими государственными интересами и поэтому боролся беспощадно с боярами. Никогда не чувствовал этой борьбе, что ярко замечательно в народном былинном песенном творчестве.

¹ «Октябрь», 1942, №№ 5—6, 7 и 8.

² С. Бородин, «Иван Грозный», «Литература и искусство», 1943, № 20.

Тов. Бородин обвиняет меня в клевете на русский народ. Казалось бы, это, поистине страшное для русского писателя, обвинение должно быть серьезно обосновано. Что же делает Бородин?

Он ссылается на персонажи романа, которые ничего общего с русским народом не имеют. В этом не трудно убедиться, прочитав 46 страницу в № 7 журнала.

«Чернец был худощавый, запуганный, весь в угрях от долгого немытия, ногти черные, длинные, как у зверя, и говорил, заикаясь — сразу не разберешь, что он хочет сказать...»

Цитату эту приводит Бородин. Но ведь этот чернец — подосланный королем Сигизмундом литовский шпион. Он и по русски-то говорить не умеет. Нужно ли доказывать, что я не имел в виду в фигуре литовского шпиона изображать Русь.

Дальше С. Бородин по тому же поводу цитирует:

«Обступившие его бояре, потные, грузные, тяжело дыша, с нетерпением ловили каждое его слово.»

Но ведь люди эти — не что иное, как группа бояр-изменников, заговорщиков, принимающих у себя тайно литовского шпиона.

Нужно ли доказывать, что я не мог в лице бояр-изменников изображать русский народ.

Между тем С. Бородин эту сцену комментирует следующими словами:

«Здесь все дико — и монахи и бояре. Это представление о русском народе и до Костылева внушалось нам некоторыми «писателями западной ориентации», но Костылеву следовало бы понять, откуда идет эта тенденция клеветы на народ.»

Здесь все ложно. Каких писателей «западной ориентации» имеет в виду Бородин, как клеветников на русский народ?

Зачем вообще рыться в моем романе «Москва в походе», отыскивая представителей народа, когда весь роман основан на изображении героического прошлого нашего народа? Разве главные герои романа, исторические лица — знаменитый пушечного дела мастер Андрей Чохов и Герасим Тимофеев — воин засечной (порубежной) стражи не представители народных низов?! А массы пушкарей, стрельников, засечников, ратников-пехотинцев, «гулейных людей», татарских, кабардинских, мордовских и прочих всадников — разве это не народ?!

Бородин же только всего и нашел «представителей народа» — литовского шпиона и изменников-бояр!

Почти сорок лет я честно работаю в русской литературе, я автор общепризнанной исторической книги «Кузьма Минин», я протестую против обвинения Бородина, как только может протестовать писатель-патриот, обильно обвиненный в клевете на русский народ — свою святыню.

Бородин заявляет: автором романа «наполеон написан Казанский поход». Но о Казанском походе в романе и речи нет, кроме мимолежного упоминания в разговоре од-

ного из действующих лиц. Роман охватывает период 1558—60-х годов и развертывается на фоне Ливонской войны (Казань, как известно, взята в 1552 году).

Бородин упрекает: «Вскользь упомянули Астрахань и Крым, хотя там происходили интересные события, характеризовавшие Грозного и позже влиявшие на жизнь страны». Во-первых: Астраханский поход опять-таки относится к более раннему периоду царствования Ивана Грозного и втискивать астраханские события в Ливонскую войну — неуместно и вообще не нужно.

Во-вторых: какие же события происходили в Астрахани в годы 1556—60, которые бы прибавили что-либо очень существенное к характеристике Ивана IV? Никаких. С Крымом тоже в этот период осложнений никаких не было. Да и вообще — мало ли какие события происходили в течение долгого царствования Ивана Грозного. Было много интересного, важного, характерного для царя Ивана, но почему же надо требовать, чтобы автор втиснул все это в один свой роман, посвященный определенному периоду царствования Ивана Грозного?

Ведь Бородину известно, что «Москва в походе» — первая книга романа-трилогии «Иван Грозный».

С. Бородин выступает со следующим обвинением: «Костылев делает вывод о скромности и простоте Грозного на том основании, что Грозный любил скромно и просто одеваться.»

Нигде ни разу мною не сказано, что царь Иван «любил скромно и просто одеваться». В романе царь появляется в тех одеждах, которые соответствуют определенной исторической обстановке и политическим обстоятельствам: и в осыпанной драгоценными камнями парче в ой одежде, когда этого требует церемониал, и в военных доспехах, и в домашней, будничной одежде и т. д. Откуда взял тов. Бородин, что царь у меня в романе ходит только в каком-то «тихом» платье, катаясь сказать, неверно называя «смирное» платье — «тихим».

Всего этого мало Бородину. Он пытается еще уличить автора романа в невежестве.

И обвиняет меня в том, что первопечатник Иван Федоров показав в романе «безбожником». Загляните, читатель, в № 5—6 журнала «Октябрь» (стр. 62) и прочитайте о том, как первопечатник Федоров напугивал Андрея Чохова на брань, благословляя его со словами: «Зменное лукавство недругов царских не шали, буде имя господне благословенно всегда, ныне и ро-век!» За всякое дело Иван Федоров берет, помолясь. Так С. Бородин обманывает читателя.

Бородин пеннет, что я изобразил какую-то современную провинциальную типографию, а не типографию XVI века, утверждая, что тогда не было никакого подобия современных наборных касс, уличая меня тем самым в невежестве. Нет, тов. Бородин, кассы были и в них хранился прифт, как и в современных типографиях. Советую

прочитать, хотя бы изданную в 1923 г. Институтом журналистики книгу М. И. Щелжунова «Искусство книгопечатания в историческом развитии». Там воспроизведены рисунки с натуры, сделанные художником того времени, увековечившим процессы типографской работы в XVI веке. Да и как печатать «с доски», не имея набора, и как набирать, не имея разложенных по кассам букв?

О Трубе. Бородин поправляет меня, утверждая, что термин «Труба» появился лишь двести лет спустя после царствования Ивана Грозного.

Читаем выдержку из грамоты 1612 года 22/IX. Пожарского и Д. Трубецкого: «и разряд и великие приказы поставили на Неглимне на Трубе». В Никоновской летописи XVI века также упоминается Труба, а тов. Бородин, увы, этого не знает и самонадеянно «поправляет».

«По роману Костылева, — пишет критик, — получается, что Грозный был одинок в своих замыслах, в своей деятельности; мы видим непрерывную смену привязанностей Грозного».

В романе, между тем, подробно изображена усердная, преданная служба окружавших царя помощников: замечательных воевод Петра Шуйского, Бутурлина, Давиды Адашева, Куракина, Морозова, Заболотского и других, одержавших блестящие победы над ливонскими рыцарями, отнявших у немцев Дерпт (Юрьев), Нарву (Ругодив) и множество других исконно русских городов и замков. А Грязной, Алексей Басманов, наконец, М. И. Воротынский, с которым Грозный прекрасно разработал порядок пограничной охраны? Дипломатическая, талантливая служба Алексея Адашева, И. М. Висковатого, Щелковаловых, Непей и других дьяков Посольского приказа также показана в ряде глав. Митрополиту Макарию, как ближайшему сотруднику царя, также уделено не малое место в романе. Рассказано и о деловой дружбе Ивана IV с братьями царицы — Захарьевыми-Юрьевыми. А преданные царю порубежники,

стрелочные полки, татарские, кабардинские и мордовские всадники — все они действуют в романе.

Иван Грозный в романе окружен массой верных, преданных ему людей, обеспечивших ему блестящие победы в Ливонии. Без этой поддержки своих подданных царь не пробился бы к Балтийскому морю и не держал бы в течение 23-х лет торговой связи с Европой через Нарву.

С. Бородин пустился в длинные рассуждения по поводу прогулки царя с немцем Крумгаузенем по кремлевской стене. Но не надо забывать, что Крумгаузен был ратманом интересовавшей Грозного Нарвы, и в период Ливонской войны он придерживался «московской ориентации». Этого не мог не оценить царь, да еще в самый разгар битв за Нарву. И напрасно опасается Бородин, что прогулка эта совершается на виду у всей Москвы, что люди могут увидеть эту будто бы «позорную» для царя сцену. Да будет известно т. Бородину, что Кремль был в ту пору окружен тройными высокими стенами, причем в каждой стене были глубокие коридоры, защищенные, к тому же, тесными рядами зубцов. Видеть можно было царя и немца только сверху, а самотетов в ту пору не было.

И опять же... с колоколами. Были, т. Бородин колокола и в XIV, и в XV, и XVI вехах! «Было» — своим чередом, колокола — своим. На то и звонницы (колокольни) существовали, чтобы на них звонить в колокола. Было ли их «сорок-сороков»? Никто, конечно, не считал церквей в Москве и выражение это было крылатым, ходячим в народе, как некое образное определение множества московских колоколов...

Тов. Бородин договорился до того, что Европа будто бы не знала бань, пока они не были «изобретены» в России. Что это насмешка над читателем?

Относясь с большим уважением к нашей литературной критике, никак не могу считать серьезным и полезным критическим разбором статью т. Бородина.

В. Костылев

Содержание

О. БЕРГГОЛЬЦ — Ленинградские стихи	1
БОРИС ГОРБАТОВ — Непокоренные (Семья Тараса), <i>повесть</i>	4
МАКСИМ ТАНК — Янук Сялиба, <i>поэма</i>	45
ВЯЧ. ШИШКОВ — Емельян Пугачев, <i>историческое повествование</i> (продолжение)	55
МИХ. ЗОЩЕНКО — Перед восходом солнца, <i>повесть</i> (продолжение)	103
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ — При Бородине. Близ старой Смоленской дороги	134
В. ИЛЬЕНКОВ — Розовый заяц. Письмо. Сухонлюев и Фауст, <i>рассказы</i>	147
С. ШИПАЧЕВ — Из фронтовой почты, <i>стихи</i>	152
И. ТРУСОВ — Всего сильнее, <i>рассказ</i>	153

★ ★ ★

У. ШИРЕР — Из «Берлинского дневника»	163
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА. КРИТИКА. БИБЛИОГРАФИЯ

К. ПИГАРЕВ — Слава и честь русского оружия	233
Акад. П. Л. КАПИЦА — Организация научной работы в институтах физических проблем Академии наук СССР	247
Ф. ГЛАДКОВ — «Испытание»	256
МИХ. СЛОНИМСКИЙ — «Горький среди нас»	258
Н. КАЛИТИН — «Кровью этой земли»	260
Письмо в редакцию	261

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ШИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский, 10/2. Тел. К 3-44-22

18-й год издания.	A2637.	Подписано к печати 27/IX 1943 г.
Печ. листов 16½.	Уч.-авт. листов 34.	В печ. листе 80640 зн.
Тираж 25 000 экз.	Цена 10 руб.	Зак. 738

18-я типография треста «Полиграфкнига». Москва, Шубинский пер., 10

